РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

ИВАН СОЛОНЕВИЧ

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2010

Солоневич И. Л. Народная монархия / Отв. ред. О. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 624 с.

В книге русского мыслителя и общественного деятеля Ивана Лукьяновича Солоневича (1891–1953) «Народная Монархия» разрабатывается учение о самобытных началах русской власти. По мнению Солоневича, народная монархия (в отличие от сословной) является идеалом русского государственного устройства. Русская политическая мысль, по мнению Солоневича, может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских исторических предпосылок. Отсюда вывод: «Политической организацией русского народа на его низах было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было самодержавие». Это исключительно русское явление — не диктатура аристократии под вывеской «просвещенного абсолютизма», не диктатура капитала, подаваемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в форме социализма, а «диктатура совести, диктатура православной совести». Предложенное Солоневичем понятие «соборная монархия» обозначало «совершенно конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие результаты: это была самая совершенная форма государственного устройства, какая только известна человеческой истории».

ISBN 978–5–902725–67–1

© Институт русской цивилизации, 2010.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Иван Лукьянович Солоневич родился 1 ноября 1891 года в Гродненской губернии в семье известного публициста Лукьяна Михайловича Солоневича — редактора и издателя газеты «Северо-западная жизнь». Мать Солоневича Юлия Викентьевна Ярушевич была дочерью сельского священника. Детство и юность Солоневича прошли в Гродно и Вильно. Проходя гимназический курс, Солоневич начал печататься в газете «Северо-западная жизнь».

Начальный период политического опыта и писательства во многом сформировал его убеждения. Позже, уже в эмиграции, Солоневич представил читателям портрет времени своей юности и жизни в Минске: «Политическая расстановка сил в довоенной Белоруссии складывалась так. Край — сравнительно недавно присоединенный к Империи и населенный русским мужиком. Кроме мужика русского там не было почти ничего. Наше белорусское дворянство очень легко продало и веру своих отцов, и язык своего народа, и интересы России. Тышкевичи, Мицкевичи и Сенкевичи — они все примерно такие белорусы, как и я. Но они продались. Народ остался без правящего слоя. Без интеллигенции, без буржуазии, без аристократии — даже без пролетариата и без ремесленников. Выход в культурные верхи был начисто заперт польским дворянством. Граф Муравьев не только вешал. Он раскрыл белорусскому мужику дорогу хотя бы в низшие слои интеллигенции. Наша газета опиралась и на эту интеллигенцию — так сказать, на тогдашних белорусских штабс-капитанов: народных учителей, волостных писарей, сельских священников, врачей, низшее чиновничество».

На политическую арену Солоневич вышел в 1910. Это было время, когда во главе русского правительства стоял П. А. Столыпин, когда в стране заседала III Государственная дума. Это было время укрепления русского имени на окраинах. Борьба за русское дело в западном крае была достаточно опасна, особенно после убийства Столыпина в 1911. Тогда враги русского народа вновь подняли головы и воспряли духом. Два или три раза, как пишет Солоневич, ему пришлось отстаивать с револьвером в руках свою типографию от еврейских революционеров. Однажды пришлось и стрелять — несколько выстрелов в воздух враз образумили толпу.

Здесь же, в газете «Северо-западная жизнь», Солоневич познакомился со своей будущей женой Тамарой Владимировной Воскресенской, дочерью офицера. Она с золотым шифром окончила казачий Институт благородных девиц в Новочеркасске, а затем Высшие женские курсы в Петербурге. В Минск Тамара Владимировна была направлена преподавателем французского языка женской гимназии. С редакцией «Северо-западной жизни» она стала сотрудничать в связи с шумным процессом Бейлиса, ибо черпала материалы для статей у своего дяди А. С. Шмакова, известного знатока еврейского вопроса.

Женившись на Тамаре Владимировне, Солоневич переезжает в Петроград, где у них рождается сын Юрий. В Петрограде Солоневич поступает на юридический факультет университета.

В начале Первой Мировой войны Солоневич устраивается на работу в известнейшую тогда газету «Новое время»: он делает обзоры провинциальной печати, работает в отделе информации. В это время Солоневич был призван в лейб-гвардии Кексгольмский полк, но на фронт его не послали, ибо он был близорук и носил очки. В школу прапорщиков не пустили, потому как, по его собственным словам, «был слишком косноязычен».

Все рухнуло в феврале 1917.

«Рухнуло, — как считает Солоневич, — совершенно по пустяковому поводу. Обалделые толпы на Невском. Совершенно очумелые генералы в министерствах и штабах.

Панически настроенная солдатня, для разгона которой довольно было бы одного кавалерийского полка. И ни одного сильного человека, который повел бы этот полк. Не оказалось ни одного человека и ни одного полка. Кабацкая сутолока в Таврическом дворце. Торжествующий и в то же время насмерть перепуганный Милюков. Честная сваха Керенский, сватающий пролетарского жениха к буржуазной невесте. Великие князья с красными бантами. Совершенно растерянное офицерство. Ни одной твердой опорной точки. Ничего. Даже разговаривать — и то не с кем. Одни большевики ясно и четко знают, чего хотят и к чему они идут. Таинственные агитаторы, выплывшие неизвестно откуда. Бессмысленная стрельба на улицах. Бессмысленные, случайные жертвы. У контрреволюционеров никаких пулеметов не было, и все "жертвы", которые несколько позже были так торжественно похоронены на Марсовом поле, — это все жертвы случайной стрельбы, разграбленных оружейных магазинов, мальчишеской игры с оружием».

Солоневич был одним из организаторов витебского русского спортивного общества «Сокол», а потом занимался в первом петербургском обществе «Сокол»; в 1914 он занял 2-е место на всероссийских состязаниях по поднятию тяжестей, преподавал гимнастику, играл в футбол. Для поддержания порядка силами активных граждан была огранизована студенческая милицию, в которой Солоневич был начальником Васильевского отдела. Во время корниловского мятежа 1917 Солоневич находился при атамане Дутове представителем от общества «Сокол». Дутов со своими казаками должен был поддержать мятеж в Петрограде. Представляя организованных (ок. 700 чел.) и отлично тренированных спортсменов-студентов, Солоневич просил у Дутова оружия. Атаман потребовал не вмешиваться гражданских в военные дела.

С приходом большевиков к власти, с началом Гражданской войны братья Иван и Борис Солоневичи бегут из красного Петрограда в Киев. Они работают на белых, добывают секретную информацию, ежедневно рискуя жизнью (как узнал

позже Солоневич, эту информацию в белых штабах никто не читал). Средний брат Всеволод погибает в армии Врангеля. В 1920 всю семью Солоневичей забирают в одесскую ЧК, после выхода оттуда опять начинается сотрудничество с белыми. Однако эвакуироваться вместе с ними Солоневичу помешала болезнь — сыпной тиф.

В Одессе Солоневич задерживается до 1926, работая «по спортивной части» в советских профсоюзах. В частности, в 1923 он служит спортивным инструктором в Одесском продовольственном губернском комитете. В 1926, переехав в Москву, Солоневич стал инспектором ВЦСПС (профсоюзов). Во все время жизни под Советами его не покидало желание бежать из «коммунистического рая». Пока, однако, приходилось делать доклады о спорте. По свидетельству самого Солоневича, он сделал более 500 докладов, благодаря чему лишился своего «косноязычия».

Когда младший брат (бывший инспектором физической подготовки Военно-Морских Сил) Борис, отбыв срок в концлагере на Соловках и ссылку в Сибири за подпольное руководство скаутским движением, вернулся в Москву, братья стали готовиться к побегу. Жена Солоневича фиктивно заключает брак с немецким техником и, получив германское гражданство в 1932, уезжает в Берлин. Первая попытка побега была предпринята в 1932, через Карелию, но братья не знали, что это район магнитных аномалий — их компасы неправильно показывали направление. Они заблудились, Иван заболел, и братьям пришлось вернуться. Вторая попытка была еще менее удачна: Бориса, Ивана и его сына Юрия ГПУ арестовало в поезде по пути в Мурманск. Братьям дали по 8 лет концлагеря, а Юрию — 3 года. В августе 1934 все трое сумели бежать в Финляндию.

Попав в фильтрационный лагерь, Солоневич, взяв взаймы карандаш и бумагу, начал описывать все то, что пережил в СССР. Из этих записок составилась впоследствии знаменитая книга «Россия в концлагере», принесшая автору мировую славу и финансовую независимость. «Россия в концлагере» писа-

лась 2 года. Чтобы прокормиться, Солоневич работал грузчиком в гельсингфорском порту.

Солоневич рвался в бой с коммунистами, хотел издавать газеты. Но в Финляндии это было невозможно — слишком тесно экономически (лесной экспорт) и территориально она была связана с СССР. Финские власти не разрешили издание. Солоневичу удалось достать визу в Болгарию.

«Россия в концлагере» разошлась при жизни автора в полумиллионе экземпляров на добром десятке языков мира. Гонорары позволили писателю начать издавать в 1936 в Софии газету «Голос России». Направление и тематику газеты определяла фраза, вынесенная на первую страницу: «Только о России». «Голос России» воспринимали как газету всех Солоневичей. В ней печатались все четверо представителей семьи Солоневичей: сам Солоневич задавал тон и идеологическое направление изданию; брат Борис, талантливый писатель, публиковал свои романы и статьи; жена Тамара Владимировна печатала свои «Записки советской переводчицы»; сын Юрий опубликовал «Повесть о 22-х несчастьях». Солоневич старался организовать на основе кружков любителей газеты «Голос России» сплоченную организацию народно-монархического направления. Он хотел воспитать тот здоровый монархический слой общества, который смог бы, вернувшись в Россию, встать во главе возрождающегося отечества. «Я, — говорит Солоневич, — единственный подсоветский писатель, проповедующий монархизм от имени подсоветского мужика. Я — один из очень немногих людей эмиграции, которые от монархии не имели ровно ничего… кроме строительства Российской империи. Моего монархизма не поколебали даже и августейшие “мужики”. Я — единственный из подсоветских свидетелей, пытающихся организовать какой-то, пока хотя бы только психологический, мост между теми, кто сидит в колхозах и концлагерях советского ада, и теми, кто сидит в такси и в лабораториях зарубежного рассеяния».

Подобная деятельность не осталась незамеченной советской властью: 3 февраля 1938 в редакции «Голоса России»

прогремел взрыв. Погибли жена Солоневича Тамара Владимировна и секретарь Н. П. Михайлов. Издание «Голоса России» пришлось прекратить.

Весной 1938 Солоневич переезжает в Германию, в единственное место, где он мог чувствовать себя в безопасности от преследований советских властей. Находясь в Германии, он организовывает в Болгарии новое издание — «Нашу газету».

Человек слова и дела, человек, которому было тесно в эмигрантской среде, Солоневич ожидал скорейшего возвращения на Родину при скором падении большевизма. Он боялся опоздать и быть не готовым в быстро меняющейся обстановке кануна Второй Мировой войны. В одной из своих статей начала 1939 он дает даже такой прогноз: «Девять шансов из десяти на то, что уже в этом году мы сможем вернуться к себе на Родину». Солоневич надеялся на переворот, который должна была, по его мнению, совершить Красная армия. Прогноз не оправдался, но он показывает то напряженное ожидание возвращения, которое владело им. Написание книги «Белая Империя» и есть результат этой готовности Солоневича к имперскому строительству.

«Идея “Белой Империи” — это, конечно, не программа, — говорит автор. — Это попытка сформулировать то общее, может быть, самое немногое, но зато и самое глубокое, что говорит в русском человеке и по ту, и по эту сторону рубежа. Так сказать, формулировка голоса крови. Попытка прощупать то основное, что строило Россию и что будет строить ее дальше. Значит — не программа. Программ у нас есть очень достаточно, и в нашем лагере они мало друг от друга отличаются. Это попытка найти неизбежность и неотвратимость наших путей, путей, по которым “желающие” пройдут победителями, а нежелающих судьба будет отбрасывать вон…»

До января 1940 в «Нашей газете» были опубликованы 2 главы из этого сочинения: «Дух народа» и «Монархия» (последняя была напечатана не до конца). С началом Второй Мировой войны газеты прекратила свое существование.

Желание Солоневича объяснить немцам, что с Россией воевать не надо, что не стоит обманываться вывеской СССР, что в этом государстве живет все тот же русский народ, не нравилось властям Германии, и гестапо не оставляет в покое непокорного писателя, несколько раз его арестовывают и наконец ссылают в провинцию, в Темпельбург, где он живет во время перипетий Второй Мировой войны. После войны попадает в английскую оккупационную зону, где остается до 1948.

Еще в конце 1930-х Солоневич разрабатывает учение о народной монархии, изложенное в его главном труде «Народная Монархия». По мнению Солоневича, народная монархия (в отличие от сословной) является идеалом русского государственного устройства. Она существовала в России до реформ Петра I и характеризовала соединение самодержавия и самоуправления. После свержения большевиков именно она должна стать самой эффективной формой государственного устройства России. «Никакие мерки, рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы то ни было извне, — неприменимы для русской государственности, русской национальности, русской культуры». Русская политическая мысль, по мнению Солоневича, может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских исторических предпосылок. Отсюда вывод: «Политической организацией русского народа на его низах было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было самодержавие». Это исключительно русское явление — не диктатура аристократии под вывеской «просвещенного абсолютизма», не диктатура капитала, подаваемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в форме социализма, а «диктатура совести, диктатура православной совести». Предложенное Солоневичем понятие «соборная монархия» обозначало «совершенно конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие результаты: это была самая совершенная форма государственного устройства, какая только известна человеческой истории. И она не была утопией, она

была фактом». По справедливому выводу Солоневича, превосходство царской власти неоспоримо: «Царь есть прежде всего общественное равновесие. При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военные — милитаризм, духовные — клерикализм, а интеллигенция — любой "изм", какой только будет в книжной моде в данный исторический момент». В трудах Солоневича русская общественная мысль возвращалась к идее монархии.

После войны Солоневич разрабатывает программу национального возрождения России на принципах народной монархии, которая публикуется в газете «Наша страна» в форме агитационного материала:

«Нам нужно вести монархическую агитацию.

Нам нужно знать и то, как ее следует вести, и то, как ее вести не следует.

Мы анализируем прошлое России, и мы говорим: были такие-то явления, происходившие в таких-то условиях, и при наличии этих явлений Россия — под эгидой монархии — достигла таких-то результатов. И при ослаблении или гибели монархии попадала в такие-то и такие-то катастрофы.

Мы подводим некий принципиальный фундамент под неоспоримые факты нашего прошлого.

Мы не строим никаких воздушных замков.

Мы представительствуем собою политический реализм, и мы боремся против всякого политического утопизма.

Прежде всего мы что-то строим: строим основное — идею Русской Народной Монархии. Строят ее очень разные люди: и белорусский крестьянин Иван Солоневич, и сибирский "землепроходец" Борис Башилов, и профессор Борис Ширяев.

Как и всегда в этом мире случается, некоторые точки зрения не совпадают — мы о них слегка спорим. Но основное совпадает вполне: Народная Монархия.

Мы рассеиваем мифы, опутывающие сознание монархической эмиграции, и мы из-под обломков старины пытаемся воссоздать тот момент, когда монархия Российская была ближе всего к ее идеалу.

Наша задача — задача чисто агитационная.

Или, быть может, — миссионерская.

До России и в России мы должны проповедовать монархию. Нам навстречу подымется великая волна народного инстинкта, народной боли, народных страданий. Подымется и волна народной надежды на лучшее будущее.

Эта волна — она будет — в этом не может быть никаких сомнений. Но могут быть сомнения — окажемся ли мы на высоте?..

Нам, монархистам, остается только один путь, путь "демократического" завоевания русских масс — масс, которые к этому «завоеванию» подготовлены и тысячелетней традицией России, и своим национальным инстинктом, и переживаниями послефевральского периода.

Этот путь не исключает наших стремлений к тому, чтобы будущая Русская Национальная Армия не попала бы в руки заговорщиков и утопистов, авантюристов и хамелеонов, чтобы в ней было создано по крайней мере монархическое ядро.

Для того, чтобы завоевать общественное мнение России и для того, чтобы создавать монархическое ядро в Русской Национальной Армии — мы все, настоящие монархисты, монархисты для России, а не для карьеры, — должны честно проанализировать все русское прошлое, без всякой оглядки на то, что скажут эмигрантские "княгини Марьи Алексеевны".

Монархическая литература должна иметь в виду не служилые и привилегированные слои старой России, а конкретный русский народ, который жил на Руси Алексея Михайловича, в России императора Петра Алексеевича и в СССР Сталина.

В России нет и не будет того социального слоя, который так характерен для монархической эмиграции.

Делайте для монархии все, что вы только можете сделать: это единственная гарантия против абрамовичей и социалистического рая.

Нужно уметь обороняться и нужно уметь нападать.

И обороняясь, и нападая, нужно по мере возможности ясно знать, чем идея Русской Народной Монархии отличается

от идеи русской сословной монархии и от социалистов, и от солидаризма.

Какие доводы имеются в распоряжении противника. Какие доводы являются фальшивкой и какие неоспоримы.

И как следует справиться с тем и с другим.

“Народная Монархия” предназначается для того же, для чего в свое время предназначался “Капитал” Карла Маркса.

“Народная Монархия” — схема.

Ее нужно разрабатывать дальше. Ее нужно пропагандировать.

Слово стало нашим оружием.

Научитесь им пользоваться. Это зависит от нас. Это зависит от вас.

“Дух” народа. Реальная жизнь страны определяется соотношением сил, в нашем русском историческом случае — моральных сил.

На стороне сепаратизма никакой реальной силы нет.

Российская империя выросла главным образом на базе стремления к объединению всех народов этой империи.

И мы, честные русские политики, морально обязаны предупредить США: если дело дойдет до насилия — то сила будет на стороне России, и такая сила существует.

Эта сила (“дух” народа) прошла века, и века беспримерных в человеческой истории жертв во имя общего блага всех народов Российской империи.

Из 200 миллионов населения России по меньшей мере 190 миллионов за единство страны будут драться, т. е. применять силу.

И основным пунктом любого соглашения должно быть официальное признание государственной суверенности России в пределах 1940 года, оставляя все остальные территориальные вопросы в компетенции будущего.

Исторический опыт доказал, что Россия — это не империя в римском или британском смысле этого слова. Это 196 сиамских близнецов, которые срослись в политическом, экономическом, бытовом, культурном и всяком ином смысле этого слова.

“Силой” в будущей России будет ее сегодняшняя внутренняя эмиграция, а никак не те остатки потонувшего мира, которые называют себя “монархистами в эмиграции”.

Для меня внутренняя эмиграция означает значительно больше: это не только скрытый внутренний протест, это также накопление сил для борьбы.

Внутренняя эмиграция состоит из очень сильных людей.

В какой степени “сильные люди” противоречат “сильной монархии”? — Ни в какой степени. Государь-император Николай II Александрович был очень сильным человеком, но очень сильным человеком был и П. А. Столыпин.

Сегодняшняя Россия — это очень молодая страна, ее люди упорны, закалены, обуяны ненасытной жаждой знания.

Культурный отбор этих людей и будет правящим слоем России, независимо от того, будет ли у нас монархия или республика, или судьба тяпнет нас какой-то новой диктатурой.

Нравится ли нам это или не нравится — это есть новое поколение. И не только хронологически, но и социально.

Новое поколение России, закаленное, упорное, жизнеспособное, молодое, ни при каких обстоятельствах не позволит “пузырям потонувшего мира” командовать собою.

Оно позволит себя убеждать, но как раз этого “пузыри” делать не умеют.

Нынешнее — советское — поколение вышло из иной социальной среды, со всеми политическими, психологическими и прочими предпосылками и последствиями.

С этим поколением эмиграция обязана считаться как с решающим фактором в жизни России.

Новая Россия будет новой Россией, с новой промышленностью, новым крестьянством, новым пролетариатом, новым правящим слоем и с новыми методами управления.

Россия будет страной чудовищной силы и великой, еще невиданной в истории мира, человечности».

Прибыв в конце 1948 в Аргентину, Солоневич вместе с сыном (художником) Юрием, шведской невесткой (скульптором) Ингой и внуками Мишкой и Улитой поселился в Дель Ви-

со, тогда почти безлюдном поселке в окрестностях Буэнос-Айреса, где им была снята «кинта» — аргентинский эквивалент русской дачи под названием «Эль Мистерио» («Тайна»). Вскоре к ним присоединилась чета Левашовых-Дубровских, и только через несколько месяцев — вторая жена Солоневича, немка Рут, намного моложе его, на которой он женился в Апплебеке (Западная Германия) в 1947.

Фрау Рут появилась на жизненном пути Солоневича в Померании. До этого она была женой, а затем вдовой немецкого летчика, погибшего в России. Солоневич говаривал, что он совершенно изменил ее психологию и «обратил» во врага нацизма, доказав ей близость обоих режимов. Надо отдать ей справедливость: став женой Солоневича, Рут сочла своим долгом сделаться русской, и не только русской, но и сподвижницей такой значительной фигуры как Солоневич. Она старалась делать все возможное для этого: с большим напряжением и трудом одолела русский язык, причем научилась не только читать и говорить, но и писать: старалась всеми силами понять сущность идеи народной монархии, разобраться во всей «мышиной возне» эмигрантских партий и союзов, словом, пыталась стать примерной женой Солоневича.

Что касается чисто бытового и житейского смысла, она была преданной нянькой и сиделкой Солоневича, в особенности в последние годы его жизни. Она целиком отдала себя уходу за мужем.

Русская белая эмиграция в Аргентине отнеслась к основателю «Нашей страны» неоднозначно. С одной стороны, выпуски газеты раскупались нарасхват: никто не хотел пропустить ни одну из хлестких, талантливых статей Солоневича на злобу дня. С другой — многим была не по душе резкость суждений Солоневича, в особенности когда речь шла о Петербургском периоде русской истории. Этот его — главным образом антидворянский — пафос всячески старался смягчить его соратник Левашов-Дубровский.

В 1950 Солоневич был выслан из Аргентины правительством Перона. Новой страной пребывания Солоневича стал Уругвай.

Высылка из Аргентины была следствием целого ряда доносов, настроченных в аргентинскую политическую полицию группой весьма различных деятелей русской эмиграции. Всем им Солоневич, верный своей привычке едко высмеивать как левых, так и ультраправых «пузырей потонувшего мира», наступал на мозоли. Под доносами, обвиняющими Солоневича в антиперонизме и прочих грехах, стояли чрезвычайно разношерстные подписи: от монархиста Н. И. Сахновского до меньшевика Н. А. Чоловского, издателя журнала «Сеятель». Особенный вес, по-видимому, имел донос некоего А. Ставровского, редактора газеты «За правду», перешедшего в католичество и вследствие этого пользовавшегося определенным влиянием в католических правящих кругах. Его главным помощником был католический ксендз Филипп де Режи, прекрасно владевший русским языком и пытавшийся миссионерствовать в русской среде, соблазняя бедствовавших эмигрантов экономической помощью.

В связи с высылкой в письмах из Уругвая Левашову-Дубровскому Солоневич больше всего, однако, обрушивался на Сахновского, тогдашнего представителя Российского Имперского Союза-Ордена (РОВС) в Южной Америке. «Сахновский и другие подали на меня десятки синхронизированных доносов», — писал Солоневич своему верному сотруднику. «Они были инспирированы Внутренней Линией (внедренная в РОВС агентура НКВД). Однако от высылки я только выиграл: попал в обстановку, которая меня устраивает гораздо больше, чем Буэнос-Айрес. Но газета продолжает оставаться под угрозой. Недавно в полицию поступил новый донос, что я пишу по директивам советского агента. Я не питаю абсолютно никаких личных настроений даже против Сахновского, хотя мне известно, что основная часть доносов последовала именно от его группы».

Вскоре после высылки Солоневича, 9 августа, «Новое русское слово» напечатало заметку следующего содержания:

«По распоряжению правительства Перона из Аргентины выслан И. Л. Солоневич, редактор еженедельной монархичес-

кой газеты “Наша страна”. Сторонники И. Л. Солоневича связывают высылку с последними его выступлениями против военной части русских монархистов и с его призывом “не мешать Керенскому”. Решающую роль в высылке Солоневича, как передают, сыграла “внутренняя линия”, пользующаяся среди русской военной эмиграции в Аргентине большим влиянием. В качестве иллюстрации к настроениям этих кругов нам сообщают, что на состоявшемся в Буэнос-Айресе монархическом собрании была принята резолюция не оказывать демократам никакой помощи в их борьбе с коммунизмом. И. Л. Солоневич выехал в Парагвай».

После высылки Солоневича начали распространяться разнообразные слухи: 1. Слава Богу, что выслали — советский агент! 2. Выслали по настоянию советского посольства и только потому-де, что это лишь уступка настоянию советчиков — не закрыта газета, и Солоневич продолжает в ней писать. 3. Правительством Перона были опрошены представители некоторых русских организаций, и на основании их разговоров о «вредности» деятельности Солоневича было принято решение его выслать. 4. Солоневич вообще никуда не уезжал, а все это разыграно, чтобы он мог работать спокойно. 5. Солоневич уехал в США, но чтобы это скрыть, была придумана высылка. Вообще, в саму высылку люди верили с трудом, не допуская мысли о доносах. Однако ближе всего к истине оказалась версия № 3 — опросы действительно были, но как следствие именно доносов.

Дубровский пытался убедить Солоневича не разбрасываться на внутриэмигрантскую полемику. В письме от 27 сентября 1950 он призывал: «Ты только посмотри “с холодным вниманием вокруг”, что творится в эмиграции. Грызутся все. Каждый, кому доступна пишущая или типографская машина, делает это печатным способом, кому недоступна — бегает с доносами. Мне кажется, что на этом фоне очень выгодной была бы серьезная позиция и линия, устремленная в будущее, мимо этого гнусного настоящего. Для этого ты должен переключить свои мысли в другую плоскость и заставлять машин-

ку не “местию дышать”, а рисовать те “контуры будущей России”, которые ты ведь можешь сделать настолько интересными, что люди будут зачитываться. Надо подумать и о создании “Белой Империи”».

Солоневич сопротивлялся. «Номер 55-й убийственно благонамеренный, — писал он Дубровскому. — Моя линия, как оказалось, вызывает риск для газеты. Твоя линия с абсолютной неизбежностью гарантирует ее медленное умирание. Ты слишком осторожен. Если нельзя писать: о РОВСе, демократиях, социалистах (Чоловский ведь тоже бегал с доносами), солидаристах, сепаратистах, дворянах, Чухнове, то это означает, что нельзя толком писать ни о чем стоящем», — преувеличивал Солоневич. «Нужно рисковать и дальше — обдумав этот риск, принимая во внимание опыт. Газета всегда держалась яркостью и смелостью. Если она попадет в благонамеренный разряд — ее читать не будут. Кроме того, получается впечатление, что “им” все-таки удалось зажать мне рот — это губит весь “престиж”: напугали наконец… Нам нужно вернуться к стилистике “Голоса России”. Во всяком случае: даже если газету окончательно прихлопнут — у нас еще останется возможность что-то предпринимать. Если газета погибнет от умеренности и аккуратности — дело пропало окончательно: это будет означать, что человек исписался, струсил и что ничего больше тут ждать нельзя».

В этом споре оказался прав Дубровский. Искусно маневрируя, он не только сохранил газету, но и сумел отвлечь Солоневича от внутриэмигрантской полемики ровно настолько, чтобы он смог в последние годы жизни закончить свой капитальный труд, «Белую Империю», переименованную — по почину того же Дубровского — в «Народную Монархию».

Этому также способствовал переезд в Уругвай. Остановившись поначалу в чрезвычайно сыром и мрачном Монтевидео, Солоневич заболел и находился в подавленном состоянии, однако вскоре ему удалось благодаря помощи и заботам представительницы «Нашей страны» В. Е. Леонтович-Нееловой переехать в пос. Сориано, где он почувствовал себя

«точно в раю». «Сориано, конечно, дыра, но очень хорошая дыра», — писал Солоневич «Кваку», т. е. сыну Юрию. «Чудесный воздух, тишина. Нашли для нас две квартиры и жду Рутику, чтобы решить, в которую. Мы стоим у какого-то порога. Нужно во что бы то ни стало сохранить бодрость духа. Мой сейчас совершенно бодр и я внутренне так спокоен, как не было уже очень давно».

Болезнь скосила Солоневича в расцвете творческих сил.

Иван Солоневич

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ

ОТ АВТОРА

Эта работа — под ее первоначальным названием «Белая Империя» — была написана во время войны. Ее объем — около полутора тысяч страниц. Выпуск всей этой работы оказался невозможным по чисто финансовым соображениям.

Сейчас она выпускается в сильно сокращенном виде, и поэтому, в частности, большинство документальных доказательств в ней опущено. Первоначальный вариант названия изменен, — во-первых, потому, что в 1941 году группа шанхайских штабс-капитанов выпустила под тем же названием сборник моих статей размером в 200 страниц, и, во-вторых, «Белая Империя» создает ассоциацию с Белым движением, с которым Народно-монархическое или Народно-имперское движение связано только хронологически: Белое движение монархическим движением не было.

Переработка первого варианта этого труда шла в исключительно трудных внешних условиях — отсюда некоторая неровность изложения. Однако мы стоим на пороге мировой войны против коммунизма, и нашей эмиграции — и старой, и новой, и будущей — необходимо дать хотя бы самые основные положения о русской монархии — не о том пугале, которое из этой монархии сделали ее враги, а о том, чем она была в действительности нашей исторической жизни.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ

Всякая разумная программа, предлагаемая **данному** народу, должна иметь в виду **данный** народ, а не абстрактного homo sapiens[1], наделяемого теми свойствами, которыми угодно будет наделить его авторам данной программы. Так, все социалистические программы наделяют всех людей теми свойствами, которые отсутствуют у почти всех людей, — может быть, и к сожалению. Чувства семьи, собственности, нации, по практической проверке историей, оказались реально существующими. Отсюда распад всех «интернационалов», начавшийся с Первой же мировой войны. Отсюда же террористический режим социализма — всякого социализма в действии, не встретившего предполагавшихся коллективистических инстинктов человечества.

Русская интеллигенция, традиционно «оторванная от народа», предлагает этому народу программы, совершенно оторванные от всякой русской действительности — и прошлой, и настоящей. Эта же интеллигенция дала нам картину и прошлого, и настоящего России, совершенно оторванную от всякой реальности русской жизни — и оптимистической, и пессимистической реальности. Именно поэтому русская общественная мысль шата-

[1] Человек разумный (*лат.*). — *Здесь и далее за исключением особо оговоренных случаев примечания редактора.*

ется из стороны в сторону так, как не шатается никакая иная общественная мысль в мире: от утопических идей второго крепостного права до столь же утопических пережитков первого. Коммунистическая революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумения интеллигенции найти с ним общий язык и общие **интересы**, нежелание интеллигенции рассматривать самое себя, как слой, подчиненный основным линиям развития русской истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности.

Народно-монархическое движение есть единственное в эмиграции политическое движение, которое базируется на исключительно русской почве, не имеет никаких мировых претензий и отрицает всякие мировые рецепты. Оно неприемлемо и не может быть приемлемо для подавляющего большинства эмиграции, ибо эта эмиграция есть результат всех предшествующих деяний всех ее руководящих кругов, — правых, может быть, еще в большей степени, чем левых. Народно-монархическое движение не есть движение «правое», как не есть и «левое», оно строится в ином измерении, не в двухмерном мире, где все поделено на «правое» и «левое», а в трехмерном — где есть и более высокое, и более глубокое. Народно-монархическое движение имеет общие точки с правыми, ибо требует мощной царской власти, но смыкается и с левыми, ибо имеет в виду свободу и интересы народа, массы, а не сословия или слоя. Но если «правые» видят в монархии интересы сословия и слоя, то «левые», по существу солидаризируясь с «правыми», видят в монархии «дворянско-помещичий строй», следовательно — свободу и интересы народа, принесенные в жертву интересам сословия и слоя. Народно-монархическое движение видит в монархии, — в полном соответствии с историческими фактами бытия России — единственную исторически проверенную гарантию и свободы, и интересов народных масс страны.

Поэтому Народно-монархическое движение считает необходимым установить прежде всего **ФАКТЫ**. Установление

фактов вызовет отвращение в одинаковой степени и «правых», отождествляющих интересы России с их собственными интересами, и «левых», видящих в тысячелетней истории сплошное заблуждение, исправить которое призваны немецкая, французская или английская философия.

Никакое здание не может быть построено без учета «сопротивляемости материалов». Из дерева нельзя выстроить десятиэтажного дома, и из кирпича — сорокаэтажного. Русская история имеет дело с совершенно определенным материалом и с совершенно определенным планом стройки. Всякая переоценка или недооценка материала, всякий извне взятый план приводит к логически неизбежной катастрофе. Коммунистическая революция есть исторически обоснованная катастрофа, и Народно-монархическое движение, отдавая должное героизму борцов с коммунизмом, обязано: а) констатировать тот факт, что эти бойцы потерпели неудачу и б) объяснить эту неудачу логически, — совершенно независимо от того, как будет воспринято это объяснение. Нам нужны не льстивые слова, а суровый диагноз. Прежде чем будет поставлен диагноз — нельзя предлагать никаких методов лечения. «Народная монархия» и является в первую очередь попыткой **диагноза**.

ЧТО ЕСТЬ ИМПЕРИЯ?

Каждый народ мира стремится создать свою культуру, свою государственность и, наконец, свою империю. Если он этого не делает, то не потому, что не хочет, а потому, что не может. Или потому, что понимает недостаточность своих сил. Оценивать это свойство с моральной стороны нет никакого смысла: оно проходит красной нитью через всю мировую историю. Но можно морально оценить и методы, и результаты имперской стройки. Можно также установить тот факт, что империя оказывается тем крепче, чем удобнее чувствуют себя все населяющие ее народы и племена.

Империя Российская есть самое старое государственные образование Европы. Она, как единое национальное целое, практически возникла как империя Рюриковичей, и национально — как Русская земля, **единая** земля для всех авторов всех наших летописей.

Сегодняшний возраст империи Российской приблизительно равен возрасту Римской империи — около 11 веков. С той только разницей, что Римская империя — за исключением Карфагена — не имела никаких соперников и что в последние 300 лет своего бытия она распадалась и экономически, и политически, и психологически. Современная Россия — даже при коммунизме — громит всех своих конкурентов и не показывает решительно никаких признаков внутреннего распада: коммунизм — это болезнь. Но коммунизм — это не дряхлость.

«Империя — это мир». Внутренний национальный мир. Территория Рима до империи была наполнена войной всех против всех. Территория Германии — до Бисмарка — была наполнена феодальными междунемецкими войнами. На территории империи Российской были прекращены всякие междунациональные войны и все народы страны могли жить и работать в любом ее конце. И если империя Российская была беднее, чем другие, то не вследствие «политики», а вследствие географии: трудно разбогатеть на земле, половина которой находится в полосе вечной мерзлоты, а другая половина в полосе вечных нашествий извне.

ЧТО ЕСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ?

Каждый народ мира, в особенности каждый великий народ, имеет свои, неповторимые в истории мира пути. Не существует никаких исторических законов развития, которые были бы обязательны для всех народов истории и современности. Русская государственность, русская национальность и русская культура идут своим собственным путем, впитывая в себя ряд чужеродных влияний, но не повторяя путей никакой иной государственности, нации и культуры истории и современности. Империя Рюрикови-

чей в начале нашей истории так же своеобразна и так же неповторима, как самодержавие московских царей, как империя Петербургского периода, или даже как сегодняшняя советская власть.

Поэтому никакие мерки, рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы то ни было извне, неприменимы для путей русской государственности, русской национальности и русской культуры.

Тем более что русская национальность, государственность и культура с чрезвычайной степенью резкости отражают индивидуальные особенности русского народа, принципиально отличные от индивидуальных особенностей и Европы, и Азии. Россия — не Европа, но и не Азия и даже не Евразия. Это — просто — Россия. Совершенно своеобразный национальный государственный и культурный комплекс, одинаково четко отличающийся и от Европы, и от Азии. Основные черты этого комплекса достаточно отчетливо определились раньше, чем европейское влияние или азиатские нашествия могли наложить на Россию свой отпечаток. На эти черты никакого влияния не оказала и Византия. Византийская империя была империей без нации. Русская империя со времен «начальной летописи» строилась по национальному признаку. Однако, в отличие от национальных государств остального мира, русская национальная идея всегда перерастала племенные рамки и становилась сверхнациональной идеей, как русская государственность всегда была сверхнациональной государственностью, — однако при том условии, что именно **русская** идея государственности, нации и культуры являлась, является и сейчас определяющей идеей всего национального государственного строительства России. И хотя уже не в первый раз в истории России эта идея искалечена иностранной интервенцией — она все-таки остается определяющей идеей.

Ни одна нация в истории человечества не строила и не постигла такой государственности, при которой все втянутые в орбиту этого строительства нации, народы и племена чувствовали себя — одинаково удобно или неудобно, — но так же удобно или неудобно, как и русский народ. Если было удоб-

но — было удобно всем, если было неудобно — то тоже всем. Это есть основная черта русского государственного строительства. Она может называться интернационализмом, космополитизмом, универсализмом или «вселенскостью», но она проходит определяющей чертой через всю русскую историю.

РОССИЯ В СРАВНЕНИИ...

Нашего национального **Я** мы не можем понять без сравнения его с иными национальными индивидуальностями. Поэтому прежде, чем оценивать и определять стройку русской государственности, мы обязаны сравнить ее с остальными мировыми стройками.

Если мы припомним все великие исторические явления, то мы установим следующее.

Великая культура Эллады выросла на крохотном привеске к Балканскому полуострову, поделенному на десяток микроскопических государств. Этой культурой — философией, поэзией, наукой, скульптурой — до сих пор вдохновляется весь современный культурный мир. Но в области права и государственности Эллада не дала ничего.

Великая культура Рима дала только право и государственность; все остальное — религия и философия, наука и даже поэзия, были рабски скопированы с Эллады. Рим строил свою империю на недостаточной количественно, но необычайно высокой качественно человеческой базе; эта база была исчерпана войнами и разжижена иммиграцией. Рим пал.

На обломках великой Римской империи разместились в качестве победителей германские племена, внесшие совершенно неизвестный древнему европейскому миру принцип — принцип феодализма: суверенных прав всякого крупного землевладельца. Этот принцип раздробил Европу — дробит ее и до сих пор. Все усилия «великих европейцев», начиная с Карла Великого — через Габсбургов, Ришелье, Наполеона, Гитлера и кончая Уинстоном Черчиллем, не смогли и не смогут преодолеть этого раздробления.

Феодальный принцип во время так называемых крестовых походов раздробил также Византийскую империю. Он же привел к монгольскому игу в России: Ярослав «Мудрый» раздробил страну на феодальные уделы, и удельные князья были разбиты поодиночке.

Феодальный принцип есть по существу принцип мещанства, и он дольше всего удержался в стране, в которой мещанство является определяющей характеристикой, — в Германии (О. Шпенглер, Г. Кайзерлинг и др.).

Ввиду этого империи мирового масштаба могли вырасти только вне Европы: в Англии, где островное положение страны позволило ей раньше континентальной Европы преодолеть свой феодальный провинциализм, но все-таки не до конца; в России, где не было психологических предпосылок для феодализма и — в самое последнее время — в САСШ, где как-то выплавляется еще незаконченный, но новый тип государственности, нации и культуры.

Европейские попытки стройки мировой империи — в Европе и вне Европы — окончились полным провалом: заокеанские владения Испании и Португалии, Франции и теперь даже Англии ушли от своих метрополий и в свою очередь раздробились на ряд мелких государственных образований.

Мы сейчас присутствуем при конце мировой Великобританской империи, но мы также присутствуем при конце Европы, как культурного и политического гегемона мира. А наши «идеологи» все еще пытаются заимствовать из Европы все те идеи, которые Европу уже привели к концу.

Отношения наций-строительниц к нациям, народам и племенам, втянутым в орбиту данного государственного строительства, определяются следующими историческими фактами.

Эллада. Иноплеменники — это варвары, метеки, периеки и илоты — неравноправные гости или побежденные туземцы.

Рим. Граждане Рима, разделенные на две категории, — патриции и плебс, «союзники» — самых различных категорий, и побежденное население колоний.

Германцы. Завоеванные нации превращались в рабов, их земля передавалась завоевателям, — более или менее одинаково — при завоевании Рима, Византии, Прибалтики или, правда, только в проекте, — Юга России (проект организации Wehrbauer'ов[2]). Даже и немцы — при Гитлере — делились на ряд неравноправных групп: Reichsdeutsche, Auslandsdeutsche, Volksdeutsche[3].

Великобритания. Вооруженное или невооруженное ограбление всего, что плохо лежит: и Ирландии, и Индии. Обогащение нации-победительницы всякими путями — и торговлей рабами, и торговлей опиумом — с поддержкой этой коммерции также и вооруженной силой.

Франция. Полная неспособность к какой бы то ни было колонизационной деятельности, потеря почти всех колоний, предельно выраженный национальный шовинизм («a bas les metecs!»[4]) и все растущая национальная слабость.

Испания. Почти полное истребление побежденных народов и полный распад империи.

Россия. Никаких следов эксплуатации национальных меньшинств в пользу русского народа. Никаких следов порабощения финских племен времен освоения волжско-окского междуречья. «Беспощадная эксплуатация Кавказа», при которой проливалась русская кровь, а миллионерами и министрами становились Лианозовы, Манташевы, Гукасовы, Лорис-Меликовы — и даже Сталины, Орджоникидзе и Берии. Один из результатов: Рим и Лондон богатели за счет ограбления своих империй, центр русской государственности оказался беднее всех своих «колоний». Но — оказался и **крепче**.

[2] Вооруженное крестьянство *(нем.)*.
[3] Имперские германцы, эмигрировавшие германцы, этнические германцы *(нем.)*.
[4] Долой метеков! *(фр.)*.

ЧТО ЕСТЬ ДУХ?

Каждая государственность мира, и в особенности каждая великая государственность мира, отражает в себе основные психологические черты нации-строительницы. Ни климат, ни география здесь не играют никакой роли. Греки Перикла жили в тех же географических и климатических условиях, как и греки Венизелоса, легионеры Рима — в тех же условиях, как и лаццарони времен так называемой итальянской монархии.

Итальянское Возрождение повторило основные черты Древней Греции, но не повторило никаких черт Древнего Рима. Приморское положение и торговые пути Древней Греции не создали никакой империи, — приморское положение и торговые пути Англии создали Великобританскую империю. При полном отсутствии и приморского положения, и торговых путей была создана Российская империя.

Ни реки, ни горы, ни моря не играют никакой роли. На Дунае и его притоках существуют: Германия, Чехия, Венгрия, Сербия, Болгария и Румыния. На Ла Плате существуют: Уругвай, Аргентина, Парагвай и Боливия — четыре отдельных государства, имеющих один и тот же язык, одну и ту же религию и почти одно и то же население. Швейцария, перегороженная десятками горных хребтов, составляет одну государственность. Французская нация без всяких хребтов включена в состав Франции, Бельгии и Швейцарии.

В формировании нации религия играет второстепенную роль: Азия остается верна буддизму во всех его оттенках, тюркско-арабские народы — мусульманству и Европа — христианству; мировые религии очень точно отграничены расовыми границами, а в среде европейской и христианской культуры — национальными: романские народы остались — безо всякого исключения — верны католицизму, германские — с некоторыми исключениями — перешли в протестантизм, славяне, с двумя исключениями, остались православными. Однако: одно и то же православие исповедуют психологически совершенно различные народы: и русские, и румыны, и греки, и армяне,

и даже абиссинцы. Таким образом, **одна и та же** религия, приложенная к **различному** психологическому материалу, оставила этот материал таким, каким он был и раньше. Языческая Русь была Русью и до Владимира, и после него. Языческая Русь была такой же терпимой, «космополитической», «имперской», как и Русь московских царей или всероссийских императоров. Можно установить культурное, колонизационное и государственное влияние православия на Россию — но это влияние было только результатом национальных особенностей страны. **Та же** религия в иных национальных условиях не дала никаких ни культурных, ни колонизационных, ни государственных достижений.

Факторы, образующие нацию и ее особый национальный склад характера, нам совершенно неизвестны. Но факт существования национальных особенностей не может подлежать никакому добросовестному сомнению. В рядах родственных наций, связанных родством исторических судеб и прочего, мы можем найти совпадающие черты, — как можем найти совпадающие черты в каждом человеке, в каждом млекопитающем, в каждом позвоночнике и т.д. Но в данном случае ни методы питания новорожденных ни число позвонков нас не интересует. Что же касается национальных особенностей, то среди нас уже веками живут две нации совершенно своеобразного склада: цыгане и евреи.

Цыгане не интересуются вовсе ни республикой, ни монархией, ни социализмом, ни капитализмом. Они кочуют. На телегах — в России, в лодках — в Норвегии, или «фордах» — в Америке. Наши идеалы — не для них. Мы для них

> В неволе душных городов
> Главы перед идолами клоним
> И просим денег и цепей.

Сквозь нашу культуру они проходят, как привидение сквозь стену.

Еврейский народ за все время своего рассеяния не сделал ни одной попытки заселить, «освоить», колонизировать тогда

в изобилии пустовавшие земли. При «еврее королей» Ротшильде, как и при короле евреев Соломоне, он остается все тем же: народом-посредником. И сегодняшний Израиль — это не государство, это только один из видов эвакуации Ди-Пи[5]. Если мир придет в порядок, статус Ди-Пи будет сдан в архив истории, и нынешнее население Израиля вернется на старые места и к старым профессиям.

Было бы откровенно глупо убеждать цыган в преимуществах «функциональной собственности» и евреев в желательности стройки Еврейской империи. Однако: почему-то не считаются откровенной глупостью попытки навязать России политические порядки, выросшие из западноевропейского феодализма. Почему, в самом деле, мы должны копировать французов, а не цыган? Или немцев, а не Израиль? Или Великобританию, а не Бечуанлэнд?

Народно-монархическое движение исходит из той аксиомы, что Россия имеет свои пути, выработала свои методы, идет к своим целям и что поэтому никакие политические заимствования извне ни к чему, кроме катастрофы, привести не могут.

Так, для Менделеева было бы катастрофой, если бы его заставили переменить лабораторию на сцену, или для Шаляпина, если бы его заставили переменить сцену на лабораторию.

***

Народно-монархическое движение исходит также из той аксиомы, что решающим фактором всякого государственного строительства является психология, «дух» народа-строителя, втягивающего в свою орбиту или торговым путем, как это делали англичане, или путем насилия, как это пытались делать испанцы, или путем **общности интересов**, как это делали мы. Географические и климатические условия могут помогать строительству, как они помогали Риму, и могут мешать строительству, как они мешают нам. Но эти условия не могут **ничего создать** и не могут **ничему помешать**. Из всех куль-

[5] От англ. «DP» — «displaced person» — перемещенное лицо, беженец.

турных стран мира Россия находится в наихудших географических и климатических условиях, — и это не помешало стройке империи. Из европейских стран Франция находится в самых лучших условиях, и у нее не вышло ничего.

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА

Психология народа не может быть понята по его литературе. Литература отражает только отдельные клочки национального быта — и, кроме того, клочки, резко окрашенные в цвет лорнета наблюдателя. Так, Лев Толстой, разочарованный крепостник, с одной стороны, рисовал быт русской знати, окрашенный в цвета розовой идеализации этого быта, и, с другой — отражал чувство обреченности родного писателю слоя. Ф. Достоевский — быт деклассированного и озлобленного разночинца, окрашенный в тона писательской эпилепсии. А. Чехов — быт мелкой интеллигенции, туберкулезного происхождения. М. Горький — социал-демократического босяка. Л. Андреев — просто свои алкогольные кошмары. Алкогольные кошмары Эдгара По никто не принимает за выражение североамериканского духа, как никто не принимает байроновский пессимизм за выражение великобританской идеи. Безуховы и Волконские могли быть. Каратаевых и Свидригайловых быть не могло. Плюшкины могли быть, как могли быть и Обломовы, но ни один из этих героев никак не характеризует национальной психологии русского народа.

Русскую психологию характеризуют не художественные вымыслы писателей, а реальные факты исторической жизни.

Не Обломовы, а Дежневы, не Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не «непротивление злу», а Суворовы, не «анархические наклонности русского народа», а его глубочайший и широчайший во всей истории человечества государственный инстинкт.

Всякая литература живет противоречиями жизни, — а не ее нормальными явлениями. Всякая настоящая литература

есть литература критическая. В тоталитарных режимах нет критики, но нет и литературы. Литература всегда является кривым зеркалом народной души. Наша литература в особенности, ибо она родилась в эпоху крепостничества, достигла необычайной технической высоты и окрасила все наши представления о России в заведомо неверный цвет. Но в такой же цвет окрасила их и русская историография.

Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо — в особенности плохо знают ее профессора русской истории. Это происходит по той довольно ясной причине, что именно профессора русской истории рассматривали эту историю с точки зрения западноевропейских шаблонов. Оценка же русской истории с точки зрения этих шаблонов правильна в такой же степени, как если бы мы стали оценивать деятельность Менделеева с точки зрения его голосовых связок. Или: культуру Эллады с точки зрения империи. Или империю Рима с точки зрения Праксителя. Или промышленность САСШ с точки зрения цыганского табора. Русские историки пытались измерить версты килограммами и пуды метрами. Запутались сами, запутали и нас. В результате всего этого мы в эмиграции не имеем ни одного политического течения, которое было бы русским — не по названию, а по смыслу.

ПОЛИТИКА ПОДКИНУТОГО СЛОЯ

Русская политическая мысль может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских предпосылок — исторических и пр. Универсальной политической мысли не может быть, как не может быть политической мысли, в равной степени применимой для Готтентотии и для Великобритании. Можно говорить об общности политической судьбы и политической психологии Швеции и Норвегии, но нельзя говорить об общности такого гигантского явления, каким является Россия, с каким бы то ни было иным историческим явлением мира. Между тем вся русская

политическая мысль является результатом заимствованных извне шаблонов мышления, фразеологии, терминологии и политики.

Всю сумму оттенков русской политической мысли можно разделить на три основные группы, в которые будут укладываться все имеющиеся в наличии политические партии России.

А. УТОПИЧЕСКАЯ ГРУППА

Основное положение: обобществление средств производства, — т.е. отрицание частной собственности и частной инициативы. Исходные теоретические пункты: у марксистов — Карл Маркс со всеми его предшественниками. У «умеренных социалистов», типа эс-эр, — Фурье, Сен-Симон и пр. У солидаристов — Шпан, Сартр и прочий «персонализм».

У марксистов «орудия производства» подвергаются социализации, у умеренных социалистов — огосударствлению, у солидаристов они становятся «функциональной собственностью». Во всех трех случаях это означает диктатуру бюрократии, — социалистической или функциональной, — это, конечно, совершенно безразлично. Практически безразлично и то, из какого именно гнилого яйца в инкубаторе умирающей Европы высижена та или иная разновидность обобществления.

Это — самая сильная группа среди русской интеллигенции и группа в наибольшей степени «оторванная от народа». Группа, наиболее «убежденная» в своей правоте и наиболее способная к проявлению крайнего насилия над любой волей и над любыми интересами народа. Психологически — это тип людей, которые шли на собственную смерть, чтобы во имя «освобождения народа» убить его Царя-Освободителя.

Ее социальный состав: от князей и миллионеров (Кропоткин, Гоц, Бухарин) до профессиональных уголовников (Котовский и пр.). По самому своему существу эта группа должна была бы быть объектом психиатрии.

Б. РЕСПУБЛИКАНСКО-БУРЖУАЗНАЯ ГРУППА

Основное положение: перенесение в Россию парламентарного образа правления, как уже «проверенного опытом передовых государств». Социальный состав: профессора, проведшие всю свою жизнь над зубрежкой этого опыта и страдаю-

щие клинической степенью близорукости. Только клинической степенью близорукости можно объяснить тот факт, что полный провал «проверенного опытом» парламентарного управления в России, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции (деголлизм) называется «опытом передовых государств». Этот опыт находится, можно сказать, под самым носом, или даже еще ближе. Парламентарные методы управления привели к полному политическому, экономическому и моральному маразму почти все страны Европы, и мир стремится к авторитарному правительству. Если исключить мелкие страны, находящиеся вне больших исторических путей и англосаксонские государственные образования, отделенные от этих путей проливами или океанами, то почти весь остальной мир стремится к авторитарному правительству. Диктатура — военная, как в Испании, партийная, как в СССР, Германии и пр., профессорская, как в Португалии, — это есть только изнанка естественного стремления всякого человека к какой-то определенности. Отринув определенность монархии, три четверти человечества пошли искать определенности в диктатуре — и вместо хлеба получили камень. Но профессорская группа этого, конечно, не видит.

Философские корни группы: позитивисты Огюста Конта. Идеал — буржуазная республика неизвестного типа. Во Франции их было три, сейчас доживает свой век четвертая и вырисовывается военная диктатура ген. де Голля. «Опыт передовых стран Европы» пока поддерживается миллиардами и оружием САСШ.

Это самая слабая группа эмиграции. Кроме эрудиции, она не имеет ничего. Ее эрудиция ничего не стоит. Группа будет бесследно смята между утопизмом и консерватизмом, как ее предшественники были бесследно смяты в 1917 году.

В. ПРАВАЯ, КОНСЕРВАТИВНАЯ, УСЛОВНО МОНАРХИЧЕСКАЯ ГРУППА

Та, которая больше всего оперирует термином «русскость» и которая представляет собой слой наиболее удаленный от интересов русского народа. Ее социальный состав: дворянст-

во и служилый слой. Ее философские корни: никаких. Ее историческое происхождение: заимствованное непосредственно из Польши крепостное право, период которого группа считает периодом величайшего «расцвета России». Отсюда — Петр I, символизирующий начала шляхетства и рабства, и Екатерина II, тоже только символизирующая апогей и того и другого, названы «Великими». Александр II такого отличия не получил.

Это — наибольшая количественно группа и самая слабая культурно. Она «признает» монархию и выполняет монархические обряды. Но если можно будет обойтись без монархии, — например, на путях военной диктатуры, — она постарается обойтись.

Однако именно из служилого элемента этой группы откололся «штабс-капитанский элемент», который и является реальным автором этой работы. Ибо определяет не личность, а среда, и не автор, а история. Если для данных положений не найдется среды, или если они не будут соответствовать истории, — они останутся плодом литературных ухищрений отдельного графомана. Если найдется среда, то эти же положения могут стать исходным пунктом к нашему возвращению к себе, домой, на родину — после 250 лет и философских, и физических скитаний по философическим и физическим задворкам Европы. Все зависит от того, найдется ли у нас — и в эмиграции, и в России — слой, который смог бы покончить с вековой «оторванностью интеллигенции от народа» и стать правящей и культурной элитой, выражающей национальную индивидуальность России, а не случайные находки в подстрочных примечаниях к европейской философии и не собственные сословные или классовые вожделения.

ОТОРВАННОСТЬ ОТ НАРОДА

Эту фразу, в том или ином ее варианте, повторяет весь русский образованный слой, начиная с Карамзина: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть гражданами России». Эта

«оторванность от народа» или «потеря русского гражданства» оценивается нами, как некая абстракция, очень далекая от нужд и забот сегодняшнего дня. Нечто вроде четвертого измерения геометрии Лобачевского или квадратного корня из минус единицы. Однако факт русской революции вызвал такую сумму нужды и забот, горя и крови, что об этой «абстракции» стоило бы подумать совершенно всерьез.

«Оторванность от народа», «пропасть между народом и интеллигенцией», «потеря русского гражданства» и прочее заключается вот в чем: **интересы русского народа — такие, какими он сам их понимает, заменены: с одной стороны, интересами народа — такими, какими их понимают творцы и последователи утопических учений, и, с другой стороны, интересами «России», понимаемыми преимущественно как интересы правившего сословия.**

Одна сторона предполагает, что Карл Маркс лучше знает, в чем заключаются интересы русского народа, чем сам этот народ, и, с другой стороны, интересы поместного слоя кое-как прикрываются интересами «России», «славой русского оружия», блеском Двора, экзотичностью «потешных марсовых полей» и прочим в этом роде. Срединную позицию занимают люди, которые полагают, что Бенжамен Констан, или Леон Буржуа, или кто-нибудь в этом роде — они-то и знают, чего именно хочет русский народ, или, точнее, что именно ему нужно и какими путями достичь реализации желаний или нужд русского народа. Один из частных, но химически наиболее чистых примеров такой рецептуры представляет собою поездка немца Гастхаузена, «открывшего» русскую общину и лет на 80 затормозившего ее ликвидацию.

Все эти течения не отдают себе отчета в том, что русский народ — помимо чисто физиологических потребностей, свойственных всем людям, всем млекопитающим, всем позвоночным, и т.д., — имеет совершенно определенные, ему одному свойственные идеалы, цели и методы. Но так как этот народ не имеет интеллигенции, образованного класса, правящего класса, ведущего класса, который отражал бы не воздушные замки марксизма и не растреллиевские дворцы дворянства,

а реальные устремления русских изб, то русский народ не имеет адекватного ему национального, культурного и политического оформления, потерянного в XVIII веке.

Русская интеллигенция должна быть перевоспитана в русском духе. И так как это перевоспитание почти невозможно, то дело идет о создании новой русской интеллигенции, которая, конечно, не может родиться по заказу. Если перевоспитание одного человека, по крайней мере взрослого человека, есть вещь практически невозможная — «перевоспитание» тысячелетней нации есть совершеннейший абсурд.

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Русская историография за отдельными и почти единичными исключениями есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения. Кроме того, эта историография возникла в век «диктатуры дворянства» и отражает на себе его социальный заказ — и сознательно, и также бессознательно.

Таким образом, в русское понимание русской истории был искусственно, иногда насильственно, введен целый ряд понятий, которые, по формулировке В. О. Ключевского, «не соответствовали ни русской, ни иностранной действительности», т.е. не соответствовали никакой действительности в мире: пустой набор праздных слов, заслоняющий собою русскую реальность. С одной стороны, питомцы западноевропейских кафедр, кое-как переводившие «иностранные речения» на кое-какую французско-нижегородскую мову, с другой стороны — питомцы дворянских усадеб, почти начисто забывшие русский язык. Пушкинская Татьяна «изъяснялася с трудом на языке своем родном».

Социальный заказ победившего социального слоя, понятия, не соответствовавшие никакой действительности в мире, язык, в котором не было места для обозначения чисто русских явлений, — все это привело к тому, что любой труд по истории России переполнен сплошными внутренними противоречиями —

не говоря уже о полном несоответствии этих трудов с элементарнейшими фактическими данными русской истории.

Левые историки предпочитают сообщить своим читателям заведомую неправду. Правые вынуждены вилять. В качестве истинно классического примера последнего метода научно исторической оценки я приведу мнение о Петре I Льва Тихомирова — теоретика и историка русского монархизма.

На стр. 161 второго тома своей «Монархической государственности»[6] Л. Тихомиров пишет: «Я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в частностях, а по существу делал именно то, что было нужно».

Итак — «гений». И кроме того, «гений», связь которого с нацией была «исключительно тесной». Так отдает Лев Тихомиров дань официальной фразеологии. И, отдав дань, делает некоторые выводы. «Учреждения Петра были фатальны для России и были бы еще вреднее, если бы оказались технически хороши. К счастью, в том виде, в каком их создал Петр, они были еще неспособны к сильному действию».

И еще дальше: «Исключительный бюрократизм разных видов и полное отстранение нации (а где же «исключительная связь с нацией»? — *И. С.*) от всякого присутствия в государственных делах делают из якобы "совершенных" учреждений Петра нечто в высокой степени регрессивное, стоящее и по идее, и по вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных учреждений» (т. 2, стр. 163).

Итак: «реформатор», создавший учреждения бесконечно худшие, чем прежние. «Гений», задумавший «фатальные учреждения», «гений», у которого, слава Богу, не хватило гениальности сделать эти «учреждения» «технически хорошими». В. Ключевский горестно повествует о том, как все послепетровские правительства пытались как-то выпутаться из «петровской традиции» и противоречит себе так же, как и Л. Тихомиров. С одной стороны, «гений», с другой — «хороший плотник, но плохой Государь». О стратегическом «гении» и говорить нечего.

[6] Издание Технического Центра Зарубежных Организаций Русской Национально-Мыслящей Молодежи. Мюнхен, 1923. — *Прим. автора.*

Умели ли Л. Тихомиров и В. Ключевский логически мыслить? Надо полагать, умели. Могли ли они не заметить их общей оценки «гения» и тех примеров и выводов, которые сами же они делают? Вероятно, — замечали. Но, с одной стороны, был «социальный заказ» и, с другой, — какая-то тяга и к правде и к логике. Вот откуда и идут логические несообразности наших историков.

Для Народно-монархического движения эпоха Петра и его «реформ» является точкой, точкой отталкивания: именно в эту эпоху было начерно оформлено идейное завоевание России Западом и физическое — шляхетством. Оно было начато ДО Петра и закончено после него, обнимая собою промежуток почти в 200 лет. По общечеловеческому тяготению ко всякой символизации — в центре этого завоевания поставлена совершенно вымышленная фигура «гиганта на бронзовом коне» по А. С. Пушкину, по Л. Толстому «зверя» и пр. — толстовская характеристика имеет совершенно непечатный характер. Самое поверхностное сопоставление самых общеизвестных данных, связанных самой элементарной логикой, показывает, что если сам Петр I и играл в этом какую бы то ни было роль, то чисто пассивную роль прикрытия над теми социальными силами, которые после разгрома патриархата при патриархе Никоне занялись разгромом монархии при Петре и в XVIII веке достигли почти полного успеха. Л. Тихомиров так и пишет: «Монархия уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа» (стр. 112).

Таким образом, получается несколько необычная ситуация: «ум и совесть монархического сознания народа» «не признавали законом» то, что приказывал монарх. Это еще одна иллюстрация к тезису о том, что неограниченной власти не бывает вообще: **никогда и нигде**.

Тот же Л. Тихомиров на основании данных, проверенных его **собственными** исследованиями, утверждает, что даже турки, завоевав Византию, не обращались с Православной Церковью так, как обращались с нею при Петре.

Это было попыткой завершения разгрома русской Церкви, начатого при Никоне, как весь XVIII век с его цареубийствами был попыткой окончательного разгрома русской монархии, начатого при Петре. И если обе попытки удались не совсем, то только благодаря «уму и совести монархического сознания народа». Именно на это, «на ум и совесть народа» и возлагает все свои надежды Народно-монархическое движение: никаких иных надежд у него нет. И нет никаких расчетов на какую бы то ни было традицию последних 200 лет — ни на правую, ни на левую. Именно эта традиция первого же «Царя-Освободителя» — Павла Петровича — сделала сумасшедшим, Екатерину II произвела в «Великие», пугачевское восстание объявила «бессмысленным», Николая Павловича обозвала Палкиным, а предшественников Ленина и Дзержинского — Муравьева и Пестеля — почти святыми. Социальный слой «с душою прямо геттингенской» и с телом рязанско-крепостническим определил собою полную оторванность русского кое-как мыслившего слоя от каких бы то ни было русских корней. И кое-как мыслившие люди занялись поисками чего попало и где попало.

Поэтому всякая попытка определить «пути России», исходя из путей русской интеллигенции, есть попытка совершенно безнадежная по ее явной **внутренней порочности**. На складе русских интеллигентских мыслей можно найти решительно все что угодно: от монархизма до анархизма и от аскетизма до скотоложества. И из этого чего угодно можно сконструировать какую угодно комбинацию, даже и персоналистическую: бумага терпит все. Бумага претерпела даже и А. Розенберга, опиравшегося на толстовское непротивление злу насилием и на достоевскую любовь к страданиям. Такие жертвы непротивления и любви, какими оказались: монголы, поляки, турки, шведы, французы и пр., как-то исчезли из бумажного поля зрения. Как ни странно это звучит, А. Розенберг по своему образованию был типичным русским интеллигентом, по-русски говорил не хуже нас с вами и русскую историческую литературу знал лучше, чем знаем мы с вами. Он сделал из нее те логически правильные выводы, которые и привели его на виселицу. Теоретикам непротивления злу

не следует заниматься медвежьей охотой. Потом как-то оказывается, что Льва Толстого медведь и вовсе не читал...

Мы, в эмиграции, переживаем «снижение сюжета»: вчерашние трагедии становятся сегодняшним фарсом. Философия Маркса была трагедией, философия Левицкого — это только фарс. Карл Маркс имел за собою традицию почти трех тысяч лет. Сейчас эмиграция строит кумиры и подобия их на основаниях трехдневной традиции — на абсолютно пустом месте, лишенном мыслей и людей: на чем попало. Берут бревно и делают из него кумира. Берут палец и высасывают из него «идеологию», достают ротатор и становятся вождями.

Отсебятины может быть сколько угодно. Между двумя точками можно провести сколько угодно линий. Однако кратчайшая может быть только одна. Оторванных от жизни и от почвы теорий может быть **сколько угодно**, фабрикацией именно таких теорий и занималась русская интеллигенция. Однако жизненная и почвенная теория может быть только одна. Вне самого тщательного и самого беспристрастного учета особенностей русской почвы, русской жизни и русской психологии не может быть построено никакое разумное предложение, которое мы могли бы дать России. Русская литература НЕ отражает ни русской почвы, ни русской жизни. Платонов Каратаевых, как исторического явления, в России **НЕ** существовало: было бы нелепостью утверждение, что на базе непротивления злу можно создать империю на территории 22 миллионов квадратных верст. Или вести гражданскую войну такого упорства и ожесточения, какие едва ли имеют примеры в мировой истории. Очень принято говорить о врожденном миролюбии русского народа, — однако таких явлений, как «бои стенкой», не знают никакие иные народы, по крайней мере, иные народы Европы. Очень принято говорить о русской лени, — однако русский народ преодолел такие климатические, географические и политические препятствия, каких не знает ни один иной народ в истории человечества. Принято говорить о гении Петра, однако любая фактическая справка не оставляет от этой гениальности камня на камне. Принято говорить

о безумии Павла Петровича, однако простое перечисление изданных им законов показывает в Павле Петровиче огромный государственный ум, видевший неизмеримо дальше, чем видели его современники. Принято говорить о Николае Палкине, а это был человек, который, ежедневно **рискуя жизнью**, **в тайных** комитетах подготовил все для освобождения крестьян, — его сын только закончил по существу уже построенное здание. Об императоре Николае II левые историки говорят как о бездарности, правые — как о кумире, дарования или бездарность которого не подлежат обсуждению. Однако ряд простейших фактических справок говорит о том, что даже и в области чистой стратегии Государь-император обладал неизмеримо большими творческими данными, чем все наши военспецы вместе взятые — и именно военспецы технически саботировали стратегическое творчество Государя-императора. Принято говорить о благорастворении воздухов в царской России — однако простой ряд самых простых фактических справок указывает на крайнюю неустойчивость внутриполитической жизни России. И если при Екатерине II, кроме пугачевского восстания, выступали с оружием в руках еще около 200 тысяч крестьян, то крестьянские беспорядки, почти не затухая, шли непрерывной волной — от Пугачева до Махно. А цареубийства — от «казни» царевича Алексея Петровича до убийства Царской Семьи в ипатьевском подвале.

РАСПЛАТА

Вся та политическая конструкция, которая возведена была в России в результате петровских реформ, была нерусской конструкцией и никак не устраивала русский народ. Советская революция есть логическое завершение или логический результат именно этой конструкции — результат полной оторванности «верхов» от «низов», «интеллигенции» от «народа», «разума» от «инстинкта» — или, если хотите, — «теорий» от «интересов». Мы, эмиграция, являемся и виновником, и результатом, и жерт-

вой этой конструкции. Оторванными от народа или, если хотите, — от его элементарнейших интересов, в его, этого народа, понимании этих интересов, — оказались и красная, и белая сторона нашей Гражданской войны. Как бы мы ни оценивали и фронтовой героизм Белых армий, и беспримерную дезорганизацию их тылов, но совершенно ясно одно: общего языка с народом ни одно из белых формирований не нашло. И никому не пришла в голову самая простая мысль: опереться на семейные, хозяйственные и национальные инстинкты этого народа, и в их политической проекции — на Царя-Батюшку, на Державного Хозяина земли Русской, на незыблемость русской национальной традиции, и не оставить от большевиков ни пуха ни пера.

Меня, монархиста, можно бы попрекнуть голой выдумкой. Однако выдумка эта принадлежит Льву Троцкому: «Если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг “Кулацкого Царя”, — мы не удержались бы и двух недель».

«Белогвардейцы», т.е. в данном случае правившие слои всех Белых армий, этого лозунга выбросить действительно не догадались. И по той простой причине, что если февральский дворцовый переворот, как и цареубийство 11 марта 1801 года, был устроен именно для того, чтобы устранить опасность «крестьянского царя», то было бы нелепо ставить ставку на «кулацкого царя». «Единая и неделимая» никаким лозунгом вообще не была — и по той чрезвычайно простой причине, что «делить Россию» большевики не собирались — это означало бы «деление» и советской власти. Зачем ей было бы делить самое себя?

В общем «общего языка с народом» не нашли ни красная, ни белая, ни левая, ни правая стороны.

Кое-кто из белых идеологов и сейчас еще повторяет мысль о том, что Белые движения не были поняты русским народом. Можно было бы поставить вопрос иначе: почему народ должен был понимать ген. Деникина, а не ген. Деникин понимать русский народ? Величины как-никак мало все-таки соизмеримые. Но у обеих боровшихся сторон были свои представления о народе, о его нуждах и о его интересах. Красная сторона оказалась более гибкой, более организованной — и ее рас-

плата еще не закончена. Эта расплата уже и сейчас более тяжка, чем расплата белых: из героев тогдашней красной борьбы к сегодняшнему дню уцелело очень немного. Кто из них уцелеет после «последнего и решительного»?

Русская масса воевала и против красных, и против белых. Разгром всех Белых армий произошел по совершенно одинаковым социальным причинам и почти на совершенно одинаковых географических рубежах и в одинаковых военно-стратегических условиях: по неумению привлечь на свою сторону народные массы при переходе армий из областей вольного хлебопашества на территории крепостного права, после превращения горсточек боевых энтузиастов в армии мобилизованной крестьянской молодежи. Обо всем этом Ленин говорил **заранее**. И Ленин, и Троцкий понимали смысл и стратегию гражданской войны безмерно яснее, чем понимали это Колчак и Деникин. Идейный фанатизм никак не препятствует холодному расчету, как религиозный фанатизм иезуитского ордена никак не препятствует самым холодным и трезвым расчетам его дипломатической практики.

Нам нужны горячее сердце и совершенно холодный ум. Сердце, которое действительно любило бы действительную Россию, а не наши выдумки о ней, и ум, который совершенно холодно взвесил бы все наши ошибки. То, что в военной среде именуется «доблестью», нас не интересует никак, ибо эта доблесть является общим множителем для всех разновидностей той «дроби», в которую превратилось прежнее русское единство: и для кронштадтцев, которые начали «завоевывать Россию» от Зимнего дворца, и для корниловцев, которые начали отвоевывать Россию из глуши кавказских предгорий. Обе стороны пережили приблизительно одинаковую судьбу. Кронштадтцы, вероятно, еще худшую: им и в эмиграцию попасть не удалось.

ПОЛИТИКА И ВОЙНА

Последние десятилетия истории России и Европы, наполненные сплошными войнами — обыкновенными и граждан-

скими, — привели к некоторой гипертрофии военной психологии. К гипертрофированному представлению о том, что война решается оружием, стратегией, гением, доблестью и пр. Все это фактически неверно: войны решаются политикой и только ею одной. Величайший полководец всей мировой истории Ганнибал, примеру которого тщетно пытаются подражать все полководцы, штабы и генералы мира, закончил свою деятельность полным разгромом своей собственной государственности, а свою собственную жизнь — изгнанием и самоубийством. Судьба Наполеона была не намного лучше. Подвиги А. В. Суворова, который в чисто военном отношении, по-видимому, стоял выше Наполеона, — но в отличие от Наполеона не имел самостоятельности, — ничего не изменили в судьбах России. От просто умного генерала Кутузова «величайший полководец Европы» едва ноги унес. Совершенно штатские люди Ленин и Троцкий разбили таких совершенно военных людей, как Деникин и Колчак: они с предельной степенью ясности и трезвости учли и свои, и чужие и сильные, и слабые стороны.

Хорошая стратегия — это только экономия народных сил. Если этих сил мало — не поможет **никакая стратегия**. Если этих сил много — то, в крайности, можно обойтись и вовсе без стратегии, — как обошелся Сталин во Вторую мировую войну или Кутузов — в Первую Отечественную. Германский генеральный штаб и германская армия обеих мировых войн были, по-видимому, квалифицированнее всех остальных в мире, — что не помешало Германии проиграть обе мировые войны.

Конечно, при наличии таких организационных, административных и стратегических данных, какими обладал Петр I, даже и со Швецией пришлось воевать 21 год, но окончательного результата не изменило и это: военный потенциал России и Швеции во всех его разновидностях был слишком уж неравен: Россия была сильнее Швеции приблизительно в десять раз. Только в исключительных случаях истории, — при почти полном равенстве сил и потенциала, — как было в Русско-японскою войну, хорошая стратегия могла бы изменить ее ход. Но и в данном русско-японском случае мы не в состоянии дать

оценку ни русской, ни японской стратегии, ибо японская стратегия маневрировала обутыми дивизиями, русское интендантство поставляло гнилые валенки, и войска толком маневрировать не могли. Русское же интендантство было продуктом социальных условий страны и воровало почти так же, как воровало оно во времена Крымской войны: в Крымскую войну был, кажется, поставлен мировой рекорд. Таким образом, «военный гений» определяется, в частности, и проблемой солдатского сапога. Если сапог плох, армия маневрировать не может.

Все удачные и неудачные стороны нашей политики последних двух столетий лежат вне воли, талантов, ошибок или доблести отдельных лиц. Все они с исключительной степенью точности укладываются в такую схему.

Старая московская, национальная, демократическая Русь, политически стоявшая безмерно **выше** всех современных ей государств мира, петровскими реформами была разгромлена до конца. Были упразднены и самостоятельность Церкви, и народное представительство, и суд присяжных, и гарантия неприкосновенности личности, и русское искусство, и даже русская техника (до Петра Москва поставляла всей Европе наиболее дорогое оружие). Старомосковское служилое дворянство было превращено в шляхетский крепостнический слой. Все остальные слои нации, игравшие в Москве такую огромную национально-государственную и хозяйственно-культурную роль: духовенство, купечество, крестьянство, мещанство, пролетариат (посад), были насильно отрешены от всякого активного участия во всех видах этого строительства. Потери русской культуры оказались на данный момент безмерно выше, чем ее потери от коммунистической революции.

Начисто оторванный от почвы, наш правивший слой постарался еще дальше изолировать себя от этой почвы и культурой, и языком, и даже одеждой. Лет за полтораста крепостного права старая русская культура была сметена и забыта. И когда в конце прошлого века на поверхность общественной жизни страны стал пробиваться «разночинец», то на месте этой культуры он не нашел уже ничего. Слабые попытки славянофилов

поднять общественный интерес к прошлому страны и народа утонули во всеобщем непонимании, да и они не были последовательны. Оба крыла нашего правящего слоя, и правое, и левое, искали идейных опорных точек где угодно, но только не у себя дома. Правое крыло базировалось на немцах министрах и на немцах управляющих: оно нуждалось в дисциплине, которая держала бы массы в беспрекословном повиновении. Левое крыло обращало свои взоры к французской революции и черпало оттуда свое вдохновение для революции и ГПУ. Центр пытался копировать Англию, забывая о том, что для английского государственного строя нужно и английское островное положение. Так шла история — «русская общественная мысль», русская история, но без России.

Достоевский в «Дневнике писателя» констатировал: «За последние полтораста лет сгнили все корни, когда-то связывавшие русское барство с русской почвой». Это было написано в семидесятых годах прошлого века. Процесс «гниения корней» прогрессировал все время. В эмиграции, в сущности, и гнить было уже нечему. Если в России «сгнили последние корни», то надо надеяться, что в эмиграции догнивают последние иллюзии о каких бы то ни было корнях.

Политическую раздробленность и политическое бессилие эмиграции Народно-монархическое движение считает логическим и историческим результатом того процесса, который привел Россию — к СССР, а эмиграцию — в эмиграцию. Ввиду этого Народно-монархическое движение по самому своему существу стоит совершенно ВНЕ каких бы то ни было иных эмигрантских группировок, с которыми оно может блокироваться или бороться, но от которых оно отличается принципиально.

Народно-монархическое движение пытается понять интересы русского народа такими, какими этот народ понимал их **САМ**, и это понимание Народно-монархическое движение извлекает не из рецептов иностранной философии и не из вымыслов отечественной литературы, а из поступков русского народа за всю его историческую жизнь. Этой исторической жизни русскому народу стыдиться нечего: в условиях беспри-

мерной в истории человечества «географической обездоленности», невиданных в той же истории иностранных нашествий, при хроническом перенапряжении всех огромных своих сил — этот народ создал самую великую и самую человечную в истории государственность.

Сейчас он стоит на перепутье трех дорог: правой — шляхетско-крепостнической, серединной — буржуазно-капиталистической и левой — философски-утопической. Народно-монархическое движение предлагает русскому народу оставить все эти дороги и вернуться домой: в старую Москву, к принципам, проверенным практикой по меньшей мере восьми столетий.

ЧТО НАМ НУЖНО

Прежде чем перейти к обоснованиям русской национальной индивидуальности, я попробую установить те нужды, которые само собою разумеются для каждого человека.

Эти нужды: а) свобода труда и творчества и б) устойчивость свободы труда и творчества.

Нам нужна какая-то страховка и от нашествий, и от революций. Или, иначе, от вооруженных и невооруженных интервенций извне. Причем нам необходимо констатировать тот факт, что невооруженная интервенция западноевропейской философии нам обошлась дороже, чем вооруженные нашествия западноевропейских орд. С Наполеоном мы справились в полгода, с Гитлером — в четыре года, с Карлом Марксом мы не можем справиться уже сколько десятилетий. Шляхетская вооруженная интервенция Смутного времени была ликвидирована лет в десять, со шляхетским крепостным правом Россия боролась полтораста лет. Мы должны после всех опытов нашего прошлого твердо установить тот факт, что внутренний враг для нас гораздо опаснее внешнего. Внешний — понятен и открыт. Внутренний — неясен и скрыт. Внешний — спаивает все национальные силы, внутренний — раскалывает их всех. Внешний враг родит героев, внутренний — родит палачей. Нам нужен

государственный строй, который мог бы дать **максимальные** гарантии и от внешних, и от внутренних завоеваний.

ГАРАНТИИ ОТ ЗАВОЕВАНИЙ

Великий праздник наступления XX века человечество встретило в состоянии оптимистического обалдения. К середине этого столетия выяснилось, что завоевательные программы Европы середины XX столетия значительно хуже соответствующих программ монголов XIII; монголы шли просто для грабежа, просвещенная Европа поставила вопрос о физическом порабощении половины населения страны и физического уничтожения другой половины. Кажется, именно это и называется политическим и моральным прогрессом, практически достигнутым вековыми усилиями Декартов и Кантов.

Практика первой половины XX века, как и практика предыдущих веков, с предельной ясностью доказала небоеспособность демократий. Или по меньшей мере полную неприноровленность демократического государственного аппарата к решению вопросов войны или мира. Вопросы войны и мира в нашем, русском, случае есть вопросы жизни или смерти. Ибо если европейские войны имели в виду борьбу за какие-то там «наследства», за политическую гегемонию Габсбургов, Бурбонов, Капетингов, Гогенцоллернов или Виттельсбахов, — то, повторяю еще раз, — войны, которые вели МЫ, были в основном войнами на жизнь или на смерть, причем в XX веке в еще более острой форме, чем в XIII.

Классическая демократия Европы — Великобритания, опираясь на свою географическую недоступность, вела свои войны почти исключительно наемными силами. Те «англичане», которые со стороны Англии вели войну на Крымском полуострове, были в значительной своей части навербованы в Гамбурге. Франция, став республикой, опирается на «иностранный легион» — наиболее боеспособную часть «французской» армии. Сикхи и гурки, марроканцы и негры бы-

ли тем «пушечным мясом», которое демократический капитал мог — разными способами — закупать во всех частях мира. Наемных армий мы не знали никогда и никакого покупного пушечного мяса у нас нет.

В Первой мировой войне две единоличные формы правления — германская и русская монархии — в разных условиях и с разными предпосылками обескровили друг друга, и демократиям оставалось только одно: добить уже побежденного. Во Вторую мировую войну два иной формы, но тоже единоличные правления — диктатура Гитлера и диктатура Сталина — решили исход войны. «Второй фронт» был искусственно оттянут до того момента, когда у германской армии уже не хватало даже и ружейных патронов. Обе войны были выиграны двумя разными, но все-таки авторитарными режимами. Демократия Чехии сдалась без единого выстрела. Демократия Франции бежала после нескольких выстрелов, более мелкие демократии не воевали почти вообще. Единственным боеспособным исключением оказалось Великое княжество Финляндское — под командованием русского генерала К. Маннергейма. Кроме того, Финно-советская война была, в сущности, только частью нашей Гражданской войны, которая началась на финской территории в 1918 году и **не** кончилась в 1939–1940.

Для мирного развития страны демократия Керенского была бы неизмеримо лучше диктатуры Сталина. Но войну 1941–1945 Керенский так же проиграл бы, как проиграл он кампанию 1917 года. В момент «мобилизации» американского хозяйства для нужд будущей войны губернатор штата Нью-Йорк м-р Дьюи требовал назначения в САСШ «хозяйственного царя» (так и было сказано: the czar of economics). В тот же момент м-р Труман заявил Сенату и Конгрессу, что в случае надобности и дальнейших ассигнованиях он может обойтись и без Сената, и без Конгресса и обратиться к американской нации. Из чего можно заключить, что ни Сенат, ни Конгресс в представлении президента Соединенных Штатов НЕ являются выразителями воли нации.

Политического механизма («политической машины») САСШ мы — для нас — не можем допустить, не идя на совершенно гарантированное национальное самоубийство. Вне всякой зависимости от того, хороша или плоха эта машина сама по себе, мы не можем допустить такой неповоротливости, такой медлительности, таких чудовищных политических ошибок и такого времени для споров, размышлений, решений и оттяжек этих решений. Все 11 веков нашей истории мы находились или в состоянии войны, или у преддверия состояния войны. Нет никаких оснований думать, что в будущем это будет иначе. И что в будущем мы сможем положить головы свои на стенографические отчеты будущей Лиги Наций — и заснуть, — тогда уже последним сном.

Нам необходима сильная и твердая власть. Она может быть монархией или диктатурой. Властью милостью Божией или властью Божиим попущением.

ГАРАНТИЯ ОТ РЕВОЛЮЦИИ

Российская монархическая власть, начиная со смерти императора Петра I и кончая свержением императора Николая II, все время находилась в чрезвычайно неустойчивом положении. Эта неустойчивость вызывалась тем объективно данным политическим положением, которое В. Ключевский характеризовал как стремление монархии и массы к «демократическому самодержавию», техническая опора монархии на аристократический элемент и борьба монархии с этим элементом. Однако московской монархии, непосредственно опиравшейся на «демократический» элемент, — в частности просто на население Москвы, — удавалось справляться с аристократическими кругами страны. Именно поэтому столица была перенесена в Санкт-Петербург и престол изолирован от «массы». Престол оказался в распоряжении «гвардейской казармы» и, начиная от убийства Алексея Петровича, через убийство Павла Петровича, восстание декабристов, убийство Александра Ни-

колаевича и свержение с престола Николая Александровича, русская знать пыталась остановить развитие российской монархии в сторону «демократического самодержавия». Ни одного раза русский «демос», т.е. русский народ, не подымался против монархии. Государственный переворот 1917 года был результатом дворцового заговора, технически оформленного русским генералитетом. В Февральской революции наши революционеры решительно не при чем: они не только не готовили этой революции, но о приближении ее они не имели никакого представления.

***

«Дворцовый переворот» перерос в «революцию» только тогда, когда выяснилось полное отсутствие у знати и генералитета каких бы то ни было опорных точек в массе, отсутствие какой бы то ни было популярности в армии и в народе. Люди, организовавшие этот переворот, считали, что они светят своим собственным светом, но это был только отраженный свет монархии. Монархия потухла — потухли и они.

От Петра I до Николая II монархия была лишена той «системы учреждений», о которой говорит Л. Тихомиров, и эта система была заменена «средостением между Царем и Народом». Государственные думы всех четырех составов были только одним из вариантов этого средостения: они отражали мнения **партий**, но не отражали мнения «**Земли**».

В той обстановке, когда только Одно Лицо во всем правящем слое страны — только монарх и только он один — выражает собою основные стремления народных масс, — политически была слишком соблазнительна мысль: устранением монарха изменить ход истории. Это удалось убийством царевича Алексея Петровича, которое расчистило дорогу к закрепощению крестьянства. Это удалось убийством Павла Петровича, которое оттянуло ликвидацию крепостного права. Это не удалось декабристам. Это удалось убийцам Царя-Освободителя, убийством, прервавшим возвращение России к принципам Московской Руси.

В Московской Руси цареубийства были бы прежде всего политически бессмысленными, ибо царская власть была только одним из слагаемых «системы учреждений», и убийством одного из слагаемых система изменена быть не могла. По И. Аксакову: царю принадлежала сила власти, и народу — сила мнения. Или по Л. Тихомирову: монархия состояла не «в произволе одного лица, а в системе учреждений». Московские цари «силой власти» реализовали «мнение Земли». Это мнение, организованное в Церковь, в церковные и земские соборы, и в неорганизованном виде представленное населением Москвы, не менялось от цареубийства. Соборы никогда не претендовали на власть (явление с европейской точки зрения совершенно непонятное), и цари никогда не шли против «мнения Земли» — явление тоже чисто русского порядка. За монархией стояла целая «система учреждений», и все это вместе взятое представляло собою монолит, который нельзя было расколоть никаким цареубийством.

Поэтому Народно-монархическое движение в «восстановлении монархии» видит не только «восстановление монарха», но и восстановление целой «системы учреждений» — от Всероссийского Престола до сельского схода. Той «системы», где царю принадлежала бы «сила власти», а народу «сила мнения». Это не может быть достигнуто никакими «писаными законами», никакой «конституцией», — ибо и писаные законы, и конституции люди соблюдают только до тех пор, пока у них не хватает сил, чтобы их НЕ соблюдать. Народно-монархическое движение не занимается изданием законов будущей империи Российской. Оно пытается установить основные принципы и идейно оформить тот будущий правящий слой страны, который был бы одинаково предан и царю и народу, который — организованный в «систему учреждений» — реализовал бы эти принципы на практике и который стал бы действительно «опорой престола», а не теми посетителями молебнов, которые прячут за голенищем нож цареубийства.

Основная проблема восстановления устойчивой монархии заключается в организации этого слоя. И так как во внут-

ринациональной борьбе никакой слой нации никогда не действует из чисто альтруистических соображений, то этот слой должен быть поставлен в такие условия, при которых свобода его деятельности совпадала бы с реальными интересами страны, а попытки ниспровержения карались бы в законодательном и судебном порядке с самой беспощадной суровостью.

Система монархических учреждений должна начинаться с территориального и профессионального самоуправления (земства, муниципалитеты, профсоюзы) и заканчиваться центральным представительством, составленным по тому же территориальному и профессиональному принципу, а не по принципу партий. Монархия Российская может быть восстановлена только волей народа — и больше ничем. Если эта воля будет монархической, то и ее местные органы будут тоже монархическими. Чисто техническая задача будет состоять в том, чтобы не возникло никакого «средостения» — сословного, чиновного, партийного или какого-либо иного. Технический аппарат петербургской монархии был поставлен вопиюще неудовлетворительно. Он не мог справляться даже с такими задачами, как личная охрана царей. Он оставлял зияющую пустоту между престолом и нацией. Вместо делового штаба, каким было окружение московских царей, петербургская монархия была окружена «двором», составленным из бездельников. В страшные дни Пскова Государь император Николай Александрович оказался в абсолютном одиночестве, преданный двором, генералами, Думой, правительством, — очутившийся в псковской ловушке и не имевший никакой физической возможности обратиться к народу, к армии. Восстановление этих порядков означало бы восстановление традиции цареубийства и самоубийства.

Российская монархия петербургского периода старалась стать народной, полноценной и устойчивой — это ей не удалось. Средостение устраняло или пыталось устранить лучших монархов, как оно устраняло или пыталось устранить их лучших помощников (М. М. Сперанский и П. А. Столыпин). Сейчас это средостение покончило свою жизнь цареубийством и самоубийством. Оно представляет некоторую агитационную

опасность для восстановления монархии, но после ее восстановления оно не представляет решительно никакой опасности. Вместо этого перед будущей Россией с очень большой степенью отчетливости, вырисовывается опасность бюрократии.

Реальность этой опасности заключается в том, что сегодняшний правящий слой страны есть по существу почти сплошная бюрократия. Этот слой на всех голосованиях — и общеимперских, и местных — будет голосовать за ту партию, которая гарантирует возможно большее количество «мест», «служб», «постов» и власти. Он будет голосовать против всякой партии, опирающейся на частную и местную инициативу. И он будет слоем, который проявит максимальную политическую активность, как это уже и случилось фактически в эмиграции, ибо всякая функциональная собственность — это кусок хлеба для этого слоя, и всякая попытка утвердить права частной инициативы будет попыткой отнять этот кусок хлеба.

ГАРАНТИИ ОТ БЮРОКРАТИИ

Всякий слой всякой нации — вне моментов общенациональной опасности — действует эгоистически. Действуют эгоистически и «массы», с той только разницей, что эгоизм масс есть эгоизм нации, — т.е. представляет собою интересы национального большинства. Всякое меньшинство — под прикрытием всякой декламации — стремится стать привилегированным меньшинством и из средства стать целью. Так, служилое московское дворянство, одержимое «похотью власти», под «предлогом стояния за Дом Пресвятой Богородицы» (В. Ключевский) стремилось превратить себя в шляхетство. Военный аппарат перерастает в милитаризм и ведет войны во имя чистого грабежа — какими, собственно, и были наполеоновские войны. Духовенство перерастает в клерикализм (эпоха «порчи» Католической Церкви), и государственный аппарат — в бюрократию.

Русская дореволюционная бюрократия была создана императором Николаем I в качестве опорной точки для освобож-

дения крестьян: не было никакой физической возможности реализовать освобождение крестьян, опираясь исключительно на дворянский государственный аппарат. Созданный для данной цели этот аппарат пережил свою цель и в дореволюционной России лежал тяжким бременем на всех видах народного творчества и народного труда.

Сравнение дореволюционного бюрократического аппарата в России с современными бюрократиями иных стран — методологически неверно. Сейчас — паспортную систему имеют все страны мира; до 1914 года из культурных стран мира паспортной системы не имела ни одна, кроме России. Ни одна из стран мира не имела ограничений выезда и въезда, ввоза и вывоза, — сейчас имеют все.

Если в Германии Вильгельма II и отчасти даже и в Германии Гитлера урядник (Wachmeister), волостной писарь (Burgermeister), волостной старшина (Gemeindevorsteller) и прочее, были обслуживающим элементом, то у нас соответственные чины были начальством и соответственно этому себя и вели. Основная масса населения России, ее крестьянство, было опутано бесконечным разнообразием начальственной опеки и начальственных пут. Россия была единственной страной Европы, в которой крестьянин был привязан к волостному правлению своим краткосрочным паспортом, и единственной страной, для выезда из которой нужно было получить заграничный паспорт. А для въезда нужно было иметь иностранный, что иностранцы понимали только с трудом. Начальственно-бюрократическая система в страшной степени тормозила всякое проявление национальной инициативы. И если Россия показывала невиданный экономический рост, то это происходило не благодаря бюрократии, а несмотря на бюрократию. И, кроме того, наш рост определился главным образом после 1905 года, когда, вне зависимости от государственных дум, эта бюрократия в очень значительной степени была подорвана.

Вся современная «мировая» бюрократия, не говоря уже о советской бюрократии, — хуже довоенной русской. Но это не говорит в пользу старой русской бюрократии. Зубная боль

лучше туберкулеза, но факт этот никак не может служить доводом в пользу зубной боли.

Будущая Россия будет стоять перед опасностью возрождения всех худших сторон и старой дореволюционной и новой революционной бюрократии. Кроме чисто местных, т.е. локально русских условий, здесь будет играть роль и некая мировая тенденция. До 1914 года профессиональные союзы культурных стран мира боролись за улучшение условий труда и оплаты своих сочленов. В процессе этой борьбы создался «профсоюзный аппарат» чисто бюрократического характера, «Bonzen»-аппарат, который действует уже во имя собственных интересов. Так, в современной Англии «национализация промышленности» является заменой частного предпринимателя профсоюзным чиновником. Профсоюзы принудительно (по «добровольному» советскому образцу) взыскивают профсоюзные членские взносы для партийных целей, подчиняют «трудящихся» принудительной партийной дисциплине и контролируют принудительный труд: профсоюзный аппарат перестал быть средством и стал самоцелью. Весь советский государственный строй есть строй социалистической бюрократии, ставшей самоцелью. Нам угрожает вся та сумма навыков, которую мы унаследуем и от бюрократии образца 1914 года, и от бюрократии образца 1951-го. Нам угрожают и непосредственные интересы огромной части советского актива, которые и сформулированы в программе солидаристов: если мы «денационализируем» краснококшайский кожевенный завод, то это будет означать, что вместо десяти бюрократов заводом будет управлять один хозяин, а бюрократам делать будет нечего. Если мы отменим социалистический контроль над крестьянством, то мы обречем на безработицу несколько миллионов колхозной администрации. Причем солидаризм дает этой бюрократии заверение в том, что вместо священной социалистической собственности останется столь же священная функциональная. Мы же говорим честно: нынешнему активу придется перестраиваться на какую-то общеполезную профессию. Пока эта перестройка не будет закончена, весь нынешний актив — от сапожного до трестовского — будет давить

на воссоздание хоть какого-нибудь бюрократического аппарата, который возвратил бы этому активу его хлеб и его портфель.

В данных исторических условиях, помимо всяких других условий, республиканская форма правления совершенно автоматически приведет к диктатуре бюрократии, а эта бюрократия в интересах своей стабилизации выдвинет очередного диктатора.

Гарантией против диктатуры бюрократии может быть только монархия и только в ее опоре на народное самоуправление, причем монархия, как установление, стоящее над всеми классами и слоями нации, может, как это фактически и практиковалось в Московской Руси, принимать меры против бюрократического перерождения самоуправления (например, профессионального) и ставить этому самоуправлению твердо очерченные рамки, а самоуправление — контролировать государственный аппарат страны и не давать ему возможности перерождения в диктатуру чиновничества.

Мы, монархисты, категорически отказываемся рисовать и старую и новую русскую монархию в качестве заместительницы рая земного, как рисовали социализм социалисты и как рисуют солидаризм солидаристы. Мы утверждаем: во все века человеческой истории и у всех народов человечества всегда шла борьба между религиями и сословиями, классами и профессиями, группами и интересами. Она будет идти и в будущей России. О «солидарности» всего народа можно мечтать. Но лучше молчать. Ибо мечта, сформулированная как **обещание**, будет заведомой ложью. Мы признаем неизбежность этой борьбы, и мы стремимся иметь Одного Человека, который стоял бы НАД этой борьбой, а не был бы результатом борьбы, каким является всякий диктатор, или бессильной случайностью в этой борьбе, какой является любой президент.

Итак:

1) Нам **необходима** законно наследственная, нравственно и юридически бесспорная единоличная монархическая власть, достаточно сильная и независимая для того, чтобы:

а) стоять над интересами и борьбой партий, слоев, профессий, областей и групп;

б) в решительные моменты истории страны иметь окончательно решающий голос и право самой определить наличие этого момента.

2) Нам **необходимо** народное представительство, которое явилось бы не рупором «глупости и измены», каким стало наше недоношенное заимствование из Европы в лице Государственных дум всех созывов, а народное представительство, которое отражало бы интересы страны, ее народов и ее людей, а не честолюбивые вожделения Милюковых или Керенских, или утопические конструкции Плехановых или Лениных. **Обе** формы верховной власти необходимы **одинаково**:

1. Для того, чтобы обеспечить страну от крепостных прав под любым их номером, для предупреждения каких бы то ни было попыток навязать стране какое бы то ни было «дворянство», белое или красное, капиталистическое или бюрократическое, социалистическое или солидаристическое.

2. Для того, чтобы обеспечить стране **эквивалентную** ей вооруженную силу, следовательно, и внешнюю безопасность.

Обе формы верховной власти должны в одинаковой степени черпать свою силу и свою устойчивость не в «средостении между царем и народом» и не в «оторванности интеллигенции от народа», а в «системе учреждений», организующих традиции, мнения и интересы народных масс во всех формах местного, профессионального и национального самоуправления. Мы возвращаемся к аксаковской формуле: «Народу — сила мнения. Царю — сила власти».

***

Все это нам необходимо вовсе не для защиты абстрактного принципа монархии, или абстрактного принципа парламентаризма, или абстрактного принципа демократии, свободы и пр. и пр.

Это необходимо для совершенно конкретной задачи: защиты свободы, труда, жизни, инициативы и творчества — каждого народа империи и каждого из людей каждого народа.

В межпланетных пространствах, может быть, есть и иные пути для достижения всего этого. В одиннадцативековой истории России — Россия никаких иных путей не нашла. И всякое отступление от этих путей несло России катастрофы — и в XIII веке, и в XVIII веке, и в XX веке — несло России и татарское иго, и крепостное иго, и советское иго.

Автор настоящего труда НЕ предполагает, чтобы он был умнее одиннадцати веков нашей истории и чтобы он мог найти иные пути, чем те, на которые указывает именно эта история. Любой приват-доцент, конечно, считает, что русскому народу нужно учиться у него — данного приват-доцента. Автор данного труда не питает к приват-доцентам никакого уважения.

ГАРАНТИИ СВОБОДЫ

Народно-монархическое движение не имеет права обманывать русский народ какими бы то ни было неисполнимыми обещаниями и несбыточными надеждами. Эти обещания мы благородно предоставляем в полное распоряжение социалистов, солидаристов, коммунистов и прочих фальшивомонетчиков политики.

Мы обязаны сказать русскому народу: такой меры личной свободы, какую имели САСШ и Англия в начале нынешнего столетия, он, русский народ, не будет иметь никогда. Ибо если безопасность САСШ и Англии была гарантирована океанами и проливами, то наша может быть гарантировала только воинской повинностью. Американская свобода, как и американское богатство определяются американской географией — наша свобода и наше богатство ограничены русской географией. Из ряда факторов «несвободы» воинская повинность является первым и решающим.

Мы можем утешаться: ни САСШ, ни Англия никогда уже не вернутся к той мере личной свободы, какая была для них характерна в начале нынешнего столетия: авиация меняет даже

и географию. Кроме того, не нужно забывать некоторых фактов: личная свобода британских граждан была построена на: а) порабощении колоний — вплоть до поголовного истребления их населения, б) на профессиональной работорговле неграми Африки и в) на рабском труде матросов парусного флота.

В тот момент, когда САСШ и Англия попали в условия, только очень отдаленно напоминающие русские условия в течение всех 11 веков нашего государственного существования, и САСШ и Англия были вынуждены перейти к тем ограничениям личной свободы, какие диктовались именно нашими условиями: ограничивается политическая свобода (увольнения неблагонадежных чиновников и даже артистов), хозяйственная свобода (фиксация цен и зарплаты, ограничение ввоза и вывоза), свобода передвижения (визы и пр.) и даже свобода труда (регламентация труда в Англии).

Представление о том, что именно республиканская форма правления дает гарантию каких бы то ни было свобод, является чистейшей фантастикой. Самодержавная Москва строилась на лично свободном крестьянстве, республиканская Польша — на крепостном. Венецианская и Новгородская республики строились на беспощадной эксплуатации низов и погибли вследствие отказа этих низов поддерживать эти республики. Гитлеровская Германия законно родилась из республиканской Германии. Союз Советских Республик отнял свободу у русского народа, а хотя Пилсудская Польша и была республиканской — депутатов парламента там пороли в полицейских участках.

Говоря о «мировом масштабе», нужно сказать, что размеры свободы или несвободы не находятся ни в какой зависимости ни от республики, ни от монархии. Говоря о России, — можно фактически доказать, что русская монархия делала все, что могла, для защиты внешней и внутренней свободы России и людей России, — если ей это не всегда удавалось, то виною этому были не цари, а цареубийцы.

Однако мы имеем все основания рассчитывать, что если будет восстановлена монархия российская, то Россия и ее население достигнет такой свободы и безопасности, какой, по всей

разумной вероятности, не будет иметь никакой иной народ мира. Ибо если в САСШ последнего периода личная свобода была действительно выше, чем где бы то ни было, то даже и эта свобода была весьма основательно ограничена профессиональным бандитизмом, неприкосновенность которого гарантировала продажность и судов, и администрации. В странах Скандинавских демократий профессиональные союзы, возвращаясь к средневековым цеховым принципам, круто ограничивают свободу труда — одну из важнейших свобод для всякого человека. Английская свобода гибнет вместе со всем тем, на чем она была построена, французская свобода привела страну в тупик, из которого ее не в состоянии вывести даже генерал де Голль. Наши русские предпосылки — совершенно объективные — на дальнейший рост свободы и силы являются наиболее оптимистическими предпосылками в сегодняшнем мире.

Народно-монархическое движение считает свободу величайшей ценностью и нации, и отдельного человека. Эта свобода может и должна подвергаться ограничению только в случаях крайней и самоочевидной необходимости, какими являются: воинская повинность, обязательное обучение или лишение свободы тех людей, которые отказываются уважать свободу ближнего своего. Из всех видов свобод наибольшее и наиболее универсальное значение имеет **свобода хозяйственной деятельности**.

Ибо если прессой, собраниями, союзами и прочим занимается только небольшой процент человечества, то хозяйственной деятельностью занимаются все — и даже пресса является одним из видов этой хозяйственной деятельности. По крайней мере, для журналистов.

Народно-монархическое движение принципиально стоит на защите частной собственности или, что одно и то же, — частной инициативы. Эта собственность и эта инициатива могут быть ограничены только в случаях самой крайней и самоочевидной необходимости — отчуждение частной земли под постройку железных дорог, винная монополия, эмиссионная монополия и т.п. Но уже монополию внешней торговли Народ-

но-монархическое движение отрицает принципиально, допуская ее только для отдельных отраслей хозяйства, только на очень ограниченный срок и только при чрезвычайных условиях хозяйственной или политической жизни страны и мира. Но даже и при всех этих предпосылках Народно-монархическое движение считает лучшим обойтись без монополии, — путем чисто таможенного регулирования ввоза и вывоза, путем покровительственных пошлин, но только, не дай Бог, путем какой бы то ни было монополии. Ибо монополия внешней торговли означает монополию бюрократии в вопросах внешней торговли, означает неслыханную волокиту и такое же взяточничество, — означает, кроме того, что средняя и мелкая промышленность, не имеющая ни времени для волокиты, ни денег для взяток, разоряется сама и разоряет тот слой, который во всех странах мира является наиболее прочной опорой всякой политической устойчивости.

Кабинетные теоретики, отталкиваясь от реально существующих противоречий между «трудом» и «капиталом», от реальной хозяйственной борьбы, которая, как общее правило, не носит идиллических форм, предложили человечеству целый ряд хозяйственных систем коллективистического характера. Проверенные на практике, все эти системы привели к следующим результатам:

1. К повышению себестоимости производства, которое покрывается за счет налогоплательщика.

2. К понижению качества продукции, которое компенсируется системой лицензий на ввоз и вывоз, принудительных торговых договоров, субсидированием иностранного сбыта и монополизацией внутреннего.

3. К ограничению хозяйственной свободы не только работодателя, но и рабочих.

4. Как логический вывод из всего этого, — к ограничению политической свободы страны.

Сегодняшняя Англия переживает этот процесс в самом его начале. Вчерашняя Германия была посредине пути. Сегодняшний СССР довел этот процесс до его логического конца.

Во всех трех случаях частный предприниматель, т.е. лицо, на практике выдержавшее испытание конкуренции, заменяется служащим, назначенным по принципу партийной принадлежности, профсоюзного стажа или чиновной выслуги лет. Практически его система работы обусловлена не требованиями производства, рынка и прочего, а условиями партийной, профсоюзной или государственной дисциплины. Повышение себестоимости и снижение качеств производства являются автоматическими последствиями. В данный момент, например, английские товары не находят достаточного сбыта вследствие их низкого качества, и английский экспорт организуется или в виде «принудительного ассортимента», или в виде государственных договоров, по которым контрагенту навязывается данный товар. В данный исторический момент этот способ экспорта облегчается мировым товарным голодом, который возник в результате Второй мировой войны, подготовки к Третьей и выпадения из мирового торгового оборота таких стран, как Россия, Германия и Япония. И если в пределах национального хозяйства социалистический сектор не имеет никакой возможности свободно конкурировать с частнохозяйственным, то внутри страны последний может быть задавлен искусственно — даже и без полной «социализации». В пределах же мирового хозяйства частнохозяйственный сектор может быть задавлен только в результате войны. Военно-политическая экспансия СССР и Третьего Рейха, нынешняя двуличная политика Англии по адресу СССР и Европы объясняются, в частности, тем, что социализм СССР, Германии и Англии может сохранить свою жизнь только при условии ликвидации всякой капиталистической конкуренции во всем мире. А ДО этой ликвидации — только возможно более полной изоляцией народного хозяйства от мирового.

Вследствие этого те наши программы, которые в той или иной форме предусматривают бюрократизацию нашего народного хозяйства (социалистическая и солидаристическая программы), совершенно логично предусматривают также и монополию внешней торговли. Ибо если отечественная — социализированная или солидаризированная — промышленность будет произво-

дить дрянь (а она будет производить дрянь), то производителей дряни нужно защитить монополией внешней торговли.

Таким образом, на плечи пресловутых трудящихся возлагаются следующие бремена:

1) Как налогоплательщики, трудящиеся оплачивают бытие хозяйственной бюрократии, а также и административной, — ибо административная бюрократия в этом случае защищает бытие хозяйственной.

2) Как лица наемного труда, трудящиеся получают все меньшую и меньшую заработную плату, ибо даже при «повышении ставок» эта заработная плата практически снижается и повышением цен на товары, и снижением качества этих товаров.

3) Как граждане страны, трудящиеся подвергаются ограничениям в праве перемены работы, в праве забастовок, в праве как бы то ни было бороться с планами и интересами социалистической бюрократии.

4) И так как все эти ограничения автоматически вызывают или протесты, или борьбу, то всякое последовательно социализированное хозяйство рано или поздно должно вступить на путь военно-полицейской диктатуры, как единственного мыслимого способа своей самозащиты от народа.

Отстаивая принцип частной собственности и частной инициативы, Народно-монархическое движение никак не имеет в виду интересов русской буржуазии, которой в СССР нет вовсе и почти вовсе нет в эмиграции. Таким образом, мотив «защиты классовых интересов буржуазии» отпадает совершенно: было бы очень трудно защищать интересы несуществующего слоя.

Народно-монархическое движение, защищая частную собственность и частную инициативу, имеет в виду только и исключительно интересы народного хозяйства. Мы признаем свободу хозяйственной конкуренции, ограниченную только в случаях самой крайней и очевидной необходимости — или гигиенической (винная монополия), или технической (почта и телеграф), или экономической (железные дороги), или военной (мобилизация промышленности). Однако, отстаивая права частной инициативы, Народно-монархическое движение будет точно так же отстаивать

и права всякой коллективной инициативы. Императорская Россия была страной, в которой по тем временам «обобществленный сектор народного хозяйства» был больше, чем где бы то ни было в мире. Государственный банк контролировал все банки России и имел исключительное право эмиссии кредитных билетов. Большинство железных дорог принадлежало казне, а оставшиеся частные дороги стояли накануне «выкупа в казну». Государство владело огромными земельными пространствами, владело заводами и рудниками. Земская медицина была поставлена так, как она и сейчас не поставлена нигде во всем мире. Земства начинали строить свою фармацевтическую промышленность с помощью государственного кредита. Русское кооперативное движение было самым мощным в мире. Таким образом, в царской России существовала: а) свободная конкуренция частного хозяйства и б) свободная конкуренция частного хозяйства, государственного хозяйства, земского, городского кооперативного и артельного, причем государство в равной степени помогало всем, кто умел работать. Ибо государственная власть не принадлежала ни капиталу, ни профсоюзам, ни кооперативам, ни земствам: она принадлежала Государю-императору, который в чисто хозяйственном отношении был заинтересован в том же, в чем был заинтересован каждый человек страны: чтобы был хороший и дешевый ситец. И совершенно не был заинтересован в том, на какой фабрике этот ситец производится: на казенной, кооперативной, земской или частной. В чисто хозяйственном отношении русская монархия является полномочной и полномощной представительницей ваших личных интересов, — разумеется при том условии, что вы не являетесь социалистическим бюрократом. Наша политическая экономия, которая и по сей день питается чужими цитатами, до сих пор не удосужилась проанализировать реальную хозяйственную жизнь дореволюционной России. В этой реальной хозяйственной жизни России были такие явления, как офицерское «Вольно-экономическое общество» — самое, кажется, старое кооперативное общество Европы, имевшее самый крупный в России универсальный магазин. Был казенный Тульский оружейный завод, который работал в несколько раз лучше современных ему част-

ных иностранных заводов. Были такие явления, так сказать, административно-хозяйственного порядка, как интендантство, которое в Русско-японскую войну было по существу преступным сообществом воров и грабителей, а к 1914 году было поставлено на исключительную высоту: в 1912 году был проект передачи интендантству снабжения хлебом и мясом городского населения таких гарнизонных городов, как Ковель, Гродно, Сувалки и др., — интендантские цены были в три раза ниже частных.

Если бы наша политическая экономия занималась нашей действительностью, а не чужими цитатами, то она обнаружила бы тот факт — сейчас кое-как подтверждаемый и нашей левой прессой, — что царская Россия была... самым социалистическим государством мира. И что почему-то именно в России целый ряд коллективистических предприятий — начиная от казенных заводов, бывших государственной собственностью, и кончая сибирской кооперацией, опиравшейся на мелкую частную собственность, бесконечными «артелями», строившимися по принципу «трудовых коллективов», офицерской кооперации, опиравшейся на нищенское офицерское жалованье, — проявил большую хозяйственную жизнеспособность, чем где бы то ни было в мире. Что «самодержавная власть» не только никак не препятствовала всяким «обобществленным формам», но и всячески поддерживала их — и там, где это было нужно (кооперация), и даже там, где это не было нужно (община). Или, иначе, что самодержавная власть искала наилучших способов хозяйствования и поддерживала все то, что оказывалось лучшим, совершенно независимо ни от Оуэна, ни от Маркса. И если по проверке практикой, а не догмой, эта практика оказывалась ошибочной (община), — самодержавная власть искала иных путей.

Однако такие поиски уже чисто технически возможны только в том случае, если в стране есть СИЛА, находящаяся вне круга эгоистических интересов банков, заводчиков, профсоюзов, бюрократов, профессоров и даже приват-доцентов, — СИЛА, независимая ни от какого узкогруппового интереса. СИЛА, которая в Одном Лице воплощает в себе интересы всей страны вместе взятой — т.е. не только ее нынешнего поколе-

ния, но и ее грядущих поколений всей нации во всех ее слоях, группах, народах и народностях.

Здесь может возникнуть довольно естественное недоумение. В самом деле, если Императорская Россия была «самой социалистической страной» того времени, то полная социализация ее большевиками является только естественным завершением старого исторического процесса. Или, что почти то же, — большевики только продолжают хозяйственную политику Императорской России. Там был «царский социализм», здесь — «пролетарский социализм», но все-таки социализм.

Совершенно необходимо всегда помнить о том, что социализм не является огосударствлением той или иной отрасли промышленности, — он является принципиальным отрицанием права частной собственности, т.е. и права частной инициативы: частная инициатива без частной собственности немыслима технически. Государственный сектор народного хозяйства Императорской России имел в виду в конечном счете интересы частной собственности, социалистическое хозяйство СССР имеет в виду ее полную ликвидацию. Государственный Сибирский путь, построенный по государственной инициативе и на государственные средства, имел в виду открыть огромные пространства Сибири для проявления частной инициативы во всем ее разнообразии; частной инициативе такая постройка была бы не под силу. Выкупая в казну данную железную дорогу, императорское правительство имело в виду целый ряд очень сложных соображений, часто жертвуя доходностью дороги для экономического оживления данной области. Строя казенные военные заводы, императорское правительство имело, в частности, в виду не только непосредственные интересы обороны страны, но и недопущение к жизни той группы капиталистов, которые материально были бы заинтересованы в войне. Императорское правительство в одном направлении расширяло государственный общественный сектор (железные дороги), в другом ликвидировало его (община, удельные земли Алтая). «Выкуп в казну» имел в виду хозяйственные интересы нации. Социализация имеет в виду карьерные интересы партии. «Выкуп в казну» **мог** оста-

новиться на данном этапе, «социализация» остановиться не может. «Выкуп в казну» исходил из чисто технических соображений, социализация исходит из чисто теоретических. Так было в Англии: из чисто теоретических или демагогических соображений социализировали железные дороги и потом выяснили: социализированные железные дороги не могут конкурировать с автотранспортом — нужно социализировать и автотранспорт. Победоносная социалистическая партия растет за счет притока новых членов, и эти новые члены требуют для себя новых мест и постов. Не будучи никак подготовленными к этим местам и постам, они «снижают качество продукции» и объясняют это саботажем. С разной степенью отчетливости этот процесс развивался параллельно и в СССР, и в Германии, и в Англии. Разная степень отчетливости объясняется, главным образом, разницей в возрасте социализма: в СССР за лет 30 он прошел весь путь, в Германии лет за 15 — полпути, в Англии лет за 5 — он находится только в начальной стадии дальнейшего развития. Причем в Англии — при отсутствии гражданской войны, — он дал результаты лучшие, чем в СССР 1918–1923, но худшие, чем в Германии 1933–1938. И за тот же период времени — за 5 лет, с 1945 по 1950, социалистическая, хотя и победоносная, Англия в чисто хозяйственном отношении успела уже катастрофически отстать от освобожденной от социализма Германии.

Народно-монархическое движение никак не протестует против государственных, кооперативных, земских и прочих форм хозяйства, но только при том условии, чтобы эти формы не носили насильственного характера, чтобы они не устраняли ни частной собственности, ни частной инициативы, — чтобы они служили делу нации, а не интересам партии.

САМОДЕРЖАВИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нам могут сказать: все это, может быть, теоретически и хорошо, но практически все это — утопия. И мы можем ответить — это не утопия, а факт. Не беспочвенные посулы для

будущего, а совершенно реальная историческая действительность. В самом деле, даже по признаниям левых историков (см. ниже) московское самодержавие все время работало для самоуправления, а когда самодержавие пало (Смутное время), то оно было восстановлено самоуправлением. Когда самодержавию удалось справиться с крепостным правом, оно сейчас же возродило самоуправление. В Московской Руси и самодержавие, и самоуправление неизменно поддерживали друг друга — и только наследие крепостного права изувечило эту традицию. Император Александр II был убит уже после подписания им манифеста о созыве земского собора (**собора**, а не Думы!), а крестьянское самоуправление было ограничено дворянством. Самодержавие противоречит самоуправлению только в том случае, если «самоуправление» превращается в партию и если самодержавие превращается в диктатуру. В Москве этого не было. В Санкт-Петербурге это было: в наш XVIII век отсутствовали и самодержавие, и самоуправление. Самодержавие, восстановленное императором Павлом I — привело к возрождению самоуправления при императоре Александре II. Но в петербургской атмосфере русской жизни — наше «средостение», т.е. наша интеллигенция — или, что то же, — наша бюрократия — покушалась: как бюрократия на права самоуправления и как интеллигенция на права самодержавия. В результате мы остались и без самодержавия, и без самоуправления.

Банальная интеллигентская терминология определяет «самодержавие» или как «абсолютизм», или как «тиранию». По существу же «самодержавие» не может быть определено терминологически, оно должно быть описано исторически: русское самодержавие есть совершенно индивидуальное явление, явление исключительно и типично русское: «диктатура совести», как несколько афористически определил его Вл. Соловьев. Это — не диктатура аристократии, подаваемая под вывеской «просвещенного абсолютизма», это не диктатура капитала, сервируемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в форме социализма, — это «диктатура совести» в данном случае православной совести. Русское самодержавие было организо-

вано русской низовой массой, оно всегда опиралось на Церковь, оно концентрировало в себе и религиозную совесть народа, и его политическую организацию. Политической организацией народа, на его низах, было самоуправление, как политической же организацией народа в его целом было самодержавие.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Республиканский образ правления никак не гарантирует прав самоуправления — Франция самоуправления не имеет вовсе. Монархическая Россия имела разные формы самоуправления — от почти республиканского в Великом княжестве Финляндском до авторитарного в Хиве и Бухаре. Монархическая Германия имела чисто республиканские формы самоуправления (ганзейские «вольные города») и чисто монархические (Баварское королевство). Республиканская Польша не имела вовсе никакого самоуправления. «Республиканский» Новгород Великий был жестоко централизованным хищником. Монархическая Германия была неизмеримо богаче, сильнее, организованнее и культурнее республиканской Франции. Кроме того, монархическая Германия и монархическая Россия все время шли вверх, республиканская Франция все время шла вниз. Русское самодержавие было всегда самым верным стражем русского самоуправления, и русское самоуправление — почти всегда, кроме последних десятилетий, — было верной опорой самодержавия. Республиканские Новгород, Польша, Венеция, Франция беспощадно эксплуатировали свои «колонии», русское самодержавие было нянькой для русских «инородцев», хотя и не для всех. При наличии полутораста народностей был неизбежен индивидуальный подход к каждой из них. Почти в одно и то же время почти одинаковое самоуправление получили Польша и Финляндия. В «руках разумного народа», — как выразился по адресу финнов император Александр II, — это самоуправление создало маленькую страну, организованную лучше, чем какая бы то ни было иная страна в мире. В ру-

ках народа неразумного она создала порядки, которые немецкая поговорка определяет как «польское хозяйство» — балаганное увеселение, где вы за недорогую цену может бить посуду. Цена «польского хозяйства» в самой Польше была значительно более высокой. Но и это — с нашей точки зрения — не оправдывает ни разделов Польши, ни попыток ее насильственной русификации: наша польская политика — со времени Екатерины II работавшая в чисто немецкую пользу — была ошибочной политикой, и без войны с Германией исправить ее было почти невозможно. Еврейская политика была неустойчивой, противоречивой и нелепой: ее основной смысл заключается в попытке затормозить капиталистическое развитие русского сельского хозяйства. Поэтому при императоре Николае I евреи пользовались полным равноправием и даже получали баронские титулы: крепостное право все равно не допускало в деревне никаких капиталистических отношений. При его отмене была сделана попытка не допустить капитализма в разорившиеся дворянские гнезда. При Николае I еврейство было лояльным по адресу империи, при последних царствованиях оно перешло на сторону революции, чтобы в этой революции потерять еще больше, чем потеряли другие народы России. Ибо Гитлер был тоже последствием русской революции.

Объективный ход хозяйственно-политического развития России снимал с очереди еврейский вопрос, но никакое «развитие», конечно, не ликвидирует и не может ликвидировать антисемитизма, как известного общественного настроения: он был при египетских фараонах и он есть при американских президентах. Но все это не касается русской монархии, которая не была ни просемитской, ни антисемитской: русская монархия рассматривала каждый национальный вопрос в зависимости от каждого индивидуального случая.

«Национальный вопрос» в России — это сумма полутораста вопросов. Единственный разумный ответ на всю эту сумму был дан в наших «Тезисах» издания 1939 года.

1) Мы категорически отбрасываем политику насильственной русификации.

2) Каждый гражданин и каждая этническая группа имеет право говорить, печатать, учиться на любом языке, который эта группа пожелает.

3) Национальное самоуправление реализуется в рамках областного самоуправления и ведет свою работу на своем языке.

4) Русский язык, как общегосударственный язык, остается обязательным для внешней политики, армии, транспорта, почты и пр. Все местные дела ведутся на любом местном языке.

Народно-монархическое движение исходит из совершенно твердого убеждения, что ни один из населяющих Россию народов, получив полное местное самоуправление и при условиях свободного голосования, ни на какие сепаратизмы не пойдет: это — профессия очень немногих бесплатных, а еще более платных политиканов австрийской или немецкой выучки. Попытки «раздела России» наше движение считает преступлением не только против России, но и против тех народов, которым удалось бы навязать отделение от их общей родины. Удача, хотя бы и частичная, этих попыток привела бы к чудовищному регрессу и культурному, и политическому, и хозяйственному. Она, в частности, означала бы ряд войн между разными петлюрами за обладание разными уездами. Если бы все территориальные вожделения всех наших сепаратистов сложить вместе, то для всех них не хватило бы и двух Российских империй. Столкновения всех этих вожделений решались бы войнами — и хозяйственными, и огнестрельными. Империя вернулась бы к положению удельного периода — со всеми соответственными культурными, хозяйственными и политическими последствиями — вплоть до завоевания ее новыми гитлеровскими ордами.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Для того чтобы нация могла создать что-то ценное, нужна устойчивость власти, закона, традиции и хозяйственно-социального строя. Если этой устойчивости нет, невозможно никакое творчество. Почти невозможен и никакой труд.

Русский хлебороб, получив, наконец, свою землю, должен иметь уверенность в том, что назавтра или послезавтра эта земля не будет коллективизирована, социализирована или солидаризирована. Если этой уверенности нет, у него остается только один путь — путь хищнического хозяйства. Он не станет рассчитывать ни на десятилетия, ни даже на года. Вместо того, чтобы удобрять землю, он будет вынужден ее истощать. Вместо того, чтобы переходить к более интенсивным формам сельскохозяйственной культуры — животноводству, садоводству и пр., он будет вынужден следовать принципу: «хоть день, да мой». Ибо ему будет совершенно неизвестно, что станет с его землей, если завтра придут к власти коллективисты, социалисты, солидаристы или коммунисты: что **они** предпримут с **его** землей?

Совершенно конкретный исторический пример еще не изгладился из памяти русского крестьянства. Большевики, захватывая власть, выбросили лозунг: «Земля крестьянству», в сущности эсэровский лозунг. Придя к власти, они ввели военный коммунизм. Сорвавшись на военном коммунизме, вернулись к принципам мелкого крестьянства, и Бухарин бросил свой знаменитый лозунг: «Обогащайтесь!». Кое-как «обогащенного» хлебороба ликвидировали под корень коллективизацией деревни. И вот будут сброшены большевики, и получит наш хлебороб свой участок, и решительно не будет знать, что ему делать: «ложиться спать или вставать». Обогащаться или, в предвидении какого-то самоновейшего экономического изобретения, покорно и предусмотрительно идти по путям деревенской бедноты? Пропивать хлеб свой насущный и не заботиться о завтрашнем дне: довлеет дневи политика его?

В совершенно таком же положении окажутся промышленник, купец, ремесленник. Этот слой людей в период НЭПа именовался почтительно: «наше красное купечество» — потом его послали в Соловки. Правда, и наши нэпманы вели хищническое хозяйство — еще более хищническое, чем вело его крестьянство этих времен. Нэпман до предела эксплуатировал оборудование арендованных им фабрик и мастерских, но ни модернизировать, ни даже обновлять его он не мог:

не было смысла. В таком же положении русские хозяйственники окажутся после большевиков, если перед ними станет вырисовываться перспектива солидаризма. Что будет в этом случае значить «функциональная собственность»? И как далеко будет она отстоять от марксистских Соловков?

Совершенно в таком же положении окажутся писатели и ученые, поэты и композиторы: вот засел Лев Толстой лет на пять за «Войну и мир». Какое «мировоззрение» окажется победоносным к моменту окончания книги? Будет ли новым властителям приемлема Периодическая система элементов, или появится какой-то новый Лысенко, который найдет у Толстого, Менделеева, Павлова, Мичурина и прочих антисолидаристический уклон и, будучи профессиональной бездарностью, станет травить всяческий русский талант. А ведь никакой талант никогда не сможет творить «по указке партии» какой бы то ни было партии. Тем более в том случае, если «указка партии» будет меняться так же, как меняется «генеральная линия» ВКП(б). Вы начали работать над «Войной и миром», периодической системой элементов или «Жизнью за Царя». Или над вашим хутором. Или над вашей мастерской. И вы не знаете, что из всего вашего труда завтрашние «властители дум» (и полиции) сделают послезавтра.

В наших русских послебольшевистских условиях будет поистине чудовищная нужда во всем, что нужно для человеческой жизни, а не для уничтожения человеческих жизней. Наша легкая промышленность и ремесло или недоразвиты, или разрушены. Торговля совершенно разгромлена. Жилищный фонд — разорен. Нам дозарезу нужна будет творческая инициатива десятков миллионов людей, и над этими миллионами повиснет угроза новых социальных экспериментов, и их инициатива будет подрезана в корне. Тем более что именно в наших русских условиях всякое социальное прожектерство принимает особенно уродливые формы.

Никакой талант, никакое творчество, никакая созидательная работа технически невозможна без какой-то гарантии устойчивости власти, закона, традиции и социально-хозяйственного строя страны.

В числе прочих противоречий и контрастов, которыми так обильна русская жизнь, есть и такой: между тремя последовательными и последовательно консервативными факторами русской жизни — монархией, Церковью и народом — затесалась русская интеллигенция, самый неустойчивый и самый непоследовательный социальный слой, какой только существовал в мировой истории. Слой в одинаковой степени беспочвенный и бестолковый — бестолковый именно потому, что беспочвенный. С момента своего рождения на свет Божий эта интеллигенция только тем и занималась, что «меняла вехи»:

И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонялся всему, что сжигал.

Были шестидесятники, которые, наконец, нашли истину. Потом появились семидесятники и объявили шестидесятников дураками. Потом появились восьмидесятники и объявили семидесятников идиотами. Были сенсимонисты и фурьеристы. Были народовольцы и чернопередельцы. Были меньшевики и большевики. В эмиграции эта коллекция пополнилась фашистами всевозможных разновидностей, от младороссов до солидаристов. Все эти разновидности имели или имеют совершенно одинаковую хозяйственную программу, в которой за густым частоколом восклицательных знаков спрятана хозяйственная, а следовательно, и всякая иная **диктатура партийной бюрократии**.

Устойчивость всей национальной жизни в стране у нас поддерживали три фактора: монархия, Церковь и народ. В истории же нашей интеллигенции каждое поколение или даже каждые полпоколения клали свои трудовые ноги на стол отцов своих и говорили: «Вы, папаши и мамаши, — ослы и идиоты, а вот мы, гегелята и октябрята, — мы умные». «Мы наш, мы новый мир построим» — вот и строят. Разрушают до основания «старый мир» и начинают строить все новые и новые отсебятины. Пока монархия была жива, эти отсебятины ограничивались книжным рынком. А после победы интеллигенции над монархией, Церковью и народом: а) неразбериха керенщины;

б) военный коммунизм; в) новая экономическая политика; г) период коллективизации. Каждая «эпоха» разрушала до корня то, что строила предшествующая. Надо надеяться и нужно работать для того, чтобы с этой «традицией» интеллигенции покончить, наконец, навсегда.

Природа не терпит пустоты. Всякая мода легче всего заполняет пустые головы. И пустые головы строят свои «новостройки» — на века и на вечность. В наших русских условиях сдерживать этих строителей может только монархия. Поэтому строители и ненавидят ее. Не учитывая, правда, и того обстоятельства, что только монархия может удержать и их от взаимной резни, как удерживала до 1917 года.

Монархия не означает никакого окончательного, вечного хозяйственно-социального строя. Монархия — это только рамка для поисков. Рамка, сдерживающая эти поиски в пределах человеческого разума и человеческой совести. По самому существу дела Российская империя до 1917 года шла по очень смешанному пути, в котором государственное, т.е. почти социалистическое, хозяйство, кооперативное, т.е. четверть социалистическое, хозяйство и «капиталистический сектор» развивались параллельно и одновременно — с вероятным перевесом в будущем в сторону кооперативного хозяйства. Но монархия не позволяла капиталистам взрывать кооперацию, кооператорам — бить капиталистов, социалистам резать и кооператоров и капиталистов, монархия была рамкой, и монархия была арбитражем, не заинтересованным ни в какой «монополии», ни капиталистической, ни социалистической, ни кооперативной. И только в условиях этой монархии граф С. Ю. Витте имел возможность в очень невежливом тоне сказать представителям русской промышленности: «Русское правительство заинтересовано в промышленности и в рабочих, но никак не в ваших, господа, прибылях». И русский капитализм понимал, что он является только «служилым элементом» в общей стройке страны, а не «диктатурой над пролетариатом», какою стал социализм. Или диктатурой одной интеллигентской теории над всеми проявлениями человеческой жизни, какою стал марксизм.

Совершенно конкретные и по-видимому совершенно неоспоримые условия сегодняшней России уже создали благоприятную почву для любого политико-экономического прожектерства, скрывающего за собою совершенно конкретные групповые или классовые интересы профессиональных политиков всех сортов. В конкретных русских условиях — огромность пространств, отрезанность населения от столицы страны, атомизация этого населения, разрыв политической традиции, которая все-таки поддерживала какую-то преемственность поколений, подрыв моральной традиции, которая в свое время сдерживала социально борющиеся стороны в рамках хотя бы какого-то общественного приличия — все это создает великий соблазн захвата власти «во имя идеи» — на вывеске, и во имя шкурных интересов — на практике. Одна только угроза этого захвата парализует всякое творчество в стране.

Попытаемся перевести эти теоретические положения на язык прозаической практики.

Народное хозяйство России является специализированным хозяйством. Говоря грубо: Москва дает ситец, Украина дает хлеб, Средняя Азия в обмен на ситец и хлеб дает хлопок. В тот момент, когда появится угроза — только **угроза** — «расчленения России», среднеазиатский землероб не может не вспомнить того периода своей жизни, когда хлопок у него был, но есть ему было нечего. У подмосковного текстильщика был ситец, но не было ни хлеба, ни хлопка. У украинского хлебороба не было ни ситца, ни соли (дети рождались без ногтей). Вся страна норовила перейти на уровень «натурального хозяйства». Это было вызвано «самоопределением вплоть до отделения», родившимся из советского «планового» кабака. Теперь — совершенно конкретно.

В Москве кто-то там заседает. В Киеве уже кто-то успел засесть. В Москве обсуждаются проекты «самоопределения вплоть до отделения», а в Ташкенте какой-то тюркский дядя уже успел собрать своих джигитов. В этих условиях среднеазиатский декханин хлопка сеять **не будет**. Он посеет пшеницу, подмосковный текстильщик останется без хлопка и без хлеба,

украинский хлебороб — без ситца и соли. Все они вместе взятые останутся без нефти и керосина, а товарищам железнодорожникам — почти сплошь великороссам — придется возвращаться heim ins Reich[7], бросая на произвол судьбы и джигитов, и паровозы, и вагоны, и оставляя страну без транспорта. Ведь вот же — после вооруженного захвата польским генералом Желиговским литовской столицы Вильны Либаво-Роменская дорога была совсем разобрана — ее восстановили только советчики. Сколько таких спорных дорог, уездов, рек, портов, бассейнов, залежей и прочего окажется на территории в 22 миллиона квадратных верст, поделенных между полутораста кандидатами на самоопределение вплоть до отделения? И кто на всей этой территории будет уверен в своем завтрашнем дне?

Можно было бы предположить, что полтораста петлюр во всех их разновидностях окажутся достаточно разумными, чтобы не вызвать и политического и хозяйственного хаоса, — но для столь оптимистических предположений никаких разумных данных **нет**: петлюры режут друг друга и в своей собственной среде. Даже и украинские самостийники поделились на пять разновидностей. В САСШ эти разновидности промышляют халтурой, как делают это и солидаристы. При Гитлере они действовали висельницами, при Бендере — убийствами и пытками. Как они будут действовать в будущем, если над всеми ними не будет монархии?

Это — в чисто хозяйственной или, точнее, в географическо-хозяйственной области. Точно так же обстоит дело и в политически-хозяйственной.

Вспомним еще раз историю многострадальной русской интеллигенции, понимая под этим термином революционный ее слой. Каждое поколение было «новым поколением», идеологическим предшественником «Союза Нового Поколения» (солидаристов), и каждое пыталось разрушать работу всех предшествующих поколений: «Вы, папаши и мамаши, были дураками, а вот мы — мы умные», «мы наш, мы новый мир построим».

Представьте лично себя в положении владельца, директора, организатора любого завода, фабрики или мастерской в лю-

[7] Обратно в империю *(нем.)*.

бом месте России. Вы будете знать, и все это будут знать, что страна нуждается в чудовищной восстановительной работе. Что пресловутая советская «тяжелая промышленность» в обозримое время не может дать никакого «ширпотреба», ибо продукция этой промышленности идет на мировую революцию — на танки, артиллерию, самолеты и пулеметы, а для «ширпотреба» ни заводов, ни фабрик, ни даже мастерских нет. Вот вы строите. И не знаете, так что же будет завтра? Один петлюра отрежет вас от угля, другой — от железа, третий — от хлопка, четвертый — от рынка, а пятый, может быть, отрежет вас от головы. Это, так сказать, внешнеполитическая сторона вопроса. Но есть и внутриполитическая.

Политические партии эмиграции делятся, собственно говоря, на две группы: социалисты и монархисты. Каждая из социалистических группировок заранее предрешает весь дальнейший хозяйственный рост России; каждая более или менее по-своему и каждая — окончательно. Монархисты предрешают только одно; свободную конкуренцию между государственным, земским, кооперативным, частным и прочим хозяйством. Если в России восстанавливается монархия, то каждый хозяйственник «обобществленного», или «частного», сектора будет в основном зависеть только от себя: сможет ли он или не сможет выдержать конкуренцию. Но если России суждено пережить еще одну катастрофу — приход к власти солидаристов, — то никакой хозяйственник не будет знать, что с ним станется завтра. Посадят ли на его шею какого-то «функ-комиссара», который будет функционировать на его, хозяйственника, шее и паразитировать на его, хозяйственника, работе? Передадут ли его завод, фабрику или мастерскую в функциональную собственность той активистской ораве, которую солидаристам ведь придется как-то кормить? И не пошлют ли его, хозяйственника, как это случилось при ликвидации НЭПа, к какой-нибудь неудобоусвояемой чертовой матери, чтобы он не мозолил глаза новому солидаристскому дворянству?

В наших конкретных **русских** условиях — даже еще и послереволюционных — любая республиканская партийная говорильня вызовет неизбежную хозяйственную катастрофу,

за которой последуют и всякие остальные. Да, Россия сможет пережить и это. Для того, чтобы, пройдя и «это», вернуться к 1613 году: «Яко едиными устами вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех государствах Российского Царства Государем и Царем и Великим Князем Всея России, Тебе — Великому Государю Владимиру Кирилловичу...». Или, в переводе этой формулы на очень прозаический язык нашей современности: «Хватит, попили нашей кровушки. Волим под Царя Московского».

ОБЕЗДОЛЕННОСТЬ

Политическое мировоззрение старой правой русской эмиграции, а также и ее политическая пропаганда, построены на исключительно шатком фундаменте. Сознательно, а еще больше, бессознательно, эта эмиграция отождествляет монархию с суммой интересов, навыков, воспоминаний и воспитания старого привилегированного слоя, служилого слоя и военного слоя, — из которых ни служилый, ни в особенности военный не пользовались решительно никакими привилегиями. Из всего русского образованного слоя военный слой был самым обездоленным. Но и это не помешало ему впитать в себя ряд навыков, воспоминаний и пр., стоящих в прямом противоречии и с интересами офицерства, как слоя, и интересами армии, как вооруженной защитницы страны. Это очень обычная история: навыки переживают ту обстановку, в которой и для которой они были в свое время созданы. И они повисают в воздухе. Или, как это случилось у нас, — в безвоздушном пространстве.

Если всю эту концепцию свести к некоему одному знаменателю, то этот знаменатель будет иметь такой вид.

Было замечательное имение в Рязанской губернии. Был замечательный кадетский корпус, или пажеский корпус, или лицей. Была замечательная военная служба, насквозь проникнутая замечательными воинскими подвигами. Была широкая русская масленица и прочие «блины из Москвы». Было настоящее русское золото, а не «керенки» или «совзнаки» — золота

этого было много. Ели русские люди икру и ездили в Ниццу, перед отъездом закусывали у Донона или Кюба или ужинали в Яре или у Тестова. Все было очень, очень замечательно. Потом пришел А. Ф. Керенский и устроил революцию.

В этой концепции чисто эгоистической воли нет, в большинстве случаев нет даже и чисто эгоистических интересов. Все это очень свойственно человеку вообще: идеализировать прошлое, в особенности невозвратное прошлое. Отсюда в эпосе почти всех народов есть сказка о золотом веке и отсюда же в нашем литературном эпосе — «Война и мир», — роман, который был задуман Л. Толстым как исключительная по своей злостности сатира, и который был написан как позолоченная идиллия.

Люди того слоя, который создает идиллический эпос нашего прошлого, — это прошлое переживали действительно почти идиллически. Не совсем, но почти. Из отвратительного далека сегодняшнего эмигрантского дня это прошлое кажется еще более обольстительным. Люди этого слоя не догадываются о том, что, кроме этой точки зрения на Россию и ее историю могут быть — и законно могут быть — и иные точки зрения: например, крестьянская или купеческая. Строго официальных вариантов русского прошлого у нас есть только два: бело-дворянский и красно-дворянский. Первый: «Ах, как все было хорошо». Второй: «До чего все это было отвратительно!» Очень многое было очень хорошо, и довольно многое было очень плохо. Задача реалистического понимания русской истории, русской монархии заключается не в идеализации и не в очернении: нам нужно видеть факты такими, какими они в действительности были. И если Л. Тихомиров утверждает, что «царь заведовал настоящим, исходя из прошлого и имея в виду будущее нации», то мы, монархисты, должны идти тем же путем: действовать для будущего, исходя из прошлого и имея в виду настоящее. Если утопические течения во всем мире имеют перед нами огромное преимущество: обещания, реалистичность которых для среднего обывателя мира ничем не может быть опровергнута, — то монархизм имеет свое трезвое преимущество: он исходит из реального про-

шлого. Без участия прошлого не формируется никакое настоящее, а всякое будущее основано на сегодняшнем настоящем.

Утописты всех разрядов — социалисты, коммунисты, анархисты, солидаристы обещают все, что угодно, и всем, кому только угодно: до нас все было плохо — при нас все будет хорошо. Часть этих обещаний уже проверена. Но средний баран мира к фактической проверке событий относится чрезвычайно скептически. Наличие этого барана должны учитывать и мы. Но мы также должны учесть и то обстоятельство, что, во-первых, баранье население России составляет меньший процент, чем где бы то ни было в мире, и что, во-вторых, «фактическая проверка» социалистических (Керенский), анархических (Махно) и коммунистических (Ленин) обещаний была слишком наглядной.

Мы, следовательно, должны базироваться на фактах прошлого, организовывать настоящее и иметь в виду будущее, исходящее из прошлого и из настоящего. Мы не утописты — ни справа, ни слева. Мы — единственная политическая группировка, исходящая из реального, а не утопического представления о нашем прошлом и не предлагающая никаких утопий для нашего будущего. Мы не оцениваем ни России, ни русской истории с точки зрения какого бы то ни было сословия, класса, слоя и пр. Но мы должны сказать: подавляющее большинство населения России — это ее крестьянство, в прошлом около 90 процентов и в настоящем, вероятно, около 80 процентов. Интересы России в самом основном были и будут интересами ее крестьянства. В процессе своего исторического возникновения и своей исторической жизни российская монархия, когда она существовала в реальности, как сила, а не как вывеска, — всегда стояла на стороне верований, инстинктов и интересов русской крестьянской массы, — и не только в самой России, но и на ее окраинах. Это есть основная традиция российской монархии, категорически отделяющая русскую монархию от всех остальных монархий в истории человечества. Именно этот пункт мы должны подчеркнуть самым отчетливым образом.

Мировая общественность, и иностранная, и русская, предъявляет исторической русской монархии целый ряд совер-

шенно конкретных обвинений. Эти обвинения сводятся к тому, что в целях подавления и своего, и чужих народов, русская монархия вела завоевательные войны, что она базировалась на деспотическом образе правления и что она создала русскую нищету. Наиболее умеренная и наиболее классическая формулировка на эту именно тему принадлежит проф. В. Ключевскому: «Государство пухло, а народ хирел».

С некоторыми оговорками мы должны признать, что в общем эти обвинения правильны. Или были бы правильны, если бы были направлены не по адресу монархии, а по адресу географии. Действительно, под главенством монархии русский народ не разбогател. Но В. Ключевский, не говоря уже о других историках, публицистах, философах и писателях, не догадался поставить вопрос несколько иначе: какие шансы были у русского народа выжить? И в какую географию поставила его судьба?

Факт чрезвычайной экономической отсталости России по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял: в САСШ 720 рублей (в золотом довоенном исчислении), в Англии — 500, в Германии — 300, в Италии — 230 и в России — 110. Итак, средний русский еще до Первой мировой войны был почти в семь раз беднее среднего американца и больше чем в два раза беднее среднего итальянца. Даже хлеб — основное наше богатство — был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия — 27 пудов, а САСШ — целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21,6 пуда — включая во все это и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира, таких как САСШ, Англия, Германия и Франция, хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами и рыбой в свежем и консервированном виде.

Русский народ имел качественно очень рациональную кухню, богатую и солями, и витаминами, но кладовка при этой кухне часто бывала пуста. Русский народ был, остается и сейчас преимущественно земледельческим народом, но на душу

сельскохозяйственного населения он имел 1,6 гектара посевной площади, в то время как промышленная и «перенаселенная» Германия имела 1,3, а САСШ — 3,5. При этом техника сельского хозяйства, а следовательно, и урожайность полей в России была в три-четыре раза ниже германской.

Таким образом, староэмигрантские песенки о России как о стране, в которой реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры, являются кустарно обработанной фальшивкой: да, были и шампанское и икра, но меньше чем для одного процента населения страны. Основная масса этого населения жила на нищенском уровне. И, может быть, самое характерное для этого уровня явление заключается в том, что самым нищим был центр страны, — любая окраина, кроме Белоруссии, была и богаче, и культурнее. На «великорусском империализме» великороссы выиграли меньше всех остальных народов России.

Тем не менее именно Великороссия построила империю. Тем не менее действительно И. Ползунов первый изобрел паровую машину, П. Яблочков — электрическую лампочку накаливания (патент 1876 года), и А. Попов — беспроволочный телеграф (1895[8]). Тем не менее Россия дала литературе Толстого и Достоевского, в химии — Бутлерова и Менделеева, в физиологии — Сеченова и Павлова, в театре — Станиславского, Дягилева, Шаляпина, в музыке Чайковского, Глинку, Мусоргского, Скрябина, в войне — Суворова и Кутузова и, кроме всего этого, в самых тяжких во всей истории человечества условиях построила самую человечную в истории того же человечества государственность.

И в то же время самая богатая в истории человечества нация — североамериканская, попавшая в самые благоприятные в истории человечества географические и политические условия, — не создала ничего своего. Русские люди, ослепленные богатством и привольем САСШ, не отметили, кажется, и того обстоятельства, что даже в области техники САСШ не создали решительно ничего своего: все, что создано там, — это только использование европейских вообще и русских, в частности

[8] Все это признает и немецкая история техники. — *Прим. авт.*

технических, изобретений: даже пресловутая атомная бомба есть реализация работы русского ученого проф. Капицы.

Промышленная реализация изобретений Ползунова, Яблочкова, Попова и Махонина (синтетический бензин) в России была почти невозможна, ибо благодаря технической отсталости и экономической бедности страны для реализации всего этого не было никакой базы. Наша автомобильная промышленность, существовавшая и до революции, не могла развиваться, ибо для автомобилей не было дорог. Дорог не было потому, что а) страна была тишком бедна, б) при редкости населения на каждого жителя страны должно было бы прийтись большее количество верст шоссе, чем в какой бы то ни было иной стране мира и в) потому, что от трех до пяти месяцев в году русская зима делала ненужными никакие шоссе. Автомобильная промышленность была связана целым рядом пут, не имевших решительно никакого отношения к политическому строю страны.

Наша бедность тоже не имеет к этому строю никакого отношения. Или точнее, — наша бедность обусловлена тем фактором, для которого евразийцы нашли очень яркое определение: **географическая обездоленность** России.

История России есть история преодоления географии России. Или несколько иначе: наша история есть история того, как дух покоряет материю, и история САСШ есть история того, как материя подавляет дух.

ДВА ПОЛЮСА

Все в мире познается сравнением и только им одним. Для того чтобы сделать сравнение наиболее ясным и ярким, нужно, по мере возможности, сравнивать наиболее крайние противоположности. В большой мировой истории нет более крайних противоположностей, чем история России и САСШ.

САСШ являются наиболее республиканской страной в мире, страной, которая основала свою национальную само-

бытность на революционном восстании против английской монархии. Россия является страной, которая сохранила свое национальное существование, благодаря монархии. Россия — страна, которая вела наибольшее в истории человечества количество войн. САСШ — страна, которая вела наименьшее количество войн. Все основные наши войны были войнами оборонительными, хотя были и войны чисто наступательные. САСШ является страной, которая вела исключительно наступательные войны, начиная от завоевания голландской колонии Новые Нидерланды английским десантом — что положило начало англо-саксонскому преобладанию в Северной Америке, — и кончая участием САСШ во Второй мировой войне. Это последнее участие было с нашей русской точки зрения желательным и справедливым, но все-таки это не было обороной САСШ. И даже японско-американская война не была оборонительной — ни Германия, ни Япония завоевывать САСШ никак не собирались. Американо-германская война была войной за сохранение известного политического положения в мире, японско-американская была войной за торговые интересы на Дальнем Востоке.

Ни одна из американских войн чисто оборонительной не была, какими были наши войны против татар и Польши, против Наполеона и Гитлера. Американцы вели чисто наступательные и завоевательные войны против испанцев и французов, против Мексики и Испании и, наконец, против индейских аборигенов страны, которые были почти начисто истреблены и остатки которых еще до сих пор находятся под контролем правительственных чиновников и прав гражданства, собственно, лишены. Еще 100 лет тому назад на юге и западе САСШ правительство платило за скальп взрослого индейца пять долларов, за скальп женщины и ребенка — по три и два доллара. Приблизительно в то же время завоеванные кавказцы — Лианозовы, Манташевы, Гукасовы — делали свои миллионы на «русской нефти», из русских — не сделал никто. Завоеванный князь Лорис-Меликов был премьер-министром, а Гончаров во «Фрегате “Паллада”» «повествует о том, как в борьбе

против «спаивания туземцев» русское правительство совершенно запретило продажу всяких спиртных напитков к востоку от Иркутска, — и для русских в том числе. Все это никак не похоже на политику «национальных меньшинств» в САСШ и Канаде, в Конго или на Борнео. Все это никак не похоже и на политику Англии в Ирландии, или Швеции в Финляндии. Англия, завоевав Ирландию, ограбила ирландцев до нитки, превратив все население страны в полубатраков. Швеция, завоевав Финляндию, захватила там для своей аристократии огромные земельные богатства, и против этой аристократии финское крестьянство вело свои знаменитые «дубинные войны». Россия отвоевала от Швеции Прибалтику и Финляндию, не ограбила решительно никого, оставила и в Прибалтике, и в Финляндии их старое законодательство, администрацию и даже аристократию — прибалтийские немцы стояли у русского престола и генерал Маннергейм был генерал-адъютантом Его Величества.

Наши оборонительные войны были безмерно тяжки. Американские наступательные войны были чем-то вроде наших черемисских войн или похода Ермака Тимофеевича: в основном это были войны с дикарями. Но это все-таки были войны и уж никак не оборонительные.

С начала XVII века и по нашу пору, т.е. в продолжение примерно 300 лет, попав в исключительно благоприятные условия, американцы «делали доллары», но, кроме долларов, они не сделали ничего. Им не мешал никто. Мы за это же время пережили, если не считать Смутного времени, а до него сожжения Москвы Девлет-Гиреем (1571) — такие блага мира и свободы:

Войну с Польшей за Смоленск, Полоцк и Псков, а не за Варшаву или Краков;

Войну со Швецией, которая была разбита у Полтавы, а не у Стокгольма;

Войну с Францией, которая была решена у Бородина и Березины, а не у Нанси или Парижа;

Крымскую войну, которая велась в Крыму, а не в Нормандии.

Первое германское нашествие 1914–1918;

Второе германское нашествие 1941–1945.

Чисто завоевательные войны вела, конечно, и Россия. Как вели их и все в истории человечества нации. Ни при каком усилии воображения и демагогии нельзя все-таки утверждать, что Англо-бурская война была чисто оборонительной и что Марокко или Индокитай явились результатом чисто демократических мероприятий республиканской Франции. Завоевательные войны вела и Россия. На Западе эти войны были, собственно, только стратегической обороной. И если русское общественное сознание всегда считало ошибкой разделы Польши (идея **раздела** существовала и в Старой Москве, но Старая Москва хотела только возврата русских земель и не хотела раздела Польши), то даже и русская общественная мысль как-то не отметила одного обстоятельства: начиная от Болеслава Храброго, захватившего Киев в начале XI века, кончая таким же захватом того же Киева Иосифом Пилсудским в начале XX, — через Смоленск, Псков, Полоцк и Москву Польша 900 лет подряд разбивала себе голову о Россию. И, разбивши окончательно, плакалась всему миру на русский империализм.

Чисто завоевательные войны Россия вела исключительно на востоке. Поход Ермака Тимофеевича был, конечно, завоевательным походом — такого же типа, каким занималась английская «Компания Гудзонова пролива». Завоевание Сибири автоматически вовлекло нас в завоевательную войну с Японией — в эту войну Япония, а не Россия, находилась в оборонительном положении. Для Сибири был необходим выход к Тихому океану. Для Японии никак не было нужно, чтобы Россия охватила ее полукольцом — от Сахалина до Ляодуна. России был нужен выход к океану, перенаселенной Японии нужна была опора на материке. Когда будет существовать Организация Объединенных Наций, способная решать дела «по-божески», тогда эти вопросы будут решаться большинством голосов или чем-то в этом роде. Пока этого нет, они решаются силой. Нам пришлось решать силой и татарское иго, и семисотлетние польские интервенции, и стосорокалетнюю блокаду России со стороны Польши, Швеции и Ливон-

ского ордена (1551–1703) — блокаду сознательную и планомерную, сознательно и планомерно отрезавшую Россию от всякого соприкосновения с Западом. Пришлось силой ликвидировать блокаду России на берегах Черного моря, блокаду, длившуюся 340 лет (1475–1812) и дополненную работорговыми налетами крымчаков на русскую землю. Нам пришлось все той же силой решать и вопрос об обоих германских нашествиях. Ничего подобного этому в истории САСШ и в помине не было. Но что сделали бы САСШ, если бы гавань Сан-Франциско была в японских руках, Нью-Йорка — в голландских и Нью-Орлеана — в испанских?

В последнее столетие существования Московского царства Россия, при среднем населении в 5 миллионов человек, держала в среднем в мирное время под оружием армию в 200 тысяч бойцов, т.е. около 4 процентов всего населения страны, около 8 процентов всего мужского населения страны и около четверти всего взрослого мужского населения страны. Переведем этот процент на язык современности. Для САСШ это означало бы постоянную, кадровую армию в составе около 6 миллионов. Это — в мирное время, а мирные времена были для Москвы, да и для Петербурга, только исключениями. Армия предвоенного времени в 3 миллиона кажется САСШ уже почти невыносимым бременем. Что было бы, если бы САСШ были бы вынуждены содержать шестимиллионную армию все время и пятнадцатимиллионную почти все время? Что осталось бы от американских свобод и от американского богатства? Если перевести исторические данные русских условий на язык американской современности, то они означали бы вот что.

В целях сохранения не только «национальной независимости», но и личного бытия каждого человека в борьбе против работорговых нашествий Батыя в XIII веке и Гитлера в XX страна вынуждена держать под оружием в среднем 10 миллионов человек. Этих людей нужно вооружать, одевать и кормить. Для этого нужен аппарат, который реализовал бы воинскую повинность в любом ее варианте и собирал бы налоги — тоже в любом варианте. Для всего этого необходима сильная

и централизованная государственная власть. Эта власть еще более необходима для ведения войны вообще, а в войнах не на жизнь, а на смерть — отсутствие этой власти означало бы гибель. Помимо всяких иных соображений (есть и иные соображения) весь ход истории России вел страну к созданию той формы власти, которая на русском языке называется «самодержавием» и для которой адекватного иностранного термина нет.

Весь ход исторического развития САСШ в модернизованной форме повторяет нравы первых поселенцев и последних скваттеров и трапперов Дальнего Запада, где неограниченность всяких свобод сталкивалась только с судом Линча. И первые поселенцы Северной Америки, и ее последние «пионеры» воевали только за «расширение территории». Россия воевала главным образом за свое физическое существование и как нации, и просто как суммы «физических лиц». Американским поселенцам пришлось бороться с дикими и разрозненными племенами индейцев, нам пришлось ломать такие «самые современные» в каждую данную эпоху завоевательные машины, как татарские, польские, наполеоновские или гитлеровские орды. Мы лили и лили — и кровь и деньги. Америка сберегала и то и другое. У нас выросла некоторая гипертрофия государственной дисциплины, сказавшаяся и во Второй мировой войне, в САСШ — гипертрофированное чувство свободы, и сейчас сказывающееся в остром нежелании взять на себя какую бы то ни было ответственность за что бы то ни было в мире.

В результате тысячелетнего процесса расширения России и четырехсотлетнего процесса расширения САСШ обе нации оказались обладательницами совершенно разных территорий.

Территория САСШ охраняется от всякого нашествия двумя океанами. Она представляет собою опрокинутый треугольник Миссисипи — Миссури со всеми его притоками. САСШ не имеют ни одной замерзающей гавани. Их северная граница имеет среднюю температуру Киевской губернии. Их естественные богатства огромны и расположены в самых старых областях страны.

Россия ни от каких нашествий не охранена ничем. Ее реки упираются или в Ледовитый океан, или в Каспийский тупик,

или в днепровские пороги. Россия не имеет, собственно, ни одной незамерзающей гавани — единственное государство мира, отрезанное от морей не только географией и историей, но даже и климатом. Замерзающие реки и моря заставляли русский торговый флот бездействовать в течение трех-шести месяцев в году — и одно это уже ставило наш морской и речной транспорт в чрезвычайно невыгодные условия по сравнению со **ВСЕМИ** остальными странами мира. Половина территории России (48 процентов) находится в области вечной мерзлоты. Естественные богатства России, как и ее реки, расположены, так сказать, издевательски: в центре страны нет вообще ничего. Там, где есть уголь, — нет руды, и где есть руда — нет угля. В Кривом Роге есть руда, но нет угля, в Донбассе есть уголь, но нет руды. На Урале есть руда, но нет угля, в Кузбассе есть уголь, но нет руды. Пока Урал работал на древесном угле, Россия вывозила лучшее в мире железо. Когда истребление лесов и прогресс техники потребовали соседства угля и руды, то русская промышленность оказалась в заколдованном кругу. Для того чтобы «освободить» Донбасс, нужно было покончить с кочевниками. Когда с ними было покончено, нужны были железные дороги, чтобы возить руду в Донбасс, или уголь в Кривой Рог. Для железных дорог нужно железо. Для железа нужны железные дороги. Эта проблема и до сих пор не решена экономически: да, можно возить руду с Урала в Кузбасс и — встречными маршрутами — уголь из Кузбасса на Урал — но сколько это стоит?!

Золото и нефть, уголь и руда разбросаны по окраинам страны. В ее центре нет, собственно, ничего. В Германии, Англии и САСШ все это расположено и в центрах, и рядом. Рур, Пенсильвания, Бирмингэм. Для транспорта всего этого имеются незамерзающие реки и незамерзающие порты. Есть, конечно, и незамерзающая земля: строительный сезон в средней Германии равен десяти месяцам в году, а в южной России — пяти-шести месяцам и в северной — только трем. Советы пытались удлинить этот сезон так называемыми «тепляками», дощатыми футлярами над строящимися зданиями. Технически это оказалось выполнимо. Экономически это оказалось

не под силу. И даже в нашем сельском хозяйстве, традиционном промысле Святой Руси, не все обстоит благополучно: чернозем страдает от засухи, достаточное количество влаги получает только северный суглинок. Отсюда еще одно парадоксальное обстоятельство: на нашем тощем севере сельское хозяйство оказывается рентабельнее, чем на нашем жирном юге.

Исходное ядро русской государственности выросло в географических условиях, которые не давали абсолютно никаких предпосылок для какого бы то ни было роста. Москва не имела никаких «естественных богатств», если не считать леса, который давал пушнину и в котором можно было кое-как спрятаться от татарских орд. Как торговый пункт, любой пункт нашей территории, в какой можно, закрыв глаза, ткнуть пальцем, был если и не лучше, то и никак не хуже Москвы — Новгород, Киев, Вильна или Галич. Все они были ближе к культурным центрам тогдашнего мира, все они, кроме Киева, были вдали от татарских нашествий, Новгород и Киев занимали узловые пункты водного транспорта, Галич располагал богатейшими соляными копями, Москва не имела даже и пахотной земли: хлеб доставлялся из-за Оки, из Дикого поля, уже совершенно открытого кочевым набегам.

История САСШ повествует о благоговейном изумлении, которое охватывало первых переселенцев в Северную Америку. Джон Смит писал: «Никогда еще и небо и земля не были так согласны в создании места для человеческого жительства». Действительно: мягкий климат, плодородная земля, обилие леса и дичи, незамерзающее море с обилием рыбы, возможность почти любой сельскохозяйственной культуры умеренного климата, лесные промыслы, которые давали сырье для судостроения, гавани, которые обеспечивали этому судостроению и материальную, и транспортную базу, — и никаких нашествий: индейцы без боя отступали вглубь страны, поставляя оттуда меха для дальнейшего товарооборота. Это была, действительно, «Господа Бога собственная страна». Что было в Москве? Тощий суглинок, маленькая Москва-река, суровый климат, ближайшие моря отрезаны со всех сторон, и из-за Оки, с Дико-

го поля непрерывная всегдашняя, — вечно нависающая угроза смертоносного татарского набега.

Если в Северной Америке «небо и земля» действительно как будто сговорились в «создании места для человеческого жительства», то в России и небо и земля, и климат и география, и история и политика как будто сговорились, чтобы поставить народ в казалось бы совершенно безвыходное положение: а нука, попробуйте!

И вот в результате диаметрально противоположных геополитических предпосылок выросли два и одинаковых, и неодинаковых государства современного мира. Они приблизительно одинаковы по силе — на стороне САСШ имеется колоссальное материальное преимущество, на стороне России — такое же психическое. Но если диаметрально противоположные геополитические предпосылки создали два разных, но все-таки сильнейших государства последнего столетия, то совершенно ясно, что решение вопроса лежит не в геополитике, а в психологии, т.е. **не в материи, а в духе**.

Если этот процесс преодоления материи — духом, организацией, государственными дарованиями, боеспособностью и прочим свести в самый краткий обзор, то этот обзор будет иметь такой вид.

Ядро русской государственности к концу XV столетия имело около 2 миллионов населения и около 50 тысяч квадратных километров территории. Оно было расположено в самом глухом углу тогдашнего мира, было изолировано от всех культурных центров, но открыто всем нашествиям с севера (шведы), с запада (Польша), с востока и юга (татары и турки). Эти нашествия систематически, в среднем приблизительно раз в 50 лет, сжигали на своем пути все, в том числе и столицу. Оно не имело никаких сырьевых ресурсов, кроме леса и мехов, даже и хлеба своего не хватало. Оно владело истоками рек, которые никуда не вели, не имело доступа ни к одному морю, если не считать Белого, и по всем геополитическим предпосылкам не имело никаких шансов сохранить свое государственное бытие. В течение приблизительно 400 лет это «ядро» расширило

свою территорию приблизительно в 400 раз — от 50 тысяч до 20 миллионов квадратных километров.

В течение этих 400–500 лет это ядро вело необычайные по своей длительности и напряженности войны и за свое государственное бытие и за личное бытие его граждан. Наши основные войны — со Швецией, Польшей, татарами и турками — длились веками, это были войны на измор. Или войны на выносливость. Все эти войны кончились переходом всех наших противников на самые задворки современного человечества. И если в 1480 году население Царства Московского составляло около 6 процентов населения Австрии, Англии, Германии, Испании, Италии и Франции вместе взятых, то перед Первой мировой войной Российская империя имела около 190 миллионов населения, из них около 130 миллионов русского, против 260 миллионов населения перечисленных шести великих держав Европы вместе взятых. Без революции 1917 года население Российской империи **превышало** бы население этих держав. Государственная организация Великого княжества Московского, царства Московского и империи Российской всегда превышала организацию всех своих конкурентов, противников и врагов — иначе ни Великое княжество, ни царство, ни империя не смогли бы выдержать этой борьбы не на жизнь, а на смерть. Все наши неудачи и провалы наступали именно тогда, когда нашу организационную систему мы подменяли чьей-либо иной. Неудачи и провалы выправлялись тогда, когда мы снова возвращались к нашей организации.

Точкой, в которой концентрировались и кристаллизировались все организационные данные русского народа и русской государственности, была русская монархия. И будет и в дальнейшем.

О МОНАРХИИ ВООБЩЕ

Если мы попробуем вдуматься в понятие монархии вообще, то мы, вероятно, к крайнему нашему удивлению, установим, что «монархия» вообще — не обозначает ровно ничего —

как, с другой стороны, ровно ничего не обозначает и термин «демократия» — тоже «вообще». Мы привыкли думать, что монархия есть образ правления, при котором глава государства или нации является наследственным и пожизненным главой, передающим свои права и функции и дальше: по наследству и в пожизненное владение. Однако Польша была республикой — «Речь Посполита» — и возглавлялась королями, которые были выборными. Византия была монархией — из ее 109 царствовавших императоров было убито 74. В 74 случаях из 109 престол переходил к цареубийце по праву захвата. И при короновании императора Цимисхия патриарх Полуевкт провозгласил даже и новый догмат: таинство помазания на царство смывает все грехи, в том числе и грех цареубийства, — победителей не судят. Формула, по которой феодальная знать возводила на престол арагонских королей, была средактирована так: «Мы, которые стоим столько же, сколько и вы, и которые можем больше, чем можете вы, мы назначаем вас нашим королем и сеньором при том условии, что вы будете соблюдать наши привилегии. А если нет, — нет».

Новгород Великий — республика — нанимал себе «князей» по договору и смещал их, когда ему заблагорассудится. Римских императоров назначали и смещали победоносные легионы. Турецкая монархия, которая все-таки просуществовала больше пяти веков, являлась производной величиной непрерывного ряда дворцовых переворотов, братоубийств, сыноубийств и просто убийств. Таким образом, «наследственная монархическая власть» — это только тенденция, а никак не исторический факт.

Реальные полномочия этой власти даже и «тенденции» не имеют никакой. Польские короли были просто безвластными («если нет, — нет»), и Генрих Валуа предпочел сбежать от предложенного ему престола. Японская монархия эпохи сегуната была только религиозным прикрытием над властью японских феодалов. Английский король может иметь большое влияние, но может не иметь и вовсе никакого, в зависимости от своих личных свойств. Шведский король не имеет достаточно власти, чтобы выхлопотать у своего правительства визу для

въезда в Швецию нежелательному для социалистического правительства иностранцу.

История человечества есть по преимуществу монархическая история. Республиканские Рим и Афины были только исключением из общего правила. Великие государственные образования и Азии и Африки строились исключительно на монархическом принципе. Европы — почти исключительно на монархическом. Республиканская Северная Америка является одним из нынешних исключений, исторической роли которого мы еще оценить не можем: невероятно счастливые геополитические условия страны позволяют САСШ роскошь такого политического хаоса, какого не может позволить себе никакая иная страна в мире. Какая страна может позволить себе роскошь, существования бандитских организаций вроде «синдиката» м-ра Костелло, тратящих на подкуп администрации почти полмиллиарда долларов в год, — вероятно, не один только год. Какая иная страна может позволить себе роскошь такой политической неразберихи, которая свирепствует даже и в наше трагическое время. Все внешнеполитические опасности САСШ почти устранены наличием двух океанов и почти все внутриполитические — наличием чудовищных богатств, накопленных под прикрытием этих океанов. При данных условиях можно годами и годами переливать из пустого в порожнее, отмахиваться от неизбежности, и топтаться на месте. Представим себе североамериканскую политическую машину в России.

К великому князю Владимиру Красное Солнышко скачут гонцы: «Княже, половцы в Лубнах». Великий князь Владимир Красное Солнышко созывает Конгресс и Сенат. Конгресс и Сенат рассматривают кредиты. Частная инициатива скупает мечи и отправляет их половцам. В Конгрессе и Сенате республиканцы и демократы сводят старые счеты и выискивают половецкую пятую колонну. Потом назначается согласительная комиссия, которая ничего согласовать не успевает, ибо половцы успевают посадить ее всю на кол.

Этот пример несколько примитивен, но он точен. Нация, находящаяся в состоянии военной опасности, не может позво-

лить себе роскоши парламентарной волокиты. Военная же опасность существует в мире со времен Адама и Евы до времен Сталина и Трюгве Ли. Нации, которых природа поставила вне этой опасности, могут забавляться согласительными комиссиями. Для России согласительные комиссии были бы самоубийством.

Приблизительно таким же самоубийством были бы согласительные комиссии и во внутренней жизни тех наций, которых судьба не наделила достаточным количеством жировых отложений. Североамериканские профессиональные союзы настроены антисоциалистически. Они не собираются грабить «буржуазию» ни сегодня, ни даже послезавтра: автомобилей и при буржуазии хватает на всех. Но в республиканской Франции даже и хлеба хватает не на всех. И ни один слой общества не желает принести жертвы «нации». Период, предшествовавший Второй мировой войне, и период, предшествующий Третьей, дают совершенно наглядное подтверждение одному из политических утверждений Карла Маркса: «Если классовая борьба не находит разумного исхода — нация гибнет». Эта гибель не совершается, разумеется, в течение 24 часов, но она все-таки совершается. Америка и Англия, защищенные проливами и океанами, могут «смотреть и ждать» — Франция потерпела разгром в 1871 году, была спасена Россией в 1914 году и потерпела разгром в 1940. Страна, которая была долгое время вершительницей судеб Европы, по крайней мере Западной Европы, сейчас существует только за счет поддержки извне — и военной, и финансовой. Отнимите эту поддержку — и что станет с Францией и внутри, и извне?

И если для войны нация нуждается не в парламенте, а в полководце или в вожде, то и для мира нация нуждается в судье, в суперарбитре над всякими внутренними трениями, спорами и столкновениями. Утверждение, что мир стремится к парламентарной демократии, если и верно фактически, то только в том отношении, что «стремиться» каждый может к чему ему угодно. Но идти — мир идет ОТ парламентарной демократии. И потеряв верховного арбитра в лице монархии, — заменяет этот арбитраж диктатурой. Россия, Польша,

Германия, Венгрия, Испания, Италия, Франция этот путь проходят или прошли. Китай богдыханов пережил диктатуру Чан Кайши, которая сменяется диктатурой Мао Цзе. Только мелкие страны Европы, кое-как балансирующие между решающими силами современности, или внеевропейские страны, отделенные от этих сил океанами, кое-как держатся за то, что можно было бы назвать «местным самоуправлением». Местному самоуправлению торопиться некуда, никаких принципиальных проблем жизнь перед ним не ставит, никакой опасности над ним не висит, все социальные противоречия смягчаются и «жизненными пространствами», и жировыми отложениями САСШ, Австралии, Канады или Новой Зеландии. Земной рай, говорят, находится на Гавайских островах. Было бы нелепо предлагать русской зиме соответствующее гавайскому климату обмундирование.

Мы можем установить такой твердый факт: русский народ, живший и живущий в неизмеримо более тяжелых условиях, чем какой бы то ни было иной культурный народ истории человечества, создал наиболее мощную в этой истории государственность. Во времена татарских орд Россия воевала по существу против всей Азии — и разбила ее. Во времена Наполеона Россия воевала по существу против всей Европы, и разбила ее. Теперь в трагически искалеченных условиях, опирающаяся на ту же Россию коммунистическая партия рискует бросить свой вызов по существу всему остальному человечеству, правда, уже почти без всяких шансов на успех, но все-таки рискует. Если бы не эти трагически искалеченные условия, т.е. если бы не февраль 1917 года с его логическим продолжением в октябре, то Россия имела бы больше 300 миллионов населения, имела бы приблизительно равную американской промышленность, имела бы культуру и государственность, неизмеримо превышающую американские, и была бы «гегемоном» не только Европы. И все это было бы создано на базе заболоченного окско-волжского суглинка, отрезанного от всех мировых путей. Это могло быть достигнуто потому и только потому, что русский народ выработал тип монархи-

ческой власти, который является наиболее близким во всей человеческой истории приближением к идеальному типу монархии вообще. Русскую монархию нужно рассматривать как классическую монархию мировой истории, а остальные монархии этой истории как отклонение от классического типа, как недоразвитые, неполноценные формы монархии.

Классическая русская историография действовала как раз наоборот. Неполноценный тип европейской монархии русская историография рассматривала в качестве классического случая, а русскую монархию только как отклонение от классической нормы, должной нормы, прогрессивной нормы, нормы «передовых народов человечества». Классические русские историки рассматривали всю историю России с иностранной точки зрения, и 1917 год с его профессором П. Н. Милюковым явил собою классическое доказательство того, что средний профессор понимал русскую историю хуже среднего крестьянина. Знал ее, конечно, лучше, но не понимал по существу ничего.

Наши классические историки жили на духовный чужой счет и никак не могли себе представить, что кто-то в России мог жить на свой собственный. Занимаясь систематическими кражами чужих идей, они не могли допустить существования русской собственной идеи. И когда возникал вопрос о происхождении русской монархии, то наши скитальцы по чужим парадным и непарадным подъездам уже совершенно автоматически ставили перед собой вопрос: откуда была сперта русская идея монархии? Ответ — тоже автоматически — возникал сам по себе: из Византии. Византия для эпохи первых веков нашей истории была самым парадным подъездом в мире.

Прежде всего, маленькая фактическая параллель. Итак, в Византии из 109 царствовавших императоров 74 взошли на престол путем цареубийства. Это, по-видимому, не смущало никого. В России XIV века князь Дмитрий Шемяка пробовал действовать по византийскому типу и свергнуть великого князя Василия Васильевича — и потерпел полный провал. Церковь предала Шемяку проклятию, боярство от него отшатнулось, масса за ним не пошла: византийские методы оказались нерентабельными. Нечто в этом

роде произошло и с Борисом Годуновым. Династия Грозного исчезла, и Борис Годунов оказался ее ближайшим родственником. Законность его избрания на царство не подлежит никакому сомнению, как и его выдающиеся государственные способности. Он отказывался от престола, как в 1613 году отказалась мать юного Михаила Феодоровича, как в 1825 году отказывались великие князья Константин и Николай Павловичи. А. С. Пушкин считал поведение Бориса Годунова лицемерием:

Борис еще поморщится немножко,
Как пьяница пред чаркою вина.

Но ведь Борис Годунов не был единственным, который отказывался. В Византии, вероятно, не «морщился» никто. В Европе тоже. В Европе королевские прерогативы понимались по тем временам весьма просто: omnia impunem facere, hic est regnem esse — «все делать безнаказанно, вот что значит быть королем...».

С Борисом Годуновым все, в сущности, было в порядке, кроме одного: тени царевича Дмитрия. И московская олигархия во главе с князем Василием Шуйским нащупала самый слабый, единственный слабый пункт царствования Годунова: она создала легенду о Борисе Годунове как об убийце законного наследника престола. И тень царевича Дмитрия стала бродить по стране:

Убиенный трижды и восставый
Двадцать лет со славой правил я
Отчею Московскою державой,
И годины более кровавой
Не видала русская земля.

М. Волошин. Дмитрий Император.

Кто в Византии стал бы волноваться о судьбе ребенка, убитого 20 лет тому назад? Там сила создавала право, и сила смывала грех. На Руси право создавало силу, и грех оставался грехом.

В Московской Руси цареубийств не было вообще: «такого на Москве искони не важивалось». Они были только в Петербурге — в чужом для России городе, где никакой «Руси» не бы-

ло и где для всяких просвещенных влияний Запада дверь была открыта настежь. Но и в Петербурге дворцовые цареубийства скрывались самым тщательным образом, и только революция, раскрывая все архивы, поставила все точки над всеми «i». Об убийстве царевича Алексея Петровича даже послереволюционное (апрель 1917 года) издание учебника академика Платонова говорит: «Царевич умер до казни в Петропавловской крепости». Убийство Иоанна Антоновича было скрыто вообще. Убийство Петра III было объяснено случайным ударом в пьяной драке (Платонов: «Петр... развлекался по своему обычаю вином и лишился жизни от удара, полученного в хмельной ссоре»). Смерть императора Павла I была объявлена «грудной коликой». Не было ни одного случая открытого захвата власти. И, с другой стороны, такие восстания, как Разинщина и Пугачевщина, шли под знаменем хотя и вымышленных, но все-таки законных претендентов на престол, недаром Сталин назвал Разина и Пугачева «царистами».

Идея легитимной монархии поддерживалась в России крепче, чем где бы то ни было в истории человечества, но ведь настоящей монархией может быть только легитимная. Когда после Смутного времени был поставлен вопрос о реставрации монархии, то собственно никакого «избрания на царство» и в помине не было. Был «розыск» о лицах, имеющих наибольшее наследственное право на престол. А не «избрание» более заслуженных. Никаких «заслуг» у юного Михаила Феодоровича не было и быть не могло. Но так как только наследственный принцип дает преимущество абсолютной бесспорности, то именно на нем и было основано «избрание». И для вящей прочности подтверждено происхождение новой династии от «пресветлого корени Цезаря Августа». Ничего подобного в Византии не было.

Все, что было в Византии, было прямой противоположностью всему тому, что выросло на Руси. Византийство — это преобладание формы над содержанием, законничества над совестью, интриги над моралью. Византийцы были классификаторами, кодификаторами, бюрократами. Византийской «нации» не было никогда, не было никакой национальной ар-

мии, не было никакой национальной идеи. Об истоках же русской государственной идеи В. Ключевский пишет: «Начальная летопись представляет сначала прерывистый, но чем дальше, тем все более последовательный рассказ о первых двух веках нашей истории, и не простой рассказ, а освещенный цельным, тщательно проработанным взглядом составителей на начало нашей истории... Важнее всего идея, которою освящено начало нашей истории. Это идея славянского единства, которая в начале XII века требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной ей действительностью.

Замечательно, что в обществе, где еще 100 с чем-нибудь лет тому назад приносились человеческие жертвы, мысль уже научилась подыматься до связи мировых явлений... Вчитываясь в оба свода, вы чувствуете себя как бы в широком общерусском потоке событий, образующемся из слияния крупных и мелких местных ручьев... Как могли составители сводов собрать такой материал местных записей, летописей и сказаний и как умели свести их в последовательный погодный рассказ, — это может служить предметом удивления или недоумения»...

Итак: за 200 лет вчерашние поклонники Перуна и Даждьбога «научились подниматься до связи мировых явлений» — или, как сказали бы мы сейчас, «мыслить в мировом масштабе». Сейчас мы можем совершенно бесспорно констатировать тот факт, что этому искусству Европа не научилась и за две тысячи лет. «Идея славянского единства», действительно, «совсем не поддерживалась современной ей действительностью» и, значит, была чисто русской идеей, идеей, родившейся на Руси, т.е. созданием русского национально-политического гения. Но если это так, то почему мы не можем сказать, что и русская монархия есть создание того же русского национального политического гения? И что она стоит выше остальных монархий мировой истории в такой же степени, как наше мышление в мировом масштабе стоит выше мышления Лиги Наций или ООН? Почему не признать, что авторство в нашем государственно-национальном строительстве принадлежит **нам**,

а не традиционным цареубийцам Византии, не Священной Римской империи германской нации — империи, у которой не было ни власти, ни нации, ни престолонаследия, ни территории — ничего, кроме символической короны под мышкой, да и корона эта в случае нужды закладывалась в тогдашние ломбарды?

Все явления современного зарождению русской монархии мира на эту монархию если и похожи, то только по названию — точно так же, как сталинская демократия на американскую. И анализируя идею монархии вообще, мы обязаны исходить только из русского образца этой идеи, — рассматривая все остальные варианты, только как параллельные явления, никогда не достигавшие ясности, чистоты и логической последовательности русской монархии.

ИДЕЯ МОНАРХИИ

Основная, самая основная идея русской монархии ярче и короче всего выражена А. С. Пушкиным уже почти перед концом его жизни: «Должен быть один человек, стоящий выше всего, выше даже закона».

В этой формулировке «один человек», Человек с какой-то очень большой буквы, ставится выше закона. Эта формулировка совершенно неприемлема для римско-европейского склада мышления, для которого закон есть все: dura lex, sed lex[9]. Русский склад мышления ставит человека, человечность, душу выше закона, и закону отводит только то место, какое ему и надлежит занимать: место правил уличного движения. Конечно, с соответствующими карами за езду с левой стороны. Не человек для субботы, а суббота для человека. Не человек для выполнения закона, а закон для охранения человека. И когда закон входит в противоречие с человечностью русское сознание отказывает ему в повиновении. Так было с законами о крепостном праве, так обстоит дело с законами о «ликвидации кулака как класса». Совершенно

[9] Закон строг, но это закон *(лат.)*.

бесчеловечных законов история знает вполне достаточное количество, законов, изданных «победителями в жизненной борьбе» для насыщения их, победителей, воли к власти и аппетитов к жизненному пирогу.

История всего человечества переполнена борьбой племен, народов, наций, классов, сословий, групп, партий, религий и чего хотите еще. Почти по Гоббсу: «война всех против всех». Как найти нейтральную опорную точку в этой борьбе? Некий третейский суд, стоящий над племенами, нациями, народами, классами, сословиями и пр.? Объединяющую народы, классы и религии в какое-то общее целое? Подчиняющую отдельные интересы интересам целого? И ставящую моральные принципы выше эгоизма, который всегда характерен для **всякой** группы людей, выдвигающихся на поверхность общественной жизни?

По формулировке Л. Тихомирова: «К выражению нравственного идеала способнее всего отдельная человеческая личность, как существо нравственно разумное, и эта личность должна быть поставлена в полную независимость от всяких внешних влияний, способных нарушить равновесие служения с чисто идеальной точки зрения».

Каждый по-своему — и А. Пушкин и Л. Тихомиров — ставят вопрос о «личности», стоящей надо всем. Если нет «личности», то в борьбе за существование и за власть всякая правящая группа пойдет по путям подавления всех остальных. «Промежутки» чисто «республиканского» и благополучно республиканского развития человечества слишком коротки для того, чтобы из них можно было извлечь какой бы то ни было исторический урок. Самый длительный из этих «промежутков» — это демократия САСШ. Но и этот промежуток несколько бледнее, если мы вспомним судьбу индейцев, негров и южан, и если мы не остановимся на сегодняшнем дне. Джек Лондон смотрел очень мрачно на завтрашний день американского капитализма. «Железная пята» является, вероятно, самой мрачной утопией в истории человечества. Приблизительно такую же мрачную утопию дал и другой представитель другой почти классичес-

кой демократии — Герберт Уэллс в своем «Когда спящий проснется». И хотя эти мрачные утопии пока что реализованы не капитализмом, а социализмом, будущее «неограниченного капитализма» мыслящие люди этого капитализма представляли себе в очень мрачном виде. Западная мысль шатается от диктатуры капитализма до диктатуры пролетариата, но до «диктатуры совести» не додумался никто из представителей этой мысли. Так, как будто наш русский патент на это изобретение охранен всеми законами мироздания.

Монархия, конечно, не есть специфически русское изобретение. Она родилась органически, можно даже сказать, биологически, из семьи, переросшей в род, рода, переросшего в племя и т.д. — от вождей, князьков и царьков первобытных племен до монархии российского масштаба. Она являлась выразительницей воли сильнейшего — на самом первобытном уровне развития, воли сильнейших впоследствии. Отличительная черта русской монархии, данная уже при ее рождении, заключается в том, что русская монархия выражает волю не сильнейшего, а волю всей нации, религиозно оформленную в православии и политически оформленную в империи. Воля нации, религиозно оформленная в православии, и будет «диктатурой совести». Только этим можно объяснить возможность манифеста 19 февраля 1861 года: «диктатура совести» смогла преодолеть страшное сопротивление правящего слоя, и правящий слой оказался бессилен. Это отличие мы всегда должны иметь в виду: русская монархия есть выразительница воли, т.е. совести, нации, а не воли капиталистов, которую выражали оба французских Наполеона, или воли аристократии, которую выражали все остальные монархии Европы: русская монархия является наибольшим приближением к идеалу монархии вообще. Этого идеала русская монархия не достигла никогда — и по той общеизвестной причине, что никакой идеал в нашей жизни недостижим. В истории русской монархии, как и во всем нашем мире, были периоды упадка, отклонения, неудач, но были и периоды подъемов, каких мировая история не знала вообще.

Я постараюсь раньше всего установить чисто теоретические положения монархии — и только потом — показать, что практически, т.е. исторически, на практике веков, русская монархия действовала на основании вот этих, так сказать, «теоретических положений». Словом, это не совсем «теория», это просто систематизация фактов.

Никакое человеческое сообщество не может жить без власти. Власть есть в семье, в роде, в племени, в нации, в государстве. Эта власть всегда имеет в своем распоряжении средства принуждения, — начиная от семьи и кончая государством. Власть может быть сильной и может быть слабой. Бывает «превышение власти», как в сегодняшнем СССР, и бывает «бездействие власти», как в сегодняшних САСШ. Оба эти преступления были наказуемы старыми русскими законами. Они, кроме того, уголовно наказуемы и законами истории.

Государственная власть конструируется тремя способами: наследованием, избранием и захватом: монархия, республика, диктатура. На практике все это перемешивается: захватчик власти становится наследственным монархом (Наполеон I), избранный президент делает то же (Наполеон III), или пытается сделать (Оливер Кромвель). Избранный «канцлер», Гитлер, становится захватчиком власти. Но в общем это все-таки исключения.

И республика, и диктатура предполагают борьбу за власть — демократическую в первом случае и обязательно кровавую во втором: Сталин — Троцкий, Муссолини — Маттеотти, Гитлер — Рем. В республике, как общее правило, ведется бескровная борьба. Однако и бескровная борьба обходится не совсем даром. Многократный французский министр Аристид Бриан признавался, что 95 процентов его сил уходит на борьбу за власть и только 5 процентов — на работу власти. Да и эти 5 процентов чрезвычайно краткосрочны.

Избрание и захват являются, так сказать, рационалистическими способами. Наследственная власть есть, собственно, власть случайности, бесспорной уже по одному тому, что случайность рождения совершенно неоспорима. Вы можете признавать или не признавать принципа монархии вообще.

Но никто не может отрицать существования положительного закона, предоставляющего право наследования престола первому сыну царствующего монарха. Прибегая к несколько грубоватому сравнению, это нечто вроде того козырного туза, которого даже и сам Аллах бить не может. Туз есть туз. Никакого выбора, никаких заслуг, а следовательно, и никаких споров. Власть переходит бесспорно и безболезненно: король умер, да здравствует король!

Человеческий индивидуум, случайно родившийся наследником престола, ставится в такие условия, которые обеспечивают ему наилучшую профессиональную подготовку, какая только возможна технически. Государь-император Николай Александрович был, вероятно, одним из самых образованных людей своего времени. Лучшие профессора России преподавали ему и право, и стратегию, и историю, и литературу. Он совершенно свободно говорил на трех иностранных языках. Его знания не были односторонними, как знания любого эрудита, и его знания были, если так можно выразиться, живыми знаниями. В. В. Розанов писал: «Только то знание ценно, которое острой иголкой прочерчено в душе, — вялые знания бессильны». Право и стратегия, история и литература были объектом ежедневной работы его, его отца и его деда. Это есть знания, непрерывно и непосредственно связанные с каждым шагом его деятельности. Немецкий историк царствования императора Николая I проф. Шиман так и писал: Николай I не читал ничего, кроме Поль де Кока, — специальные курьеры привозили ему из Парижа самые свежие оттиски. Проф. Шиману — в более грубой форме — вторит наш проф. Покровский. Однако Николаю I А. Пушкин читал «Евгения Онегина», а Н. Гоголь — «Мертвые души». Николай I финансировал и того и другого, первый отметил талант Л. Толстого, а о «Герое нашего времени» написал отзыв, который сделал бы честь любому профессиональному литературоведу. Николай II был возмущен отлучением Льва Толстого от Церкви, проведенным без его ведома, и на похороны автора «Войны и мира» послал своего адъютанта и свой венок: «Великому писателю земли Русской», а потом материально поддержи-

вал семью Толстых. Великий же писатель земли Русской нанес русской монархии очень много вреда. России, впрочем, тоже. У Николая I хватило и литературного вкуса, и гражданского мужества, чтобы отстоять «Ревизора» и после первого представления сказать: «Досталось всем — а больше всего МНЕ». У Николая II нашлось достаточно объективности, чтобы отделить бездарную философию толстовства от гениальных произведений его автора. Попробуйте вы все это при Гитлере–Ленине–Сталине... Или даже при Ориоле-Эттли-Трумане.

Русский царь заведовал всем и был обязан знать все, — разумеется, в пределах человеческих возможностей. Он был «специалистом» в той области, которая исключает всякую специализацию. Это была специальность, стоящая над всеми специальностями мира и охватывающая их все. То есть общий объем эрудиции русского монарха имел в виду то, что имеет в виду всякая философия: охват в одном пункте всей суммы человеческих знаний. Однако с той колоссальной поправкой, что «сумма знаний» русских царей непрерывно вырастала из живой практики прошлого и проверялась живой практикой настоящего. Правда, почти так же проверяется и философия — например, при Робеспьере, Ленине и Гитлере — но, к счастью для человечества, такие проверки происходят сравнительно редко.

Итак: русский царь стоял не только над классами, сословиями, партиями и пр. — он стоял также и НАД НАУКАМИ. Он мог рассматривать — и реально рассматривать — стратегию с точки зрения экономики и экономику с точки зрения стратегии, что, как правило, совершенно недоступно ни стратегу, ни экономисту. Именно Государь-император Николай Александрович лично привел нашу армию в порядок и он лично настаивал на «балканском» варианте войны. Он не мог преодолеть возражений «военспецов», но Первая мировая война закончилась именно на балканском театре — Салоникский прорыв.

Итак: некая человеческая индивидуальность рождается с правами на власть. Это как козырный туз — полная бесспорность. По дороге к реализации этой власти этой индивидуальности не приходится валяться во всей той грязи и крови, интригах,

злобе, зависти, какие неизбежно нагромождаются вокруг не только диктаторов, но и президентов. При диктаторах — это грубее и нагляднее. При президентах — это мягче и прикровеннее. Но те методы, посредством которых были убраны с политической арены В. Вильсон и Ж. Клемансо, никак не принадлежат к числу особо изящных явлений республиканской истории. Наследник престола проходит свой путь от рождения до власти, не наталкиваясь на этом пути ни на какую грязь и не накопляя в своей душе того озлобления, которое свело в могилу и Вильсона, и Клемансо. Наследник престола растет в атмосфере добра. И неписаная конституция российской государственности требовала от царя, чтобы он делал добро. Какие, собственно, есть гарантии исполнения этой конституции?

Православие есть самая оптимистическая религия мира. Православие исходит из того предположения, что человек по своей природе добр, а если и делает зло, то потому, что «соблазны». Если мы удалим «соблазны», то останется, так сказать, химически чистое добро. По крайней мере, в земном смысле этого слова. Наследник престола, потом обладатель престола, ставится в такие условия, при которых соблазны сводятся если не к нулю, то к минимуму. Он заранее обеспечен всем. При рождении он получает ордена, которых заслужить он, конечно, не успел, и соблазн тщеславия ликвидируется в зародыше. Он абсолютно обеспечен материально — соблазн стяжания ликвидируется в зародыше. Он есть Единственный, Имеющий Право, — отпадает конкуренция и все то, что с ней связано. Все организовано так, чтобы личная судьба индивидуальности была спаяна в одно целое с судьбой нации. Все то, что хотела бы для себя иметь личность, — все уже дано. И личность автоматически сливается с общим благом.

Можно сказать, что все это имеет и диктатор типа Наполеона, Сталина или Гитлера. Но это будет верно меньше чем наполовину: все это диктатор завоевал и все это он должен непрерывно отстаивать — и против конкурентов, и против нации. Диктатор вынужден ежедневно доказывать, что вот именно он и есть гениальнейший, великий, величайший, неповтори-

мый, ибо если гениальнейший не он, а кто-то другой, то очевидно, что право на власть имеет именно другой. В общем идет социалистическое соревнование на длину ножа. Наполеон I говорил: «Это короли могут проигрывать войны, я себе этого позволить не могу». Сотни и сотни конкурирующих глаз смотрят и ждут: «когда же, наконец, этот гениальнейший споткнется» — спотыкаются они все. Диктатор всегда поднимается по трупам и может держаться только на трупах. Экспансия Робеспьера–Наполеона–Сталина–Гитлера объясняется в основном тем, что слой, выдвигающий диктатуру, постепенно объедает свою землю и нуждается в чужих пастбищах. Но она объясняется также и тем, что гениальнейший все время обязан доказывать всякое свое превосходство, а наиболее наглядной формой этого доказательства является победоносная война. Законный монарх ничего и никому доказывать не обязан: козырный туз, — очень тяжкий, но все-таки козырный, судьба дала ему в руки: спорить тут не о чем и доказывать тут нечего.

О самом принципе случайности можно, конечно, спорить. Банально-рационалистическая, убого-научная точка зрения обычно формулируется так: случайность рождения может дать неполноценного человека. А мы, **МЫ** выберем самого наилучшего. Конкретный пример: Ж. Клемансо был, конечно, самым лучшим — это именно он в самую трагическую минуту истории Франции спас страну. Правда, действовал он не столько, как премьер-министр, сколько как диктатор, — но на войне, как на войне. И до, и после него пошли старательно отобранные ничтожества, традиционно-пресловутые «выставки куроводства», и Франция никак не может выкарабкаться из полосы внешних катастроф и внутренних неурядиц. Кроме того, самое понятие «лучшего» порочно по существу: в 1940 году «самым лучшим» был Иванов, в 1944 — Петров, в 1948 — Сидоров и т.д. Если перед нацией не стоит никаких серьезных забот, то это мелькание самых лучших кое-как переносимо. Однако и здесь можно отметить тенденцию к переизбраниям данного президента. Ибо когда перед нацией история ставит мало-мальски серьезную проблему, то ясно, что четырех лет президентско-

го срока для этого недостаточно: нужно продлить еще на четыре. Потом еще, ибо иначе даже какого-то «Нью-Диль» довести до конца нельзя. Конечно, «случайность рождения» может дать неполноценного человека. Такие примеры у нас были: царь Федор Иванович. Ничего страшного не произошло. Ибо монархия это «не произвол одного лица», а «система учреждений», — система может временно действовать и без «лица». Но по простой статистике шансы на такого рода «случайность» очень малы. И еще меньше — на появление «гения на престоле».

Я исхожу из той аксиомы, что гений в политике — это хуже чумы. Ибо гений это тот человек, который выдумывает нечто принципиально новое. Выдумав нечто **принципиально новое**, он вторгается в органическую жизнь страны и калечит ее, как искалечили ее Наполеон и Сталин, и Гитлер, нельзя же все-таки отрицать черты гениальности — в разной степени — у всех трех. Шансов на появление «гения» на престоле нет почти никаких: простая статистика. Один «гений» приходится на 10 или 20 миллионов рождений. Нет **никаких** шансов, чтобы один гениальный «избранник» — из 10 или 12 миллионов — оказался бы и «избранником судьбы» на престоле.

Власть царя есть власть среднего, среднеразумного человека над 200 миллионами средних и среднеразумных людей. Это не власть истерика, каким был Гитлер, полупомешанного, каким был Робеспьер, изувера, каким был Ленин, честолюбца, каким был Наполеон, или модернизированного Чингисхана, каким являлся Сталин. Едва ли можно отрицать, что Наполеон был истинно гениальным полководцем, и совершенно очевидно, что ничего, кроме катастрофы, он Франции не принес. Наполеон верил в свою «звезду», Гитлер — в свой «рок», Сталин — в своего Маркса — у каждого «гения» есть свой заскок. В результате этих заскоков величайший полководец мировой истории Ганнибал покончил со своей собственной родиной, Наполеон привел союзников в Париж, Гитлер — в Берлин, а Сталин приведет в Москву. А все — гении. В. Ключевский несколько недоуменно рассказывает о том, что первые московские князья, первые собиратели земли русской, были совершенно средними

людьми — а вот русскую землю собрали. Это довольно просто: средние люди действовали в интересах средних людей — и линия нации совпадала с линией власти. Поэтому средние люди новгородской армии переходили на сторону средних людей Москвы, а средние люди СССР перебегают от сталинской гениальности, — собственно говоря, куда глаза глядят. Да избавит нас Господь Бог от глада, мора, труса и гения у власти. Ибо вместе с гением к власти обязательно придут и глад, и мор, и трус, и война. И все это вместе взятое.

ЦАРЬ И ПРЕЗИДЕНТ

Средний демократический обыватель, который полагает, что он умеет политически мыслить, возмущается самым принципом наследственной власти, — незаслуженной власти. Он также предполагает, что, во-первых, он, этот обыватель, избирает заслуженных людей и что, во-вторых, он избирает. Обыватель ошибается во всех трех случаях.

Наследственная власть есть, конечно, власть незаслуженная. Но ведь наследники Рокфеллера тоже не заслужили своих миллиардов? И наследственные гении Толстого, Эдисона, Пушкина или Гете — это ведь тоже не заслуга. Один человек незаслуженно наследует престол, другой, также незаслуженно, наследует миллионы, третий, также незаслуженно, наследует талант. Против наследственных прав Рокфеллера средний обыватель не возражает, — ибо если отказать детям Рокфеллера в праве наследования рокфеллеровских миллионов, то придется отказать детям обывателя в праве наследования тысяч. Обыватель предполагает, что он вправе передать своему сыну незаслуженные этим сыном доллары, но что страна не вправе передать власть человеку, который этой власти тоже не заслужил.

Обыватель предполагает, что он избирает заслуженного человека. Говоря чисто практически, в настоящее время есть два типа республики: французский и американский. Во Франции традиционно избирается наиболее серая личность из всех, имеющих

шансы, и этой личности предоставляется привилегия представительствовать Прекрасную Францию перед дипломатами, курами, кроликами и парадами. В Америке президент имеет реальную власть — правительство ответственно перед ним, а не перед парламентом. Президент В. Вильсон был «заслуженным», и данные им от имени САСШ перед Европой обязательства американский парламент объявил фальшивкой, так сказать, чеком без покрытия. Наследство президента Ф. Рузвельта, отдавшего Сталину «полмира», САСШ будут расхлебывать еще долгие и долгие годы, может быть, и десятилетия. В 1951 году руководство республиканской партии САСШ требовало предания Г. Трумана суду. Так что если и «заслуги», то далеко не бесспорные. Трагедия, однако, заключается в том, что иначе и быть не может.

В среднем случае на место президента республики попадает второсортный адвокат. Первосортный на это место не пойдет, ибо для этого ему пришлось бы забросить свою клиентуру. Правда, практика выработала известную компенсацию: бывшему президенту обеспечено место в какой-нибудь акционерной компании. Но в то время, когда будущий царь профессионально готовится к предстоящей ему деятельности, будущий президент также профессионально варится в своей партийной каше. И, попадая на президентский пост, демонстрирует свое полное незнание чего бы то ни было, к этой каше не относящегося. Только здесь, в эмиграции, мы кое-как познали всю глубину политического невежества, свирепствующего на вершинах демократической власти: никто ничего не знает. И не может знать. Как бы мы ни оценивали Сталина, — мы обязаны все-таки констатировать тот факт, что Сталин работал в своей партии с 17 лет и что за четверть века своей диктатуры он накопил огромный политический опыт: он-то уж не питал никаких иллюзий относительно «милого старого Черчилля» или относительно «милого старого Трумана». Он знал, в чем дело. Ни м-р Рузвельт, ни м-р Труман и понятия не имели. К концу президентского срока кое-какое понятие, вероятно, появилось, но тогда наступают выборы и на президентское кресло садится человек, который опять не имеет никакого понятия.

Средний обыватель предполагает, что человека этого избирает именно он, обыватель: вот голосует, и вот даже институт мра Гэллопа тщательно исследует его избирательские настроения.

Словом, что он, обыватель, есть «общественное мнение» и что именно это общественное мнение определяет собою политику избранного правительства. На практике дело обстоит несколько сложнее.

Пресса, конечно, «отражает общественное мнение», но пресса его и создает. Как общее правило, пресса находится в полном распоряжении «крупного капитала», но не только капиталистического, но и социалистического. Современная пресса живет почти исключительно объявлениями. И «капитал», помимо прямого «капиталовложения», контролирует прессу также и объявлениями — может дать и может не дать. Крупный капитал — капиталистический, но также и социалистический — создает общественное мнение путем подбора информации. Информация эта меняется в зависимости от «социального заказа», идущего сверху. Так мы были свидетелями истинно классических превращений товарища Сталина. Для русской эмиграции мало заметным прошло еще одно столь же чудесное превращение.

За французскую коммунистическую партию голосует главным образом деревня. Крупный коммунистический капитал организовал ряд блестяще поставленных **сельскохозяйственных** изданий, обслуживающих французское крестьянство чисто аграрными материалами. Когда эти издания достаточно укрепились, — они стали подавать крестьянам коммунистическую информацию, средактированную в хорошо известном нам стиле. И вот: французский крестьянин, собственник до мозга костей, сребролюбец, скопидом и скряга — голосует за... колхозы. И, вероятно, предполагает, что он делает это в совершенно здравом уме и твердой памяти: вот видите, факты. А французский крестьянин живет в стране, которая не без некоторого основания считает себя самой культурной страной мира, и эта страна имеет как будто достаточный политический опыт: три королевства, две империи, четыре республики и неопределен-

ное количество революций. И треть Франции голосует против своих совершенно явных интересов, — национальных, экономических и даже просто личных интересов: вот придет к власти товарищ Торез, и все то золото Прекрасной Франции, которое французское крестьянство припрятало у себя в «чулках», будет переправлено в какой-то «Торгсин», а владельцы этого золота будут переправлены в какой-то Нарым.

Принцип народоправства, проведенный до его логического конца, означает то, что нация вручает свои судьбы в руки людей, во-первых, явно некультурных, во-вторых, явно некомпетентных, в-третьих, считающих себя и культурными, и компетентными. Сложнейшие вопросы современной жизни — и внешние и внутренние, выносятся на партийный базар, над которым не существует никакого санитарно-полицейского надзора: продавай, что хочешь, и тащи, что попадется. Перед Первой мировой войной противники Ж. Клемансо объявили его английским шпионом — даже и фальшивка соответствующая была состряпана. В САСШ м-ра Эчесона обвиняли в коммунистической пропаганде. Первый рабочий премьер-министр Англии, м-р Макдональд, сейчас же после вступления во власть получил от группы заводчиков «подарок» в двести тысяч фунтов. Итальянская компартия «дарила» своим избирателям советские электрических утюги и прочие коммунистические приспособления. Пан Бенеш обещал снабдить всех своих избирателей даровыми домами. М-р Эттли обещал своим избирателям полусоциалистический рай. Все это называется «народоправством».

Правда, прозаическая практика жизни внесла в этот принцип весьма существенные поправки. Так, до прихода рабочей партии великобританской «демократией» безраздельно правила английская финансовая аристократия, давным-давно скупившая старые аристократические титулы. В САСШ правит крупный капитал. В обеих странах существует двупартийная система, которая ограничивает «народоправство» правом «народа» выбрать одного из двух: консерватора или лейбориста, республиканца или демократа. Выбор, как видите, не столь

уж разнообразен — но и это ограничение необходимо, иначе власть и совсем работать не сможет, как она не может работать во Франции. В САСШ предвыборная кампания обходится в 200 миллионов долларов на каждого кандидата в президенты. Кандидаты намечаются теми людьми, которые эти 200 миллионов дают. Само собою разумеется, что качества кандидата учитываются обеими сторонами. Но также само собою разумеется, что эти качества разрисовываются рекламой во все цвета радуги. Само собою разумеется, что всякая партийная машина учитывает настроения масс, создающиеся в результате политических, экономических и религиозных событий, но также само собою разумеется, что все эти настроения учитывает и монархия — классический пример уступки «общественным настроениям» — это назначение фельдмаршала М. Кутузова главнокомандующим русской армией, а ведь это было в эпоху теоретически «неограниченного самодержавия». Однако монарх может стать и над «общественным мнением». То «общество», которому был вынужден уступить император Александр I, было тем же обществом, которому Александр II уступить не захотел: интересы нации были поставлены выше интересов тогдашнего «общества», которое было дворянским и интересы которого император Александр II подчинил интересам нации.

Можно утверждать, что в правильно сконструированной монархической государственности общественное мнение имеет неизмеримо больший вес, чем в обычно сконструированной республике: оно не фальсифицируется никакими «темными силами». И если взять классический пример истинно классической монархии — Московскую Русь, то огромная роль общественного мнения будет совершенно бесспорна. Церковь, Боярская дума, соборы, земские самоуправления, всероссийские съезды городов, — все это было, конечно, «общественным мнением», не считаться с которым московские цари не имели никакой возможности.

Однако, если общественное мнение хотя бы той же Франции воспитывается бульварной прессой, то общественное мнение Старой Москвы воспитывалось церковной проповедью.

Воспитывалось непрерывной политической практикой и непрерывностью политической традиции. Общественное мнение верило царю. Кто сейчас верит президентам? Народное мнение России — не ее интеллигенции, питало абсолютное доверие к императорам — кто в России верит Сталину или Керенскому? Царское слово было словом — взвешенным, продуманным и решающим. Кто разумный станет принимать всерьез конференции прессы, на которых президенты и министры, генералы и дипломаты несут такую чушь, что становится неудобно за человечество. «Язык дан дипломатам для того, чтобы скрывать свои мысли», — в том, конечно, случае, если есть что скрывать. В большинстве случаев и скрывать нечего. И вот выступают люди с речами и заявлениями, которым не вправе верить ни один разумный человек мира. Все эти выступления никого ни к чему не обязывают и ничего никому не объясняют. Когда император всероссийский выступал со своим манифестом, в котором каждое слово было взвешено и продумано, в котором каждое слово было твердо, то все — и друзья, и недруги — знали, что это слово сказано совершенно всерьез. Но когда выступает президент Рузвельт, который уверяет американских матерей, что ни один из их сыновей не будет послан на войну и который в это же время готовит вступление САСШ в войну, то что остается от авторитета власти и от доверия к власти? И как среднему обывателю средней республики отделить реальные планы власти от столь же реальных планов на ближайшую выборную кампанию? В 1950 году, когда мир вступил в полосу совершенно очевидно надвигающейся войны, президент Г. Труман совершил объезд САСШ и выступил там с 50 речами об обеспечении инвалидов, о женском труде, о канализации и о прочих таких вещах. 50 речей! Кроме того — конференции прессы, совещания с партийными лидерами, борьба с Сенатом, борьба с адмиралами. Человек пришел к власти, будучи к этой власти не подготовленным. Как может он подготовиться даже и в тот срок, который республиканская судьба предоставила в его распоряжение? И как он может что-либо планировать, решительно не зная исхода ближайших выборов?

МОНАРХИЯ И ПЛАН

Современное человечество больно плановой лихорадкой. Все что-то планируют, и ни у кого ничего не выходит. Сталинские пятилетки в корень разорили страну и сконцентрировали в лагерях не то 10 не то 15 миллионов внепланово уцелевших людей. Гитлеровские четырехлетки закончились четырьмя оккупационными зонами. Пятилетка английской рабочей партии держалась на волоске в 5–6 голосов и провалилась при победе консерваторов. Всякое уважающее себя правительство имеет «план». Ни из какого из этих планов не может выйти ничего, ибо все они диктуются партийными интересами той партии, которой на данный момент удалось пробраться к власти.

Нужно констатировать и тот факт, что все эти «планы» имеют чисто русское происхождение, — не только сталинское, — ибо и пятилетки были взяты из арсенала русской истории. У русской истории был ее тысячелетний план — выход к морям. Он и был выполнен: Россия пробилась к Балтийскому морю, к Черному морю и к Тихому океану. Был столетний план — освобождение крестьян, начатый императором Павлом I и вчерне законченный императором Александром II. Был рассчитанный на долгий период времени план «освоения Сибири», — Великий Сибирский путь, колонизация, разработка естественных богатств, охрана инородцев. Был «план» освоения или, как у нас раньше говорили, «покорения» Кавказа, план проводился десятилетиями и десятилетиями — год за годом, шаг за шагом. Был план введения всеобщего обязательного обучения, он перед революцией был накануне «выполнения и перевыполнения». Был план развития русской промышленности, — и она по темпу роста обгоняла промышленность всех остальных стран мира. Ни в одном из этих планов никакие партийные предположения и вожделения не играли никакой роли. Русский монарх, в лице.которого кристаллизовались основные интересы страны, интересы бесспорные, интересы, понятные всякому среднему человеку страны, — стоял НАД партиями, группами, сословиями и пр. Он выслушивал их всех.

Но решение принадлежало ЕМУ — и это было наиболее объективным решением, какое только доступно и чисто технически возможно. Когда дело шло об очередности в задаче выхода к Балтийскому или Черному морю, созывались соборы, на которых очень сведущие люди, профессионально сведущие люди, формулировали свои мнения, и монарх принимал окончательное решение, будучи вооружен всеми данными и не будучи заинтересован ни в каком частном интересе. Каждый монарх считал себя связанным деятельностью его предшественника и каждый «планировал» передать своему наследнику «государство цветущее и благоустроенное». Или, иначе — каждый монарх действовал «как добрый отец семейства», и народное выражение «Царь-Батюшка», при всей его кажущейся примитивности, есть выражение огромной внутренней значимости. Оно подчеркивает значение монархии как политического завершения семейного идеала народа: Царь-Батюшка и Державный Хозяин земли Русской. Только Он может воплощать в себе и законность, и преемственность, и последовательность власти. Или, говоря иначе, планировать по-настоящему может только Он.

Что может планировать английский парламент? Вчера у власти были консерваторы — они планировали ликвидацию большевизма. Сегодня пришли к власти социалисты — они спланировали национализацию промышленности и мир с большевиками. Завтра к власти вернутся консерваторы: что станет с планами лейбористов? Послезавтра социалисты выиграют полторы дюжины голосов, м-р Черчилль снова станет в позу гордой оппозиции, а «планы» его снова попадут в мусорную корзину простой истории. Туда же идут и все остальные планы. И по той причине, что все они выражают собою не общенациональные, а узкопартийные интересы. Национализация английской промышленности практически означает, в частности, хлеб с маслом, — хотя и по карточкам, — для сотен тысяч парт- и профбюрократов. Хлеб этот — ненадежен. Завтра придет Черчилль и их разгонит. Вчера пришел Эттли и разогнал старую и традиционно многоопытную английскую дипломатию, заменив ее своими партийными выдвиженцами.

Завтра вернется Черчилль, вернет дипломатов и разгонит выдвиженцев. Что будет послезавтра?

Может быть, никогда еще во всей человеческой истории мир — весь мир, не находился в положении такой страшной неустойчивости, в какой он находится сейчас. Планируют все, кто на 5, кто на 1000 лет, но никто не знает, что будет завтра. Настоящий план национального строительства и настоящую уверенность в завтрашнем дне может дать только монархия — и только при наличии при ней полноценного народного представительства.

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В этом вопросе, как и почти во всех политических вопросах, мы и вольно и еще более невольно переводим «иностранные речения» на кое-какой русский язык. Получаются «понятия, не соответствующие ни иностранной, ни русской действительности». Когда мы говорим о народном представительстве, то перед нами почти неизбежно возникает его внешний прообраз: европейский парламентаризм с его десятками партий, с его правительственной чехардой, со всем тем комплексом, который на русский язык проще всего переводится термином: «керенщина». «Керенщины» никто из нас не хочет, кроме, разумеется, самого А. Ф. Керенского. Одни из нас стремятся к «сильной монархии», другие к «сильному народному представительству», исходя при этом из того чисто европейского предположения, что если монархия «сильна», то за счет народного представительства, и если народное представительство сильно, то только за счет монархии. Словом, в монархии и в народном представительстве заранее предполагаются **враждебные** друг другу силы. Или, по крайней мере, силы, конкурирующие в борьбе за власть. В. Ключевский неоднократно высказывал свое искреннее изумление перед тем фактом, что народное представительство в Московской Руси никак не собиралось конкурировать с монархией, как и монархия никак не собиралась конкурировать с народным представительством. На Западе

дело, действительно, обстояло совершенно иначе: шла непрерывная борьба за власть, и эта борьба закончилась вытеснением монархии — для того чтобы «вся власть» очутилась в руках диктатуры. Самая последовательная форма чистого народовластия — республика — оказалась очень плодородной почвой для посева диктатуры, — и семена этой диктатуры показали поразительный процент всхожести. Об этом нужно говорить и повторять. Ибо если история мало чему учит, то должна была бы учить хоть современность: русская, германская, венгерская, испанская, польская и латвийская республики и мирными и немирными, и демократическими (Германия) и недемократическими (Россия) способами — но все они родили диктатуры. Ныне существующие республики фактически живут под охраной доллара. Что будет, когда этот доллар уйдет?

Нам нужны достаточно сильная монархия и достаточно сильное народное представительство, причем силу той и другого мы будем измерять не их борьбой друг с другом, а их способностью **сообща** выполнять те задачи, которые история поставит перед нацией и страной. Мне могут сказать, что это утопия. И я могу ответить, что именно эта «утопия» и была реализована на практике политической жизни Старой Москвы.

Будущее российское народное представительство неизбежно **технически**, необходимо и **нравственно** и **политически**.

ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ создания народного представительства объясняется двумя соображениями:

Первое. К тому моменту, когда перед страной станет вопрос об установлении «формы правления», страна уже будет организована в целую сеть местных самоуправлений, — разумеется, если исключить случай появления второй диктатуры. Общественное мнение страны будет представлено новой русской печатью. Рабочие и интеллигенция будут организованы в какие-то новые профессиональные организации. Совершенно невероятным было бы предположение, чтобы все эти люди, так изголодавшиеся по самому скромному самоуправлению, отказались бы от права на общенациональное самоуправление в пользу какой бы то ни было «неограниченной» власти.

Второе. Эти самоуправления сверху и донизу будут единственным аппаратом власти, — опять-таки, если исключить случай второй диктатуры, — но в случае второй диктатуры вопрос о монархии переходит на, так сказать, нелегальное положение. Совершенно невероятным было бы предположение, чтобы весь этот аппарат и все слои людей, в нем работающих, отказались бы от принципов самоуправления вообще, а отсутствие народного представительства они — совершенно логически — поняли бы как первую попытку ликвидировать всякое самоуправление вообще.

Эмигрантская декламация о самодержавном престоле, восстановленном неизвестно кем, — это есть только декламация и больше ничего. Практически какое-то народное представительство будет предшествовать восстановлению монархии, и было бы нелепым предположение, что оно захочет самоупразднiться.

ПОЛИТИЧЕСКИ. Отсутствие народного представительства означало бы создание между монархом и нацией какого-то нового «средостения», кастового, сословного, бюрократического или какого-то иного. Никаких наличных «кадров» для такого средостения сейчас в России нет, но они могут появиться из рядов той же советской бюрократии. Население России может увидеть угрозу такого средостения и в эмиграции. Этому населению будет трудно доказать, что никаких кадров для этого в эмиграции нет.

МОРАЛЬНО. Отсутствие народного представительства — хотя бы в наших программах — неизбежно вызовет подозрения в том, что, отрицая народное представительство, монархисты стремятся провести какие-то нежелательные народным массам мероприятия. Монархистам эмиграции было бы трудно доказать, что именно в народных массах они видят и единственную опору монархии, и единственную силу, способную эту монархию восстановить.

Однако, говоря о народном представительстве, мы должны категорически отбросить его западноевропейские образцы. Мы должны вернуться к нашему собственному. Перед самым

созывом I Государственной думы Лев Тихомиров в своем предисловии к «Монархической государственности» предсказал, что из этой «конституционной» попытки ничего хорошего не будет. Он предложил то, что мы сейчас назвали бы сословно-корпоративным представительством: представительство сословий — дворянства, земства, купечества, крестьянства, казачества, представительство Церкви и рабочих и т.д. Такое представительство было бы органическим, а не партийным. Оно выражало бы мнения и интересы страны, а не идеи и вожделения партий. И если нынешний западноевропейский депутат ни с чем, собственно, кроме своей партии, не связан, то представитель данного земства или профессионального союза в народном представительстве только продолжал бы ту работу, которую он делает в своем земстве или профсоюзе. И так как всякие сословные перегородки в России разрушены окончательно и бесповоротно, то настоящее народное представительство должно будет состоять из комбинации **территориального** (области, земства, города) и **корпоративного** (научные, инженерные, рабочие и прочие профессиональные организации) **представительства** с непременным участием представительства всех признанных в России Церквей, конечно, с преобладающей ролью Православной Церкви.

Разница между партийным и корпоративным народным представительством гораздо более глубока, чем это может показаться с первого взгляда. Политические партии западноевропейского образца имеют **тенденцию**, но только тенденцию, представительствовать интересы отдельных классов общества. Но и рабочий класс поделился на профсоюзы христианские и на профсоюзы антихристианские. Крестьянство Франции, которое считалось оплотом роялизма и было подчинено «диктатуре префектов», в большей своей части отошло в сторону коммунизма. Республиканская и демократическая партии САСШ и — соответственно — консервативная и либеральная партии Англии ДО Эттли имели тенденцию отражать собою интересы тяжелой и легкой промышленности. Но все это партийное деление неустойчиво, случайно, основано не столько

на интересах избирателя (классический пример — коммунистические симпатии французского крестьянства), сколько на случайной, почти рефлективной реакции «массы» неорганизованной и даже дезорганизованной — на инфляцию и кризисы, на войны и демагогию, на разочарование во всем и на неверие ни во что. Личный рядовой состав всякой партии — за немногими исключениями — подбирается из неудачников во всех остальных областях человеческой жизни. Исключение относится к удачникам по рождению — вот вроде м-ра Черчилля. В среднем одаренный и образованный человек имеет свою профессию и делает **свою** карьеру — профессию и карьеру врача, адвоката, инженера и пр. Этого он ни на какое «депутатское кресло» не променяет. Некоторым исключением является адвокатское сословие, сочлены которого утилизируют краткий период своего депутатства для рекламы, для связей и для всяких комбинаций и махинаций после своего депутатского сидения. Но и тут в «партию» и в «парламент» идет только второсортный элемент — вот у нас пошел Керенский, но не пошел Карабчевский. Из крупнейших русских инженеров, изобретателей, промышленников, писателей, журналистов и пр. — в Государственную думу не пошел никто. Средний парламентский депутат — это, собственно «петрушка», который обязан вскакивать со своего места, когда соответствующий лидер дернет соответствующую веревочку, голосовать «за» или «против», продуцировать овации или скандал, хлопать в ладошки или топать ногами: все это заранее устанавливается за кулисами, совершенно так же, как результаты всякой профессиональной цирковой борьбы заранее устанавливаются «арбитром». И только галерка, — цирковая или политическая, — может думать, что двойной нельсон, который на трибуне парламента П. Н. Милюков заложил А. Ф. Керенскому — или наоборот — имеет какое-то политическое значение: не имеет никакого. Ни для кого, кроме галерки. Галерка эта, правда, велика и обильна и, по-видимому, неисцелима.

Я, может быть, несколько злоупотребляю сравнениями цирка и парламента. Но это происходит потому, что в советское

время я промышлял цирковой борьбой — и если бы это не было так противно — вероятно, преуспел бы в этой области зрелищного искусства. Я также довольно долго в качестве журналиста околачивался в кулуарах и прочих местах предсоветской Государственной думы. В цирке мне И. М. Поддубный приказывал: «Значит, вы положите Джапаридзе на тридцатой минуте с моста». Или: «Значит, Джапаридзе положит вас ни семнадцатой минуте суплессом». Это было противно, но есть было нечего. Какая нелегкая понесла бы меня в Государственную думу, где в кулуарах А. Ф. Керенский ловил тощих соратников своих и приказывал: «Значит, вы, Иван Иванович голосуете против законопроекта». — «Какого?» — «Ну вот, что сейчас ставится на рассмотрение пленума». — «Слушаю, Александр Федорович». Цирк все-таки приличнее.

Но если в российском народном представительстве работает глава Православной Церкви или председатель союза: инженеров, агрономов, врачей, металлистов, железнодорожников, горняков, крестьян, казаков, купцов, — то все эти люди будут совершенно точно знать, что им нужно, в чем заключаются реальные интересы того слоя или той группы людей, от имени и по полномочиям которых они выступают. Никто из них не будет претендовать на «всю власть», как по самому своему существу претендует всякая политическая партия. Всякая политическая партия стремится из меньшинства стать хотя бы относительным большинством, из относительного большинства — абсолютным, и на базе абсолютного большинства превратиться в партийный абсолютизм. Примеры у нас на глазах, и эти примеры достаточно свежи: Россия, Германия, Италия, Польша, Испания, Венгрия, Латвия. Но никакому «союзу инженеров» не может придти в голову превратить в инженеров всю страну или союзу ветеринаров — захватить «всю власть». Могут быть тенденции ко всякого рода технократическим или капиталистическим загибам и перегибам, но на путях к таким тенденциям будут стоять монархи.

Во всем этом нет решительно ничего нового. Все это существовало в Московской Руси. Более подробно обо всем этом

будет сказано в главе об истории русской монархии. Пока же вопрос заключается в том, чтобы мы вернулись к нашему собственному опыту и начали бы называть вещи нашими собственными русскими словами. Тогда, может быть, целый ряд недоразумений исчез бы более или менее автоматически.

ДЕМОКРАТИЯ И КОНСТИТУЦИЯ

В сознании русских людей по обе стороны рубежа оба эти термина дискредитированы вконец. Та демократическая декламация, которая ведется частью новой эмиграции на страницах левой прессы, количественно очень незначительной частью, имеет случайное объяснение: левая пресса — это визы, гонорары, въезд в САСШ, издание книг и вообще «билет на право входа в американскую культуру». На чьем возу едешь, тому и песенку пой. Пели гимны гитлеровскому абсолютизму, теперь поют американской демократии. И в обоих случаях не искренне. Как общее правило, новая эмиграция требует «твердой власти», не очень ясно отдавая себе отчет в том, так что же значит «твердая власть»? Сталинскую власть назвать мягкой властью было бы несколько затруднительно, а вот сбежали же люди. Тогда «вносится поправка» — «национальную власть». Но Сталин так играл на чувствах русского национализма, как до него не делал, пожалуй, еще никто. В общем получается путаница.

Попробуем разобраться. Начнем с «конституции». Этот термин имеет два не очень сходных значения: а) основные законы страны вообще и б) основные законы, ограничивающие власть главы правительства, — монарха или президента — это все равно. Достаточно ясно, что всякий основной закон ограничивает власть монарха уже самым фактом своего существования, иначе — зачем нужен закон? Так, основные законы России, существовавшие ДО 1905 года, ограничивали власть монарха в вопросах вероисповедания и престолонаследия. Основные законы после 1905 года ограничивали власть монарха и в законодательной области. Говоря иначе, и те и другие были конституцией.

Конституция, как известно, может быть писаной и неписаной. Неписаная конституция Московской Руси ограничивала власть московских самодержцев. В. Ключевский говорит: «Московский царь имел власть над людьми, но не имел власти над учреждениями». Император Николай II даже и ДО 1905 года имел власть над учреждениями, но не имел никакой власти над людьми. Петр I мог приказать казнить кого угодно, Николай II не мог удалить из столицы хотя бы того же П. Милюкова. В обоих случаях по-разному, но в обоих случаях власть была ограничена. Неограниченную власть в ее чисто европейском смысле пытался ввести Петр I. Quod princeps voluit — legis habet vigorem — что благоугодно монарху, имеет силу закона. Император Александр III стоял на иной точке зрения: «Самодержавие существует для охраны закона, а не для его нарушения». «Российская империя управляется на твердом основании законов, от самодержавной власти исходящих». И раз закон был издан установленным «конституцией» образом, — он был обязателен и для самодержца. Или — считался обязательным.

Сталинская «конституция» предоставляет каждому гражданину страны свободу голосовать против Сталина однако никто не голосует. По этой конституции никакой власти для Сталина не предусмотрено. По конституции 1905 года государь не имел права своей властью изменять основные законы страны, — однако он их изменил. В современной Англии никакой писаной конституции нет, однако власть монарха превращена в чистую символику: монарх превратился в заводную куклу, устами которой вчера говорила одна партия, сегодня говорит другая, завтра будет говорить третья. А «основных законов» нет вовсе.

Власть русских монархов всегда была властью ограниченной, за исключением XVIII века, когда они вообще никакой власти не имели. Органически выросшая московская «конституция» была совершенно и почти бесследно разгромлена при Петре I, и восстанавливать ее начал Павел I своим законом о престолонаследии, **ограничивавшем** власть монарха, — в том числе и его собственную. История монархической власти в Европе есть история ее ограничения. История монархической

власти в России есть история ее **самоограничения**. Европейская конституция есть борьба за власть, русская конституция (кроме 1905 года) есть симфония власти: царской, церковной и земской. Все три вида власти ограничивали самих себя, и ни одна не пыталась вторгаться в соседнюю ей область. Мы не хотим, чтобы монархия вторгалась в дела земства, чтобы Церковь вторгалась в область светской власти, чтобы светская власть вторгалась в область религии, мы не хотим ничего того, что так типично для Запада. Мы не хотим борьбы Церкви и государства, борьбы, которая кровавой чертой прошла по Западной Европе, мы не хотим, чтобы задачи обороны страны были бы предметом обсуждения земских собраний, что сейчас делается по всему миру, кроме СССР, мы не хотим, чтобы какая бы то ни было центральная власть посягала бы на свободу человеческого творчества и труда — вне рамок, совершенно четко и ясно ограниченных «твердым законом». Мы не хотим борьбы за власть, мы хотим соборности власти, — такой, какой эта соборность была на практике достигнута в Московской Руси и создала там государственный строй, до какого Петербургская империя так и не сумела дойти.

Итак, если термин «конституционная монархия» мы заменим термином «**соборная монархия**», то мы, может быть, выпутаемся из лабиринта или противоречивых, или вообще ничего не обозначающих терминов. Термин «неограниченная монархия» не означает вообще ничего: таких монархий не бывает. Термин «конституция» может обозначать все, что угодно. Термин «соборная монархия» обозначает совершенно конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие результаты: это была самая совершенная форма государственного устройства, какая только известна человеческой истории. И она не была утопией, она была фактом.

Приблизительно такая же путаница получается и с другим, ныне таким модным термином «демократии». В нем есть два противоречивых положения: а) «все для народа» и б) «все через народ». Если бы сейчас французскому «народу», т.е. крестьянству, предоставить полную свободу следовать

второй части этой формулы, то французское крестьянство погубило бы самого себя. Немецкий народ — в его подавляющем большинстве — голосовал за Гитлера, голосовал на основании строго демократической конституции, и это кончилось четырьмя зонами. С другой стороны: древнеримский цезаризм был явлением демократического характера, ибо выступал в защиту низших классов против высших. Наполеоновский цезаризм был также явлением демократического характера, ибо защищал интересы французских низов против феодальной реставрации. «Сто дней» показали с абсолютной степенью бесспорности, что весь французский народ целиком, почти на все 100 процентов стоял за Наполеона и что за монархию не стоял **никто**, — она была навязана Франции иностранными штыками. Монархия Бурбонов, которые «ничего не забыли и ничему не научились», была монархией **антинародной**, хотя и была «конституционной» в самом европейском смысле этого слова. Империя Наполеона была демократической в социальном смысле этого слова, хотя ни о какой «конституции» Наполеон и слышать не хотел: «Я не свинья, которую откармливают на убой». Москва, по тому же Ключевскому, развивалась в сторону «демократического самодержавия» с тем, однако, осложнением, что ее правящий слой был аристократическим слоем, что и привело к катастрофе петровской эпохи.

Московская монархия была по самому глубокому своему существу выборной монархией. С той только разницей, что люди выбирали не на четыре года и не на одно поколение, а выбирали навсегда. Или пытались избрать навсегда. В самом основании Московской Руси — Суздальского княжества — лежит факт избрания: суздальцы «приняли» князя Андрея помимо его братьев. В 1613 году Русь «избрала» Михаила Феодоровича. И так как избрание предполагалось «навсегда», то оба они так или иначе были связаны с прошедшим «всегда» с бесспорной или спорной, но все-таки принадлежностью к династии. «Прекрасноцветущий и пресветлый корень Цезаря Августа» в 1613 году имел в виду установить такую же бесспорность в прошлом, как это же имело в виду происхождение

фараона от бога Ра или японской династии от луны. Но по существу это было избрание формы правления.

Можно было бы сказать, что монархическая форма правления в России подверглась более или менее непрерывному «переизбранию». Нация всегда поддерживала монархию, а за тысячу лет своей истории у нации было достаточно возможностей от монархии избавиться. Одна из этих возможностей — правда, вовсе не **нацией** — была использована в 1917 году. Русская монархия была продуктом русского национального творчества, она была создана «через народ» и она работала «для народа». Но она работала честно, ничем и никогда этот народ не обманывая. Не имеем права обманывать этот народ и мы, народные монархисты.

Итак, если термин «конституционная демократическая монархия» мы переведем на русский язык — «соборная и народная монархия» и если в этот последний термин мы вложим его русское содержание, такое содержание, каким эта монархия была наполнена в действительности, — хотя и не всегда, — то мы, вероятно, избавимся от недоразумений и по поводу «конституции», и по поводу «демократии». Мы также избавимся и от некоторых наших союзников на наших монархических путях.

Монархическая пропаганда должна быть честной. Но, кроме того, она должна быть умной пропагандой. Одна из самых неумных вещей, которую делает часть зарубежных монархистов, это попытка представить Россию до 1917 года в качестве рая. Ни в какой рай не поверит сейчас никто. Ни один разумный пропагандист не имеет права оспаривать неоспоримых вещей. Хотя бы уже по одному тому, что это совершенно безнадежно — в лучшем случае, и что это порочит всю монархическую аргументацию — во всех остальных случаях.

Русской монархии со стороны ее противников, и иностранных, и русских, предъявляется ряд очень тяжелых обвинений, фактическая сторона которых не вызывает никаких сомнений. Действительно, Россия до 1917 года была, вероятно, самой бедной страной европейской культуры. Действительно, разрыв между «бедностью и богатством» был зияющим разрывом, и таким

же зияющим разрывом был разрыв между утонченно тепличной культурой «верхов» и остатками полного бескультурья на низах. Россия до 1917 года была, действительно, построена на сословных началах и, действительно, весь правительственный аппарат страны находился целиком в руках одного сословия — дворянского. Ни купец, ни крестьянин, ни мещанин, ни прочие не могли быть ни губернаторами, ни даже земскими начальниками. Земством «по должности» управляли предводители дворянства. Говоря практически, все остальные слои страны от управления этой страной были почти начисто отстранены. Этот сословный строй шатался и таял с каждым годом, но он существовал.

Социально-политический строй страны был сословным. Но монархия сословной не была. Как и в вопросе о нашей бедности, так и в вопросе о нашем сословном строе лежали явления, так сказать, стихийного порядка. В первом случае географическо-стихийного, во втором случае — социально-стихийного. Монархия боролась и с географической, и с социальной стихиями, и если она не могла быть «абсолютной» в социальном отношении, то тем менее она могла претендовать на неограниченную власть над климатом и географией.

Климат и география, вся предшествующая внешняя и внутренняя история страны создали в ней такое напряженное политическое положение, какого не было больше никогда в мире. Из 10 последних носителей верховной власти — 5 погибли насильственной смертью, процент потерь более высокий, чем в пехоте Первой мировой войны. За русскими царями шла вековая охота, «охота за коронованным зверем», как — с предельной степенью гнусности — писал об этом М. Покровский. И только император Александр II был убит «слева», все остальные цареубийства были организованы знатью, — она же организовала и переворот в феврале 1917 года — левые в нем были абсолютно не при чем.

В стране шли незатухающие крестьянские бунты, восстания, «беспорядки» — к ним присоединились и такие рабочие выступления, как знаменитая Ленская история. Был и 1905–1906 год. Центр страны нищал с каждым годом. Убий-

ства министров стали повседневной хроникой. По поводу убийства П. А. Столыпина Л. Тихомиров писал: «На разбитых щепках некогда великого корабля, с изломанными машинами, пробоинами по всем бортам, с течами по всему дну, при деморализации экипажа... П. А. Столыпин... умел везти пассажиров, во всяком случае, с относительным благополучием...».

Со смертью П. А. Столыпина окончилось и это благополучие: ушел последний государственный человек бывшего правящего слоя, остались «бессильные старцы». Некогда великий корабль остался с капитаном (царь) и с пассажирами (народ). Но совершенно без экипажа.

И, — параллельно с этим, — Россия в культурном и промышленном отношении шла вперед семимильными шагами — так не шел никогда в истории ни один народ! Если все по-прежнему нищал центр страны, то росли и богатели ее окраины. Если стремительно росло народное образование, то вся сумма «образованности» принимала все больший и больший антинациональный характер. Россия последних десятилетий стояла на первом месте в мире по литературе, музыке, театру, балету и выходила на первое место по химии, физиологии, медицине, физике, и в то же время организация Церкви, армии и администрации находилась, может быть, на самом последнем месте среди культурных стран мира. Русская знать, у которой освобождение крестьян выбило из-под ног ее экономическую базу, стояла накануне полного разорения — нищеты. И даже больше, чем нищеты: полного банкротства. И осенью 1916 года был возобновлен проект столыпинских времен: убрать монархию и этим, по крайней мере, остановить социальный прогресс страны для того, чтобы спасти знать.

Так, — на данный момент, — завершился круг внешних и внутренних противоречий. Русская поэзия, которая видела безмерно дальше, чем русская профессура, еще устами М. Ю. Лермонтова предсказывала:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...

И почти через 100 лет А. Белый повторил это страшное пророчество:

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя...

Черный год настал. Россия исчезла в СССР. Монархия пала жертвой комбинации из внешней опасности и неразрешенных социальных противоречий внутри страны. Основное из этих социальных противоречий заключалось в том, что страна бесконечно переросла свой правящий слой, что этот слой социально выродился, что монархия оказалась без аппарата власти, но очутилась в паутине предательства, — предательства и по адресу царя, и по адресу народа.

И Февраль, и Октябрь, и поражения всех Белых армий находят свое фактическое и логическое объяснение именно здесь. Но отсюда же, из всех этих трагедий, мы обязаны извлечь наш трагический урок и попытаться возродить монархию российскую — без народной нищеты, без систематических цареубийств, без крестьянских и рабочих беспорядков, без военных неудач и без старого правящего слоя, который, впрочем, история сдала в окончательный архив и без нас. Пытаясь восстановить идею русской национальной монархии, мы также не вправе заниматься тем, что у нас называется «программами», — попытками предусмотреть все или, по крайней мере, все заранее спланировать. Мы должны также дать себе отчет и в том, что единой монархической программы нет и быть не может.

МОНАРХИЯ И ПРОГРАММА

Монархия по самому своему существу предполагает наличие разных партий. Монархия стоит над всеми ними. Она их уравновешивает и она их обязывает к сотрудничеству. До появления в эмиграции Народно-монархического движения эмигрантские монархисты говорили сначала вслух, потом вполголоса, потом шепотом о реставрации всех или почти всех старых со-

словно-классовых привилегий. Сейчас об этом не говорится даже и шепотом, но кое-кто все еще говорит про себя: «Авось, все-таки удастся!» Из столкновения идей народной и сословной монархии после Второй мировой войны родилось промежуточное течение, которое волей-неволей было вынуждено принять положения Народно-монархического движения. Этим объясняется существование в эмиграции ряда монархических организаций. Они вызваны не личными самолюбиями, а объективным ходом вещей. В будущей России возникнет ряд монархических партий — крестьянская, рабочая, какие-то интеллигентские группировки, какие-то одинаково монархические группировки или партии будущего торгово-промышленного класса. Их интересы будут противоречивы — как в некоторой степени противоречивы и интересы города, который хочет покупать дешевый хлеб и продавать дорогой ситец, и деревни, которая захочет продавать дорогой хлеб и покупать дешевый ситец. Тех деталей, которыми ныне занимаются эмигрантские программы, мы предусмотреть не в состоянии. Мы не можем сказать даже и того, в какой именно степени будет или не будет восстановлено или введено так называемое крупное землевладение, ибо, когда эмиграция говорит о крупном землевладении, она подразумевает дворянское сословное землевладение. Дворянское же землевладение не имеет, собственно, никакого отношения к «аграрному вопросу», ибо если раздел всех форм крупного землевладения между крестьянами дал последним прирост их земли только в 13 процентов, то чисто дворянское землевладение наделило крестьянство еще меньшей добавочной площадью. «Крупное землевладение» есть только псевдоним дворянского землевладения, а дворянское землевладение, не играя никакой экономической роли, является только псевдонимом дворянского правящего слоя.

Планировать «аграрную реформу» мы не можем все равно. И если мы говорим о земском самоуправлении, то мы должны сказать и дальше: именно это самоуправление — под каким-то контролем верховной власти — будет устанавливать те формы землепользования, какие разные земства найдут нужным для разных областей России с ее совершенно различ-

ными локальными условиями. Мы не можем проектировать «реформ суда», ибо мы не знаем, с каким человеческим материалом будет восстановлено хотя бы элементарнейшее правосудие России. Мы не можем говорить о будущих рабочих организациях, ибо мы не знаем, как распределится русская промышленность между государственной, земской, частной, концессионной и прочими формами. Но мы можем установить некоторые общие желательные нам принципы: сильная царская власть, сильное земское самоуправление, сильное народное представительство, гражданская и хозяйственная свобода для всех граждан империи. Всякая конструкция, поставленная **дальше** этих основ, будет конструкцией, построенной на песке. Однако есть одна основная вещь, которую мы уже и сейчас можем видеть. Она сводится к тому, что западноевропейским влиянием на внутреннюю историю России пришел конец. И этот конец мотивируется следующими объективно данными факторами:

1. Мировая культурная, политическая и хозяйственная гегемония Европы кончена навсегда. Ее колонии — потеряны, ее империи распались, ее попытки единения и властвования провалились.

Европа была «первой силой». Сейчас она пытается играть роль хотя бы «третьей силы».

2. Как бы ни оценивать Вторую мировую войну, она вызвала в русском народе ощущение силы, пусть и обманутой, но все-таки силы. Советская пропаганда со свойственной ей невероятной гибкостью играет на этом чувстве силы и дискредитирует всю западноевропейскую культуру — большей частью не без основания и не без успеха.

3. Русская эмиграция, и старая и новая, очутившись в Европе не на положении богатых туристов, а на положении бедных искателей труда, может быть, и незаметно для самое себя, но категорически пересмотрела все те побасенки о «стране святых чудес», которыми питалась вся русская интеллигенция до войны.

4. Тот социальный слой, который строил свое социальное существование на западноевропейском крепостном праве, — исчез бесследно.

5. Тот новый образованный слой, который родился или вырос в последнее полустолетие — вырос из народа, из «нации», и настроен чрезвычайно националистически, понимая под национализмом не шовинизм, а очень яркое и очень ясное ощущение своей **национальной индивидуальности**.

6. Период послереволюционной слабости неизбежен, но долго длиться он не может. Пример Новой Экономической Политики показал с неоспоримой ясностью, какие огромные целительные силы имеет в себе страна. И, следовательно,

7. Страна, имеющая совершенно новый правящий и ведущий слой, страна, покончившая с преклонением перед заграницей, страна, идущая по путям бурного роста будет поставлена перед тремя возможностями:

а) Искать нового образчика для подражания. Этим образчиком могла бы быть Северная Америка, если бы все исторические и географические и прочие предпосылки не были бы так различны.

б) Пытаться повторить пути коммунистического утопизма, — в лице меньшевизма или солидаризма и пр., — что НЕ исключается.

в) Искать своих собственных дальнейших путей.

Дальнейшие собственные пути не могут быть найдены без учета уже пройденных. Поэтому русскому народу вообще, а русской интеллигенции в особенности надо спокойно и объективно оглянуться на все пережитое и совсем заново, в свете всего нашего опыта, пересмотреть все наши прежние взгляды и на психологию, и на историю русского народа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДУХ НАРОДА

БЕЗ ЛИЦА

Свою знаменитую книгу Д. Менделеев назвал «К познанию России». Эта книга действительно много сделала «к познанию России». Но Россия, в том разрезе, в каком ее рассматривал Д. Менделеев, оказалась только пространством, территорией, страной, в которой некий, нам, в сущности, вовсе неизвестный народ «Х» строил, строит и будет строить свое хозяйственное бытие. Вместо русского народа на той же территории мог оказаться всякий другой народ, — выводы Д. Менделеева были бы приложимы и к нему.

Приблизительно на той же точке зрения стоят и иные исследователи русских судеб. Сократовский рецепт «познай самого себя» выполняется так, как если бы мы в целях самопознания стали бы изучать:квартиру, в которой судьбе было угодно разместить нас на постоянное жительство, соседей, которыми судьбе было угодно нас снабдить, окружающий ландшафт, систему отопления и дыры в крыше. Жилец этой квартиры, с его талантами и темпераментом, привычками и формой носа, как-то остался вне внимания исследователей. Им, собственно, должна была заниматься история. Вот, история и повествует нам о прошлом и квартиры, и жильца: какие там были пожары, как туда врывались воры, какие семейные дрязги происходили

под крышей нашего «месторазвития» и как, в сущности, мало понятным путем стены этой квартиры раздвинулись на одну шестую часть земной суши. Молчаливо предполагается, что сам жилец тут не при чем. Были такие-то и такие-то географические, климатические, экономические и прочие явления, обстоятельства и даже законы — и вот они-то автоматически создали империю Российскую. А жилец? Жилец тут не при чем.

История страны должна была бы быть биографией народа. Историки в общем и пытаются быть биографами. История Апеннинского полуострова — страны, которая раньше была населена римлянами и теперь населена итальянцами, делится на биографию двух народов:одного, который создал Римскую империю, и другого, который Римской империи не создал. Людей интересует не страна, а народ. Не столько география, сколько биография. Но биографии народов у нас, в сущности, нет.

Если вы возьмете в руки любую биографию любого великого человека, то вы сразу найдете в ней попытки установить определяющую черту характера этого человека: его «доминанту», как это назвал бы я. Мальчишка Ломоносов с его знаменитыми тремя копейками в кармане и с его жаждой науки; Эдисон с его типографией в вагоне железной дороги; Пушкин с его царскосельскими стихами; Наполеон — в военном училище; Ленин — в гимназии или Бисмарк в своем Шенхаузене — у всех них с самого юного возраста четко и ясно проступает доминанта их характера, то, что впоследствии определит их судьбы, то, что как-то отличает их от других людей; от и сверстников, однокашников и даже братьев. Никто и никогда не пытался установить «закона», по которому Ломоносов стал ученым, Эдисон — изобретателем, Пушкин — поэтом и пр., но всякий историк норовит установить закономерность, следуя которой народ послушно шествует по путям, предуказанным Спенсером, Контом, Гегелем, Киплингом, Марксом, Рорбахом, Лениным, Розенбергом и еще несколькими сотнями философов, историков, геополитиков, мыслителей, пророков и прочих светочей человечества.

На путях всех этих шествий происходит целый ряд неприятностей. Во-первых, светочей развелось до очевидности

слишком много. Во-вторых, те пути, которые они нам освещают ведут в диаметрально противоположные стороны. В-третьих, все законы, которые они для нас открыли, полностью исключают друг друга. В-четвертых, в силу всего этого вместо дальнейшего продвижения по путям прогресса и прочего мы погружаемся во все больший кабак.

Древний Рим создал империю, которая в смысле организации человеческого общежития стояла выше сегодняшней Европы настолько, насколько современная Европа стоит выше Рима в техническом отношении. Самолетов у Рима не было, но были и водопроводы, и всеобщее обязательное обучение, многое такое, чего нет и сейчас. «Науки» в Риме не было. Место сегодняшних светочей человечества там занимали авгуры. Они гадали по внутренностям жертвенных животных и результаты своих научных исследований сообщали массе в качестве того, что мы сейчас назвали бы «научной неизбежностью». Авгуры имели перед философами, политико-экономами, геополитиками, историками и прочими то подавляющее преимущество, что они сговаривались заранее, вероятно, не без учета всей политической обстановки данного момента. И не без предварительных совещаний с деловыми людьми тогдашнего Рима. Авгуры не запирались в кабинетах и библиотеках, не питались цитатами и не говорили о «законе». Они, кроме того, были умными людьми.

В результате всего этого римская масса получала один единственный, простой и ясный рецепт. Она в него верила. Он спаивал ее единством цели и воли. Вековая практика показала, что в противоположность нынешним светочам глупых рецептов авгуры не давали. Если бы они давали глупые рецепты, то Римская империя не создалась бы. Или, иначе, если бы нынешние светочи давали бы неглупые рецепты, то мы с вами не сидели бы там, где мы имеем удовольствие сидеть в результате философского прогресса последних столетий.

Рим времен его роста и расцвета вообще не имел истории прошлого, но он имел историю будущего: в сивиллиных книгах, хранившихся в храме Юпитера, была изложена вся

будущая история Рима. Книги эти хранили, читали и толковали те же авгуры. В общем эти книги были неизмеримо разумнее нынешней науки: они хоть что-то, но все-таки предсказывали. Потом они погибли при пожаре, и Рим остался без истории своего будущего. Историки его прошлого помогли ему очень мало.

Сейчас авгуров у нас нет. Или — что еще хуже — их стало слишком много. Они путаются друг у друга под ногами, обзывают друг друга всякими нехорошими словами и вместо честного вранья о кишках жертвенного барана занимаются выискиванием «законов». Законов этих нет. Или, если они и существуют, то ни мы, ни **тем более** светочи не имеем о них ни малейшего представления. Есть некие коллекции отсебятин, имеющих в виду партийные интересы и формулированных в полных собраниях сочинений Конта, Гегеля, Маркса, Ленина, Розенберга и пр. Есть перечисление исторических фактов, собранных в полных сочинениях Олара, Моммзена, Карлайля, Ключевского, Платонова или Покровского, — фактов, подобранных и подогнанных под определенную философски-партийную программу и долженствующих иллюстрировать железные законы марксизма или расизма, гегелианства или кантианства, идеализма или материализма. Сейчас, сидя в нашем сегодняшнем положении, мы обязаны констатировать тот прискорбный факт, что бараньи кишки были и умнее, и научнее марксистской «прибавочной стоимости», гегелианского «мирового духа», розенберговской высшей расы и сталинской генеральной линии. Я не хочу этим сказать, что бараньи кишки были потрясающе гениальны. Но они были умнее всех генеральных линий, философий и систем современности: на них, на бараньих кишках, хоть что-нибудь все-таки было построено...

Итак, историки ищут законы и, выискав законы, подыскивают факты, которые должны соответствовать законам. И замалчивают те факты, которые в данный вариант законов не влезают никак. Никто не пытался объяснить жизненный путь Ломоносова или Эдисона законами, заложенными в архангельс-

кой тайге или в товарном вагоне. Но всякий историк пытается втиснуть жизненный путь русского народа в свой собственный уголовный кодекс. Из этого научного законодательства не выходит ничего. Но пропадает и то, что все-таки можно было бы уловить: соборная, коллективная, живая личность народа, определяющие черты его характера, основные свойства его «я», отличающие его от всех его соседей. И его судьбы, отличные от судеб всех его соседей.

В результате всего этого мы остаемся и без «закономерности общественных явлений», и без неповторимости личной биографии. Остаются произвольные коллекции фактов, подобранных на основании произвольных отсебятин. И все это оказывается гораздо глупее и неизмеримо хуже и бараньих кишок, и сивиллиных книг. Иначе — опять-таки — мы с вами после 3 тысяч лет «европейской культуры» не сидели бы в нашем нынешнем положении.

Римские авгуры, по всей вероятности, были полуграмотными людьми. Но они жили в среде очень разумного, политически одаренного народа, были, конечно, в курсе всех событий данной эпохи и не были обременены никакими теориями. Их точки зрения были примитивно правильны — примитивны, но правильны. Философия Гегеля представляет собою мировой рекорд сложности и запутанности, и мы присутствуем при полном провале двух ее вариантов: немецко-расистского и советско-марксистского. В Берлине вместо «мирового духа» засел маршал Соколовский, а в Москве вместо диалектического рая сидит чека. Я предпочитаю бараньи кишки.

Мое основное, самое основное положение сводится к тому, что никаких общественных наук у нас нет. То, что мы привыкли считать общественными, гуманитарными, социальными науками, есть вздор. Или как по поводу советских настроений писал подсоветский поэт Заболоцкий:

Только вымысел, мечтанье,
Праздной мысли трепетанье,
То, чего на свете нет.

И, в результате этих трепетаний, —

Все смешалось в общем танце
И летят во все концы
Гамадрилы и испанцы,
Ведьмы блохи, мертвецы.

Летим тоже и мы.

***

Мое утверждение о вздорности общественных наук вообще и истории в частности не грешит, конечно, нехваткой смелости. Фактические доказательства этому утверждению можно найти в нашем всеобщем полете во все концы. Есть и некоторые «документальные» улики.

Один из наших крупнейших историков, специалист по истории Западной Европы, автор учебников, трудов и прочего — проф. Виппер — как-то раз признался, что никаких методов исследования национальной жизни у историков нет.

«Мы ведь никто и никогда не занимались исследованием относящихся сюда вопросов, у нас нет описания национальной жизни, национального творчества, у нас нет материала для сравнений и заключений. Наши диалектические, платоновские и другие методы, которыми мы до сих пор орудовали — **богословская схоластика и больше ничего**» (Проф. Виппер. Круговорот Истории. Москва–Берлин, 1923, стр. 75).

В другом месте той же книги, на стр. 60, короче и резче сказано то же самое: «У нас по вопросу о жизни наций ничего не сделано, я бы сказал, ничего не начато».

Можно было бы предположить, что это пессимистическое признание вырвалось у проф. Виппера более или менее случайно, в минуты горького похмелья, пришедшего на смену тому революционному пиру богов, который историческая наука — в общем строе остальных общественных наук — готовила нам и себе лет этак 100 подряд. Можно было бы предположить, что на основах вот этакой «богословской схоластики» проф. Вип-

пер хоть пророчествовать перестанет — никто за язык его не тянул. Но наш ученый остается верен своим схоластическим привычкам — и пророчествует. Вот его пророчество: «Новый взрыв империализма невозможен. Немыслимо вновь провести мобилизацию вроде 1914–15 годов. Вероятно, всеобщую воинскую повинность придется отменить. Служить в качестве повинности не захотят не только рабочие, но и все остальные классы» (там же, стр. 60).

Так пророчествует профессор, написавший «к познанию Европы» десятки томов. Совершенно так же пророчествовали десятки профессоров, написавших сотни томов «к познанию России»: Милюков и Покровский, Новгородцев и Бердяев — имя же им почти легион (о Менделееве я здесь не говорю). Совершенно ясно: в общественно-исторической жизни и Европы и России все эти люди не понимали, выражаясь строго научно, — ни уха ни рыла. По всем этим вопросам у них действительно ничего не сделано и даже «ничего не начато», и единственный метод, находящийся в их распоряжении, это «богословская схоластика и больше ничего».

Если вы хотите прочесть что бы то ни было разумное и о России, и о Европе, вы должны обратиться к людям любой иной профессии. Химик Менделеев, математик Шпенглер, писатель Л. Толстой, поэт М. Лермонтов, путаный человек В. Розанов, начальник охранного отделения Дурново, миллионер барон Врангель (отец бывшего главнокомандующего Белой армией), м-р Буллит (бывший американский посол в Москве) и всякие такие люди, более или менее случайно взявшиеся за общественно-исторические темы, пишут умные вещи о прошлом и дают более или менее правильные прогнозы будущего. Разница между профессорами общественных наук и всеми этими случайно пишущими людьми заключается в том, что профессора знают только теории и только цитаты. Остальные люди знают действительность и знают жизнь. Два миллионера, один русский и другой американский — Врангель и Буллит, — написали о русском народе книги, которые более умны, чем вся наша гуманитарно-общественно-социальная литература вместе взятая.

Мои высказывания о гуманитарных науках звучат, я понимаю, совершеннейшей ересью. Эти высказывания, однако, достаточно убедительно иллюстрируются всем ходом современного исторического развития. Есть и еще некоторые доказательства. Доктор Гьяльмар Шахт, бывший председатель Рейхсбанка, финансовый маг и кудесник Германии, недавно выпустил книгу: «Mehr Kapital, mehr Arbeit, mehr Geld»[1]. Книга издана на ротаторе: после оправдания Г. Шахта союзным судом его судили и травили его же соотечественники. И, несмотря на весь финансовый гений д-ра Шахта, — его семья голодала в буквальном смысле этого слова и питалась подачками соседей. Так вот, книга д-ра Шахта посвящена, в сущности, доказательству того тезиса, что никакие политическо-экономические теории ни в каком случае не должны применяться ни к какой стране: ни к чему, кроме разорения, они не приведут. Нужно знание живой хозяйственной жизни и нужно чутье — Fingerspitzengefuhl... Г. Шахт не только знал хозяйственную жизнь своей страны, но и организовал ее. Теории могут только дезорганизовать.

***

Историю нашей страны и нашего народа мы изучали с точки зрения «богословских схоластик» — целой коллекции всех мыслимых разновидностей философий современности. Каждая философия и каждая схоластика стремились придать себе приличный вид «науки». Из этого не вышло ничего. Каждая из этих разновидностей пыталась установить некие общие законы исторического развития — общие и для Патагонии, и для России — из этого тоже не вышло ничего. «Науки» как обобщения всемирно-исторического опыта не оказалось. Но не сказалось и индивидуального, неповторимого в истории мироздания, ЛИЦА русского народа — архитектора и строителя русской государственности. Государственность автоматически оказалась оторванной от народа — так, как если бы из-за какой-то таинственной засады эта государственность

[1] Большой капитал, большая работа, большие деньги *(нем.)*.

прыгнула на шею народа и оседлала его на 11 веков. Так, как будто бы цари, полководцы, патриархи, — варяги, немцы, татары, — монгольские, византийские и европейские влияния, — климатические, географические и экономические условия, — а никак не русский народ в беспримерно трагических внешних условиях построил беспримерную по своей прочности и оригинальности государственную конструкцию. Так, как если бы русский народ был только материалом для стройки, а никак не строителем. Так, как будто русский народ — только пустое место, вокруг которого вращаются: цари, варяги, влияния и условия. Народ остался без ЛИЦА. Без характера и без воли: бессильная щепка в водовороте явлений, событий, влияний и условий. Слепое и тупое оружие в руках гениев, царей, полководцев и вообще деятелей. И сырье для схоластических упражнений гуманитарной профессуры.

Эти схоластические упражнения, которыми промышляли все университетские кафедры мира, были плохи и сами по себе: они привели к чрезвычайному снижению умственного уровня Европы. Призраки науки оперировали призраками явлений, давали призраки знаний и указывали на призраки путей. Но когда вся сумма схоластических наук о призраках перешла в область реальной человеческой жизни, — произошли катастрофы. Франция, опираясь на призрак «общественного договора» Руссо, и Германия, поддерживаемая призрачным «мировым духом» Гегеля, положили начало «гибели Европы». Философия французских энциклопедистов, как и философия всей немецкой профессуры, привели к катастрофам 1814 и 1945 года. Нам, русским, в смысле схоластики особенно повезло.

Та сумма схоластики, которую мы кощунственно называем наукой, гуманитарной, общественной, социальной, но все таки «наукой», родилась у нас в пору отделения нашего правящего слоя от народной массы, — в те десятилетия, когда русское дворянство, завоевав себе монополию на государственную службу, на образование и на рабовладение, перестало не только говорить, но даже и думать по-русски. Проф. Ключевский скорбно издевается над российским дворянином, кото-

рый ни одного русского явления не мог назвать соответствующим ему словом и в голове которого образовался «круг понятий, не соответствующий ни иностранной, ни русской действительности», т.е. **никакой** действительности в мире. Позже я попытаюсь доказать, что и сам Ключевский действовал по заветам своего же дворянина.

История Западной Европы принципиально не похожа на историю России. В этой истории был ряд явлений, каких у нас или не было вовсе, или которые появились, так сказать, в эмбриональном виде — и исчезли. История Европы разыгрывалась на территории, которая — исторически так еще недавно — была объединена и организована Римской империей. Бессильная мечта об этой империи маячила в завоеваниях Карла Великого, Габсбургов, Ватикана, Наполеона и Гитлера — сегодня она опять подымается в виде проекта «Соединенных Штатов Европы». Наталкиваясь на специфическую для Европы узость интересов, патриотизмов, карьеризмов и пр., эта мечта неизменно тонула в крови. Та психология, которая руководится принципом «человек человеку — волк» и которая создала европейский феодализм, поставила на пути всяческого объединения совершенно непреодолимые препятствия — как во времена Карла Великого, так и во времена Гитлера. Каждое слагаемое проектируемого единства ставило выше всего свои интересы и каждый объединитель — тоже свои. Тысяча двести лет тому назад Карл Великий точно так же резал саксов, как Гитлер поляков, и грабил Бургундию так же, как Гитлер грабил Норвегию. Территория Европы от Вислы до Гибралтара пропитана ненавистью, как губка. Это было тысячу лет тому назад и это никак не улучшилось после Второй мировой войны.

На территории Западной Европы разыгрались великие драмы инквизиции и религиозных войн, борьбы протестантизма с католичеством, стройки империй, которые жили десятки — редко сотни — лет, которые были основаны на том же грабеже и которые лопались, как мыльные пузыри: испанская, португальская, французская, германская и теперь английская. В первой рукописи этой книги — в начале сороковых годов, — я про-

рочествовал о распаде Британской империи, сейчас и пророчествовать не стоит. Лопнула Наполеоновская империя, и ее республиканский, — четвертый — вариант — тоже доживает свои последние годы. Европейские «империи» кончились. Может быть, бронированный кнут и валютный пряник Североамериканских Соединенных Штатов создадут Западноевропейские Соединенные Штаты. Но, может быть, не создадут даже и они.

Российская государственность выросла на почве, не обремененной никакой мечтой. Она развивалась органически. Она не знала ни инквизиции, ни религиозных войн. Наш «раскол» был только очень слабым повторением борьбы протестантизма с католичеством, и то, что допустила «Никоновская Церковь» по адресу староверия, не может идти ни в какое сравнение с Варфоломеевской ночью или с подвигами испанцев в Нидерландах. И, самое важное, — Россия — до Петра I — не знала крепостного права.

Внешняя история России есть процесс непрерывного расширения — от сказочных времен Олега до каторжных дней Сталина. Был короткий промежуток распада, приведший к татарской неволе, но и при царях и без царей, при революциях и без революций страна оставалась единой. Был найден детски простой секрет сожительства полутораста народов и племен под единой государственной крышей, был найден — после Петра утерянный, — секрет социальной справедливости. Но и он был утерян только верхами народа. Сейчас, как это было в 1814 году, — с очень серьезной поправкой на русскую революцию великая Восточная империя нависает над несколькими десятками раздробленных феодов гибнущей Европы. Исторические пути были разными. Но разною была и историческая **терминология**.

Сейчас мы можем сказать, что государственное строительство Европы, несмотря на все ее технические достижения, было неудачным строительством. И мы можем сказать, что государственное строительство России, несмотря на сегодняшнюю революцию, было удачным строительством. Наша гуманитарная наука должна была бы изучать европейскую историю

с целью показать нам: как именно не надо строить государственность. И русскую — или римскую, или британскую историю — с целью показать, к а к надо строить государственность. Но наша гуманитарная наука с упорством истинного маньяка все пыталась пихнуть нас на европейские пути. Наша схоластика питалась европейскими терминами, которые у себя дома обозначали неизвестно что. Наши ученые точно следовали примеру ключевского дворянина, и в их умах и сочинениях фигурировали термины, которые не обозначали вообще ничего, которые не «соответствовали ни европейским, ни русским явлениям», т.е. которые не соответствовали **ничему в реальном мире**, которые были хуже, чем просто вздором: они были призрачными верстовыми столбами, которые бесы схоластики понатыкали на всех наших путях:

Вот, верстою небывалой
Он мелькнул передо мной,
Вот сверкнул он искрой малой
И проплыл во тьме ночной.

По этим «верстам небывалым» пошли «Бесы» Достоевского. И пришли бесы Сталина. Верстовые столбы, и путеводные звезды, и всякое такое прочее вели нас в яму. В каковой яме мы и сидим сейчас. Этой ямой мы обязаны, если не исключительно, то преимущественно всей сумме наших общественных наук.

Та методика общественных наук, которая родилась на Западе, была и там «богословской схоластикой и больше ничем». Она выработала ряд понятий и терминов, в сущности мало отвечавших и европейской действительности. Наши историки и прочие кое-как, с грехом пополам, перевели все это на русский язык — и получились совершеннейшие сапоги всмятку. Русскую кое-как читающую публику столетия подряд натаскивали на ненависть к явлениям, которых у нас вовсе не было, и к борьбе за идеалы, с которыми нам вовсе нечего было делать. Был издан ряд «путеводителей в невыразимо прекрасное будущее», в котором всякий реальный ухаб был прикрыт идеалом и всякий призрачный идеал был объявлен путеводной звез-

дой. Одними и теми же словами были названы совершенно различные явления. Было названо «прогрессом» то, что на практике было совершеннейшей реакцией, — например реформы Петра, и было названо «реакцией» то, что гарантировало нам реальный прогресс, — например монархия. Была «научно» установлена полная несовместимость «монархии» с «самоуправлением», «абсолютизма» с «политической активностью масс», «самодержавия» со «свободой», религии с демократией, и пр. и пр. — до бесконечности полных собраний сочинений. Говоря несколько схематично, русскую научно почитывавшую публику науськивали на «врагов народа», которые на практике были его единственными друзьями, и волокли на приветственные манифестации по адресу друзей, которые оказались работниками ВЧК–ОГПУ–НКВД. А также и работниками гестапо.

Русская гуманитарная наука оказалась аптекой, где все наклейки были перепутаны. И наши ученые аптекари снабжали нас микстурами, в которых вместо аспирина оказался стрихнин. Термин есть этикетка над явлением. Если этикетки перепутаны, то перепутаница в понимании является совершеннейшей неизбежностью. Русская «наука» брала очень неясные европейские этикетки, безграмотно переводила их на смесь французского с нижегородским, и получался «круг понятий, не соответствовавших ни иностранной, ни русской действительности», не соответствовавших, следовательно, никакой действительности в мире, круг болотных огоньков, зовущих нас в трясину.

Истинно потрясающие пророчества русских ученых отчасти объясняются полной путаницей их «научных понятий». Отчасти объясняются и другим: хроническим расстройством умственной деятельности, возникшим в результате векового питания плохо пережеванными цитатами. В их, этих ученых, распоряжении была только схоластика — и больше ничего. Были только переводы с иностранного — и больше ничего. Был круг понятий, не соответствующий никакой действительности в мире — и был ряд пророчеств, которые теперь звучат, как издевательство. Эти люди никогда ничего не понимали, не понимают сейчас и **никогда ничего понимать не будут**. Но именно

они учили нас. И призывали, и науськивали, и разъясняли, и пророчествовали.

Современная Западная Европа родилась в результате разгрома германскими ордами Римской империи. Именно германцы образовали ее правящий слой и именно они создали феодализм — такое же типичное явление для немцев, как касты для Индии. Здесь веками и веками шла борьба всех против всех, и эта борьба создала ряд типично европейских явлений: абсолютизм, феодализм, клерикализм, империализм и пр. Русская наука, старательно и натужно списывая с западноевропейских шпаргалок, доказывала нам, что по всеобщим законам всемирно исторического развития мы — с запозданием, правда, но только повторяем западноевропейские пути и что перед нами, как перед испанцами, французами или немцами стоят решительно те же задачи: борьба с абсолютизмом, империализмом, клерикализмом, феодализмом во имя демократизма, атеизма, марксизма и социализма. Сейчас ясно: пути были не одними и теми же. Но при малейшей затрате умственной добросовестности это должно было бы быть ясно и раньше. Я приведу несколько примеров.

Римский империализм завоевал мир, довольно основательно грабил его, но в общем создавал **лучшие условия жизни**, чем они были до римского владычества. Римская империя продержалась века, говоря приблизительно, — лет 400. Испания тоже строила свою империю, но в ее пределах занималась почти только грабежом. Испанская империя продержалась очень короткое время. Англия строила свою империю не на грабеже, но она строила ее на эксплуатации — временами, впрочем, принимавшей формы истинного грабежа — так, как Англия обращалась с Ирландией, Россия не обращалась **ни с какими самоедами**. Английская империя продержалась, в общем, лет 200. Из германских империй и Первой, и Второй, и Третьей, не вышло вообще ничего. Русская империя как единое великое и многонациональное государство существует больше тысячи лет — и даже и сейчас не проявляет никаких признаков государственного распада.

Английская система имперской стройки была наилучшей системой после русской. Однако ирландцы были ограблены до нитки: землю отобрали английские лорды, промышленность душили английские фабриканты, страна поднимала голодные бунты и эти бунты топились в крови.

Россия завоевала Кавказ. Не следует представлять этого завоевания в качестве идиллии: борьба с воинственными горскими племенами была упорной и тяжелой. Но ничья земля не была отобрана, на бакинской нефти делали деньги «туземцы» — Манташевы и Лианозовы, «туземец» Лорис-Меликов стал русским премьер-министром, кавказские князья шли в гвардию, и даже товарища Сталина никто всерьез не попрекал его грузинским акцентом. Плоды этого империализма Лермонтов, один из его бойцов, сформулировал так:

... и Грузия
Цвела в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

Русский «империализм» наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, средняя линия, правило, заключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. Министры поляки (Чарторыйский), министры армяне (Лорис-Меликов), министры немцы (Бунге) — в Англии невозможны никак. О министре индусе в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше, но они были для всех. Узбек имел все права, какие имел великоросс, и если башкирское кочевое хозяйство было сжато русским земледельческим, то это был не национальный, а экономический вопрос: кочевое хозяйство есть роскошь, которая сейчас не по карману никому.

Но, повторяю, Англия создала наиболее совершенный **после** русского тип мировой империи. Англия эксплуатировала Индию. Однако эта эксплуатация обошлась индусам безмерно дешевле, чем им стоила и, вероятно, еще будет стоить их неза-

висимость, основанная на базе 3 тысяч каст. На наших глазах Германия сделала истинно отчаянную попытку восстановить никогда не существовавшую империю Карла Великого. И сейчас же эта еще не реализованная империя была поделена на народы разных сортов, причем первый сорт сразу взялся за грабеж всех остальных. Третья империя прожила 12 лет. Так развивались два разных явления, названных одним и тем же термином.

История средневековой Европы пронизана борьбой светской и духовной власти. В этой борьбе духовенству удавалось достигать очень крупных побед. Целые страны попадали под контроль католического духовенства, — и задачи религии очень быстро сменялись профессиональными интересами клира. Клир был правящим слоем. Клир сменял королей и даже императоров, командовал армиями и вел войны, истреблял еретиков, объедал целые нации и давил собою все. Борьба против клерикализма была неизбежной — ее поднял Лютер. Но наш сельский попик, нищий, босой, пашущий свою собственную землю, — он никогда никаким клерикалом не был. Русская Церковь никогда не простирала руки к государственной власти, не вела и не провоцировала никаких религиозных войн, и единственная попытка (в Новгороде) завести сожжение еретиков была сразу же проклята именно Церковью.

Европейский абсолютизм возник как завоевание. Европейские короли были только «первыми среди равных», только наиболее удачливыми из феодальных владык, и перед европейской монархией никогда не ставилось никаких моральных целей. Европейский король был ставленником правящего слоя. Он, в общем, был действительно орудием угнетения низов.

Русская монархия исторически возникла в результате восстаний **низов против** боярства и, — пока она существовала, — она всегда стояла на защите именно низов. Русское крестьянство попало под крепостной гнет в период **отсутствия** монархии, — когда цари истреблялись и страной распоряжалась дворянская гвардия.

Русская монархия была только одним из результатов попытки построения государства не на юридических, не на эко-

номических, а на чисто **моральных** основах — с европейской монархией ее объединяет только общность внешней формы. Но обе они названы одним и тем же именем.

У нас не было феодализма, кроме, может быть, короткой эпохи перед и в начале татарского нашествия. У нас была, а после 1861 года снова стала возрождаться демократия неизмеримо высшего стиля, чем англо-саксонская, равенство духовно равных людей без оглядки на их титул, карманы, национальности и религии. Нас звали к борьбе с дворянством, которое было разгромлено постепенно реформами Николая I, Александра II, Александра III и Николая II, — с дворянством, которое и без нас доживало свои последние дни, — и нам систематически закрывали глаза на русских бесштанников и немецких философов, которые обрадовали нас и чекой, и гестапой. Нас звали к борьбе с русским «империализмом» — в пользу германского и японского, к борьбе с клерикализмом, которая привела к воинствующим безбожникам, к борьбе с русским самодержавием, на место которого стал сталинский азиатский деспотизм, на борьбу с остатками «феодализма», которая закончилась обращением в рабство двухсотмиллионных народных масс. Нас учили оплевывать все свое и нас учили лизать все пятки всех Европ — «стран святых чудес». Из этих стран на нас перли: польская шляхта, шведское дворянство, французские якобинцы, немецкие расисты — приперло и дворянское крепостное право, и советское. А что припрет еще? Какие еще отрепья и лохмотья подберут наши ученые старьевщики в мусорных кучах окончательно разлагающегося полуострова? Какие новые «измы» предложат они нам, наследникам одиннадцативековой стройки? Какие очередные «теории науки» возникнут в их катаральных мозгах и какие очередные пророчества утонут в очередной луже?

Мы этого еще не знаем.

Всякая великая история идет своими путями, и всякий великий язык отражает действительность этой истории, а не какой-нибудь другой. И всякий перевод будет по меньшей мере неточным переводом.

Об абсолютизме, феодализме и прочем я уже говорил. Можно бы найти и оправдания для переводчиков: термины неясные, явления сложные и пр. Но даже и в простых терминах получается путаница.

Весь европейский социализм пронизан ненавистью к крестьянству — и наш тоже. Маркс поносил крестьянство самыми нехорошими словами: идиотизм, кретинизм, варварство и пр. Этот набор научных терминов унаследовали и наши социалисты. Но так как в крестьянской стране революция без помощи крестьянства оказалась предприятием почти невозможным, то была придумана наживка и для крестьянства: передел земли. Только потом оказалось, что делить, собственно, нечего. И только потом социалисты показали крестьянству настоящую научную кузькину мать. Но это случилось позже.

Ненависть социалистов к крестьянству я в основном объясняю ненавистью недоноска к нормальному здоровому человеку, но об этом я пишу в другой книге. Весь наш современный русский социализм списан в сущности с немецкого — в основе его лежит философия Гегеля, экономика Маркса и Энгельса, стратегия Клаузевица и тысячи цитат тысячи других философов, ученых, публицистов и пр. От них же взят и термин «крестьянин», по-немецки «бауэр».

Русский крестьянин и немецкий бауэр, конечно, похожи друг на друга: оба пашут, оба живут в деревне, оба являются землеробами. Но есть и разница.

Немецкий бауэр — это недоделанный помещик. У него, в среднем, 30–60 десятин земли, лучшей, чем в России — земли, не знающей засух. У него просторный каменный дом — четыре-пять комнат, у него батраки, у него есть даже и фамильные гербы, имеющие многовековую давность. Исторически это было достигнуто путем выжимания всех малоземельных крестьян в эмиграцию: на Волгу и в САСШ, в Чили или на Балканы. Немецкий бауэр живет гордо и замкнуто, хищно и скучно. Он не накормит голодного и не протянет милостыни «несчастненькому». Я видел сцены, которые трудно забывать: летом 1945 года солдаты разгромленной армии Третьей Германской

империи расходились кто куда. Разбитые, оборванные, голодные, но все-таки очень хорошие солдаты когда-то очень сильной армии и для немцев все-таки своей армии. Еще за год до разгрома, еще вполне уверенные в победе, — немцы считали свою армию цветом своего народа, своей национальной гордостью, своей опорой и надеждой. В мае 1945 года эта армия разбегалась, бросая оружие и свое обмундирование, скрываясь по лесам и спасаясь хотя бы от плена. Это была очень хорошая армия: в течение целого ряда лет она как-никак вела борьбу против всего мира. Теперь она оказалась разгромленной. С наступлением ночи переодетые в первые попавшиеся лохмотья остатки армии вылезали из своих убежищ и начинали побираться по деревням. Немецкий крестьянин в это время был более сыт, чем в мирные годы: города кормились в основном «аннексиями и контрибуциями», деньги не стоили ничего, товаров не было — и бауэр ел вовсю. Но своему разбитому солдату он не давал ничего. У меня нет никаких оснований питать какие бы то ни было симпатии к германской армии, но я видел сцены, на которые даже и мне было и тяжело и противно смотреть.

В сибирских деревнях существовал обычай: за околицей деревни люди клали хлеб и пр. для беглецов с каторги: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой», как поется в известной сибирской песне. В немецкой литературе мне приходилось встречать искреннее возмущение этой «гнилой сентиментальностью». Там, в России, кормили преступников, — здесь, в Германии, не давали куска хлеба героям.

Бауэр и крестьянин — два совершенно различных экономических и психологических явления. Бауэр экономически — это то, что у нас в старое время называли «однодворец», мелкий помещик. Он не ищет никакой «Божьей Правды». Он совершенно безрелигиозен. Он по существу антисоциален, как асоциальна и его имперская стройка.

В немецких деревнях не купаются в реках и прудах, не поют, не водят хороводов и «добрососедскими отношениями» не интересуются никак. Каждый двор — это маленький феодальный замок, отгороженный от всего остального. И владель-

цем этого замка является пфениг — беспощадный, всесильный, всепоглощающий пфениг. Немецкий бауэр его имеет в большом количестве. Немецкий пролетариат тоже его имеет, но в меньшем количестве. Немецкая зависть пролетария к собственнику определила собою отношение социализма к крестьянству. Это отношение было переведено на русский язык, и под руководством социалистического пролетариата России русское трудовое крестьянство было загнано на каторжные работы колхозов.

***

Так взошли на русской земле семена европейской схоластики, бесплодные даже и на своей собственной. Венцом многовековой усидчивости европейских чревовещателей явился марксизм — мертвая схема, которой сейчас приносятся в жертву десятки миллионов живых жизней. В марксизме постепенно исчезло все живое, органическое, настоящее. Исчезли живые нации — на их место стал Интернационал, исчезли живые люди, на их место стали производители и потребители. Исчезла живая история — на ее место стали пресловутые производственные отношения. Исчезла, собственно, и человеческая душа: бытие определяет сознание.

Почему, собственно, пролетарское мировое сознание угнездилось именно на базе русского крестьянского бытия, осталось невыясненным до сих пор. Почему пролетарская революция возникла там, где пролетариата было меньше всего и почему провалились все пророчества Маркса о революции в Англии и во Франции, почему самые индустриальные страны мира — Англия и САСШ, говоря практически, не имеют вовсе никаких коммунистов, почему так и не состоялась мировая революция, почему мир стоит перед диктатурой буржуазии — на этот раз американской, — и почему нищета, голод, грязь и террор составили государственную монополию социалистического рая СССР, а не капиталистического ада Америки? И, наконец, почему социалистов Европы кормят капиталисты Америки?

На все эти вопросы «наука» нам не отвечает и ответить не может, не идя на свое кастовое самоубийство. Русская «наука» не может ответить нам на вопросы о судьбах нашей страны вообще и о приходе революции в частности. Ибо ответить — это значит признаться в том, что она, «наука», нам врала сознательно, намеренно и систематически. Еще больше, чем западноевропейская наука врала в Западной Европе.

***

Наш правящий и образованный слой, при Петре I оторвавшись от народа, через 100 лет такого отрыва окончательно потерял способность понимать что бы то ни было в России. И не приобрел особенно много способностей понимать что бы то ни было в Европе. И как только монархия кое-как восстановилась, и первый законный русский царь — Павел I — попытался поставить задачу борьбы с крепостным правом, русский правящий слой раскололся на две части: революцию и бюрократию. На дворянина с бомбой и дворянина с розгой. Чем дальше шел процесс освобождения страны, тем эти два лагеря действовали все с большей и большей свирепостью: дворянство, вооруженное розгой тянуло страну назад к дворянскому крепостному праву; дворянство, вооруженное бомбой, толкало страну вперед — к советскому крепостному праву. Дворянство розги опиралось на немецких управляющих, дворянство бомбы — на немецких Гегелей. Было забыто все: и национальное лицо, и национальные пути, и национальные интересы. Интеллигенция, которая перед самой революцией почти полностью совпадала с дворянством и которая целиком приняла обе части его наследства — бобчинскими и добчинскими, «петушком-петушком», бегая вприпрыжку за каждой иностранной хлестаковщиной, пока не прибежала в братские объятия ВЧК–ОГПУ–НКВД.

Нужно сознаться: это были вполне заслуженные объятия за столетнее блудословие. Интеллигенция (от латинского слова intellegere — понимать) должна была бы быть слоем людей, профессионально обязанных понимать хоть что-нибудь.

Но вместо какого бы то ни было понимания в ее уме свирепствовал кабак непрерывно меняющихся мод. Вольтерианство и гегелианство, Шеллинг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народовольчество, порнография и богоискательство — все это выло, прыгало, кривлялось на всех перекрестках русской интеллигентской действительности. Не было не только своего русского, но не было ничего и своего **личного**. Не было, конечно, и ничего национального. Третий Интернационал явился поэтому естественным и законным наследником потери национальной личности, как и философия материализма — таким же наследником потери личности вообще.

В силу всего этого мы, нынешнее поколение России, не знаем, в сущности, решительно ничего нужного. Мы потеряли свои пути и не нашли никаких чужих. Мы потеряли даже и часть своего языка и объясняемся переводами с французского на нижегородский — переводами, которые и в оригиналах обозначают неизвестно что. Мы заблудились в трех пошехонских соснах и разбиваем свои головы о каждую из них. Нас — поколение за поколением — «науки» снабжали фальшивым определением фактов, фальшивым освещением фактов и фальшивым подбором этих фактов. Всякая партийно-философская шпаргалка преподносилась нам в виде науки — в виде твердого научного знания. И наши головы переполнены вздором, ни к какой действительности не имеющим никакого отношения.

Переобучение русской интеллигенции надо бы начать с самого простого обезвздоривания. Первые и самые важные шаги в этом направлении сделала Чрезвычайка. Но и этого все-таки недостаточно: удар дубиной по черепу может иногда иметь отрезвляющее значение, но не следует преувеличивать его культурно-просветительную роль. Нас много лет подряд бьют по черепу. Мы чувствуем: это очень больно. Но мы не знаем, откуда обрушились на нас эти удары. И еще менее — как с ними покончить.

Проф. Виппер не совсем прав: современные гуманитарные науки — это не только «богословская схоластика и больше ничего», это нечто гораздо худшее: это есть обман. Это есть целая

коллекция обманных путевых сигналов, манящих нас в братские могилы голода и расстрелов, тифов и войн, внутреннего разорения и внешнего разгрома. «Наука» Дидро, Руссо, Д'Аламбера и пр. — уже закончила свой цикл: был голод, был террор, были войны и был внешний разгром Франции в 1814, в 1871, в 1940 годах. Наука Гегеля, Моммзена, Ницше и Розенберга тоже закончила свой цикл: был террор, были войны, был голод и был разгром 1918 и 1945 годов. Наука Чернышевских, Лавровых, Михайловских, Милюковых и Лениных всего цикла еще не прошла: есть голод, есть террор, были войны — и внутренние и внешние, но разгром еще придет: неизбежный и неотвратимый, — еще одна плата за философское словоблудие 200 лет, за болотные огоньки, зажженные нашими властителями дум над самыми гнилыми местами реального исторического болота.

Мы находимся в более трагическом положении, чем были наши предки времен татарской орды. Там, по крайней мере, все было ясно, как все или почти все было ясно и в годы немецкой орды: пришли чужеземцы нас резать — мы должны вырезать их. Сейчас — ничто не ясно. Где друг и где враг, где трясина и где кочка, как дошли мы до жизни такой и как нам из нее выкарабкаться с наименьшими потерями русских жизней и русского достояния? Без потерь мы все равно не выберемся никак. Всякий человек России — в том числе даже и те коммунисты, у которых еще остались мозги и еще осталась совесть — не могут не понимать: из счастливой, веселой, зажиточной и прочей жизни не вышло ни черта. И не видно конца: ни пятилеткам голода, ни планам террора, ни рабству, ни развалу. Даже и партийные вожди ни на один день своей жизни не гарантированы от пули в затылок. Даже и великая народная победа над Германией, освободив русский народ от террора немецкой чрезвычайки, не освободила его от террора своей собственной. Даже и немецкий грабеж русских полей оказался легче советского. Даже такие нищие страны, как Эстония или Польша, оказались богаче и сытее родины мировой революции — в этом русские Иваны смогли убедиться собственными глазами. Но никто из них и понятия не имеет — как это мы, житница Европы, до-

катились до жизни такой, почему мы, когда-то православный, дружественный народ, народ-Богоносец, стали предметом всемирного отвращения и ужаса, почему никто не бежал из армий капиталистических стран — а миллионы рабочих и крестьян бежали из социалистической? Почему 5 миллионов русских пленных только насилием были возвращены на свою родину? И, наконец, самое важное, — где же наш настоящий путь?

***

Победоносная философская система, угнездившаяся в России, сделала то же самое, что соответственные системы сделали во Франции и в Германии: отрезала «железным занавесом» свою страну и, в числе всяких иных монополий, установила свою собственную монополию вранья. Сквозь этот занавес не проникает никакое чужое вранье. Но не проникает и никакая правда. Врут агитпропы, врут отделы информации и пропаганды, врут газеты, врет литература — скрываются факты. Люди, не зная фактов, не могут иметь никакого представления о фактическом положении дел в мире и на родине. Врет статистика и врет «наука» — люди получают информацию, о которой с уверенностью можно сказать только одно: даже и статистика есть вранье. В 1937 году Советы произвели всенародную перепись — результаты ее опубликованы не были, а организаторы ее были расстреляны. Кто может поверить цифрам, опубликованным после расстрелов, и кто может сказать: какое количество людей осталось все-таки в живых после 20 лет социалистического опыта?

История русской общественной мысли на своей родине померла совсем. Жалеть об этом не стоит: туда ей и дорога; она потонула в той кровавой яме, в какую толкнула нас всех. Но — истинно Божиим попущением — часть гигантов русской общественной мысли, властителей русских интеллигентских дум, пожирателей иностранных философских цитат — ухитрилась все-таки сбежать за границу. Наивные люди, — и я в свое время был в их числе, — могли бы предположить, что гиганты мысли,

кое-как омыв разбитые свои лбы, постараются кое-как вправить вывихнутые свои мозги. И что они, специалисты и профессора, философы и историки, деятели и политики, сообразят все-таки: так как же все это случилось, и как великая и бескровная, которую они же готовили 100 лет подряд, оказалась и мелкой и кровавой, мстительной и злобной, голодной и вшивой. И дадут нам всем профессионально добросовестный совет: как, по крайней мере, не влипнуть в такую же дыру и еще раз.

Но ничего этого не случилось. Духовные отцы революции, сбежав в эмиграцию, пишут мемуары. Каждый Иванов Седьмой доказывает черным по белому, что все предыдущие Ивановы, от Первого до Шестого включительно, были дураками и прохвостами, и только один он, Иванов Седьмой, был умником. И что если бы революция послушалась именно его, Иванова Седьмого, и остановилась бы на ступеньке номер семь, заранее указанной им, Ивановым Седьмым, то все было бы вполне благополучно. Но все испортили остальные Ивановы и остальные ступеньки. Выдумать что-нибудь глупее было бы затруднительно.

Но и эти Ивановы меняют свои философии и свои порядковые номера. Приведу истинно классический пример. Профессор Бердяев начал свою общественную карьеру проповедью марксизма и революции. Потом он — еще в 1910 году — «сменил вехи» и стал чем-то вроде буржуазного либерала. Потом он сбежал заграницу и стал там «черной сотней». Потом из «черной сотни» перешел в богоискательство. Потом из богоискательства перекочевал на сталинский патриотизм. Я не знаю, куда успеет он перекочевать завтра. И об какую ступеньку он ахнется своей убеленною хроническим катаром головой. Трагедия заключается в том, что все эти бердяевы, многоликие и многотомные, только повторяют свои старые, привычные пути: накидываются на любую цитату, лишь бы она была новой или казалась новой, глотают ее, не пережевывая, и извергают непереваренной, остаются вечно голодными и со всех ног скачут по философским пастбищам Европы, подбирая каждый репейник и кувыркаясь через каждый ухаб.

Совершенно ясно: бердяевы никогда и ничего не понимали, ибо всегда их вчерашнее понимание назавтра оказывалось **вздором даже и для них самих**. А завтрашнее окажется вздором послезавтра. Совершенно ясно, что ни вчера, ни сегодня у всех них не было за душой ни копейки своего, личного, органического, крепкого: все это были дыры в пустоту, кое-как заткнутые пестрыми тряпками из первой попавшейся сорной кучи. Они, правда, хитренькие: они зовут людей возвращаться в СССР — но сами туда не едут. И из всех политических течений современности они избирают то, какое в данный момент платит максимальные гонорары. Так действовала и старая русская интеллигенция вообще: была, конечно, великомученицей, но получала самые крупные гонорары во всем тогдашнем мире. Призывала к жертвам, но отдавала в жертву молодежь, «безусых энтузиастов». Безусые энтузиасты в 1905 году шли на виселицу, а в 1945 — на возвращение в СССР, что то же самое. На этой молодежи властители дум делали деньги в 1905 году — и делали в 1945, правда, в 1945 гораздо меньше, чем в 1905.

Эта интеллигенция — книжная, философствующая и блудливая, — слава Богу, почти истреблена. Но, к сожалению, истреблена не вся. Она отравляла наше сознание 100 лет подряд, продолжает отравлять и сейчас. Она ничего не понимала 100 лет назад, ничего не понимает и сейчас. Она есть исторический результат полного разрыва между образованным слоем нации и народной массой. И полной потери какого бы то ни было исторического чутья. Она, эта интеллигенция, почти истреблена. Но «дело ее еще живо», как принято говорить в таких исторических случаях: гной ее мышления еще будет отравлять мозги и будущих поколений. И ее конвульсивные прыжки от Маркса к Христу и от Христа снова к Сталину будут еще вызывать подражание в тех юных профессорах, которые идут на смену повешенным и повесившимся. Сифилис заразителен. Но точно так же была заразительна пляска Св. Витта: начинает дергаться одна истеричка, и за ней дергаются тысячи. Начинает «менять вехи» один Бердяй Булгакович, за ним извиваются и остальные. Со всем этим мы покончим еще очень нескоро.

Ибо если ничему не научила даже и Чрезвычайка, то что еще может научить людей, вся духовная мощь которых сконцентрирована в их органах усидчивости?

***

Эта книга посвящена познанию русского народа и его трагической судьбы. Ни один из выживших народов мира такой трагической судьбы не имел. Россия только-только начала строить свою Киевскую Русь — и влипла в татарское рабство. Сбросив его, Россия только-только начала строить свою московскую демократию — и влипла в петровское крепостное рабство. Сбросив его, только-только начала восстанавливать свою национальную культуру, свою, на этот раз не очень национальную, демократию и влипла в советское рабство. По нашей земле проходили величайшие нашествия мировой истории: татарские, польские, французские и два немецких. До разгрома татарских орд нас в среднем жгли дотла по разу лет в 20–30. Потом по разу, лет в 50–100: два нашествия немцев в начале XX века, одно французское в начале XIX, одно шведское в начале XVIII, одно польское в начале XVII, не считая таких «мелочей», как Крымская и Японская война. Мы создали самую крупную государственность мировой истории, и мы сейчас являемся самым бедным народом в мире: беднее нас на всей земле нет никого, даже эскимосы на Аляске и готтентоты Южной Африки живут лучше, чем живем мы: они не голодают и их не расстреливают. У них есть их собственное жилье и над ними стоит суд, без которого нельзя посадить ни на один день никакого бушмена. У нас нет ни жилья, ни суда. У очень многих из нас нет даже и родины.

В мире есть люди умные и есть люди глупые. Дурак, попадая в дурацкое положение, будет винить всех, кроме себя: все виноваты, все подвели, обманули, ограбили, изнасиловали. Это будет дурацкой реакцией на дурацкое положение: ибо всех изменить нельзя. Но можно постараться учесть всех и в следующий раз постараться в дурацкое положение не попадать.

Бердяи разных разновидностей ищут разных объяснений, кроме, разумеется, самих себя. В зависимости от высоты гонораров, ищут вину: в евреях, в немцах, в некультурности масс, в наследии проклятого царского режима, в изуверстве большевиков, в таинственной славянской душе, в еще более таинственной исторической стихии и, наконец, даже и в Диаволе — в самом настоящем, всамделишнем Диаволе, хотя и без рожек и хвоста, но в Диаволе. И советская власть так и именуется «сатанинской властью» — именуется теми людьми, которые еще лет 30–40 тому назад визжали от восторга при каждом наступательном шаге великой и бескровной.

Семьсот лет тому назад, под татарскими ордами — было тяжело, но было ясно: нужно бить татар. Как — это уже другой вопрос, вопрос тактики. Сейчас неясно и это: нужно ли бить большевиков, и нужно ли бить их всех. Есть ведь и в компартии люди, попавшие, как кур во щи. Есть ведь и в советских завоеваниях и оккупациях какие-то русские интересы. Война с татарами и немцами была войной одного фронта: **всякий** татарин и **всякий** немец были врагами. Здесь война прорезывает почти каждую семью. Путается все. Все запутано в прошлом, все перепутано в настоящем и ничто не ясно в будущем: так что же мы должны делать после большевиков? Восстанавливать монархию Николая II или Алексея Михайловича? Республику по новгородскому или по керенскому образцу? Какой-нибудь вариант советской власти по бухаринскому или по солидаристскому рецепту? Или совсем просто протянуть свои окостенелые руки к каким-то новым варягам: земля наша велика и обильна, а мозгов у ней нет, придите уж как-нибудь княжить нами? Не то — снова вернутся бердяи и снова все начнется сначала. И снова вам, буржуям, придется давать милостыню нам, пролетариям — как давала АРА в 1921–1922 и УНРРА в 1945–1946 годах. Ведь давала же. Интересно было бы, кстати, выяснить — дали ли бы сытые пролетарии хоть кусок хлеба голодающим буржуям, если бы каким-то чудом голод был в буржуазных странах, а сытость в социалистических? Думаю, не дали бы ни куска. И самое большее, на что можно было бы рассчитывать, это на кусок свинца...

***

Итак: была у нас «теория науки». Были «властители дум». Была родина. Все это исчезло. Но остались старые привычки мышления, приведшие нас в дыру, старые термины, ничего не обозначающие, старое вранье, въевшееся в сознание каждого из нас и — в полных и неполных собраниях сочинений, — остались коллекции разрозненных фактов, в каждом сочинении стасованных на потребу данной политической программы, освещенных ярким светом самой современной философии — разной для каждой программы, и над коммунистическими подвалами от Риги до Владивостока протянулся завершительный лозунг всего этого: «бытие определяет сознание».

БЫТИЕ И СОЗНАНИЕ

Эта книга посвящена познанию русского народа. Познание всякой личности — индивидуальной или коллективной — предполагает прежде всего существование этой личности — **иначе и познавать нечего**. Предполагает существование некоего духовного «я», отличающего каждую данную личность от каждой другой. Это внутреннее «я» дается рождением — и о его происхождении мы не знаем ничего: амеба родится амебой, бушмен — бушменом и немец — немцем. Амеба, правда, осталась неизменной в течение миллионов лет; бушмен не меняется в течение тысяч; немцы, попадая в другую среду, обстановку и традицию, меняются через одно поколение. Но немцы в массе тоже не меняются. В XX веке они действуют точно так же, как действовали в IV.

О внутреннем «я» каждого человека мы кое-что можем узнать из его поступков, только по его внешним проявлениям. Единственное, что мы можем проследить с большей или меньшей достоверностью — это реакция данной личности на окружающую действительность. Мы не можем сказать: **почему** юный Михаил Ломоносов, вместо того, чтобы мирно ловить

рыбу на Северной Двине, пошел в Москву учиться. Мы не знаем, **почему** Эдисону захотелось изобретать или Пушкину писать стихи. В жизни почти каждого человека есть определяющая его доминанта, господствующая черта ума, характера, воли и Бог знает чего еще.

Материализм говорит: бытие определяет сознание, т.е. данная среда — физическая и общественная — формирует из сырой глины небытия данную человеческую личность с ее капиталистически хищным носом или с ее социалистической святостью души. Эта точка зрения почти целиком совпадает с философским детерминизмом, который принципиально отвергает свободу воли, ибо воля, как и все в мире, подчинена железному закону причинности.

Вопросы о свободе или несвободе воли, о причине всех причин, о курице и яйце принадлежат, я боюсь, к числу тех вопросов, для решения которых емкость нашей черепной коробки явственно недостаточна. Мы не можем представить себе ни конца, ни бесконечности. Проф. Эйнштейн утверждал, что его теорию относительности более или менее понимает только десяток самых крупных математиков современности, остальные не понимают вообще ничего. Вся сумма современных наук, имеющих дело с человеческой психикой, понимает в ней никак не больше чем 5 тысяч лет тому назад понимала Библия: по крайней мере, ничего более умного с тех пор не написано. Величайшие умы современности на основе самой современной теории науки давали нам всем самые научные предсказания самого ближайшего будущего, и на другой же день в с е эти предсказания проваливались самым скандальным образом. Но есть, конечно, философские утверждения, которые провалиться не могут, ибо они не весят ничего: воздушные замки. Куда может провалиться воздушный замок? Или как можно решить проблему курицы и яйца?

Христианство — в его православном варианте — исходит из принципа свободы человеческой воли. Жизнь решает вопрос в православном смысле: семья и государственность, воспитание и право, мораль и быт — все основано на аксиоме о свободе человеческой воли.

Православная точка зрения на этот вопрос точно также недоказуема, как недоказуемы и аксиомы Эвклида. Но, может быть, можно доказать, так сказать, внефилософским путем? Вот на основании эвклидовских аксиом построен мост. И по этому мосту проходят тысячетонные поезда. Мост, может быть, и несовершенен, но он стоит. Есть и неэквлидовские геометрии — геометрия Лобачевского и Римана. Эти геометрии отвергают недоказуемую аксиому о параллельных линиях. Но никто еще не пытался построить мост на основе геометрии Лобачевского или Римана.

Спор о свободе или несвободе воли — это чистокровная схоластика, совершенно такая же, как средневековые споры о том, сколько чертей может уместиться на острие иглы или что будет содержаться в кишечнике людей после их воскрешения в раю. Такого рода споры в свое время велись совершенно всерьез. Когда я перелистываю философскую литературу современности, мне так и мерещится статистика чертей, уместившихся в кишечниках пролетариев, воскресающих для социалистического рая.

В математике у нас есть аксиомы Эвклида: более умного пока еще никто не выдумал ничего. В общественной жизни у нас есть аксиомы десяти заповедей: более умного тоже еще никто не выдумал ничего. Никакой дурак не станет строить мост по Лобачевскому, но все философы предлагают нам перестраивать нашу жизнь по Руссо, Гегелю, Марксу, Толстому. Все поезда, пущенные по этим мостам, проваливаются в кровавую пропасть. Царская Россия и буржуазная Америка строили свои дома на основе геометрии десяти заповедей. Эти дома не были райским житьем — но они стояли. Франция Робеспьера, Россия Ленина и Германия Гитлера пытались построить без десяти заповедей: на основах самых современных научных теорий Руссо, Маркса и Гегеля. Все это провалилось.

И эвклидовские, и лобачевские аксиомы недоказуемы и потому неопровержимы. Теории Руссо, Гегеля и Маркса так же трудно опровергнуть, как и доказать, если идти путями философии, схоластики и вообще «теории». Как трудно доказать

или опровергнуть 10 заповедей, свободу воли или «дух и материю». Но все это оказывается до нелепости просто, если вы вникните во **всякую** философию, **всякую** схоластику и **всякую** теорию, и если вы вооружитесь просто здравым смыслом — простым презренным здравым смыслом профанов, средних людей, нормальных людей, мозги которых не заморочены никакой философией в мире.

О французской революции написано, говорят, 200 тысяч томов. Прочесть их все не может никто. Если бы вы смогли прочесть только 20 тысяч, то и это было бы ни к чему: вы обогатили бы ваш ум 20 тысячами различных точек зрения. Но если вы отбросите все эти 20 тысяч и возьметесь за самые очевидные факты, то вы увидите, что в результате революции, Франция, занимавшая раньше первое место в мире по богатству, культуре, политической мощи и прочему, скатываясь с одной революционной ступеньки на другую, докатилась сейчас до положения страны третьего сорта, и ее население с 20 процентов всего населения Европы сошло до 8 процентов. Страна вырождается экономически, политически и даже физически. Какие-то 200 тысяч томов будут написаны о германской революции. Какие-то сотни тысяч — о русской. Никто их прочесть не сможет. Но и без всех них совершенно ясно: царская Россия раем, конечно, не была, но она не была и каторгой. Социалистическая революция обещала рай и устроила хуже, чем каторгу, — на каторге людей по крайней мере кормили. И не расстреливали без суда.

Примерно также — с точки зрения банального здравого смысла — можно решить и вопрос о «бытии и сознании» Если бы мы, например, говорили о некоем сообществе телеграфных столбов, то мы должны были бы придти к философскому заключению, что их бытие или небытие к их сознанию не имеет ровно никакого отношения. Но нас интересует сообщество людей, а у людей сознание решает все. Человек, как полноценная человеческая личность, существует лишь постольку, поскольку существует его сознание. Сумасшедший, пьяный, горячечный ребенок не являются полноценными людьми, ибо

их сознание нарушено, ущемлено или недоразвито. Калека без рук и без ног, но с ненарушенным сознанием является юридически полноправной и полноценной человеческой личностью, как и всякий, имеющий полную коллекцию своих конечностей. Человек, потерявший свое сознание навсегда, становится просто-напросто покойником.

Бытие человека определяется его сознанием. Нет сознания — нет и человека. Неполное сознание — неполный человек. Кончено сознание — кончен человек.

Бытие человека определяется только его сознанием и больше ничем. Жизненный путь человека определяется тем, что именно есть в сознании этого человека: его характер, воля, знание, способности, таланты и пр. Михайло Ломоносов стал Ломоносовым вовсе не потому, что он родился в Холмогорах, как Ульянов стал Лениным не потому, что он родился в Симбирске, семинарское образование товарища Сталина не имело никакого отношения к его революционной карьере, как аристократическое происхождение князей Кропоткиных не имело никакого отношения к тому, что Кропоткин стал лидером мирового анархизма.

Если вы просто оглянетесь вокруг вас самих, то вы без всяких теорий и философий увидите, что судьбы людей определяются их сознанием. Есть люди уживчивые и неуживчивые, работящие и лодыри, способные и бездарные, есть энергичные и вялые, есть умелые и неумелые, есть люди, у которых все «спорится», и есть люди, у которых все «из рук валится». Все это вместе взятое в конце концов определяет судьбу человека в семье, в окружении, на работе, в обществе и даже в человечестве. Основную массу населения всякой современной страны составляют средние рабочие и крестьяне — квалифицированные рабочие и хозяйственные крестьяне, люди со средними способностями и пр. Над ними идет слой работников умственного труда, под ними слой неквалифицированных рабочих и бесхозяйственных крестьян. Еще ниже, или — вернее — как-то в стороне, имеется прослойка неудачников всех классов и всех профессий, вот тех, которые в первую голову прут во всякую революцию: пропившиеся помещики, разорившиеся

лавочники, неудачные адвокаты, спившиеся рабочие. Именно тот слой людей, которые делают революцию: неудачники, недоноски и отбросы.

С точки зрения материализма вообще, а марксизма — в частности, непонятна ни разница в судьбах отдельных людей, ни разница в судьбах отдельных народов. В самом деле: почему все князья Кропоткины были как князья — служили, получали чины и пр. — два брата, Александр и Петр Алекеевичи, пошли в революцию: первый застрелился в ссылке, второй стал отцом русского анархизма. Почему графы Толстые были как графы, служили, получали чины и числились в рядах крайних реакционеров, а Лев Толстой начал проповедовать свой псевдохристианский анархизм? Почему сверстники Михайлы Ломоносова так до конца дней своих ловили и возили рыбу, не стремясь ни к каким наукам и академиям? Почему из миллионов людей один рождается гением, несколько — талантами, большинство — средне-разумными людьми и какое-то меньшинство — неудачниками, несмышленышами, лодырями или идиотами? И почему у разных народов эти проценты распределены столь неравномерно?

Ничего этого мы не знаем. И, если и узнаем, то, вероятно, очень нескоро. Всякая же «наука», приноровленная для нищих мозгами людей, должна дать хоть глупый, но зато окончательный ответ. Материализм его и дает: глупо, но просто. Тот факт, что этот ответ находится в самом зияющем противоречии с самыми общедоступными и общеизвестными фактами, никакой роли не играет: простецы фактов не знают и ими не интересуются. Но они есть «рынок». «Рынок» предъявляет массовый спрос на дешевую идеологию, и материализм в его копеечных брошюрах дает простецам конечную уверенность в том, что кроме там некоторых технических деталей, вот вроде проблемы разложения атома, никаких тайн в мире нет, что все дешево, просто и вполне общедоступно, что «бытие определяет сознание», или, как еще определеннее выражался Бюхнер, — «человек есть то, что он ест». Исследуйте его пищу и вы найдете ответ на вопрос о его дарованиях.

В переводе на язык истории это означает: определите климат страны, ее ресурсы, ее торговые пути и пр. — и вы получите ответ на вопрос о ее успехах или неуспехах... Торговая Италия эпохи Возрождения торговала примерно так же, как сегодняшняя Англия, но она дала миру ряд первоклассных художественных гениев, — Англия не дала ни одного. За исключением литературы, у Англии никакого искусства нет: нет ни скульптуры, ни живописи, ни музыки. Но, подвизаясь на поприще торговли и искусств, Италия проявила совершенно потрясающую государственную бездарность: веками и веками она жила под чужим игом, на ее земле разыгралась комедия «Священной Римской империи германской нации», ее освободили из-под австрийского ига чужие штыки (Наполеон III), и, быть может, позднейшая история Италии объясняет все это чрезвычайно простым способом: итальянцы — трусы. И Первая и Вторая абиссинские войны, и Первая и Вторая мировые войны показали с полной очевидностью: итальянцы не любят стрельбы, она действует на их артистические нервы. Страна с 45 миллионами населения, с крупной промышленностью, в том числе и военной, с первоклассной (технически) авиацией и подводным флотом... И — что? Когда девять германских парашютистов спустились спасать арестованного королем Муссолини от нескольких сотен карабинеров, карабинеры только и нашли в себе мужества, что орать: «Не стреляйте, не стреляйте!». Муссолини был освобожден без единого выстрела: трагический утопист, пытавшийся сегодняшних паяцов и актеров превратить во вчерашних римлян и воинов.

Но современная история дает нам еще более яркие примеры. В нашу эпоху, в наших экономических, климатических, культурных и прочих условиях живут два народа: цыгане и евреи. Цыгане проходят сквозь нас, как привидение сквозь стену: они кочуют то на возах в России, то на лодках — в Норвегии, то на “фордах” — в Америке, и ни наша культура, ни наша государственность, ни наши деньги, ни наш капитализм, ни наш социализм не интересуют их ни в какой степени — им плевать. Они воруют, колдуют, ворожат и мастерят, но прежде всего кочуют: им, видите ли, так нравится. Чем же это объяснить? Материальными услови-

ями их бытия? Или духовными условиями их сознания? Той «прибавочной ценностью», из-за дележа которой так свирепо дерутся капиталисты и социалисты всех стран, цыган не интересует никак: что-то спер, поел, и — езжай дальше. Текущие счета в капиталистических и социалистических банках созданы не для них.

Примерно так же проходит через нашу эпоху и нашу культуру еврейство, сохраняя те же навыки и ту же форму носа, которые записаны и зарисованы в египетских иероглифах. Они не смешиваются с народами, среди которых живут уже столетиями и тысячелетиями, и считают себя, — даже самые коммунистические из них, — носителями иудейской религиозной идеи: построения окончательного царства Божия на земле. За все столетия своего рассеяния, несмотря на все притеснения со стороны народов-хозяев, они ни разу не сделали даже и попытки организовать собственную государственность. За те столетия и тысячелетия, в течение которых сотни народов смешались с другими сотнями народов, создали новые расы, например, русскую и англосаксонскую, евреи остались в стороне и во внутренней изоляции. Почему?

Почему мусульманская культура арабов дала ряд выдающихся ученых и философов? Почему Оттоманская империя в века своего величайшего военного и экономического могущества не дала ровным счетом ничего? Почему такими неудачными оказались все попытки германизма построить империю? И почему Россия — при всей ее технической отсталости и «географической обездоленности» — построила величайшую в истории мира государственность?

Обо всем этом мы не знаем ровным счетом ничего. И этот ответ будет **честным** ответом. Все остальное будет спекуляцией на науке, на научности, на массе простецов, жаждущих хотя бы копеечной, но окончательной истины.

ИНСТИНКТ

Но если мы не знаем **почему**, то на вопрос **как** мы можем дать более или менее точный ответ. Если бы мы спросили две-

надцатилетнего Ломоносова, Эдисона и Репина — почему они стремятся к науке, технике и живописи, то ни один из этих мальчиков никакого вразумительного ответа не дал бы. Едва ли он смог бы дать этот ответ и в более поздние годы: гений человека, как и гений народа, рождается из неизвестных нам источников, как родилась гениальность древней Эллады или бездарность современной Греции. Но, проследив биографию отдельного человека или историю отдельного народа, мы можем установить некоторую сумму постоянно действующих качеств: доминанту отдельной личности; характер личности индивидуальной и дух личности коллективной. И я буду утверждать, что основным слагаемым этой доминанты является **инстинкт**, — и у человека, и у народа.

Мы, в сущности, все воспитаны на философии французских и немецких сеятелей разумного, доброго, вечного — на энциклопедистах конца XVIII века и на натурфилософах середины XIX, говоря суммарно, на Дидеротах и Бюхнерах. Это, к сожалению, даром не проходит. И от наследия материалистической и рационалистической философии не так легко отделаться даже в нашу эпоху, столь бурно пожинающую плоды, посеянные этими сеятелями. Рационалистические сеятели сконструировали некий рассудочный мир, на современной вершине которого торчит Чрезвычайка, расстрелами планирующая рационально устроенную человеческую жизнь. Было сконструировано и чисто рассудочное понятие механической справедливости, распространяющееся на всю двуногую вселенную: этакая всемирная уравниловка, по карточкам распределяющая всяческие моральные и материальные блага. Необычайная сложность человеческого мира была сплющена до толщины листа газетной бумаги, на одной стороне которого значится: «время есть деньги», а на другой «бытие определяет сознание». Не нужно большой проницательности, чтобы уловить родственность этих двух лозунгов: капиталистического и коммунистического. Оба они утверждают приоритет материальных ценностей, ни слова не говоря о том, так для чего же эти ценности нужны? И какими мотивами руководится человек,

создавая и накопляя эти ценности? Только голодом? Это будет правильно для мира животных, но ведь животные никаких ценностей не накопляют и время на деньги не меряют. Продовольственных ценностей не накопляют и дикари — они копят украшения. И чем больше человеческая жизнь подымается от готтентотского уровня до современности, тем меньшее и меньшее значение приобретает удовлетворение материальных нужд.

Является ли радио удовлетворением материальной нужды? А книги, картины, цветы, вино, мундир военного, ряса священника или смокинг штатского? Человек каменного века удовлетворял свои материальные потребности никак не хуже, чем наши современники: он жрал сырое мясо не по карточкам, и одевался в звериные шкуры, которые добывал тоже без очередей. Были, правда, тигры — не бронированные, а обыкновенные. Намного ли лучше нынешние бронированные? Пророки распределения материальных ценностей довели нас до того, что и распределять ничего не осталось, а организация механической справедливости привела к такому размножению всяческих чрезвычаек, что мир пещерных людей и пещерных тигров может нам показаться раем благоустроения и безопасности, — об атомной бомбе я уж не говорю...

Предположение, что человек работает, страдает, борется, добивается и прочее только во имя «материальных ценностей» — есть **глупое предположение**. Культурный мир начала XX столетия был сыт вполне, это не избавило его ни от войн, ни от революций. Человек, выйдя за пределы биологического голодания, когда действительно забота о пище заслоняет все остальное, начинает работать для того, чтобы быть сытее, сильнее, умнее, красивее остальных людей, — и **это и есть главный мотив человеческой деятельности**. Если бы все молодые люди, ныне прыгающие в длину и в вышину, с разбега и даже без оного каким-то чудесным образом пришли к одинаковому и обязательному для всех рекорду — атлетика перестала бы существовать. Юноша, занимающийся легкой атлетикой, тренируется вовсе не для того, чтобы просто хорошо прыгать, а для того, чтобы прыгать **лучше** остальных, а по возможнос-

ти и лучше всех остальных в мире. Барон Ротшильд или мистер Морган нагромождают новые миллиарды на кучу старых вовсе не потому, что Ротшильдам, Морганам и прочим не хватает жиров, штанов, витаминов или жилья: они тоже ставят рекорд. Товарищ Сталин вырезал Бухариных и Тухачевских вовсе не потому, что они угрожали сумме материальных благ, нужных сталинскому материальному бытию, а потому, что мировой рекорд гениальности Сталин хотел оставить за собой. НЕ из-за материальных благ Толстой писал свою «Войну и мир», и не из-за материальных благ русские революционеры шли на каторгу и виселицу.

Человек хочет быть сильнее, умнее, красивее ближнего своего. Или, по крайней мере, — **казаться** сильнее, умнее и красивее. Если бы этого не было, прекратился бы всякий прогресс не только в мире человека, но и в мире животных. Борьба за самку, дающая перевес не только сильнейшему, но и красивейшему (брачное оперение у птиц) неустранимым биологическим путем перешла и в человеческое общество, конечно, в неизмеримо более сложном виде, чем она действует в животном мире. Материалистическое мировоззрение проворонило эту борьбу начисто. Оно проворонило половой инстинкт во всех его видах. Оно изобразило человека бесполым существом, все потребности которого принципиально ограничены материальными благами, и все заботы — приобретением и еще более распределением этих материальных благ.

Юноша и девушка, целующиеся при свете луны или без света луны, вовсе не собираются поставлять будущему человечеству будущих пролетариев или будущей родине будущих солдат. Они действуют под влиянием того же инстинкта, который заставляет кету подыматься к верховьям Амура и там гибнуть, отдавая свою жизнь продолжению рыбьего рода. Нося, рожая и воспитывая ребенка, мать вовсе не задается вопросом о будущих наследниках и собственниках родительского имущества. Кстати, наибольшее количество детей имеют те слои населения, которые никому никакого наследства оставить не могут, ибо и сами ничего не имеют — беднейшие слои стра-

ны. Люди строят семью, повинуясь древнейшему и могущественнейшему из инстинктов. Но точно таким же образом, чисто инстинктивно, люди строят свое государство.

Если у человека не работает или работает плохо половой инстинкт, он ни при каких условиях семьи не создаст. Если половой инстинкт находится в порядке, то семья будет создана даже в самых невероятных условиях, как она была восстановлена в поистине невероятных условиях советской жизни. Если у народа не действует государственный инстинкт, то ни при каких географических, климатических и прочих условиях этот народ государства не создаст. Если народ обладает государственным инстинктом, то государство будет создано **вопреки** географии, **вопреки** климату и, если хотите, то даже и **вопреки** истории. Так было создано русское государство.

Эллинские философы вели друг с другом бесконечные дискуссии и строили свои философские системы, вовсе не имея в виду утверждать в будущих веках славу эллинского гения и снабжать гимназистов XX века материалами для школьной логики. Римский мужик, завоевавший сначала Лациум, потом Италию, потом Галлию, понятия не имел о том, что он строит будущую мировую империю Рима. Русские землепроходцы и английские торговцы, пробравшиеся к Берингову проливу или к Новой Зеландии, совершенно не имели в виду стройки Российской или Великобританской империи: обе эти империи явились автоматически результатом многовековой работы миллионов людей, имен которых мы не узнаем никогда. Рассудочные попытки, не имевшие опоры в народном инстинкте, проваливались и теперь проваливаются с совершенно исключительной последовательностью. В результате французских энциклопедистов Франция, вместо того, чтобы освободить от тиранов все человечество, разгромила собственную империю и привела «тиранов» в Париж, где «тираны» и продиктовали потомкам Дидерота и Руссо свою державную волю. Германская философия до точки, до мельчайших подробностей разработала теорию государства и власти, теорию «воли к власти» и права на власть, и результатом этого был первый Вер-

сальский мир, который был очень плох, и другой Версальский мир, который оказался намного хуже первого.

Вопросу о философии, о социализме и о практических результатах и той и другого я посвятил отдельную книгу[2], она может быть попадется на глаза читателю этой книги. А может быть, и не попадется, времена теперь социалистические. Во всяком случае, в данной работе темы о философии и о социализме я могу коснуться только мельком. Моя тема сейчас — это стройка русской государственности. И я хочу на самых простых практических примерах, лишенных какого бы то ни было теоретического обоснования, показать, как в аналогичных случаях действовали немцы и как действовали русские, и почему в одном случае получилась Российскаяи империя, а в другом — хронический Версаль — то мир Вестфальский, то мир Версальский.

БЛИЖАЙШИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Пример номер один. — Приблизительно в IV веке нашей эры почти всю внешнюю Европейскую Россию занимала так называемая готская империя — империя германского племени готов. На нее, как впоследствии на Киевскую и Московскую Русь, хлынули азиатские орды гуннов. Империя была разбита. Готы подчинились гуннам и в составе их орд пошли завоевывать Европу. Те жалкие остатки державного готского племени, которые уцелели после всего этого, через почти полторы тысячи лет обратились к русскому правительству с просьбой разрешить им поселиться на территории их бывшей империи. Это разрешение они получили и основали города Мариуполь и Армавир.

Русь также была разбита степными ордами. Но никуда не пошла, зарылась в суздальские леса и начала борьбу «всерьез и надолго» — очень всерьез и очень надолго. В результате этой борьбы монгольское население нынешнего СССР равняется только 1,7 процента всех остальных народов и племен империи.

[2] «Диктатура импотентов». Изд. «Наша страна». Буэнос-Айрес, 1949. — *Прим. авт.*

Пример номер два. — Куда бы ни приходили немцы, они автоматически организовывали феодальный строй — феодальный строй является типично немецким способом государственного строительства. Немцы разгромили Римскую империю и на ее развалинах создали путаную сеть королевств, баронств и даже республик. Они разгромили Византийскую империю, и она сейчас же была поделена на феодальные владения наиболее сильных или наиболее удачливых победителей. Та же судьба постигла Святую Землю — Палестину, в течение того очень короткого срока, когда крестоносцам удалось завладеть ею. Начав колонизовать Прибалтику, немцы сейчас же завели там свои старые порядки. Был Орден, были епископы, были бароны, у каждого из которых была своя баронская фантазия, свои замки и своя власть. Было купечество, которое воевало и против Ордена, и против епископов, и епископы, которые воевали и против купечества, и против баронов. На низах стонала превращенная в скотское состояние побежденная масса, которая пыталась воевать и против Ордена, и против епископов, и против баронов, и против купечества. Эта пятисотлетняя война всех против всех была, наконец, прекращена русским завоеванием Прибалтики. До этого в своих феодальных распрях то Орден звал на помощь шведскую интервенцию, то епископы — датскую, то барон — польскую, то купечество — русскую. Страна систематически заливалась своей собственной кровью. Даже немецкие историки признают, что человеческая жизнь наступила только с завоеванием Прибалтики при Петре I.

Пример номер три. — Куда бы немцы ни приходили, они усаживались на плечи побежденного народа в свою собственную пользу. И каждый норовил обрубиться в свой собственный феод, отгородиться стенами замков и от побежденных, и от соплеменников, утвердить на своей территории свою волю и свои выгоды. Не забудем, что система внутринациональных феодальных войн была прекращена в Германии только в 1871 году. До этого германские государства воевали друг с другом на полный ход, и в каждой столице стояли памятники победителям над своим собственным народом. Возникали славные в Герма-

нии полководцы, которые во главе пятитысячных армий проделывали стоверстные походы и завоевывали территории, равные, скажем, одной десятой доброго русского уезда. Этим полководцам тоже стоят памятники.

Наши Строгановы уселись на Урале в сущности совершенно самодержавными владыками. У них были и свои финансы, и свое управление, и свои войска: поход Ермака Тимофеевича финансировали они. Но устраивать собственный феод им и в голову не приходило. Когда Василий Темный попал в плен к татарам, то Строгановы дали на выкуп 200 тысяч рублей, сумму по тем временам совершенно неслыханную.

В Смутное время Строгановы имели полную техническую возможность организовать на Урале собственное феодальное королевство, как это в аналогичных условиях сделал бы и делал на практике любой немецкий барон. Вместо этого Строгановы несли в помощь созданию центральной российской власти все, что могли: и деньги, и оружие, и войска.

Ермак Тимофеевич, забравшись в Кучумское царство, имел все объективные возможности обрубиться в своей собственной баронии и на всех остальных наплевать. Еще больше возможности имел Хабаров на Амуре, — как было бы добраться до него за 8 тысяч верст непроходимой тайги, если бы он обнаружил в себе желание завести собственную баронию, а в своих соратниках — понимание этого, для немцев само собою понятного желания. О Хабарове мы знаем мало. Но можно с полной уверенностью предположить, что если бы он такое желание возымел, то соратники его посмотрели бы на него просто как на сумасшедшего. Уральские люди, вероятно, точно так же посмотрели бы на Строгановых, если бы те вздумали действовать по западноевропейскому образцу. Так что поведение Строгановых и Хабаровых объясняется не только их собственными личными свойствами но и тем, что иные свойства не нашли бы решительно никакой поддержки: и уральские мужики, и амурские землепроходцы повесили бы и Строгановых и Хабаровых, если бы те вздумали играть в какую бы то ни было самостийность.

Немецкая система в русские мозги не укладывалась никак. Поэтому Строгановы «били челом» своими миллионами, Ермак — Сибирью, Хабаров — Амуром, и многие другие люди — многими другими достижениями, приобретениями и завоеваниями. Даже и те русские, которые ухитрились угнездиться в Северной Америке — в нынешней Аляске и Калифорнии, и те ни разу не пытались как бы то ни было отделиться, отгородиться от центральной русской власти и завести свою собственную баронию.

Пример номер четыре. — Иван Грозный взял Казань. Взятие Казани сопровождалось поистине страшной резней. Об этой резне русские историки говорить не любят. Психологические и исторические основания для этой резни были вполне достаточны. Казань была одним из звеньев монгольской работорговли за счет русского народа. Но вот Казань побеждена. Ее монгольское население включено в состав империи. Оно сохраняет все свои прежние права. Татарское дворянство остается дворянством — впоследствии татарский дворянин мог иметь, — и имел, — русских крепостных, как русский дворянин мог иметь, — и имел, — татарских крепостных. Бориса Годунова никто не попрекает его татарским происхождением. Так побежденный народ включается в общую судьбу империи — и в добре, и во зле, и в несчастье. И он становится частью империи. Если бы этого не было, то за время всех нашествий Россия раскололась бы уже десятки раз.

Германцы побеждают Рим — и римское население обращается в рабов. Германцы завоевывают Прибалтику — и ее население превращается в рабов. Гитлер идет «свергать большевизм» — и население оккупированных областей переживает то же, что переживали римляне в V веке и Балтика в XX. Германская «доминанта» не изменилась за полторы тысячи лет. Наша не изменилась за тысячу. «Империя Олега» фактически существовала уже в IX веке. Священная Римская империя германской нации не существовала никогда.

Это все довольно ясно и достаточно очевидно. В истории есть все-таки факты, которых замолчать не могут даже и исто-

рики. Но вот на фоне тысячелетней «удачи» русского строительства и полуторатысячелетних неудач немецкого подымается со своего седалища русский философ и глаголет: «У нас никогда не было идеологии государственной... Русский дух не может признать верховенства государственной идеи... Русским людям присущ своеобразный анархизм» (Николай Бердяев. Новое Средневековье, стр. 88).

Правда, другой из наших сеятелей — Николай Костомаров — утверждает как раз противоположное: наиболее характерными свойствами русской души он признает «стремление к воплощению государственного тела» и «практический материальный характер, которым вообще отличается сущность русской истории». Но, если посмотреть на «сущность русской истории» органами зрения, а не органами усидчивости, то будут совершенно ясны, по крайней мере, два факта: а) «государственное тело» оказалось «воплощенным» полнее, чем где бы то ни было и б) в процессе этого воплощения никаких материальных целей русский народ себе не ставил, если не считать материальной целью голую борьбу за свое физическое существование.

В мире меняется не так уж много: в конце первого тысячелетия после Рождества Христова русский народ точно так же боролся против печенегов Азии, как в конце второго — против печенегов Европы, и оба этих печенежских варианта ставили себе одни и те же цели: одни без Гегеля, другие — с Гегелем, но все-таки одни и те же цели. Никто и никогда не вел против России народной войны — и России всегда приходилось вставать на дыбы партизанщины и против печенегов Востока, и против печенегов Запада. Наши войны, по крайней мере большие войны, всегда имели характер химически чистой обороны. Так же, как германские — завоевания и английские — рынка. Не поэтому ли на трех языках термин «война» так близок терминам: «добыча» — в немецком (der Krieg — kriegen), «торговля» — в английском (the war and the ware), и бедствия — в русском (вой и война)? Все великие завоевания кончались на нашей территории — и нашей кровью. Завоеватели выигрывали мало, — но не так много выигрывали и мы. Однако все-таки больше.

СХЕМА НАШЕЙ ИСТОРИИ

Основная задача русской общественной мысли заключается в ее собственном обезвздоривании. Нужно как-то слезть с высот органов усидчивости, отбросить в сторону теории и мелочи, цитаты и философии, шпаргалку и моду и установить ряд крупных, решающих и очевидных фактов. Русская история, в сущности, очень проста — при всей ее трагичности. В самую раннюю, еще полумифическую эпоху русской государственности мы уже застаем позднейшую Россию в качестве огромного, многонационального, централизованного государства, охватывающего территорию от Финского залива почти до Черного моря — империю Рюриковичей, по Марксу. Эта империя вела чрезвычайно упорную и успешную борьбу с монгольской степью, пока западные влияния (Венгрия, Польша, отчасти и Германия) не внесли в среду правящего слоя элементов феодального разложения (уделы). Разложенная изнутри, Киевская Русь была разгромлена степью.

Ее лучшие элементы эмигрировали на север, в суздальские леса (как в 1917 году за границу), и там взялись за воссоздание демократической и монархической центральной власти. Социальную базу этого воссоздания составили народные низы северной Руси, мизинные люди по тогдашней терминологии. Наследники Боголюбского еще не успели закончить этого процесса, когда на Русь свалилось татарское нашествие. Князья были разбиты поодиночке, и из северных лесов, при постоянной поддержке народных низов, стала шириться новая — на этот раз московская, — монархическая власть. В объединительной работе Москвы низы всегда стояли на ее стороне. Наиболее яркий пример — отказ новгородской мизинной рати биться против московского войска и разгром Новгорода (битва при Шелони).

В беспримерных по тяжести условиях Русь снова была объединена и степь снова была разгромлена. Иван Грозный, продолжая политику своих предшественников и опираясь на народные низы, громит остатки удельной аристократии и за-

канчивает давно начатую при его предшественниках организацию широчайшего крестьянского самоуправления.

После Грозного Россия остается без династии. Остатки удельной аристократии предают выборного царя Бориса, организуют через подставного царевича Дмитрия — польскую интервенцию, осложненную внутренними неурядицами в стране. Страна, оставшаяся вовсе без правительства, импровизирует армию и власть, полностью ликвидирует и интервентов, и «воров». Тяглые (т.е. податные) мужики, заняв Москву, немедленно реставрируют наследственную царскую власть. За весь период Смутного времени, несмотря на анархию и разорение страны, — не возникло ни одного сепаратистского движения. При втором царе новой династии украинские низы, так же как раньше новгородские, переходят на сторону Москвы, ломая сопротивление своей аристократии (старшины). Польша терпит окончательное поражение и окончательно выбывает из состава решающих государств Европы. При Петре польскую попытку повторяет Швеция — и тоже навсегда уходит с европейской арены.

Но эпоха Петра вносит в историю России нечто принципиально новое. Петр громит московскую традицию, переносит правительственную базу в Петербург и умирает, не оставив после себя ни традиции, ни наследника. Почти на 100 лет Россия остается без монархии, ее место занимает власть случайных женщин на престоле. Правящий слой страны отъединяется от народа и культурно, и морально, освобождает себя от всех обязанностей по отношению к стране и утверждает крепостное право. Страна отвечает пугачевским восстанием. Но в тяжкую для России годину — в 1812 году — она забывает о дворянском крепостном праве, как в 1941 забыла о советском, чтобы сокрушить очередного врага.

Итак, на протяжении тысячи лет Россия последовательно разгромила величайшие военные могущества, какие только появлялись на европейской территории: монголов, Польшу, Швецию, Францию и Германию. Параллельно с этим рядом ударов была ликвидирована Турецкая империя. В результате этого процесса Россия, которая к началу княжения Ивана III в 1464

году охватывала территорию в 550 тысяч квадратных километров — в год его смерти — 1505 год — имела 2 миллиона 225 тысяч; в 1584 (год смерти Грозного) — 4 миллиона 200 тысяч; к концу царствования Феодора — 7 миллионов 100 тысяч; в 1613 (воцарение Михаила) — 8 миллионов 500 тысяч; в 1645 году — 12 миллионов 300 тысяч; до Петра — 15 миллионов 500 тысяч; к 1796 (год смерти Екатерины II) — 19 миллионов 300 тысяч, и к концу царствования Николая II — 21 миллион 800 тысяч квадратных километров.

Ее население по сравнению с главнейшими европейскими государствами росло так (в миллионах):

	1480	1580	1680	1780	1880	1895
Россия (только европейская)	2,1	4,3	12,6	26,8	84,5	110,0
Австрия	9,5	16,5	14,0	20,2	37,8	44,8
Англия (без колоний)	3,7	4,6	5,5	9,6	35,0	39,3
Франция (без колоний)	18,6	14,3	18,8	25,1	37,4	38,4
Италия	9,2	10,4	11,5	12,2	28,9	31,2
Испания	8,8	8,2	9,2	10,0	16,3	19,0

Так в течение веков рос народ и росла его территория.

Для объяснения этого роста было сконструировано несколько историко-политических теорий.

Первая. Русскому народу посчастливилось усесться на равнине, которая ничем не препятствовала ему растекаться по разным направлениям от его исходного пункта. Эта теория не дает ответа на ряд очень простых вопросов: а) почему на той же территории не удалось «растекаться» другим народам: хазарам, половцам, готам, болгарам, татарам, финско-угорским племенам и пр.? б) Почему, например, на ту же территорию не удалось растечься полякам, которые тоже около тысячи лет пробовали заняться колонизацией не только украинских степей но и центральной Руси? в) Эта теория совершенно упускает из виду, что, «растекаясь», русский народ перешел два горных хребта — Уральс-

кий и Кавказский — не говоря уже о Яблоновом и Становом, что он одно время перешел и через северный отрезок Тихого океана (наше продвижение на Аляску и в Калифорнию) и что растекание это вовсе не было таким простым и безболезненным, как это принимает наша неудачная геополитическая теория: за обладание берегами Балтийского и Черного морей страна вела многовековые и исключительно тяжелые войны.

Эта теория упускает из виду и еще одно обстоятельство: если русская равнина не ставила препятствий к растеканию русского племени, то она же не ставила препятствий и для иностранных нашествий. Начиная от полумифических обров и кончая розенберговским «Мифом XX века» сюда лезли все. И все пережили одну и ту же судьбу: окончательный и бесповоротный разгром.

Вторая. Пресловутая теория призвания варягов, возникшая — увы — на нашей собственной почве, впоследствии разрослась — в особенности в Германии — в целое учение, столь же простое, стройное и необременительное для серого вещества мозга, как и марксизм. Это — расистская теория. Подобно тому, как для марксиста избранным племенем является пролетариат — так для расизма им являются германцы, которые-де своим творческим гением оплодотворили пассивную славянскую расу и создали русскую государственность под германским руководством. Эта теория сыграла свою историческую роль — кровавую и тяжкую, в особенности для Германии. Но она не могла и не может ответить на очень простой вопрос: почему же государственно одаренная германская раса на своей собственной территории в создании собственного государственного единства лет на 400 отстала от России? И почему та же германская «нордическая» раса в ее самом химически чистом виде — в Швеции и в Норвегии — так и не смогла и до сих пор слиться в одно государственное образование?

Третья. Старая официальная теория утверждала, что русскую историю творило русское правительство — русские цари. В этой книге я стараюсь показать, как **Россия творила царей** — а не цари Россию. За тысячу лет у нас были удачные монархи

и были неудачные, — но страна росла и ширилась при всех них. Приведу такой пример: при совсем приличном по тем временам правительстве Александра I Россия справилась со всей Европой приблизительно в полгода. При исключительном по своей бездарности правительстве Петра I — на Швецию понадобился 21 год. Совсем без правительства в эпоху Смутного времени поляки были ликвидированы примерно в 6 лет. Следовательно, никак не отрицая огромной роли правительства, надо все-таки сказать, что это — величина производная и второстепенная. Решает страна. Правительство помогает (Александр I), портит (Петр I) или отсутствует вовсе (Смутное время), но решает не оно: решает народ. Однако народ решает не как физическая масса. Не как 200 миллионов людей — по пяти пудов в среднем — итого около миллиарда пудов живого веса, а как сумма индивидуальностей, объединенных не только общностью истории и географии, но и общностью известных психологических черт. И если в каждом отдельном человеке данные черты и не будут бросаться в глаза, как цвет воды в каждой отдельной капле, то повторенные в миллионах и миллионах людей они дают совершенно определенную окраску всей массе — как те же «бесцветные капли» в океанах и морях.

Но и 200 миллионов — они тоже с неба не свалились: они являются результатом определенного психического склада данного народа. И если в 1480 году Испания имела в четыре раза больше людей, чем Россия, а в 1914 Россия имела в десять раз больше, чем Испания, то это никак не является результатом благодатного климата Испании или суровой русской зимы. И не результатом испанской географии: Испания является почти такой же приморской страной, как Англия, и свою империю она потеряла не из-за географии, а из-за психологии: там, где англичане торговали и организовывали, — испанцы резали и жгли: психология, а не география, определила гибель Испанской империи.

Если 500 лет тому назад «Россия» — это были 500 тысяч квадратных километров, на которых жило 2 миллиона русских людей, а к настоящему времени — это 20 миллионов квадратных километров, на которых живут 200 миллионов людей, то

дело тут не в географии и не в климате, а в том биологическом инстинкте народа, в той его воле к жизни, которые позволили ему стать «победителем в жизненной борьбе». Дело тут не в царях, дело в той дарвиновской реакции на среду, которая оказалась правильнее, скажем, испанской или польской. Несмотря на все ошибки, падения и катастрофы, идущие сквозь трагическую нашу историю, народ умел находить выход из, казалось бы, вовсе безвыходных положений, становиться на ноги после тягчайших ошибок и поражений, правильно ставить свои цели и находить правильные пути их достижения. Если бы не эти свойства, никакая «география» не помогла бы. И мы были бы даже не Испанией или Польшей, — а не то улусом какой-нибудь монгольской орды, не то колониальным владением Польши, не то восточноевропейским «комиссариатом» берлинского Министерства восточных дел.

Если всего этого не случилось, а «случилась» Российская империя, то совершенно очевидно, что в характере, в инстинкте, в духе русского народа есть свойства, которые, во-первых, отличают его от других народов мира — англичан и немцев, испанцев и поляков, евреев и цыган и которые, во-вторых, на протяжении тысячи лет проявили себя с достаточной определенностью. Однако, если мы попытаемся установить эти свойства на основании так называемых литературных источников, то тут мы попадем в область форменной неразберихи.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Немец Освальд Шпенглер, автор знаменитой «Гибели Европы», писал: «Примитивный московский царизм — единственная форма правления, еще и сейчас естественная для русского... нация, назначение которой — еще в течение ряда поколений жить вне истории... В царской России не было буржуазии, не было государства вообще... вовсе не было городов. Москва не имела собственной души» («Унтерганг дес Абендсландес», 2, стр. 232). Освальд Шпенглер не принадлежит к числу самых

глупых властителей дум Германии — есть значительно глупее. И эту цитату нельзя целиком взваливать на плечи пророка гибели Европы: он все это списал из русской литературы. У нас прошел как-то мало замеченным тот факт, что вся немецкая концепция завоевания Востока была целиком списана из произведений русских властителей дум. Основные мысли партайгеносса Альфреда Розенберга почти буквально списаны с партийного товарища Максима Горького. Достоевский был обсосан до косточки. Золотые россыпи толстовского непротивленчества были разработаны до последней песчинки. А потом — получилась форменная ерунда. «Унылые тараканьи странствования, которые мы называем "русской историей"» (формулировка М. Горького) каким-то непонятным образом пока что кончились в Берлине и на Эльбе. «Любовь к страданию», открытая в русской душе Достоевским, как-то не смогла ужиться с режимом оккупационных Шпенглеров. Каратаевы взялись за дубье и Обломовы прошли тысячи 2 верст на восток и потом почти три тысячи верст на запад. И «нация, назначение которой еще в течение ряда поколений жить вне истории» сейчас делает даже и немецкую историю. Делает очень плохо, но все-таки делает.

Наша великая русская литература — за немногими исключениями — спровоцировала нас на революцию. Она же спровоцировала немцев на завоевание. В самом деле: почему же нет? «Тараканьи странствования», «бродячая монгольская кровь» (тоже горьковская формулировка), любовь к страданию, отсутствие государственной идеи, Обломовы и Каратаевы — пустое место. Природа же, как известно, не терпит пустоты. Немцы и поперли: на пустое место, указанное им русской общественной мыслью. Как и русские — в революционный рай, им тою же мыслью предуказанный. Я думаю, — точнее, я надеюсь, — что мы, русские, от философии излечились навсегда. Немцы, я боюсь, не смогут излечиться никогда. О своих безнадежных спорах с немецкой профессурой в Берлине 1938–1939 года я рассказываю в другом месте. Здесь же я хочу установить только один факт: немцы **знали** русскую литературу и немцы сделали из нее правильные выводы. Логически и политически

неизбежные выводы. Если «с давних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасенья», если кроме лишних и босых людей на Востоке нет действительно ничего, — то нужно же, наконец, этот Восток как-то привести и порядок. Почти по Петру: «добрый аншталь завести». Аншталь кончился плохо. И — самое удивительное — не в первый ведь раз!

Немецкая профессура — папа и мама всей остальной профессуры в мире, в самой яркой степени отражает основную гегелевскую точку зрения: «тем хуже для фактов». Я перечислял факты. Против каждого факта каждый профессор выдвигал цитату, — вот вроде горьковской. Цитата была правильна, неоспоримая и точна. Она не стоила ни копейки. Но она была «научной». Так в умах всей Германии, а вместе с ней, вероятно, и во всем остальном мире, русская литературная продукция создала заведомо облыжный образ России — и этот образ спровоцировал Германию на войну. Русская литературная продукция была художественным, но почти сплошным враньем. Сейчас в этом не может быть никаких сомнений. Советская комендатура на престоле немецкого «мирового духа», русская чрезвычайка на кафедре русского богоискательства, волжские немцы и крымские татары, высланные на север Сибири из бывшей «царской тюрьмы народов», «пролетарии всех стран», вырезывающие друг друга — пока что ДО предпоследнего, — все это ведь факты. Вопрос заключается в том: какими именно новыми цитатами будет прикрыта бесстыдная нагота этих бесспорных фактов?

Русскую «душу» никто не изучал по ее конкретным поступкам, делам и деяниям. Ее изучали «по образам русской литературы». Если из этой литературы отбросить такую совершенно уже вопиющую ерунду, как горьковские «тараканьи странствования», то остается все-таки, действительно, великая русская литература — литература Пушкина, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова и, если уж хотите, то даже и Зощенки. Что-то ведь «отображал» и Зощенко. Вопрос только: что именно отображали все они — от Пушкина до Зощенко?

Онегины, Маниловы, Обломовы, Безуховы и прочие птенцы прочих дворянских гнезд, говоря чисто социологичес-

ки, были бездельниками и больше ничем. И, — говоря чисто прозаически, — бесились с жиру. Онегин от безделья ухлопал своего друга, Рудин от того же безделья готов был ухлопать полмира. Безухов и Манилов мечтали о всяких хороших вещах. Их внуки — Базаров и Верховенский — о менее хороших вещах. Но тоже о воображаемых вещах. Потом пришло новое поколение: Чехов, Горький, Андреев. Они, вообще говоря, «боролись с мещанством», — тоже чисто воображаемым, — ибо если уж где в мире и было «мещанство», то меньше всего в России, где и «третьего-то сословия» почти не существовало и где «мелкобуржуазная психология» была выражена менее ярко, чем где бы то ни было в мире.

Все это вместе взятое было окрашено в цвета преклонения перед Европой, перед «страной святых чудес» — где, как это практически, на голом опыте собственной шкуры установила русская эмиграция, — не было никаких ни святых, ни чудес. Была одна сплошная сберкасса, которая, однако, сберегла мало. В соответствии с преклонением перед чудотворными святынями Европы трактовалась и греховодная российская жизнь. С фактическим положением вещей русская литература не стеснялась никак. Даже и Достоевский, который судорожно и болезненно старался показать, что и нас не следует «за псы держати», что и мы люди, — и тот каким-то странным образом проворонил факт существования тысячелетней империи, жертвы, во имя ее понесенные в течение одиннадцати веков, и результаты, в течение тех же веков достигнутые. Достоевский рисует людей, каких я лично никогда в своей жизни не видал — и не слыхал, чтобы кто-нибудь видал, а Зощенко рисует советский быт, какого в реальности никогда не существовало.

В первые годы советско-германской войны немцы старательно переводили и издавали Зощенко: вот вам, посмотрите, какие наследники родились у лишних и босых людей! Я, как читателям, вероятно, известно, никак не принадлежу к числу энтузиастов советского строительства. Но то, что пишет Зощенко, есть не сатира, не карикатура и даже не совсем анекдот: это просто издевательство. Так, с другой стороны, — издева-

тельством был и Саша Черный. Саша Черный живописал никогда не существовавшую царскую Россию, как Зощенко — никогда не существовавшую советскую. Саша Черный писал:

...Читали, — как сын полицмейстера ездил по городу,
Таскал почтеннейших граждан за бороду,
От нечего делать нагайкой их сек —
— Один — пятьдесят человек?

Никто этого не «читал». Но все думали что, вероятно, где-то об этом было написано: не выдумал же Саша Черный? Эти стишки, переправленные за границу, создавали впечатление о быте, где такие вещи, может быть, и не случаются каждый день, но все-таки случаются: вот, катается сын полицмейстера по городу и таскает почтеннейших граждан за бороду. А граждане «плакали, плакали, написали письма в редакцию — и обвинили реакцию...». Абсолютная чушь. Неприкосновенность физиономии была в царской России охранена, вероятно, больше, чем где бы то ни было во всем остальном мире: телесных наказаний у нас не было, а в Англии они были по закону, в Германии — и по закону, и по обычаю. В царской полиции действительно били — так били и бьют во всех полициях мира — вспомните «Лунные скитания» Джека Лондона и «Джимми Хиггинс» Эптона Синклера. Точно также и в советских концлагерях в мое время, по крайней мере, с заключенными и даже с обреченными обращались вежливее, чем не только в Дахау, но и в лагерях Ди-Пи. Но всякая чушь, которая подвергалась, так сказать, художественному запечатлению, — попадала в архив цитат, в арсенал политических представлений — и вот попер бедный наш Фриц завоевывать зощенковских наследников, чеховских лишних людей. И напоролся на русских, никакой литературой в мире не предусмотренных вовсе. Я видел этого Фрица за все годы войны. Я должен отдать справедливость этому Фрицу: он был не столько обижен, сколько изумлен: позвольте, как же это так, так о чем же нам 100 лет подряд писали и говорили, так как же так вышло, так где же эти босые и лишние люди? Фриц был очень изумлен.

Но в свое время провравшаяся профессура накидывается на Фрица с сотни других сторон и начинает врать ему так, как не врала, может быть, еще никогда в ее славной научной карьере.

***

Дело, в частности, заключается в том, что всякая литература, в особенности большая литература, всегда является кривым зеркалом жизни. Ее интересует конфликт и только конфликт. Л. Толстой так начал свою «Анну Каренину»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему».

Если конфликта нет — то литературе, собственно, не о чем и рассказывать. Тогда получаются то ли старосветские помещики, к которым с такой иронией относится Гоголь, то ли «Герман и Доротея», которых так снисходительно замалчивают любители Гете. Аристократический стиль трагедии, где «личность» вступает в роковой конфликт с «роком», или плебейский стиль юмористики, где конфликт вырождается в нелепость, в чепуху, в сапоги всмятку, или буржуазная драма, где личность борется с «социальными условиями», со «средой», — все это занимается поисками конфликта в первую голову.

Большая литература есть всегда литература обличительная. Именно поэтому благонамеренной литературы нет и **быть не может**. Тоталитарные режимы не имеют обличения — не имеют литературы. «Обличение» обличает всякие неувязки жизни — их есть всегда достаточное количество. Но творчество жизни также всегда проходит мимо литературы. Счастливая семья, занимающаяся творчеством новых поколений, — о чем тут писать? Толстой попробовал, но кроме пеленок Наташи Ростовой-Безуховой и пуговичек Долли даже и у него ничего не получилось. Или получилось что-то скучное. Критика разводит руками: зачем нужны были эти пеленки?

Русская литература — это почти единственное, что Запад более или менее знал о России и поэтому судил о русском человеке по русской литературе. Англию мир знал лучше. И по-

этому даже и не пытался объяснить судьбы Великобританской империи то ли байроновским пессимизмом, то ли гамлетовской нерешительностью — Байрон — Байроном, Гамлет — Гамлетом, а Великобританская империя — она сама по себе, независимо от Байронов и Гамлетов. С нами случилось иначе.

Петровская реформа разделила Русь на две части: первая — дворянство и вторая — все остальное. Вся эта книга, по существу, посвящена вопросу этого раздвоения, и поэтому здесь я коснусь его только мельком. Укрепив свой правящий центр в далеком нерусском Петербурге, устранив на 100 лет русскую монархию, превратив себя — в шляхту, а крестьянство — в быдло, согнув в бараний рог духовенство, купечество и посадских людей, — дворянство оказалось в некоем не очень блистательном одиночестве. Общий язык со страной был потерян — и в переносном, и в самом прямом смысле этого слова: дворянство стало говорить по-французски, и русский язык, по Тургеневу «великий, свободный и могучий», остался языком плебса, черни, «подлых людей», по терминологии того времени. Одиночество не было ни блестящим, ни длительным. С одной стороны, мужик резал, с другой стороны, и совесть все-таки заедала, с третьей — грозила монархия. И как ни глубока была измена русскому народу, русское дворянство все-таки оставалось русским — и его психологический склад не был все-таки изуродован до конца: та совестливость, которая свойственна русскому народу вообще — оставалась и в дворянстве. Отсюда тип «кающегося дворянина». Это покаяние не было только предчувствием гибели — польскому шляхтичу тоже было что предчувствовать, однако ни покаяниями, ни хождением в народ он не занимался никогда. Не каялись также ни прусский юнкер, ни французский виконт. Это было явлением чисто морального порядка, явлением чисто национальным: ни в какой иной стране мира кающихся дворян не существовало. Сейчас, после революции, мы можем сказать, что это дворянство каялось не совсем по настоящему адресу и что именно из него выросли наши дворянские революционеры — начиная от Новикова и кончая Лениным. Но в прошлом столетии этого было еще не видно.

Русская дворянская литература родилась в век нашего национального раздвоения. Она, говоря грубо, началась Карамзиным и кончилась Буниным. Пропасть между пописывающим барином и попахивающим мужиком оказалась непереходимой: общий язык был потерян и найти его не удалось. Барин мог каяться и мог не каяться. Мог «ходить в народ» и мог кататься на «теплые воды» — от этого не менялось уже ничто. Граф Лев Толстой мог гримироваться под мужичка и щеголять босыми своими ногами — но ничего, кроме дешевой театральщины, из этого получиться не могло: мужик Толстому все равно не верил: блажит барин, с жиру бесится.

Не чувствовать этого Толстой, конечно, не мог. Горький в своих воспоминаниях о Толстом описывает свой спор с великим писателем земли Русской: великий писатель утверждал, что мужик в реальности никогда не говорит так, как он говорит у Горького: его-де речь туманна, запутанна и пересыпана всякими «тово» да «так». Горький, боготворивший Толстого, — не вполне, впрочем, искренне, — никак не мог простить фальши в толстовском утверждении: «Я-то мужика знаю — сам мужик». Толстовское утверждение было так же фальшиво, как были фальшивы и толстовские босые ноги. Мужик же говорит в разных случаях по-разному, разговаривая с барином, которого он веками привык считать наследственным врагом, — мужик естественно будет мычать: зачем ему высказывать свои мысли? Отсюда и возник псевдонародный толстовский язык. Но вне общения с барином — речь русского мужика на редкость сочна, образна, выразительна и ярка. Этой речи Толстой слыхать не мог. Он, вечный Нехлюдов, все пытался как-то благотворить мужику барскими копейками — за счет рублей, у того же мужика награбленных. Ничего, кроме взаимных недоразумений, получиться не могло.

Толстой — самый характерный из русских дворянских писателей. И вы видите: как только он выходит из пределов своей родной, привычной дворянской семьи, все у него получает пасквильный оттенок: купцы и врачи, адвокаты и судьи, промышленники и мастеровые — все это дано в какой-то брезгли-

вой карикатуре. Даже и дворяне, изменившие единственно приличествующему дворянскому образу жизни, — поместью и войне — оказываются никому не нужными идиотиками (Кознышев). Толстой мог рисовать усадьбу — она была дворянской усадьбой, мог рисовать войну — она была дворянским делом, но вне этого круга получалась или карикатура вроде Каренина, или ерунда вроде Каратаева.

Каратаевых на Руси, само собою разумеется, не было. Это только мягкая подушка, на которой спокойно могла бы заснуть дворянская совесть. Этакая божья коровка, которую так уютно можно доить. Но доить надолго не удалось. Вокруг яснополянских дворянских гнезд подымалась новая непонятная, враждебная, страшная жизнь: Колупаевы, Разуваевы стали строить железные дороги, Каратаевы стали по клочкам обрывать дворянское землевладение, Халтюпкины стали строить школы. И Стива Облонский идет на поклон к «жиду концессионеру»: он, Рюрикович, все пропил и все проел, но работать он, извините, и не желает и не может. Куда же деваться ему, Рюриковичу?

На этот вопрос дал ответ последний дворянский писатель России — Иван Бунин:

Что ж? Камин затоплю, стану пить…
Хорошо бы собаку купить.

Но не удались ни камин, ни собака: пришлось бежать. И бунинские «Окаянные дни», вышедшие уже в эмиграции, полны поистине лютой злобы — злобы против русского народа вообще. От литературных упражнений Ивана Бунина не отстают публицистические упражнения Александра Салтыкова — вероятно, потомка того Салтыкова, который столь доблестно проявил себя в семибоярщине и посоветовал полякам сжечь Москву. У Салтыкова все ясно до полной оголенности, никаких фиговых листочков. Российское государство, вопреки русскому народу и преодолевая его азиатское сопротивление, построили немцы, шведы, поляки, латыши и пр. Сам он — государственного смысла совершенно лишен. Придите, кто угодно —

только верните мне, Александру Салтыкову, поместья мои, ибо мне без них — крышка.

***

Психология русского народа была подана всему читающему миру сквозь призму дворянской литературы и дворянского мироощущения. Дворянин нераскаянный — вроде Бунина, и дворянин кающийся — вроде Бакунина, Лаврова и прочих, все они одинаково были чужды народу. Нераскаянные — искали на Западе злачных мест, кающиеся искали там же злачных идей. Нераскаянные говорили об азиатской русской массе, кающиеся — об азиатской русской монархии, некоторые (Чаадаев) об азиатской русской государственности вообще. Но все они не хотели, не могли, боялись понять и русскую историю, и русский дух. Лев Толстой доходит до полной, — конечно, кажущейся — беспомощности, когда он устами Кознышева или Свияжского никак не может объяснить бедняге Левину — так зачем же, собственно, нужны народу грамота, школы, больницы, земство. Дворянству они не нужны, и Левин формулирует это с поистине завидной наивностью. Но зачем они нужны народу? И нужен ли народу сам Левин? До этого даже Толстой договориться не посмел: это значило бы поставить крест над яснополянскими гнездами — такими родными, привычными и уютными. Что делать? Все люди — человеки. Пушкин точно так же не смог отказаться от крепостного права, как и Костюшко, требовавший в своем знаменитом универсале немедленного освобождения польских крестьян — для их борьбы с Россией, — а своих крестьян так и не освободивший...

Толстой сам признавался, что ему дорог и понятен только мир русской аристократии. Но он не договорил: все, что выходило из пределов этого мира — было ему или не интересно, или отвратительно. Отвращение к сегодняшнему дню — в дни оскудения, гибели этой аристократии, — больше, чем что бы то ни было другое — толкнуло Толстого в его скудную философию отречения. Но трагедию надлома пере-

живал не один Толстой — по-разному ее переживала вся русская литература. И вся она вместе взятая дала миру изысканно кривое зеркало русской души.

Грибоедов писал свое «Горе от ума» сейчас же после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который «слова умного не выговорил сроду» — других типов из русской армии Грибоедов не нашел. А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник — «золотой мешок и метит в генералы». А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ? Или чеховские «лишние люди» строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки — русскую промышленность? Или толстовский Каратаев — крестьянскую кооперацию? Или, наконец, «мягкотелая» и «безвольная» русская интеллигенция — русскую социалистическую революцию?

Литература есть всегда кривое зеркало жизни. Но в русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое измерение. Из русской реальности наша литература не отразила почти ничего. Отразила ли она идеалы русского народа? Или явилась результатом разброда нашего национального сознания? Или, сверх всего этого, Толстой выразил свою тоску по умиравшим дворянским гнездам, Достоевский — свою эпилепсию, Чехов — свою чахотку и Горький — свою злобную и безграничную жажду денег, которую он смог кое-как удовлетворить только на самом склоне своей жизни, да и то за счет совзнаков?

Я не берусь ответить на этот вопрос. Но, во всяком случае, — русская литература отразила много слабостей России и не отразила ни одной из ее сильных сторон. Да и слабости-то были выдуманные. И когда страшные годы военных и революционных испытаний смыли с поверхности народной жизни накипь литературного словоблудия, то из-под художественной бутафории Маниловых и Обломовых, Каратаевых и Безуховых, Гамлетов Щигровского уезда и москвичей в гарольдовом пла-

ще, лишних людей и босяков — откуда-то возникли совершенно непредусмотренные литературой люди железной воли. Откуда они взялись? Неужели их раньше и вовсе не было? Неужели сверхчеловеческое упорство **обоих** лагерей нашей Гражданской войны, **и** белого **и** красного, родилось только 25 октября 1917 года? И никакого железа в русском народном характере не смог раньше обнаружить самый тщательный литературный анализ?

Мимо настоящей русской жизни русская литература прошла совсем стороной. Ни нашего государственного строительства, ни нашей военной мощи, ни наших организационных талантов, ни наших беспримерных в истории человечества воли, настойчивости и упорства — ничего этого наша литература не заметила вовсе. По всему миру — да и по нашему собственному созданию — тоже получила хождение этакая уродистая карикатура, отражавшая то надвигающуюся дворянскую беспризорность, то чахотку или эпилепсию писателя, то какие-то поднебесные замыслы, с русской жизнью ничего общего не имевшие. И эта карикатура, пройдя по всем иностранным рынкам, создала уродливое представление о России, психологически решившее начало Второй мировой войны, а, может быть, и Первой.

Во Вторую мировую войну, еще больше, чем в Первую, цели Германии лежали на востоке: германский меч должен завоевать земли для германского плуга. Это было, так сказать, пожелание. В какой именно степени реальные возможности Германии соответствовали ее политическим пожеланиям? Или — иначе, — в какой степени Россия — в данном случае советская — являлась «колоссом на глиняных ногах», для ликвидации которого достаточно одного штыкового толчка?

От ответа на этот вопрос зависели мир или война. Ибо если Россия — хотя бы и советская — стоит не совсем на глиняных ногах, если война станет затяжной, то германо-советское военное столкновение неизбежно перерастет в войну мирового масштаба: в Германию, увязшую на Востоке, обязательно вцепятся ее враги с Запада.

Так стоял вопрос до сентября 1939 года. К июню 1941 года он обострился до крайности. Идя к власти, Гитлер указывал

на крупнейшую ошибку вильгельмовской Германии — на недопустимую и самоубийственную роскошь войны на два фронта. В 1941 году один фронт уже был: английский. Была ли Россия «фронтом» вообще? Или германо-советская война будет только увеселительной военной прогулкой, которая закончится намного раньше, чем Англия и САСШ успеют закончить организацию своих армий?

От ответа на этот вопрос зависела не только война на востоке, но и война вообще. Я опускаю политические подробности Второй мировой войны и беру только самое существенное: война не была бы самоубийством только и исключительно в том случае, если бы информация германских — также и прочих других экспертов по русским делам — оказалась правильной: колосс, который раньше стоял на глиняных ногах, — сейчас стоит совсем уж на соломинках.

Отбросим в сторону всякие моральные соображения и попробуем оценить германскую экспертизу только по ее техническим возможностям. По результатам — история оценила и без нас.

Основной фон всей иностранной информации о России дала русская литература: вот вам, пожалуйста, Обломовы и Маниловы, лишние люди, бедные люди, идиоты и босяки. «Война и мир» была исключением, но она написана о делах давно минувших дней — о дворянстве, которое революцией истреблено.

На этом общем фоне расписывала свои отдельные узоры и эмиграция: раньше довоенная революционная, потом послевоенная контрреволюционная. Врали обе. Довоенная оболгала русскую монархию, послевоенная оболгала русский народ. Довоенная болтала об азиатском деспотизме, воспитавшем рабские пороки народа, послевоенная — о народной азиатчине, разорившей дворянские гнезда, единственные очаги европейской культуры на безбрежности печенежских пустынь. Германия, кроме того, имела и специалистов третьей разновидности: балтийских немцев, которые ненавидели Россию за русификацию Прибалтики, монархию — за разгром дворянских привилегий, православие — за его роль морального барьера против западных влияний и большевизм — само собою разумеется за что.

Таким образом, в представлении иностранцев о России создалась довольно стройная картина. Она была обоснована документально — ссылками на русские же «авторитеты». Она была выдержана логически: из этих ссылок были сделаны совершенно логические выводы. В частности, в немецком представлении Россия была «колоссом на глиняных ногах», который в свое время кое-как поддержали немцы — как государственно одаренная раса. Образ этого колосса, кроме того, совершенно соответствовал и немецким вожделениям. Таким образом, «сущее» и «желаемое» сливалось вполне гармонически, — до горького опыта Второй мировой войны. Потом пришло некоторое разочарование, и немецкая послевоенная пресса с некоторым удивлением отмечает тот странный факт, что литература, по крайней мере художественная, вовсе не обязательно отражает в себе национальную психологию. Не слишком полно отражает ее и историческая литература, отражающая — по Випперу — не столько историческую реальность прошлого, сколько политические нужды настоящего. Строится миф. Миф облекается в бумажные одеяния из цитат. Миф манит. Потом он сталкивается с реальностью, — и от мифа остаются только клочки бумаги — густо пропитанные кровью.

Настоящая реальность таинственной русской души — ее доминанта — заключается в государственном инстинкте русского народа — или, что почти одно и то же, в его инстинкте общежития.

ДОМИНАНТА

Характер русского народа, как и характер отдельного человека, дан от рождения. Судьба отдельного человека определяется главным образом его характером, но и в ней играет роль и то, что мы называем **случайностью**. Сто лет тому назад такая случайность, как рождение в крепостном сословии, коверкала любую человеческую жизнь. Сейчас количество такого рода случайностей урезано очень сильно. В наиболее «демократи-

ческой» стране — так называемого капиталистического мира — в Америке — рождение на низах социальной лестницы ничего уже не коверкает, даже ничего не преграждает: если не большинство, то, во всяком случае, очень значительная часть современных капитанов американской промышленности, финансов, политики и прочего вышло из совершенно пролетарских слоев населения. «Несчастные случайности» урезаны очень сильно. Остается еще много счастливых. Но и они в значительной степени урезываются наличием биржевых порядков: наследника любых миллионов, если он сам по себе недостаточно зубаст, биржа в конце концов съест: шансы уравниваются снова. В Европе привилегии правящих слоев и до сего времени играют весьма важную роль — в особенности в Англии, которая обычно считается столь же «демократической» страной, как и Америка. Термин «демократический» я беру в кавычки не без некоторого ехидства: сейчас демократиями считают себя все, такая мода. Но даже и в Англии социальные привилегии постепенно теряют свою былую роль; Чемберлен-дед был сапожником, а его сын[3] — премьер-министром Британской империи. М-р Макдональд и м-р Бевин были простыми рабочими.

Философское объяснение случайности формулируется так: скрещение в одной точке времени и пространства двух причинных рядов, друг от друга не зависящих. Переведем это на житейский язык. Вы спешите на любовное свидание и по пролетарскому вашему происхождению идете пешком. Мистер Джонс спешит в банк и по буржуазному своему происхождению едет в авто. На некоем перекрестке и в некий момент времени оба друг от друга не зависящих причинных ряда скрещиваются в одной точке пространства и времени — и вы попадаете под колеса.

И для мистера Джонса, и еще больше для вас это обстоятельство является случайностью. Но оно не является случайностью для страхового общества, которое застраховало вас от несчастных случаев и владельца авто — от автомобильных столкновений и которое на основании закона больших чисел

[3] По всей видимости, опечатка, имеется в виду — внук.

заранее учло, что на столько-то километров пройденного автомобилем пути должна прийтись одна катастрофа. Страховое общество учитывает правильно. Если бы оно учитывало неправильно — оно бы разорилось.

Жизнь народа вообще, а великого народа — в особенности, развивается по закону больших чисел. Миллионы, десятки и сотни миллионов людей, поколение за поколением в течение тысячи лет сменяют друг друга. И в этой массе, в этой смене, сглаживаются отдельные случайности отдельных человеческих усилий. Вырисовывается некая определяющая линия национального характера, которую я назову доминантой.

В характере отдельного человека черты этой доминанты будут заметны мало или даже вовсе незаметны, и здесь их можно проследить только в самых редких случаях: цыган, еврей и русский, попавшие, скажем, в Америку, станут: цыган — кочевать, еврей — торговать, а русский постарается усесться на землю или на службу. Живя в России и изучая более или менее толком русскую действительность, мы привыкли считать обычный способ действия русского народа — его доминанту, — чем-то само собою разумеющимся. Так, для американских индейцев доколумбовой эпохи был само собою разумеющимся красный цвет кожи. Был, конечно, само собою разумеющимся и тот социальный порядок, который господствовал на территории нынешних САСШ; другого порядка индейцы не знали. Русская эмиграция, попав за границу, с прискорбием убедилась, что те русские порядки и даже беспорядки, тот стиль жизни, который казался само собою разумеющимся для России — оказался вовсе не само собою разумеющимся для Западной Европы. И именно поэтому русская эмиграция получила возможность посмотреть на Россию несколько со стороны — сравнить то, что было у нас и что в свое время казалось очень плохим, отсталым, плохо организованным, с тем, что оказалось в Западной Европе, — в Западной Европе все оказалось значительно хуже. По крайней мере, все, что является в национальной жизни решающим.

История народа объясняется главным образом его характером. Но, с другой стороны, именно в истории виден на-

родный характер. Все второстепенное и наносное, все переходящее и случайное — сглаживается и уравновешивается. Типы литературы и мечты поэзии, отсебятина философов и вранье демагогов подвергаются многовековой практической проверке. Отлетает шелуха и остается зерно — такое, каким создал его Господь Бог. **Остается доминанта народного характера.**

Эта доминанта, как я уже говорил, в исторической жизни народа реализуется инстинктивно. И для каждого данного народа она является чем-то само собою разумеющимся. Поляк и немец, еврей и цыган будут утверждать, что каждый из них действует нормально и разумно: их доминанты само собою разумеются — для каждого из них. Мне не приходилось разговаривать с цыганами, но, вероятно, каждый из них полагает, что именно его цыганская кочевая жизнь является разумной человеческой жизнью, а мы, все остальные, «в неволе душных городов» — «главы пред идолами клоним и просим денег и цепей», — так, по крайней мере, формулировал Пушкин цыганское мировоззрение. Примерно то же будет утверждать еврей: в рассеянии, без всякого государственного груза на своих плечах, еврейство создало народ, который состоит почти из сплошного «правящего слоя» — из буржуазии и интеллигенции, народ, в котором совершенно нет пролетариата и почти нет крестьянства. Мне пришлось разговаривать с поляками в Варшаве в январе 1940 года: в несчастьях, постигших Польшу, были виноваты все: и немцы, и москали, и англичане, и евреи. Одни они, поляки, всегда, безо всякого исключения, действовали и честно, и разумно, — действовали так, как само собою разумеется действовать полагалось. А результат? — В результате виноваты все остальные.

Я никак не собираюсь утверждать, что русский народ всегда действовал разумно — если бы это было так, то большевистской революции у нас не было бы. Не было бы также и крепостного права. Несколько раньше — не было бы и татарского ига: все это расплата за наши собственные глупости и слабости, — самой опасной слабостью всегда является глупость. Но уже один факт, что евразийская империя создана на-

ми, а не поляками, доказывает, что глупостей мы делали меньше их. Что наша доминанта оказалась и разумнее, и устойчивее, и, следовательно, успешнее. И так как все в мире познается сравнением, то попробуем сравнить нашу доминанту прежде всего с доминантой Польши — нашей ближайшей родственницы, соседки и конкурентки.

Обе страны, и Польша, и Россия, являются славянскими странами — причем в Польше славянское происхождение выражено гораздо чище, чем у нас: здесь нет примеси финской крови и очень слаба примесь татарской. Географические условия двух стран приблизительно одинаковы, — польские несколько лучше, наши несколько хуже. Климатические — одинаковы почти совершенно. И обе страны поставили перед собою одинаковую, в сущности, цель: создать восточноевропейскую империю «от моря до моря», как формулировали это поляки, и «окнами на пять земных морей», как формулировал это Волошин. Такого сходства исходного этнографического материала, исходных географических пунктов и конечной цели во всей мировой истории, пожалуй, трудно найти. А вот результаты получились совершенно разные.

Для того чтобы понять неизбежность и психологическую обусловленность этих результатов, попытаемся сравнить две примерно равно упорные доминанты — русскую и польскую.

1. В России вся нация в течение всего периода ее существования непрерывно строит и поддерживает единую верховную царскую власть. Крестьянство своей массой, духовенство своей идеологией, купечество — мошной и служилое (т.е. допетровское) дворянство своей военной организацией — каждый по-своему, но непрерывно и упорно строили русскую царскую власть.

В Польше шляхетство и духовенство при полном нейтралитете и пассивности остальных слоев населения, всячески урезывали королевскую власть и оставили от нее одну пустую оболочку. «Проклятого самодержавия» Польша так и не создала — едва ли Польша благословляет сейчас это историческое достижение. В России народ нес царю свою любовь и свое доверие: термин «Батюшка-Царь» появился не совсем зря, и советский «отец народов» — это только неудачное литературное

воровство. Польша рассматривала своих королей, как врожденных и неисправимых жуликов, которые — только не догляди — стащат все золото шляхетских и ксендзовских вольностей. В России даже мятежные движения все шли под знаменами хотя бы и вымышленных, но все-таки царей[4]. В Польше все мятежи шли в форме «конфедераций», т.е. антимонархических организаций польской шляхты.

2. Русский народ всегда проявлял исключительную политическую активность. И в моменты серьезных угроз независимости страны подымался более или менее, как один человек. В Польше основная масса населения — крестьянство — всегда оставалась политически пассивной, — и польские мятежи 1831 и 1863 годов, направленные против чужеземных русских завоевателей, никакого отклика и поддержки в польском крестьянстве не нашли. К разделам Польши польское крестьянство оставалось совершенно равнодушным, и Польский сейм («немой» гродненский сейм 1793 года) единогласно голосовал за второй раздел... при условии сохранения его шляхетских вольностей. Мининых в Польше не нашлось — ибо для Мининых в Польше не было никакой почвы.

3. Россия, географией своей лишенная выхода к морям, — всю свою историю стремилась до них дорваться. Польша проявила к этому вопросу полнейшее и трудно объяснимое равнодушие. Морское побережье Польша безо всякой борьбы уступила тем же немцам, которых польские короли пригласили в сегодняшнюю Пруссию для помощи в христианизации язычников-литовцев. Очень странное совпадение: в 1242 году Александр Невский громит немецких рыцарей на льду Чудского озера, а за 6 лет до этого — в 1236 году — князь Конрад Мазовецкий приглашает тех же рыцарей в тогдашнюю Польшу, отдает им Кульскую и Прусскую землю для того, «чтобы ввести там хорошие обычаи и законы для упрочнения веры и установления благополучного мира между жителями». Польша не заботится о море, не заботится о торговле, не заботится о промышленности, все это сдается в аренду немцам — и именно они строят

[4] Большевизм я никак не считаю народным движением. – *Прим. авт.*

и Штеттин (польское Щитно), и Данциг (польский Гданск), и Кенигсберг (польский Кролевец), совершенно автоматически отрезывая Польшу от моря и от всего, что с морем связано.

4. Свое внимание Польша устремила на восток — и в этом направлении ее доминанта демонстрирует поистине незавидную настойчивость. Первое занятие Киева поляками случилось в 1069 году — в Киев ворвался князь Болеслав Смелый и с трудом ушел оттуда живьем: жители, по словам летописца, избивали поляков «отай», т.е. организовали партизанскую войну. Столетия подряд такие же попытки повторяли Сапеги и Вишневецкие. Почти 900 лет после Болеслава точно такую же попытку и с точно такими же результатами повторил — вероятно, уже совсем в последний раз — Иосиф Пилсудский. Было ли это идиотизмом во времена Болеслава? Трудно сказать. Но во времена Пилсудского это было идиотизмом уже совершенно очевидным: ни при каких мыслимых комбинациях политических судеб Польша не имела никакой возможности нажиться ни за счет России, ни за счет Германии, ни за счет двухсотмиллионного соседа на востоке, ни за счет восьмидесятимиллионного на западе. Но в 1943 году польское правительство, уже сидевшее в эмиграции, снова повторило традиционное требование — Польша от моря до моря — т.е. от Риги до Одессы.

Польша потерпела поражение — и во времена Болеслава, и во времена Вишневецкого, и во времена Пилсудского. Болеслав обошелся сравнительно дешево: была уничтожена польская армия. Вишневецкие обошлись дороже: они, истощив Польшу, подготовили почву для разделов. После страшных поражений в польско-украинской войне 1640-х годов и присоединения Украины к Москве Польша уже никогда не поднималась до настоящей самостоятельности; полвека спустя Петр делал там, что хотел. Пилсудский, предав Деникина и спасши советскую власть, создал самую важную внешнеполитическую предпосылку войны 1939 года...

5. Польша забросила море и тянулась на восток в поисках крепостных душ для шляхты и католических душ — для ксендзов. И в Киеве, и в Риге, и в Вильне Польша тысячу лет подряд —

при Радзивиллах, Сапегах, Вишневецких и Пилсудских — вела всегда одну и ту же политику: подавление и закрепощение всего нешляхетского и некатолического. Польша, по крайней мере, в течение последних лет 500, вела политику профессионального самоубийства и, как показала история, вела ее довольно успешно. И совершенно очевидно, что как Вишневецкий в XVII веке, так и Пилсудский — в XX — выражали не самих себя со всеми своими личными качествами, а доминанту своей страны. Им всем, от Болеслава до Пилсудского, казалось, что они действуют вполне логично, разумно и патриотично, — иначе бы они все, или, по крайней мере, хоть кто-нибудь из них, действовали бы по-другому. Но иначе не действовал никто: **доминанта**.

Откуда она взялась? Ближайшее объяснение будет лежать в католичестве. Но тогда возникает следующий вопрос: почему именно в Польше удержалось католичество, разгромленное и в северной Германии, и в Скандинавии и остановленное на пороге России? На этот вопрос ответа у меня нет. Ко всей трагической судьбе Польши и католичество приложило свою страшную руку: при Пилсудском, в сущности, совершенно так же, как и при Вишневецких: все иноверцы, диссиденты, в особенности православные, казнями и пытками загонялись в лоно Католической Церкви, сжигались православные храмы (за два года перед Второй мировой войной их было сожжено около 800) и в восточных окраинах возникала лютая ненависть против тройных насильников: насильников над нацией, экономикой и религией. И, создавая вот этакую психологическую атмосферу, Польша при Сапегах, Радзивиллах и Вишневецких пыталась опираться на казачьи войска, а в 1939 году послала против германской армии корпуса, сформированные из западноукраинского крестьянства: корпуса воевать не стали.

«Домашний старый спор», о котором когда-то писал Пушкин, сейчас решен окончательно. Русское море не иссякло — его не удалось иссушить ни большевикам, ни Гитлеру. Польша, как и следовало ожидать при минимальной затрате умственных способностей, оказалась расплющенной. И если Россия — даже и при большевиках — сумела ликвидировать немецкий «Drang nach

Osten»[5], то о польской «миссии на востоке» и говорить нечего. Если Россия сумела справиться с такою несомненно первосортной Европой, какою она, Европа, являлась и при наполеоновском «новом порядке», и при гитлеровском, то совсем уже третьесортное европейское захолустье Польши никакой угрозы для нас больше не представляет. И сейчас мы, больше чем когда бы то ни было, можем позволить себе роскошь полного беспристрастия. Может быть — и сочувствия: трагическая и окровавленная судьба этой несчастной страны, которая, как выразился Энгельс, «никогда ничего кроме воинственных глупостей не делала», может вызвать всякие чувства, — но и сострадание в том числе. Может быть, даже и нечто вроде признательности: если бы Польша не была католической, то восточноевропейская империя была бы, конечно, польской, а не русской: для этого Польше одно время было вполне достаточно отказаться от шляхетско-ксендзовской политики на Украине — и «Польша от моря до моря» была бы обеспечена. При ее тогдашнем техническом превосходстве это было бы вполне достаточной базой для стройки империи. Но от Болеслава до Мосьциского (последний президент Польши) страна вела все одну и ту же политику упорно, настойчиво, фанатично и самоубийственно — безо всякой оглядки на элементарнейший человеческий здравый смысл... Польская поговорка не без некоторой гордости утверждает, что Польша стоит беспорядком: Polska nierzadem stoi.

Русская народная словесность снабжает существительное «поляк» эпитетом «безмозглый». Немецкая пословица говорит о «польском хозяйстве» — «Polnische Wirtschaft», это битье посуды на ярмарках за недорогую плату: вот посуда перебита, кажется, вся, до последнего черепка.

Но похороненный под кучею окровавленных обломков, откуда-то из Англии жалобно, но упорно стонет загробный голос эмигрантского правительства Польши: «Польша от моря до моря», т.е. Польша с Литвой, Латвией и Украиной. В Варшаве в январе 1940 года — когда в городе не было ни топлива, ни хлеба — местами не было и воды, когда немцы вылавливали польскую интеллигенцию, как зайцев на облаве, и отсылали ее на гибель

[5] Натиск на восток *(нем.)*.

в концлагеря, когда над страной повисла угроза полного физического истребления и когда безумные рестораны столицы были переполнены польским «цветом общества», пропивавшим последнее свое достояние, — цвет Польши все-таки жил мечтой о политической, культурной и религиозной миссии Польши на варварском русском востоке. Вы скажете — сумасшествие! Я скажу — истерика! Но Польша будет считать эти планы разумными, исполнимыми и само собою разумеющимися.

Это есть польская доминанта. Это есть внутреннее «я» страны, от которого страна отказаться не может — как не могут немцы отказаться от своей воли к власти.

ДОМИНАНТА ГЕРМАНИИ

Мое поколение было воспитано на той классической русской литературе, о которой я уже говорил: великая и **очень** вредная литература. Под ее влиянием мы вошли в жизнь с совершенно исковерканными представлениями о реальности. Представление о германской реальности для нас воплощалось в толстовском Карле Ивановиче, таком трогательно-беспомощном и сентиментальном, или в генерале Пфуле, столь же беспомощно самоуверенном в его «эрсте колонне марширт» и вообще в аккуратном до смешного немецком булочнике («хлебник — немец аккуратный…»), колбаснике, чиновнике — которые пришли в широкую русскую землю честно есть свой хлеб.

В большинстве случаев они ели его честно... Кое-что другое писал Достоевский в «Бесах», но Достоевский был писателем Васильевского острова и специфически немецкого васильеостровского социального склада (в его времена Васильевский остров был населен по преимуществу всякой немецкой мелкотой). Но все это касалось нашего внутреннего немца и о немце германском мы имели самое нелепое представление: народ поэтов и мечтателей — «Dichter und Traumer» — родина философии, этакие комические Фрицы и Морицы, о которых мы читали еще у Буша. О том, что есть немецкий дух на самом деле —

об этом наша литература нам не сказала ничего. Говорили славянофилы, — но их не читал никто. Надрывно предупреждал Герцен, — но и он был вне большой литературы[6].

Наше довоенное среднее представление о немцах отражало по преимуществу нашу собственную внутреннюю разладицу. Германофильскими у нас были обе борющиеся стороны — и революция, и реакция. Для революции Германия была родиной Гегеля и Маркса с их философской эрудицией, для реакции — родиной унтер-офицера с его прозаическим кулачищем. Революция пыталась организовать свой идейный капитал на базе немецкой философии, реакция — свой земельный капитал на базе немецких управляющих. И обе стороны проворонили немца таким, каким он является в его исторической реальности.

Так, социальный склад страны обусловливает собою не только ее самочувствие, он обусловливает и ее зрение. Обе стороны правящего слоя, сталкивавшиеся с немцами и обязанные доложить русскому народу о его западном соседе, рассматривали этого соседа исключительно с классовой, а не национальной точки зрения. А мы в гимназиях изучали историю Германии, — ничего не могли понять в кровавой каше бесконечных Карлов Коротких и Карлов Лысых, Иоганнов и Фридрихов, герцогов и князей, ибо у нас не было той точки зрения, с которой эта каша могла бы быть объяснена. Эту точку зрения нам дали две мировые войны; можно было бы получить ее и более дешевым путем...

Перед Второй мировой войной наш историк-романист М. Алданов писал о Первой мировой войне: «Никогда еще мир

[6] Достоевский в «Бесах» писал: «Андрей Андреевич фон Лембке (губернатор Н-ской губернии. — *И. С.*) принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всей своею массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов, без договора, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени один другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах».

Герцен — «С другого берега» (1850 г.) — «Я не верю, чтобы судьба мира оставалась надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно человеческой эстетике. Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: «В тебе, Пруссия, нет ничего, чтобы я мог назвать царским...» Воскресит ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба последнего военного суда? Разбудит ли ее приближение ученых варваров? — *Прим. авт.*

не видал такой могучей и всесокрушающей машины, какую имела Германия в мировую войну. Беда было только в том, что люди, стоявшие во главе этой машины, решительно не знали, что надо делать».

М. Алданов является блестящим историческим художником. Его ценность, как исторического мыслителя, я боюсь, значительно ниже: немцы знали, что надо делать, — конечно, с их немецкой точки зрения — надо было строить немецкое мировое могущество. Но для этой стройки у них было одно единственное оружие: меч. Его оказалось недостаточно уже и в 473 году — в год падения Римской империи. Его оказалось недостаточно и в 1914, и в 1939 году. Но кроме меча никаких других орудий мирового могущества в распоряжении немцев не было, нет и никогда не будет. Его не было ни при Одоакре, ни при Карле Великом, ни при Вильгельме, ни при Гитлере: чего-то не хватает.

На вопрос о нехватке орудий строительства немецкая литература точно так же не дает нам решительно никакого ответа, как не дает русская на аналогичный вопрос о наличии этих орудий в России. И ответа нужно искать не в литературе, а в фактах, т.е. в истории. А в этой истории Карлы и Фридрихи являются не «вывесками над историческим процессом», как до Ленина и Сталина говорили марксисты, и не «двигателями исторического процесса», как говорили тоже до Ленина и Сталина наши народники о великих людях истории, — они являются симптомами. Симптоматичными были наши серенькие московские цари-собиратели, так не любившие хвататься за нож, симптоматичными были и немецкие фюреры, так любившие стучать по столу бронированным сапогом. Все они были не «вывесками», не «двигателями», а только симптомами известной национальной доминанты — определяющей черты общенационального характера.

Современная Германия лежит в самом центре Европы, в мягком умеренном климате, не знающем ни морозов, как на нашем севере, ни засух, как на нашем юге, ни наводнений, как на Миссисипи или Желтой реке. Плодородная почва с очень большими запасами каменного угля, железа, меди

и пр. — почти всего, кроме нефти, которая до мировых войн никакой роли вообще не играла. Ее территория прорезывается рядом незамерзающих рек, впадающих в незамерзающие моря, где у Германии есть ряд первоклассных гаваней: Данциг, Любек, Гамбург, Бремен, Кельн. Германия имеет все преимущества континентальной страны и все преимущества морской. Германия не знала татарских нашествий, а наполеоновские не несли с собой ни резни, ни рабства, ни даже порабощения.

Говоря о современной нам Германии, мы не должны, однако, забывать, что несколько больше тысячелетия тому назад вся Западная Европа была, так сказать, сплошной Германией. После разгрома Римской империи германские племена расселились по всей тогдашней очень редко населенной Европе и создали целую серию германских государственных образований — очень недолговечных, впрочем. И не только в Европе, но и в Африке. Лангобардское, вандальское, бургундское, франкское и прочие королевства, герцогства, княжества и т.д. — охватывали всю Европу, и, во всяком случае, весь ее правящий слой был германским слоем — поэтому, в частности, немцы любят изображать собою «народ господ».

Германские полчища разгромили Римскую империю и уселись на ее развалинах. Для нас, русских, Римская империя давно стала пустым звуком — и это напрасно. Сейчас мы должны честно сказать, что с момента падения Рима и до сегодняшнего дня, т.е. лет тысячи полторы, — наша культурная Европа никогда за всю свою историю не сумела создать ничего даже и отдаленно похожего на римский культурный мир.

Само собою разумеется, что и за эти полторы тысячи лет люди рождались, думали, писали и изобретали, так что наши отдельные «культурные достижения», вот вроде бомбардировочной авиации, стоят неизмеримо выше римских достижений. Однако также совершенно несомненно, что общий уровень порядка, сытости, безопасности в современной Европе также неизмеримо ниже римского. В римские времена вы могли проехать — без оружия и даже без паспорта — из Англии до берегов Красного моря. По всему этому пространству были проложены великолепные

шоссе, остатками которых просвещенная Европа пользуется и до сих пор, а они не ремонтировались полторы тысячи лет. В городах были и канализация, и водопроводы, и ночное освещение. Древний Рим потреблял на голову населения в 7 раз больше воды, чем довоенный Берлин, а современный Рим снабжается водой из оставшихся от древнего Рима трех акведуков, — остальные восемь заброшены по излишеству... В самой Италии было введено всеобщее обязательное обучение, а римская система раздачи хлеба была, в сущности, своеобразным видом социального страхования. Да, было рабство. Но современная Европа ликвидировала его всего только 100–150 лет тому назад, — так что и тут хвастаться особенно нечем.

Разгром Римской империи был началом германских государственных порядков, которые мы расхлебываем и до сих пор. Эти порядки в самом обобщенном выражении можно назвать феодализмом — о психологическом происхождении феодализма я буду говорить несколько ниже. Великая империя была разодрана на сотни и тысячи мелких феодальных владений, которые сейчас же вступили между собою в кровавую братоубийственную резню — эта резня не прекратилась и сейчас.

Узко внутригерманские войны кончились только после Бисмарка (прусско-австрийская и прусско-баварская), а обращение Германии с ее нордическими сестрами по расе во время Второй мировой войны, да еще и со старшими и совсем чистокровными сестрами, не слишком сильно отличается от, скажем, магдебургской резни в Тридцатилетнюю войну. Пятнадцать веков после захвата Европы германскими племенами в этой Европе кипит кровавая каша феодальных войн.

Славянские племена, осевшие по Волхову, Двине, Припяти и Днепру, на поверхности мировой истории появляются сразу, как законченная государственная организация. Так называемая «империя Олега» существует и до сего времени — и все попытки ее раздроблений кончились крахом. Ее сверстница — империя Карла Великого — лопнула на другой день после его смерти, если она вообще существовала при его жизни — и все попытки ее восстановления кончились таким же провалом, как и попытки раздроб-

ления России. И Карл Великий, и император Священной Римской империи германской нации, и Наполеон, и Гитлер — все это неизменно кончалось кровавыми и безрезультатными катастрофами.

Объясняя возникновение нашей империи, наши историки нам говорили: это действовал пример Византии. Не могу себе представить, каким путем он мог бы действовать на суздальских смердов, поддерживавших Боголюбского. Византия была далеко, и об ее империи суздальский смерд, само собою разумеется, и понятия не имел. Германский же «варвар» (варваром был, конечно, и суздалец), пришедший на территорию Римской империи, уселся на развалинах римских храмов и дворцов, библиотек и терм, водопроводов и цирков. Он маршировал по римским шоссе и пил воду из римских акведуков.

Пример Рима лежал тут же под носом. Так почему же на германца этот пример не подействовал никак? Для того чтобы перенять римский пример и римскую культуру, достаточно было нагнуться и поднять с земли остатки такого великого и такого недавнего прошлого. Однако германцы даже и этого не сделали. Империя была разорвана в клочки, а ее культура была совершенно забыта. Германцы на развалинах Рима очень напоминают мне то обезьянье племя — Бан-дар-Лог, — которое в очаровательной сказке Киплинга («Джунгли») расселилось в развалинах индийского храма: они были самым умным, самым интересным, самым талантливым племенем на земле и занимались они — драками. То же делали и германцы. Остатки римской культуры пришли обратно в ту же Италию совершение фантастическим путем: через Александрию, арабов, через мавританскую культуру в Испании. Но это было почти через тысячу лет после завоевания Италии германцами. Тысячу лет сидели люди на развалинах империи и культуры и даже не поинтересовались ни тем, ни другим. И после этого наши доблестные историки говорят о византийском примере, создавшем империю Российскую...

Но идея Римской империи была в Европе все-таки жива. Покоренные и порабощенные, но все-таки более культурные массы римского и романизированного населения остались. Недавнего прошлого они забыть не могли. Трудно сказать, чем

объясняется попытка Карла Великого. Французы считают его французом — т.е. галлом — и называют Шарлеманом, в одно слово — Charlemagne. Немцы, когда надо было доказывать французский империализм, считали его тоже французом. Когда надо было доказывать государственные таланты немцев, считали его немцем. Во всяком случае, попытка Карла родилась в сильно романизированных областях Европы, и против нее восстали прежде всего наиболее чистые германские племена: саксы и готы. Карл долго и упорно резал и тех и других; эта резня не кончилась и до его смерти, так что империя Карла Великого, собственно говоря, не существовала никогда: была только попытка и попытка неудачная. Потом возникла пресловутая Священная Римская империя германской нации, о которой кто-то из немцев — кажется, Гете — сказал, что она не была ни священной, ни римской, ни германской и вообще вовсе не была империей. Это был кровавый феодальный кабак, очень близко напоминающий современный нам «новый европейский порядок». Термин — был. Но «порядка» не было ровным счетом никакого. В тех же географических, климатических, торговых и прочих условиях и на той же территории, на которой уже веками существовала великая и организованная государственность, — воссоздать эту государственность оказалось невозможным. Судьбами послеримской Европы руководил совсем другой этнографический элемент, имевший совсем другую психологическую доминанту.

Священная Римская империя стоила массу крови. Вдобавок к обычным феодальным войнам прибавились войны между императорами и папами, между гвельфами и гибеллинами, германские князьки и корольки таскались в Италию только для того, чтобы возложить на тевтонские свои головы призрачную корону призрачной империи. Карл IV получил эту корону от папы под условием ни одного дня не оставаться в Риме и, получив корону, убрался восвояси. Императоры побирались по более богатым городам Германии, закладывали свои короны ростовщикам, разорили и Германию, и Италию — и только в 1806 году австрийский император Франц II отказался, наконец, от этого призрачного титула: в соседстве с Наполеоном этот титул удержать было бы трудновато.

Германские племена разрушили величайшую в мире государственную организацию и за полторы тысячи лет не создали ничего, годного ей хотя бы в подметки. Очередным ударом они разбили восточную наследницу этой империи — Византию. Во времена очередного крестового похода — в 1211 году — европейские рыцари заняли Константинополь, разграбили его дотла, и наиболее удачливые из победителей растащили территорию империи по своим феодам, — точно так же, как лет 600 тому назад их предки растащили Римскую. Впоследствии из этого страшного разгрома кое-что все-таки удалось спасти — но силы Византии были подорваны под корень, и бороться с турками она уже не смогла. В истории с Византией, как раньше в истории с Римом, — как позже в истории с мировой войной или — в промежутке между этими событиями — в истории с завоеванием Прибалтики, прозаические инстинкты грабежа были завуалированы поэтическими лозунгами идеи. «Гроб Господень» был поэтической вывеской. Дело шло не о Гробе, а о грабеже. И до Иерусалима дошли только самые что ни на есть неудачники: те, кто был поудачливее, застрял по дороге, перехватив себе более жирные куски, чем палестинская пустыня. Наиболее занятная история случилась, однако, с «крестовым походом детей», — самым идиотским предприятием, какое только знает многострадальная мировая история. Те остатки от десятков тысяч детворы, которые не перемерли по дороге от голода и прочего и которых некуда было девать, геноссы крестоносцы с папского благословения продали в рабство в Египет — в мусульманский Египет. В учебниках истории Средних веков нам об этом не рассказали, — а один этот штришок объясняет все крестовые походы лучше, чем все идеологические вывески над ними.

На другом конце тогдашнего цивилизованного мира — и в тот же отрезок времени — под поэтическим лозунгом христианизации Прибалтики шел такой же грабеж, как и в «Священной империи», в Риме, в Византии «Гроба Господня» и в Новой Европе национал-социализма.

Пример Прибалтики очень интересен хотя бы уже по одному тому, что он очень близок нам. И еще потому, что очередной

государственный эксперимент был проделан на совершенно иной почве, чем в Риме, Европе и Византии. Здесь, в Прибалтике, почва была совершенно девственной, не отягощенной никакими воспоминаниями и тормозами прошлого. Здесь немцы нашли племена, стоявшие почти на уровне каменного века, и здесь колонизационные возможности и способности немцев могли бы расправиться во всю свою ширь. Расправились. Что получилось?

Тевтонский орден, обосновавшийся в нынешней Прибалтике, имел чудовищные возможности. За ним была вся тогдашняя европейская техника, за ним была всегдашняя поддержка всего католицизма, за ним стояло средневековое рыцарство и дворянство. Его военная организация, вынесенная из феодальных войн и из крестовых походов, безмерно превосходила военные возможности его ближайших конкурентов. Непосредственное, суверенное владычество немцев над покоренной Прибалтикой длилось около 500 лет, со дня основания Риги (1201) до завоевания Прибалтики Петром. Но и после Петра — до Александра III — прибалтийские бароны оставались административными и экономическими властителями страны: Россия в ее внутренние дела почти не вмешивалась. За четверть века между 1918 и 1943 годом от этой семисотлетней колонизационной работы не осталось ровным счетом ничего: все было сметено поражением в Первой мировой войне, ликвидацией немецкого землевладения, переселением балтийских немцев heim ins Reich, Второй мировой войной. В результате от семисотлетней работы осталось только одно: ненависть к немецкому имени была сильнее даже и страха перед большевизмом.

Почти одновременно с немецкой колонизацией Балтики шла русская колонизация финских земель в районе нынешней Москвы. Русский пахарь, зверолов, бортник и пр. как-то продвигались все дальше и дальше на север, как-то оседали рядом с туземными финскими племенами — со всякой мерью, чудью, весью — уживались с ними, по-видимому, самым мирным образом, сливались и — из отрезанных от всего мира болот волжско-окского междуречья стали строить империю — и построили. Немцы, придя в Прибалтику, сразу же начали свою стройку с беспощадного

угнетения местных племен — такого беспощадного, какое даже и в те кровавые времена казалось невыносимым. И вместо соседей и помощников немцы получили внутреннего врага, который 700 лет спустя — в эпоху независимости балтийских племен — ликвидировал «немецкое влияние» под корень. За 700 лет немцы не смогли ни ассимилировать эти племена, ни даже установить с ними мало-мальски приемлемых отношений, точно так же, как они не сумели сделать этого ни в Италии, ни в Галлии, ни в Византии, ни в Палестине, ни в России — нигде.

Сидя на раскаленной почве народной ненависти, завоеватели не нашли ничего более умного, как поделиться на те же феоды, на какие были поделены и Европа, и Византия, и даже Палестина. Страна была утыкана замками, в которых каждый барон отсиживался не только от побежденных, но и от других баронов, своих соседей, от друзей и даже родственников. Феодальные войны в каждом уезде нашли себе совершенно адекватное выражение в организации правительственной власти вообще. Правящий немецкий слой был разделен между четырьмя основными силами: Орденом, который считал себя вассалом священного римского императора, епископом, который был подчинен Ватикану, купечеством, которое было связано с Ганзой, и рядовым дворянством, которое просто сидело на крестьянской шее. Эти четыре силы вели между собою пятисотлетнюю кровавую борьбу. И в трудные минуты этой борьбы звали на помощь иностранцев: кто шведов, кто датчан, поляков, а кто и русских.

Кровь внутренней феодальной войны смешивалась с кровью иностранных интервенций, страна становилась театром военных действий не только между отдельными баронами, Орденом, епископом и пр., но и между иностранными армиями.

Дело кончилось гибелью Ордена и присоединением Прибалтики к России.

Даже немецкие историки признают тот факт, что нормальная жизнь этой окраины началась только с момента включения ее в состав Российской империи.

История Тевтонского ордена — это только уменьшенная история Германии вообще. В ней схематически, упрощенно

и поэтому особенно наглядно отразились те психологические (а никак не экономические) предпосылки, которые создают социальный строй феодализма. Здесь, на тогда еще не тронутой никакою культурой почве тогдашней Прибалтики, эти психологические предпосылки действовали по всей своей вольной воле — и привели к гибели одну из колонизационных затей Германии. Экономических предпосылок, повторяю еще раз, не было ровно никаких: тут же рядом с Орденом вела свою колонизационную работу и Россия. Русские колонизаторы, засельщики, землепроходцы и пр. никаких феодов не организовывали, никаких замков не строили, никакой высшей расы из себя не разыгрывали. Это было одинаково: и в Сибири, и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Финляндии, и даже в Польше, с которой мы имели совсем особые тысячелетние счеты. И вот, построили империю. И, к крайнему сожалению, даже и мы до сего времени считаем эту стройку, так сказать, само собою разумеющейся, ничего особенного, ну вот взяли и растеклись. Немцы, как видите, — тоже растеклись. Но другими методами и с другими результатами.

Наши методы и наши результаты есть наше отличие от других наций — отличие, о котором наши историки, к крайнему нашему сожалению, не потрудились ни подумать сами, ни рассказать нам.

РУССКИЙ СФИНКС

Усилиями отечественной и иностранной литературы перед взорами отечественного и еще более иностранного читателя возник образ русского сфинкса, который то ли любит страдания, то ли не любит страданий, то ли претендует на право на бесчестье, то ли считает воинскую честь, может быть, выше, чем где бы то ни было в мире — «таинственная славянская душа», ничего не разобрать. И только в очень немногих книгах, написанных деловыми людьми, вдруг оказывается, что никакой таинственности и вовсе нет.

Я не знаю биографии м-ра Буллита, бывшего посла САСШ в Москве и автора книги о советской России. Судя по этой книге, м-р Буллит по своему социальному и прочему положению является деловым человеком. Так — из несколько другой области — самые умные книги о русской революции написаны несколькими русскими деловыми людьми: бароном Врангелем — отцом Главнокомандующего Белой армией, инженером Фединым, работником донецкого угольного бассейна, и некоторыми другими литературно неопытными людьми. Нужно сказать откровенно: они написаны скучно. Но они говорят дело, и они не говорят вздора. Так, Врангель, барон и миллионер, крупный помещик и предприниматель, рисуя быт дореволюционной России, дает общую картину и общий диагноз, стоящие выше, чем все мемуары и манифесты, объяснения и воспоминания, исторические труды и философические упражнения. Основные корни революции он видит в полном гниении правящего слоя России, к которому принадлежал и он сам, и самые глубинные корни всей русской неурядицы он видит в крепостном праве, которое искалечило все: «Я родился в кругу знатных, в кругу вершителей судеб народа, я близко знал и крепостных... И на всех крепостной режим наложил свою печать, извратил их душу... Довольных между ними было мало, **неискалеченных — никого**».

Вся русская история последних 200 лет была искалечена крепостным правом. Крепостное право есть основной факт русской новейшей истории. И основная причина революции. Но вовсе не от того, что оно «вызывало возмущение масс», а от того, что именно оно вырыло пресловутую «пропасть между интеллигенцией и народом». «Крепостной режим развратил русское общество», — пишет барон Врангель. Революцию устроило именно это развращенное общество. Не угнетенные массы пролетариата и крестьянства организовали великий погром русского народа, — а развращенные верхи дворянства, или, что почти то же, — интеллигенции. Граф Уваров, министр Николая I, говорил нашему историку Погодину: «Наши революционеры произойдут не из низшего сословия, они будут в красных и голубых лентах». — Так они и произошли.

Русская революция сейчас заняла классическое место Великой французской революции. Так называемый русский сфинкс сейчас навис над Европой — может быть, и над всем миром, он ставит перед этим миром такую загадку, какую его сказочный предшественник ставил всякого рода Эдипам. Неудачный отгадчик рискует быть проглоченным. Последним незадачливым Эдипом был Гитлер. Будут ли другие? Все Эдипы, до сих пор проглоченные Россией, никакого счастья русскому народу не принесли. Победные парады в Берлине и в Париже, в Вене и в Варшаве никак не компенсируют тех страданий, которые принесли русскому народу Гитлеры, Наполеоны, Пилсудские, Карлы и пр. Победные знамена над парижскими и берлинскими триумфальными арками не восстановили ни одной сожженной избы. Проглоченные Эдипы оказались тяжкой и неудобоваримой и очень тощей пищей. Лучше бы обойтись России без Эдипов, Эдипам — без России, и обоим вместе без дальнейшей игры в загадки. Тем более что если вы откинете в сторону и Гегеля, и Достоевского, и Розенберга и Ленина, то окажется, что за русским сфинксом не скрывается вовсе никакой загадки. Русская история является самой трагической историей мира, но она является и самой простой — за исключением истории САСШ. Так же проста и загадочная психология «таинственной славянской души».

Крепостной режим искалечил Россию. Расцвет русской литературы совпадает с апогеем крепостного права: Пушкин и Гоголь принадлежат крепостному праву целиком. Тургенев, Достоевский и Толстой начали писать в пору этого апогея. Чехов и Бунин — оба по-разному — свидетельствовали о гибели общественного быта, построенного на крепостных спинах. Чехов чахоточно плакал над срубленным «Вишневым садом», а Бунин насквозь пропитан ненавистью к мужику, скупавшему дворянские вишневые сады и разорявшиеся дворянские гнезда. Русская литература была великолепным отражением великого барского безделья. Русский же мужик, при всех его прочих недостатках, был и остался деловым человеком.

Вероятно, именно поэтому мне, например, так близки книги, написанные деловыми людьми.

Русский мужик есть деловой человек. И, кроме того, он трезвый человек: по душевному потреблению алкоголя дореволюционная Россия стояла на одиннадцатом месте в мире. Так что если «веселие Руси есть питии», то другие народы веселились гораздо больше. И Мартин Лютер писал, что немецкий народ есть народ пьяниц, что его истинным богом должен был бы быть бурдюк с вином. Дело русского крестьянина — дело маленькое, иногда и нищее. Но это есть дело. Оно требует знания людей и вещей, коров и климата, оно требует самостоятельных решений и оно не допускает применения никаких дедуктивных методов, никакой философии. Любая отсебятина, — и корова подохла, урожай погиб и мужик голодает. Это бердяевы могут менять вехи, убеждения, богов и издателей, мужик этого не может. Бердяевская ошибка в предвидении не означает ничего — по крайней мере, в рассуждении гонорара. Мужицкая ошибка в предвидении означает голод. Поэтому мужик вынужден быть умнее бердяевых. Поэтому же капитан промышленности вынужден быть умнее философов. Оба этих деловых человека вынуждены быть честнее философов, историков, социологов и пр.: они сталкиваются с миром реальных вещей и реальных отношений — как сталкиваются с ними и представители точных наук, и каждая ошибка состоит из потерь или разорения. Можно выпустить на литературный рынок любую теорию — анархическую или порнографическую, утопическую или вовсе сумасшедшую. Маркиз де Сад и Захер-Мазох — тоже имели свои тиражи и свою аудиторию, вероятно, состоявшую не только из садистов и мазохистов. Можно, как это сделали профессора Милюковы или Випперы, Шиманы или Новгородцевы, предложить общественному мнению свои литературно-исторические сооружения, которые назавтра же оказываются форменным вздором. Но нельзя выпустить на рынок автомобиль, который окажется неудачей: фирма будет разорена. Философско-политическая статистика может врать, сколько ей угодно, и врет, сколько ей угодно. Но страховое общество врать не может, ибо это означает разорение, — оно должно иметь настоящую статистику. Русская публицистика могла сколько ей было угодно врать о голоде среди дореволюцион-

ного русского пролетариата, но тот купец, который на основании этой статистики стал бы строить свои торговые планы, был бы разорен. Советская статистика может врать сколько ей угодно о зажиточной жизни советского пролетария, но если бы будущий мировой торговый банк стал бы строить на этой статистике свои торговые расчеты, он понес бы очень большие убытки. Вся восточная политика Германии Вильгельма и Гитлера была построена на очень тщательном изучении русской литературы — некоторые убытки понесли и Вильгельм, и Гитлер.

Литература есть всегда «кривое зеркало жизни», и иной она быть не может. «Все счастливые семьи счастливы одинаково и всякая несчастная семья несчастлива по-своему» — так начал Лев Толстой свою «Анну Каренину» — литература живет конфликтом. Где нет конфликта, нет и литературы. Но конфликтом не исчерпывается никакая жизнь. Деловой мир по тысячелетнему опыту знает очень хорошо: между продавцом и покупателем всегда возникает конфликт о цене. Но он всегда разрешается сотрудничеством, ибо без продавца нет покупателя и без покупателя нет продавца. Только в литературе, только на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу «все или ничего». Только на бумаге можно строить и социализм — на практике получаются каторжные работы.

Русская литература выросла в пору глубочайшего социального конфликта — правящий слой ушел от народа, и народ ушел от правящего слоя. Правящим слоем не был ни Николай II, ни даже его министры — правящим слоем была русская интеллигенция. Именно она была и бюрократией и революцией в одно и то же время. Правящим слоем был один граф Толстой — помещик и писатель, правящим слоем был и другой граф Толстой — помещик и министр. Один князь Кропоткин был лидером анархизма, другой князь был губернатором; один Маклаков был лидером парламентской оппозиции, другой — министром внутренних дел. Весь русский правящий слой делился по линии четвертого измерения. Каждый русский интеллигент служил правительству, получал деньги от правительства и был в оппозиции правительству. В его груди жили по меньшей мере

«две души», иногда и все двадцать, И все тянули в разные стороны. В эту эпоху и родилась великая русская литература.

М-р Буллит пишет: «Русский народ является исключительно сильным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения». То же говорю и я. Решительно то же говорят и самые голые факты русской истории: слабый народ не мог построить великой империи. Но со страниц великой русской литературы на вас смотрят лики бездельников.

Но по такому же чисто литературному принципу было построено и гуманитарное образование в России.

Русские университеты давали, конечно, специальные познания в области гражданского права, неорганической химии, атомистической физики или экспериментальной медицины. На этой базе выросли Кони, Менделеев, Капица и Павлов. Но эти же русские ученые давали или стремились дать точные знания. В области «общего образования» неточные ученые стремились «дать мировоззрение». Здесь с кафедр истории русской государственности, русской литературы, русского права и русской философии нам преподавались вещи, о которых я сейчас не могу сказать с достаточной степенью уверенности — был ли это обман или только самообман, самовнушение или только внушение. Мы, молодые «интеллигентные» университетские поколения страны, входили в нашу взрослую жизнь, будучи вооруженными самыми нелепыми представлениями о русской реальности. Там, где простирался гладкий фарватер нашей национальной жизни, нам мерещились научно обоснованные скалы. Там, где торчали скалы, нам мерещился фарватер. По этому фарватеру, научно расчищенному и научно проверенному, мы и въехали в НКВД.

Русская социально-философская медицина ошиблась во всем: в анамнезе, в диагнозе и в прогнозе. Последнее абсолютно бесспорно. Но если ошибка в прогнозе бесспорна абсолютно, то логически ясно, что и диагноз был глуп. Однако вся предшествующая более чем вековая деятельность русских социально-философских наук накопила чудовищные залежи цитат — и своих, и еще больше краденых. Эти залежи довольно прибыльно разрабатываются десятками тысяч ученых старате-

лей всего мира. Что ж? Выкинуть их всех вон? Расписаться перед всем цивилизованным и нецивилизованным человечеством, что все это «богословская схоластика» и больше ничего? Закрыть все библиотеки и свои текущие счета? Все это, очевидно, невозможно. И поэтому общественное мнение мира продолжает блуждать среди скудных цитатных зарослей научно-философского чертополоха, а общепринятые формулировки сводятся к полудюжине заезженных шаблонов об отсталой царской России, о «тюрьме народов», о неграмотной стране и, наконец, о той таинственной славянской душе, без которой так трудно было бы обойтись голливудским режиссерам.

ТАИНСТВЕННАЯ ДУША

Таинственная славянская душа оказывается вместилищем загадок и противоречий, нелепостей и даже некоторой сумасшедшинки. Когда я пытаюсь стать на точку зрения американского приват-доцента по кафедре славяноведения или немецкого зауряд-профессора по кафедре чего-нибудь вроде геополитики или литературы, то я начинаю приходить к убеждению, что такая точка зрения при наличии данных научных методов является неизбежностью. Всякий зауряд-философ, пишущий или желающий писать о России, прежде всего кидается к великой русской литературе. Из великой русской литературы высовываются чахоточные «безвольные интеллигенты». Американские корреспонденты с фронта Второй мировой войны писали о красноармейцах, которые с куском черствого хлеба в зубах и с соломой под шинелями — для плавучести — переправлялись вплавь через полузамерзший Одер и из последних сил вели последние бои с последними остатками когда-то непобедимых гитлеровских армий.

Для всякого разумного человека ясно: ни каратаевское непротивление злу, ни чеховское безволие, ни достоевская любовь к страданию — со всей этой эпопеей несовместимы никак. В начале Второй мировой войны немцы писали об энергии таких динамических рас, как немцы и японцы, и о государственной

и прочей пассивности русского народа. И я ставил вопрос: *если* это так, то как вы объясните и мне и себе то обстоятельство, что пассивные русские люди по тайге и тундрам прошли 10 тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а динамическая японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст Лаперузова пролива? Или — почему семьсот лет германской колонизационной работы в Прибалтике дали в конечном счете один сплошной нуль? Или как это самый пассивный народ в Европе — русские — смогли обзавестись 21 миллионом квадратных километров, а динамические немцы так и остались на своих 450 тысячах? Так что *или* непротивление злу насилием, *или* 21 миллион квадратных километров. Или любовь к страданию, — или народная война против Гитлера, Наполеона, поляков, шведов и пр. Или «анархизм русской души» — или империя на одну шестую часть земной суши. Русская литературная психология абсолютно несовместима с основными фактами русской истории. И точно так же несовместима и «история русской общественной мысли». Кто-то врет: или история, или мысль.

В медовые месяцы моего пребывания в Германии — перед самой войной, и в несколько менее медовые — перед самой советско-германской войной, мне приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским делам. Оглядываясь на эти дискуссии теперь, я должен сказать честно: я делал все, что мог. И меня били как хотели — цитатами, статистикой, литературой и философией. И один из очередных профессоров в конце спора иронически развел руками и сказал:

— Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой: или поверить всей русской литературе и художественной, и политической, или поверить герру Золоневичу. Позвольте нам все-таки предположить, что вся эта русская литература не наполнена одним только вздором.

Я сказал:

— Ну что ж, подождем конца войны.

И профессор сказал:

— Конечно, подождем конца войны.

Мы подождали.

Гитлеры и Сталины являются законными наследниками и последствиями Горьких и Розенбергов: «в начале бе слово», и только потом пришел разбой. В начале бе словоблудие, и только потом пришли Соловки и Дахау. В начале была философия Первого, Второго и Третьего Рейха — и только потом взвилось над Берлином красное знамя России, лишенной нордической няньки.

***

М-р Буллит, деловой человек, посмотрел на Россию невооруженным глазом, — простым глазом простого здравого смысла, без всяких или почти без всяких цитат. И он увидел вещи такими, какие они есть, может быть, с ошибкой на 30 градусов, но все-таки не на все 180. Такие люди были и в Германии. Я знаю их десятки. Это были купцы, инженеры, ремесленники, мужики из бывших военнопленных Первой мировой войны и колонистов, бежавших от революции. Они не были учеными людьми. Запас их цитат был еще более нищим, чем мой. Их дискуссионные таланты и возможности были еще более ограничены, чем мои. Но они знали вещи, которых не знал ни профессор Шиман, ни профессор Милюков, ни писатель Горький, ни философ Розенберг. Они, как и м-р Буллит, жили просто без цитат — без никаких цитат. Они просто ни о какой философии не имели никакого представления. И они видели простые и очевидные вещи, — вещи простые и совершенно очевидные для всякого нормального человеческого мозга, не изуродованного никакой философией в мире. И они буквально лезли на все стенки Восточного министерства и заваливали правительство меморандумами — и индивидуальными, и коллективными: только ради Бога не делайте этого, не пытайтесь завоевывать Россию. Все эти письменные и устные вопли попадали во всякие ученые комиссии и там разделяли мою судьбу: подвергались полному научному разгрому. И над попранными деловыми людьми торжествующе подымали свои лысины победоносные профессора.

Русскую литературно-философскую точку зрения на русский народ суммировал Максим Горький в своих воспоминаниях

о Льве Толстом: «Он (Толстой) был национальным писателем в самом лучшем и полном смысле этого слова. В его великой душе носил он все недостатки своего народа, всю искалеченность, которая досталась нам от нашего прошлого. Его туманные проповеди “ничегонеделания”, “непротивления злу”, его “учение пассивности” — все это нездоровые бродильные элементы старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом. Это все чуждо и враждебно Западу в его активном и неистребимом сопротивлении злу жизни».

«То, что называется толстовским анархизмом, есть по существу наше славянское бродяжничество, истинно национальная черта характера, издревле живущий в нашей крови позыв к кочевому распылению. И до сих пор мы страстно поддаемся этому позыву. И мы выходим из себя, если встречаем малейшее сопротивление. Мы знаем, что это гибельно, и все-таки расползаемся все дальше и дальше один от другого — и эти унылые странствования, тараканьи странствования, мы называем “русской историей”, — историей государства, которое почти случайно, механически создано силой норманнов, татар, балтийцев, немцев и комиссаров к изумлению большинства его же честно настроенных граждан. К изумлению, — ибо мы всегда кочевали все дальше и дальше, и если оседали где-нибудь, то только на местах, хуже которых уж ничего нельзя было найти. Это — наша судьба, наше предназначение — зарыться в снега и болота, в дикую Ерзю, Чудь, Весь, Мурому. Но и среди нас появлялись люди, которым было ясно, что свет для нас пришел с Запада, а не с Востока, с Запада с его активностью, которая требует высочайшего напряжения всех духовных сил. Его (Толстого) отношение к науке тоже чисто национально, в нем изумительно ясен древний мужицкий скептицизм, рождающийся из невежества».

Так говорит Заратустра русской литературы. Послушаем другого Заратустру — немецкого.

Альфред Розенберг, «Миф XX века» — официальная идеология нацизма: «Когда-то Россия была создана викингами, германские элементы преодолели хаос русской степи и организовали население в государственные формы, способствовав-

шие развитию культуры. Роль викингов позже переняла немецкая Ганза и эмигранты с запада вообще. Во время Петра I — немецкие балтийцы, а к концу XIX столетия также сильно германизированные балтийские народы. Но под внешним обликом культуры в русских все же таилось стремление к беспредельному расширению и неукротимая воля к подавлению всех жизненных форм, понимаемых как преграды. Смешанная монгольская кровь даже при сильной ее растворенности закипала при всяком потрясении русской жизни и побуждала массы к таким действиям, которые посторонним людям казались непонятными... Враждебные течения крови борются между собою... Большевизм — это восстание монгольства против северных форм культуры, это стремление к степи, ненависть кочевника к личности, это — попытка свержения вообще всего».

Эти две тирады являются все-таки документами: и Розенберг в своем документе почти дословно повторяет горьковское резюме русской истории и русской души. Всякая строчка в этих двух документах является враньем, сознательным или бессознательным — это другой вопрос. Каждое утверждение противоречит самым общеизвестным фактам и географии, и истории, каждое утверждение противоречит и нынешнему положению вещей. И, — стоя на чисто русской точке зрения, — как можно обвинять немцев — немецких философов и Розенберга в их числе, — в том, что они приняли всерьез русских мыслителей — и Горького в их числе.

Горькие создавали миф о России и миф о революции. Может быть, именно ИХ, а не Гитлера и Сталина следует обвинять в том, что произошло с Россией и с революцией, а также с Германией и с Европой в результате столетнего мифотворчества?

Я еще раз вернусь к фактам.

а) «Монгольская кровь» не имеет ничего общего с кочевничеством: наиболее типичные народы монгольской расы — японцы и в особенности китайцы — являются самыми оседлыми расами земного шара.

б) Кочевничество не имеет ничего общего с монгольской расой: цыгане не монголы, а американские трампы Джека Лон-

дона только повторяли литературные и бытовые мотивы горьковских босяков. Английский народ «расползся» еще больше русского — почти на весь земной шар. Самые чистые монгольские народы Европы — финны и венгры — сидят на своих местах и не кочуют вообще никуда.

в) Русский народ ни в каком случае не является народом степей — это народ лесов. Его государственность родилась и выросла в лесах. Степь для него всегда, — до конца XVIII века, — была страхом и ужасом, как ночное кладбище для суеверного неврастеника: степь была во власти кочевых орд и именно из степи шли на Русь величайшие нашествия ее истории.

г) Норманны в частности, немцы вообще, не имеют никакого отношения к стройке русской государственности. Эта государственность выросла в Москве в XIII–XVI веках, в условиях почти абсолютной отрезанности от Западной Европы. Нельзя считать «норманнским влиянием» то обстоятельство, что московские князья 500 лет тому назад имели легендарного предка, вышедшего якобы из варяг.

д) На северных территориях лесов и болот, у Ерьзи, Чуди и пр., русский народ осел не потому, что не нашлось места хуже, а потому что степные нашествия обратили южную часть страны в одну сплошную пустыню. Не мог же Горький не знать, что первая попытка основания государственности была сделана в Киеве и что от самого цветущего города в тогдашней Европе в XIII веке остались одни развалины, и весь юг был опустошен дотла.

е) В русской психологии никакого анархизма нет. Ни одно массовое движение, ни один «бунт» не подымались против государственности. Самые страшные народные восстания — Разина и Пугачева — шли под знаменем монархии — и притом легитимной монархии. Товарищ Сталин с пренебрежением констатировал: «Разин и Пугачев были царистами». Многочисленные партии Смутного времени — все — выискивали самозванцев, чтобы придать легальность своим притязаниям, — государственную легальность. Ни одна партия этих лет не смогла обойтись без самозванца, ибо ни одна не нашла бы в массе никакой поддержки. Даже полудикое казачество, —

флибустьеры русской истории, — и те старались обзавестись государственной программой и ее персональным выражением — кандидатом на престол. К большевизму можно питать ненависть и можно питать восторг. Но никак нельзя утверждать, что большевистский строй есть анархия. Я как-то назвал его «гипертрофией этатизма» — болезненным развращением государственной власти, монополизировавшей все: от философии до селедки. Это каторжные работы — но это не анархия.

ж) Толстовское отношение к науке ничего общего с психологией русского народа не имеет, как и его «ничегонеделание» или «непротивление злу». Что типичнее для русского народа: граф Лев Толстой, стоящий на самой вершине всей культуры человечества и эту культуру осудивший, или мужик Михайло Ломоносов, который с тремя копейками в кармане мальчишкой пришел в Москву из северных лесов — чтобы стать потом председателем первой русской Академии наук? Да, был Толстой. Но ведь был и Ломоносов. Был воображаемый Каратаев, но был и реальный Суворов. Был пушкинский Онегин — «забав и роскоши дитя» — и были крепостные мужики Гучковы. Были эпилептики Достоевского, но ведь были Иваны, в феврале 1945 года вплавь форсировавшие Одер. И — еще дальше: что типичнее для американского народа: Эдгар По и Уолт Уитмэн — или Эдисон и Форд? Что типичнее для русского народа: Пушкин и Толстой или Ломоносов и Суворов? Русская интеллигенция, больная гипертрофией литературщины, и до сих пор празднует день рождения Пушкина как день рождения русской культуры, потому что Пушкин был литературным явлением. Но не празднует дня рождения Ломоносова, который был реальным основателем современной русской культуры, но который не был литературным явлением, хотя именно он написал первую русскую грамматику, по которой впоследствии учились и Пушкины, и Толстые. Но Ломоносов забыт, ибо его цитировать нельзя. Суворов забыт, ибо не оставил ни одного печатного труда. Гучковы забыты, ибо они вообще были неграмотными. Но страну строили они, — не Пушкины и не Толстые, — точно так же, как Америку строили Эдисоны и Форды,

а не По и Уитмэны. Как Англию строили адвенчереры и изобретатели, купцы и промышленники, а не Шекспир и Байрон.

Русская интеллигенция познавала мир по цитатам и только по цитатам. Она глотала немецкие цитаты, кое-как пережевывала их и в виде законченного русского фабриката экспортировала назад — в Германию. Германская философия глотала эти цитаты и в виде законченного научного исследования предлагала их германской политике. Откуда бедняга Гитлер мог знать, что все это есть сплошной, стопроцентный, химически чистый вздор? Как было ему не соблазниться пустыми восточными пространствами, кое-как населенными больными монгольскими душами? Гитлер помер. Давайте говорить о мертвеце без гнева и пристрастия: если правы Достоевский, Толстой и Горький, то правы и Моммзен, Рорбах и Розенберг. Тогда политика Гитлера на востоке является исторически разумной, исторически оправданной и, кроме того, исторически неизбежной. Если русский народ сам по себе ни с чем управиться не может, то пустым пространством овладеет кто-то другой.

Если русский народ нуждается в этакий железной няньке — то по всему ходу вещей роль этой няньки должна взять на себя Германия. И это будет полезно и для самого русского народа. Розенберг так и пишет: «Теперь ему (русскому народу) придется перенести свой центр из Европы в Азию. Только таким образом он, может быть, найдет свое равновесие, не будет вечно извиваться в фальшивой покорности и одновременно зазнаваться, желая сказать “потерявшей свою дорогу Европе” свое “новое слово”. Пусть он, справившись с большевизмом, это “слово” направит на восток — туда, где ему самому есть место. В Европе для этого “слова” места нет».

Как видите А. Розенберг писал в тоне безусловной уверенности: русскому народу «придется перенести свой центр из Европы в Азию». И, как видите, уверенность А. Розенберга кончилась виселицей. Но...

Если прав Горький, то прав и Розенберг, почти буквально повторявший Горького. Если оба правы, тогда русская оккупационная зона Германии является только плодом воспаленного

воображения «наивных реалистов». Или — еще резче: если и в русской, и в германской философии имеется еще что-то, кроме сплошного вздора, то мы, все остальные люди, должны мощными колоннами отправиться в ближайший сумасшедший дом и там просить вылечить нас от галлюцинаций реальной действительности. От галлюцинаций голода и страха, от иллюзии русской армии, уже в третий раз в истории оккупирующей Берлин, — от навязчивой идеи о полном и абсолютном провале всех теорий, всех цитат, всех полных собраний сочинений. Все-таки: или — или. Кто-то из нас должен быть отправлен в сумасшедший дом. Вопроса о неточности, о случайном промахе, об «эрраре гуманум эст»[7] — здесь нет и быть не может. О Ломоносове, Суворове, Менделееве, о степи и лесах, о монголах и их истреблении, о народных бунтах и их лозунгах Горький не знать не мог. Как не мог Ключевский не знать о декабристских планах истребления династии или Покровский — о борьбе Николая I с крепостным правом, или — все вместе взятые, о самых основных фактах русской истории вообще. Как, с другой стороны, Розенберги и Шиманы не могли, не имели права не знать истории наполеоновского похода в Россию или происхождения украинской самостийности. Все они по меньшей мере не имели права не знать: за это знание им платили деньги, называли профессорами или мыслителями, доверяли им как специалистам — как вы доверяете врачу.

ЧТО ЕСТЬ ДОМИНАНТА

Общественные науки континентальной Европы делятся на два неравных лагеря: революционный и реакционный. Революционный занимает процентов 95 всей научной территории Европы. Реакционный зовет назад — к инквизиции, революционный — вперед, к Дахау. Иногда они смешиваются в одном лице: как наш Бердяев начал с призыва: вперед к Чрезвычайке! — и кончил воплем о «Возврате средневековья» — так называется

[7] Errare humanum est — человеку свойственно ошибаться *(лат.)*.

одна из его книг, посвященная одной из его переоценок ценностей. Революционный зовет к фаланстерам и колхозам, реакционный — к феодам и крепостному праву. Этим разница между ними, по существу, и ограничивается. Ибо прогрессивные Соловки или Дахау оказываются тем же, чем была ретроградная инквизиция. Интернациональный космополитизм нежно и нечувствительно переходит в предельную степень шовинизма, а шовинистический расизм вдруг перекрашивается в интернациональную организацию Новой Европы. Не забудьте, пожалуйста, проф. Виппера: все это «богословская схоластика — и больше ничего». Под богословской схоластикой проф. Виппер понимает, разумеется, совершеннейший вздор.

«Прогрессивная» часть этой схоластики говорит о равенстве народов. Реакционная цитирует Киплинга или Чемберлена (немецкого). Прогрессивная борется за равноправие негров в САСШ, реакционная отстаивает английские колониальные владения. САСШ с неравноправием негров были прогрессивной страной, старая Россия с неравноправием евреев была реакционной страной. Реакционная Российская империя имела министрами и армян, и греков, и поляков, и татар, и немцев; революционная Франция орала: «a bas les metecs!» и лишила арабов Северной Африки не только политических, но и гражданских прав. Теперь, когда революционная и интернациональная советская Россия высылает на север Сибири целые народы — раньше немецких колонистов, потом крымских татар, потом кавказских горцев и миллионы поляков — на землю, о которой никто в мире не может сказать, кому эта земля будет принадлежать завтра, — надо надеяться, мечтать и молиться, что мировой плательщик налогов в пользу философии, социологии, геополитики и пр. поймет наконец: все эти налоги уплачены зря. И что реакция ничем, кроме схоластических орнаментов, не отличается от революции. И что мы, не имея даже и подобия общественных наук, сделаем лучше всего, если положимся на простой здравый человеческий смысл. Он ничего не измерит с точностью одной тысячной микрона, но он, по крайней мере, предохранит нас от вооруженных экскурсов в область таинственной славянской души или таких же экскурсий в область та-

инственного социалистического рая. Это, сознаюсь, немного. Но это, сознайтесь, все-таки больше, чем Дахау и Соловки.

С точки зрения этого здравого смысла мы можем установить, что а) люди не равны, и что б) не равны и народы. Никто, по-видимому, даже и самые последовательные сторонники самых прогрессивных интернационалов, не станут утверждать, что Ньютон равен ботокуду, или что средний англичанин равен бушмену, что карликовые племена Южной Африки равны американской, французской или немецкой нации. Марксистская фразеология обходит этот пункт путем утверждения о «культурной отсталости» африканских народов, а культурная отсталость является-де, результатом неблагоприятной исторической обстановки. Если, значит, для этих народов вы создадите благоприятную историческую обстановку, то даже и на ботокудской почве начнут произрастать Платоны и Ньютоны. Это будет революционный вздор. Реакционный вздор был сформулирован германской расовой теорией. На практике, повторяю, получается одно и то же: немцы вырезали крымских караимов за их еврейское происхождение, большевики выслали крымских татар за их контрреволюционные симпатии. В результате совместной деятельности революции и реакции коренное население Крыма ликвидировано все. Очень вероятно, что крымские татары рассматривали немецкую теорию как прогрессивную, а советскую как реакционную. Караимы — наоборот. С моей точки зрения, обе теории являются политической уголовщиной.

Ньютон и ботокуд занимают крайние позиции на общем фронте человечества. Остальные нации, народы и племена расположились на каких-то средних участках. Каждая из них имеет доминанту национального характера: некую сумму, по-видимому, наследственных данных, определяющую типическую реакцию данной нации на окружающую ее действительность. Эта действительность, по-видимому, не имеет никакого влияния на общий склад национального характера: в одних и тех же исторических и географических условиях разные народы действуют и продолжают действовать по-разному. Индейцы и негры САСШ, несмотря на полную общность географии, климата и политичес-

кого устройства, по-разному реагировали на создавшийся вокруг них североамериканский быт: индейцы не приноровились и вымирают, негры приноровились и размножаются быстрее белого населения страны. Таинственное племя цыган проходит сквозь всю нашу цивилизацию, как привидение сквозь стену замка или как картечь сквозь привидение... Вы их не соблазните ни миллионами, ни поместьями, ни дворцами: все это им ни к чему. Они ведут образ жизни, который нам кажется истинно собачьим и, вероятно, думают, что истинно собачий образ жизни ведем именно мы. Может быть, они не очень ошибаются.

Позвольте мне для иллюстрации одной из «национальных доминант» привести несколько анекдотический, но совершенно реальный случай.

Осенью не то 1929, не то 1930 года на московских улицах появились цыгане несколько непривычного вида. На них как обыкновенно были какие-то ослепительно красные штаны, пронзительно зеленые кафтаны, иссиня-черные бороды — все, как полагается. Но, кроме того, они были вооружены новехонькими портфелями и автоматическими ручками и разъезжали не на рваных своих телегах, а на советских авто. Вид у них был деловой и озабоченный. Никто не мог ничего понять.

Потом выяснилось: это были довольно многочисленные члены Центрального Совета цыганского национального меньшинства — организации, которой советская власть поручила работу по одомашнению их кочевых соплеменников. Центральный Совет приступил к своей культурной организационной работе и получил свою резиденцию. Резиденцией почему-то оказалось огромное и до сих пор пустовавшее здание крупнейшего ресторана в России — «Яра». «Яр» же в свое время был воспет целыми поколениями русских пропойц аристократического происхождения, и до сих пор нет, кажется, ни одного крупного города в мире, где бы эмигрантские потомки этих пропойц не возродили бы этого славного имени. Русские рестораны под этим именем понатыканы везде.

По древней репортерской привычке я зашел в «Яр». Стучали молотки и сновали цыгане. Шла великая социалистичес-

кая стройка. Ремонтировались запущенные отдельные кабинеты, ставились столы, развешивались портреты, основывался культурно-организационный центр советского цыганства. Потом этот центр населился машинистками, бухгалтерами, завами и помзавами, и даже мне как-то было предложено развивать спорт среди угнетенной цыганской национальности. На эту тему я вел кое-какие переговоры с обладателями красных штанов и кожаных портфелей.

Наконец Центральный Совет был отремонтирован и пущен в ход. Все было как и во всякой советской лавочке: все бегали из комнаты в комнату и все делали вид, что что-то делают — делать же было совершенно нечего. Машинистки и бухгалтеры были русские, ответственные работники были цыгане, а надо всем этим, где-то почти незримо, околачивалось несколько политических комиссаров ВКП(б). Обладатели красных штанов заседали в отдельных кабинетах и томились, как рыба на суше. Я написал длинный и совершенно идиотский проект развития спорта среди трудящихся цыганских масс, и ответственные работники одобрили его не читая: грамотных из них не было ни одного. Юные цыганки и цыгане шмыгали по коридорам и вели таинственные беседы на никому не понятном языке. Это было самое странное советское заведение, какое я видел на всех территориях СССР.

В этом заведении был основан и буфет, как и во всяком другом. Потом кто-то более оборотистый, чем я, организовал при культурно-просветительном отделе Центрального Совета любительский хор. Потом в буфете, или, точнее, из-под буфета стала продаваться водка. Потом, в силу огромности задач и краткости сроков была установлена ночная смена. Новый «Яр» стал до странности напоминать старый. В отдельных кабинетах ответственных работников выступали цыганские хоры культурно-просветительного отдела, и портреты Маркса–Ленина–Сталина изумленно взирали на реставрацию старых социальных взаимоотношений:

Мы не можем жить без шампанского
И без пения без цыганского.

Мои скромные проекты перестали вызывать чей бы то ни было интерес. Но они все-таки давали право на законное посещение буфета.

Этим правом я пользовался редко: «Яр» находился на другой стороне города. Как-то весною я очутился в окрестностях Центрального Совета и решил проведать буфет. Перед монументальным входом в цыганско-шампанский дворец стоял милицейский пост: «Вы — куда?» Я объяснил. «Ваши документы!» Я показал. «А теперь — катитесь дальше», — сказал мне постовой. Я спросил: «Так в чем же дело?» и получил ответ: «Это вас не касается». Я настаивать не стал.

Оказалось, что при первых же лучах весеннего солнца Центральный Совет цыганского национального меньшинства в одну-единственную ночь стройно и организованно распродал весь свой дворец и скрылся в неизвестном направлении. Были сорваны портреты со стен и кожа с кресел, сперты буфетные часы и брошены на произвол судьбы сочинения Маркса–Ленина–Сталина и культурно-просветительная литература, распроданы пишущие машинки и арифмометры. Личный и ответственный состав исчез совершенно бесследно: растворился в каком-то таборе и пошел кочевать, воровать и гадать по всем республикам СССР. Ни автомобилями, ни портфелями не соблазнился никто. Даже и ОГПУ махнуло рукой: где их теперь поймаешь? Да и какой смысл?

Вот это и есть — цыганская доминанта, определяющая черта национального характера, по-видимому, неистребимая даже и веками. Почти такую же резкую черту демонстрирует и история еврейского народа: еще и царь Соломон был комиссионером между Тиром, Сидоном, Египтом и Месопотамией — так с тех пор еврейский народ и остался народом-комиссионером, сближающим другие нации, облюбовавшим торговлю, биржу, прессу, всякое посредничество. Палестинские террористы и Британская империя переживали повторение саддукеев и Римской империи, а спокойное и богобоязненное еврейское население ругало Иргун Цво Леуми, как оно раньше ругало Маккавеев. Думаю, что Иудея времен Эттли немного отличается от Иудеи времен Тита.

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Народы не меняются. Или если меняются, то только в случаях весьма основательного смешения рас, т.е. рождения, собственно, уже иного народа, — как это случилось с Грецией или Италией. Русский народ, или, точнее, его великорусская ветвь, есть результат смешения славянской крови с финской — не с татарской. По-видимому, это смешение началось задолго до освоения окско-волжского междуречья. Во всяком случае, основные черты русского государственного строительства мы можем обнаружить уже в Киевской Руси. Но если мы станем формулировать основные черты русской национальной доминанты, то мы неизбежно столкнемся с двумя обстоятельствами.

Первое. Во всей истории России есть некоторые ясно и бесспорно выраженные черты и факты, — более или менее общеизвестные и более или менее игнорируемые историками.

Второе. Диапазон разногласий между историками — русскими и иностранными — объясняется не их научными взглядами, а их политическими целями: наука есть служанка политики. И если маркиз де Кюстин выпустил о России действительно похабную книгу, то мы, русские, с сокрушением должны констатировать тот факт, что Шишко, Щеголев или Покровский — авторы конца прошлого и начала нынешнего столетия — писали о России никак не более лестно, чем писал де Кюстин. Де Кюстин боялся России и хотел мобилизовать против нее Европу. Покровский и прочие хотели переделать Россию и внушали своим читателям представление о том, что эта, настоящая Россия — не годится никуда, — иначе зачем же было бы ее переделывать? Правые историки типа Иловайского считали, что все, абсолютно все обстояло и обстоит совершенно благополучно — поэтому не только переделывать, но и улучшать ничего нельзя: жизнь должна застыть. Это будет приблизительно точка зрения Победоносцева: Россию нужно заморозить, законсервировать. Эта точка зрения отвечала интересам поместного слоя, которые наиболее ярко и откровенно выразил Левин в «Войне и мире», Победоносцев в «Московском сборнике», Катков в «Московских ведомос-

тях», и выражают крайне правые издания в эмиграции. Сейчас стыдно читать выпады Каткова против суда присяжных. Сейчас неудобно читать те золотые сказки о старой России, которые блещут одним достоинством: полной неправдоподобностью. Правые склонны напирать на «славу русского оружия», на внешнеполитические достижения России и старательно обходят ее внутренние социальные противоречия. Левые в «славе русского оружия» видят не защиту страны и народа, а голый империализм. Социальные противоречия, существовавшие реально, — левые раздували и раздувают как могут. Можно было бы сказать: левые оказались правы: революция все-таки произошла. Но можно сказать и совершенно иначе: при революции все, в том числе и «социальные противоречия», оказались неизмеримо острее и хуже, чем они были при царском строе. А национальное чувство оказалось сильнее, чем ожидали и правые и левые вместе взятые: разгром Гитлера есть, конечно, результат национального чувства, взятого в его почти химически чистом виде. Сейчас мы реально стоим перед опасностью того, что Запад, обещая России всякие материальные блага, остается слепым к национальному инстинкту народа, ибо Запад действовал и продолжает действовать на основании тех почти единственных источников, какие имеются в его распоряжении — вот вроде горьковской фразы об «унылых тараканьих странствованиях». История русского народа еще не написана. Есть «богословская схоластика», есть «философская схоластика». Обе подогнаны под заранее данную цель и обе базируются на сознательном искажении исторических фактов. Схема русской истории, лишенная, по крайней мере, сознательного искажения, будет в одинаковой степени неприемлема ни для правых, ни для левых читателей. Однако она может дать ответ на два вопроса. Первый: как это все случилось, и второй: как сделать так, чтобы всего этого больше не случилось.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КИЕВ И МОСКВА

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА

Мы строим свою программу на основании реального опыта нашего прошлого. Вся трудность вопроса заключается в том: чем же было наше реальное прошлое? Кто дает наиболее точный ответ на этот вопрос?

Проф. Виппер признавался, что для изучения истории нации «у нас не сделано ничего, даже ничего не начато». И что «наши платоновские диалектические методы — только "богословская схоластика"». Но если «ничего даже не начато» и если методы нашей историографии есть только схоластика — пусть и богословская, — то где же найти опорные точки для реальной оценки нашего бессмертного в истории человечества исторического опыта? Были ли правы западники, утверждавшие, что до Петра Россия стояла на краю гибели, или были правы славянофилы, видевшие в Старой Москве расцвет нашего национального бытия? Были ли правы революционные историки, видевшие в монархии российской сплошную «азиатчину», или реакционные, видевшие в самодержавии этакий национально-политический мазохизм: народ-де отказывается от своей воли и от своих прав для того, чтобы заняться нравственным самоусовершенствованием. Был ли прав Бердяев, утверждавший, что нет ничего более чуждого русской психике, чем государственность, или Кос-

томаров, видевший основную черту русского национального характера в «стремлении к воплощению государственного тела»?

Выход из этой чересполосицы идей может быть найден только на путях голого репортажа. Или, еще точнее, голого полицейского репортажа. Нужно установить ряд основных фактов русской истории, фактов бесспорных для всех историков, — как правых, так и левых — такие факты есть. И их появление на нашей исторической сцене нужно объяснить не философским, а полицейским путем: qui prodest — кому это было выгодно? — как ставит этот вопрос всякое полицейское дознание при расследовании всякого преступления, отбрасывая в сторону и всякую мистику, и всякую философию. И, кроме того, всю сумму наших исторических переживаний нам нужно рассматривать с точки зрения ее последнего результата. Последний результат нашего исторического процесса является на данный момент — большевистская революция. Будут, конечно, и другие моменты, но в данный момент она завершает собою целый исторический этап: Санкт-Петербургскую Россию, которая не воскреснет ни в каком мыслимом случае.

Большевистская революция имеет два совершенно различных лица. Первое: социалистический аппарат подавления и террора — аппарат беспримерный в истории человечества, и второе — прояснение национального разума, вытекающее из всего того, что народ пережил и что народ передумал. В данный момент трудно сказать, какой из этих фактов окажет большее влияние на дальнейшее бытие России. «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Из всех своих катастроф Россия всегда выходила сильнее, чем она была до катастрофы. Нет основания полагать, что после советской катастрофы Россия окажется не булатом, а стеклом.

Та репортерская концепция русской истории, которая приведена на этих страницах в предельно сжатом виде, есть концепция общая для всей контрреволюционно мыслящей русской интеллигенции, прошедшей советский ад. Эта концепция неприемлема для традиционного мышления и правой, и левой эмиграции. Ее генезис сводится к тому, что и большевистская теория, и большевистская практика обнажили до предела фактическую сторону по-

литики прошлого, т.е. истории, и до такого же предела обнажили историю настоящего, т.е. политику: и политика и история показаны в их, так сказать, голом виде. Сейчас уже совершенно невозможно говорить о том, что русско-турецкие войны велись во имя «креста на Св. Софии», как невозможно обойти молчанием цареубийства XVIII века. Полная и категорическая переоценка роли петровских реформ находит простое объяснение в таком факте.

Когда мы изучали эти реформы по правым и по левым источникам, мы относились ко всей сумме этих преобразований с, так сказать, романтической точки зрения. Когда мы очутились в раю товарища Сталина-Джугашвили, то мы не могли не обнаружить того факта, что все это уже было при Петре I. Сталинская реклама Петру I и его эпохе подлила масла в огонь: если Сталин считал себя, так сказать, законным правопреемником петровского наследия, если в его кабинете висел портрет «великого преобразователя», — то обо всем этом нужно, по крайней мере, подумать. Когда мы стали думать, мы, — более или менее вся контрреволюционная интеллигенция русской революции, — то мы автоматически обнаружили полное тождество зарождения и расцвета целей и методов — как первого, так и второго крепостного права. Иногда даже и тождество официальной фразеологии. Образ Петра Великого исчез бесследно и бесповоротно. Это есть факт, который должен быть принят во внимание совершенно независимо от того, какую именно эмоцию вызовет эта переоценка в рядах русских монархистов. Факт есть факт. Если вы не хотите его видеть — ваше дело.

Дальше русская история писалась с точки зрения западной философии, определялась в терминах этой философии и оценивалась с точки зрения европейских исторических явлений. По поводу основного вопроса России — земельного вопроса — эсэровский историк И. Бунаков (Фундаминский) писал: «Русский земельный строй восстанавливался до мельчайших деталей по западным земельным образцам... Русские крестьяне сравнивались с европейскими пейзанами или бауэрами... помещики — с сеньорами или лендлордами... Оттого “душа” русского земельного строя для русского сознания оставалась закрытой».

Но так как это «сознание» определяло собою и законодательство, то русская земельная проблема так и оставалась нерешенной до П. Столыпина — да и при нем было найдено только начало решения.

Точно таким же путем были искажены и начала русского народного представительства, замененного западноевропейской «конституцией» — пусть и урезанной и бессильной. Точно таким же путем были искажены принципы отношения Церкви к государству, правящего слоя к массе и к нации, монархии к народу и народа к монархии. И так как наша историография родилась в век импортированного с Запада крепостного права, то фактическая роль русской монархии по отношению к русскому народу, к русским массам, или, точнее, ко всем «массам» России оказалась извращенной. Остался замазанным тот факт, что великорусская монархия родилась из восстания низов против верхов, что она все века своего реального существования стояла на защите народных низов и что в феврале 1917 года не было никакой народной революции.

ТВОРИМЫЕ ЛЕГЕНДЫ

А. Розенберг в своем «Мифе XX века» доказывал, что массы могут быть приведены в движение только «мифом», творимой легендой, обращенной как к будущему, так и прошлому. «Миф» должен соответствовать не фактам, а желаниям. Факты, которые были созданы мифотворчеством А. Розенберга, не захотели соответствовать его желаниям. Но в общем, как общее правило, история пишется по известному социальному заказу: в мифе должна воплощаться известная социальная программа мифотворческого класса, народа или нации. В конечном счете миф всегда кончается катастрофой.

В русской историографии были средактированы четыре основных мифа: миф о призвании варягов — или варяжском завоевании, миф об отсталости Москвы, миф о гениальности Петра I и миф о февральской народной революции. Варяж-

ский миф соответствовал социальной потребности раннего правящего слоя Киевской Руси отгородиться от остальной массы населения страны своим происхождением, хотя бы от Рюрика. Совершенно таким же способом японская династия произошла от луны.

О рюриковском происхождении, конечно, не может быть и речи. В. Ключевский (т. 1, стр. 197) пишет: «В дружине киевского князя мы находим рядом с туземцами и обрусевшими потомками варягов — тюрков, берендеев, половцев, хазар, даже евреев, угров, ляхов, литву и чудь». Само собою разумеется, что ни берендеи, ни евреи никак не могли происходить от Рюрика, — но, конечно, для такого происхождения делали все, что возможно. Есть и еще одна сторона вопроса: всякая генеалогия строится по мужской линии, совершенно опуская женскую. Но если на протяжении тысячи лет с женской стороны случится хотя бы одно внебрачное зачатие, то ясно, что от всего генеалогического дерева не останется вовсе ничего. Почти также ясно, что на протяжении тысячи лет стопроцентное соблюдение супружеской верности исключается начисто. Таким образом, от рюриковского происхождения русского дворянства только и остается что миф. Но этот миф был нужен социально. Точно так же, как социально нужен был миф о том, что Старая Москва стояла «над самой бездной», или что в 1917 году монархию свергли «народные массы».

От реформ петровской эпохи начинается закрепощение крестьянства и рождается шляхетство: слой, категорически противоречивший государственным традициям России. Этому слою нужен был миф европеизации преобразований, гения, величия. Вот почему Петр I и Екатерина II получили титул Великих.

Александр II такого титула не получил. Миф о народной революции 1917 года нужен был обеим половинам бывшего правящего слоя: левым — для того, чтобы доказать: вот видите, мы предупреждали против «самодержавия»; правым, — для того, чтобы замазать и свои грехи, и свое бессилие.

Таким образом, объективной истории у нас еще нет. Как общее правило, правые историки интересуются больше все-

го фасадной стороной имперской стройки: войнами и победами, завоеваниями и «славой русского оружия». Левые — роются на задворках этой стройки. Типичный правый историк — Иловайский, по учебникам которого учились наши поколения. Типичный левый — Покровский, общий тон которого ничем по существу не отличается от повествования пресловутого маркиза де Кюстина. Среднюю позицию занимает Ключевский, который, однако, в общественных условиях своего времени был вынужден не договаривать целого ряда вещей, а многое и замалчивать вовсе. Советская историография всех «эпох» советской политики внесла в русскую историографию очень много нового: она, во-первых, раскрыла все тайны и все архивы и вывернула наизнанку все грехи русского прошлого, а такие грехи, конечно, были. И, во-вторых, в последний период, в период «национализации», именно советская историография сделала очень много для того, чтобы отмыть русское прошлое от того презрения, которым его обливали почти все русские историки. Как ни парадоксально это звучит, именно советская историография — отчасти и литература — проделали ту работу, которую нам, монархистам, нужно было проделать давно: борьбу против преклонения перед Западной Европой, борьбу за самостояние русской государственности и русской культуры. Но чем ближе к современности, тем больше эта историография пронизана мифами марксизма, пролетариата, классовой борьбы и гениальности советских вождей, тех, конечно, которые успели помереть своей смертью. Во всяком случае, привычного русского самоослепления в советской историографии нет. А наша старая историография, собственно, почти только этим и занималась.

Предлагаемый читателю «эскиз русской истории» по самому существу не имеет «пропагандных целей». Эта попытка поставить диагноз всем нашим историческим заболеваниям и на основании этого диагноза наметить общие контуры здорового государственного режима: как мы должны строить нашу национальную гигиену для того, чтобы сно-

ва не попадать на хирургическое ложе поражений и революций. Именно поэтому я стараюсь избегать канонизации нашего прошлого вообще и канонизации нашего монархического прошлого в частности. «Несть бо человек, аще жив был и не согрешил», — это относится также и к русской монархии. Если бы она была организована лучше, мы не имели бы ни Февраля, ни Октября. Значит, нам нужно найти и те ошибки, которые были допущены русскими монархами и русской монархией и русскими монархистами. Это не вяжется с общепринятым в правой эмиграции высокоторжественным тоном, но, я полагаю, для высокоторжественного тона у нас сейчас достаточных оснований нет.

Как я уже писал, первоначальный вариант этой работы — 1500 страниц — пришлось сжать. Но и первоначальный вариант далеко не стоял на уровне тех требований, которые предъявит ему наше «завтра». Во-первых, я не специалист в истории, и целый ряд весьма существенных вещей я обнаружил только случайно, — следовательно, некоторый налет дилетантизма неизбежен. Во-вторых, объективные условия не дали мне возможности пользоваться не только библиотеками, но даже и литературой. Тем не менее, я полагаю, что основной стержень русской истории очерчен правильно, и надеюсь, что в будущем эту работу мне удастся переработать. Но в данный момент нам совершенно необходим хотя бы краткий, хотя бы неполный, хотя бы неполноценный очерк истории русского народа, т.е. его крестьянства. Мы должны иметь в виду, что после ликвидации большевизма в России начнется совершенно новая эпоха в ее жизни, что эта эпоха не будет повторением, хотя бы и улучшенным, петербургского периода и что перед Россией встанет целый ряд совершенно новых задач, как внешних, так в особенности и внутренних. И если нам придется решать эти задачи, нам нужно учесть: как и когда русский народ решал их удачно и как и когда он решал их неудачно. В общем на протяжении почти двенадцати веков особыми неудачами мы не страдали. И уже по одному этому особых оснований для пессимизма у нас нет.

НАЧАЛО КИЕВА

История всякого древнего народа начинается с легенды. И чем древнее народ, тем фантастичнее легенда. Древние монархии Востока начинали свое происхождение прямо от богов. Более скромная японская династия происходила от луны, и только после капитуляции 1945 года японский император был вынужден отречься от своего лунного происхождения.

Чем ближе к нынешним временам, тем легенды скромнее. Основатели Рима были только сыновьями весталки и бога войны. Михаил Феодорович Романов, избранный на царство в 1613 году, оказался отпрыском «прекрасноцветущего и пресветлого корени Цезаря Августа». Профессор П. Милюков старался произойти от «мужа честна Малика», прибывшего на Русь из «земли фряжской».

В легендарном происхождении древних династий главную роль, по-видимому, играло требование практической целесообразности. Если тэнно[1] происходит от солнца и луны, то, ясно, никакой обычный смертный конкурировать с ним не может: так создается незыблемость власти. Если династия пришла откуда-то со стороны — с неба или с земли, в данном случае не так важно, — то ясно, что она как-то одинаково стоит над всеми слоями, группами, классами, племенами и прочим всей данной страны.

Поэтому практика современных монархий выработала обычай, по которому монарх вступает в брак только с иностранной принцессой. Этот обычай имеет и свои неприглядные стороны: будущая императрица или королева вынуждена менять родину, имя, религию, язык и пр. И у всякого человека остается достаточно оснований сомневаться в том, что все эти перемены проделаны искренне. Но, с другой стороны, в нашей русской истории родственники царицы-туземки неизбежно вызывали целый ряд внутриполитических осложнений: они уже выделялись из общей массы граждан страны и подданных монарха, претендовали на привилегии, что было бы не так и пло-

[1] Букв.: небесный государь *(яп.)* — титул японского императора.

хо, но они претендовали и на политическую роль, что было плохо почти всегда.

Самая древняя функция монархии — это суд. Основное требование всякого суда — это беспристрастность судьи, положение его вне или над сторонами. Отсюда тенденция приглашать монарха из-за моря, как, например, в Англию был в 1688 году приглашен Вильгельм Оранский и в 1714 году ныне царствующая Ганноверская династия. Очень вероятно, что легенда о призвании варягов имеет такой же чисто практический смысл. Она была записана уже в христианское время, следовательно, божественное происхождение отпадало, а при тогдашнем состоянии исторической науки до «пресветлого корня» просто еще не додумались.

О весталке и Марсе сейчас, кажется, не спорит никто. О варягах все еще спорят. Наши историки в течение лет по меньшей мере 200 вели спор на эту тему. Этот спор можно было назвать совершенно бессмысленным, если бы обе спорящие стороны не защищали бы совершенно конкретных политических программ сегодняшнего дня.

Профессор Виппер, анализируя труды некоторых германских историков древнего Рима, с очень большой степенью убедительности продемонстрировал то прискорбное обстоятельство, что к истории Древнего Рима все эти труды собственно никакого отношения не имели. Они, эти труды, имели целью показать на древнеримском примере спасительность той германской партийной программы, какую разделял данный историк. Профессор Виппер писал до той эпохи, когда «марксистская историография» сконсолидировалась в окончательный шулерский притон... Но скромные зачатки этого притона существовали, оказывается, и в досталинские времена. Люди коверкали, извращали, фальсифицировали римскую историю, чтобы ее иллюстрациями подкрепить свои партии. По точно такой же схеме действовали и русские историки. Таким образом, историю русской историографии целесообразнее всего начать с тех же варягов.

История русской общественной мысли от Рюрика и Синеуса до Ленина и Сталина разделилась, собственно говоря, на две

очень неравные части. Одна, меньшая, говорила: мы более или менее сами по себе. Другая, большая, говорила: нам без немцев нет, не было и не будет никакого спасения — под немцами подразумевались и немцы просто, и немцы вообще — всякие иностранцы, немцы в московском смысле этого слова — обитатели западноевропейских культурных стран. На «немецкой стороне» стояла «вся наука», ибо наши славянофилы, несмотря на все их потуги быть «тоже наукой», были только публицистикой. Правда, пока что правильно предвидели именно они, но до «науки» они все-таки не дослужились. Правда, отец всей нашей науки — Михайло Ломоносов от варяжской теории на стенку лез. Но во времена Ломоносова — точно так же, как и теперь — нет решительно никакой возможности ни доказать, ни опровергнуть теорию призвания варягов. И во время Ломоносова — точно так же, как теперь — эта теория была использована воинствующим германизмом для доказательства государственной, культурной и прочей одаренности германского народа, следовательно, для его права снова «придти, княжить и володеть».

Из попыток реализации этого права ничего не вышло в 1917 и в 1945 году. Ничего не выйдет и в какой-то другой, нам еще неизвестный, но все-таки еще вероятный год. Варяжская теория пока что поставлена на лед — кальтгештельт, как говорят немцы. Очень вероятно, что последующие поколения попытаются ее разогреть.

В этой легенде — или теории — есть несколько занятных сторон. Самая занятная из них заключается, может быть, в некоем, так сказать, чисто семейном моем событии. Жена моего сына — шведка. И когда я ей рассказывал о Рюрике, Синеусе и Труворе, она высказала подозрение, что тут что-то напутано: Синеус, вероятно, обозначает семью, дом, домочадцев, а Трувор, вероятно, обозначает скарб. Действительно, по-шведски «сина хус» — значит «с домом», а Трувор очень похож на «труэ» — сундук, скарб, скрыню, как называли этот предмет мебели на Украине. Итак, пришел Рюрик и стал княжить в Новгороде, его семья в Изборске, и его сундук в Белоозере. Эта точка зрения может объяснить совершенно бесследное исчезновение

и семьи, и сундука со страниц летописей. Несколько труднее объяснить тот факт, что за двести лет полемики ученые мужи не догадались заглянуть в шведско-русский словарь.

Другая:

Лет за 100 до записи нашей летописи о призвании варягов, английский летописец записал такое сказание: британские племена, недовольные собственными раздорами, обратились к норманнским, т.е. варяжским, братьям Генгисту и Горзе с приглашением: «Terram latam et spaciosam, omnia rerum copia refertam, vetrae mandant dicione parere». Перевод: земля наша велика и обильна, порядка в ней нет, придите княжить нами.

Литературными плагиатами люди занимались, оказывается, и тысячу лет тому назад.

Варяжские князья, конечно, были. Как они попали на Русь, мы, надо полагать, никогда не узнаем. Единственно, что мы можем установить твердо — это что они растворились быстро и совершенно бесследно, что варяжский язык, нравы и прочее никакого влияния на туземные племена не оказали. Если бы было завоевание, то оно потребовало бы значительных человеческих сил, и эти силы бесследно не исчезли бы. Так, варяги Вильгельма Завоевателя, завоевав Англию, во-первых, закрепостили все ее население. Памятником этого закрепощения и до сих пор служит Doomsdaybook — Книга Страшного Суда, в которой был записан и закреплен раздел земли между победителями и которая и до сих пор служит чем-то вроде юридического справочника при решении некоторых земельных вопросов. Чудовищные земельные богатства английской аристократии и до сих пор основаны на праве завоевания и на пергаменте Doomsdaybook. Приблизительно до XVI столетия норманнское наречие французского языка было **официальным** языком правящего слоя Англии. В некоторых церемониях оно осталось официальным языком и сейчас. Английский язык есть смесь языков двух завоевателей — датских и норманнских. Язык коренного населения страны исчез почти бесследно. Правда, еще и м-р Ллойд Джордж в своем детстве говорил на кельтском, уэльском наречии, но на конструкцию сегодняш-

него английского языка оно не оказало никакого влияния. У нас от варяжского языка осталось несколько терминов, происхождение которых можно объяснить, как вам будет угодно. Слово «князь» можно производить от варяжского «конунг» и от татарского «хан», — по-хазарски «каган», или, еще дальше, по-древнееврейски — «коган». Это — вопрос вкуса.

Таким образом, пришли завоеватели. Ничего похожего на, скажем, битву при Гастингсе тут не было. Никаких книг Страшного Суда составлено не было. Никаких разделов имущества побежденных не происходило. Никакого лингвистического влияния оказано не было. По-видимому, не было и никакого сопротивления со стороны побежденных. Вообще варяги в качестве завоевателей являют собою истинно радостное исключение в истории России и мира. В церквах Западной Европы в те времена читали специальные молитвы: «От свирепости норманнов спаси нас, Господи». До варягов и после варягов всякая попытка завоевания русской равнины вызывала многолетнюю, иногда многовековую резню. А тут такая, можно сказать, культурность в обращении! Я думаю, что и о теории призвания, и о теории завоевания просто говорить не стоит. Но у Ключевского есть короткий, тусклый и не очень внятный намек на одно обстоятельство, которое во всей истории России играло, играет и будет играть решающую роль.

Наш историк пишет: «В дружине киевского князя мы находим рядом с туземцами и обрусевшими потомками варягов тюрков, берендеев, половцев, хазар, даже евреев, угров, ляхов, литву и чудь» (т. 1, стр. 197).

Этот киевский интернационал, конечно, безмерно важнее Рюрика с его сундуками. Ибо именно он является первым указанием на то основное свойство русской государственности, которое и определило ее судьбу, начиная от Новгорода и кончая Петербургом. Это свойство я бы назвал так: уменье уживаться с людьми.

Если вы предпочитаете политическую терминологию О. Шпенглера, — это свойство вы можете назвать «бесформенностью славянской души». Если вы предпочитаете историчес-

кую терминологию Достоевского, — можете говорить о «всечеловечности». Если вам нравится философия, — то вы можете использовать шубартовский «иоаннический эон», эон, конечно, звучит наиболее здорово. Я предпочитаю оперировать термином «уживчивость».

Как и все в этом мире, — ограничена и русская уживчивость. Граница проходит по другому термину, который я определил бы как «не замай»: уживчивость, но с некоторой оговоркой. При нарушении этой оговорки происходит ряд очень неприятных вещей — вроде русских войск в Казани, в Бахчисарае, в Варшаве, в Париже и даже в Берлине. Русскую государственность создали два принципа: а) уживчивость и б) «не замай». Если бы не было первого — мы не могли бы создать империи. Если бы не было второго, то на месте этой империи возник бы чей-нибудь протекторат: претендентов в протекторы у нас было вполне достаточное количество — даже и без Рюрика и его сундуков.

Вопрос о том, когда именно на этой равнине возникла русская государственность, вероятно, так и останется без ответа, — да этот ответ и не очень уж интересен. С той точки «познания России», с которой я здесь рассматриваю нашу историю, важен ответ на вопрос «как», ибо он, и только он один, может дать нам практические указания: как следует и как не следует строить русскую государственность и дальше. Едва ли мы когда-либо найдем ответ и на вопрос о том, когда и откуда появились славянские племена на русской равнине. Сейчас принято считать, что примерно в VII веке они спустились с Карпат. Историк готов Иордан утверждает, что уже в середине IX века в состав готского государства входили и какие-то славянские племена: veneti, anti et sloveni[2].

Очень важно и это утверждение. Ибо если мы примем обиходную теорию: славяне, кем-то прижатые на Карпатах, спустились вниз, на северо-восток, на «ничью землю», как американские скваттеры — на Дальний Запад САСШ, то исходный пункт нашей истории принимает характер, противоречащий всем ее остальным пунктам: почему, в самом деле, Карпаты были остав-

[2] Венеды, анты и словене *(лат.)*.

лены без боя, а за московский суглинок народ воевал до самых последних своих сил? Если мы примем сообщение Иордана, то придется сказать, что от IV до XIX века, т.е. в течение полутысячи лет, на нынешней русской равнине жили, действовали и как то боролись те племена, состав которых так небрежно перечислен Ключевским. И, следовательно, в результате этой пятивековой борьбы, конкуренции, влияния и пр., то племя, или та «доминанта», которые впоследствии получили прилагательное «русские», каким-то неизвестным нам путем поглотили, растворили, ассимилировали всех их, — для того, чтобы из фантастической смеси этих племен создать что-то новое и окончательное. Может быть, именно этой смесью и объясняется то обстоятельство, что кроме языка у нас с остальными славянскими народами Европы нет, в сущности, решительно никаких общих черт. Может быть, именно здесь мы можем установить первые проблески того упорства которое характеризует всю дальнейшую русскую историю: русская «доминанта» пересидела все остальные.

Не забудем того обстоятельства, что русская государственность не была первой на этой территории. До нее была готская «империя», как квалифицируют ее немецкие источники. На эту империю, как и на русскую впоследствии, свалилось с востока монгольское нашествие. В конце IV века сюда хлынули гуннские орды, как и на Русь начала XII, разгромили готскую империю, как впоследствии и русскую, — но тут параллели кончаются. Готы были увлечены в гуннские походы на Европу. Гибли где-то на Каталунской равнине, где римский полководец Аэций разгромил гуннские полчища вдребезги, рассеялись по всей Европе, с тем чтобы потом появляться на самых разнообразных сценах европейской истории. Ни на одной из них ничего готам не удалось, и в 1778 году какие-то люди, претендовавшие на готское происхождение, но говорившие только по-турецки, обратились к русскому правительству с просьбой о «въездных визах». Им дали и визы, и земли. Они основали город Мариуполь и 24 деревни вокруг него. Так замкнулся круг. Готская империя и готские королевства, остготы и вестготы, и потом Мариуполь, и потом вообще ничего.

На место готов и гуннов пришли авары — тюркский народ, который также пытался создать на русской равнине свою государственность. Аваров разгромили болгары, остатки государственности которых удержались у устьев Камы до X века. Болгарская государственность охватывала в одно время бассейн Верхней Волги, Приуралье и Башкирию. Болгар разгромили хазары, которым одно время платили дань и приднепровские славяне. Хазары были разгромлены Русью, которую с русской территории уже не удалось выжить никому.

Во всяком случае, Русью правили варяжские князья. Но это ни в коем случае не означало варяжского господства над Русью. В прошлом веке в Российской империи правил «диктатор сердца» — Лорис-Меликов, значило ли это, что над Россией властвовали армяне? И можно ли утверждать, что в лице Сталина над ней господствовала Грузия? Или в лице Наполеона — Италия над Францией? В лице Гитлера — Австрия над Германией, или в лице Ганноверской династии — Германия над Англией?

Одно из возможных объяснений роли варягов в Киевской Руси можно было бы сконструировать так.

Киев в то время стоял среди дремучих лесов. Он замыкал собой в сущности весь бассейн Днепра и заканчивал лесные области нынешней России. Это был ключевой пункт великого водного пути, складочное место для всего товарооборота, самый южный пункт, дальше которого уже начиналась степь и, следовательно, разбой. Вся область севернее Киева опиралась в торговом отношении на этот великий путь. Какая-то торговля шла по этому пути и до варягов: летопись сохранила нам сказание о походе на Цареград киевского князя Дира, лет за 20 до легендарной даты призвания варягов. Но очень легко можно предположить, что чисто лесные племена тогдашнего Приднепровья очень плохо справлялись с тогдашней мореходной техникой.

Мы живем в эпоху, когда техника меняет лицо мира примерно каждые 20–30 лет. Нам трудно представить себе тысячелетия, в течение которых не было сделано ни одного изобретения. И, вероятно, также трудно представить себе консервативность тогдашних технических навыков. Вспомним, например,

что Рим за всю свою историю так и не справился с техникой мореплавания: его флот обслуживался наемными иностранцами, — главным образом греками. Даже и собственной кавалерии Рим не имел — тоже пользовался наемной. И если какой-нибудь дрегович попадал на Черное море, то он там никак не мог чувствовать себя, как рыба в воде. Но без Черного моря и без мореходной техники весь Великий водный путь превращался в тупик. Варяжские специалисты по мореплаванию давали вполне удовлетворительный выход из этого тупика. И тот кооператив народов, который тяготел к Великому пути, охотно воспользовался варяжскими услугами. Но командир или капитан морской экспедиции естественно и автоматически становился властью — всеми признаваемой властью во имя интереса всех.

Мне кажется, что в эту гипотезу довольно хорошо укладываются все известные нам исторические факты. В особенности та психологическая доминанта, которая построила империю: уменье уживаться с людьми.

Мы знаем очень мало о той социалистической стройке, которая развивалась в России в годы двух последних царствований. Одной из разновидностей этой стройки было артельное движение. Денежная часть этого движения всецело находилась в татарских руках. Русские артельщики зарабатывали очень много, — и заработки хранились у казначея-татарина: так сказать, национальное разделение труда. Тайна этого разделения заключалась в том, что татарин водки не пил, и артель не рисковала тем, что ее заработок будет пропит. По той же причине татары захватывали в свои руки «трактирный промысел» России. Никто в царствование императора Николая II не говорил о татарском засилье в артелях и трактирах и, вероятно, никто на Руси в царствование Олега не говорил о варяжском засилье на Великом водном пути.

***

По летописным данным, Олег в 15–20 лет сумел сколотить первое русское государство, охватывавшее огромную территорию от Новгорода на севере до Днестра на юге — «импе-

рию Рюриковичей», как называет ее Маркс. Если исключить Чингисхана, предпринимавшего, по существу, чисто разбойные походы, то во всей мировой истории есть только один пример столь же стремительного рождения новой государственности — это империя Александра Македонского. По территории она, впрочем, была меньше империи Олега да имела и несколько иную судьбу: после смерти Александра его империя сейчас же распалась в клочки. Империя Олега существует больше тысячи лет. Ее росту не помешали ни княгиня Ольга, которая уже по одному женскому своему происхождению едва ли годилась в полководцы, ни Игорь, который по своей бездарности вовсе никуда не годился. Так, лет 800 спустя избрание на царство малолетнего Михаила Феодоровича никак не помешало консолидации расшатанного Смутой Московского государства в невероятно короткий срок. Шестнадцатилетний Михаил, очевидно, ничем править не мог. Ничем не мог править и Игорь. Из всего этого можно было бы сделать вывод, что и Олег, и Ольга, и Игорь, и Михаил были более или менее не при чем. За ними всеми — их скипетрами или их вывесками — действовали силы гораздо более мощные и, что, может быть, еще важнее, гораздо более постоянные.

В княжение Олега определилась и еще одна черта русской государственной стройки. В 907 году Олег занял Константинополь и

К воротам Цареграда
Пригвоздил Олегов щит.

Тысячу тридцать три года спустя товарищ Вячеслав Молотов предъявил товарищу Адольфу Гитлеру требование о передаче Константинополя СССР.

Между Олегом и Молотовым были: московские великие князья с их идеей Третьего Рима, славянофилы с их «крестом на Св. Софии» и Милюков с его Дарданеллами — для русского хлеба. Щит, Рим, крест, хлеб, серп и молот — лозунги, как видите, чрезвычайно разнообразные. Но цель — одна и та же. Одна и та же за одиннадцать веков. Одиннадцать веков: Киев-

ская Русь, Московское царство, Российская империя и даже СССР с медленностью геологического процесса, но и с неотвратимостью геологического процесса, двигаются все к одной и той же цели. Что может значить мое или ваше мнение для геологического процесса? Или мнение Гитлера? Или мнение Эттли? Какое дело геологическому процессу до того парламентского большинства, которое то ли получит, то ли не получит м-р Эттли в результате очередных выборов?

Я очень бы не хотел заслужить упрек в идеализации русской истории. Моя основная мысль сводится к тому, что политическая история мира есть история крови, грязи и зверства. Кровью, грязью и зверством пропитана и наша история. Однако и крови, и грязи, и зверства у нас было меньше, чем где бы то ни было в других местах земного шара и в других одновременных точках истории. По сказанию византийского летописца Льва Диакона, Святополк, прорвавшись к Византии и опустошая ее пригороды, посадил на кол 20 тысяч, вероятно, ни в чем не повинных людей. Может быть, Лев Диакон и несколько преувеличил: очень легко можно предположить, что по тем временам никто этих людей не считал: если было бы легкомысленно верить статистике XX века, то как поверить статистике X-го? Но, во всяком случае, такие методы ведения войны были по тем временам само собою разумеющимися. Несколько раньше римляне в своих африканских войнах делали несколько иначе: пленным перешибали кости голени и людей так и оставляли умирать от голода и солнца. Германский полководец Тилал, заняв в Тридцатилетнюю войну германский же город Магдебург, его тридцатитысячное население вырезал до последнего ребенка. Наполеон во время своей египетской экспедиции приказал переколоть штыками двадцать тысяч пленных турок: пороху для расстрела у него не было, а пленных девать ему было некуда. В нашем нынешнем движении «вперед, вперед, вперед, рабочий народ» мы просто возвращаемся к тем способам ведения войны, которые были совершенно общеприняты до эпохи диктатуры кровавого капитализма и которые почти автоматически возрождаются при замене кровавого капитализма бескровными

методами революции. В СССР с пленными немцами и в Германии с пленными красноармейцами в XX веке поступали не лучше, чем Святополк в X — с греками.

Покровский пишет: «Первые русские “государи” были предводителями шаек работорговцев. Само собою разумеется, что ничем они не “управляли”».

Первые русские «государи» занимались, конечно, также и работорговлей. Лет 800 спустя, в царствование Екатерины II, ландграф Гессен Кассельский, Фридрих II, продал англичанам для их войны против североамериканцев 19 400 рекрутов, т.е. пять процентов населения своего микроскопического княжества (см.: БСЭ, т. 16, стр. 5–24) и выручил за эту коммерческую сделку 22 миллиона талеров. В то же время и в той же просвещенной Германии герцог Брауншвейгский продал тем же англичанам четыре дивизии. В своей книге «Россия в концлагере» я даю некоторый отчет о системе работорговли, принятой в Советском Союзе. В СССР это есть просто послекапиталистическое возвращение к обычным докапиталистическим методам войны и торговли, суда и в особенности расправы. Все это просто «вперед, вперед» — к каменному веку...

Киевские князья торговали также и рабами. Но, кроме того, они делали еще и другие вещи: в обмен на меха, воск и рабов ввозили на Русь железо для топоров и грамоту для культуры. Строили валы, засеки и остроги для обороны от печенегов, половцев, хазар и пр. Строили церкви и города, приглашали монахов и зодчих. Сто лет после «основания Руси» знание грамоты считается обязательным для всего духовенства: попов сын, если он грамоты не знает, попадает в «изгои». Двести лет после той же даты (примите во внимание темпы той эпохи) Дитмар Мерзенбургский насчитывает в Киеве 8 рынков и 400 церквей, а Адам Бременский считает Киев соперником Константинополя. Если мы придаем хоть какую-то ценность человеческой культуре, то мы должны признать, что князья все-таки «управляли», и управляли вовсе не так уж плохо.

Оценивая русскую государственность тех времен, мы по мере нашей возможности должны отрешиться от мерок

и масштабов сегодняшнего дня. Сегодня, например, нам всем более или менее ясно, что государство в числе прочих его задач обязано строить школы. Герберт Уэллс в его «Новом Макиавелли» повествует о том, как лет 70 тому назад в просвещенной Англии идея государственного школьного образования казалась людям совершеннейшим вздором: школы — это дело общественной инициативы, благотворительности, частной предприимчивости, но никак не государства. С нашей, а также и с английской **сегодняшней** точки зрения, мы могли бы сказать, что в вопросах государственного школьного строительства Рюриковичи лет на тысячу опередили Англию. Отличие русской формы демократического общественного устройства от англосаксонской заключается главным образом в том, что русская форма, находясь под непрерывной угрозой извне, — волей или неволей принуждена была перекладывать огромную часть общественных забот на государственные плечи. Я сейчас не говорю о том, что было технически лучше: государственные железные дороги России или частные железные дороги Америки, Императорские университеты и театры России или частнопредпринимательские театры и частновладельческие университеты Англии. Думаю, что и дороги, и театры в России были лучше, университеты были хуже. Но это не имеет никакого или почти никакого отношения к «форме правления»: при истинно феодальном строе Германия имела крупнейших музыкантов мира, при самом демократическом Америка не имела ни одного. Но и Англия, и Америка росли вне всякого давления извне. Против Вильгельма Завоевателя Англия не устояла, а после него вопрос об «обороне страны» не возникал никогда. Может быть, не возникал он в реальности и в 1940–1941 годах: проливы были в руках британского флота, и организация с немецкой стороны чего-то вроде норвежской позднейшей операции была, как мне кажется, только смесью из утопии и пропаганды.

Англия, конечно, воевала. Но она воевала за интересы. Мы тоже воевали. Но мы воевали за собственную шкуру. Английские короли эпохи Рюриковичей занимались в общем ерундой: феодальными войнами в пределах своего собственно-

го острова и флибустьерскими походами в Святую Землю — эти походы были еще почище тех греков, которых Святополк посадил на кол. Перед Россией со времен Олега до времен Сталина история непрерывно ставила вопросы: «быть или не быть?» «съедят или не съедят?». И даже не столько в смысле «национального суверенитета», сколько в смысле каждой национальной спины: при Кончаках времен Рюриковичей, при Батыях времен Москвы, при Гитлерах времен коммунизма, социализма и прочих научных систем — дело шло об одном и том же: придет сволочь и заберет в рабство. Причем ни одна последующая сволочь не вынесет никаких уроков из живого и грустного опыта всей предшествующей сволочи. Тысячелетний «прогресс человечества» сказался в этом отношении только в вопросах техники: Кончаки налетали на конях, Гитлеры — на самолетах. Морально-политические основы всех этих налетов остались по-прежнему на уровне Кончаков и Батыев. Ничего не изменил даже и тот факт, что на идейном вооружении Кончаков и Батыев не было ни Гегеля, ни Маркса.

Мы все знаем о тех степных ордах, которые задолго до образования киевской государственности бродили по просторам теперешней южной России. Они делали невозможным никакое государственное строительство. Это они смели с лица земли германские, венгерские, болгарские и хазарские попытки государственной, а следовательно, и культурной организации русской территории. От всех предыдущих попыток киевская отличалась тем и только тем, что остальные не устояли, а она устояла. Отличие, согласитесь сами, довольно существенное...

Почему все остальные не выдержали, а Русь выдержала? Мы могли бы ответить: по той же самой причине, по какой она впоследствии выдержала татар, турок, поляков, шведов, . французов и, наконец, немцев. Но это не будет ответом. Более точный ответ, я боюсь, будет довольно затруднительным. Ибо это будет ответ о врожденных способностях нации. Мы можем сказать, что новорожденная русская нация проявила огромную способность к уживчивости. Что, следовательно, она сумела как-то сколотиться из неизвестного нам количества более или

менее неизвестных нам людей, племен, религий и пр., — и этот «кооператив», или эта «артель», оказалась сильнее своих предшественников — ибо она была прочнее: она не отталкивала от себя никакой силы, готовой работать совместно: варяги — давайте варягов, тюрки — давайте тюрков. Мы можем также отметить и то техническое изобретение, которое ни до, ни после России не удавалось никому: это система обороны страны от огромных конных масс, обладавших огромной стратегической подвижностью.

В 1066 году через Киев, по пути к печенегам, проезжал немецкий миссионер епископ Бруно. Князь Владимир Святой лично провожал его до границ своей земли. Об этих границах Бруноф пишет: «Они со всех сторон ограждены крепким частоколом на весьма большом протяжении, по причине скитающихся около них неприятелей».

Эта система возникла не при Владимире Святом. Уже за 100 лет до него киевские князья «рубят города» на границах своих владений, заселяют эти города «лучшими мужами», соединяют их рвами, засеками, заставами — словом, организуют очень сложную укрепленную систему, которая в почти неизменном виде повторяется и при Иване III, и при Борисе Годунове, и при Потемкине-Таврическом, и, наконец, продвигается в казачьи области Терека, Семиречья, Забайкалья и Амура. Вспомните станицу в «Казаках» Льва Толстого: те же «города», засеки, вышки и пр. Позже мы увидим, с какой железной настойчивостью, с какой организационной тщательностью, с каким муравьиным терпением строила Москва свою «Китайскую стену» против Востока. Как эта стена, зародившись почти у самых стен Москвы, в Коломне, Кашире, Серпухове — продвинулась до Балтийского, Черного, Каспийского и Охотского морей.

В мировой истории ничего похожего на эту систему нет. Китайская стена была более грандиозным сооружением, но она ничего не остановила. Она была неподвижной. Наша — была подвижной. Ничего не остановили и римские валы, протянутые по границе между римским и германским миром. Наша система обороны не имеет даже своего названия — но и без на-

звания она свое дело сделала. О ней мы в сущности знаем очень мало. Именно она является тем «неслышным фактором мировой истории», который, как говорит Лев Тихомиров, и определяет судьбу народов.

Эта система в почти неизменном виде продержалась более тысячи лет. За эту тысячу лет у нас были хорошие цари, но были и плохие. Были великие полководцы, но были и бездарные. При всех них и даже независимо от всех них Русь Киевская, Московская, Петербургская из века в век строила свои вооруженные рубежи, все дальше и дальше передвигала их на восток, на юг и запад — и вот товарищ Сталин имел удовольствие опираться на одну шестую часть земной суши, — но прошел и Сталин...

У ИСТОКОВ ИДЕИ

Всякий народ, в особенности всякий великий народ, претендует на то, что он несет человечеству какую-то свою идею. История просматривает эти национальные претензии и большинство из них выбрасывает в мусорную яму. Идея, изъятая таким образом из жизненного оборота, становится трагедией нации, язвой ее желудка и раком ее печени: она съедает народ. Она ставит перед ним явно непосильную задачу, конструирует некую «миссию», в жертву которой приносится национальное бытие.

В нашем ближайшем соседстве есть два примера — разных примера неудавшейся идеи, задачи, миссии, как хотите. Рассматривая историю Польши с точки зрения самой элементарной исторической схемы, мы должны будем признать тот факт, что Польша XIV–XVI веков имела неизмеримо большие шансы на построение империи, чем их имела Москва. Польша не подвергалась таким страшным налетам с востока, каким подвергалась Русь, ее культурные, экономические, географические и прочие предпосылки были неизмеримо лучше наших. За Польшей, в сущности, одно время стоял весь европейский католический мир, рассматривавший Польшу как свой фор-

пост. Со времен Болеслава Храброго (начало XI века) до Второй мировой войны Польша упорно и жертвенно разбивала себе лоб о Россию. Именно там ей чудилась ее «миссия на востоке». Весной 1940 года полуживое правительство полуживой страны, уже полностью оккупированной — и немцами и Советами — требовало (из Лондона) восстановления Польши «от моря до моря», т.е. от Риги до Одессы. Нет никакого сомнения в том, что в ближайшие годы это требование будет повторено. И нет никаких оснований сомневаться в том, что его результаты будут прежними: только дальнейшая порча и без того весьма основательно испорченных всей предыдущей тысячью лет русско-польских отношений. Мы должны отдать себе совершенно ясный отчет в том, что перед Россией еще лежит довольно длительный период слабости:

Горемычные дороги
Все еще не пройдены...

Дороги нашей революции пройдены еще не все. И в числе тех счетов, которые нам будут предъявлены к оплате, будет и такой: Польша от моря до моря. Из этого не выйдет ничего. Но это будет означать новое ухудшение положения Польши решительно во всех отношениях.

Швеция Карла XII тоже мечтала о миссии на востоке — в более скромных масштабах и с применением более культурных методов. Сейчас шведы говорят: мы отмечтали нашу мечту о великодержавности, мы хотим хорошо устроиться у себя дома. У себя дома Швеция устроена лучше, чем какая-либо иная европейская страна. Швеция попробовала и бросила. Польша — пробует тысячу лет и никак бросить не может. Польский народ талантлив и чрезвычайно боеспособен. Но его ведет галлюцинация — такая же, какая вела русскую интеллигенцию. Как все-таки объяснить тот факт, что за всю тысячу лет Польша ни одного раза не поинтересовалась вопросом о том море, которое лежало у нее под боком — в Штеттине (польское Щитно), в Данциге (польский Гданск) и в Кенигсберге (польский Кролевец), что все это было из рук в руки переда-

но немцам и что все усилия страны были брошены по направлению Киев–Москва? Польша времен ее самого высокого расцвета поставила перед Россией времен ее самого глубокого падения вопрос о «быть или не быть» — и получила свой ответ. Теперь такой же вопрос Польша поставила перед Германией: без своих восточных областей Германия жить НЕ может. Как ответит история на этот вопрос? Линией Одер–Нейссе Польша повторила трюк русской интеллигенции: использовала сегодняшний момент без попытки заглянуть в завтрашние века. Летом 1917 года русской интеллигенции удалось захватить власть. Сегодня, в годы контрольных комиссий, Польше удалось захватить восток Германии. Но ведь будут и завтрашние века!..

Я отстаиваю идею русского империализма, т.е. идею построения великого и многонационального «содружества наций». Нужно, наконец, назвать вещи своими именами: всякий народ есть народ империалистический, ибо всякий хочет построить империю и всякий хочет построить ее на свой образец: немцы на основах расовой дисциплины, англичане — на базе коммерческого расчета, американцы — на своих деловых методах, римляне строили на основах права, мы строим на основах православия. Русскую систему я естественно считаю наилучшей. Если бы я был американцем — я считал бы наилучшей американскую. Впрочем, сейчас, в годы отсутствия русской монархии, и я считаю американскую лучшей из существующих. Во всяком случае, стоя на чисто имперской точке зрения, я обязан признать моральную законность и польского, и шведского, и даже немецкого империализма. Немецкий действовал истинно чудовищными методами. Но такими же методами действовала и Польша. Почти такими же методами действовала и Англия. И в нашей истории были вещи совершенно отвратительные, — вот вроде выдачи украинских повстанцев польскому правительству при Екатерине II, причем восстание организовало русское же правительство. Я утешаюсь тем, что Екатерина II не была ни русской, ни царицей — случайная вывеска на пустом престоле. Но это все-таки слабое утешение.

Мы обязаны констатировать тот факт, что мечта об объединении человечества в «едино стадо», в единое общежитие — есть древнейшая мечта всей человеческой культуры. Ее нужно констатировать как факт. Десятки государственных образований, десятки религий, сотни философий и прочего пытались объединить если не весь мир, то, по крайней мере, его культурную часть. Одно время это почти удалось Риму. В настоящее время имеется два и только два конкурента: Россия и англосаксонский мир. И сейчас, как и всегда, имеется три и только три варианта для «мира всего мира»: диктатура, монархия и республика. Наполеон, Гитлер и Сталин шли путями диктатуры, Америка и Англия идут путями республики, Россия шла путем монархии. Сейчас силы англосаксонского мира, вероятно, превышают силы России. И на некоторый исторический период мировые процессы будут решать САСШ. Во внешнеполитическом отношении революция уже отбросила нас лет на 200 назад. Контрреволюция отбросит еще лет на 100. По всему ходу событий можно надеяться на то, что лет этак в 50 после контрреволюции мы наверстаем все 3 столетия, как это мы проделали после Смутного времени. Но в данный момент, оценивая прошлые и нынешние попытки построения империй, мы о б я з а н ы судить их «без гнева и пристрастия». Без гнева по адресу конкурентов и без пристрастия — по своему собственному. Просто: как, когда и почему у д а л о с ь, как, когда и почему не удавалось?

Польская попытка сейчас кажется нам несерьезной. В XVI веке она была очень серьезна. Франция очень долгое время держала свое знамя самого передового отряда человеческой культуры и другими «миссиями» не занималась почти вовсе. Свои колониальные владения она разбазарила быстро и довольно беззаботно, попытки построения «нового порядка» в Европе, предпринятые французской революцией и ее наследником Наполеоном I, не имели в сущности никакого влияния на умы французского народа. С 1789 до 1917 года Франция видела свою миссию в революции: именно она была передовым отрядом «свободы, равенства и братства», выраженных в Ро-

беспьере, Марате и Торезе. Сейчас и за этим угнаться довольно трудно. Какой-нибудь Марат мог действительно греметь во всей философически и революционно настроенной Европе, какой-нибудь Торез только и мог делать, что плясать под сталинскую дудку. Победа революции при Наполеоне означала бы превращение России в колонию. Победа в сущности той же революционной линии при Сталине означила бы превращение Франции в вассала Политбюро. Два раза в своей истории Германия проявила истинно чудовищное напряжение всех своих сил — в Первую и во Вторую мировые войны — и оба раза закончились истинно чудовищными катастрофами, что, впрочем, не совсем исключает и третьего раза.

В числе прочих вещей, о которых историки нам или не говорили вовсе, или говорили путано и воровато, имеется и тот факт, что Россия является старейшим национальным государством Европы: в середине IX века Киев говорил о своей исторической роли в тех же формулировках, как и Петербург начала XX. Основные линии исторического развития за эти одиннадцать веков остались теми же. Основные политические идеи, изложенные в наших первых летописных списках, повторялись даже и Сталиным. Одиннадцать веков тому назад каким-то таинственным или странным образом где-то между Финским заливом и Черным морем внезапно возникла государственность в принципиально готовом виде. А так как таких скоропостижных явлений в истории не бывает, то мы могли бы предположить, что ДО Рюрика с его сундуками какая-то государственность или идея государственности уже существовала на Великом водном пути. Но о ней мы, вероятно, **не узнаем никогда и ничего**.

Если из истории Киевской Руси выкинуть кашу князей и изгоев, половцев и печенегов, борьбы за «**киевский стол**» или походов на предмет выколачивания дани, то перед нами станет очень простая и изумительно ясная схема построения русской государственности — схема, которой нация придерживалась одиннадцать веков. Были «влияния», были катастрофы, были трагические провалы, но в общем страна тянулась к своей схеме — доминанте, линии, инстинкту, — как хоти-

те, — и из каждого провала снова выкарабкивалась к своей прежней, старой, веками испытанной схеме.

Я вовсе не хочу утверждать, что эта схема является наилучшей из мыслимых, возможных или даже существующих. Очень большое количество всяких схем уже отошло в вечность. Но, например, вопрос о преимуществах русской и английской схем история уже решила. Однако совершенно очевидным является то обстоятельство, что как только Россия отходила от своей схемы — не получалось ровным счетом ничего, кроме провалов и катастроф. Нация как-то повторяет пути индивидуального развития: эллины строили искусство, римляне строили империю. Из государственности у эллинов не вышло ничего, из искусства у римлян не вышло ничего. Объяснить все это географическими условиями Пелопонесского или Апеннинского полуостровов было бы очевидной глупостью. Точно такой же, как попытка объяснить дарования Ломоносова его архангельским происхождением или Толстого — его тульским. Каждому — свое...

Киевская государственность рождается в каком-то, я бы сказал, подозрительно готовом виде: сразу. Основная черта ее схемы — это уменье уживаться. Эту черту можно и оценить или даже понять только при сравнении с первыми шагами других государственных организаций мира. Рим долго, упорно и беспощадно давил все окружающие его племена. Разделял, чтобы властвовать, устанавливал иерархию патрициев и плебеев, римских граждан и союзников — граждан разных разрядов, — как это делала и Германия Гитлера. Рождение всякой европейской государственности связано с долгим периодом резни, в результате которой возникает «первый среди равных», некий «а я вас всех давишь», и устанавливает абсолютизм. Классический и уже законченный пример — это Франция Людовика XI. Из кровавой каши вековых феодальных войн возникает сильнейший, навязывающий свою волю остальным.

В Киеве какие-то древляне и поляне, тюрки и берендеи, варяги и финны уживаются без всякой или почти без всякой резни. Представьте себе Великий водный путь где-нибудь в Европе: сколько одних «заградительных отрядов» было бы

понасажено на этом пути? Сколько торчало бы замков «раубритеров» — рыцарей-разбойников, какими пергаментами оградил бы свое право на пошлины и прочее каждый феод, который в Европе возникал на каждом перекрестке каждого торгового пути? Мы привыкли учитывать влияние существовавших явлений истории. Попробуем представить себе влияние не существовавших. Той войны всех против всех, которая была так характерна для Европы этих веков, на Руси или почти не было, или не было вовсе. Религиозных войн не было вовсе. Если бы организационная сторона русской государственности равнялась бы современной ей западноевропейской, то России просто-напросто не существовало бы: она не смогла бы выдержать. Россия падала в те эпохи, когда русские организационные принципы подвергались перестройке на западноевропейский лад: удельные наследники Ярослава Мудрого привели к разгрому Киевскую Русь, отсутствие центральной власти привело к татарскому игу, петровская европеизация привела к крепостному праву, ленинское «догнать и перегнать» — к советскому.

Организация Киевской и Московской Руси в их лучшие времена была, в сущности, элементарно проста. Можно было бы сказать: гениально проста. Это была организация единства во имя общего блага: лозунг, который красовался на знаменах Гитлера и из которого не вышло ничего. «Общее благо — перед частным». Но в немецком представлении общее благо есть гигантский пирог, и если я чуть-чуть зазеваюсь, то от этого общего пирога на мою долю не останется ни крошки. Все сразу накидываются на пирог — и от него ни крошки не достанется никому.

Об организационных способностях русского народа я уже говорил. Хочу повторить еще раз: в этом вопросе, как и в очень многих других, русское общественное сознание было переполнено безнадежной путаницей понятий и терминов. Опоздание сибирского экспресса на три часа вызывало скулеж: «Вот — наша русская безалаберность, то ли дело у наших соседей немцев!» У наших соседей немцев экспресс обслуживает максимум 1000 верст плотно населенной местности, — наши экспрессы покрывали и 5, и 8 тысяч верст — по тайге, по пустыням,

по заносам, разливам и всяким таким достопримечательностям наших просторов. Но когда в Германии выпадает снегу на 5 сантиметров больше обычного — немецкие экспрессы опаздывают не хуже, чем опаздывали наши. Мы привыкли думать — или нас приучили думать, — что что уж что, а организация быта, повседневной жизни, «мелочей быта» в Европе поставлена неизмеримо лучше нашего. Что:

Англичанин мудрец,
Чтоб работе помочь
За машиной придумал машину.
А наш русский мужик,
Коль работать невмочь,
Запевает родную дубину.

Некрасов не сообразил того обстоятельства, что для «машины» нужны деньги, для денег нужно «накопление», и что накопление без Батыев, Карлов, Наполеонов и Гитлеров идет совершенно иными темпами, чем в их присутствии. Кроме того, Некрасов, вероятно, не знал, как не знал и я, что, например, первая паровая машина действительно была изобретена русским Ползуновым — и что она работала на Алтайских промыслах за 20 лет до Уатта и Стивенсона. Об этом писала советская пресса — и я ей не поверил. Потом это подтвердила и немецкая пресса, — вероятно, ей можно поверить. Но, вообще говоря, техническое вооружение народного хозяйства — в особенности крестьянского — в России было неизмеримо ниже немецкого. Электрическая плита, трактор (собственный!) — обычное явление в немецком хозяйстве. Автомобиль — тоже собственный — не является редкостью. Не нужно, правда, забывать и того обстоятельства, что немецкий бауэр и русский крестьянин — есть два различных социально-экономических и культурно-психологических типа. Немецкий бауэр в русском переводе будет означать мелкого помещика или в худшем случае крупного «кулака». У него дом в 5–6 комнат, участок в 50–60 десятин, земельная «рента» раз в пять выше русской (равномерный климат, близость рынков сбыта и пр.), и что все

это было достигнуто, в частности, путем беспощадного вытеснения безземельного или малоземельного крестьянина в заокеанскую эмиграцию. Немецкого мужика со времени Тридцатилетней войны не жег никто. Даже обе мировые войны или очень мало задели его, или, может быть, только укрепили его материальное благополучие: он выплачивал свои долги в обесцененной марке и продавал свое масло на черном рынке. В годы Второй мировой он ел хуже, чем в мирное время, но он накоплял больше. После этой войны трактор стоил 40 фунтов масла. Сейчас же после войны для этого трактора шин не было, — но шины когда-то будут, а трактор за это время не сгниет. Но за время этой же войны от русского крестьянского хозяйства на всем юге и западе России не осталось вообще ничего.

То, что мы называем организацией европейского хозяйства, — а американского еще больше, — есть результат многовекового и почти беспрепятственного накопления материальных ценностей. Но там, где накопление ценностей не играет решающей роли, там жизнь организована, по формулировке моего сына, «без применения умственных способностей».

Очень много зависит, конечно, от навыков. У нас есть бани, в Германии и в Европе их нет. Немецкий мужик моется в лоханке, — кое-как и для очистки не столько тела, сколько совести. Он не купается вовсе. Когда мы с сыном в 1932 году вздумали купаться в горной речке Чу за озером Иссык-Куль, окрестные киргизы съезжались табунами глазеть на сумасшедших русских, которые ни с того, ни с сего лезут в воду. Почти так же глазели на нас немецкие мужики в Баварии, Мекленбурге, Померании и Нижней Саксонии: вот, взрослые люди, а полощутся в воде, как дети. Но это, может быть, вопрос «быта». Перейдем к вопросу о затрате умственных способностей.

На Невском проспекте дома нумерованы так: с одной стороны четные, с другой — нечетные. В каждом доме нумерованы все квартиры. Над каждым подъездом — дощечка с номерами всех квартир. У главного подъезда — доска с номерами всех квартир и именами всех жильцов и пр. На каждом доме номер на фонаре — видно и днем и ночью.

На Кляйштрассе в Берлине дома нумерованы так: с одной стороны от 1 до 200, с другой от 200 до 400. Вы входите на Кляйштрассе где-то посередке и вы не знаете — где же собственно находится № 185. Он может быть в двух верстах справа от вас и может быть в двух верстах слева от вас. То есть по одной стороне Кляйштрассе нумерация может кончаться номером 200-м, но может и номером 150-м. Потом вы находите дом. Квартиры не нумерованы. Вы ищете дворника. Если вы его нашли, то он вам пространно и дотошно объяснит: «рехтс, линкс унд герадеаус»[3]. Вы идете. Вы поднимаетесь на пятый или шестой этаж, чтобы там обнаружить — ах, так это не тот подъезд. Сейчас нумерация домов перестраивается по русскому образцу. Но для нумерации квартир догадки еще не хватило.

Это, разумеется, мелочь. Но именно она дает ответ на вопрос не о богатстве, накоплении капиталов и машин, а об организационных способностях в их, так сказать, химически чистом виде. Организация, вообще говоря, тем лучше, чем она проще. Организационная сторона Европы Средних веков была чудовищно сложна: феоды, привилегии, цехи, таможни, Церковь, города, — все это отгорожено друг от друга невероятной законодательной неразберихой, целыми горами пергаментов, грамот, договоров, кодексов, конституций и пр. И все это, в сущности, имело только одну объективную цель: разорвать «общее благо» в клочки частновладельческих интересов. Если бы Киевская Русь повторила европейские пути, то на ее месте когда-нибудь, может быть, и выросла бы какая-то государственность. Но, может быть, и до нынешних времен не выросло бы никакой.

***

Валы, засеки, сторожки, остроги, станицы и пр. и пр. являются одним из самых важных явлений во всей русской истории. Они были вызваны известными историческими условиями, для постройки их нашлись известные психологические данные, и все это вместе взятое обусловило рождение той ис-

[3] Rechts, links und geradeaus – направо, налево и прямо *(нем.)*.

торической формы правления, какой нигде больше в мире не было и нет и которая называется «самодержавие», т.е. совершенно **своеобразное** сочетание начал авторитета и демократии, принуждения и свободы, централизации и самоуправления. Одно из самых изумительных явлений в истории русской историографии заключается в том, что она проворонила, ухитрилась проворонить или предпочла проворонить самые очевидные вещи в нашей истории.

Поставим вопрос так: Североамериканские Соединенные Штаты есть наиболее типичная демократия нынешнего времени. САСШ имеют объективную возможность целый год мусолить план Маршалла. Он пройдет — но пройдет с опозданием. Деньги будут даны — но в урезанном виде. Представители рязанской психологии в САСШ будут говорить: «До нас, кентуккийских, не дойдет».

Принимая во внимание чудовищный перевес количественных, материальных и прочих сил на стороне демократий, можно сказать, что вся эта канитель в конечном счете решающего значения иметь не будет. Просто сейчас будет сэкономлено миллиардов 10, потом придется ухлопать лишних миллиардов 200. В 1945 году весь этот «последний и решительный» можно было довольно просто и даже бескровно ликвидировать силами русских Ди-Пи, — теперь, вероятно, придется ухлопать лишние несколько миллионов людей. И это при том условии, что военный потенциал демократий относится к военному потенциалу СССР примерно как пять к одному. А может быть, и как десять к одному. Или: что в 1945 году СССР можно было ликвидировать так же легко, как Третий Рейх в 1933 или даже в 1939 году. Но даже в вопросах жизни и смерти САСШ действуют теми методами, которые я определил бы термином — «канализационные методы политики».

Эти методы технически возможны только в исключительно благоприятных геополитических условиях — Россия живет в исключительно неблагоприятных. Попробуем сконструировать некую географическую утопию: представим себе, что САСШ не отделены от Батыя, Вильгельма, Гитлера, Сталина

никакими океанами и проливами и что граница между САСШ и СССР проходит по линии современной американско-канадской границы. Совершенно очевидно, что при такой географии Сталин разгромил бы САСШ в течение двух-трех недель. И что, следовательно, перед САСШ стоял бы выбор — если бы для этого выбора и было бы время — или найти совершенно иную форму политического строя, или просто погибнуть.

Мне могут возразить: но ведь есть европейские и, кроме того, маленькие страны, которые являются чисто демократическими и ничего — живут. И даже неплохо живут. В качестве классически удачных примеров можно привести республиканскую Швейцарию и монархическую Швецию. В качестве неудачных — республиканскую Францию, которая с полной очевидностью разваливается и извне, и изнутри. Можно было бы сказать, что Германия Вильгельма, построенная примерно на той же «конституции», на какой была построена Россия после 1905 года, семимильными шагами шла к мировой хозяйственной, политической и даже культурной гегемонии.

Словом, примеры могут быть довольно разнообразными. За всеми этими примерами имеется одно и основное явление: войны, которые вела Европа, не были войнами на жизнь или на смерть. На жизнь или смерть Европа воевала против гуннов и потом — и то с очень большими оговорками — против арабов. С тех пор европейские войны были, так сказать, поверхностными войнами. Гитлер, мимоходом разгромив Францию, старался обращаться с ней по возможности вежливо. Но он же, еще не разгромив СССР, обращался с его населением точно так же, как обращался в свое время Батый. Какая бы ненависть не разделяла немцев и французов, они друг для друга остаются все-таки своими людьми — европейцами. Россия и для Польши, и для Германии была по меньшей мере колониальным вожделением. И Польше, и Германии в России нужны были две вещи: земля и рабы. Даже половцы и татары выступали с более скромной программой: тем нужны были только рабы. Польша, кроме рабов и земли, систематически посягала даже и на религию России, чего опять-таки не делали ни Кончак, ни Батый.

Эта объективно данная обстановка более или менее автоматически приводила к централизации и концентрации власти. И Киевская Русь держалась до той поры, пока существовала центральная и сильная княжеская власть. С распадом этой власти погиб и Киев.

Попробуем перевести эту объективно данную обстановку на язык современной политической демократии. И проще и нагляднее всего — на язык сегодняшней политической «машины» САСШ. Итак, князю в Киеве, царю в Москве или императору в Петербурге докладывают: половцы — в Лубнах, татары — на Уче, поляки — в Смоленске, шведы — под Полтавой, Наполеон — в Москве и т.д. Князь, царь или император созывает верхнюю и нижнюю палату парламента. В обеих палатах начинаются прения — о политике, о войне и кредитах, и о прочем в этом роде. Создаются согласительные комиссии. Самые предприимчивые люди страны снабжают половцев, поляков, шведов и прочих русским оружием, зарабатывая на этом пятьсот процентов. Адмиралы восстают против генералов, генералы восстают против центральной власти, центральная власть зависит от голосующего «человека с улицы». Человек с улицы одурманен устными или письменными сенсациями, на человека с улицы давит «общественное мнение», формируемое черт его знает кем. И теми же половцами (пятая колона), и налогоплательщиками, и спекулянтами. Квакеры говорят о половецких достижениях, генералы планируют истребление порабощенных половцами племен — и пока все это демократически происходит, врываются половцы и сажают всех на кол. Прения прекращены.

Нечто очень близкое к этой утопической картине произошло ведь и с нашим недоношенным парламентом. Он начал свою жизнь яростной атакой на центральную власть. Кое-как он был разогнан. Он тормозил вооружение страны. И в самый переломный момент войны центральной властью стал сам. Разрешил въезд в Россию половецкой пятой колонне, предложил половцам и печенегам мир без аннексий и контрибуций, развалил армию и страну и спасся под крылышко очередной демо-

кратии, откуда предпринял свой очередной поход на государственное бытие России.

Следовательно парламентские способы обсуждения вопросов жизни и смерти страны и нации для России были технически невозможны как во время Владимира Святого, так и во время Николая Александровича. И, с другой стороны, когда дело шло о вопросах канализации во всем ее разнообразии, то киевская, московская и отчасти даже и петербургская Россия действовали чисто парламентарными способами: можно поговорить, время есть... Ниже я привожу трогательное повествование проф. Кизеветтера о том, как именно московский «Союз городов» обсуждал петровский проект нового городового положения: совершенно парламентарные методы.

Повествование проф. Кизеветтера я называю трогательным потому, что оно появилось только в эмиграции — только после того, как замешанная, заквашенная и испеченная нашей профессурой революция оказалась совершенно несъедобной. Пока дело шло о ее выпечке — профессора о прошлом нашей страны нам не сказали ничего толкового.

Таким образом, организационные принципы русской государственности — от Олега до Николая II — вопрос о жизни и смерти предоставляли компетенции самодержавия. И вопросы канализации — компетенции самоуправления.

Эта система продолжалась 11 веков. В сущности, те же 11 веков продержалась и система обороны: дальневосточная армия Блюхера только повторила основные принципы позднего казачества и ранних «валов» и «засек». Дальневосточная армия считалась лучшей из советских армий. Во Вторую мировую войну нечто вроде этого попытались организовать немцы с их «вербауэрами» — вооруженным крестьянством, которое должно было «на востоке» сыграть роль германского казачества. Ничего не вышло.

Киевская Русь интересна не как театр военных и политических действий между Ростиславичами и Мстиславичами, — хотя были и эти действия. Она интересна, как эмбрион русской государственности. В этом эмбрионе оказались заложенными

все те принципы, на которых эта государственность стояла и будет стоять: уживчивость, организованность, упорство, боеспособность и умение подчинять личные интересы интересам целого. Илья Эренбург в 1941 году почти буквально повторил летописные афоризмы Святополка о «чести русского имени». Вячеслав Молотов в 1939 году повторил политические требования Олега. Русская **общественность** при Владимире Мономахе так же протестовала против попыток пересадить к нам из Византии смертную казнь, как она протестовала при Ленине–Сталине. Православие было принято Русью прочно и окончательно: без религиозных войн, без инквизиции, почти без ересей и почти без всяких попыток заменить ее чем-либо иным.

РУССКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Я, конечно, русский империалист. Как и почти все остальные русские люди. Когда я в первый раз публично признался в этой национальной слабости, сконфузился даже кое-кто из читателей тогдашнего «Голоса России»: ах, как же так, ах, нельзя же так, ах, на нас обидятся все остальные... Люди, вероятно, предполагали, что величайшую империю мира можно было построить без, так сказать, «империалистических» черт характера и что существование этой империи можно как-то скрыть от взоров завистливых иностранцев. Кроме того, русская интеллигенция была настроена против русского империализма, но не против всех остальных.

В гимназиях и университетах мы изучали историю Римской империи. На образцах Сцевол, Сципионов, Цицеронов и Цезарей воспитывались целые поколения современного культурного человечества. Мы привыкли думать, что Римская империя была великим братом, — и эта мысль была правильной мыслью. Потом — более или менее на наших глазах — стала строиться Британская империя и мы, при всяких там подозрениях по адресу «коварного Альбиона», относились весьма почтительно, чтобы не сказать сочувственно, к государственной

мудрости британцев. Мы, к сожалению, «своей собственной рукой» помогли построить Германскую империю, и нам во всех наших гимназиях и университетах тыкали в нос: Гегелей, Клаузевицей, Круппов, — германскую философию, германскую стратегию и, паче всего, германскую организацию. В начале прошлого века очень много русских образованных людей искренне сочувствовали и Наполеоновской империи, — вспомните хотя бы Пьера Безухова. Да и князь Андрей Волконский ничего, собственно, против Наполеона не имел.

Наполеоновская империя рухнула. Германская империя рухнула. Сейчас гибнет Британская империя. Российская, — даже при Сталине, — не проявляет никаких признаков распада. Мы начисто забыли тот факт, что из всех нынешних государственных образований Европы русская государственность является самой старшей, что Российская империя уже просуществовала одиннадцать веков: от «империи Рюриковичей», «созданной» Олегом — до империи гегелевичей, управляемой Сталиным. Британская империя продержалась лет 300, примерно от Кромвеля до примерно Эттли, римская — лет 500, германская — лет 50, и французская республика от времени до времени и сейчас называет себя империей.

Русская интеллигенция, верная своим антирусским настроениям, относилась в общем весьма сочувственно ко всяким империям — **кроме** нашей собственной. Я отношусь также сочувственно ко **всяким** империям, но в особенности к нашей собственной. Редьярд Киплинг писал: «Трагичен для мира будет тот день, когда Британская империя перестанет расширяться» — теперь она распадается. Мы переживаем сейчас тот истинно трагический момент мировой истории, когда Российская империя морально отсутствует: при ее наличии сегодняшний мировой кабак был бы совершенно невозможен. Но и распад Британской империи есть тоже трагедия, и злорадствовать тут нечего.

Наполеон III пустил крылатый предвыборный лозунг: «Империя — это мир» — и вел войны с Австрией, с Россией и с Германией. Словом, поступил с предвыборным лозунгом

так, как вообще с ним принято поступать после выборов. Но «империя» — это действительно «мир» — **настоящая** империя. Ибо империя есть сообщество народов, уживающихся вместе. Это есть школа воспитания человеческих чувств, так слабо представленных в человеческой истории. Это есть общность. Это есть отсутствие границ, таможен, перегородок, провинциализма, феодальных войн и феодальной психологии. Римская империя была благом, Британская империя тоже — и благом была и Русская империя, она заменила и на Кавказе, и в Средней Азии, и в десятках других мест бесконечную и бессмысленную войну всех против всех таким государственным порядком, какого и сейчас нигде в мире больше нет. И если в дружинах первых киевских князей были и тюрки и берендеи, то у престола русских императоров были и поляки, и немцы, и армяне, и татары. И ни один народ в России не третировался так, как в САСШ третируются негры, или в Южной Африке — индусы, и ни одна окраина России не подвергалась такому обращению, какому подвергалась Ирландия. Сейчас обо всем этом не принято говорить. Но обо всем этом нам все-таки нужно помнить.

О том, как реализовался на практике имперский принцип в последние десятилетия предвоенной нашей истории, я буду говорить в другом месте. Сейчас я вернусь к основной, самой основной теме этой книги.

Все, что мы изучали в области мировой истории, мы изучали: во-первых, в намеренно (я бы сказал — злонамеренно) искаженном виде и, во-вторых, без сравнения. У нас не было никаких методов измерения. Мы, наша интеллигенция, очень тщательно и очень дотошно выискивали, изучали и мусолили всякую кровь и всякую грязь в стройке нашей империи. И нам, кажется, никогда в голову не приходило спросить самих себя — или наших профессоров — о том, так где же, собственно, было больше грязи и больше крови: у нас, в Риме или в Великобритании? И кровь и грязь являются неизбежностью всякой человеческой жизни: «В беззакониях зачат есмь и во гресех роди мя мати моя». И грехи, и ошибки, и заблуждения,

и преступления были в истории всякой страны. Вопрос, значит, только в том: где же их было меньше.

Я пока оставлю в стороне федералистические утопии построения человеческого общества. Всякий истинный федералист проповедует всякую самостийность только пока он слаб. Когда же он становится силен, — или ему кажется, что он становится силен, — он начинает вести себя так, что конфузятся даже самые застарелые империалисты. Федерализм — это есть психология слабости, а никогда еще в истории мира слабость не решала ничего. Решала сила. Но — решала моральная сила, — и решала только она одна. Сила оружия есть только производная величина моральной силы. Ибо оружие без людей — это или просто палка, или куча палок. Палка или куча палок становятся оружием тогда, когда находятся люди, готовые «применить оружие». Его можно применять двояко: а) во имя грабежа и б) во имя защиты от грабежа. Подавляющее большинство людей, «способных носить оружие», склонно применять его против грабежа. Чем выше та моральная ценность, во имя которой «применяется оружие», тем большее количество людей станет его применять. Империя будет строиться и держаться в той степени, в какой она обеспечит максимальные преимущества максимальному количеству людей. И провалится тогда, когда не сможет удовлетворить этому историческому запросу.

Североамериканские индейцы при всей их куперовской романтичности никаким требованиям удовлетворить не могли: они резали друг друга почем зря и имели милое обыкновение ликвидировать своих пленных собратьев у романтического «столба пыток». Это в общем не устраивало никого. Нечто вроде этого происходило и на Кавказе. Уже на моих глазах на стройке Чиатрурской гидростанции «прорабы» никак не могли уговорить представителей соседствующих племен оставлять свои кинжалы в бараках: на земляных работах кинжалы ни к чему не нужны. Но никакой чеченец не мог себе представить каких бы то ни было невооруженных отношений с каким-нибудь узбеком; вот останусь без кинжала, и меня зарежут. Был найден

компромисс: кинжалы складывали в одном из бараков под наблюдением выборных от каждого племени. А для того, чтобы выборные не стали резать друг друга, над ними всеми был поставлен надзиратель из русских империалистов. При политических порядках команчей, сиуксов и апачей никакие железные дороги были бы немыслимы. В смысле политических порядков современные остатки покойной «лоскутной» империи Габсбургов не очень далеко ушли от сиуксов и команчей.

Империя — это мир. Человеческая история идет все-таки ОТ дреговичей и команчей к Москве и Вашингтону, а не **наоборот**. И всякий сепаратизм есть объективно **реакционное явление**: этакая реакционная утопия, предполагающая, что весь ход человеческой истории — от пещерной одиночной семьи, через племя, народ, нацию к государству и империи — можно обратить вспять. Мы стоим на каком-то неизвестном нам отрезке пути от пещерной семьи полуобезьян к объединению всего человечества.

Империя есть объединение: в разных формах, в разные эпохи, но все-таки объединение. Янки сделали правильно, заменив столбы пыток современной американской конституцией. Англичане делали правильно, пытаясь внести какой-то человеческий порядок в неистовую смесь княжеств, каст, религий и прочего нынешней Индии. Рим делал правильно, объединяя калейдоскопическую смесь средиземноморских племен под общим государственным куполом. Россия поступала правильно, объединяя в одну империю свои 150 народов и племен. Рим поступал правильно, завоевывая Лациум и Италию. Великобритания поступала правильно, завоевывая Шотландию и Австралию. САСШ поступали правильно, завоевывая Дальний Запад от индейцев и Техас от испанцев и разгромив своих сепаратистов в Гражданской войне. Россия поступала правильно, завоевывая и Балтику, и Кавказ. О САСШ говорить, впрочем, рано: их «мировая роль» насчитывает всего-навсего лет 30, и как она сложится в ближайшие 30 лет — этого никто не знает.

Сейчас мы имеем возможность оценить и сравнить три имперские стройки — успешные стройки — на фоне несколь-

ких десятков совершенно безуспешных. Успешными будут: Рим, Россия и Великобритания. Безуспешными: Испания, Польша, Франция, Германия и еще десятка два.

Из трех успешных строек русская имеет наиболее почтенный возраст и объединила наибольшую территорию с наибольшим — на данный момент — количеством людей. Можно бы сказать, что и территория, и население Великобританского содружества наций превосходит Россию, но основной территориальный и демографический массив этого содружества — Индия — уже выпал из состава империи.

Из всех трех успешных строек — русская прошла наиболее тяжкие испытания, Британская, собственно, не прошла никаких: со времен Вильгельма Завоевателя ни один вражеский воин ни разу не вступал на территорию британских островов; Рим переживал нашествия, но в неизмеримо более слабой степени, чем Россия. Основные нашествия пришлись уже на время упадка.

Основная разница в стройке всех трех империй заключается вот в чем:

И Рим, и Великобритания создали из организаторов империи привилегированный слой. В Риме это было установлено законодательным путем: «гражданин Рима» был привилегированным человеком. В Великобритании это было устроено путем «неписаной конституции», но «британец» был привилегированным лицом в Индии и в Ирландии. Индус и ирландец, если они попадали в Англию, рассматривались как второй или как десятый сорт.

На базе Римской империи ее организаторы разбогатели неслыханно. На базе Великобританской империи создали свои чудовищные состояния и лорды, и леди, и банкиры, и судовладельцы.

На базе империи Российской никто из русских не заработал **ничего**. Ни копейки. Даже и русское дворянство, в значительной степени игравшее роль организаторов империи, не получило ничего: ни в Сибири, ни на Кавказе, ни в Финляндии, ни в Польше. Для русского мужика не было отнято ни одного клочка земли: ни от финнов, ни от поляков, ни от грузин. В результате тысячелетней стройки создался, правда, привилегиро-

ванный слой — дворянство, но дворянство **разноплеменное**, и не только русское. Дворянином мог быть всякий — при Николае I и Александре II дворянство давалось и евреям (бароны Гинцбурги и пр.), но принадлежность к «господствующей нации» не давала решительно никаких — ни юридических, ни бытовых — привилегий.

Только два народа имели основание жаловаться на неравноправие: поляки и евреи. С Польшей был у нас тысячелетний спор о «польской миссии на Востоке»; русская политика по отношению к Польше была неразумной политикой, но поляки разума проявляли еще меньше. В еврейском вопросе было много безобразия. Но основная линия защиты только что освобожденного и почти сплошь неграмотного крестьянства от вторжения в деревню «капиталистических отношений», которые по тем временам олицетворялись в еврейском торговце и ростовщике, — была в основном тоже правильна. Черта оседлости была безобразием. Погромов русское правительство не устраивало никогда, но официальный лозунг «Россия для русских» был только очередным отступлением от заветов князя Олега к заветам Отто Бисмарка: Бисмарк в те времена был в такой же моде, как сейчас демократии.

Если исключить два очень больных вопроса, польский и еврейский, то никаких иных «национальных вопросов» у нас и в заводе не было. Никакой грузин, армянин, татарин, калмык, швед, финн, негр, француз, немец, или кто хотите, приезжая в Петербург, Москву, Сибирь, на Урал или на Кавказ, нигде и никак не чувствовал себя каким бы то ни было «угнетенным элементом», — если бы это было иначе, то царскими министрами не могли быть и немцы, и армяне. Все это мы учли очень плохо. Очень много мы не знаем вовсе.

Вот одна из таких вещей.

В мое время, в 1912–1917, филологический факультет Петербургского университета считался лучшим в мире. Юридический факультет начинал считаться лучшим в мире. На нашем юридическом факультете подвизался, однако, проф. И. Петражицкий — творец первой более или менее **русской** теории пра-

ва — психологической теории. Проф. И. Петражицкий — чистокровный поляк. Он начал свою карьеру в германских университетах — часть его работ написана по-немецки, — потом побывал в Кракове и потом все-таки обосновался в Петербурге. Несколько позже он репатриировался к себе на родину. У себя на родине он оказался гражданином второго сорта — точно так же, как гражданами второго сорта оказались и «аусландс дейче», радостно прибывшие «Хайм инс Рейх» в объятия древней Родины-Матери. Вот родина и показала им, что есть первый сорт, и как надлежит вести себя третьему.

Неизвестные мне преимущества филологического факультета привлекали к нему американских студентов и студенток. В их числе были и индейцы. Настоящие. Об их научных успехах я не информирован никак. Но они принимали участие в нашей спортивной жизни, и я тогда никак не мог сообразить, что именно их так привлекает к «русской демократии». Теперь я это кое-как соображаю, — после моего западноевропейского опыта.

Петербург был, конечно, интернациональным городом. Но даже и в Петербурге все-таки сказывалось «русское влияние». Оно, в частности, заключалось в том, что если бы какая бы то ни было семья, группа, кружок и пр. попробовали бы как бы то ни было задеть национальное достоинство финна или индейца, поляка или татарина, то это было бы общественным скандалом. В Германии были, а в САСШ есть и сейчас рестораны и гостиницы, спортивные кружки и университетские объединения, в которые «вход евреям запрещен». У нас это было невозможно. И единственным исключением было гимнастическое общество «Сокол». Но и «Сокол» был тоже обезьянством: чешские провинциальные масштабы мы пытались перенести на русскую имперскую почву: в соколы принимали, видите ли, только славян. В том числе, правда, и татар. Но не принимали ни немцев, ни евреев. По тем временам я измерял достоинство людей по объему их мускулатуры, — как, очень вероятно, измерялось оно во времена Олега. Но я никак не мог примириться с измерением человеческого достоинства по принципу национальной принадлежности. Думаю, что совершенно то же было

и в дружинах киевских князей. То же было и у престола императоров всероссийских. То же было в любой российской деревне и в любом русском городе.

Это свойство, которое характеризует русскую доминанту и при Олеге, и при Николае II, сделало — раньше «империю Рюриковичей» и потом «империю Романовых» — нашей общей империей. Если бы это было иначе, то империя, включавшая и включающая в свой состав десятки и сотни народностей, одиннадцать веков не продержалась бы.

Я не хочу идеализировать нашего прошлого. Доминанта уживчивости никогда не была реализована на все 100 процентов. Всякий мужик рассматривал всякого цыгана как еще не пойманного конокрада. Все русские правительства, начиная с киевского, кончая петербургским, рассматривали почти всякого поляка как проводника «польской миссии на Востоке», т.е. «Польша от моря до моря», и католицизма от Балтики до Тихого океана. Еврейство рассматривалось по преимуществу как носитель капиталистической свободы конкуренции, а «капитализм» у нас не любили ни «реакция», ни «революция». И по той простой причине, что и реакция, и революция были в одинаковой степени крепостническими. «Свобода конкуренции» была так же неприемлема для тульских помещиков 1840 года, как и для тульских плановиков 1940-го. В истории крушения русской государственности и поляки, и евреи кое-какую роль сыграли, — в общем очень скромную. И за крушение империи и поляки, и евреи заплатили больше, чем какая бы то ни было другая народность империи Российской. При царях и полякам, и евреям было не очень хорошо. Но при Сталинахв–Гитлерах им стало намного хуже.

В России и Киевской и Московской были удельные войны. Но не было **внутринациональных** войн. Кровавые споры между Новгородом и Суздалем и между Вильной и Москвой были спорами за первенство в общем национальном доме, который всеми спорившими признавался своим домом. И хотя новгородцы, разбив Андрея Боголюбского, продавали суздальских пленников по цене половины барана, никогда новгородцы

не утверждали, что они — один народ, а суздальцы — другой. Этого до Польско-Литовской унии не говорили даже и в Вильне. И князь Острожский, великий ревнитель православия, основатель первой русской типографии, идя против Москвы, вероятно, искренне считал, что Русь призвана объединить именно Вильна. В его время были вполне достаточные основания считать «сердцем России» именно Вильну. Но с того момента, когда, — еще довольно смутно — стало обозначаться первенство Москвы, или, несколько иначе, — когда именно в Москве стал формироваться наш государственный строй демократического самодержавия, — массы повернули в ее сторону, и всякие дальнейшие споры стали безнадежными.

В Киевской Руси не было, по-видимому, даже и этих споров. Кривичи и дреговичи, варяги и славяне, «тюрки и берендеи» сколотили свою кооперацию как-то таинственно быстро и необычайно прочно.

Русская книжная интеллигенция веками занималась «размышлениями у парадного подъезда» Западной Европы. Дальше подъезда она не шла. Но так как даже и Западная Европа не представляла собою чего бы то ни было единого, то российский интеллигент размышлял сразу по меньшей мере у трех подъездов: философского — германского, революционного — французского и вообще демократического — английского. В Англии была демократия, но не было ни философии, ни революции. В Германии была философия, но не было ни революции, ни демократии, во Франции была и революция, и демократия, но философской конкуренции Франция последнего столетия не могла выдержать никакой. Так что интеллигенция так и бродила: от подъезда к подъезду. В конце XVIII века «душа ее принадлежала короне французской». После свержения этой короны она стала «прямо геттингенской» (Ленский у Пушкина), а в милюковский период русской истории русская интеллигентская душа угнездилась где-то на Темзе. Принципов государственного строительства Германии и Франции сейчас, пожалуй, даже и оспаривать не стоит. Английские государственные порядки, попавшие под высокое покровительство «Бритиш Бродкэстинг

Корпорэйшэн» — сокращенно BBC, — сейчас считаются самыми лучшими — English wares are the best. До американского парадного подъезда русская общественная мысль пока еще не добрела. Это, конечно, несколько затрудняет всякие размышления.

Таким образом, из всех современных западноевропейских примеров и образцов у нас на данный момент осталась только Англия. И из всех прежних — только Рим. Но Рим отделен от нас 2 тысячами лет и никакое «классическое образование», которое должно было в русских гимназистах с помощью чешских латинистов воспитать доблести римской республики, никакого заметного следа на наших гимназических, а также и профессорских душах не оставили. Наши души в последние предреволюционные десятилетия норовили принадлежать короне британской.

Британская империя является приблизительно сверстницей Российской. С той маленькой поправкой, что началась она на 700 лет позже и кончается на неизвестное количество лет раньше. Это — не первая «великая империя», которая «промелькнула перед нами». Как и не одна «великая армия» «побывала тут». Были великие империи — и прошли великие империи. Были великие армии — и не ухитрялись всегда уйти. А мы, рязанские, все стоим — приводя в искреннее, хотя и тревожное, недоумение даже и м-ра Эчесона.

Основание Британской империи относится, конечно, не к эпохе м-ра Дизраэли, который объявил английского короля императором Индии, а к диктатуре Кромвеля, который возглавил собою национальную контрреволюцию островитян против революционных попыток континентальных новшеств. При нем было проведено объединение островов — лет на 700–800 позже объединения Руси при первых Рюриковичах. Лет 500 до этого и лет 300 после этого — от Вильгельма Завоевателя до сегодняшнего дня — ни разу в своей истории Англия не стояла перед вопросом: быть или не быть. Даже и при Гитлере. Но мировая роль Англии началась только с Кромвеля, объединившего разрозненные племена островов в единый государственный блок.

У нас Ольга воевала с древлянами, и новгородцы били суздальцев. Древляне где-то вообще растворились, а войны

новгородцев с суздальцами мы сейчас вообще себе представить не можем. По летописному сказанию, Добрыня крестил славянских язычников мечом, а Путята — огнем, но альбигойских войн у нас все-таки не было. И, оценивая британские островные свободы, мы начисто забываем о целом ряде самых основных фактов и нашей, и английской истории.

Наше национальное единство родилось где-то в эпоху Олега, и войны, которые велись до установления всероссийского центра, были войнами за этот центр — а **не** за **ликвидацию** его. Войнами за централизм, а не за сепаратизм. Войны Кромвеля были войнами за установление центральной власти против сепаратистских тенденций Шотландии и Ирландии. Обе страны были разгромлены вдребезги и залиты кровью. Ирландия была обращена в рабство, которое продолжалось от Кромвеля до де Валеры — т.е. около 300 лет. Сейчас Ирландия отделилась от империи, и Шотландская национальная партия начинает говорить о шотландской независимости. Южная Африка идет по тому же пути — и за всеми декламациями и декларациями о всяких правах, свободах, победах, процветаниях мы начисто упустили целый ряд вопиюще очевидных фактов. Я бы сказал: истинно вопиющих фактов. Российская империя существует 11 веков. Британская просуществовала только 3 века.

Российская империя строилась в процессе истинно нечеловеческой борьбы за существование. Британская строилась в условиях такой же безопасности, какою пользовался в свое время, — до изобретения паровоза, — любой средневековый барон: Англия сидела за своими проливами, как барон за своими стенами, и при всякой внешней неудаче или угрозе имел полную возможность «сидеть и ждать». Мы такой возможности не имели никогда — ни при Батые, ни при Гитлере.

Российскую империю народ строил и отстраивал ценою беспримерных в истории человечества жертв. И единственное, что он на этой стройке заработал — это кое-какую очень шаткую безопасность от Батыев и от Гитлеров. Британская империя строилась на торговле — в том числе и на торговле рабами и опиумом. Британская империя, как общее правило, воевала

чужими наемными силами. В Крымскую войну в Гамбурге была основана целая контора по вербовке немецких ландскнехтов для войны против России, во Вторую мировую войну в составе английской армии были и польские, и чешские, и индусские войска, и всякие иные войска, дивизии и даже армии. Из тех очень скромных потерь, какие понесла британская армия во Вторую мировую, статистика кажется не удосужилась подсчитать все неанглийские потери. Все то, что сейчас по эфиру и по почте распространяется о «страшных напряжениях» Англии во Вторую мировую войну — есть просто вздор по сравнению со всем тем, что в ту же войну переживала не только Россия, но и Германия.

На географически привилегированном острове привилегированная торговая нация выдвинула свой привилегированный организующий слой, и этот слой действительно пользовался таким комфортом и такими свободами, какими у нас не пользовался и не мог пользоваться никто. Вину за наш географический сквозняк и его политические и экономические последствия наша наука взвалила на плечи самодержавия. Заслугу островного положения Англии та же наука приписала «демократии». Хотя — должно было бы быть совершенно ясно, что в масштабе всей империи любых свобод в России было гораздо больше, чем в Англии. Русский журналист был менее свободен, чем английский, — хотя даже и с этим можно было бы спорить, — но финский торпарь, узбекистанский декханин или зырянский охотник были свободнее русского мужика — хотя бы по той простой причине, что воинской повинности они не отбывали. А во всем остальном они были совершенно равноправны. Великое тягло государственной обороны из века в век падало главным образом на великорусские и малорусские плечи, — и при Олеге, и при Сталине, и при Кончаках, и при Гитлерах. Но мы никогда не воевали наемными армиями, никогда не зарабатывали ни на рабах, ни на опиуме и никогда не пытались становиться ни на какую расовую теорию. Очень нетрудно установить очень близкое родство между английским «долгом белого человека» и немецкой «высшей расой». В Рос-

сийской империи не было ни белых человеков, ни высших рас. Татарское, т.е. монгольское население России никто и никогда не рассматривал ни в качестве «низшей расы», ни в качестве «цветной расы». Не так давно в Лондоне произошла маленькая неприятность: туда приехала американская музыкальная делегация. В ее составе был негр. Негра НЕ приняли в гостиницу. Этот инцидент попал в газету, и м-ру Эттли пришлось кое-как извиниться, все-таки американские граждане. Очень возможно, что аналогичные инциденты, не касающиеся граждан САСШ, в газеты не попадают.

ОТСТУПЛЕНИЕ О СВОБОДАХ

Настолько можно восстановить общую психологическую картину первых киевских веков, дреговичи, поляне, тюрки и берендеи были там одинаково свободными, — принимая, конечно, во внимание нравы конца прошлого тысячелетия. Потомки этих же дреговичей, полян, тюрков и берендеев тысячу лет спустя остались такими же свободными — принимая во внимание эпоху Лениных и Гитлеров. Тысячу лет тому назад в «холопы» попадали и поляне, и тюрки, сейчас в концентрационные лагеря попадают и эллины, и иудеи — все те, кому сбежать не удалось. Если было хорошо — было хорошо всем. Если было плохо, то всем было плохо. И свобода русского народа — или свобода народов России — ограничивалась вовсе не самодержавием, а просто-напросто воинской повинностью и всем тем, что она автоматически вела за собой. Ни наличие Батыев, ни наличие Гитлеров не имело никакой связи с наличием самодержавия.

Сейчас я склонен впасть еще в одну ересь. Я буду утверждать, что русский рабочий времен Николая II был свободнее английского рабочего времен м-ра Эттли.

Английский рабочий времен м-ра Эттли склонен рассматривать профсоюзы как величайшее достижение своих свобод. Я те же профсоюзы склонен рассматривать как великое ярмо на шею мирового пролетариата. Без всяких профсоюзов рус-

ский рабочий питался лучше рабочего Британских привилегированных островов. Он имел свободу труда, не стесненную законами о планировании рабочей силы. Там, где надо было охранить его реальные интересы, там самодержавие делало это и раньше и лучше всех профсоюзов мира, взятых вместе. Но только перед пролетариатом оно не заискивало и опиумных фимиамов перед ним не курило. В любой стране Европы горьковских босяков сажали и сажают в тюрьмы за бездомность. Русский босяк — включенный в состав Великой империи, имел и еще некоторые преимущества, каких английский пролетариат лишен начисто: русский босяк или тульский рабочий могли в любой момент плюнуть на Тулу или на Ростов и двинуться в Хиву или на Амур. Английский пролетарий этой свободы лишен. Даже в границах своей собственной империи он не может передвигаться: его не пускают ни в Канаду, ни в Австралию, ни в Южную Африку, вообще — никуда. Ибо Австралия и прочие населены «независимыми нациями», и эти независимые нации не пускают к себе даже и участников войны. Разумеется только тех, у которых нет достаточного количества денег. Английский рабочий лишен свободы труда и свободы передвижения. Компенсируется ли все это той свободой, с которой «Дэйли Уоркер» ведет свою пропаганду по дальнейшему развалу Британской империи и по распродаже ее по ценам московской красной биржи?

Русская печать времен Николая II была слишком свободной печатью. Она была ограничена штрафами. Каждый штраф с лихвой окупался повышением тиража. Ибо суд — это реклама. А реклама — это тираж. Свобода печати в ее современной форме привела к тому, что печати сейчас ни один дурак не верит. Мировая печать превратилась в оборудованную по самому последнему слову техники фабрику лжи. И это не только сейчас и не только в СССР. Настоящая свобода печати может быть достигнута тогда и только тогда, когда суд присяжных (а не цензура или главлит) будут карать каждого автора, допустившего ложь. И не штрафом, а посерьезнее. Пока этого нет, свобода печати совершенно аналогична «свободе любви».

Свободу любви мы можем понимать, как свободу выбора в любви, не ограниченную расовыми или классовыми законами или предрассудками. Но ту же свободу любви нам проповедовали, как свободу проституции. Сегодняшняя свобода печати есть свобода проституции печатным словом.

Она у нас была ограничена. Но когда дело шло об основных ценностях Англии, то был запрещен «Дейли Уоркер», а фашисты были просто посажены в тюрьму. Защищаясь от нашей оголтелой интеллигенции, русское правительство применяло наивный способ «свидетельства о политической благонадежности». Защищаясь от коммунизма, Англия проводит то же самое: чистит свою бюрократию от политически неблагонадежных людей. Словом, когда Великобритания и САСШ были на очень краткий исторический миг поставлены перед приблизительно такими же задачами, перед какими Россия непрерывно стояла все одиннадцать веков, то британские и американские свободы стали, так сказать, русифицироваться. И м-р Эттли, сооружая в Англии партийно-бюрократическое государство, сейчас говорит о русской искони полицейской государственности. И заводит полицейский строй, какого во времена Николая II у нас все-таки не существовало: «чисток» правительственного аппарата у нас все-таки не было, по всему пространству нашей империи мы все могли ездить, как хотели, и над русским пролетариатом не было никакого приводного ремня к массам, и этот пролетариат не подлежал никаким циркулярам никаких министерств труда.

Но между русским самодержавием и английским парламентаризмом, русским «полицейским государством» и британскими свободами существовало и еще одно различие: со своими задачами русское самодержавие справлялось совершенно неизмеримо лучше английского парламентаризма. Достаточно сравнить две основные вещи: американское освобождение рабов парламентарными методами оказалось невозможным: пришлось вести гражданскую войну. Свободы труда и передвижения нет в Англии и сейчас. Победа Первой мировой войны была проиграна, и победа Второй мировой войны проигрывается сумасшедшими темпами.

В 1814 году русское самодержавие разгромило французский «тоталитарный режим», созвало Венский Конгресс и организовало Священный Союз. В Европе царил почти полный мир — никто не был ограблен и даже почти никто не был обижен. Историю победы демократии в Первой мировой войне м-р Черчилль называет сплошным безумием: «Эта история в самом основном есть список преступлений, глупости и страданий».

История Второй мировой победы есть нечто еще худшее: и глупость, и преступление, и страдания, и предательство, и, наконец, просто сумасшедший дом. Черчилль в своих «Воспоминаниях» рисует истинно жуткую картину: «В 1938 году был смысл воевать за Чехию, ибо тогда германская армия только с великим трудом могла бросить на западный фронт полдюжины обученных дивизий, а французы могли ринуться на Рейн или в Рурскую область **шестьюдесятью-семьюдесятью дивизиями...**». «Но все это люди считали неразумным, преждевременным, стоящим ниже современного уровня мышления и морали».

Вот усилиями всеевропейского социализма и парламентаризма мы и сидим: намного, очень намного ниже самого скромного уровня мышления и морали, по-видимому, общепринятого уже и при Олеге.

Английская патриотическая поговорка гласит: «Англия проигрывала все сражения, кроме последнего».

Давайте вспомним: в свое время были проиграны два последних сражения: одно — против Франции Жанны Д'Арк, другое против Америки Джорджа Вашингтона. В переводе на язык русской истории это обозначает примерно то же, что для нас означал бы разгром в Польше или отделение Сибири.

Английская патриотическая песенка поет:

Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом!

Давайте вспомним: британская армия и еще больше британский флот были построены не на началах всеобщей воинской повинности, не на долге каждого англичанина идти защищать

старую и веселую Англию, а на захвате в рабство матросов и солдат — которых вербовщики спаивали в кабаках, в пьяном виде отвозили на суда и там было то же, что было и на галерах эпохи гребного флота.

Русская армия от Олега до Николая II никогда не вербовала своих бойцов ни путем купли, ни путем спаивания. Она не захватывала и не покупала рабов ни на хлопковые плантации XIX века, ни на каучуковые XX-го. Россия первая предложила миру и Лигу Наций, и разоружение, и Гаагский трибунал, но совершенно невозможно себе представить, чтобы при наличии империи Российской и императоров всероссийских Лига Наций и ООН превратились бы в то, во что превратила их борьба правительств и партий, парламентов и профсоюзов, трестов и деятелей, ораторов, танцоров и жулья. Можете ли вы себе представить, чтобы Государь-император Николай II, имея на русско-германской границе более чем десятикратное превосходство в силах дал бы немцам съесть своего союзника, которому он за год до этого торжественно обещал свою вооруженную поддержку? Если вы это можете себе представить — позвольте мне позавидовать силе вашего воображения.

***

Так вот, — прошли мы одиннадцативековой путь от Олега до Николая II и в самых истоках этого пути мы туманно и расплывчато подмечаем те же общие черты, что и в его конце, — я, впрочем, никакого «конца» пока не вижу. Если бы наша историческая наука занималась бы исследованием фактов, а не агитацией в пользу галлюцинаций, то мы, вероятно, знали бы об истоках нашего государственного бытия что-то более вразумительное, чем отдельные эпизоды борьбы за киевский великокняжеский стол. Но мы этого ничего не знаем. Или почти не знаем. Все те светочи науки, которые нам освещали наше прошлое, всем своим нутром принадлежали ко всяким в мире коронам — кроме, конечно, русской. Это в какой-то степени повторяет историю убогой нашей «военной миссии». Учились наши генералы у ита-

льянцев эпохи Возрождения и у поляков эпохи вырождения, у шведов Карла XII и у немцев Фридриха Великого, у Наполеона и у Клаузевица — т.е. у опыта всех тех армий, которые были разбиты **нашей собственной**. Но у нашей собственной — как же было учиться? В отношении государственного строительства остается все-таки много сторон, которые могут показаться спорными. Но в военном смысле никаких споров просто не может быть: русская армия была самой победоносной армией всей мировой истории, включая в эту историю и Древний Рим. Так, может быть, русскую военную мысль следовало бы строить на основании ее опыта, а не опыта Коллелони, Собеских, Карлов, Фридрихов и пр. Не на опыте тех, кто кое-как и кое-когда выигрывал кое-какие «первые сражения», а на опыте нашей армии, которая первые сражения иногда и проигрывала, но пока что не проиграла ни одного последнего?

Это же относится и к русской государственности. Ведь вот те люди, которые искали — они нашли: и законы Хаммурапи и остатки империи инков, раскопали древнюю Трою и гробницу Тутанхамона... Может быть, что-то можно было найти и о свободах Киевской Руси, как **нечаянно** что-то нашел проф. Кизеветтер о всероссийских съездах Московской?

***

Я уже констатировал: ни о чем решающем наши историки нам не говорят — они только **проговариваются**. И тогда с совершенной неизбежностью возникает совершенно логическая нелепица, какими переполнены все наши исторические исследования, нелепица, которая фактическим клином врезывается во все теоретические построения: если были всероссийские съезды и неприкосновенность личности, то ни о какой «деспотии», разумеется, речи быть не может. Если русский мужик в середине XVII века имел по свинье и прочему на душу населения, то ни над какой бездной он не стоял. Если Петр I бежал от Софии, от Нарвы, от Гродны и под Прутом увяз так, что и бежать было некуда, то только при величайшей

свободе мысли от законов логики можно возвести его в чин героя и полководца. Если Пестель агитационно запарывал своих солдат, то ни при какой свободе мысли никем иным, кроме как прохвостом, его квалифицировать нельзя. Но нам говорят: Петр шведов разбил потому, что научился чему-то от них. Или: Толстой написал «Войну и мир» потому, что учился у Диккенса. Или Александр II ввел суд присяжных потому, что научился от Англии. Считалось совершенно немыслимым, чтобы что-либо существенное, кроме самовара, указа, кнута и водки, мы бы соорудили «своею собственной рукой».

Этот философски стандартизированный ход мыслей повторяется и в историографии Киевской Руси: откуда бы все это могло взяться? Ясно — сперли. Но у кого? Ясно — у Византии, по тем временам это был единственный парадный подъезд. Ключевские, которые жили за чужой духовный счет, никак не могли себе представить, что кто-то в России мог бы жить на свой собственный.

Давая общий обзор нашей «Начальной летописи», Ключевский стыдливо потупляет свои ученые очи перед его «твердым и цельным историческим мировоззрением»: «Начальная летопись представляет сначала прерывистый, но чем дальше, тем все более последовательный рассказ о первых 21/2 веках нашей истории, и не простой рассказ, а освещенный цельным, тщательно проработанным взглядом составителей на начало нашей истории... Всего важнее **идея**, которою освещено начало нашей истории, — это идея славянского единства, которая в начале XII века требовала тем большего напряжения мысли, что совсем **не поддерживалась** современной действительностью... Замечательно, что в обществе, где сто лет с чем-нибудь назад еще приносили идолам человеческие жертвы, мысль уже научилась подыматься до связи мировых явлений... Вчитываясь в оба свода, вы чувствуете себя как бы в широком общерусском потоке событий, образующемся из слияния крупных и мелких местных ручьев... Как могли составители сводов собрать такой материал местных записей, летописей и сказаний, и как умели свести их в после-

довательный погодный рассказ, — это может служить предметом удивления или недоумения».

Итак: почти тысячу лет тому назад в обществе, которое только что приносило идолам человеческие жертвоприношения, мысль уже научилась «подыматься до связи мировых явлений». Мы сейчас сказали бы: мыслить в мировом масштабе. «Мировой масштаб» в X веке, разумеется, не включал в себя ни Великобританской империи, которой тогда не было, ни Америки, которая тогда открыта **не** была. Но все-таки в X веке люди мыслили в мировом масштабе. Посмотрите сводки сегодняшних мировых конференций: там о связи мировых явлений, кажется, не думает вовсе никто. Каждому ближе своя рубашка, даже и тогда, когда от нее остались одни дыры: дыры, они, видите ли, тоже свои. И своя дыра к телу тоже ближе. Откуда же вчерашние поклонники Перуна и Даждьбога в 200 лет научились тому, чему Европа не смогла научиться за 2 тысячи? Официально научный ответ известен всем нам: Византия.

Не могли же в самом деле какие-то дреговичи сами выдумать что-то путное? Самобытность римского и английского государственного строительства не оспаривает, насколько я знаю, ни один из существующих источников. Самобытность русского, насколько я знаю, не признает ни один из существующих источников. Раз было что-то путное, то очевидно, что дреговичи откуда-то его сперли.

Ключевский недоумевает: откуда же могла взяться идея славянского единства, если она не совсем поддерживалась «современной действительностью». Это была в своем ядре идея единства Русской земли. На Любечском съезде князья клянутся «всею землею Русской», признавая этим свои удельные грехи. Даниил Паломник, пробравшись в Иерусалим, возжигает на Гробе Господнем лампаду «за всех христиан земли Русской». Иначе говоря, у самых истоков русского государственного строительства идея национального единства — но не расового — возникает как-то сразу, как Афина Паллада из головы Зевса: в полном вооружении. Это есть основной факт всей нашей истории, — ее основная идея. И именно этой идеи Русь

не могла заимствовать от Византии по той простой причине, что такой идеи в Византии и в заводе **не было**.

Византия никогда не была национальным государством, ибо у нее не было не только нации, не было даже и эмбриона нации. У нее не было даже и народа. О русском народе можно было бы говорить — он был. Но о «византийском народе» я никогда ничего не слыхал. Византия была создана на месте старой эллинской колонии, куда была переселена вся римская администрация, ее государственным языком был сначала латинский, а потом греческий — одинаково чуждые всей той разноплеменной массе, которая была и осталась под куполом Восточной империи после ослабления и разгрома Западной, но которая никогда не слилась в один народ или в одну нацию. И если на Руси и в России характерной чертой было отсутствие борьбы племен и национальностей, то вся внутренняя история Византии переполнена именно этой борьбой. Греческие, римские, иудейские, персидские, армянские, славянские и прочие течения находились друг с другом в состоянии почти непрерывной войны — и именно эта война подорвала силы Византии больше, чем завоевание ее крестоносцами: если бы империя была достаточно крепка, то с бандами западноевропейских рыцарей-разбойников она бы уж справилась. Но империя разрывалась внутринациональными противоречиями, национальной армии она не имела, ее политика строилась на балансировании между непримиримыми лагерями, а ее армия — на вербовке всякого сброда. Никакой национальной идеи у Византии не было и быть не могло. Сама не имея национальной идеи, как могла Византия снабдить ею новорожденную Русь?

Нам говорили: русская монархия родилась на свет под прямым влиянием Византии. Позвольте поставить вопрос с другой стороны: была ли в Византии монархия вообще? Основной, самый основной юридический признак монархии — это законное наследование престола. Из 109 византийских императоров своей смертью умерли только 35: остальные **74 были убиты**. Императоры и династии менялись, как общее правило, ценой убийств, дворцовых переворотов, насильст-

венного и вооруженного свержения законной власти. В Византии была не империя, — был цезаризм. Монархии не было и в Риме: замещение престола по праву наследования было там, как и в Византии, только исключением. Если императору удавалось обеспечить своему наследнику верность легионов, — то наследник царствовал. Но если какому-нибудь полководцу удавалось перехватить симпатии легионов, — то законный наследник отправлялся на тот свет. И все оставалось совершенно в порядке вещей. В Византии всякий удачливый генерал норовил ворваться в столицу со своими дивизиями и вырезать всю династию и утвердить свою власть. И Византийская Церковь поставляла религиозные оправдания такого рода подвигам: патриарх Полуевкт, коронуя цареубийцу Цимисхия, провозгласил новый догмат: таинство помазания на царство смывает все грехи, в том числе и грех цареубийства: «Победителей не судят». Победителей не судит даже и Бог.

Государственный строй, существовавший в Византии, называется монархией. Государственный строй, существовавший в России, тоже называется монархией. Государственный строй, ныне существующий в САСШ, называется республикой. И государственный строй, существующий в СССР, тоже называет себя республикой. Все это есть преступная игра терминами. Две совершенно разные вещи называются одним и тем же словом, и их словесное сходство становится исходным пунктом для дальнейшего научного вранья.

Монархия в Византии и монархия в России совпадали в сущности только в одном: в названии. В Византии, как и в Западной Европе, монархия увенчивала собою право силы. В России она была политическим выражением диктатуры совести. Вспомним, что у нас за все время нашего государственного существования не было **ни одного** случая официального свержения династии. Даже дворцовые перевороты XVIII века всегда прикрывались чисто легитимными декорациями. Даже и Емельян Пугачев выступал от имени законной династии и в качестве представителя законной династии. Насильственный захват престола был в России невозможен вовсе.

Совершенно невозможно представить себе, чтобы Строгановы со своими чудо-богатырями могли бы ворваться в Москву или Петербург и там таинством помазания смыть грех цареубийства: ни за Строгановыми, ни за Суворовыми никто бы не пошел.

В трагической истории Бориса Годунова был момент, который остался как-то вне нашей исторической оценки. Династия Грозного исчезла. Годунов был ближайшим родственником этой династии. Его государственные способности находятся, по-видимому, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения находится и законность его избрания на престол. От этого престола он отнекивался точно так же, как в 1613 году отнекивались первые Романовы, а в 1825 — Николай и Константин Павловичи. Пушкин считал это лицемерием:

Борис еще поморщится немножко,
Как пьяница пред чаркою вина…

Но можно считать это и искренним жестом, подсказанным страшной тяжестью той моральной ответственности, которую всегда признавали русские государи. Во всяком случае, в Византии никто не «морщился», как никто не морщился и в Европе. Здесь все было просто: быть царем значит обеспечить себе полную безнаказанность — omnia impune facere. До известного периода, но не вечно. И предел этот был очень точно указан в формуле возведения на престол арагонских королей. Представитель знати, совершая обряд, произносил старинную формулу: «Мы, которые стоим столько же, что и вы, и которые можем больше, чем можете вы, — мы назначаем вас нашим королем и сеньором при том условии, что вы будете соблюдать наши привилегии. А если нет — нет».

Ни римские, ни византийские легионы такой формулы не произносили: цезари в Риме и базилевсы в Византии были само собою разумеющимися ставленниками этих легионов и никаких моральных принципов ни за цезарями, ни за базилевсами, ни за легионерами не было и в заводе. Были свои войска и у Годунова. Было родство с династией и было бесспорное право избрания. И русская московская знать, вероятно, по личной иници-

ативе Василия Шуйского, отыскала тот слабый пункт, который впоследствии и погубил Годунова: легенду об убийстве царевича Дмитрия. Пропагандный отдел знати был, по-видимому, поставлен блестяще и нащупал правильную линию: подрыв моральной основы царствования. И вот тень Дмитрия стала бродить по стране. Кто бы в Византии, или в Риме, или в Мадриде стал бы заботиться о трупе ребенка, убитого 20 лет тому назад? Кому бы пришло в голову пытаться свергнуть Цимисхия той кровью, которую тот пролил на путях к захвату власти? Василий Шуйский капнул ядом в самую сердцевину московско-«азиатского» абсолютизма: в его нравственную опорную точку. И все пошло из стороны в сторону, все казалось Божьей карой за то, что Москва терпит цареубийцу. Это было 350 лет тому назад. Через 350 лет после этого я в моих скитаниях по РСФСР, УССР и пр. социалистическим республикам раза три слыхал тот же вариант: «Так нам и нужно, царя не уберегли»...

Я склонен думать, что если вот сейчас с любого среднего русского человека по обе стороны научного занавеса снять это ленинско-марксистское, социально-революционное, солидаристически-марксистское, солидаристически-автономистское и прочее самомоднейшее обмундирование и оставить этого среднего русского человека в том виде, в каком создал его Господь Бог, без гегелей в ноздрях и керенщины в мозгах, — то можно было бы обнаружить приблизительно то же самое чувство. Его можно было бы назвать ощущением греха. Его можно было бы назвать ощущением конфуза. Но оно есть у всех нас. Даже и Ленин–Сталин «казнью Николая Кровавого» предпочитали не хвастаться никак. Даже московские коммунисты как-то ежились при напоминании об этом убийстве: «Да, конечно, это была политическая необходимость», но в глаза не смотрели. Кто бы в Византии стал стесняться таким пустяком?

***

Наша наука выуживает цитаты и жонглирует терминами. Иногда это только несчастье. Но иногда — и позор. Во всяком

случае, за цитатами и терминами бесследно исчезают явления, которые после себя точных цитат не оставили и которые замазаны ничего не говорящими терминами. Так, в случае с Византией вне всякого научного внимания остается факт диаметральной противоположности между русской и византийской духовной доминантой. Византийство — это преобладание формы над содержанием, юрисдикции над совестью, интриги над моралью. Византийцы были классификаторами, кодификаторами и законниками. Византия была, собственно, очень близка к Карфагену — государство-город, за которым вместо «нации» стояли только «хинтерланд» — территории, обладающие такими-то и такими-то сырьевыми и людскими ресурсами. У Византии не было «родной землицы», из-за которой кто бы то ни было стал бы лезть на какой бы то ни было рожон. Не было никакой «национальной идеи». Не было никакой легитимной монархии. Не было никакой «национальной армии». Все, что было в Византии, было прямой противоположностью тому, что выросло в России. В России содержание всегда предпочиталось форме, совесть — букве закона, мораль — силе, а сила — интриге. От Олега и Даниила Заточника до Николая II и даже Сталина — у нас была и есть «родная земля», за которую мы лезли на все мыслимые рожны и ломали все мыслимые рожны. «Идея славянского единства», таинственно открытая Ключевским в начальном списке нашей летописи, была потом отредактирована московской, церковной публицистикой, была поэтически сформулирована Пушкиным — «славянские ручьи» и «русское море», — вела наши армии на Балканы, и в весьма переходный момент нашей истории реализовалась в «восточном блоке» под скипетром базилевса Сталина. Сталин почти так же счастливо совместил Цимисхия с Марксом, как Ленин — Гегеля с Батыем. Или Нелюб-Злобин — Вольтера с конюшней...

Разумеется, были и «влияния» — от византийского до марксистского. Говоря очень суммарно, за 11 веков своего **литературного** существования Россия сменила такие «влияния»: 1) варяжское; 2) византийское, 3) хазарское, 4) татарское, 5) польское, 6) голландское, 7) шведское, 8) французское, 9) не-

мецкое, 10) английское. Теперь, надо предполагать, очередь американского влияния. За все эти одиннадцать веков из русского человеческого сырья известные и неизвестные нам властители дум пытались изваять: нордического морехода, византийского царедворца, польского шляхтича, голландского шкипера, французского скептика, немецкого философа и английского парламентария. На тучных пастбищах всех этих влияний паслись целые стада профессоров. Они наживали гонорары и лоснящуюся шерсть. Они пытались переделать русского тысячелетнего Ивана хоть на какой-нибудь человеческий лад — то византийский, то марксистский. Сделать его то феодалом, то шейлоком, то республиканцем, то даже социалистом. Сейчас, обозревая простым, совершенно невооруженным глазом одиннадцативековые усилия византийских книжников IX века и марксистских книжников XX-го, можно сказать, что кроме временных кабаков ни из чего ничего не вышло. Приблизительно так же, как ничего не вышло бы из Федора Шаляпина, если мы его переделали бы на Джина Тэннея. С научной точки зрения такая переделка могла бы показаться целесообразной: в качестве боксера Тэнней зарабатывал неизмеримо больше, чем Шаляпин в качестве певца. Кроме того, Тэнней зарабатывал «научным» боксом — есть ведь и такой, — Шаляпин же ни с какой наукой ничего общего не имел. Но можно предположить, что в результате такой переделки Шаляпин перестал бы быть Шаляпиным, но никак не смог бы сделаться Тэннеем. Так мы на протяжении веков были очень хорошими монархистами. Но на протяжении всех этих одиннадцати веков я что-то не могу припомнить ни одного примера тех республиканских добродетелей, которыми жил Древний Рим и с которым помирает нынешняя Франция. Разве что А. Ф. Керенский — ДО его прихода к власти и ПОСЛЕ его ухода от власти. Три месяца на протяжении тысячи лет — не Бог весть какое уж достижение. Но даже и в эти три месяца никаких республиканских добродетелей проявлено не было. Если, конечно, не считать «керенщину» добродетелью.

Если бы мы изучали русскую историю с русской точки зрения, а не с какой-нибудь декоративно-спинозной или цереб-

рально-спинальной, то мы могли бы установить тот неправдоподобный, но все-таки неоспоримый факт, что от Олега почти до Сталина русская национальная и государственная жизнь, то спотыкаясь и падая, то отряхиваясь и восставая, идет все по тем же основным линиям, которые я постараюсь суммировать в нескольких пунктах.

1. Нация — или, лучше, «земля» — как сообщество племен, народов и даже рас, объединенных общностью судеб и не разделенных племенным соперничеством.

2. Государственность, как политическое оформление интересов всей «земли», а не победоносных племен, рас, классов и пр.

3. Легитимная монархия, как централизованная выразительница волевых и нравственных установок «всей земли».

4. «Неотъемлемое право» (формулировка проф. Филиппова) этой «земли» на свое «земское» самоуправление, на все связанные с этим свободы.

5. Максимальная в истории человечества расовая и классовая, религиозная и просто соседская терпимость.

6. Максимальный в истории человечества боевой потенциал этого «сообщества», «нации» или этой «всей земли».

7. Самое длительное в истории мира упорство той традиции, которая неизвестным нам путем когда-то родилась где-то на Великом водном пути.

Вторжение феодальной идеологии в Киев, шляхетской — в Москву и марксисткой — в Петербург привели нас к татарскому игу, к крепостному игу и к социалистическому игу. Вполне вероятны какие-то очередные влияния, вторжения, философии и концлагеря. Еще более вероятно то, что они кончатся так же, как кончились и предыдущие: из-под надгробной плиты, сооруженной Карлом Марксом над русской национальной доминантой, вдруг подымется, казалось бы, давным-давно похороненный Александр Невский, и вдруг окажется, что жив именно Александр Невский и что от Карлов Марксов только и осталось, что образцово-показательная труха.

А потом, вероятно, окажутся еще более странные вещи. Вспомним, что шляхетские уроки окончились в Варшаве,

шведские — под Полтавой и под Стокгольмом, вольтерианские — в Париже, и гегелианские — в Берлине. И все это будет проделано снова тем же Иваном Непомнящим, которого вот уже сотни лет никакая философия никак не может переделать ни в американца, ни в социалиста, и никакие подвалы и концлагеря 30 последних лет не могут сделать ни коммунистом, ни колхозником. Хотя очень многих сделали все-таки прохвостами. Но — пройдут даже и прохвосты. Желательно было бы, впрочем, принять кое-какие превентивные меры — и против философии, и против прохвостов.

Триста лет татарского ига, полтораста лет крепостного и 30 лет социалистического — это, может быть, в масштабе русской истории и не так существенно. Но в масштабах нашей собственной — это все-таки очень большая неприятность.

***

«Византийское влияние» относится к числу легенд, созданных нашими книжниками и фарисеями. Конечно, что есть «влияние»? Влияли и печенеги, и леса, и торговля, и Византия. От Византии Русь получила христианство, которое **не повлияло** на национальный характер народа. От Византии Русь получила культуру, которая стала развиваться в направлении, диаметрально противоположном какому бы то ни было византийству. И если иностранные дипломаты московского периода упрекали московских, — петербургских, впрочем, тоже, — дипломатов в «византийстве», то ведь дипломатия никак не принадлежит к числу тех человеческих профессий, в которых требуется «честная игра»: просто русские дипломаты почти всегда оказывались ловчее иностранных.

Не было и политического влияния. Единоличная монархия рождалась на Руси из совершенно **иных** источников, чем византийская. И если в Византии цареубийство было нормальным способом замещения престола, то Киевская Русь знает только один случай попытки последовать византийской традиции: это Святополк Окаянный. Он пытался пойти

по византийским путям. Русская Церковь его прокляла, все от него отвернулись, он бежал и погиб, оставив в назидание потомству только свою кличку Окаянного.

Не имела равно никакого отношения к Византии и та чисто киевская система престолонаследия, которая в обход старшего сына князя предоставляла престол следующему по старшинству брату. Это просто пережитки родового быта, где старейшиной был просто старший. В Византии, как в чисто колониальном пункте, родового быта не было вовсе, не было вовсе и такой системы. С этой системой пыталась бороться и Киевская Русь в лице Владимира Святого, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Попытки эти, казалось, были близки к успеху. Но они были сорваны и феодальными влияниями, и теми тенденциями, которые росли в Киеве.

За исключением трех указанных князей, в Киеве был, собственно говоря, политический хаос, осложненный не только борьбой за престол, но и **парламентаризмом**: в борьбе за этот престол в качестве очень существенного, может быть, и решающего фактора, выступало киевское вече. Киевское вече, как и новгородское, было демократией в кавычках: там сидели «вятшие мужи», что в переводе на современный язык означает диктатуру капитала. В угоду этой диктатуре была составлена «Русская Правда», и от этой диктатуры киевские низы бежали на север: так русская эмиграция из Киева создала, наконец, московское самодержавие.

ГИБЕЛЬ КИЕВА

В 1017 году большой пожар уничтожил в Киеве 700 церквей. Может быть, благочестивый летописец и преувеличил размах киевского церковного строительства: Дитмар Мерзенбургский, который посетил Киев незадолго до пожара, говорит, что в городе насчитывалось только 400 церквей и 8 рынков.

Было ли в нем 700 или только 400 церквей, Киев, несомненно, был огромным и богатым городом, и, вероятно, самым

большим и самым богатым в тогдашней Европе. Адам Бременский считал Киев начала XI века соперником Константинополя. Современник Ярослава Мудрого, митрополит Иларион, в своей проповеди спрашивал: «Кого Бог тако любит, якоже нас возлюбил есть и вознесл?» И отвечает: «Никого же».

Лет 200 спустя папский миссионер Плано-Карпини нашел в Киеве лишь 200 домов, а по пути через Киевскую и Переяславскую землю — лишь бесчисленное количество человеческих черепов и костей, разбросанных по полям. От великолепия и богатства Киевской Руси не осталось ничего.

У историков создалось и поддерживается впечатление о Киевской Руси, как о некоей исторической скороспелке, которая возникла без достаточных к тому оснований и без достаточных — погибла. И обычно проводится параллель между такими же без достаточного основания возникшими государственными образованиями Запада.

Карл Маркс писал: «Как империя Карла Великого предшествует образованию Франции, Германии и Италии, так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, балтийских поселений, Турции и самого Московского Государства». Здесь, конечно, говорится о причинной связи, а не о последовательности во времени, иначе можно было бы сказать, что, например, империя ацтеков предшествует образованию Британской империи. По времени, действительно, предшествует, но из этого не следует решительно ничего. Что же касается причинной связи, то здесь Маркс, верный своему обычаю рассматривать русскую историю с западноевропейской точки зрения, следует чисто киевской поговорке: «В огороде бузина, а в Киеве — дядько»: империя Карла реально охватывала и пыталась охватить нынешние Францию, Италию, Испанию, Германию, Бельгию, Чехию и др., — «империя Рюриковичей» не охватывала ни Польши, ни Балтики, ни тем более Турции. Империя Карла, развалившись, так и осталась в разваленном виде и до сих пор.

Киевская же Русь «предшествовала» никак не Польше и уж тем более не Турции, — она предшествовала Российской импе-

рии. Или, иначе, — Киевская Русь была одной из неудачных попыток объединения Руси, за которой последовала удачная — Московская Русь, а впоследствии Петербургская империя.

Киевская Русь была не единственной попыткой. Ее стопам и ее судьбам, — хотя и менее трагическим образом, последовали Галич, Вильна и Новгород — Русь Червонная, Русь Литовская и Русь Новгородская. Предшественниками Москвы явились все четыре.

Таким образом, в организации Киевской Руси не было ни ничего случайного, ни скороспелого. Русский народ — даже и в его тогдашнем этнографическом составе и во всех его тогдашних разновидностях — сразу же поставил себе определенную историческую задачу. Она не была решена ни в Галиче, ни в Вильне, ни в Новгороде, ни в Киеве, и ее решили из Москвы.

Совершенно очевидно, что в Москве существовали, а в Киеве, Галиче, Вильне и Новгороде отсутствовали те причины, которые привели к неудаче первых четырех попыток и удаче пятой. Какие же это были причины? Обычно говорят, что Киевская Русь была разгромлена степью, однако достаточно очевидно, что «степь» тут играла только второстепенную роль: ни Галич, ни Вильна, ни Новгород от нее не страдали, Москва страдала не меньше Киева. Но не стоит говорить и об объяснениях Ключевского: киевские-де князья так размножились, что стало им тесно и они завели усобицы: с таким же остроумием успехи Москвы историки объясняют немногочисленностью потомства Даниловичей. Будь, значит, киевские князья и еще более княгини менее чадолюбивы, а московские более чадолюбивы — история России пошла бы не московским, а киевским путем...

Здесь, между прочим, можно с особой, выдающейся наглядностью проследить общий для всех наших историков закон притяжения доводов за волосы. Академик Шмурло в особой главе перечисляет «причины усиления Москвы», и пункт 7-й озаглавливает так: «Малочисленность княжеской семьи в потомстве Даниила Александровича». — «Она содействовала тому, чтобы: а) установить порядок наследования от отца к сы-

ну; б) наделять старшего сына уделом значительно больших размеров, чем уделы младших сыновей, и таким путем сосредоточить постепенно Московские земли в одних руках».

Изобретатель русского феодализма Павлов-Сильванский дает единству государственной власти иное объяснение: «Последствием иммунитета[4] на Западе был захват крупнейшими землевладельцами верховной власти. Иммунитет послужил опорой для узурпации суверенитета и для образования средневековых княжеств и государств. Этого последствия у нас иммунитет не имел. Ни один боярин не превратился в князя-государя в собственном смысле этого слова[5]. Но это произошло вследствие быстрого размножения князей Рюриковичей».

Вот вам два объяснения двумя случайными причинами, друг друга взаимно и начисто исключающими. Шмурло: феодализм не удался потому, что князей было слишком **мало**. Павлов-Сильванский: феодализм не удался потому, что князей было слишком **много**. Очень может быть, что у какого-то третьего, мне еще неизвестного историка установлен точный коэффициент княжеской рождаемости, необходимой для победы феодализма. В Западной Европе коэффициент рождаемости был, значит, случайно как раз впору: будь он малость выше или малость ниже, империя Карла Великого процветала бы и по сие время. Это называется исторической наукой...

Княжеские усобицы также не являлись объяснением — при всей их наглядности. Ибо неизбежно возникает вопрос: почему Киев и прочие с ними не справились, и почему Москва с ними справилась? Таланты московских князей или отсутствие талантов у киевских — тоже ничего не дают для понимания: Ярослав, да еще и «Мудрый», который разделил киевскую землю между своими сыновьями — был ли он глупее, например, Даниила Александровича, вступившего на престол в возрасте 10 лет, или Михаила Феодоровича, вступившего на престол в возрасте 16 лет? При этих князьях московская земля никак

[5] Иммунитетом называлось право землевладельца не пускать к себе никаких представителей центральной государственной власти. — *И. С.*

[6] А если не превратился в государя в «собственном смысле этого слова», то, значит, и феодализма «в собственном смысле этого слова» у нас тоже не было. — *И. С.*

не делилась. Не будет ли правильнее искать причин удачи и неудачи в каких-то гораздо более глубинных и гораздо более широких явлениях, чем княжеское деторождение, и гораздо более постоянных, чем талантливость или бездарность десятков князей, мелькавших и на киевском, и на московском престолах?

Самая наглядная причина неудачи домосковских правителей заключалась в «усобицах» — независимо от того, решались ли они вооруженной схваткой князей на поле сражения или такой же схваткой партий — на новгородском или киевском вече. Если мы возьмем самую основную линию развития Новгорода и Киева, Галича и Вильны, с одной стороны, и Москвы — с другой, то нам станет достаточно очевидным: и Новгород и Киев, и Галич и Вильна создали у себя чисто аристократический строй. И в Новгороде, отчасти и в Киеве князья, т.е. представители монархического начала в стране, являлись просто наемниками, которых вече то приглашало, то изгоняло по собственному усмотрению. В Галиче княжескую власть боярство вообще съело. В Литовско-Русском государстве аристократия только и ждала момента, чтобы утвердить свои вольности перед лицом единодержавной власти. Это ей и удалось — ценой существования государства. В Киеве «в XI веке управление городом и областью сосредоточивалось в руках военной старшины» (Ключевский). «Веча волостных городов в Киеве и Новгороде, появляющиеся, по летописи, еще в начале XI века, со времен борьбы Ярослава со Святополком в 1015 году, все громче начинают шуметь с конца этого века, делаясь повсеместным явлением, вмешиваясь в княжеские отношения. Князья должны были считаться с этой силой, входить с нею в сделки, заключать “ряды” с городами, политические договоры. Князь, садясь в Киеве, должен был упрочивать старший стол под собою уговором с киевским вече. Князья были не полновластные государи земли, а только военно-полицейские их правители».

Еще не так давно русская общественная мысль рассматривала Киевскую Русь, а в особенности Новгородскую, как неудачные, к крайнему сожалению, попытки установить на Руси демократический строй. Грубая рука восточного деспотизма

смяла эти попытки: «Вечу не быть, колоколу не быть, а быть Новгороду во всей воле князей московских»... Сейчас взгляд на эту демократию несколько видоизменился. Демократии ни в Киеве, ни в Новгороде не оказалось никакой. Там была феодально-торговая аристократия (в Вильне была феодально-земельная). И это она, а никак не «народ», всячески ограничивала и связывала княжескую власть. И уж, конечно, не во имя «народа», а в своих собственных классовых интересах. Можно сказать: и в Галиче, и в Новгороде, и в Вильне, и в Киеве аристократия — земельная или торговая — съела верховную власть. Но можно сказать и иначе: ни в Галиче, ни в Новгороде, ни в Вильне, ни в Киеве народной массе не удалось создать своей власти. И поэтому низы примкнули к той власти, которую удалось создать московским низам: «Волим под Царя Московского, православного». Этот мотив в разных редакциях и в разных веках повторяется и в Новгороде, и в Вильне, и в Киеве. Значительно позже повторяется он и в Галиции.

«“Русская Правда”, — говорит Ключевский, — есть по преимуществу уложение о капитале. Капитал служит предметом особенно напряженного внимания законодателя: самый труд, т.е. личность человека, рассматривается, как орудие капитала... Это “Русской Правде” сообщает черствый мещанский характер».

Такой же характер носит и новгородское законодательство. В Литовской Руси капитал заменен землей и привилегиями землевладельцев. Но схема власти в общем остается тою же самой: верховная власть растаскивается аристократией, торговой или земельной, — безразлично. Массы подымают восстания против «лучших», или «вятших», людей, громят ростовщиков. И, не найдя своего организационного центра, снова попадают в прежнюю кабалу. Низы «отливают» на запад и на север, «уступая свое место в Приднепровье княжеским дворовым людям и мирным половцам». Киевщина пустеет — пустеет от работорговли, которая была главным промыслом «лучших людей», и от бегства населения и на запад и на север от усобиц.

На западе низам не удалось достигнуть ничего. Они попадали уже в сложившийся, крепко спаянный феодальный быт

и подчинялись ему. На севере, на вольных и никем еще не обжитых землях, киевские демократические эмигранты строят Москву — по своей воле и по своему разумению. И Москва находит отклик и поддержку во всех низах всея Великия, Малыя и Белыя Руси.

Москва, конечно, тоже закрепощает, но закрепощает не во имя «резы» — ростовщического процента, который «Русская Правда» допускала в размере 50 процентов в год (на практике брали 80 и 100 процентов), не во имя мехоторговцев или работорговцев, а во имя общих интересов. Разумеется, и в Москве не обходилось без засилья сильных людей, но там был предел, поставленный общенациональной, властью, была общенациональная идея некоей общечеловеческой справедливости, непрерывно охраняемая вооруженным аппаратом самодержавия. И именно это, а не уровень рождаемости в княжеских семьях, не географическое положение на берегу скудного ручья Москва-реки, не экономические преимущества обездоленного судьбой междуволжского суглинка и, наконец, не милое соседство культурной татарской Орды создали Московскую империю — создали ее народные низы, бежавшие с юга и с запада на свободную от феодально-ростовщических традиций ростово-суздальскую почву. Приблизительно так же английские эмигранты, покинувшие феодальные берега Великобритании, создали на девственной почве Америки самую законченную демократию современности. Создали ее по своему образцу — как русские эмигранты из Киева, по-своему.

Москва была самым восточным пунктом отступления **эмиграции** русского народа. Дальше к востоку — никаких государственных попыток не делалось. Все попытки, которые были предприняты западнее Москвы — провалились.

Очень может быть, что именно соседство Запада с его специфическим влиянием оборвало попытки и Новгорода, и Киева, и Вильны — не говоря уже о Галиче. Новгород был построен более или менее по ганзейскому типу: государство, как торговый дом. Правительство, как правление акционерного общества. И самые богатые люди страны — как акционеры, избираю-

щие свое правление для защиты **своих** интересов, а никак не интересов тех рабочих, которые заняты на их предприятиях. Новгородские завоевания **не присоединялись** к земле, как **присоединялись** московские, т.е. входили в состав государственного единства равноправными частями, как это было в Москве, а оставались только колониями, местами, откуда извлекалась прибавочная стоимость. Москва «не любила ломать местных обычаев», — говорит Ключевский. Москва рассматривала каждую завоеванную или присоединенную область, как свою новую составную часть, как новую часть общего государства, а не как торгово-промышленное сырье, не как меховой или челядинный сырьевой рынок. Новгородская аристократия рассматривала свои пятины, как объект эксплуатации, а Киев свои волости, как объект грабежа. На верхах общества — и в Новгороде, и в Киеве — был достигнут уровень материальной культуры, значительно превосходивший Москву. Но и новгородские, и киевские низы стали все-таки на московскую сторону.

«Русская Правда» была уставом торгового дома, поддерживаемого вооруженным путем. В какой именно степени здесь сказалось влияние европейских связей, браков с европейскими влиятельными домами, торгового обмена с Венгрией, Польшей, Германией? На этот вопрос трудно ответить. Гораздо яснее и отчетливее было влияние Польши на Великое княжество Литовское: там польская поправка к русской государственности и русской культуре привела к самоубийству русской государственности (Польско-Литовская уния), но не спасла и польскую.

Переходя к обобщению очень широкого масштаба, можно было бы сказать, что две сильнейшие и в будущем единственно решающие государственности современного мира удались в России и Америке, — на очень далекой дистанции от беспокойного западноевропейского полуострова великого евразийского материка. Империя Карла Великого наследников так и не получила: эти наследники оказались неудачниками, недоносками, выкидышами. Германские племена, наводнившие Европу и разгромившие Римскую империю, к имперскому строительству оказались совершенно неспособными, как при

всех ее талантах оказалась неспособной древняя Греция. Германец оказался слишком узок.

Историческим выражением этой личной узости послужил феодализм, разложивший Европу и пытавшийся разложить Россию. Только на больших расстояниях от этого феодализма — на индейских просторах Америки или на угро-финских болотах Москвы — удалось создать огромные демократии — демократические каждая по-своему, и каждая по-своему решающие проблемы и своего, и общечеловеческого социального бытия. Ближе к центрам Западной Европы все попытки разбились о ту психологию данного человеческого материала, которая на протяжении веков неизменно формировала западноевропейский феодализм. Об эту же психологию разбилась и киевская попытка.

Киевскую Русь разбила, разумеется, не степь. Степь только добила государственность, начинавшую распадаться изнутри. Стране уже не хватало сил для того, чтобы справиться со старыми и привычными врагами, с которыми раньше справлялись без особенных затруднений. И если мы попытаемся установить, так что же новое появилось во внутренней жизни последнего периода Киевской государственности, то мы неизбежно натолкнемся на уделы, на «кромолы» удельных князей, которые «пустошили землю русскую» и с которыми справиться уже не удалось.

Наш удельный период — не есть феодализм в западноевропейском смысле этого слова. До уровня своего западноевропейского собрата он развиться так и не успел. Но феодальное влияние, конечно, было. И прежде чем говорить о нем, попытаемся установить, так что же собственно говоря, значит феодализм.

ФЕОДАЛИЗМ

Классическое определение основных черт феодализма, принятое в марксистской литературе, дано Лениным. Эти основные черты Ленин формулирует так:

1) государство натурального хозяйства;

2) отсутствие у непосредственного производителя средств производства;

3) личная зависимость крестьянина от землевладельца;

4) низкое рутинное состояние техники.

Как видите сами, крепостное хозяйство России середины прошлого века целиком подходит под ленинское определение феодализма — однако никто же, в самом деле, не станет утверждать, что Россия Николая I была феодальным государством. Из ленинского определения полностью выпадает самая основная черта феодального строя — дробление государственного суверенитета, исчезновение идеи единой общенациональной власти. Феодальный барон Западной Европы хозяйствовал совершенно так же, как и русский помещик чичиковских времен, однако ни Ноздрев, ни даже Собакевич никакими феодалами не были, а вестфальский барон этим феодалом был.

Если рассматривать феодализм с ленинской точки зрения, то тогда изобретатель и открыватель наших «феодальных отношений» Павлов-Сильванский будет более или менее прав: некоторые — далеко не все — юридические и экономические черты, свойственные типично феодальному развитию Западной Европы, можно подметить и у нас — и притом на очень значительных промежутках времени. Но если рассматривать феодализм не как известную систему «производственных отношений», а как раздробление государственного суверенитета среди массы мелких, но принципиально суверенных владетелей, то тогда прорыв феодализма в нашу историю нужно признать не правилом, а только исключением.

К «производственным отношениям» феодализм не имеет никакого отношения. И утверждение марксизма, что «по сравнению с рабовладельческим обществом феодализм представляет более прогрессивную форму **производственных** (а не юридических! — *И. С.*) отношений», блещет таким же остроумием, как и ленинское определение самого феодализма. Достаточно вспомнить огромную культуру и необычайно высокий уровень римского «производства». Феодальная Европа, нищая, грязная и безграмотная, уж никак не представляла собою «более прог-

рессивной формы производственных отношений» — это, вопреки Гегелю, был сплошной регресс. Феодализм приходит не из производственных отношений. Он приходит от жажды власти, взятой вне всякой зависимости и от производства, и от распределения. Феодализм — это, так сказать, демократизация власти, передача ее всем тем, у кого в данный момент и в данном месте есть достаточная физическая сила для отстаивания своих суверенных баронских прав — Faustrecht — кулачное право. Феодализм иногда предполагает юридическую основу власти, но он никогда не предполагает моральной.

Феодал правит не «во имя» нации, народа, крестьян и кого бы то ни было еще. Он правит только и исключительно в своих собственных интересах, закрепленных такими-то и такими-то битвами и пергаментами. Для феодала монарх не есть носитель определенных нравственных идеалов или даже практических интересов народа или нации, а только «первый среди равных», которому повезло быть сильнее остальных. Внеморальное происхождение феодала оставило свои следы и на западноевропейской монархии — по происхождению чисто феодальной. И нам еще и до сего времени приходится называть «монархией» и западноевропейскую, и русскую ее формы, — формы, выросшие из совершенно разных моральных источников и имеющие совершенно разную историческую практику.

Феодализм вырос прежде всего из жажды власти во имя своего личного права.

Жажда власти есть, конечно, общечеловеческое свойство, и поэтому тенденция к развитию феодализма будет в той или иной степени свойственна всем странам и всем народам мира. «Трудолюбивые приват-доценты» всегда смогут раскопать десятки мелочей, свидетельствующих о наличии «феодальных отношений» где угодно. Но если оторваться от мелочей, то мы должны сказать, что Рим, например, феодальных отношений не знал вовсе. Были помещики и были сенаторы, были проконсулы и были императоры, но баронов не было. Суверенная власть «народа и сената римского», выгравированная на римских орлах, оставалась единым и нераздельным источником

всякой власти — даже и власти римских императоров. Гражданские войны Рима ни в какой степени не носили характера феодальных войн средневековой Европы. Вовсе не знала феодализма и Древняя Греция с ее уже чисто капиталистическими отношениями. Да, Греция была раздроблена на ряд суверенных государств, но это были хотя и крохотные, но все-таки государства — монархии и республики, принципиально равноправные друг другу и никак не находившиеся в феодальном подчинении или соподчинении.

Власть феодала есть власть помещика — в большинстве крупного, присвоившего себе, помимо крестьянской земли и крестьянского труда, еще и прерогативы верховной власти и по отношению к крестьянину, и по отношению к другому феодалу. Этого не было ни в Греции, ни в Риме, ни в Китае — этого не было и у нас. Еще раз повторяю, что феодализм явился как жажда власти, не оправдываемой никакими моральными целями, никаким общим благом, как жажда власти самой по себе — an und fur sich. По чисто германской концепции, повторенной и в XX веке, — сила родит право, и право требует власти. Феодал, подыскивающий моральные оправдания своей власти, является логической нелепицей.

Германские племена навязали свое феодальное устройство и свою феодальную концепцию не только кельтской, но и романской Европе. В какой степени были свободные от этого влияния славянские племена?

Этот вопрос подводит нас к вопросу о глубинной сущности феодализма: о том строе, который создает известные не только экономические и юридические, но также и моральные отношения. Этого вопроса я могу коснуться только мельком: полный ответ на него был бы ответом о самой глубинной духовной разнице между западноевропейским и русским человеком. На эту тему кое-что писали славянофилы. Писал Герцен. Писал даже и Чаадаев. Сейчас об этом пишут в Европе. Немецкий профессор Шубарт свою книгу о Европе и России заканчивает так: «Англичанин хочет видеть мир — как фабрику, француз — как салон, немец — как казарму, русский — как церковь.

Англичанин хочет зарабатывать на людях (Митменшен), француз хочет им импонировать, немец — ими командовать, — и только один русский не хочет ничего. Он не хочет делать ближнего своего — средством. Это есть ядро русской мысли о братстве и это есть Евангелие будущего».

В начале книги та же мысль выражена не столь афористически.

«Западноевропейский человек, — говорит профессор Шубарт, — рассматривает жизнь, как рабыню, которой он наступил ногой на шею... Он не смотрит с преданностью на небо, а, полный властолюбия, злыми враждебными глазами глядит вниз, на землю. Русский человек одержим не волей к власти, а чувством примирения и любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим доверием к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата».

Шубарт — по стопам Шпенглера — предсказывает, что «гибель европейской культуры — неизбежна» и что Россия спасет Европу: «Европа была проклятием России. Дай Бог, чтобы Россия стала спасением Европы».

Спасение Европы — в данный момент интересует нас сравнительно мало: наша очередная задача — наше собственное спасение. Мыслители типа Шубарта могут не принимать это за национальный эгоизм: ибо если мы погибнем — то кто тогда будет спасать Европу? И если Европа «была проклятием России», — точка зрения на которой стою и я, — то путь нашего спасения лежит прежде всего в нашем спасении от Европы и от того, что она нам с собою принесла. В частности, от всех наследий и последствий феодализма.

Наши историки, анализируя феодализм, неизменно исходили из чисто западноевропейских представлений о мире и, уклоняясь от какого бы то ни было сравнения с каким бы то ни было другим миром, — ничего нам не объяснили: откуда же, в конце концов, родилось это историческое явление?

Читатель заметил, конечно, мое раздражение против профессиональных историков. Оно вызвано тем, что, например, в вопросе о феодализме нам преподносили невероятную массу

всяких мелочей, чудовищное, непосильное ни для какой памяти количество Карлов и Фридрихов, которые, в сущности, решительно никому не нужны. А того, что нам нужно, — принципиального отличия нашей психики от западноевропейской и, — как следствие этого, — принципиального отличия нашего государственного строительства от западноевропейского, наши профессиональные историки так и не заметили. И с высоты своих кафедр иронизировали над «дилетантами»-славянофилами, которые при всех своих отдельных ошибках в конце концов все-таки оказались правы.

Одно из общепринятых и общепризнанных отличий нашей психологии от западноевропейской заключается в нашем отношении к закону, к праву и к юриспруденции. Еще Тихомиров отметил: «Никогда русский человек не верил и не будет верить в возможность устроения жизни на юридических началах». Но нам столько раз твердили и долбили о том западноевропейском уважении к закону, которого так не хватает нам, варварам, что мы целыми поколениями взирали на просвещенную Европу и со скорбью душевной констатировали: «Ну где уж нам!» И даже теперь нам трудно отделаться от некоторых, в сущности очевидно вздорных, представлений о святости закона.

Я еще раз приведу совершенно конкретный пример: меньше 100 лет тому назад у нас существовала целая сумма законов, устанавливавших крепостное право. С какой, спрашивается, стати стал бы русский мужик относиться с уважением к законам, превращавших его в двуногий скот? Наши либералы скажут: так это были законы варварской царской России. И я им отвечу, что примерно в то же время и такие же законы, — только по отношению к неграм, — существовали в самой что ни на есть свободной в мире республике — САСШ, законы, превратившие негров в тот же двуногий скот, — с какой стати стали бы негры относиться с уважением к этим законам? В СССР существуют законы, предусматривающие «ликвидацию кулака, как класса», с женами и детьми этого «кулака». В Германии существовали законы о физическом уничтожении евреев. Мне скажут: это крайности. Вот вам НЕ крайность.

Во Франции перед началом Второй мировой войны имелось около 200 тысяч русских эмигрантов. Часть их приехала в эту свободную и прекрасную страну по своей инициативе. Часть — в годы Первой мировой войны была послана Россией для помощи прекрасной французской союзнице: корпуса, составленные только из георгиевских кавалеров. Часть была приглашена французским правительством для восстановительных работ на севере Франции. По великолепному законодательству свободной и демократической Европы, русские бесподданные эмигранты не имели почти никакой возможности переезжать в какую бы то ни было другую страну: пускали только людей с деньгами. У большинства денег не было. А Прекрасная Франция — своих вчерашних союзников, защитников, отчасти и спасителей (наша восточно-прусская операция, спасшая в 1914 году Париж) постепенно лишала права на работу. Ехать — некуда, и работать нельзя. Русские инженеры, архитекторы, врачи работали нелегально, нарушая закон, в качестве белых рабов у французских инженеров, архитекторов, врачей. Составляли для них состояния — и получали гроши. Так, например, чертежи знаменитого парохода «Нормандия» были нелегально, т.е. противозаконно, сделаны русской группой инженера Юркевича — французских специалистов такого калибра не нашлось. Но деньги получили, конечно, французские владельцы русских белых рабов. У других русских людей не было и такой возможности. С какой стати стали бы они уважать законы этой «самой современной демократии»?

Если верить Э. Ремарку, автору знаменитой после Первой мировой войны книги «На Западном фронте без перемен», то точно такое же обращение испытали еврейские эмигранты из гитлеровской Германии в демократическую Францию: хирурги получали по ставке полотера, и инженеры числились чернорабочими. Разницу «хозяева» клали в свой карман. Совершенно та же политика проводилась чисто демократической Францией и в ее колониях.

Мы ставим, — и всегда ставили, — внутренние нравственные принципы выше мертвой буквы формального закона. Само собою разумеется, что при нынешнем уровне нравствен-

ного развития человечества никакое общество не может обойтись без судьи, обвинителя, тюремщика и палача.

Само собою разумеется, что никакое человеческое общество при нашем нынешнем уровне духовной культуры не может обойтись без принуждения, в том числе и наше. Но по дороге от палача к братству мы все-таки прошли гораздо большее расстояние, чем Западная Европа (о советской власти я, конечно, не говорю: здесь все основано на палаче). Но в довоенной России смертная казнь существовала только для цареубийц — такого мягкого уголовного кодекса не знала никакая другая страна в мире, — и более или менее широкое применение ее было возможно только по законам о военном положении.

Эти законы вводились каждый раз, когда революционный террор подымал голову, — это была самозащита. У М. Покровского («Сжатый очерк русской истории», стр. 207–209) целая глава озаглавлена так: «Травля коронованного зверя». Коронованный зверь — это Александр II, Царь-Освободитель, виновник освобождения крестьян, земского самоуправления, судебной и военной реформы и пр. и пр. Самый опасный царь — и для реакции, и для революции. Ибо он, ликвидируя реакцию, тем самым затыкал пути для революции.

Царю-Освободителю стояли памятники не только в России. И в Софии, и Гельсингфорсе я сам видел цветы, которые я не знаю кто, но каждое утро клал у подножия этих памятников. Этот царь, — Покровский в этом отношении был совершенно прав, — попал в положение травимого зверя. Советский историк с завидной откровенностью повествует, что надежда на восстание массы провалилась, что среди самих революционеров поднялись против травли государя возмущенные голоса: «Надо донести!» (стр. 208), что террористы решили продолжать травлю независимо от того: «Выскажется за нее большинство партии или нет» (там же). Словом: чего наша **левая** нога хочет.

Левая нога постановила: «Все силы террора сосредоточить на одном лице Государя».

«На “бунтарское движение” (кавычки принадлежат Покровскому. — *И. С.*) этот достойный сын Николая Палкина

умел ответить только самыми беспощадными преследованиями... Цари обыкновенно “миловали” (кавычки опять принадлежат Покровскому. — *И. С.*) осужденных, а Александр на террористические покушения ответил полевым судом. Стали вешать так, как не вешал Николай: с августа 1878 года по декабрь 1879 было казнено 17 (семнадцать) человек».

Книжка Покровского издана в 1931 году, т.е. после 14 лет действия «полевых судов» ВЧК — ОГПУ, после кровавых бань в Ярославле, Тамбове, Кронштадте, Крыму, Новороссийске, Одессе, после «ликвидации кулака как класса», после всего того, что мы с вами знаем или должны бы знать очень хорошо. И вот **после** всего этого официальный советский историк находит в себе достаточный запас гражданской наглости, чтобы печатно возмущаться повешением 17 участников «травли коронованного зверя», — фразу о «коронованном звере» Покровский повторяет несколько раз подряд. О ВЧК он, конечно, не говорит ничего.

Смертная казнь в дореволюционной России применялась только в исключительных случаях, нормальное уголовное законодательство не знало ее вовсе. Почти во всех западноевропейских странах убийство без смягчающих вину обстоятельств вело за собой безусловную смертную казнь. Вся структура наших довоенных судов была построена на принципе «милости», и там, где ее оказывали недостаточно, вступали в силу Высочайшие повеления. Даже и Покровский, хотя и в кавычках, признает, что цари «миловали осужденных». Еще больше «миловало» их общественное мнение страны.

Усовершенствование нашего юридического мышления в западноевропейскую сторону было бы шагом назад, а не шагом вперед: уже и сама Западная Европа начинает тяготиться т. наз. «формальными методами юриспруденции». И суд присяжных, не связанный формальными рамками закона, является все-таки ступенькой по дороге от палача к братству. Вспомним по этому поводу, что у нас этот суд существовал задолго до Александра II с его судебными уставами: это был обычный суд Московской Руси («целовальники», т.е. присяжные). То, что существовало между Москвой и Александром II, — вот

и было попыткой воспринять западноевропейские нормы: такого похабного суда Матушка-Россия не знала никогда, если не считать советских времен.

Наше отношение к писаным юридическим нормам отдает, так сказать, релятивизмом, теорией относительности, постольку-поскольку. Возможность построения империи при пониженном уважении к закону объясняется прежде всего тем, что взамен писаных норм у нас имеются неписаные, основанные на чувстве духовного такта. Такт же есть вещь, не укладываемая ни в какие юридические формулировки. И вот поэтому иностранные наблюдатели, даже и дружественные нам, становятся в тупик перед «бесформенностью» русского склада характера. Даже и Шубарт мечтает о том, чтобы Россия, имеющая содержание, но не имеющая формы, спасла бы Европу путем наполнения своим содержанием ее формы. Будет, дескать, слияние европейской формы с русским содержанием... Упаси Господи.

Иностранные наблюдатели не подметили того, что форма есть и у нас — только это *другая* форма. Может быть, даже форма, находящаяся несколько в другом измерении. Наше измерение считает преступника «несчастненьким». Западное — злодеем.

Даже и советская власть не рискнула ввести у нас публичной смертной казни — во Франции даже дамы ходят глазеть на гильотину[6].

У нас человек, отбывший уголовное наказание, возвращается в свою прежнюю социальную среду, в Западной Европе он становится конченым человеком: изгоем, парием человеческого общества... В одном из старых немецких охотничьих журналов мне попались путевые наброски какого-то слегка титулованного немецкого туриста по Сибири. Он искренне негодовал на сибирский обычай оставлять за околицей хлеб, сало, соль и махорку для беглецов из сибирской каторги: этакая гнилая славянская сентиментальность!

[6] Чтобы избежать скандалов уже истинно мирового масштаба, смертная казнь в последнее время (перед Второй мировой войной) устраивалась так, чтобы, оставаясь де-юре публичной, она де-факто отгораживалась от публики рядами войск и полиции. До этого распоряжения места на Гревской площади покупались как билеты в театр. — *Прим. авт.*

Как при этой сентиментальности, при «неуважении к закону», при «бесформенности русского характера» можно было построить мировую империю? Ответ был ясен: построили ее немцы — немцы дали государственную форму анархической славянской душе, немцы втиснули в государственные рамки расплывчатую большую славяно-монгольскую кровь... Позднейшие интуристские философствования на тему о позднейших революционных судьбах России говорили о том, что после истребления большевизмом «немецкого» правящего слоя старой России носителями государственности явились евреи, которые-де, закабалив страну, спасли ее от развала на мелкие клочки. А от евреев Россию стал... «спасать» Гитлер.

Русскую государственную одаренность Европе нужно отрицать во что бы то ни стало, вопреки самым очевидным фактам истории, вопреки самым общепринятым законам логики. Ибо если признать успех *наших* методов действия, то надо будет произнести суд над самим собой. Нужно будет вслед за нашими славянофилами, а потом и за Шпенглером и Шубартом сказать, что Западная Европа гибнет, что ее государственные пути — начиная от завоевания Рима и кончая Второй мировой войной, как начались Средневековьем, так и кончаются Средневековьем, и что, *следовательно*, данный психический материал ни для какой имперской стройки не пригоден по самому его существу.

Тогда нужно будет признать, что устроение человеческого общежития, начиная от разгрома Римской империи и кончая Второй мировой войной, несмотря на всякие технические достижения, было сплошным провалом, и что попытки 15 веков кончаются ныне возвратом к методам вандалов, лангобардов и франков. И что, следовательно, какого бы то ни было лучшего устроения жизни европейских народов нужно ожидать или от России, или от англосаксов. Но это означало бы отказ от государственной национальной самостоятельности всех племен Западной Европы. Это означало бы признание реакционности и бессмысленности всей политической истории Европы за последние полторы тысячи лет: ничего, кроме непрерывной резни не получилось. И нет решительно никакого основания пред-

полагать, что что-нибудь получится: те методы завоевания, включения колонизации и пр., которые практиковались вандалами и лангобардами 1500 лет тому назад, — повторяются и сейчас с истинно завидной степенью последовательности и постоянства. Если бы они увенчались физическим успехом, то Европа вернулась бы к стилю средневекового политического строя, осложненного современной техникой. Только и всего.

Наши историки, описывая быт и нравы феодализма, рассказывали нам и об обрядах коммендации и оммажа, и о невероятно сложной системе подчинения и соподчинения вассалов и сюзеренов, — но они ничего не сказали нам о той психологической почве, на которой выросли эти явления. Сейчас, на закате европейской политической самостоятельности, Шубарт нашел формулировку. По его мнению, европеец от Господа Бога награжден чувством первобытного страха (Urangst), русский — таким же чувством доверия (Urvertrauen). Может быть, и так. Но помимо страха или доверия в Европе есть черта, резко бросающаяся в глаза каждому человеку, у которого нет ни чековой книжки в кармане, ни философических книг в голове. Это — отгороженность каждого человеческого существа от каждого другого человеческого существа. Термин «эгоизм» был бы, может быть, слишком груб, но есть несомненное недоразвитие чувства общечеловеческой симпатии. Отгороженность создает и пресловутую четкость: я отгораживаю и самого себя, и все свои права с той степенью точности, какая только возможна при современном состоянии юридической техники. Отец, тратя деньги на обучение сына, записывает в свой гроссбух все расходы — до последнего пфеннига. Вы садитесь в автомобиль вашего лучшего друга, и перед вашим носом прибита табличка, на которой написано, что в случае катастрофы приятель никакой финансовой ответственности не несет: если этой таблички не будет, то он рискует, что в случае какой-нибудь автомобильной неприятности вы всю жизнь будете сосать из него деньги в возмещение за пережитое вами нервное волнение. На садовых дорожках у того же приятеля прибиты таблички, предупреждающие вас, что по этим дорожкам вы можете

ходить только на свой собственный риск и страх: если сломаете ногу, — приятель не отвечает.

Это есть, так сказать, материализация всяких человеческих отношений. Всякие человеческие отношения измеряются деньгами[7]. И не только человеческие: индульгенции, которые торговали Божьей благодатью распивочно и на вынос, в несколько смягченной форме существуют и сейчас, — у нас они никогда не смогли привиться. Средневековый феод есть прежде всего отгороженность от целого — от народа, от нации, от государства, от человечества и от своего ближайшего соседа. Погоня за собственной властью — в первую очередь и во что бы то ни стало. Нехватка самой элементарной способности чувствовать другого человека и сочувствовать ему.

От этого, в частности, происходит и знаменитая немецкая бестактность: они не понимают. Их возможности человеческого понимания относятся к нашим, как лошадиное копыто к человеческим пальцам: да, копыто — вещь существенная, но строить копытом ничего нельзя, творческие возможности обрублены. Отсюда и лошадиная политика, которая ставит в тупик постороннего наблюдателя: неужели нельзя было сделать умнее? Оказывается, нельзя. Копытом, при всем его могуществе, играть на скрипке невозможно совершенно.

***

Наше старое барство, ездившее в Германию, имея в кармане золотые рубли и в головах немецкую бумажную философию, в Западной Европе не поняло ровным счетом ничего, а именно русское барство, включая сюда и Тургенева, и Чаадаева, и Плеханова и пр., сформулировало наши взгляды на «страну святых чудес». Европу поняли мы, русская эмигра-

[7] Это определение очень не точно: деньги служат для удовлетворения материальных потребностей только на самых низших ступенях материальной обеспеченности — вот когда есть нечего, одеваться не во что и жить негде. В дальнейшем они служат исключительно, или почти исключительно, удовлетворению жажды власти. Или того, что немцы называют «Гельтунгстриб», желание казаться лучше, чем кажется ваш ближний. — *Прим. авт.*

ция времен советской революции. Ибо мы прибыли сюда и без денег, и без философии.

Итак, вместо философии позвольте объяснить «происхождение феодализма» чрезвычайно простой и взятой из жизни иллюстрацией. Предупреждаю читателя, что дальнейшее изложение строго соответствует истине и может быть подтверждено документально. Оно касается психологической почвы, на которой вырастает феодализм.

В марте 1943 года мы, т.е. я, мой сын и его семья, поселились в Померании, недалеко от окружного городка Темпельбурга, в маленькой деревушке Альт-Драгайм, в отеле, построенном у развалин какого-то замка. И отель, и замок стоят на перешейке между двух озер. Большее из них, Дратцизее, имеет 12 километров в длину, — мы нацеливались на рыбную ловлю в нем.

Население деревушки связано друг с другом судебными тяжбами, кляузами, доносами, конкуренцией и завистью. Все очень вежливы, ни русского мата, ни русских потасовок нет. Но если вы на секунду зазеваетесь, то вас съедят. Здесь все устроено по Гоббсу: человек человеку волк, и война всех против всех является нормальным состоянием этого милого человеческого общества. Правда, уже не вооруженная и даже не кулачная, а юридическая. В нашем отеле жили: художник Н. Гетцинг и писатель Классен. Писатель строил себе на озерном островке какую-то будку. Его добрый приятель художник, никак не стесняясь нашим присутствием, пошел телефонировать в полицию донос на нелегальное получение оным писателем десятка досок для указанной будки.

Так вот, — об озере. Оно имеет 12 километров длины и поделено на две части: одну часть принадлежащую городу, арендует рыбак Гайнман-отец, другую, принадлежащую государству, — другой рыбак, Гайнман-сын. Воображаемая линия, протянутая между двумя полуостровами, является границей двух феодальных владетелей озера. Сыновние сети перенесенные ветром в городскую часть, конфискуются отцом, и, соответственно, отцовские — сыном... Двух родственников связывают многолетние судебные тяжбы.

Для того чтобы получить разрешение на удочку, нужно быть членом германского союза рыбаков. Для того чтобы быть членом германского союза рыбаков, нужно иметь разрешение от владельца водоема. Владелец не дает разрешения не членам, союз не принимает лиц, не имеющих разрешения. Примерно такой же порядок существовал в СССР в годы безработицы — до 1929–1930. Профсоюз не принимал лиц, не состоящих на работе, предприятия не принимали на работу лиц, не состоящих в союзе. Выход из заколдованного круга давало небольшое жульничество. Такой же выход был найден и по отношению к удочке: разрешение мы получили. На его обороте была целая коллекция всяких запретов: удить можно было только на две удочки, только на червяка (хлеб или муха оговорены не были), только от восхода и до захода солнца и только с берега, и только на одной, — сыновней, — половине озера.

Права иметь лодку мы так и не получили, хотя лодку удалось достать. Лодочное право сконструировано по образцу удильного. Некоторые из древнейших обитателей береговой полосы, на основании каких-то мне неизвестных пергаментов, это право имеют. Каждая лодка паспортизована и на обороте этого паспорта стоит та же вереница запретов, что и на обороте удильной карточки; нельзя выезжать на озеро до восхода и после захода солнца, нельзя заезжать в бухты, проливы или заливы, нельзя передавать лодку кому бы то ни было другому, нельзя переезжать из городской части в государственную и наоборот. Словом, мы сидели сразу на берегу двух озер и оба были так же недоступны, как северный и южный полюсы.

Окрестное население, за исключением владельцев вышеуказанных пергаментов, ни на лодку, ни на уженье права не имеет. Это, конечно, не значит, что мужики рыбы не ловят. Они ловят, но только по ночам. Будучи на этом пойманы, они подвергаются тюремному заключению — до двух лет. Будучи выпущены, они режут сети Гайнмана-отца и Гайнмана-сына. Оба Гайнмана имеют в деревнях своих соглядатаев, доносящих арендаторам о всяком мужике, варящем уху.

Так идет феодальная война на суше и на море. Но идет она также и в воздухе. Право на охоту во всем районе арендовано каким-то мне неизвестным дядей. Дядя находится в обычных феодальных отношениях с обоими Гайнманами. На озере в невероятном количестве расплодились нырки, поедающие рыбью молодь. Дядя имеет право на охоту, но Гайнманы не пускают его на озеро. Гайнманы могут разъезжать по озеру, но не имеют права на охоту. Так множатся, процветают и благодарят Создателя своего и нырки, и адвокаты. Ибо всякий человеческий шаг натыкается на какое-нибудь законодательное преткновение — вот вроде права на лодку. Однако законодательное преткновение обычно имеет и законодательный обход.

Мы, например, выяснили, что если лодку нельзя иметь никак, то на байдарке можно проезжать так называемые открытые озера, имеющие водную связь с другими водоемами. Этот новый закон имеет в виду водный туризм, который при такого рода запретах был бы и вовсе невозможен. Словом — дыра к обходу была нащупана. Возник вопрос: что есть «водная связь». Водной связью оказался всякий водный путь, по которому возможно водное сообщение. Мы разыскали полузаросший ручеек, который даже и на немецкой карте не значился, но который все-таки куда-то вел: вот вам, значит, водная связь. «Да, но по ручейку водного сообщения быть не может — слишком мелок». — «Ну это, как сказать — байдарка может пройти, — может. Правда — без нагрузки, но ни о байдарке, ни о нагрузке в законе ничего не сказано».

Итак, байдарка в результате этих юридических ухищрений все-таки появилась. Тогда возник следующий вопрос: да, эти оборотистые люди имеют право кататься на байдарке, но не имеют права «держать ее на озере». А мы на «озере» и «не держим», взяли под мышку и сволокли в сарай.

Старые законы такой возможности не предусматривали: там сказано, что нельзя держать, даже и не лодки, а еще более основательно — Wasserfahrzeug'a — снаряда для плавания по воде: а вдруг вместо лодки мы купили бы корыто или дред-

ноут и катались бы: корыто и дредноут — снаряды для плавания по воде, но никак не лодки.

Те вассерфарцейги, которые существовали в годы издания соответствующих узаконений, не поддавались переноске под мышкой. И наш спасительный ручеек был, конечно, совершенно непроходим ни для какого мало-мальски себя уважающего снаряда для передвижения по воде, даже и для корыта, не говоря уже о дредноуте. Словом, — на байдарке мы все-таки ездили, вызывая зависть менее оборотистых туземцев и создавая соблазнительный юридический прецедент.

Кроме этих двух великих рыболовов — Гайнманов, отца и сына — в Драгейме существует еще г. Ганзен, владелец нашего отеля, который с ними обоими находится на ножах и который поэтому не имеет права на лодку и не получает рыбы. Он же находится в таких же отношениях с владельцем охоты, почему право на охоту сумел получить только в другом месте — верстах в 15 от своей гостиницы. Других же упомянутых представителей германской интеллигенции — художника Гетцинга и писателя Классена — герр Ганзен по разным поводам вышиб вон, и они входа в его кнайпу не имеют вовсе. Оба представителя интеллигенции друг с другом не разговаривают вообще. Два представителя власти — общественной и полицейской — годами пытаются съесть: и друг друга, и Ганзена, и еще кое-кого.

Горький когда-то писал о «Городке Окурове»: дикая звериная глушь. Я уже писал в другом месте: городок Окуров по сравнению со здешними местами — это смесь рая (не социалистического) с санаторием. О чем-то вроде городка Окурова я мечтал, как о месте духовного отдыха... Если этот отдых будет, — я постараюсь мои наблюдения о феодализме изложить в более связном виде.

Я очень не хотел бы, чтобы читатели приняли эту картину как результат некоей личной обиды. Самое странное во всей этой обстановке было отношение немцев к русским. Все мы, русские, стояли как-то вне местной феодальной распри, немцы питали к нам гораздо большее доверие, чем к своим же соотечественникам (русский — он не донесет), мы имели возмож-

ность добывать от немцев продукты, которые для других немцев были недоступны, и вообще мы жили значительно лучше окружающий немецкой среды. Мы были какими-то странными и, вероятно, приятными пятнами на общем фоне всеобщей зависти и злобности. Мы не бегали с доносами ни друг на друга, ни на окружающих немцев. И мы все и всячески помогали друг другу — оставляя в немцах чувство искреннего и тревожного недоумения: а не ошибся ли фюрер по поводу русского колосса на глиняных ногах?

Теперь постарайтесь представить себе: завтра с Гайнманов, Гетцингов, Ганзенов и прочих спадает вооруженная узда общегосударственной власти, и они предоставлены каждый своей доброй воле. Милое Дратцингское озеро немедленно будет обстроено какими-то феодальными если не замками, то другого типа убежищами, и в каждом из таких убежищ каждый Гайнман будет вести какие-то вооруженные или невооруженные действия против всякого другого Гайнмана. Сегодняшний районный партийный вождь, опираясь на дюжину вооруженных платных лоботрясов (ландскнехтов), объявит себя нейштеттинским маркграфом и начнет собирать вассалов своих для войны с соседствующим ландграфом, например темпельбургским... И все будет, как и в доброе старое время: каждый есть барон в своей баронии.

Это, конечно, утопия. Сейчас это невозможно. И не только потому, что есть порох и железные дороги, авиация и автомобиль, а еще и потому, что есть страны или давно покончившие с феодализмом, или вовсе его не имевшие. И эти страны слопают всех марк- и ландграфов.

Банальная точка зрения утверждает, что с феодализмом покончил порох: стены замков рушились, как стены библейского Иерихона. Это неверно исторически: феодализм надолго пережил изобретение пороха. В Германии он устоял даже против железных дорог: добисмарковская Германия вела чисто феодальные войны и была построена на чисто феодальных началах. Неверно даже и то, что феодализм в Германии кончен. Он не кончен — он только загнан вглубь. Изменилась не его сущ-

ность — изменились его формы. Кулачное право заменилось правом сутяжничества, а рыцарский дух от разбоев на больших дорогах страны перешел к разбоям на больших дорогах мира, и изумленное человечество в 1939 году с искренним огорчением убедилось, что немцы XX века действуют так же, как и немцы IV — в Риме, XII — в Византии, XIII и XV — в Литве и Латвии, и что вообще в психологии народа не изменилось ничего.

Термин «ученый варвар» был впервые пущен Герценом — около 100 лет тому назад. Это — очень точный термин. Нельзя отрицать и немецкой одаренности, и немецкой работоспособности и — еще менее — той чудовищной дрессировки, которой немцы подвергаются в семье, в школе, в армии, на службе и т.д. Это — самый дрессированный народ мира. Они учатся так, как нам не снилось, — поистине грызут волчьими зубами гранит науки. Но творят науку — все-таки другие нации. И за этим всем, за лоском лакированных ботинок, за четкостью дипломатических проборов и почтенных ученых чиновников, — в полной своей моральной неприкосновенности остался тот же вандал, который в III веке по Р. Х. шел в Рим организовывать новый порядок Европы.

***

Непредусмотрительный читатель может отметить, что вся эта история с озером, границами, запретами и законами не имеет ровно никакого отношения к русской истории. Непредусмотрительный читатель ошибается: имеет отношение, В этом темпельбургском стакане воды отражается та психологическая атмосфера, которая создает феодализм. Каждый человек ощетинен против каждого человека какими-то ветхими правами и привилегиями, все это зафиксировано черным по белому — с приложением всяческих печатей, включая сюда также еще и средневековые папские.

Тупая феодальная жадность сидела раньше во тьме и сырости казематов — только бы охранить свои древние привилегии. Теперь она сидит за щетиной всяческих законоположений —

только бы охранить свою плотву. Средневековые феодалы резали друг друга ножами — сегодняшние режут параграфами.

Эта психология имела целый ряд роковых последствий, роковых для всей Европы. Центральная часть Европы — Германия — дольше всех держалась в своем феодальном или полуфеодальном политическом строе. Только во время наполеоновских войн начинается первое пробуждение общенациональной идеи, военно-политически оформленное Отто Бисмарком и доведенное до истерики Адольфом Гитлером: нация, слишком поздно себя осознавшая, стремилась наверстать пропущенные столетия. В результате — две мировые войны.

Русское национальное сознание родилось как-то само по себе, — повторяя путь каждого врожденного свойства. Очень возможно, что то, что мы из истории знаем под именем феодализма, является внешним оформлением тех чисто психологических явлений, того склада характера, который явствует из этой истории с озером, лодками, рыбой и с феодальными войнами по поводу озера, лодок и рыбы. Феодальный строй средневековой Европы и ее нынешняя политическая раздробленность объясняются не Габсбургами или Бурбонами, не географией или климатом и уж тем более не «исторической обстановкой», — они объясняются психологией вот этих Гайнманов. Каждый Гайнман, начиная от последнего мужика и кончая герцогом, действует приблизительно по одному и тому же образцу: отгораживается от ближнего своего или зубчатыми стенами, или зубастыми адвокатами, и свое писаное право будет отстаивать любыми способами и невзирая на любые убытки, от этого происходящие: «Fiat justicia, pereat mundus» («Пропадай мир — лишь бы свершилось правосудие»).

С этой точки зрения исторические исследования западноевропейского феодализма не объясняют ровным счетом ничего. Они повествуют о тех конкретных юридических и политических формах, в которые отлилась данная человеческая психология, но ничего не говорят об этой психологии. Они рисуют форму, совершенно не замечая содержания, форма виснет в воздухе, и мы никак не можем понять, почему же на смену

столь благоустроенному римскому миру пришел такой грязный и кровавый средневековый германский кабак. Не проделав психологического анализа господ Гайнманов, мы ничего не сможем понять ни в возникновении феодализма, ни в современной разделенности Западной Европы, ни в истоках Первой и Второй мировых войн, ни в грядущей «Гибели Европы» (О. Шпенглер). Не сможем ничего понять и в принципиальной несовместимости русского и европейского мира.

Наблюдений темпельбургского типа я мог бы привести очень много, но это не входит в мою сегодняшнюю задачу. Этими наблюдениями я недоуменно делился и с моими добрыми немецкими знакомыми. Их ответ был стандартизован, банален и внешне убедителен: это-де потому, что мы — народ без пространства — Volk ohne Raum — если бы у нас были ваши русские просторы, то гайнмановских историй и у нас не было бы.

Я ставлю вопрос совершенно иначе: не отсутствие простора объясняет темпельбургскую психологию, а темпельбургская психология объясняет отсутствие простора. Средневековая Европа была очень редко населенной страной, и просторов там было более чем достаточно — во всяком случае, не меньше, чем их было у римского мира, — и это никак не помешало тысячелетней братоубийственной внутриевропейской войне. Но у нас есть и более яркий пример: германская колонизация Прибалтики. Германский рыцарь и епископ, купец и монах пришли почти на пустое место, и первое, что они сделали — отгородились друг от друга границами привилегий, договоров, указаний, прав, преимуществ и пр. Отгороженные друг от друга, они не собирались и не могли сделать никакого общего дела, единственное, в чем они были едины, беспощадно едины, — это в отношении к побежденным. Они имели за своей спиной почти всю тогдашнюю Европу: морально — благодаря папству, материально — благодаря торговым связям, политически — благодаря поддержке всего континентального дворянства, технически — благодаря чудовищному превосходству всей тогдашней европейской техники не только над техникой балтийских племен, но и над техникой изолированной

от остального мира Московской Руси. Но немцы в Балтике не собирались и не могли делать общего дела, как делали московские воеводы на мурманском берегу, Ермаки — в Сибири или Хабаровы — на Амуре. И Тевтонский орден — острие всей тогдашней Европы — так и не смог продвинуться намного дальше от Ревеля и Риги. Он не смог конкурировать даже с Новгородом. Он основал несколько городов и несколько сотен замков, за стенами которых прибалтийские Гайнманы пили свое пиво, ели свою колбасу и вели свои феодальные войны. Если бы вместо Гайнманов были Ермаки и Хабаровы, немцам XX века не пришлось бы жаловаться на отсутствие просторов. Но ни Ермаков, ни Хабаровых не было.

***

Марксистские историки проводят параллели между империей Карла Великого и империей Рюриковичей. Эта параллель тоже не выдерживает никакой критики: империя Карла Великого распалась на другой же день после его смерти, — как в свое время распалась и империя Александра Македонского. Обе они были результатом завоевания, насильственно объединившего племена, которые сами по себе объединяться вовсе не хотели. Идея Карла так и не реализована и до сих пор. Русь реализовала свою идею сразу и, говоря несколько теоретически, — сразу и навсегда. Внешние катастрофы только внешним, так сказать, военно-административным, способом дробили это единство, но оно всегда оставалось в недрах народного сознания, в народном идеале и, — как только катастрофы ликвидировались, — снова выкарабкивалось из-под развалин и снова подымало знамя «Всея Великия, Малыя и Белыя Руси», как это потом формулировала Москва. Это было общенародным стремлением. На Западе — такого стремления не было, и империя Карла Великого так до сих пор и остается раздробленной на очень неопределенный и все время меняющийся ряд «уделов». Французы и до сих пор входят в состав трех государств: Швейцарии, Франции и Бельгии, если не считать таких совсем уже неопре-

деленных и переменных величин, как Люксембург, Лотарингия и Эльзас. И Карл, и Наполеон, и Бисмарк, и Гитлер строили свои империи по бисмарковскому завету: «железом и кровью», способом, по-видимому, никудышным, ибо от крови — даже и железо ржавеет. Насильственные узы распадаются от первого же толчка или — еще чаще — просто от прекращения насилия. Все эти империи создавались **насилием**. Наша создавалась **вопреки** насилию. Там — ее создавали завоеватели, у нас она создавалась против завоевателей. Там идея Рима, давно уже ставшая чисто книжной идеей, навязывалась сверху или чисто вооруженным путем (Карл, императоры Священной Римской империи, Наполеон, Бисмарк, Гитлер), или путем религиозной пропаганды (католицизм). Массы оставались или пассивно глухи, или активно враждебны. У нас действовало чисто органическое стремление масс, которое сметало и иностранных завоевателей, и своих сепаратистов, и подчиняло своим требованиям любое правительство, желающее остаться у власти. Первым из таких правительств было правительство Киевской Руси. В течение исключительно короткого промежутка времени Киевская Русь поднялась до того уровня, который сейчас определяется термином «первоклассная держава». Киев стал одним из крупнейших и богатейших — вероятно, самым крупным и самым богатым городом Европы.

Я не буду останавливаться на описании киевского расцвета: об этом сказано во всех учебниках истории. Но этого расцвета хватило ненадолго. Киев пал вовсе не под давлением степи, а вследствие внутреннего расслабления. Феодальные западноевропейские влияния, проникшие в Киев вместе с его западноевропейскими торговыми, дипломатическими и династическими связями не успели создать феодализма в его чистом виде. Власть была разорвана между членами княжеского рода, между киевскими князьями и парламентаризмом веча, между верхами и низами общества. Ростовщическая «Русская Правда» давила киевские низы, попытки киевской публицистики, — тогда исключительно церковной, вот вроде Даниила Заточника, — укрепить единую и сильную княжескую власть разбива-

лись об эгоистические стремления отдельных лиц, групп и слоев. Потенциально Киев был огромной военной, политической и культурной силой. Практически эта сила поедала самое себя. Степи только и оставалось, что добить уже изнутри разлагающуюся государственность.

НАЧАЛО МОСКВЫ

Вспомним основные попытки создания славянской государственности. В эпоху упадка Киева и приблизительно до нашего времени таких попыток в основном было сделано семь — я не считаю южных славян. Это Киев, Галич, Чехия, Польша, Вильна, Новгород, Москва. О причинах упадка Киева я уже говорил.

Галич был изнутри съеден боярскими феодалами, которые в борьбе с галицкими князьями не остановились перед приглашением венгерских и польских интервентов. Тот же Ярослав Осмомысл, который по «Слову о полку Игореве» «подпер горы Угорские своими железными полками, затворил Дунаю ворота, стрелял султана турецкого», уже не был самодержцем — бояре имели возможность сжечь его жену за колдовство и поднять восстание против его сына Владимира. Очередной князь галицкий — Роман — прямо поставил тот вопрос, который у нас впоследствии пришлось решать Грозному: «Пчел не передавить — меду не есть». Сыновья Игоря, пытались решить этот вопрос практически — перебить бояр вообще, но сами были повешены боярами. И в результате «победы феодализма» галицко-русское княжество совсем перестало существовать.

Приблизительно такой же процесс, только раздвинутый на гораздо больший промежуток времени, пережила и Польша — ее судьбу мы знаем. Литовско-русское государство с подавляющим преобладанием чисто русских элементов вначале было почти совершенно свободно от феодальных отношений и, как самостоятельное государство, было предано его аристократией, которая предпочла польские вольности русской дисциплине. Своеобразная форма торгового феодализма, так сказать,

венецианско-ганзейского стиля, развилась и в Новгороде — и новгородские низы предали Новгород и перешли на сторону Москвы (битва при реке Шелони).

Из всех попыток удалась только московская. Говорить о торговых или о производственных преимуществах Москвы по сравнению с Киевом, Галичем, Варшавой, Вильной, Новгородом — было бы просто глупо. Говорить о внешней безопасности Москвы, — может быть, еще глупее. Но если мы вспомним о том, что Московскую Русь основали эмигранты из Руси Киевской, т.е. те люди, которым «феодальные отношения» опротивели раньше и острее, чем другим, то мы вправе будем предположить наличие у Москвы какого-то «естественного отбора» антифеодального настроения людей. Это они, эти люди и их потомки поддержали Андрея Боголюбского и трех Иванов — Калиту, Ивана III и Ивана Грозного, и это они создали тот общественный фон, на котором аристократии так и не удалось добиться реализации своих баронских прав и привилегий. Ту же мысль мы можем выразить в несколько иной форме: первая попытка создания чисто русского государства — на берегах Днепра — не удалась не из-за степи, которая давила Москву еще тяжелее, чем Киев, а из-за потери того основного государственного стержня, на котором вначале держался Киев и благодаря которому впоследствии одержала верх Москва. Те русские люди, которые оставили Киевщину, почти немедленно начали новое собирание земли Русской, и в этом отношении народные низы неизменно шли рука об руку с великими князьями.

История называет Андрея Боголюбского первым «самовластцем» северной Руси. Андрей Боголюбский, по-видимому, имел некоторые личные качества самовластия, и, конечно, еще больше имел желания самовластия: такие желания были свойственны решительно всем князьям. Было бы странно предположить существование какого бы то ни было князя, жаждавшего ограничений своей власти с чьей бы то ни было стороны. Вопрос заключается не в желании — оно, повторяю, было у всех, а в возможностях. Государственные способности Андрея Боголюбского выразились прежде всего в том, что он

поставил свою ставку туда, куда было нужно: на низовую массу. И именно потому оставил и Суздаль, и Ростов, и перенес свою резиденцию во Владимир, где не было никакой аристократии, где жили «смерды и холопы, каменосечцы и древоделы и орачи». Не забудем, что незадолго до этого — в 1073 году — все эти смерды, древоделы и орачи поднимали восстания против боярской аристократии, и что, следовательно, Андрей Боголюбский действовал совсем не случайно.

С марксистской точки зрения этого поступка объяснить нельзя: родоначальник, русского царизма, «самовластец» и самодержец по глубочайшим своим убеждениям, Андрей Боголюбский начинает свою политическую карьеру переносом своей резиденции в самое «революционно-демократическое гнездо» — во Владимир. «Первый из феодалов» по марксистской концепции, он отбрасывает всякую «классовую солидарность» и становится во главе «пролетариата», во главе народных низов, чтобы сломить классовое господство своего же класса. Вспомним, что Грозный примерно таким же образом перенес свою резиденцию в Александровскую слободу и что Николая I спас на Сенатской площади «мужик в гвардейском мундире» (выражение Покровского). Все это с революционно-марксистской точки зрения никак не может быть объяснено, но именно это создало империю Российскую.

Опираясь на низы, — и не только владимирские, а и новгородские, рязанские и киевские, — Боголюбский получил возможность обращаться с собратьями своими «не как с братьями, а как с подручниками» и разговаривать с ними в таких выражениях: «А не ходишь в моей воле, так ступай, Роман, вон из Киева, Давид — из Вышгорода, Мстислав — из Белгорода» — и князья уходили вон.

Из своего захудалого Владимира Боголюбский правил и Новгородом, и Киевом, т.е. территорией, равной приблизительно десятку современных ему западноевропейских феодальных государств. Было бы очень наивно объяснять этот факт властолюбием Боголюбского или его династическими привилегиями: властолюбивыми тенденциями переполнены все княжес-

кие деяния того времени, а уважение к праву первородства существовало лишь в той степени, в какой это право было надлежащим образом вооружено. Боголюбский имел возможность править всей тогдашней Русью и на пятьсот лет опередить французское «централизованное государство» **потому и только потому**, что во Владимире, и в Новгороде, и в Киеве он сумел найти внутренние точки опоры: массу, противостоящую боярству.

Впоследствии Карл Маркс подметит в деятельности Ивана III те же политические черты и будет объяснять их тем, что московские цари задолго до появления на свет «коммунистического манифеста» умели-де использовать «внутреннюю классовую борьбу» в уделах своих конкурентов. Маркс не понял, да, вероятно, и органически понять не мог того, что дело шло не о классовой борьбе, а о **национальном единстве**, на сторону которого становились прежде всего русские низы — «мизинные люди», по терминологии того времени. Эти мизинные люди вовсе не собирались истреблять ни бояр, ни воевод, и они хотели именно того, что марксизм считает принципиально невозможным: общенациональной надклассовой власти, которая каждому классу указала бы его место и его тягло. Мизинные люди такую власть и создали, без них ни Боголюбский, ни Калита, ни Иваны III и Грозный не смогли бы бороться одновременно и с удельными князьями, и с Ордой, не говоря уже о шведах и поляках. Для того чтобы создать из Москвы центр империи (Москва была и м п е р и е й и до Петра — т.е. была огромным и многонациональным государством) — нужны были какие-то очень серьезные опорные точки. Так называемая «большая история», ковыряясь в мельчайших делах «больших людей», систематически замалчивает большие дела маленьких людей. Эту характерную черту нашей историографии, — впрочем, всякой историографии в мире, — мы видим у всех историков, начиная от тех, которые описывают Олега, и кончая теми, которые описывают Деникина. Академик Шмурло, перечисляя в восьми пунктах «причины усиления Москвы», в первом пункте говорит о «географическом положении Москвы», во втором — о «центральном положении Мос-

ковского княжества» (что, собственно, одно и то же) и в третьем — о «личных свойствах и политике великих князей». О влиянии «массы», народа — не сказано ни слова. Только мельком говорит наш академик о том, что земщина «стала цепляться за Москву не раньше, чем выяснились выгоды от перехода на ее сторону». Но тогда почему же задолго до реализации каких бы то ни было выгод Боголюбский перенес свою ставку на мизинный и плебейский Владимир? Очень сомнительна также и попытка вывести успехи центральной власти из личных наследственных качеств ее носителей. Боголюбский, как известно, сыновей не имел, так что о передаче каких бы то ни было наследственных качеств можно говорить только с очень большой натяжкой. Первые московские князья Даниил и Юрий были связаны с первым «единовластием» северной России только очень отдаленными родственными связями, а их политика была прямым продолжением политики Боголюбского. Иван Калита с его сыновьями, Дмитрий Донской, оба Василия, все три Ивана — все они вели приблизительно одну и ту же политику: совершенно исключительный случай столь длительной передачи наследственных свойств. Не будет ли проще объяснить это общественной обстановкой, вызвавшей у ряда среднеразумных и очень культурных (по тогдашним условиям) людей среднеразумную и культурную реакцию на эту обстановку. Общественная, т.е., главным образом, психологическая, обстановка была почти неизменной — неизменной оставалась и реакция. Что же касается культурности и «государственности», то кто же имеет на нее большие шансы, чем человек, который с детской своей кроватки воспитывается в традициях самой высокой культуры данной эпохи и самого обостренного чувства государственности? Здесь прискорбное французское словечко Людовика XIV: «государство — это я», — получает несколько иной смысл: «я — это государство», вне «государства» у меня нет никаких интересов, мы — едино, «да будет два во плоть едину», как говорит Церковь о браке. Здесь есть полное слияние личных и государственных интересов и идеальная профессиональная подготовка будущего носителя власти. И поскольку эти условия

налицо — владимирско-московские князья действовали так же однотипно, как впоследствии действовали русские императоры от Павла I до Николая II включительно.

Отсюда возникает и тот тип «Царя-Хозяина», который историки возводят в наследственную привилегию московских князей. Опять-таки — нужно вспомнить, что первым князем такого типа был именно Боголюбский. Правда, и он очень героически вел себя при осаде Луцка, и о его военной доблести сложены такие же апокрифы, как впоследствии о Петре (такого рода апокрифы являются, по-видимому, психологической необходимостью), но летописец, однако, отмечает, что Андрей «не был величав на ратный чин, но похвалы ища от Бога». Вспомним и то обстоятельство, что Андрей попал на Ростово-суздальский стол не совсем обычным способом. Отец Андрея передал этот удел Михаилу и Всеволоду, ростовцы и суздальцы «целовали крест» именно им, а не Андрею. Но когда отец умер, крестное целование было нарушено, и ростово-суздальцы избрали Андрея «занеже бе любим всеми за премногую его добродетель, юже имаще прежде к Богу и ко всем сущим под ним». Таким образом, Андрей был избран **вопреки** законному престолонаследию и за очень определенные свойства: «не ратный чин, но похвалы ища от Бога» — те же свойства, которые впоследствии будут характеризовать всех московских монархов до Алексея Михайловича включительно. Ростово-суздальцы знали, чего они хотели, и Андрей знал, чего они от него ждут. Его наследник и брат Всеволод Большое Гнездо точно следовал успешным методам Андрея и так же, как и Андрей, держал в полном единодержавии всю землю Русскую — от Новгорода до Киева.

На совести Андрея были, конечно, и жестокие дела. Если бы я писал эту книгу в 1914 году, то я снова сделал бы поправку на жестокие нравы жестокой эпохи. Но сейчас, я боюсь, эта поправка будет звучать несколько неубедительно. Во всяком случае, разгром Киева в 1169 году к числу особенно светлых деяний не принадлежит: Киев был разгромлен так основательно, что от него почти ничего не осталось.

Каковы могли быть мотивы этого разгрома? Не считая, конечно, грабежа, который сопровождал тогда всякую войну и всякую победу почти в такой же степени, как и сейчас. Андрей, посаженный своим отцом у самого Киева, в Вышгороде, в свое время не усидел там, не спросясь отца, бросил Вышгород и ушел на север, в Суздальскую землю: там спокойнее. Летопись сообщает и более подробную мотивировку: князь Андрей видел, как из-за Киева вся княжеская братия находилась в вечной усобице, как земля запустела и по ней хозяйничают половцы. Виною этому мог казаться и Киев. Или, во всяком случае, Киев в глазах Андрея мог быть тем яблоком раздора, до ликвидации которого никакого мира быть не может. К этому, вероятно, примешивались и некоторые личные воспоминания: в 1157 году по всей киевской земле резали приведенных туда Юрием Долгоруким суздальцев. Кто именно резал — осталось неизвестным, некоторый свет на эту резню могут пролить события, случившиеся в Ростово-суздальской земле после смерти Боголюбского.

События эти чрезвычайно характерны. После убийства Боголюбского кандидатами на его престол явились две партии: одна самодержавно-демократическая, во главе которой стояли братья Боголюбского — Михаил и Всеволод (впоследствии — Всеволод Великий или Всеволод Большое Гнездо). Другая, я бы сказал, конституционно-аристократическая, во главе с племянниками убитого «самовластца» — Мстиславом и Ярополком Ростиславичами. Об этой борьбе одни историки не говорят ничего. Ключевский уделяет ей несколько строк: «Местное население приняло деятельное участие в ссоре своих князей... За дядей стоял прежний пригород Владимир, племянников дружно поддерживали старшие города земли — Ростов и Суздаль, которые действовали даже энергичнее самих князей, обнаруживали чрезвычайное ожесточение против Владимира... Земская вражда захватывала все общество сверху до низу... Но если старшая дружина в пригородах стояла на стороне старших городов, то низшее население самых старших городов стало на сторону пригородов... Все общество Суздальской земли разделилось в борьбе вертикально, а не горизонтально (т.е. со-

циально, а не территориально. — *И. С.*): на одной стороне стали обе местные аристократии, старшая дружина и верхний слой неслужилого населения старших городов, на другой — их низшее население вместе с пригородами»...

Ключевский приводит и историческую справку относительно этого «вертикального деления»: «Недаром в старинной богатырской былине, сохранившей отзвуки дружинных аристократических понятий и отношений Киевской Руси, обыватели Ростово-Залесской земли зовутся “мужиками залешанами”, а главным богатырем Окско-Волжской страны является Илья Муромец — “крестьянский сын”... Самая нелюбовь южан к северянам, так резко проявившаяся уже в XII веке, первоначально имела не племенную или областную, а социальную основу: она развилась из досады южнорусских горожан и дружинников на смердов и холопов, вырывавшихся из их рук и уходивших на север. Те платили, разумеется, соответственными чувствами боярам и “лепшим людям”, как южным, так и своим залесским»…

Владимирский летописец тоже подглядел это «вертикальное деление»: «Старшие города и все бояре, — говорит он, — захотели свою правду поставить, а не хотели исполнить правды Божией... но люди мизинные владимирские уразумели, где правда, стали за нее крепко и сказали себе: либо князя Михаила себе добудем, либо головы свои положим за Святую Богородицу и за Михалка-князя...»

В этой борьбе мизинные люди победили. Правда «Михалок-князь» во время этой борьбы умер, но мизинные люди нашли себе другого вождя — его брата Всеволода, — вожди всегда находятся, если есть масса. И по той простой причине, что масса, т.е. множество людей, имеет достаточный простор для выбора. И если масса знает, чего она хочет, то и вождь будет знать это. Знал это и Андрей Боголюбский, сознательно опершийся на мизинную массу, знал это и Михаил, работавший для ее победы, знал это и Всеволод, получивший не им, собственно, завоеванную победу.

Ключевский мельком и как бы не без удивления отмечает «новый факт — решительное преобладание Суздальской облас-

ти над остальными областями Русской земли». Княжение Всеволода: «…во многом было продолжением внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбского. Подобно старшему брату, Всеволод заставил признать себя великим князем всей Русской земли и подобно ему же не поехал в Киев сесть на стол деда и отца. Он правил южной Русью с берегов далекой Клязьмы. Политическое давление Всеволода было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраине Русской земли. Галицкий князь Владимир, сын Ярослава Осмомысла, воротивший отчий престол с польской помощью, спешил укрепиться на нем под защиту отдаленного дяди Всеволода Суздальского. Он послал сказать ему: «Отче и господине, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой со всем Галичем и в твоей воле всегда».

Разбирая личные качества князей, пересказывая в сотый раз бесконечные и бесконечно запутанные междукняжеские дела и взаимоотношения, наши историки как-то проглядели ту социальную базу, которая позволила Андрею и его преемникам из совершенно захолустного Владимира управлять гигантской страной. Историко-материалистическая школа обходит этот период особенно старательно. Из него, во-первых, никаких «производственных отношений» и «материальной базы» никак выудить нельзя — ни при каких усилиях марксистского воображения. Ибо, какая «материальная база» могла быть у нищего Владимира, по сравнению, например, с новгородским торговым богатством?

И, во-вторых, именно здесь мы присутствуем при зарождении московского самодержавия, при его **чисто народном демократическом рождении**. Признание демократичности русского самодержавия означало бы для марксизма идеологическое самоубийство — и не для него одного. Оно означало бы самоубийство и для дворянства. Ибо если марксисты стараются разгромить самую идею самодержавия, то дворянство пыталось прикарманить ее.

Позднее, рассматривая с этой точки зрения историографию Петра Великого, мы найдем уже совершенно потрясающие иллюстрации нашей историографической слепоты: историки

видят то, чего никогда и в заводе не было, и не видят того, что в действительности решало судьбы России.

Здесь же, у самого истока самодержавия, у самой колыбели российской государственности стоят мизинные люди, вот те самые, которые решили «либо князя Михаила себе добыть, либо головы свои положить за Святую Богородицу» и «Правду Божию». Используя фразеологию сегодняшней политической литературы, мы могли бы сказать, что Андрей, и Всеволод, и Даниловичи, и Романовы были «агентурой» трудящихся масс. Позднее, во всем ходе русской истории мы подметим еще очень много скороговорок вот того типа, в каком Ключевский говорит о мизинных людях Ростово-суздальской земли. О всяких мелочах будут написаны сотни и тысячи томов. Каждый из любовников Екатерины удостоится специальной биографии. Ее собственная биография обойдет все экраны мира. Любовные приключения Николая I будут также использованы для антимонархической пропаганды, как и супружеская верность Николая II. В самые последние времена, в эпоху Белой армии дворянские историки эмиграции будут писать по поводу того, что предлагал Деникину Милюков, и почему Милюкова никто не слушал, и почему «царицынское направление», предложенное Белой армии Врангелем было лучше (или хуже) московского направления, избранного Деникиным. Но о мизинных людях, решавших судьбы России, — решивших и судьбы Белой армии, — во всех этих томах или вовсе ничего сказано не будет, или будут произнесены некоторые скороговорки, бесследно утопающие в океанах мелочей, вздора и вранья.

Эти океаны имеют то объективное значение, что в их глубинах и просторах совершенно теряется основная нить русского исторического процесса. Довоенный русский гимназист, студент и просто читатель забивал свои мозги бесконечным количеством князей, которые вели крамолы и кочевали от княжения к княжению по феодальной «лестнице» того времени. Только люди, обладающие исключительной памятью, могли удержать в своей голове эти бесконечные имена всяких Мстиславов, Ростиславов, Святославов и пр. — со всеми их прозви-

щами, родственниками, взаимоотношениями, княжениями и пр., — обычно все это выветривалось без всякого следа. И оставалось какое-то хаотическое представление о войне всех против всех, иллюстрированное несколькими легендарными афоризмами в стиле «Слова о полку Игоревом». Но основная нить развития пропадала бесследно.

Эта основная нить заключается вот в чем:

С первого дня основания русской государственности она окрашена: а) сознанием государственного и национального единства, б) отсутствием племенной розни (наш нынешний «космополитизм»), в) обостренным чувством социальной справедливости и г) чрезвычайной способностью к совместному действию (позднейшее — артельное, общинное, кооперативное начало).

Эти факторы появляются как-то сразу, рождаются в принципиально законченном виде. Откуда и почему они появились — мы не имеем никакого понятия. Реализация этих тенденций создала Киевскую Русь. Киевская Русь — отчасти под влиянием известных экономических факторов, но главным образом под влиянием очень близкого и очень соблазнительного для верхов общества западноевропейского примера, — пошла по путям аристократическим.

В очень большой степени способствовали феодальному раздроблению Киевской Руси и степные набеги, как впоследствии татарское иго — Московской: не забудем, что удельный порядок восторжествовал в Московской Руси только ПОСЛЕ завоевания ее татарами, — Московская Русь была завоевана в 1237–1238 годах, наши историки относят утверждение удельного порядка на севере к середине и концу XIII века — т.е. к периоду после татарского завоевания.

Это влияние степных набегов и завоеваний можно объяснить так: удары приходились по преимуществу: а) по массе и б) по центрам. Верхи могли зарыть в землю свои запасы драгоценных металлов, — их по тем временам было на Руси довольно много, — и выйти из погрома если и в сильно потрепанном виде, то все же не совсем нищими. Низы теряли почти все — иногда и вообще все. Удары по центру ослабляли всю

его организацию и автоматически усиливали центробежные тенденции в стране. Вспомним по этому поводу, что последняя из крупных феодальных войн Западной Европы — Тридцатилетняя война в Германии — привела: а) к двухвековой фиксации раздробленности страны и б) к полному порабощению крестьянства. Разоренные низы были вынуждены идти в кабалу к тому, кто хоть что-нибудь сохранил от военного погрома. Эти — «сохранившие» — верхи общества, феодальные элементы страны, безмерно усилились — и за счет крестьянства, и за счет центральной власти — т.е. и за счет единства страны, и за счет социальной справедливости в ней. Но в Германии все-таки отсутствовал элемент чужеземного завоевания — была интервенция, но не было завоевания. Интервенты, приходившие в Германию, стояли, кроме того, или на том же, или даже на высшем, чем сама Германия, культурном уровне: баварских мужиков все-таки в турецкое рабство не продавали. И тем не менее остатки феодальной раздробленности Германии остались в сущности до Гитлера. Половецкая степь и татарское иго были чрезвычайно важными факторами в процессе возникновения и киевского феодализма, и удельных порядков в Москве.

Здесь мы подходим еще к одной странной полосе нашей историографии. Наши историки и публицисты, — западники и славянофилы, впоследствии «левые» и «правые», — долго и свирепо спорили на тему о том, какое именно влияние оказало татарское иго на рост московского самодержавия. О наличии этого влияния спорили мало или не спорили совсем. Только, кажется, один Лев Тихомиров весьма резонно указал, что в стройке своего самодержавия Москва не могла взять с Орды решительно никакого примера, — ибо в самой Орде ничего похожего на московское самодержавие не было. «Генеральная линия» нашей историографии признавала, в разных степенях, впрочем, что московский централизм сложился именно под татарским влиянием. Здесь-де действовала и естественная необходимость централизованной обороны страны (точка зрения правых историков), и «ярлыки», которые самые богатые князья ухитрялись покупать себе в Орде, и их макиавеллистская поли-

тика по отношению и к Орде, и к их конкурентам. Административная система, заимствованная через Орду от Китая и, наконец, периодическая вооруженная татарская помощь московским князьям. Это — точка зрения левых историков, в частности и Маркса. В этом очень странном споре обе высоконаучные стороны как будто вовсе не заметили того обстоятельства, что единая, единоличная централизованная власть была на Руси и до татар; раньше — при Олеге, Святополке, обоих Владимирах и Ярославе, потом при Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо и отчасти при Александре Невском. Тот факт, что низовая, мизинная Русь сама из себя и сама для себя строила себе самодержавие, оказался для обоих лагерей как бы и вовсе не существующим. Изыскиваются фантастические влияния, относительно которых всегда можно спорить, — например, о влиянии византийской императорской идеи. Может быть, было и это. Хотя очень трудно себе представить, каким способом византийская идея могла воздействовать на каких-нибудь дреговичей времен Олега или на смердов и каменотесцев времен Боголюбского. И почему как раз грамотные верхи были против этой идеи, а неграмотные низы были за нее. Уж если предполагать «влияние», то в первую очередь в среде «книжных людей». Влияние, например, марксизма на Россию, которое мы можем проследить почти по личным своим воспоминаниям, пришло ведь не от смердов и каменотесцев — пришло от книжников и фарисеев России XIX века — от ее интеллигенции. Для того, чтобы по возможности нагляднее оценить преимущества византийской теории, попробуйте представить себе, что в начале XX века московские текстильщики или донбассовские забойщики стали бы отстаивать марксистские теории перед лицом Плеханова и Ленина. Такого рода фокус, который явственно нелеп для сегодняшнего дня, предполагается возможным для IX, XII и прочих столетий русской истории. Гораздо проще и гораздо ближе к элементарнейшему здравому смыслу будет предположение, что во всех этих случаях все эти мизинные люди действовали безо всяких «влияний», — вполне по собственному разумению и в **своем собственном**, очень

толково понятом интересе. Но дело заключается в том, что этот интерес находится в резком и непримиримом противоречии со всяким партийным и всяким классовым интересом. Дворянский классовый интерес и социалистический партийный повелительно заставляют историков закрывать глаза на определенный ряд фактов. В частности, на те факты, которые иллюстрируют роль русского крестьянства — не аристократии и не пролетариата. Аристократические историки поэтому говорят о «героях», а социалистические — о «производственных отношениях». Те и другие обходят стороной русский народ, такой, каким его дает история, — ибо в этом виде он не устраивает ни реакционных, ни революционных ученых. Один из наиболее реакционных наших публицистов-историков, А. Салтыков, повторяя мотив Розенберга, утверждает, что русская государственность была создана вопреки русскому народу: даже и поляки участвовали в ее создании, даже и латыши — все, кроме нас самих («Две России»).

Курсы истории, наполненные бесконечной массой деталей, — «комара отцеживающие и верблюда поглощающие», или, по Крылову, слона не примечающие, — очень характерны для нашего русского безвременья, а мы уже лет полтораста живем в атмосфере более или менее стабилизованного безвременья. Отсюда и происходит тот факт, что усилия мизинных людей, построивших Россию, отмечены несколькими строчками. Да и эти строчки средактированы так, чтобы не очень уж бросаться в читательские глаза.

***

Существует и еще одно объяснение силы северных князей: они-де, принимая на свои земли выходцев с юга, привыкли считать себя хозяевами земли, собственниками своей территории, на которой-де селились беспризорные и безлошадные киевские эмигранты. Не будем спорить о том, кто именно пришел первым и кто первым сел на северную землю: князья или землепашцы. Позднейшие исследования (например, проф. Одинец)

говорят о том, что первые русские насельники севера появились задолго до каких-либо признаков государственности в Волжско-Окском междуречье. Но по самому элементарному курсу русской истории видно ясно: суздальский князь Андрей попал не по «назначению» отца и не по наследственному праву, а по избранию Ростово-суздальской земли. Его преемник Всеволод укрепился в результате гражданской войны, в которой он был поддержан низами и против боярства, и против его кандидатов — Мстислава и Ярополка. Следовательно, опять «избрание» хотя бы и вооруженной рукой. «Хозяев» так не избирают, «хозяин» является чем-то само собою разумеющимся. Ни первый, ни второй ростово-суздальские князья никак само собою разумеющимися не были и пришли к власти не «Волею Божиею», как впоследствии приходили сами собою разумеющиеся цари и императоры, а по избранию народных низов, преследовавших совершенно определенные и ясно сознанные политические цели. Опираясь на эти низы, северные князья могли держать и держали себя по-хозяйски во всей русской земле, но у нас нет решительно никаких оснований приписывать их возвышение их хозяйскому положению в северных землях.

Всеволод умер в 1212 году. В 1238 Северная Русь была разгромлена первым татарским нашествием и ее князья стали данниками Орды. Объективных причин для хозяйской психологии стало еще меньше.

ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Упадок Киева, удельный период Москвы, дворянская диктатура Петербурга — все это были крупные провалы русского исторического процесса. На их общем фоне были колебания значительно меньшего масштаба. Часть их приходилась на спокойные годы и ликвидировалась, так сказать, домашним порядком, часть совпадала с внешнеполитическими опасностями и приводила к катастрофе. Гражданская война после смерти Андрея Боголюбского пришлась на мирный отрезок времени

и была ликвидирована домашними средствами. Приблизительно такая же гражданская война при преемниках Всеволода совпала с татарским нашествием и привела к катастрофе. Значительно позже пугачевское восстание пришлось на мирный внешнеполитический период страны, а наполеоновское нашествие — на мирный период внутри ее. Если бы оба эти явления — пугачевщина и наполеоновское нашествие совпали во времени — судьбы России и Европы пошли бы по другому пути. В эпоху Николая II две внешние войны совпали с двумя внутренними революциями и привели к катастрофе. Одним из наиболее выдающихся событий позднейшего времени является та революция (или контрреволюция), которая **НЕ** произошла в России в 1941–1942 годах: она изменила бы судьбы не только России и Европы, но и всего мира.

Очень трудно сказать, что было бы, если бы татарское нашествие застало в живых Андрея или Всеволода, а с ними и политически объединенную страну. Устояла ли бы Россия при условии единства политического руководства и военного командования? Или — не помогло бы и это? Во всяком случае, Батый встретил раздробленные силы враждовавших князей. В битве при Калке (1223) Русскую землю отстаивали одни южнорусские князья, да и те не имели единого военного командования — и забубенная головушка Мстислав Удалой сорвал весь план сражения (если такой и существовал) самочинной преждевременной атакой татарской армии. Мстислав Киевский вообще не вступил в бой — для того, чтобы сдаться и быть убитым тремя днями позже. В 1237 году владимирские князья не помогли рязанским, а о помощи южных князей уже нечего было и говорить. Каковы были шансы успешного сопротивления при единстве Руси?

В битве при Калке Мстислав Киевский спокойно смотрел, как другой Мстислав, — Удалой, — погибал в неравном бою. Но даже и после разгрома основной русской армии татары были вынуждены вести трехдневный бой с Мстиславом Киевским, который сдался им, так сказать, «на честное слово», т.е. все-таки не был разбит совершенно, и татарам пришлось прибегнуть к обману. Отдельные города и рати оказывали необы-

чайно жестокое сопротивление — какой-то Козельск держался семь недель. Очень легко предположить, что если бы битва при Калке произошла в княжение Андрея Боголюбского и что не только оба Мстислава действовали бы согласованно и единовременно, но вместе с ним в битве участвовали бы и рязанцы, и владимирцы, и суздальцы, и новгородцы, — Россия не знала бы татарского ига вообще. Здесь мы подходим к тому таинственному в истории, которое, — правда, очень условно, можно назвать случайностью, — т.е. перекрещением в одной точке времени и пространства двух друг от друга не зависящих причинных рядов. Тот рецидив феодализма, который возник на Руси после смерти Всеволода, не имеет никакой причинной связи с татарами, а татары — с этим рецидивом[8].

Оба этих причинных ряда, взятые в **отдельности**, были бы Россией преодолены. Совпавшие в одной точке времени и пространства, они привели к трехсотлетнему рабству. Это было самым катастрофическим совпадением в истории России, — но не единственным. Позже мы наталкиваемся на целый ряд таких совпадений, случайностей, вмешательств «рока» в судьбы страны. Самым характерным из них будет страшный голод 1601–1603 годов, когда 3 года подряд не было лета, когда — 15 августа 1601 года замерзла Москва-река (обычно это бывает в начале декабря) и когда погибавшие от голода массы со стихийной силой рвали всякие основы общественного порядка. Голод этих лет был великим усилителем всех остальных революционных факторов в стране. И это было вторжением надчеловеческих космических сил в ход человеческой истории. Здесь случайность выступает в самом законченном ее виде: нечто, **никак не зависящее** ни от каких «причинных рядов», существовавших и на Руси, и в ее окружении. Нечто, стоящее вне всяких человеческих сил...

О том, что случилось с Русью при татарском нашествии, рассказано во всех учебниках истории: города были разграбле-

[8] Хотя очень возможно, что татарский шпионаж, великолепно организованный через посредство татарских купцов, дал Орде знать о существовании на Руси чрезвычайно благоприятной для этой Орды политической ситуации. — *Прим. авт.*

ны и сожжены, население, — то, что не успело разбежаться, — или перебито, или уведено в плен, жители некоторых городов истреблены полностью. По сельской Руси нашествие прошло почти сплошным пожаром.

Нашествие было неожиданным. Очень вероятно, что и битву на Калке и последующее вторжение Батыя в северо-восточную Россию современники восприняли на первых порах как очередной степной набег. Их информация о Востоке была, во всяком случае, значительно хуже, чем информация татар о Западе: разведывательная служба Чингисхана была поставлена блестяще. Была блестяще поставлена и администрация: она почти целиком была в руках китайских чиновников, имевших опыт Китайской империи, тогда находившейся в самом расцвете своей культуры. Татары имели и китайскую военную технику — до огнестрельного оружия включительно. Были, во всяком случае, какие-то зажигательные снаряды и какие-то тоже неизвестные на Западе метательные орудия. Китай изобрел порох и первую артиллерию приблизительно лет за 100 до татарского нашествия.

Соединение высокой техники и организации со стремительностью и массой полудиких кочевых орд разгромили Русь и закабалили ее приблизительно лет на 300. Собственно говоря, последний удар татарским ордам был нанесен только Потемкиным-Таврическим. До него — еще в царствование Екатерины II — Россия платила крымскому хану «полоняничную дань» — плату за выкуп русских пленников. Таким образом, борьба со степью длилась немногим меньше тысячи лет — от Олега до Екатерины II. Татарское иго было, в сущности, только одним из эпизодов этой тяжкой тысячелетней борьбы.

Мы сейчас с очень легким сердцем перелистываем **столетия** прошлых эпох, а **годы** нынешней эпохи нам кажутся катастрофическими. Для того чтобы нагляднее представить себе длительность непосредственного татарского ига, представим, что Россия от Смутного времени и до сих пор находится под пятой азиатского завоевателя. Современная культура России в этих условиях была бы, конечно, совершенно невозможной.

***

Пройдя огнем и мечом русскую землю, татары двинулись дальше на запад и в 1242 году были то ли разбиты, то ли остановлены силами Чехии, Венгрии и Каринтии (битва у Оломунца). Западноевропейские историки говорят, что передовая Европа выдержала тот натиск, который был не под силу отсталой Руси. Наш публицист-историк И. Бунаков («Пути России») на основании новейших исторических данных утверждает, что и битвы, собственно, никакой не было: татары повернули и ушли сами по себе, не желая слишком далеко зарываться на запад. Вероятно, что точка зрения Бунакова грешит излишним патриотизмом. Во всяком случае, Европу татарам не удалось застигнуть врасплох, там успели приготовиться, татары были ослаблены десятками кровопролитных сражений на Руси, и надо полагать, что леса и горы Карпат и Судетов показались не очень привлекательными степным всадникам азиатских равнин. Во всяком случае, в Европу татары не дорвались, а Россия вошла в состав Улуса Джучи, или Золотой Орды.

Обстановка этого более чем трехсотлетнего ига, хорошо известна. Все и сразу пошло ко всем чертям: начинавшая снова налаживаться централизованная и великодержавная государственность (Андрей и Всеволод), снова начинавшая цвести культура («Слово о Полку Игореве», «Слово Даниила Заточника», «Печерский Патерик»), снова начинавшее развиваться строительство (Дмитриевский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, церковь Спаса-Нередицы в Новгороде) — над страной повис трехвековой кровавый туман, «кровь и грязь татарского ига», как выражался Карл Маркс. В этой крови и грязи лет на 300 утонула естественная эволюция русской государственности и русской культуры.

Некоторые наши историки (в особенности Пыпин) горько жаловались на неблагодарность Европы, которая-де забыла, как мы 6 веков подряд собственной грудью отстаивали ее от азиатской степи. Эти жалобы несколько наивны; во-первых, в политике, к сожалению, благодарности не бывает, и, во-вторых,

в борьбе против Азии мы отстаивали самих себя, а вовсе не Европу, до которой ни князьям, ни смердам ровно никакого дела не было. Не совсем правильна также параллель между татарским завоеванием России и арабским завоеванием Испании: арабы принесли в Испанию гораздо более высокую культуру, чем та, которая была у самих испанцев. Не забудем, что всякая классическая культура древности была принесена в германскую Европу именно арабами — очень кружным путем, через остатки империи Александра Македонского. Власть арабов не была властью дикаря, снабженного более чем современной, по тем временам, китайской техникой и администрацией, дикаря, который, опираясь на эту технику, вырезывал поголовно целые города. Это была власть очень высокой и очень утонченной культуры, которая принесла тогдашним дикарям Иберии — вестготам — и зодчество (Альгамбра), и науку (математика и философия), и медицину, и литературу, и, что, может быть, главное, — то уважение к культуре, которое арабы вынесли из Багдада. Гарун аль-Рашид в свое время предлагал византийскому императору 100 пудов золота и вечный мир в обмен за командировку в Багдад на лекции греческого философа Леона: философия и по сей день не котируется так высоко. Кордоба, Гранада, Севилья, Толедо были построены арабами, а Кордобский университет с его 400 000 (четыреста тысяч!) свитков был лучшим в Европе.

Иностранное завоевание всегда тяжело, но, согласитесь сами, что арабское завоевание Испании — это все-таки не Батый и не Мамай, после которых действительно «трава не росла». Татарское иго было сплошной «кровью и грязью», сплошным разорением страны, беспросветным кровавым туманом, на 300 лет остановившим почти всякий культурный и экономический рост страны.

Некоторые наши историки, следуя той знаменитой поговорке, которая говорит, что «нет худа без добра», пытаются найти какое-то добро и в татарском иге. Не удержался от этого и Ключевский: он видит в татарах тот нож, который разрубил удельные узлы русской истории. Достаточно очевидно, хотя бы

из книг того же историка, что дотатарская Русь умела разрубать эти узлы и БЕЗ татар. Карамзин видел в татарской власти фактор, укрепивший централизованную власть московских князей. Однако централизованная власть князей — правда, не московских, а раньше киевских, потом владимирских, — была реализована и без содействия Батыев и Мамаев. Костомаров видел «прогресс» в том, что татарское нашествие разгромило Русь городскую и вырастило Русь деревенскую: с этой точки зрения уничтожение Киева, Рязани, Владимира и других городов является, по-видимому, тоже прогрессом.

Этот гегелианский оптимизм имеет под собою ту объективную подпочву, что при всякой катастрофе какие-то процессы в стране все-таки происходят, что-то все-таки растет: данное историческое явление растит в своем чреве гегелианскую «противоположность», которая потом это явление съест и явится «высшей формой» «диалектического развития». Такого рода оценка повторяется и по адресу революций, даже и французской, которая совершенно очевидно погубила и страну, и нацию. Тогда говорят (по адресу большевистской революции говорят уже и сейчас), что 40 или 50 миллионов трупов вещь, конечно, неприятная — зато «индустриализация». Забывается то весьма, в сущности, простое соображение, что при довоенном темпе роста русской промышленности (а этот темп историк обязан знать), Россия сейчас имела бы приблизительно в два раза большую промышленность, чем СССР. Но без 40 или даже 100 миллионов трупов. Без этих бесконечных человеческих страданий, которые историками, конечно, и вовсе не учитываются. Без Второй мировой войны, которая была бы немыслима без наличия в России большевизма, и без Третьей, которая нависает над всем миром сейчас.

Никакая историческая катастрофа не означает полной остановки исторического процесса. Что-то все-таки растет. Но растет замедленно и в изуродованном виде. Московская Русь, кое-как оправившись после кровавого наводнения первых нашествий, стала отстраивать — в **новых** условиях **старые** формы своего быта, своей государственности и своей культуры.

Но это было трехсотлетней остановкой почти всякого развития. Это был культурный, экономический и государственный анабиоз — в лучшем случае. Израненная и обескровленная Россия, как тяжело раненный зверь, забралась в свою лесную берлогу, зализывая свои раны, — и ждала.

***

Ждать пришлось долго — 300 лет. Этот процесс ожидания, **выдержки** приводит нас к тем факторам истории, которые обычно остаются вне исторических исследований и даже исторических обобщений: это фактор постоянства, доминанты нации, так сказать, ее выносливости в борьбе. В великих столкновениях великих народов побеждает не геройство — побеждает выносливость. Героические моменты этой борьбы потом используются в качестве наглядных и воодушевляющих символов. Они обрастают героическими жестами, которых никто не видел, героическими фразами, которых никто не слышал и уж, конечно, никто не записывал, героическими подвигами, которые позднейшая легенда обрабатывает в потребу свою. Героические жесты, слова и деяния, конечно, существуют и в реальности. Но реально существовавшие — до нас, по-видимому, не доходят никогда, разве только в чисто литературных отражениях: «Война и мир» (капитан Тушин) или «Герой нашего времени» (Максим Максимович). Этот реально существующий и реально решающий героизм существует в воле миллионов людей, из которых если и не каждый, то, по крайней мере, большинство готово в сознании своем идти на такие-то жертвы во имя такой-то цели. Если в миллионах людей такого сознания нет, то никакие герои ничему не помогут. Никакая великая борьба не решается «одним ударом», так сказать, «нокаутом» по нынешней терминологии бокса: идет на выносливость, на измор.

Самых опасных наших противников — татар с востока и поляков с запада — мы взяли не геройскими победами и не сокрушающими поражениями. В борьбе с татарами даже и Куликовская битва в сущности ничего не изменила, а это бы-

ло поистине сокрушающее поражение. Мы взяли измором: мы — продержались 300 лет, а татары за те же 300 лет выдохлись окончательно. Решительно то же было и с Польшей — там даже и сокрушительных побед не было: в многовековом споре «славян между собою» Польша была обескровлена и разложилась изнутри. Измором была ликвидирована и шведская опасность. На нашей стороне стояли факторы пространства, времени и массы — но не пассивной массы, в бездействии ждущей нового поворота исторических судеб, а десятков миллионов людей, продолжающих гнуть свою линию в любых исторических условиях и под давлением любых исторических катастроф.

Еще не оправившись от оглушительного Батыева удара, Русь снова берется за свою старую линию: начинает сызнова отстраивать свое снова разрушенное государственное единство и ищет для этого подходящий центр. Таким центром на этот раз оказалась Москва.

ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ

«Причины возвышения Москвы» занимают весьма видное место во всех курсах русской истории и ставят наших историков несколько в тупик. Почему, в самом деле, только что разгромленная татарским нашествием страна, опережая всех своих западноевропейских современников, так быстро восстанавливает свое национально-государственное единство и почему центром этого единства оказывается именно Москва — самый захудалый из всех тогдашних уделов?

Ответы, конечно, даются самые разнообразные. Самый толковый из них принадлежит проф. Випперу: «У нас по вопросу о жизни нации ничего не сделано, я бы сказал **ничего не начато**... Мы ведь никогда не занимались исследованием относящихся сюда вопросов... Наши диалектические, платонические и другие методы, которыми мы до сих пор орудовали — богословская схоластика и больше ничего» («Круговорот истории», стр. 64 и 75).

Из общего уровня наших историков проф. Виппер выделяется своей откровенностью: «наши методы — схоластика и больше ничего». Другие историки менее откровенны, в особенности марксистские, которые кроме как «схоластики» — гроша медного за душой не имеют.

Разбор исторических объяснений причин возвышения Москвы я начну с марксистских: более глупого в мировой историографии нет ничего.

Пережевывая в тысячный раз «положения классиков марксизма», советские исторические курсы всячески подчеркивают «материальную базу» объединения Руси. По Марксу — объединительные тенденции, вызвавшие создание феодальных королевств, поддерживались прежде всего «земельным дворянством» и «городами» (Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. 1934, стр. 15). Советская «История СССР», почтительно повторяя «классиков марксизма», формулирует причины объединения Руси так:

1) экономическое развитие русских земель выразившееся в появлении общественного разделения труда и товарного обращения, в силу чего усиливались экономические связи между отдельными городами и землями.

2) классовая заинтересованность феодальных земельных собственников в создании сильной верховной власти, способной подавить сопротивление крестьян.

В других местах той же «Истории» несколько раз повторяется тот же основной мотив: города, центры национальной торговли и промышленности выступают как основная объединительная сила страны.

Я начну со второго пункта: с «классовой заинтересованности феодальных земельных собственников». Напомню: Боголюбский начал с разгрома этих «собственников», его преемники были втянуты в гражданскую войну, в которой победили противники «феодальных земельных собственников». Москва с самого начала стала ликвидировать всякие феодальные начинания. Грозный «феодалов» разгромил окончательно. В Смутное время победили тягловые мужики, «последние люди государства Мос-

ковского». Первые Романовы строят всесословное самоуправление и ликвидируют остатки феодальной бюрократии, и потом, — после периода цариц, — первые законные русские цари снова берутся за прерванное Петром занятие — за постепенную, но окончательную ликвидацию уже не «феодальных земельных собственников», а просто земельного дворянства.

«Общественное разделение труда, товарное обращение» и «города» не имеют к объединению страны ровно никакого отношения. Италия в годы «возвышения Москвы» была типичной «страной городов», имела неизмеримо более развитое «товарное обращение», имела вексельное право, и банки, и двойную «итальянскую бухгалтерию», и «общественное разделение труда» и все такое. И при всем этом Италия с государственно-национальным объединением отстала от России лет почти на 500, да и это объединение было организовано никак не королями, даже и не Гарибальди и пр., а было организовано Наполеоном III, у которого на Италию были собственные виды.

То же относится и к Германии. Германия тоже была «страной городов» и имела «общественное разделение труда» — почему объединение Германии выросло не из старинных торговых центров, какими являлись Кельн или Нюрнберг, а из Берлина, которого в эпоху возвышения Москвы и вовсе не существовало? Почему торговые города Ганзы не только не создали никакого объединения, но противились этому объединению до самых последних дней — до Адольфа Гитлера, а некоторые даже и при нем ухитрились остаться «вольными городами»? Почему, наконец, объединение Руси пошло не из Новгорода, например, который по всем экономическим показателям стоял неизмеримо выше Москвы, да и татарским разгромам не подвергался? Почему первая на севере объединительная попытка была сделана даже не из «старейших городов» — Ростова и Суздаля, а из Владимира, который был деревушкой и который был превращен в «город» только для того, чтобы Боголюбскому было куда сбежать от настоящих городов. Почему вторая, московская, попытка, — была сделана и удалась — опять же не из старейших городов и даже уже не из Владимира, а из захудалой

усадьбы боярина Кучки? Уж если становиться на марксистскую точку зрения, то надо бы прежде всего объяснить, почему из Новгорода ничего объединительного не вышло.

Ключевский пишет (т. 2, стр. 103 и след.): «Ни в каком краю Древней Руси не встретим такого счастливого подбора условий, благоприятных для широкого развития политической жизни... Новгород рано освободился от давления княжеской власти (? — *И. С.*) и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев, не испытал непосредственного гнета и страха татарского, в глаза не видел ордынского баскака, был экономическим и политическим центром огромной области, рано вступил в деятельные торговые сношения с европейским Западом, был несколько веков торговым посредником между этим Западом и азиатским Востоком... Нигде в Древней Руси не соединялось столько материальных и духовных, средств»...

И вот, ничего не вышло. Освобожденные «от давления княжеской власти» массы за Новгородом идти не хотели: «Псков, — пишет Ключевский, — уже в XIV веке добился полной политической независимости. Вятка с самых первых шагов своей жизни стала в независимое отношение к метрополии... Двинская земля также не раз пыталась оторваться от Новгорода. В минуту последней решительной борьбы Новгорода за свою вольность не только Псков и Вятка, но и Двинская земля не оказали ему никакой поддержки или даже послали свои полки **против него на помощь Москве**».

Значит, «в минуту последней решительной борьбы» не только новгородские пригороды не захотели помогать своей метрополии, не захотело помогать и собственное низовое население Господина Великого Новгорода. Все культурные, географические, торговые и прочие материальные предпосылки новгородского могущества не дали ничего. И выиграла нищая Москва. Почему? Можно было бы сказать, что именно потому, что Новгород «освободился от давления княжеской власти», что «классовой борьбе» был дан полный простор, что, как пишет новгородский летописец, «все люди проклинали старейшин наших и город наш». Но это было бы поверхностным

объяснением. По существу же в Новгород прорвались феодальные понятия европейского Запада. Во всех этих попытках отделиться, отгородиться от своего центра к нам снова прорываются западноевропейские политические отношения. Во всех попытках подавить княжескую власть прорываются те же тенденции земельного и торгового феодализма, которые стали поперек пути и итальянскому, и германскому объединению. Новгород веками был торговым посредником между Россией и Европой: новгородские верхи, как и в Литве, восприняли западноевропейскую идеологию, низы, как и в Литве, стояли за царя. Судьбы и Литвы, и Новгорода оказались одинаковыми. Можно бы привести более поздний пример: казачья старшина на Украине, которая тянула к Польше, и низы, которые тянули «под царя московского православного»... Можно бы привести и другие иллюстрации: почему Псков, Вятка и Двина старались отделиться и отделились, и почему Урал (Строгановы и Демидовы) и Сибирь (Ермаки и Хабаровы) не пробовали и не отделились? Почему в решающий момент новгородские пригороды стали против Новгорода и в такой же момент (Смута) и Урал, и Сибирь, и Поволжье, и Север сделали все, что могли для спасения Москвы?.. Таких примеров, иллюстраций и вопросов можно бы набрать очень много...

Энциклопедические словари, подобно младенцам, иногда глаголят истину, ибо им ставится не пропагандистская, а чисто информационная задача (Советская Энциклопедия является, конечно, счастливым исключением). Наш историк Москвы, И. Забелин, в своей статье в словаре Брокгауза и Ефрона, т. 38, стр. 934 пишет: «В истории города очень видное место занимал и московский посад, под именем черни (отсюда «черная сотня». — *И. С.*), которая в опасных случаях, когда ослабевала или вовсе отсутствовала предержащая власть, не раз становилась **могучей силой**, защищая от напасти свой излюбленный город, иногда не без своеволия и не без свирепых насилий. Так было при нашествии Тохтамыша в 1382 году, так было в 1445 году, когда великий князь Василий Темный на суздальском побоище был взят татарами в плен, так было в 1480 году, при нашествии

царя Ахмета, когда великий князь Иван III медлил походом, а затем из похода возвратился в Москву. Посад так вознегодовал на это, что великий князь побоялся даже остановиться в Кремле и проживал некоторое время на краю города, в Красном Селе. Точно так же действовал посад и в Смутное время... Простые граждане Москвы, ее тяглецы, относились к политическим интересам своего города с **большой горячностью и с напряженным вниманием следили за действиями предержащих властей**»...

Напомню читателю обстановку 1480 года. Между Польшей и Ордой был заключен военный союз против Москвы, лишний раз иллюстрирующий теорию «защиты Европы». Татарский хан Ахмет, рассчитывая на этот союз, двинулся к Москве, но не с востока, как обычно, а навстречу своему союзнику — к верховьям Оки. Иван III ждал неприятеля на традиционных татарских путях к Москве — и когда Ахмет очутился на Угре, царь Иван III после длительного стояния против татарского лагеря вернулся в Москву.

Москва встретила его чрезвычайно невежливо. Ростовский епископ Вассиан обозвал его «бегуном», посад негодовал, и великому князю буквально не было проходу: на улице его пытались и за бороду драть: а это был первый официально самодержавный государь Москвы.

Я не берусь сказать, чем была вызвана нерешительность великого князя. Очень вероятно, что о «мировом положении» он был осведомлен лучше московского посада: «Защите Европы» от азиатского и европейского варварства помог крымский хан, который ворвался в Польшу и сорвал польскую помощь Ахмету. Ахмет, перезимовав на Угре, бросил московский поход и отступил на восток, где и был благополучно зарезан ногайскими татарами. Таким образом, Москва была спасена без пролития русской крови. Иван оказался более прав, чем москвичи. На такую возможность намекает и Маркс: «Так Иван погубил одних татар при помощи других». Однако нас интересуют не военные обстоятельства очередного татарского нашествия. Интересно другое: Олеарий и Герберштейн, за ними Флетчер и другие по-

вторяют тот мотив, который впоследствии делается господствующим и в русской исторической литературе: Москва — это царский абсолютизм по восточному образцу, а под ним, под этим абсолютизмом, бесправное и безгласное стадо рабов.

Если вы примете эту картину мало-мальски всерьез, то целый ряд явлений московской жизни останется для вас совершенно непонятным. Откуда при этом всеобщем рабстве взялся горячий интерес к политическим вопросам, откуда, и главное зачем, напряженное внимание к действиям власти? Откуда взялась политическая активность, обгоняющая замыслы самодержцев и ставящая им, самодержцам, какие-то подчас грубые требования? Почему московские низы, — прямые наследники владимирских мизинных людей, — так горячо любили свой город, свою страну и с таким упорством и самопожертвованием защищали их — даже и тогда, когда в Москве не оставалось ни царей, ни даже бояр? Почему, когда московским великим князьям приходилось попадать в плен к татарам, то вся Москва, начиная от именитых людей Строгановых и кончая последними посадскими людьми, собирала все, что могла, для выкупа своего князя? Когда Василий Темный попал в татарский плен, Москва при содействии Строгановых собрала для выкупа 200 тысяч рублей. Для того, чтобы дать себе отчет в огромности этой суммы по тогдашним масштабам, вспомним, что тот же Василий Темный, разгромив Новгород, наложил на него дань в 10 тысяч рублей, а после Смутного времени, т.е. полтораста лет спустя, Москва по Столбовскому миру уплатила Швеции контрибуцию в 20 тысяч. 200 тысяч были совершенно неслыханной суммой. Зачем же москвичи собрали ее и почему московский посад отдавал свои последние рубли? Казалось бы, избавились от «деспота», — и слава Тебе, Господи.

Однако при пленении Василия, потом при «уходе» Грозного, разражались «воплем и плачем», собирали для Василия свои последние рублишки, молили Грозного сменить гнев на милость, не допустили после Смутного времени никаких конституционных попыток, и вообще за своего царя держались

крепко и поддерживали его еще крепче. Кто был умнее? — Москва XIV–XVII столетий или петербуржцы 1917 года?

...Я помню февральские дни: рождение нашей великой и бескровной, — какая **великая безмозглость** спустилась на страну. Стотысячные стада совершенно свободных граждан толклись по проспектам петровской столицы. Они были в полном восторге — эти стада: проклятое кровавое самодержавие — кончилось! Над миром восстает заря, лишенная «аннексий и контрибуций», капитализма, империализма, самодержавия и даже православия: вот тут-то заживем! По профессиональному долгу журналиста, преодолевая всякое отвращение, толкался и я среди этих стад, то циркулировавших по Невскому проспекту, то заседавших в Таврическом дворце, то ходивших на водопой в разбитые винные погреба.

Они были счастливы — эти стада. Если бы им кто-нибудь тогда стал говорить, что в ближайшую треть века за пьяные дни 1917 года они заплатят десятками миллионов жизней, десятками лет голода и террора, новыми войнами — и гражданскими, и мировыми — полным опустошением половины России, — пьяные люди приняли бы голос трезвого за форменное безумие. Но сами они, — они считали себя совершенно разумными существами: помилуй Бог: XX век, культура, трамваи, Карл Маркс, ватерклозеты, эсэры, эсдеки, равное, тайное и прочее голосование, шпаргалки марксистов, шпаргалки социалистов, шпаргалки конституционалистов, шпаргалки анархистов, — и над всем этим бесконечная разнузданная пьяная болтовня бесконечных митинговых орателей...

...Прошли страшные десятки лет. И теперь, на основании горького, но уже совершенно бесспорного исторического опыта мы можем на вопрос о том, так кто же был умнее — черные мужики Москвы XIV века или просвещенные россияне империи XX — дать вполне определенный ответ. Просвещенные россияне, делавшие 17-й год, оказались ослами. И пророчество А. Белого: «Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча» — сбылось с математической точностью — четверть населения России погибло «от глада, мора и меча», а также и от Чрезвы-

чайки. Сбылись пророчества Толстого, Достоевского, Розанова, Менделеева, — но разве опьяненные шпаргалками россияне интересовалось мнениями первых мозгов всей страны?

***

Люди Московской Руси приходили в ужас от одной мысли о возможности не только прекращения монархии, но и от угрозы ее ограничения. Люди петербургской России 200 лет с разных сторон — реакционной и революционной — подрывали самодержавие. И над его могилой им мерещилась, — совсем не по Чехову, — «невыразимо прекрасная жизнь». Москвичи видели катастрофу в том, в чем петербуржцам мерещился рай. Кто из них оказался прав **фактически**?

***

Марксистские объяснения любого исторического процесса производят такое впечатление, как если бы они были написаны для окончательных и окончательно беспробудных идиотов. В славной когорте марксистских начетчиков советские марксисты занимают особенно уютную позицию: они за ГПУ и Главлитом как за каменной стеной. Можно нести любую околесицу: попробуйте возражать!

«Буржуазные» историки находятся в худшем положении, и им приходится труднее. Истинно марксистского объяснения они привести не могут: оно, не защищенное Главлитом, было бы немедленно разгромлено. Но и их привлекает широкий ассортимент материалистических объяснений: эти объяснения все-таки наиболее просты. Так, и Ключевский не смог удержаться от «географии»: «В Москву, как в центральный водоем, со всех концов русской земли, угрожаемой внешними врагами, стекались народные силы, благодаря ее географическому положению».

А в 60 верстах от этого «центрального водоема» начиналось Дикое поле — правый берег Оки, на котором властвовали татарские шайки. В 80 верстах к западу начиналась Литва. Вер-

стах в 100 к востоку — в «мещерской стороне», сегодняшней Рязанской губернии, сидели еще дикие мещеряки, то принимавшие посильное участие в татарских набегах, то бунтовавшие и грабившие сами по себе. С точки зрения чистой географии судьбу Москвы можно бы определить и совсем по-иному: Москва была никак не «центральным водоемом», а передовым опорным укреплением, которому-де Русь, «со всех сторон угрожаемая врагами», стремилась помочь в меру своих сил: такое объяснение ничуть не хуже «центрального водоема». Если бы страна выбирала «центральный водоем», — то и Тверь, и тем более Ярославль были бы в безмерно лучшем положении, не говоря уже о Новгороде. И Тверь, и Ярославль находились гораздо дальше от врагов, стояли на всамделишной реке, а не на утлой московской речушке, Ярославль стоял еще и совсем вдали от Литвы. Не стоит говорить о «географии»...

Историки более правого, так сказать, дворянского направления, напирали на наследственные таланты первых собирателей земли русской. Эти теории более или менее ликвидировал тот же Ключевский: «Московские великие князья являются довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, другого Ивана, Димитрия, Василия, другого Василия... Они отличаются замечательной устойчивой посредственностью, не выше и не ниже среднего уровня... Это князья без всякого блеска. Во-первых, это очень мирные люди, они неохотно вступают в битвы, а вступив в них, чаще проигрывают их... Это средние люди древней Руси, как бы сказать, больше хронологические знаки, чем исторические лица...

...Фамильный характер московских князей не принадлежал к числу коренных условий их успехов, а сам был произведением тех же условий. Их фамильные свойства не создали политического и национального могущества Москвы, а сами были делом исторических сил и условий, создавших это могущество...».

Итак: «исторические силы и условия». Какие же это силы? Экономика отпадает, ибо Москва была беднее всех. Отпадают «города», — как русский Новгород или немецкая Ганза.

Отпадает феодализм. Отпадает география с ее «центральным водоемом». Что же остается?

Начиная с Олега, первых сказаний и первых летописей, и кончая сегодняшним днем, сквозь всю историю проходит одно доминирующее стремление — тяга к национальному и государственному единству, «к воплощению государственного тела», как выражался Костомаров. Начали в одном месте — не вышло, начали в другом, в третьем, в четвертом — наконец нашли. Если человек ищет — он обычно находит. Географическое положение иногда играет роль (Киев), иногда не играет никакой роли (Владимир). Качества отдельных людей иногда играют роль (Боголюбский), иногда не играют никакой роли (Данилович). Деньги иногда играют роль (Новгород), иногда не играют никакой роли (Москва). Это все — случайные коэффициенты при плохо известной величине. И эту плохо известную и трудно уловимую величину историки предпочитают обходить, ибо ни на каких пергаментах она не записана.

Это — величина психологическая. И если миллионная масса в течение ряда веков и на всей территории России неустанно и непрерывно ищет и ищет свой организующий центр, то она его или найдет, или создаст. Почему он был создан в Москве, а не, скажем, в Твери? Этот вопрос имеет такую же историческую значимость, как и вопрос о том, почему Михайло Ломоносов родился в Холмогорах, а не, скажем, в Царевококшайске? Эти факты нужно отнести к разряду исторических случайностей, кое-как поддающихся объяснению только путем исключения.

Если мы признаем, что русский народ обладает, скажем, литературной одаренностью, то мы вправе заранее предположить появление Толстых, Достоевских, Тургеневых, Гоголей, Пушкиных и пр. — место рождения каждого из них не может быть объяснено никакими вывертами. Но можно было бы сказать, что в таких-то и таких-то условиях ни Пушкин, ни Толстой родиться бы не смогли. Так, если бы Ломоносов родился не в Архангельской губернии, которая крепостного права не знала вовсе, а, например, в Тверской, то Михайла Васильевича из его Московской академии изъяли бы обратно, выпоро-

ли бы нещадно и вернули бы к его помещику — в первобытное, так сказать, состояние. Михайло Васильевич Ломоносовым бы не стал. Мы не знаем и никогда не узнаем, сколько таких Михайлов так и не стало Ломоносовыми.

В таком же приблизительно разрезе можно поставить вопрос о возвышении Москвы. В тогдашней России были все психологические предпосылки для создания единой общенациональной надклассовой власти. Эта власть не могла быть создана там, где уже укрепились классы, — на наших западных территориях. Удельный феодализм Киева, землевладельческий феодализм Вильны и торговый феодализм Новгорода душили эту власть на корню. Страна обосновала свой новый центр там, где всего этого не было. Географическая точка Москвы, а не Коломны или Серпухова, имеет ровно такое же значение, как рождение Ломоносова в Холмогорах, а не в каком-нибудь соседнем селе.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Проф. Виппер честно признается, что никаких методов изучения национальной жизни у нас нет, что наши «платоновские и диалектические методы — богословская схоластика и больше ничего». Я утверждаю, что пути национальной жизни могут быть поняты только исходя из психологии, и поэтому хочу предложить читателю самый элементарный метод психологической оценки — метод самонаблюдения.

Попробуйте проделать такого рода психологический эксперимент: представьте самого себя в ролях ряда известных вам деятелей мировой истории: скажем, Торквемады или Робеспьера. Наполеона или Сталина, Александра III или Минина. Вы, вероятно, почувствуете, что некоторые роли вам, среднему русскому человеку, как-то не подходят, что многие исторические знаменитости с вашей точки зрения валяли дурака, делали то, что, — опять-таки с вашей точки зрения, — делать никак не следовало и даже и не стоило.

В оценке Торквемады или Абдул Гамида сойдемся, вероятно, мы все. Относительно, допустим, Минина сойдется подавляющее большинство из нас: это будет точка зрения большинства русского народа, т.е. точка зрения национальная. Относительно Сталина мнения, вероятно, будут весьма разноречивы — это будет результат расслоения национальной точки зрения, результат раздробления некогда более или менее единого национального самосознания.

Из всего этого следует, что данной нации, ее нормальному большинству свойственны и какие-то типичные для нее способы действия. На основании этих оценок и этих способов можно было, например, с совершенной точностью предсказать превращение войны 1941 года в народную войну.

Суживая круг нашего наблюдения, мы можем сказать, что отдельные группы страны действуют на основании их собственной психологии, лишь очень отдаленно связанной с какими бы то ни было экономическими отношениями. Марксисты предреволюционных годов очень настойчиво доказывали, что если бы Маркс захотел делать деньги — то он, при его гениальности, стал бы банкиром-миллионером, а Маркс вместо того уселся за свой «Капитал», т.е. с точки зрения «экономического материализма» сделал нелепость. Можно было бы, в особенности сейчас, доказать, что русской буржуазии свержение самодержавия экономически никак не было выгодно, а вот, поди-те-же, свергла. Еще проще было бы доказать, что всей России вместе взятой диктатура коммунистической партии решительно никаких выгод не принесла. Вопрос решает не «выгода», и тем более не экономическая выгода: какую экономическую выгоду извлек Робеспьер из своей диктатуры? Вопрос решает воля к жизни и воля к власти в тех их формах, какие свойственны данному индивидууму. Генерал проявляет свою власть в командовании, Лев Толстой — во влиянии, Морган — в финансовых монополиях, Робеспьер и Сталин — в вооруженном навязывании своей идеи данному обществу. Отдельный человек выбирает свою карьеру, вовсе не имея в виду извлечения максимальной прибыли; военная карьера есть, например, дело заведомо

безденежное. Однако военные училища вследствие этого никогда не пустовали.

Точно также выбирают свои карьеры и отдельные народы. Это делается вовсе не на основании «теории науки», а на основании той формы воли к жизни и воли к власти, какая нормально, — т.е. на больших промежутках времени, — свойственна большинству народа — его психологической доминанте. Польская доминанта выбрала выборного короля, русская доминанта упорно отстаивала наследственного монарха. Тяглые мужики 1613 года следовали основной русской доминанте. И когда я пытаюсь стать в их положение, войти в их роль, то я прихожу к выводу, что, во-первых, они действовали чрезвычайно правильно и разумно, что, во-вторых, на их месте я действовал бы точно так же, как и они и что, в-третьих, в будущем я, Иван Лукьянович, постараюсь действовать именно по их примеру и, в-четвертых, что я действовал бы по их примеру даже и в том случае, если бы об этом примере я никогда и слова не слышал бы.

Я, Иван Лукьянович, точно так же, как и тяглые мужики 1613 года, буду действовать именно так, а не иначе, вовсе не для «дворянской диктатуры», ибо я не дворянин, не для «торгового капитала», ибо никакого капитала у меня не было, нет и не будет, не во имя византийского примера, на который мне наплевать, и не в результате татарского ига — ибо мои предки его никогда не переживали. Я буду так действовать вовсе не из-за покорности моей, ибо я по характеру моему человек до чрезвычайности непокорный, и не из-за слабости моей, ибо я считаю себя человеком исключительной силы. Но я буду так действовать из сознания моих интересов — моих собственных интересов, включающих в себя интересы моего сына, моего внука и моей страны.

Я, Иван Лукьянович, питаю к политике острое отвращение. Я, как и всякий средний русский человек, стараюсь быть честным человеком, и если это не удается, чувствую себя как-то не очень приятно. Это есть основная черта русского характера: если русский человек делает свинство, то он ясно чувствует, что это есть свинство, что грех есть грех (поэтому у нас

с индульгенциями ничего не вышло: от греха откупиться нельзя). Практическая политика с ее демагогией и ее интригами, склоками и пр., есть неизбежное и сплошное свинство — пример ленинских апостолов только крайнее выражение этого политического свинства. В парламентской политике буржуазных стран свинство не принимает такого кровавого отпечатка, но чисто моральная сторона дела и там не намного чище.

Я заниматься политикой не хочу. Но я так же не хочу, чтобы мною занимались политики, чтобы какой-нибудь новый прохвост, победив своих конкурентов, — или в порядке парламентских подвохов и подкупов, или в порядке социалистической резни, — заставил бы меня, Ивана Лукьяновича, подчиняться да еще кадить фимиам гению наиболее длинного ножа и наиболее короткой совести. Об этих прохвостах 100 лет тому назад писал Эрнест Ренан по поводу французской революции: «Страшный урок для народов, которые, будучи неспособны к республике, разрушают династию, данную им веками... Человек, покрытый кровью, вероломством и преступлениями, который победит своих соперников, будет провозглашен спасителем отечества»... — как видите, это портрет Сталина, написанный за полстолетия до его рождения на свет. Таких портретов по Европе можно набрать несколько штук. Единственный выход из этого неизбывного свинства практической политики — это есть человек, который по праву рождения стоит выше споров, выше соблазнов и, следовательно, выше общечеловеческой необходимости делать свинство. Вероятно, что этот человек — в числе прочего — будет делать и ошибки, но свинства ему делать совершенно не для чего. Я предоставляю ему власть и я постараюсь **оградить** эту власть, ибо она спасает меня, в частности, и от активного, и от пассивного участия в политическом свинстве.

Далее: я как русский и, следовательно, оптимистически настроенный человек никак не страдаю никаким «комплексом неполноценности». Я считаю, что я сам по себе достаточно хорош — по крайней мере для самого себя. Поэтому я, как и большинство русских людей, сравнительно равнодушен

ко всякого рода внешним отличиям. Поэтому в любом русском обществе титул князя никогда не производил такого впечатления, как титул лорда, поэтому у нас никогда не называли наших добрых знакомых мужского пола — господин коллежский регистратор Иван Иванович, и женского пола — госпожа коллежская регистраторша Марья Ивановна, как называют в Германии, поэтому же у нас вне пределов известных профессиональных групп даже и генеральский чин — военный, а тем более штатский — вызывал не столько почтительность, сколько некий иронический налет. Даже столь «реакционный» писатель, как Достоевский, когда писал о генералах, то всегда с иронией.

Я, далее, никак не собираюсь попасть в какой бы то ни было будущий русский парламент в качестве «народного избранника», с тем, чтобы иметь право отметить на своей визитной карточке «член Государственной думы», или «MP», или «Depute», или прочее в этом роде. Лично для меня участие в голосующем по приказу лидеров партийном стаде русского парламента было бы оскорбительным: я не баран. Что же касается речей с парламентской трибуны, то я достаточно хорошо знаю, что они произносятся для галерки и что исход голосования никакого отношения к красноречию не имеет: он решается закулисными партийными комбинациями и приказами соответствующих партийных вождей. Всякий же партийный вождь всякого в мире парламента хочет прежде всего вылезть в министры.

Я также знаю, что никакой толковый врач, инженер, адвокат, промышленник, писатель и пр. — в парламент не пойдет, потому что: 1) ему там делать нечего и 2) у него есть свое дело. Не станет же человек бросать своих пациентов, клиентов, свой завод, свое предприятие, свой рабочий кабинет, чтобы идти валять дурака на парламентских скамьях или на парламентской трибуне. Я — тоже не пойду. Но если будет нужно и если меня позовет ЦАРЬ, то я сделаю решительно то же, что делали члены московских соборов: прежде всего постараюсь увильнуть: вот есть-де у меня сосед Иван Иванович — так пусть уж он едет, он умный. Если по ходу событий выяснится, что увильнуть непригоже, то сделаю опять-таки то же самое, что делали

члены собора: доложу Его Величеству мое мнение по специальности и постараюсь в возможно скором времени вернуться в мое первобытное состояние — к моему письменному столу. Моя жизнь — здесь, за письменным столом, а не на скамьях парламента, где моего партийного лидера будут дергать за веревочку тресты, синдикаты и банки, партийный лидер будет дергать за веревочку меня и я, как Петрушка, буду вскакивать и изображать руками и ногами какую-то «волю народа».

По поводу этой петрушки позвольте еще раз привести конкретный пример, — мне профессионально знакомый совершенно точно.

Летом 1936 года мой брат зарабатывал деньги, выступая в качестве профессионального борца. Дело было в Болгарии, в Софии. На стадионе — ринг вольно-американской борьбы, на ринге выступают восемь борцов, на скамьях больше тридцати тысяч неистовствующей публики. Мой сын, глядя на все сие зрелище, говорит не без некоторой горечи: «А все-таки занятно — как 8 жуликов околпачивают 30 тысяч дураков».

Дело в том, что борьбы не было и не могло быть никакой: все роли были заранее распределены. Так что болгарский борец, кажется, Кочев, должен был положить Бориса на шестнадцатой минуте, другой болгарский борец, Дан Колов, — польского борца на двадцатой и т.д. Так делается **на всех** профессиональных чемпионатах, и иначе делать нельзя: и публике будет скучно, и никакой организм не выдержит профессиональной борьбы всерьез. Но жуликами эти борцы, собственно, не были: спрос рождает предложение. Вы хотите посмотреть на занятное зрелище — вот мы вам его и организуем. В парламентской борьбе дело уже идет об определенном жульничестве: люди делают вид, что решают что-то государственное, а за их спинами стоят капиталистические и прочие «организаторы чемпионата» и устанавливают: когда Бриан должен положить на обе лопатки Клемансо. Тридцать миллионов зрителей парламентского чемпионата принимают всю эту борьбу так же всерьез, как 30 тысяч софийского стадиона: рукоплещут, неистовствуют, восторгаются и ликуют.

Так что в парламент я не пойду. Хочу ли я «иметь влияние»? Хочу. Но я его буду иметь моими книгами, мужик — своим урожаем, инженер — своим заводом и пр. И все мы, вместе взятые, в нужную минуту будем влиять нашими кулачищами. А кулачища у нас всех — они тоже имеются.

То, что я здесь пишу, ни в какой степени не отрицает народного представительства: народная монархия без народного представительства технически невозможна. Но это народное представительство должно быть «собором», а не «парламентом», т.е. рабочей организацией, а **не балаганом**. Заниматься делом, а не водить по улицам слонов, как это делают американские демократы, или ослов, как это делают американские республиканцы. Не потешать публику всякими tour de tête[9] на парламентской трибуне и не обманывать ее предвыборными программами. Парламент есть скопище более или менее честолюбивых неудачников — какими у нас были неудачник в науке Милюков, неудачник в промышленности Гучков, неудачник в сельском хозяйстве Родичев и пр. Трудно себе представить на трибуне государственной думы Л. Толстого, Д. Менделеева, И. Павлова, Ф. Достоевского и И. Мечникова и др. Единственным «умом первого сорта» был в Думе профессор Петражицкий, да и тот плюнул и ушел. Парламента нам не нужно, нам нужен **собор**, — т.е. народное представительство, составленное из людей и «государевой», и «земской» «службы», т.е. то, что так неудачно пыталась повторить Европа под маркой корпоративного народного представительства. Тогда некто Иванов, представительствующий сибирскую маслодельную кооперацию, будет совершенно точно знать, **что** требуется этой кооперации. А генерал Петров внесет в требования сибирской кооперации те поправки, которые военное ведомство сочтет нужным внести в эти требования. Тогда кооператор будет, в частности, знать, **что** есть защита Сибири, а следовательно, и сибирской кооперации, а генерал будет знать, что есть кооперация, а следовательно, и снабжение армии. Раньше ни тот, ни другой не знали ни того, ни другого. Это, в частности, обеспечит по-

[9] *Здесь:* захват головы *(фр.)* — название борцовского приема.

стоянство «народной воли», ибо сейчас в этой «воле» ничего не разобрать: вчера м-р Эттли висел на десятке волосков «народной воли», сегодня на таком же десятке висит м-р Черчилль. А что будет завтра — никто этого не знает. Народная воля превращается в калейдоскоп.

***

Революцию Смутного времени развели правящие классы — точно так же, как и революцию 1917 года. Психология правящего класса никогда в точности не повторяет основной психологии народа. Каждая группа этого класса вырабатывает свое несколько особое, партикулярное, мировоззрение, несколько выходящее за пределы общенародной психологии. Так, духовенство будет напирать на благодать и на камилавку, военные — на честь мундира и на генеральский чин, дворянство — на родословную, купец — на капитал. Основная, и на долгих отрезках времени решающая масса будет стоять на точке зрения тяглых мужиков.

Это же повторилось и в эмиграции. Основная масса ее, разбитая в Гражданской войне и не видевшая никакой возможности эту войну возобновить, стала просто работать — и очень хорошо работать. Остатки бюрократии и военного мира стали играть в начальство. Но так как начальствовать было практически не над кем, то вот, например, в Праге существовало 148 русских организаций со 148 председателями, 296 товарищами председателя и т.д.: все-таки какой-то чин. Для людей, к чину привычных, и ничего за душой, кроме чина не имеющих, это было каким-то внутренним выходом. Отсюда же возникли союзы бывших губернаторов и даже союзы бывших вице-губернаторов. Не принимайте, пожалуйста, всего этого балагана за русскую эмиграцию: под властью и попечительством этих председателей состояло не больше 1 процента русской эмиграции, остальные 99 прозябали, бедняги, безо всякого начальства вообще.

Я начальствовать вообще не хочу. И не по робости характера моего, а потому, что просто не хочу: неинтересно. Но есть

люди, которым это интересно. Этим людям можно было бы сказать, что если вы хотите властвовать и командовать и не желаете рисковать диктатурой, т.е. лезть наверх с 99 шансами быть зарезанным по дороге и с одним шансом попасть в Сталины, то лучший путь даст вам опять-таки монархия. Министр Его Величества есть министр Его Величества. Он имеет власть. И даже будучи уволен в отставку, он получит «милостивый рескрипт», пост члена Государственного Совета, пенсию, иногда и титул. Парламентский министр, и не какой-нибудь, а даже и калибра Клемансо — спаситель отечества, sauveur de la Patrie, — будет сбит с ног путем самой банальной партийной подножки и выкинут буквально на улицу. И если он за время своей министерской деятельности не сколотил себе капитала (сколачивают все), то ему практически остается только одно: зарабатывать себе на жизнь построчным гонораром, ибо никакой другой профессии у него нет. Со сталинскими министрами дело обстоит еще хуже — отставка означает подвал...

Я никак не мог и до сих пор не могу понять, какой это черт тянет людей на верхи сталинской бюрократической лестницы. Власть — дутая, деньги — пустяковые, работа — каторжная, и ведь все равно: гениальнейший рано или поздно зарежет. Как-то на эту тему я беседовал с наркомом легкой индустрии товарищем Фушманом[10] — это было в 1933 году. Попытался — очень осторожно, конечно, — влезть в его шкуру: никак не влез. Игра в наркомы только тогда имела бы хоть какой-нибудь смысл, если бы товарищ Фушман надеялся зарезать Сталина, прежде чем Сталин зарежет его, — надежда совершенно утопическая. Что же заставляло человека жить в атмосфере неслыханно вонючей склоки, дрожать за каждый свой циркуляр, откапывать чужие уклоны и в ночных кошмарах видеть свои собственные? Какой смысл? Никакого смысла. А вот — лез человек и долез до подвала.

Тяглый мужик действовал совершенно разумно, действовал, будучи в здравом уме, как дай Бог всякому. И я буду действовать так же — независимо от Византий и от татар, от Гегеля

[10] А. М. Фушман занимал пост заместителя наркома легкой промышленности — И. Е. Любимова (Козловского).

и от Маркса — буду действовать по собственной воле. И если между мною, тяглым мужиком Иваном Лукьяновичем и императором всероссийским вздумает снова протиснуться какое-то «средостение» — в виде ли партийного лидера, или трестовского директора, или титулованного боярства, или чиновной бюрократии — и сказать мне: «вот это вы, Иван Лукьянович, здорово сделали, но так как вы собираетесь уехать на Урал и писать ваши книги, то позвольте **нам** установить над царем **наш** контроль», — то в таком случае я сделаю все от меня зависящее, чтобы претендентам в контролеры свернуть шею на месте. Мне, тяглому мужику, никакой контроль над царем не нужен. И не контролем над царской волею строилась Россия. И того у нас искони не важывалось. А если какие-то дяди попытаются втиснуться новым клином между царем и народом, то надлежит оных дядей вешать, ибо если они и будут контролировать, то в свой карман: партийный, банковский, боярский или бюрократический. И за мой, и за царский счет, т.е. за счет России.

Я же, устроившись где-нибудь на Урале, буду, конечно, принимать и кое-какое участие в местном самоуправлении, строить дороги, организовывать кооперативы или физкультуру. И, — предполагая царя не безумным человеком, — никак не могу себе представить: с какой бы стати царь стал мне мешать? Разве Николай II мешал или помешал организовать крупнейшую в мире крестьянскую кооперацию? Или строить дороги? Или заводить физкультуру? Разве царь мешал работать Толстому и Достоевскому, Менделееву и Павлову, Сикорскому или Врубелю? Он мешал не тем, кто хотел работать, а тем, кто собирался закидывать свои неводы в кровавую воду революции. Не смог помешать? — **Наша** вина. Если он пытался не дать использовать эту кооперацию для революционных целей — то в этом направлении я должен был помогать ему всячески, и буду помогать будущим царям. И ежели обнаружу какого-нибудь революционера, безо всякого зазрения совести пойду с доносом в полицейский участок, ибо я **имею право** защищать свою жизнь и свободу, защищать жизнь и свободу моего сына и внука и всей моей страны. В 1914 году я, может

быть, еще и постеснялся бы, но теперь я **не** постесняюсь. Ибо это значило бы совершить предательство по отношению к будущим детям моего народа, которых товарищи социалисты снова пошлют на верную смерть на какой-нибудь будущий Водораздел (см. «Россия в концлагере»). А если я буду считать, и самым искренним образом считать, что русский царь делает ошибки, так уж я промолчу, ибо если начнут делать ошибки Керенские и Сталины — будет намного хуже.

Я считаю, что вот эта психология и есть обычная нормальная средняя русская психология — до цыганской мне никакого дела нет. Мы можем сказать, что в настоящее время эта психология смутна и затуманена, и не только катастрофами революции, но и отчасти всем петербургским периодом нашей истории. Но даже и в эти периоды, там, где именно эта психология успевала кое-как оформиться, она проявляла изумительную жизненную силу. Восстановление же России после Смутного времени дает истинно поразительный пример, в особенности если принять во внимание «темпы» того времени.

ДУХ, КОТОРЫЙ ТВОРИТ

Смута и интервенция оставили страну совершенно разоренной. Писцовые книги тех времен пестрят записями пустошей, «что были раньше деревни». Москва лежала в развалинах. Недвижимости страны были сожжены, а движимые ценности — частные, общественные, церковные и государственные — были разграблены. Шайки поляков еще бродили по стране, и их грабительские экспедиции прорывались даже на Урал в поисках строгановских сокровищ, которые тоже были разграблены. Еще в 1613 году, в год избрания Михаила, в конце января польские банды под предводительством какого-то пана Яцкого, побывали в Сольвычегодске и ограбили его Благовещенский собор. Список строгановских драгоценностей, положенных в этом соборе, занимает в перечне П. Савваитова 90 (девяносто!) страниц.

В других местах Московской Руси было, конечно, никак не лучше. На западе — даже после избрания Михаила, — еще хозяйничали поляки и шведы, с юга прорывались татарские орды, отряды воров и панов все еще рыскали по стране. Сельское хозяйство и торговый оборот, денежное обращение и правительственный аппарат находились в состоянии полного развала. Правительство, пришедшее на смену революции, не располагало ни административными кадрами, ни правительственным опытом. Революция кончилась. Но, казалось, начинается гниение.

И вот:

Не прошло трех-четырех десятков лет (еще раз: примите во внимание темпы этой бездорожной эпохи), и московское крестьянство подымается до того материального уровня, какого оно не имело **никогда**, — или, во всяком случае, никогда в послепетровскую эпоху. Присоединяется Малороссия и хочет присоединиться Грузия. Обескровленная Польша делает свой окончательный шаг в пропасть. Держится еще Швеция — для того, чтобы через полвека шагнуть туда же. Татарские орды забывают те «сакмы», по которым они веками прорывались на Русь, и из сравнительно мелких пограничных набегов живьем возвращаются только немногие: наследники Батыя тоже скользят в пропасть, еще более глубокую, чем польская и шведская. Растет и крепнет военная сила Москвы. При Алексее Михайловиче не только строились оружейные и пушечные заводы, но стало фабриковаться даже нарезное огнестрельное оружие, находившее свой сбыт в Европе — конечно, среди очень богатых людей. Это было очень дорогое оружие. В Москве появились первый театр, первая аптека, первая газета, на Дону был построен первый русский корабль — «Орел», у которого петровский ботик впоследствии безо всякого зазрения совести украл звание «Дедушки русского флота». «Соборное уложение» было издано в невиданном и для Западной Европы тираже — 2 тысячи экземпляров. Была издана «Степная книга» — систематическая история Московского государства, «Царственная книга» — одиннадцатитомная иллюстрированная история мира, «Азбуковник» — своего рода энциклопедический словарь, «Правительница» старца Эразма-Ермолая, «Домострой» Сильвестра.

Издавались буквари и учебники для правительственных и для частных школ... Росли и заграничные торговые связи: за время с 1669 по 1686 год вывоз льна увеличился вдвое (с 67 до 137 тысяч пудов), вывоз конопли больше чем втрое (с 187 до 655 тысяч пудов). В 1671 году через Архангельск было ввезено 2 477 тонн сельдей, 683 тысячи иголок, 28 тысяч стоп бумаги...

Для сравнения этого товарооборота с западноевропейским, я приведу оценку проф. Зомбарта о приблизительно одновременном товарообороте всей Европы с Италией, и через Италию — с Ближним Востоком: ежегодное количество товара могло бы уместиться в одном нынешнем товарном поезде. Нынешний товарный поезд поднимает около 40 тысяч пудов — тонн 600.

Москва первых Романовых росла поистине поразительными темпами. Марксистский историк М. Покровский, всячески пороча правление этих Романовых, как-то вскользь упоминает: во второй половине XVII века прирост населения и его благосостояние оказались так неожиданно велики, что даже водки не хватало: пришлось импортировать из Лифляндии.

Забегая несколько вперед, скажу, что никакой «бездной» (по Пушкину) в Москве и не пахло. И что после Петра, который нас от этой «бездны» якобы спас, проблемы о нехватке водки не возникало вовсе: была проблема нехватки людей...

Москва Алексея Михайловича стояла так же крепко, как Россия Николая Александровича — и для того, чтобы от Алексея скатиться к катастрофе Петра, и от Николая — к катастрофе Ленина. К а к это случилось, — мы можем установить довольно точно. Но отчего не случилось ничего лучшего, — мы объяснить не можем: тут начинается иррациональное в истории: ряд катастрофических случайностей, громоздясь одна над другой, дают прорыв темным силам страны. А темные силы — они существуют всегда и везде... В каждую эпоху, в каждой нации и в каждом человеке. Это о них Тютчев сказал:

Ты бурь уснувших не буди,
Под ними хаос шевелится...

Под Москвой первых Романовых тоже «хаос шевелился» — его разбудил Петр: хаос прорвался диктатурой дворянства. При Николае II — хаос будила русская интеллигенция, и он прорвался диктатурой выдвиженцев. Чувствовала ли Москва шевелившийся у нее под ногами хаос? Вероятно, все-таки чувствовала. Смутное время с его попытками аристократической диктатуры было еще очень недалеко. И Москва тщательно готовила ему противовес, используя культурные навыки аристократии, но строя мужицкое самоуправление. Почти так же, как и Николай II, который, используя культурные силы интеллигенции, по преимуществу той же, дворянской, крепко держал в своих руках крестьянское самодержавие и пытался сомкнуть его с крестьянским земством. В обоих случаях попытка не удалась, и в обоих случаях Россия свалилась в катастрофу...

Сейчас я перейду к последнему штриху существования допетровской Руси — к положению ее крестьянства, т.е. к положению основной массы народа. И прежде всего напомню о главных путевых столбах московского самодержавия.

Ростово-суздальские мизинные люди, «смерды» и «каменосечцы», призвали Андрея Боголюбского и поддержали и его, и его преемников. Низы Новгорода, Твери, Рязани и прочих «тянули на Москву», т.е. поддерживали тех же преемников Боголюбского. Все шло очень гладко до Ивана Грозного, когда его малолетство и его беспризорность совпали по времени с боярскими аппетитами на польский манер, и когда Ивану пришлось бороться за власть. После его отъезда (или побега) в Александровскую слободу, к нему явилась депутация посадских людей Москвы и молила, чтобы он «государства не оставлял и их (то есть посадских) на расхищение волкам не давал, наипаче от рук сильных избавлял, а кто будет государевым лиходеем и изменником, — они за тех не стоят, а сами их истребят».

Таковы были «полномочия», которые получил Грозный от посадских людей Москвы, или — в переводе на современный язык — от столичного пролетариата. «Сильных людей» Грозный пощипал основательно: это по убожеству марксистских шпаргалок называется «классово-дворянским государством».

Когда в Смутное время Шуйский дал боярству какую-то конституционную «запись» — посадская, мужицкая, «пролетарская» Москва снова подняла свой голос против «записи» — «того искони в Московском Царстве не важивалось».

Смутное время ликвидировали те же мужики. Платонов пишет: «В Минине нашла своего вожака тяглая масса — Московского Государства последние люди». И в другом месте: «восстановление самодержавия, потрясенного Смутой, и было всецело делом земской России».

О Разине и Пугачеве говорит сам Сталин: «Говоря о Разине и Пугачеве, не надо забывать, что они были царистами» («Вопросы ленинизма», изд. 10-е, стр. 527).

О неудаче бунта декабристов Покровский говорит: «Самодержавие было спасено русским мужиком в гвардейском мундире».

Картина, вопреки историкам марксистским и демократическим, либеральным и уклонистским, совершенно ясна: самодержавие и строил и поддерживал мужик. Обратимся теперь к другой стороне вопроса: как самодержавие строило и поддерживало мужика, в частности — Московской Руси.

В Московской Руси, как раньше в Киевской, потом в Императорской, как и вообще повсюду в мире, действуют известные экономические силы, по отношению к которым «ограничена» даже самая неограниченная власть в мире. И если, например, Николай II приказывал графу Витте разработать проект введения восьмичасового рабочего дня на фабриках, то было довольно очевидно, что провести этот проект никак нельзя: данный уровень мировой техники был сильнее самых лучших желаний самодержца. Такого дня не было тогда (середина девяностых годов) нигде. Если бы он насильственно был введен в России, наша промышленность была бы задавлена иностранной.

Аналогичные общественно-технические отношения вызывали на Руси, с одной стороны, — холопство и, с другой, — крестьянское закрепощение: эти силы действовали во всем мире. Холопство выросло из массы всяких выбитых из колеи людей, отдавших свою волю в руки того, кто мог прокормить и за-

щитить их. Закрепощение крестьянства было военной необходимостью, которая закрепостила также и дворянство[11]. Впоследствии, после Петра, права холопства и крестьянства были уравнены — по уровню холопства. Самодержавие исчезло, и «экономические отношения» взяли верх.

Но это уже было после самодержавия. Пока, — до Петра I включительно, — самодержавие существовало, крестьянин имел в нем нерушимую защиту даже и от «экономических отношений». Беляев в своей истории русского крестьянства говорит: «Грозные государи московские Иван III и Иван IV были самыми усердными насадителями исконных крестьянских прав. В особенности царь Иван Васильевич постоянно стремился к тому, чтобы крестьяне в общественных отношениях были независимы и имели одинаковые права с прочими классами русского общества».

Не следует преувеличивать ни «независимости», ни «равноправия» крестьянской массы Московской Руси. Крестьянская политика московских царей находилась под одновременным давлением двух от царской воли независимых тенденций: непрерывной военной угрозы извне и экономических отношений внутри, неразрывно связанных с этой угрозой. Если дворянин отбывал свою военную службу с 15 лет до инвалидности или смерти, то крестьяне его поместья были с рождения до смерти также закрепощены экономически, как дворянин был закрепощен административно. Если дворянство, как военное сословие, естественно стояло во главе администрации и государства, все цели которого были подчинены военной самозащите, то на гигантской территории Московской Руси естественно возникали такие отношения подчинения и самоподчинения, которые центральная власть не всегда могла регулировать по своему желанию. К этому присоединялось чрезвычайное разнообразие экономических, национальных, географических и пр. условий, которые делали Московскую Русь очень пестрым государством: на севере сидело крепкое и всегда свободное промысловое крес-

[11] Военная служба дворянства начиналась с 15-ти лет и продолжалась до инвалидности или смерти (История СССР, т. 1, стр. 361). — *Прим. авт.*

тьянство, на юге разбойничали гулящие люди, прорвавшиеся на Дон, на западе были старые торговые центры Новгорода Великого и его пригородов, на востоке — полудикие или вовсе дикие племена мордвы, черемисов и пр. Монастырское хозяйство своими привилегированными «белыми» землями вклинивалось в массивы «черных земель» и самым своим существованием сужало тот фонд, от которого жило военно-служилое дворянское сословие. Крупное землевладение, хотя бы и поместного характера, экономически прижимало маломощных соседей, и те дворяне, которые ухитрялись оставаться «в нетях», т.е. от военной службы как-то уклониться, всяческими способами прибирали к рукам земли крестьян, так сказать, фронтового дворянства. Последние нищали — и тогда фронт слабел.

Все эти бесчисленные узлы московское правительство распутывало осторожно и мудро. Иван Грозный попытался распутать его неосторожно и не мудро, и его революционные методы привели к Смутному времени. Смутой было окончательно разгромлено боярство, но вымерла чуть ли не половина крестьянства: революция всегда обходится слишком дорого... Но Грозный, как и Смутное время, были исключениями. После них, при первых Романовых, страна очень быстро возвращается к старине, модернизируя ее технику, но оставляя в полной неприкосновенности тот принцип, который так блестяще, но совсем уже мельком сформулировал Ключевский: это был принцип «**разделения труда, а не разграничения власти**».

При первых Романовых мы наблюдаем последний в нашей истории пример национального единства и, я бы сказал, национального приличия. После них до сегодняшнего дня включительно, несмотря на науку и технику, на Маркса и авиацию, на пулеметы и ОГПУ, мы в политическом отношении стоим **безмерно** ниже Москвы. А если под экономикой подразумевать не комбайны и тракторы и не пулеметы и самолеты, а хлеб и одежду, то мы стоим ниже Москвы и экономически. О национальном приличии я уже и не говорю...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
МОСКВА

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА

При первых Романовых Москва дает нам наиболее законченное выражение всей своей правительственной системы. И я буду утверждать, что такой системы в мире не существовало никогда, даже в лучшие времена Рима и Великобритании, ибо Рим и Великобритания были построены на принципе неравноправности включенных в эти империи побежденных племен: «Разделяй и властвуй». Москва властвовала не разъединяя, а соединяя.

Теперь попробуем сделать общий обзор московской правительственной системы, не столько ее истории или техники, сколько ее СТИЛЯ: как в примитивных условиях XVI–XVII веков, в оторванности от всего остального мира, в непрерывной осаде и с запада, и с востока, на бедных суглинках «Московии» работал созданный народом и создавший великую империю русский правительственный аппарат, чуждый каких бы то ни было нерусских примесей.

Данные об этом аппарате я буду брать почти исключительно из Ключевского: читатель едва ли может упрекнуть меня в пристрастии к Ключевскому, а Ключевского — в пристрастии к Москве. Таким образом будет обеспечен технически возможный уровень беспристрастности.

БОЯРСКАЯ ДУМА

Во главе нормального правительственного аппарата страны стояла **Боярская дума**. Не забудем, что термин «боярин» обозначал не наследственный титул, а только служебное звание.

«Боярская дума, — пишет Ключевский (т. 2., стр. 368 и след.), — состояла из нескольких десятков членов, носивших разные звания. Все они назначались в Думу Государем... В звание бояр и окольничих назначались обыкновенно старшие представители знатнейших боярских фамилий... Напротив, думные дворяне и думные дьяки, большей частью люди незнатные, получали назначение по усмотрению Государя за личные качества или государственные заслуги. Но правительственное значение думных людей не ограничивалось их сиденьем в Думе. Все служилые люди, носившие звание бояр, окольничих и думных дворян, в силу своих званий были членами Государственного Совета и назывались думными людьми. Но те же думные люди управляли московскими приказами, командовали полками в походах и правили областями в качестве наместников и воевод. Полковой воевода или уездный наместник, конечно, не могли постоянно заседать в Московской думе, поэтому на ее ежедневные заседания являлись большей частью только начальники московских приказов, судьи, как они назывались. Сами думные дьяки не были исключительно секретарями и докладчиками Думы, каждый из них управлял известным приказом... Дума ведала очень обширный круг дел судебных и административных, но собственно это было законодательное учреждение... Дума руководила действиями приказов и имела контроль над областным управлением. Она же решала множество судебных дел... По отсутствию протоколов мы мало знаем, как шли совещания в Думе и как составлялись приговоры. Но известно, что там бывали прения и даже возражения самому Государю — “встречи”... Иногда, в тревожные времена, при борьбе придворных партий прения разгорались, по словам летописи, в “брань великую и крик и шум велик и слова многие бран-

ные". Но это были редкие, исключительные случаи. Обычное течение дел в Думе отличалось строгой чинностью, твердостью форм и отношений... Ее строй, авторитет и обычный порядок делопроизводства как будто рассчитаны были на непоколебимое взаимное доверие ее председателя и советников, свидетельствовали о том, что между Государем и его боярством не может быть разногласий в интересах... Бывали столкновения, но они шли вне Думы и очень слабо отражались на ее устройстве и деятельности. Бывали споры, но не о власти, а о деле... Здесь, по-видимому, каждый знал свое место по чину и породе и каждому знали цену по дородству разума, по голове. С виду казалось, что в этой отвердевшей обстановке не было места политическим страстям и увлечениям, ни в какую голову не могла запасть мысль о борьбе за власть и значение. Лица и партии со своими себялюбивыми или своекорыстными помыслами должны были исчезать под давлением государственного интереса и политического приличия или обычая. Таким же характером отличалась и деятельность московских приказов».

Если бы это писал не Ключевский, можно было бы подумать, что мы читаем отрывок некоей политической утопии, рисующей парламентарный рай земной. Но это — Ключевский. Томом позже (т. 3, стр. 140) тот же автор скажет нам, что «новая династия успешно перенимала недостатки прежней династии, может быть, потому, что больше перенимать было нечего»: ничего, следовательно, хорошего за Старой Москвой Ключевский признавать не желает... Еще дальше, превознося петровскую гениальность, тот же историк будет рисовать перед нами — ярко и образно — такие картины полного и морального, и административного развала «петровского гнезда», по сравнению с которыми Боярская дума Москвы может показаться совершеннейшим уж вымыслом — этакой розовой и никогда не существовавшей утопией: слишком уж разителен контраст между непросвещенной Москвой и просвещенным Петербургом...

Московская Боярская дума была центром правительственного аппарата, который организовывал Россию в самые тя-

желые, самые окаянные века ее существования. Этому центру в нашей историографии не повезло: азиатская этикетка, которую наклеила на него эпоха диктатуры дворянства, держится и по сие время. А это был период лучшего управления, какое когда-либо имела Россия, лучшего она с тех пор **не имела никогда**. Можно сказать, что со времен Алексея Михайловича и по сей день управительный аппарат великой страны спускался все ниже и ниже, пока не докатился до подвалов ОГПУ. Но зато после чинности и порядочности Боярской думы мы получили европейское управление.

Европейское управление, по одному из дидеротов — по Монтескье — должно быть основано на «разделении властей» («Дух законов»), причем это разделение понимается не как специализация, — специализацию знала и Москва, — а как противопоставление. Говоря несколько грубо, один жулик должен контролировать другого жулика и наоборот, — с тем, чтобы аппетиты обоих были бы таким образом нейтрализованы.

Для нейтрализации или, по крайней мере, нормализации аппетитов в Москве существовало самодержавие настоящее, не самодержавие XVIII или даже XIX века. И по одному этому необходимость в контроле одного жулика над другим отпадала технически, — просто не было надобности. И в Боярской думе мы видим центр правительственного аппарата, не подходящий ни под одно западноевропейское определение. Здесь концентрируются и власть законодательная, и власть исполнительная, и власть судебная, и власть военная, и власть контрольная. Пределы компетенции Думы так же неопределенны, как и пределы компетенции ее державного председателя: ее, как и царя, касалось все. И все было объединено в одном центре.

Я не изучал истории «борьбы с бюрократизмом» в Московской Руси, если эта борьба и велась, но при том стиле работы Боярской думы, которую нам так ярко нарисовал Ключевский, трудно представить себе те междуведомственные усобицы, которые разъедали имперский правительственный аппарат от Петра до нашего времени. В московском стиле есть и еще

одна черточка, которая нам будет понятнее, если мы сравним ее со стилем работы западноевропейских парламентов — и не только современников Ивана III или Алексея Михайловича, но также и современников Николая II и Сталина.

Вспомните по этому поводу о том, что я говорил о происхождении западноевропейского феодализма: его юриспруденция, его политика и его «идеологические надстройки» выросли из данной психологии данного человеческого материала. Психология эта характеризуется прежде всего отчужденностью каждого человека от каждого другого человека и, следовательно, каждой человеческой группы от каждой другой человеческой группы. Германия — наиболее чистый образчик феодализма — была в московскую эпоху разобщена на примерно 300 суверенных государств, кроме которых было еще около 1000 суверенных дворян-рыцарей. Это было, так сказать, внешне географическое деление. Внутри эти рыцари-дворяне делились на 7 отдельных и резко очерченных классов, из которых каждый, — даже в пределах своего собственного Бадена или Гессена, — ножом больших дорог или пером мелкого сутяжничества старался оттяпать от ближних своих все, что только технически было возможно оттяпать. Кроме рыцарей было еще духовенство — самых разнообразных чинов, наименований, орденов и религий — каждый норовил оттяпать в свой карман. Было купечество, точно так же поделенное на цехи, гильдии и города, например, Ганзейские города, которые так и не смогли толком договориться друг с другом. Были самые разнообразные крестьяне, из которых одни не имели ни клочка своей земли, а другие имели и замки, и гербы. Это был очень пестрый сброд. И Константин Леонтьев по-своему прав в своем эстетическом любовании этим сбродом: если идеалом государственности признать балаган, то современная Москве Европа очень хорошо удовлетворяла этому идеалу.

Короли и князья, корольки и князьки призывали «народное представительство» только в тех крайних случаях, когда им нужны были деньги. Народное представительство брало за глотку, во-первых, своих королей и князей, а во-вторых, друг друга. Французские «штаты», и провинциальные и генеральные, не-

мецкие ландтаги, австрийские ландраты и все прочие представляют, собственно, ту же самую картину, какую, например, представляла собой французская палата депутатов 1940 года.

Вспомним и эту картину. Немцы, — старинный и беспощадный враг, — стояли с ружьем наперевес за линией Мажино. Они уже ликвидировали Польшу, Данию, Норвегию, не говоря уже о Чехии и Австрии. От объявления войны до наступления на Францию прошел почти год: можно было бы подготовиться. Но прекрасная Франция была занята привычным делом: все делили министерские посты и все никак не могли поделить. Всякий тянул в свою сторону. История этого поучительного периода «еще не написана», — когда будет написана, то в ней тоже ничего нельзя будет понять: как это страна, над головой которой уже была занесена чудовищная дубина германского милитаризма, так и не сумела договориться хотя бы об обороне страны. Где же тот «высший интерес», который, по Ключевскому, «как будто царил» (не «как будто», а в самом деле царил. — *И. С.*) над всякими «партиями» и группировками в Москве. Или, иначе, — что было бы с Россией, если бы Боярская дума XVI и XVII веков ходила бы по стопам французского парламента середины XX? Было бы с нами то же самое, что случилось с Францией: дубина опустилась с молниеносной сокрушительностью, и от бывших президентов, кандидатов в президенты, министров и кандидатов в министры, жуликов и кандидатов в жулики — осталось одно мокрое и не очень пахучее место. С той только разницей, что у Москвы, как у Франции, не было той России, которая и в 1914, и в 1944 годах никак не парламентскими методами спасала свою злополучную парламентарную союзницу.

Стиль жизни и деятельности французского парламента середины XX века родился, конечно, не сегодня. Он был более или менее общ всей Европе за все времена ее парламентарного существования. Грандиозные финансовые скандалы за кулисами парламента сменялись мордобоями на парламентских скамьях. Иногда дело доходило даже и до револьверов. Дуэли по поводу оскорблений вошли в быт. Клемансо имел чуть ли не 14 дуэлей, и его современники «боялись столько же его пе-

ра, как и его шпаги и пистолета». Там, где была монархия — в особенности в Скандинавских странах — поддерживалось хотя бы внешнее приличие (в Австро-Венгрии, впрочем, не было и его). Во Франции, где не было хотя бы ограниченно сдерживающей руки короля, было распродано все: и пресса, и парламент, и общественность, и армия. Но наши ученые и публицисты, политические деятели и вообще «сеятели», все они говорили нам, поколению последних предвоенных десятилетий, и отцам этого поколения то же — что наше лучшее и светлое будущее лежит на парижских путях, а Москва — это азиатчина, грязь, варварство, деспотизм и пр.

Я снова повторяю свой вопрос: чем же была наша историография? Слепотой, безграмотностью или просто враньем? Или, может быть, какой-то странной и роковой смесью всех этих почтенных факторов нашего интеллигентского образования? Люди, профессионально сеявшие «разумное, доброе, вечное», может быть, когда-нибудь рискнут ответить на этот вопрос — ответить нам, — поколению, ими обманутому...

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мы, обманутое поколение, росли в том убеждении, что у нас на Руси плохо все. Нам, обманутому поколению, учителя в гимназиях, профессора в университетах, публицисты в газетах и всякие другие сеятели во всяких других местах тыкали в нос по преимуществу Англию: к концу XIX века обезьянья мода несколько переменилась: уже не французской, а английской короне стала принадлежать русская интеллигентская душа. И русской интеллигентской душе тыкали в нос английский Habeas corpus act[1], совершенно забывая упомянуть о том, что в варварской Руси «габеас корпус акт» был введен на 120 лет

[1] Habeas corpus act — закон о неприкосновенности личности, обязывающий судебные власти или выдать арестованного по требованию его родственников, или получить санкцию суда на возбуждение судебного преследования, принят английским парламентом в 1672.

раньше английского: по «Судебнику» 1550 года администрация не имела права арестовать человека, не предъявив его представителям местного самоуправления — старосте и целовальнику, иначе последние по требованию родственников могли освободить арестованного и взыскать с представителя администрации соответствующую пеню «за бесчестье». Но гарантии личной и имущественной безопасности не ограничивались «габеас корпус актом». Ключевский пишет о «старинном праве управляемых жаловаться высшему начальству на незаконные действия подчиненных управителей» — «по окончании кормления обыватели, потерпевшие от произвола управителей, могли обычным гражданским порядком жаловаться на действия кормленщика», и «обвиняемый правитель... являлся простым гражданским ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им обиды... при этом кормленщик платил и судебные пени и протори... Истцы могли даже вызвать своего бывшего управителя на поединок... Это было приличие, охраняемое скандалом... судебная драка бывшего губернатора или его заместителя с наемным бойцом, выставленным людьми, которыми он недавно правил от имени верховной власти».

Не были ли скандалом дуэли Клемансо? Дела Стависского и Шклярика? Панамская история и каучуковые плантации Южной Америки?

Дальше В. Ключевский пишет: «Съезд с должности кормленщика, не умевшего ладить с управляемыми, был сигналом к вчинению запутанных исков о переборах и других обидах. **Московские судьи не мирволили своей правительственной братии...**»

Бюрократической солидарности в Москве, видимо, не существовало. И сидевшим «на кормлении» воеводам лучше уж было «уметь ладить» с населением: иначе суды, пени, штрафы, а не то и дуэль: способ сейчас несколько устарелый, но в те времена общепринятый...

«Судебник» 1550 года не был особым нововведением: он только оформил то писаное и неписаное право, которым и до не-

го жила Московская Русь. Это было право самого широкого местного самоуправления.

Я не изучал этого права. В учебниках и исторических трудах о нем говорилось только мельком, как-то в промежутках между казнями и смутами, сентенциями и враньем — так, как будто авторы, сеявшие разумное и пр., торопились отделаться от неудобных исторических свидетельств и по возможности без пересадки перескочить в свои западноевропейские теплушки. И даже Л. Тихомиров уделяет московскому самоуправлению всего две страницы. Я приведу выдержки и из Тихомирова, и из Ключевского.

Л. Тихомиров так суммирует административное устройство земской Руси (т. 2, стр. 75): «Воевода, как представитель царя, должен был смотреть решительно за всем: чтобы государство было цело, чтобы везде были сторожа, беречь накрепко, чтобы в городе и уезде не было разбоя, воровства и т.д.... Воевода ведал вообще всеми отраслями ведения самого Государя, но власть его не безусловна и он ее практиковал совместно с представителями общественного самоуправления. Вторым лицом после воеводы является губной староста, ведавший дела уголовные. Его выбирали дворяне и боярские дети[2].

Затем следует земский староста — власть, выбранная городским и уездным населением. При нем состояли выборные от уездных крестьян, советники. Они составляли земскую избу. Дело земского старосты и советных его людей состояло в раскладке податей, в выборе окладчиков и целовальников. В дело распределения оклада воевода не мог вмешиваться точно так же, как и в выборы, не мог сменять выборных лиц и вообще не имел права «вступаться» в мирские дела. Кроме выборов, земская изба заведовала городским хозяйством, разверсткой земли и могла вообще обсуждать все нужды посадских и уездных людей, доводя, о чем считала нужным, воеводе же или

[2] По другим источникам губные старосты избирались только из профессионально служилого элемента, но избирались **всем населением**, в том числе и крестьянским. Так рисуют положение дел Платонов, Ключевский Беляев и др. — *Прим. авт.*

в Москву... У крестьян уездных, кроме общей с городом земской избы, были и свои власти. Крестьяне выбирали своих общинных старост, "посыльщиков" (для сношения с воеводой и его приказными людьми), выбирали земского пристава "для государева дела и денежных сборов". Приходы выбирали также священников и церковных дьячков, которые имели значение сельских писарей. По грамотам Грозного, монастырские крестьяне избирали у себя приказчиков, старост, целовальников, сотских, пятидесятских, десятников... Монастыри определяли свои отношения к крестьянам «уставными грамотами»... **Всякие правители**, назначаемые в города и волости, **не могли судить** дел без общественных представителей... Наконец, по всем вообще делам народ имел самое широкое право обращения к Государю».

Соловьев пишет: «Правительство не оставалось глухо к челобитьям. Просил какой-нибудь мир выборного чиновника вместо коронного — правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтобы городового приказчика (по-нашему — коменданта) отставить и выбрать нового миром — Государь велит выбирать».

На ту же тему Ключевский пишет: «Оба источника правительственных полномочий — общественный выбор и правительственный призыв по должности — тогда не противополагались друг другу, как **враждебные начала** (запомните это выражение — я к нему еще вернусь. — *И. С.*), а служили **вспомогательными** средствами друг для друга. Когда правительство не знало, кого назначить на известное дело — оно требовало выбора и, наоборот, когда у общества не было кого выбирать, оно просило о назначении».

Теперь снова перейдем к Ключевскому — с его фактами и, увы, и с его выводами. Выводы у Ключевского всегда начинаются раньше фактов: «С половины XV века Московское государство... усвояет задачи общенародного блага... Пробиваются непривычные для тогдашних умов идеи о различии общих и местных интересов, о необходимости надзора за местными властями и о способах регулирования их быта... Первый момент обозначился тем, что центральное правительство стало

точнее определять законодательным путем установившиеся в силу обычая или практики права и ответственность областных управлений... Центральная власть начинала заботиться об ограждении интересов местных обывателей от своих собственных агентов, т.е. начала (? — *И. С.*) сознавать свое назначение охранять благо общества... Кормленщик, наместник или волоститель получал при назначении на кормление наказный, или доходный, список, своего рода таксу, подробно определявшую его доходы, кормы и пошлины…»

«Ко второму моменту в преобразовании местного самоуправления можно отнести меры, в которых сказалась попытка придать кормленщикам характер местных правителей в государственном смысле этого слова... Эти меры не только стесняли произвол, но и самый объем власти кормленщика. Средством для этого ограничения служил двойной надзор за их действиями, шедший сверху и снизу. Надзор сверху выражался в докладе. Так называлось в древнерусских документах перенесение судебного или административного дела из низшей инстанции в высшую... из приказов “в верх”, в Боярскую думу или к Государю... С другой стороны, судебные действия наместников или волостителей подчинены были надзору местных обществ... Но едва заметно мелькает в тогдашних (удельного периода. — *И. С.*) грамотах другой ряд властей, в которых выражалась самодеятельность общества. Города и пригороды издавна выбирали своих сотских, сельские волости — своих старост. С объединением Московской Руси этих земских выборных стали привлекать и к делам государственного хозяйства. Но до второй половины XV века сохранившиеся памятники законодательства не указывают такого значения мирских выборных. Зато с этого времени земские учреждения становятся все более деятельными участниками местного самоуправления и волостителей. Первый “Судебник” и уставные грамоты этого времени предписывают, чтобы на суде у областных кормленщиков присутствовали сотские, старосты и “добрые”, или “лучшие”, люди. “Судебник” прибавляет еще дворского выборного управителя, заведовавшего в некоторых городах тюрь-

мами и другими казенными зданиями, а также и утверждавшего некоторые гражданские сделки, например, переход недвижимых имуществ из одних рук в другие… Призывая этих земских “судных мужей” на суд областных кормленщиков, закон **восстановлял или обобщал древний народный обычай** (подчеркнуто мною — *И. С.*). Если дело, рассмотренное наместником или волостителем, шло на доклад в высшую инстанцию, и одна сторона оспаривала, “лживила”, судный список, судебный протокол, то староста с другими судными мужами призывался засвидетельствовать, так ли шел суд, как он записан в судном списке, который при этом случае сличали с “противнем” — копией протокола, выдававшейся судным мужам при первом производстве дела. Если судные мужи показывали, что суд шел так, как он изложен в судном списке, и этот список сходился с копией “слово в слово”, то сторона, оспаривавшая протокол, проигрывала дело. В противном случае ответственность за неправильное судопроизводство падала на судью. По второму “Судебнику” в суде должны были присутствовать особые выборные старосты с присяжными заседателями — “целовальниками” (присягая, эти люди «целовали крест» — отсюда и термин «целовальники». — *И. С.*)... Компетенция присяжных судных людей расширилась: они стали принимать более деятельное участие в правосудии. Им вменялась в обязанность на суде кормленщиков “правды стеречи” или “всякого дела беречи вправду, по крестному целованию, без всякия хитрости”... Таким образом, они должны были наблюдать за правильностью судопроизводства, охраняя местный правовой обычай от произвола или неопытности кормленщиков, словом, быть носителями мирской совести. Кроме того, “Судебник” 1550 года давал им право блюсти справедливые интересы тяжущихся сторон...» «Наконец, оба контроля, сверху и снизу... соединялись в порядке принесения жалоб обывателями, установленном “Судебниками” и уставными грамотами. Обыватели сами назначали срок, когда наместник или волоститель должен был стать или послать своего человека на суд перед великим князем, чтобы отвечать на обвинение в московском приказе или перед Государем».

Однако — «участие земских выборных в отправлении правосудия было только вспомогательным коррективом суда кормленщиков. Уже в первой половине XIV века обозначился и третий момент изучаемого процесса, состоявший в поручении местным мирам самостоятельного ведения дела, которое неудовлетворительно вели кормленщики — именно дела общественной безопасности. Этим и началась замена кормленщиков выборными земскими людьми».

Так вырабатывалась система земского или губного самоуправления, носившего всесословный характер — о всесословности Ключевский упоминает только мельком, как о чем-то само собою разумеющемся (т. V, стр. 385). В своем дальнейшем развитии — при Иване Грозном — земское самоуправление стало проводить областные земские съезды, опять-таки всесословные съезды, и, наконец, Грозный предпринял попытку, — в общем удавшуюся, — окончательно оформить и укрепить великую земскую Русь.

«Земская реформа, — пишет Ключевский, — была четвертым и последним моментом в переустройстве местного управления. Она состояла в попытке совсем отменить кормления (то есть представителей коронной власти. — *И. С.*), заменив наместников и волостителей **выборными общественными властями**, поручив земским мирам не только уголовную полицию, но и все местное земское самоуправление вместе с гражданским судом».

СООБРАЖЕНИЕ НОМЕР ПЕРВЫЙ

Если мы отбросим в сторону все выводы Ключевского и большую часть Тихомирова, не говоря уже о других, то — на основании по-видимому совершенно бесспорных фактических данных — мы должны придти к следующему. Та «азиатская деспотия», в виде которой нам рисовали Московскую Русь, имела свой «габеас корпус акт», имела свой суд присяжных, имела свое земское самоуправление и имела дело со сво-

бодным мужиком. Не с крепостным, и тем более не с рабом. И если мужик был прикреплен к земле, то совершенно тем же порядком и совершенно в той же форме, в какой служилый слой был прикреплен к войне.

Самоуправления, равного московскому, не имела тогда **ни одна страна в мире**, ибо повсюду до середины или даже до конца XIX века все европейское самоуправление носило чисто сословный характер. Мы должны констатировать, что реформы Александра II были только очень бледной тенью старинного земского самоуправления Москвы. Или, иначе, начиная с конца XVII века до середины XX государственный строй России развивался почти непрерывно в **сторону ухудшения**. Современный советский гражданин не только не может вызвать на поединок (кстати, поединок в Московской Руси имел характер кулачного боя) проворовавшегося партийного вельможу, не только не может притянуть его к какому бы то ни было суду, — он вообще не смеет и пикнуть. Но о советской системе речь будет идти в конце этой книги. Пока же отметим: усилия, чудовищные усилия ряда русских государей — Павла I, Николая I, Александра II и Николая II, за которые Павел I, Николай I, Александр II и Николай II заплатили своей жизнью, — не воссоздали и половины свобод Московской Руси. Убийством Павла I дворянство отбило первую атаку на полпути. Крестьянин перестал быть рабом в полном смысле этого слова, но остался в полукрепостном «временнообязанном» состоянии. Суды присяжных были изуродованы бюрократическим вмешательством, а земство попало в руки дворянства[3].

Таким образом, почти 500 лет европейской эволюции и гибели четырех русских царей оказалось недостаточным для того, чтобы «догнать и перегнать» — не Америку, а Москву.

[3] П. Милюков («На чужой стороне», стр. 53) пишет: «Крестьянство в большей части России не хотело считать даже земство своим», ибо позднейшее земство, построенное по петербургскому, а не по московскому образцу, было, конечно, чисто дворянским земством, на котором мужику была предоставлена приблизительно та же роль, какая предоставлена в сегодняшних волсоветах: голосовать «за». — *Прим. авт.*

СООБРАЖЕНИЕ НОМЕР ВТОРОЙ

Сегодняшнее молодое поколение не помнит или не знает, а мы помним и мы знаем, как в начале 1900-х годов, когда раем интеллигентским вместо Франции стала Англия, нам твердили и твердили: ах, «габеас корпус акт», ах, суд присяжных, ах — свободы, ах, «никогда, никогда англичанин не будет рабом». Мы, тогдашняя молодежь, слушали, и нам, тогдашней молодежи, даже и мне, всегда монархисту — было тошно: почему же это мы такие несчастные? Почему это мы вот до «свобод» никак дорасти не можем? И неужели в самом деле — царь так уж противоречил свободе? Я — монархист до мозга и от мозга костей моих, но это никак не значит, что я собираюсь быть чьим бы то ни было рабом. Совсем наоборот: мое личное монархическое чувство, — в молодости это было, конечно, только чувство или, точнее, только инстинкт, — базируется как раз на моем личном чрезвычайно обостренном чувстве свободы. Рабом я не чувствовал себя и в 1912 году, хотя в России, где царская власть была отгорожена дворянской властью, мне нравилось далеко не все. Но о «диктатуре дворянства», как об историческом явлении, я тогда и понятия не имел. И вопрос, который я сейчас поставил бы Милюковым, Ковалевским, Плехановым, Кропоткиным и пр. сеятелям, — если бы они были живы, — вполне позволительно формулировать так:

Почему все эти люди, люди ученые и даже профессорствовавшие, не сказали нам, молодежи, что для поисков всяческих свобод нам вовсе не надо переплывать Атлантический океан или даже Ламанш: что все эти свободы у **нас** были и что выросли они **из нашего** древнейшего быта, что в самой своей сущности они рождались из совершенно иного источника, чем западноевропейские, и приводили к иным результатам, чем западноевропейский.

В Западной Европе первые шаги всяческих «свобод», вот вроде английской «хартии вольностей» или того же «габеас корпус акта», были завоеваниями, которые феодальные бароны оттяпывали от монархии для самих себя, — а никак не для на-

рода, — народ получил эти свободы намного позже — очень намного позже, чем имела их Московская Русь. Свободы Московской Руси выросли из народной толщи, — не из баронских привилегий, — имели в виду народ, и самодержавие защищало эти свободы не для себя, ибо народ никогда не угрожал самодержавию, а для народа — и против феодалов. В московских условиях — против того слоя людей, которые по западному примеру норовили стать феодалами, и при московских царях так и не смогли стать.

Знали ли все эти профессора и прочие наше прошлое? Конечно, знали — не могли не знать. Почему они или скрывали его вовсе, или говорили о нем только мельком, сопровождая реальные факты иллюзорными выводами, или пытались отделаться скороговоркой: от целовальников — для того, чтобы говорить об английском суде присяжных; от губных старост — для того, чтобы НЕ говорить о положении современной им Ирландии, об «абсолютизме» — для того, чтобы переврать русское понятие самодержавия? Ответом на этот вопрос является вся моя книга.

СООБРАЖЕНИЕ НОМЕР ТРЕТИЙ

Если вы вдумаетесь — а по мере возможности и постараетесь вчувствоваться в весь СТИЛЬ московского государственного устройства, и если вы его сравните с западноевропейским, то вас не может не поразить одна давно забытая всеми нами вещь: в нем не было той разделенности, того торгашества, той «враждебности», которые Ключевский и прочие считают **само собою разумеющимися** для, например, отношений между центральной и местной властью. Вы видите: собор не хватает за горло царя, и обе эти силы, спаянные в один монолит, заняты, в сущности, только взаимопомощью. Царь говорит собору самые приятные вещи — иногда даже кается перед ним. Собор мудро и твердо — «честно и грозно», по великолепной формулировке тех времен, — стоит на страже Родины и государя и ни разу даже и не попытался поколебать царскую

власть. А иногда и царь обращается к собору с **просьбой**: так, Иван Грозный на Соборе 1650 года обратился к Собору и к народу совсем уже не парламентарным способом: «Люди Божьи и нам дарованные, молю вашу веру к Богу и к нам любовь: ныне нам ваших обид и разорений исправить невозможно, молю вас, — оставьте друг другу вражды и тяготы свои».

Дело касалось массы исков обывателей ко всякого рода кормленщикам: Грозный просил о своеобразной амнистии по этим искам. Недоуменно и совсем мельком Ключевский указывает: заповедь царя была исполнена с такой точностью, что к следующему 1561 году «бояре, приказные люди и кормленщики со всеми землями помирились во всяких делах». Ни в какое «государственное право» такой способ действия, конечно, не входит никак. И никакие Дидероты его не предвидели и предвидеть не могли.

В Боярской думе, в этой «бесшумной и замкнутой лаборатории московского государственного права и порядка», люди спорили, но «не о власти, а о деле»; здесь «каждому знали цену по дородству разума, по голове», здесь господствовало «непоколебимое взаимное доверие ее председателя и советников». Московские судьи «не мирволили своей провинциальной правительственной братии». Около и над этой братией действовало широчайшее и всесословное местное самоуправление, и Ключевский, как нечто само собою разумеющееся, отмечает, что «земские выборные судьи вели порученные им дела не только беспосульно (то есть без взяток. — *И. С.*) и безволокитно, но и безвозмездно». Купечество по специальности своей фактически вело все московские финансы, крестьянство, — прикрепленное служебно, было лично свободным слоем, дворянство служило и воевало — но дворянство, все-таки, от времени до времени вздыхало по шляхетским порядкам.

Я никак не хочу идеализировать. Я говорю только о государственном строе, и я утверждаю, что он был самым «гармоничным» не только в Европе тогдашней, но был бы самым «гармоничным» и для Европы сегодняшней. «Культурный уровень» — это другая вещь. В Москве за некоторые виды кражи

отрубали кисть руки, и обрубленную культяпку окунали, так сказать, для антисептики, в кипящую смолу. Пытали не только обвиняемых, но и свидетелей — «до изумления», как определяет норму пытки тогдашний закон. Страна была неграмотна, и даже Борис Годунов кое-как умел читать, но писать не умел, — не мог подписать даже собственного имени. Москва не была раем, — хотя бы и «социалистическим», — но так по тем временам действовали повсюду в мире. Однако Московская Русь была самым свободным, а также и самым сильным государством тогдашнего мира — все-таки в конечном счете била и разбила она, а не ее. И от чего, собственно говоря, спас Москву Петр и его преемники?

Если вы всмотритесь в ход эволюции общественной и государственной жизни Москвы, то вы, вероятно, заметите следующее:

Московское служилое дворянство с давних времен было охвачено «похотью власти». Сидя между ежовыми рукавицами самодержавия и народа, — об этой похоти оно могло только вздыхать. Соседство с панской Польшей наводило на сладкие размышления: вот там она и есть — золотая вольность. Но в Москве вольностями не пахло, — пахло гораздо худшим.

Служилое дворянство не было не только рабовладельческим, оно не было даже землевладельческим: земля давалась на кормление, на прожиток, для несения дворянской боевой и административной службы. И в последние десятилетия Московской Руси обе эти профессии попали под угрозу.

Москва вводила регулярную и постоянную армию, и с окончанием этого процесса дворянское ополчение должно было отойти в прошлое — должно было отойти в прошлое и дворянское служилое землевладение. В те же десятилетия московское самодержавие, систематически расширяя земское самоуправление, стало заменять бояр, воевод и волостителей выборными местными людьми: дальнейший процесс в том же направлении грозил дворянству кроме военной еще и административной безработицей. Или, иначе, дворянство перед Петром, как и дворянство перед Лениным, стояло перед перспек-

тивой: потерять всякие сословные преимущества и стать, — кому уже как удастся, — в ряды просто профессионально служилой интеллигенции. Дворянство, как сословие, стояло на краю гибели в 1680 году, как и в 1914. Для доказательства этого положения вещей у меня нет никаких документальных данных. Может быть, где-нибудь, в каких-нибудь дошедших или не дошедших до нас записках современников есть указания на тревоги этого рода — я таких данных не имею. Я рассуждаю чисто логически и, как во всяком чисто логическом, т.е. отвлеченном, рассуждении, рискую придти к произвольным выводам. Но когда я пытаюсь представить себе психологию «наместника» середины XVII века, то его ход мыслей мне кажется довольно ясным и естественным.

В самом деле: местничество уже ликвидировано и разрядные книги сожжены. Царская власть намекает самым недвусмысленным образом: теперь уж разговор будет идти о «дородности головы», а не о породе. Армия перестраивается на стрельцов, рейтаров, пушкарей и пр. — значит, отпадает государственная необходимость давать дворянину поместье, с которого он мог бы появляться на фронт «конным, людным и оружным». И кони, и люди, и оружие заготовляются государственным путем, как государственным путем вербуются и новые бойцы русской вооруженной силы — «даточные люди». Дворянин чувствует приближение времени, когда он, как дворянин, в аппарате вооруженной мощи государства станет чеховским «лишним человеком». С низов прет «губной староста» и прочий всесословно избранный люд, который столь же недвусмысленно, как и царская власть, намекает на то, что вот — еще несколько лет или десятков лет — и мы и в администрации без дворянина обойдемся. Так куда же деваться мне, Рюриковичу, князю и пр.? Идти на «тарифную ставку» — так меня, пожалуй, тут обойдут всякие разночинцы? Терять свое поместье — так чем же я буду жить? В Смутное время приперли поляки, которые всем своим бытом подсказывали выход: вот, при наших порядках, — аз есмь пан, а быдло есть быдло. И никакой там король ничего сделать не может: золотая вольность.

Повторяю: никаких документальных доказательств такого настроения у меня нет. Но, просто, по человечеству, такого хода мыслей не могло не быть. В самом деле: со всех сторон «породу» выпирают: из разрядных книг, из армии, из администрации — куда же деваться? И как сохранить свой прежний и свой привычный образ жизни? Работать дворянство не хотело — в середине XVII века, как и в начале XX: «Дай Бог Великому Государю служить, а саблю из ножен не вынимать», это был бытовой лозунг XVII века. «Зачем дворянину география» — это был лозунг XVIII. «Культурный досуг» — было лозунгом XX. Разница невелика.

«Россия в чреве растила удар», — говорит Сельвинский по несколько другому поводу, — по поводу Октябрьской революции. Московская Русь тоже «растила удар», и к нему готовилось погибавшее дворянство. Эта точка зрения доказуема лишь с большим трудом, но если мы ее отбросим, то успех петровской революции будет совершенно необъясним. Если мы отбросим ту же точку зрения на дворянство 1916 года, то так же будет необъяснимо падение монархии: революцию устроили не Ленин со Сталиным — революцию начали дворянские круги Петербурга, но только на этот раз сильно ошиблись в расчете. И именно от дворянской оценки идет все то, что нам говорили и о Москве, и о царях, и о свободах, и о прекрасной «деве революции», которая заменит наш непросвещенный абсолютизм самым что ни на есть просвещенным народовластием.

Вот это «народовластие» мы с вами и расхлебываем до сих пор.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

В числе прочих сокровищ, которые русская эмиграция накопила или должна была бы накопить за 30 лет своих скитаний по всему лицу современного земного шара, имеется живой опыт всех современных конституций, хартий, государственных прав и личного бесправия. Можно опасаться, что ощущение

личного бесправия несколько заслонило от нас те выводы, которые мы могли бы сделать из всего стройного и мощного сооружения государственных прав во всех их разновидностях. Этот общий вывод, с некоторыми в общем незначительными поправками, мог бы сводиться к тому, что все эти научные конституции кое-что делали — до тех пор, пока делать было собственно нечего. Когда жизнь как-то текла своим чередом и когда вопрос о том, будет ли сидеть на посту премьер-министра Иванов или Сидоров, имел только чисто зрелищный интерес: очень это ловко Иванов подставил подножку Сидорову... Но в тот момент, когда история ставила перед этими конституциями какие-то реальные и жизненные задачи, — конституции как-то проваливались. Перечня провалившихся конституций Западной Европы, может быть, не стоит и приводить. Заморские конституции пока что удержались. То, что они сделали после Первой мировой войны, Уинстон Черчилль в своих мемуарах квалифицировал как «сложный идиотизм». Я не буду повторять его доводов. Если м-ру Черчиллю удалось бы написать мемуары о Третьей мировой войне и о том периоде, который ей предшествовал, — трудно сказать, какую еще формулировку пришлось бы искать м-ру Черчиллю. Вероятно, что-то вроде шизофрении...

Оценивая мировую историю не только последнего столетия, нужно сказать, что все эти «писаные конституции» жили и работали до тех пор, пока жизнь не ставила перед ними ни одной серьезной задачи. Когда жизнь эту задачу ставила, — то или конституции проваливались, или конституции предавались тому, что м-р Черчилль назвал сложным идиотизмом. Неписаная конституция Москвы прожила — с перерывами и провалами — около одиннадцати веков и не столько провалилась в феврале 1917 года, сколько в минуту жизни трудную была подстрелена из-за угла. Одиннадцать веков — это вещь, о которой стоит все-таки поговорить всерьез: не каждая конституция может похвастаться таким возрастом, а также и такими успехами. Можно, конечно, сказать, что за тысячу лет эта конституция достигла своего предельного возраста, что пора ей было на покой, что нужно было дать дорогу молодым силам Милю-

кова, Керенского и Сталина и что вообще нужно было наконец модернизироваться: пересесть с «птицы тройки» в «черный ворон». Но и при этой, с научной точки зрения вполне понятной, установке можно было все-таки написать какую-то честную эпитафию тому государственному строю, который оставил своим наследникам одну шестую часть суши, 200 миллионов чрезвычайно талантливого и боеспособного населения, провел страну над могилами и Батыев и Наполеонов, провел великую и бескровную революцию 19 февраля 1861 года, каким-то научно непонятным образом имел самый крупный в мире «общественный сектор народного хозяйства» и самую яркую в мире литературу. Можно было бы ожидать, что наследники сегодняшнего дня и кандидаты в наследники вчерашнего вспомнят своего наследователя хотя бы добрым словом.

Российская «общественность» хоронила старый русский государственный строй лет 100 подряд. Заранее делила ризы его и о наследстве его бросала жребий. Когда монархия была убита, наследники перепились, передрались и стали бить стекла. Пока что пропито и перебито: миллионов 50 русских людей, русская литература, русская кооперация русские кони и коровы, а так как пир победителей и наследников еще не кончен, то и окончательных итогов еще подводить нельзя. Но об 11 веках русского государственного опыта некоторые итоги можно было бы подвести еще и до революции. Они подведены не были.

Я снова вернусь к Ключевскому: это самый умеренный из наших историков. Он — по марксистской формулировке — «завершает собою буржуазную историографию», но его издает и Госиздат. Он, кроме того, единственный историк, которого цитируют иностранцы, пишущие массовые книги о России или об СССР. Кроме всего этого, он все-таки самый умный из русских историков. Это не очень блестящий комплимент, но все-таки...

Я еще раз сошлюсь на его истинно классическое определение того русского дворянина, который все иностранные речения переводил на русский язык, и который не понимал ничего — ни в иностранной, ни в русской действительности. Сам Ключевский «иностранных речений» избегает самым стара-

тельным образом. Но от иностранных понятий — куда ему уйти? Ключевский, конечно, промышляет и сознательным искажением русской истории, но, я думаю, ощущение недоуменного раздражения было в Ключевском сильнее даже и учета рыночного спроса. Ключевский как будто живет где-то на далекой российской окраине великой всеевропейской истории и русское бытие рассматривает, как какой-то червеобразный отросток всеевропейской слепой кишки. Не вырезать ли этот отросток заблаговременно?

Вы чувствуете благодушного и очень культурного российского интеллигента, в доме которого имеется прекрасная библиотека, наполненная полными собраниями сочинений лучших умов Европы. И когда этот интеллигент наталкивается на какое-то русское явление, он, кряхтя от досады на свой собственный вес и на наш российский провинциализм, лезет на полку и достает оттуда соответствующий том великой энциклопедии наук славного французского философа Дидерота.

Дидерот помогает плохо. Во-первых, потому что и сам-то занимался списыванием у другого столь же славного философа Чемберса, который до русского интеллигента в оригинале не дошел, и, во-вторых, потому что явлениями русской действительности ни Дидероты, ни Чемберсы не интересовались никак. Однако и у Чемберса, и у Дидерота описываются какие-то явления, которые как-то как будто похожи на кое-что совершавшееся и в России. Как с ними быть?

Положение всякого русского пишущего интеллигента очень напоминает положение редактора современной советской провинциальной газеты. Вот лежит под самым носом некое явление. Но как оценить это явление, не имея «директив из центра»? Вот лежат под самым носом десятки и сотни русских явлений. Но как их оценить без директив от дидеротов? Вот, например, соборы. В дидеротах о них не сказано ни слова. И никаких директив из философского, европейского «центра» нет. Куда же деть соборы? Были ли они народным представительством или не были? Дидероты говорят: народное представительство должно бороться с тиранами. Земские соборы с ти-

ранами не боролись: какое же это народное представительство? Дидероты говорят: народное представительство должно отстаивать права. Земские соборы занимались по преимуществу распределением обязанностей. Нет, земские соборы никаким народным представительством, значит, не были.

К земским соборам Ключевский относится с некоей соболезнующей симпатией. И никак не может понять: почему это люди попавшие, наконец, во что-то вроде парламента, никак не хотят вести себя по-парламентски — не ставят вопроса о власти, министерских кризисов не устраивают, вотумов недоверия не выносят и вообще ведут себя, с дидеротовской точки зрения, совершенно несообразно. Ключевский так и пишет о «несообразностях соборов»: «Есть избиратели и выборные, вопросы правительства и ответы представителей, совещаний, подача мнения и приговоры, словом, есть представительная процедура, но нет политических определений, не устанавливается даже порядок деятельности... Формы являются без норм, полномочия без обеспечений, а между тем налицо есть и поводы, и побуждения, которыми обыкновенно (подчеркнуто мною. — *И. С.*) вызываются и нормы, и обеспечения. Известно, каким деятельным источником прав народного представительства на Западе служила правительственная нужда в деньгах: она заставляла созывать государственные чины и просить у них воспоможения. Но чины помогали казне не даром: они вымогали уступки (подчеркнуто мною. — *И. С.*).

С точки зрения дидеротовских «государственных чинов», наши земские соборы были, по Ключевскому, «подачкой, а не уступкой», «не признанием народной воли как политической силы, а только милостивым и временным расширением власти на подданных, не умалявших ее полноты».

Итак, соборы — не парламент, не генеральные штаты и вообще — не народное представительство — так, «подачка» и больше ничего. А что же есть московская монархия? Была ли она «абсолютизмом» или не была? И как совместить с ней московское земское самоуправление? Нет — тут в этом червеобразном отростке великой всероссийской кишки ничто ни на что не похоже...

«Общие системы — централизация и самоуправление, — пишет Ключевский, — были поставлены в такие отношения, которые искажают существо и той и другой... Как нет настоящей централизации там, где местные органы центральной власти, ею назначаемые, действуют самостоятельно и безотчетно, так нет и настоящего самоуправления там, где выборные местные власти ведут не местные, а общегосударственные дела по указаниям и под надзором центрального правительства».

Как видите: ничто ни на что не похоже. Правда, тут у Ключевского опять проскакивает его обычная передержка: местных органов, которые действовали бы «самостоятельно и безотчетно», в Москве не было вовсе — и чуть-чуть ниже я приведу речение самого же Ключевского: сам Ключевский, видимо, просматривал свои рукописи без особенной заботы о том, чтобы одна страница не противоречила бы другой. Но сейчас существенно не это. Существенно то, что вот этакая, ни с чем несообразная, никакими дидеротами не предусмотренная конституция продержалась 11 веков. Дидеротовские — продержались несколько меньше. Так что, может быть, стоило бы не Москву стричь под дидеротов, а дидеротов рассматривать сквозь призму московского опыта?

Ключевский — историк России. То есть специалист по искажению русской истории. Проф. Виппера русская история интересует мало: он искажает европейскую. Может быть, именно поэтому проф. Виппер позволяет себе роскошь интервенции в чужую ему область русской истории и в этой области очень мало стесняется с туземными нравами Ключевских и Милюковых. Общий характер московской государственности XVI–XVII веков он определяет так: «Культура, которою жило великорусское племя в свою блестящую московскую эпоху... Рыцарское войско, дисциплина поместного дворянства, государственные дороги — нечто единственное в тогдашней Европе, система податей, устройство приказов, сложная художественная символика придворной жизни и изумительное дипломатическое искусство московских деятелей...» («Круговорот Истории», стр. 64 и др.).

И дальше: «Если Московское государство выдержало Смуту XVII века и смогло опять восстановиться, то это объясняется именно крепким строением национального целого, тем, что национальность срослась со своей культурой, что эта культура давала смысл и направление национальным силам. Для национальной энергии великоруссов XVI века очень характерна политика Грозного в Ливонском крае, восточной половиной которого Москва владела в течение 20 лет.

Если принять во внимание тогдашнюю редкость населения, неразвитость путей сообщения, техническую отсталость от Запада, — какую удивительную энергию проявила Москва в колонизации торговой и земледельческой, какой напор и какую цепкость в деле распространения своей национальной культуры. И как жалки по сравнению с этим попытки русификации того же края в конце XIX века, когда великая империя, выстроенная на европейскую ногу (подчеркнуто мною. — *И. С.*) обладала громадными техническими, военными и финансовыми ресурсами».

В общем набросок проф. Виппера как-то соответствует действительности, о «государственных дорогах — единственных в тогдашней Европе» я, правда, не знаю решительно ничего. Если вы что-либо знаете, — я буду очень благодарен за информацию для дальнейших изданий этой книги. Говоря чисто теоретически, без дорог управлять таким гигантским пространством было бы затруднительно, но историки нам говорили о русском бездорожье и ничего не говорили о государственных дорогах. Бывает.

Так вот: была-де «блестящая Московская эпоха» — так говорит Виппер. В эту блестящую Московскую эпоху были всероссийские съезды органов самоуправления, — так пробалтывается проф. Кизеветтер. Лет через 50 после Смутного времени русский крестьянин достигает такого уровня материального благополучия, которого он с тех пор не имел никогда. Этот же московский мужик судится судом присяжных, имеет гарантированную законом неприкосновенность личности и вообще относится к своему западноевропейскому собрату и современнику, как современный гражданин САСШ к современному

Ди-Пи. Москва присоединяет Малороссию, добивает Польшу, отклоняет предложение о присоединении Грузии и слегка застревает на Амуре. Несколько позже Пушкин будет писать о бездне, над которой стояла Московская Русь. И еще позже Ключевский будет писать о несообразностях того государственного строя, при котором все это было достигнуто. И ни одного раза не задумается о полной несообразности всех своих построений. О том, к чему именно привели Францию генеральные штаты, энциклопедисты и дидероты, можно было бы догадаться и во времена Ключевского. Может быть, можно было бы и стоило бы изучить не Москву по дидеротам, а дидеротов по Москве. И не Москве советовать заниматься «нормами и обеспечениями», а дидеротов предупреждать против «вымогательства уступок». Но дидероты были «системой», «правом», «философией», и вообще наукой и прогрессом. Москва же была только червеобразным отростком всего этого. И если бы ключевские признали живую систему Москвы, то они были бы вынуждены отбросить мертвую схоластику философии, а схоластика, и только она одна, кормила и поила их.

Мое личное отношение ко всей этой «богословской схоластике — и больше ничего» читатель, я надеюсь, уже уловил. Всякий жрец всякой схоластики НЕ МОЖЕТ, — профессионально не может оперировать никаким иным методом, его схоластикой не предусмотренным, ибо иначе ни он, ни схоластика никому нужны не будут. Мое личное первое столкновение со схоластикой произошло на самой заре моей юности. Если бы не революция, которая все равно смешала все карты, это столкновение могло бы изменить всю мою жизнь.

В 1912 году я держал экстерном экзамен на аттестат зрелости при Виленской Второй гимназии. Ее директор был латинистом и вообще «классиком». Поэтому на латинский язык я нажимал очень сильно. Странно, что я занимался им не без удовольствия: ни тогда, ни позже никогда за всю мою жизнь он мне решительно ни к чему не был нужен. Но я совершенно свободно читал любую книгу и до сих пор, т.е. почти 40 лет спустя, я еще знаю наизусть две-три оды Горация, две-три страни-

цы Овидия и даже страничку-две Цезаря. Но моя память устроена так, что никакой грамматики я вызубрить не могу. Русской грамматики я не знал никогда — и сейчас имею о ней только самое отдаленное представление. Моему собственному сыну я советовал на русскую грамматику плюнуть вообще. Едва ли кто-либо сможет упрекнуть нас обоих в плохом знании русского языка. Мне с 1912 года приходилось редактировать разные газеты и разные отделы в разных газетах. Еще одно, — тоже довольно странное, — наблюдение, которое, впрочем, можно подкрепить и историей русской литературы: я не знаю ни одного преподавателя русского языка, который **умел бы писать**.

В редакциях провинциальных газет это было если и не трагедией, то канителью. Эта канитель повторялась и в наших эмигрантских редакциях: патентированный преподаватель русского языка и русской литературы приносит статью. Он, конечно, знает и грамматику, и синтаксис, и теорию словесности, и что есть метафора, и о чем мечтали тургеневские девушки в чеховских вишневых садах. Все это он действительно знает. Но писать он не может никак. Из очень почтенного племени грамматиков, риторов и словесников русская поэзия не получила ни одного поэта и русская литература — ни одного писателя. Если в этом племени и были какие-то таланты, то они были засушены схоластикой.

Итак: стою я. Передо мной — синедрион экзаменационных классиков, латинистов, грамматиков и словесников. К моему латинскому языку придраться нет никакой возможности. К моему русскому — тоже. Мои статьи к этому времени цитировались уже и в столичной печати, следовательно, кроме всего прочего, оставалась угроза того, что в той же печати я смогу обругать и грамматиков, и риторов, и словесников. А ни одной грамматики я не знаю никак. Меня спросили: что я могу сказать о правописании деепричастий? Я ничего утешительного сказать не мог. Создалось положение, не предусмотренное никакими уставами среднеучебных заведений. Я твердо стоял на том, что те цели, которым, — по этим уставам, — должно удовлетворять мое знание и латинского и русского языков

и «выполнены, и перевыполнены», как мы бы сказали после пятилеток. Мой директор развел руками и сказал:

— Да, но не теми путями, которые предусмотрены программой...

В общем мне по латинскому и по русскому языку поставили по тройке. Срезать совсем — было бы неудобно. Может быть, и рискованно: стоит этакий щелкопер, бумагомарака проклятый — и вот возьмет и в газетах обругает. Но я нацеливался на Политехнический институт. Туда принимали только по конкурсу аттестатов. Как раз в этом институте ни русская, ни латинская грамматика были решительно не нужны. Но как раз в политехникум я и не попал. Несколько позже моя жена, — тогда преподавательница французского языка в женской гимназии, — горько жаловалась на то, что «программы» не дают никакой возможности научить девочек хоть что-нибудь понимать по-французски. Память и время засоряются всякими спряжениями, а для языка — времени уже не остается.

Вот, — так и Ключевский со товарищи, — есть азиатская Москва. В этой азиатской Москве проживает крестьянская личность — сытая, свободная, самоуправляющаяся и даже неприкосновенная. Эта личность — по Випперу — развивает беспримерную национальную энергию, утверждает и расширяет свою государственность, претендует ни более, ни менее, как на водительство всем христианским миром (теория Третьего Рима), — но все это, видите ли, достигнуто не теми методами, которые и кормят и поят схоластиков и богословия и суесловия. Мне-то поставили, по крайней мере, тройку. Старой Москве Ключевский больше двойки поставить не хочет. Милюков не дает даже и двойки. Пушкин — из других, чисто сословных соображений — ставит Старой Москве просто кол: Москва привела Россию к бездне...

С точки зрения философской и юридической схоластики вся государственная конструкция Москвы была сплошной «несообразностью». С точки зрения логики и фактов, все выводы схоластики являются сплошной бессмыслицей.

Ключевский жалуется: «Царская власть была властью с неопределенным, т.е. неограниченным, пространством дей-

ствия и с нерешенным вопросом об отношении к собственным органам».

«Собор не был постоянным учреждением, не имел для власти ни обязательного авторитета, ни определенной законом компетенции, и поэтому не обеспечивал ни прав, ни интересов ни всего народа, ни отдельных его классов».

Интересы «всего народа» были в Москве обеспечены так, как после Москвы не были обеспечены никогда, и как во время Москвы не были обеспечены нигде. Но это, — как с моим русским языком на экзамене: схоластики-грамматики никак не могли признать, что этот язык я знаю лучше их — иначе: что же они? А ключевские не могут признать, что жизнь, органическая, неписаная московская конституция была безмерно выше десятков и сотен философских, схоластических, юридически сформулированных — но мертвых конституций, вот вроде той, которую в славном городе Веймаре самые лучшие в мире знатоки государственного права во главе с проф. Прайсом изобразили на пользу самой образованной нации современности — германской нации. Это самое последнее достижение самого современного государственного права продолжалось 12 лет и кончилось Гитлером. Я не знаю, что сейчас делает проф. Прайс и его сотрудники по веймарской конституции. Вероятно, снова преподают молодежи, как именно нужно писать конституции.

Результаты дидеротовских философских конструкций были достаточно ясно видны уже в середине прошлого века. Уже Эрнест Ренан писал, что эти конституции во всей их философической сумме, «сделали каждого француза сторожем его собственного кармана», что они написаны, по-видимому, для идеального гражданина, который родился подкидышем и умрет холостяком, законы, по которым дети составляют неудобство для родителей, где запрещено всякое собирательное и постоянное дело... по которым осмотрительный человек делается эгоистом... по которому собственность разумеется не как вещь нравственная, а как эквивалент пользования, всегда оцениваемого на деньги... «Страшный урок для наций, неприспособленных к республике»...

Пока что оставим в стороне республики: Рим тоже был республикой. Мы можем сказать, что общая линия французской истории со времен победы дидеротов над традицией — в общем довольно точно соответствует ренановской схеме. Вопроса о взаимоотношении власти и ее органов, монархии и самоуправления, дисциплины и свободы Франция не сумела решить и во времена королей. Однако Франция 1780 года имела перспективы развития. Сейчас она не имеет никаких. Сейчас вопрос идет только о том, сколько времени все это протянется. Товарищ Сартр и его экзистенциалисты, спертые тоже из Германии, с очень большой степенью выражают собою точку зрения той киевской философской школы, которая советует не тратить сил, не рыпаться, а идти прямо на дно. Мы, пропившиеся наследники нашей традиции, сидим в лагерях ОГПУ или ИРО, но, если я не очень уж сильно ошибаюсь, никто из нас ни на какое дно идти не собирается. Традиция Москвы оборвана двести пятьдесят лет тому назад. Но это еще никак не значит, что убит тот инстинкт, который эту традицию создал. Нам, действительно, очень плохо, — намного хуже, чем сегодняшним французам. Но мы еще повоюем. И мы никак не собираемся ни родиться подкидышами, ни умирать холостяками.

Точка зрения человека, который рождается, живет и умирает в кругу семьи, а не акционерного общества, как-то не вмещается в юридическое мировоззрение наших историков. Ключевский недоуменно пожимает плечами: «Как будто (подчеркнуто мною. — *И. С.*), какой-то высший интерес царил надо всем обществом, над счетами и дрязгами враждовавших общественных сил. Этот интерес — оборона государства от внешних врагов... Внутренние, домашние соперники мирились ввиду внешних врагов, политические и социальные несогласия умолкали при встрече с национальными и религиозными опасностями...».

Другой наш историк, проф. Платонов дает еще более четкую картину: «В борьбе с врагом обе силы, и правительство, и общество как бы наперерыв идут друг другу навстречу, и взаимной поддержкой умножают свои силы и энергию» («Очерки Смуты», стр. 85).

И дальше: «Трудно сказать, что шло впереди: политическая ли прозорливость московского владетельного рода или самосознание народных масс».

«Самосознание народных масс»... Мы были бы вправе надеяться, что по этому решающему пункту проф. Платонов скажет нам что-то более обстоятельное. Но он, как и Ключевский, как и Милюков и пр., — как бы нечаянно проговорившись, — пытается отделаться, отвязаться, уйти от непривычного хода событий и метода мышления. Снова удрать в свою дидеротовскую схоластику и снова оказаться в положении барана у новых ворот.

Резюмируя свои данные о ликвидации Смуты, Платонов пишет: «Побеждают тушинцев главным образом замосковские и поморские мужики. Их силами стал крепок Скопин. Их деньгами содержались наемные шведские отряды»... (стр. 389)... «Боярство, сильное правительственным опытом, гордое отечеством и кипящее богатством, пало от неосторожного союза с иноверным врагом[4].

Служилый землевладельческий класс, сильный воинской организацией, потерпел неожиданное поражение от домашнего врага, в союзе с которым желал свергнуть иностранное иго. Нижегородские посадские люди сильны были только горьким политическим опытом... Их начальники во главе с гениальным выборным человеком Кузьмой Мининым подбирали в свой союз только те общественные элементы, которые представляли собою ядро московского общества. Это были служилые люди, не увлеченные в “измену” и “воровство”, и тяглые мужики северных городских и уездных миров» (стр. 533).

Мимолетная прозорливость Платонова тут и кончается. И дальше он ставит совершенно бессмысленный вопрос: «Но придя в Москву для восстановления и утверждения государственного порядка, представляя собою сильнейшую

[4] В другом месте Платонов, впрочем, указывает другую причину боярской неудачи: внутренние раздоры, неизбежные во всякой олигархии: «Олигархический кружок сплотился лишь на короткое время, но, достигнув успеха, оказался неспособным к дружной деятельности (стр. 295). Платонов не договаривает еще об одной причине провала семибоярщины: об исконном недоверии русских масс ко всякой олигархии вообще. — *Прим. авт.*

в материальном отношении и духовно сплоченную силу... эти мужики не сумели взять в свое распоряжение московские дела и отношения» (стр. 389).

Тяглые мужики шли восстанавливать старый московский порядок, а не ревизовать его. Они его «восстановили и утвердили». Больше они ничего не собирались делать. И зачем было им желать что-либо иное? Через лет 30–40 после этого восстановления, после реставрации старого государственного порядка, Москва полностью залечила все свои раны, наверстала все свои потери, подняла его, тяглого мужика, на тот социальный и материальный уровень, какого он, этот тяглый мужик, никогда больше с тех пор не имел. Что иное было делать ему? Установить новую олигархию некоего крестьянского профсоюза, какую-то новую контрольную комиссию над царями? Контрольную комиссию, которая неизбежно свелась бы к генеральным штатам? Тяглые мужики сделали самое разумное, что они могли сделать, — дай Бог такой же разум и нашим завтрашним тяглым и колхозным мужикам. Дай Бог побольше разума и нашим историкам, чтобы они на одной странице не приходили в искреннее изумление от «прозорливости московского владетельного рода» и от «самосознания народных масс», а на другой странице тот же московский владетельный род пытались изобразить в виде «тиранов» и народные массы — в виде дураков, которые проворонили момент тиранской слабости и возможности схватить царей за горло. Тяглые мужики посадским миром шли восстанавливать монархию. А никак не ограничивать ее. Они восстановили. И вернулись каждый по делам своим — как, даст Бог, удастся вернуться и нам всем.

***

Если бы Ключевские и Платоновы писали бы после 1917 года, то они могли бы в событиях этого отвратного года найти истинно блестящую иллюстрацию к пользе дидеротских методов и к поношению российских. В Москве друг друга за горло не хватали. «Власть» и «общество» наперерыв идут друг дру-

гу навстречу... «Политические **и** социальные несогласия умолкали при встрече с национальными и религиозными опасностями». Казалось бы, чего проще? Почти что само собою разумеется. Но Государственной думе четвертого и, даст Бог, последнего созыва все это никак само собою не разумелось. Она, эта Государственная дума, действовала по дидеротам: пришла в Таврический дворец и стала колотить ногами по столу. Она-де именно и обеспечит «права и интересы народа». Вот и **обеспечила.**

Через 30 лет после того, как тяглые мужики «не сумели взять в свои руки распоряжение московскими делами» — эти мужики имели все то, что я только что перечислял. Через 30 лет после того, как жулики, идиоты и истерики государственной думы «взяли в свое распоряжение русские государственные дела», — где сидим мы с вами, и что сейчас имеет тяглый мужик советских посадских миров? Где его коровы и кони? Суд присяжных и неприкосновенность личности? И в чем, собственно, выразился социальный процесс целых 300 лет следования по дидеротским путям?

...Я пишу о жуликах, идиотах и истериках государственной думы. Понимаю, что это звучит несколько категорически. О личном распределении всех этих ролей говорить было бы довольно сложно. С моей точки зрения, две главные роли — жулика и идиота — выпали на долю проф. П. Н. Милюкова — специалиста именно в области русской истории. О том, что он практически оказался идиотом, спорить сейчас невозможно вовсе. Что же касается другого прилагательного, то позвольте привести запоздалую и очень скромную справку из творений С. П. Мельгунова в журнале «Независимая Мысль» (сборник 7, 1947 год, стр. 4).

«Сдвиг (т.е. февральская революция. — *И. С.*) произошел не столько под влиянием пропаганды революционных партий, сколько под воздействием оппозиции Государственной думы, демагогически привившей общественному мнению мысль, что национальным судьбам России при старом режиме грозит опасность»...

Это сформулировано очень скромно. Об этом я пишу в другом месте. Здесь хотелось бы только напомнить тот неис-

товый вой, который подняли жулики и идиоты и которому поверили дураки и истерики: царица — шпионка, царь — алкоголик, двор и правительство — в руках Распутина, «глупость или измена», — все гибнет, «бей царя, спасай Россию!»

По существу, ничего не было, кроме сознательной лжи («демагогическая прививка общественному мнению»...), действовавшей к вящей славе... Ленина–Сталина. Государственная дума и Милюков, в частности, прекрасно знали то, что знал всякий мало-мальски осведомленный человек в России: что армия, наконец, была полностью вооружена, что победа стоит на самом пороге и что все обстоит, в сущности, в полном порядке — все, кроме милюковского дидеротского будущего. Мы и сейчас склонны забыть, что Первая мировая война, по сравнению с войнами Москвы, была совершеннейшей чепухой. Против уже обескровленных «центральных держав», из которых боеспособной была только Германия, стоял весь мир, и САСШ в том числе. Москва стояла одна, как перст, против татар, Литвы, Ордена, против Востока и Запада, очень часто и против Востока и против Запада **одновременно**. Что было бы, если бы «мужики тяглых миров» оказались бы на умственном и моральном уровне Милюковых и Ключевских? И если бы наши ни с чем не сообразные соборы действовали бы на основании милюковских принципов государственного права и государственного приличия, — то потом даже и Сталину править было бы нечем.

Итак:

Были тяглые мужики. «Московского Государства последние люди», как в другом месте определяет их тот же Платонов. Они, эти тяглые и последние люди, **совершенно точно** знали, чего они хотят и как нужно добиться того, чего они хотят. Тот общественный строй, который они организовали, прожил после 1613 года еще около 100 лет, да и в Петербургскую эпоху погиб все-таки не совсем: очень вероятно, что уже сейчас этот тяглый мужик, вероятно, вернулся бы к стандартам Алексея Михайловича с поправками на эпоху трактора и авто. Но на дороге стали профессора.

Профессора нам говорят: ну и идиотом же был этот тяглый богоносец, все было в его руках: армия, деньги, масса, власть, а он, идиот, даже и заработать ничего не попытался. То ли дело мы, научно-образованные люди!

Конструкция, сооруженная тяглым богоносцем, продержалась по меньшей мере 100 лет. При этой конструкции мужик имел неприкосновенность личности и жилья, имел, если перевести данные переписи середины XVII века на язык современного продовольственного рационализма, примерно по хорошей свиной отбивной котлете ежедневно на всякую душу своего довольно многочисленного семейства, сидел дома, а не в подвале или в эмиграции, и, вероятно, считал себя замечательно умным человеком: ай да и умный ты, Микула Селянинович.

Наши профессора считали себя еще более умными. Конструкции, ими спроектированные, не продержались ни одного дня, ибо даже и А. Ф. Керенского мы демократической республикой никак считать не можем: при А. Ф. Керенском была керенщина. Месяца через два после попытки «взять в свои руки московские дела» профессоров вышибли вон. Через полгода после этой попытки профессора бежали на юг, как птицы перелетные. На юге они припадали к ногам генерала Эйхгорна и молили о помощи. Генерал Эйхгорн не помог. Потом молили генерала Франше д'Эспре, генерал Франше д'Эспре не помог. Потом молили генерала Деникина, генерал Деникин тоже не смог помочь. Потом, обжегшись на попытках что-то там взять в свои руки, разочаровавшись во всех генералах контрреволюции, они стали мечтать о революционных генералах: Клим Ворошилов — вот он и есть «национальная оппозиция Сталину». Но не помогли и революционные генералы. Тогда профессора стали конструировать теорию эволюции, столь же неопровержимо научную, какою была в свое время теория революции, — и которая продемонстрировала наличие у профессоров решительно того же самого запаса умственных способностей, с которым они, профессора, в 1917 году что-то там пытались «взять в свои руки». Профессора: Милюков, Устрялов, Татищев, Савицкий, Карсавин, Гримм, Одинец, Бердяев,

Струве, Булгаков и пр. и пр., с 1918 по 1948 год, битых 30 лет подряд, конструируют теории и констатируют факты: эволюции Советской власти, национализации Советской власти, мелкобуржуазного перерождения Советской власти, спуска Советской власти на тормозах, ну и т.д. Каждую весну, как только начинают распускаться почки, начинают распускаться и профессора. И все дают советы нам, Иванам и Петрам Селяниновичам, как нам, Иванам и Петрам, передать бы в руки им, Бердяям и Булгакам, всю власть над одной шестой частью суши и над двумя сотнями миллионов нас, Иванов и Петров, ибо именно они, Бердяи и Булгаки, знают, по Соломону Премудрому, «и время и место», и Гегеля и Канта, — вот видите сами, как до сих пор они все это правильно спроектировали, точно предвидели и разумно советовали.

Я говорю: «Жулики, идиоты и истерики государственной думы». Это звучит грубо, как оплеуха. М. Алданов считается самым приличным публицистом эмиграции. Он старается ни с кем не ругаться. А если и ругается, то так, что среднему профессору и невдомек. Но иногда не выдерживает даже и Алданов. Иногда и у него срывается горькое предчувствие, что вот пройдут года, и какой-нибудь «дурак приват-доцент» будет пороть такую-то и такую-то ерунду. Но М. Алданов пишет только о приват-доцентах, профессоров это, естественно, не касается. Тот же М. Алданов как-то обронил фразу о «дураках и мерзавцах капиталистического мира», которые все эти годы помогали большевикам: займами, концессиями, техникой, снобизмом и чем хотите еще. Дураки и мерзавцы, действительно, советской власти помогли. Но это были все-таки чужие дураки и мерзавцы. Как нам отнестись к собственным, которые: а) подготовили советскую революцию, б) открыли ей дорогу и в) 30 лет орут «не троньте ее, она и без вас эволюционирует»... «Московского государства последние люди», по-видимому, ничего не проповедовали относительно эволюции воров и семибоярщины...

Московские тяглые мужики были, вероятно, совершенно неграмотны. Не только в смысле Гегеля и Канта или предшественников Гегеля и Канта, а просто в смысле аз-буки-веди.

Но они знали зверя и птицу, мужика и боярина, Бога и Царя, — т.е. знали именно то, что им нужно было знать. Они знали, если можно так выразиться, фактические факты реальной действительности, начиная от пушного зверя, кончая бытием Божиим. На основании этого практического знания они строили и построили общественный и государственный порядок, какой им, этим мужикам, последним людям Московской Руси, был нужен. Никто из этих мужиков никаким Гитлером себя не считал и тысячелетних планов не строил. Однако со всякими поправками на подъем и на упадок, с вычетом эпохи матушек цариц, — этот общественный и государственный порядок продержался тысячу лет. И вот, приходит Бердяй Булгакович Струве-Милюков, конструкция которого не продержалась ни одного дня, пророчества которого не исполнились ни одного разу, и снова начинает давать нам, Иванам и Петрам Селяниновичам, свои научно обоснованные советы. Можно было бы поставить вопрос в чисто милюковской формулировке: хроническое малокровие головного мозга. Но это было бы слегка демагогической постановкой вопроса.

«Последние люди Московского государства» знали очень мало вещей. Но те вещи, которые они знали, — были реальными вещами. Проф. Милюков и иже с ним знают очень много вещей, но все это воображаемые вещи. Мужик знал факты, немного фактов. Милюков знал заклинания — целую библиотеку заклинаний. Все то, что мужик знал о звере и птице, государстве и обществе — было примитивно, но было реально. То, что милюковы знали об Анаксагоре и Демокрите, о Спинозе и Декарте, о Канте и Гегеле, о Марксе и Энгельсе, было такими же заклинаниями, как и заклинания дождя или засухи. Мужик знал совершенно точно: чего он, мужик, хочет, и что ему, мужику, нужно, и за что ему, мужику, браться не следует никак. Ему, мужику, нужна прежде всего земля. Вообще говоря, она может себе считаться казенной землею: «Земля ваша — государева, а нивы и роспаши — наши». Он эти «нивы и роспаши» получил. Ему нужна была хозяйственная и личная свобода. Он ее и отстоял. Ему нужна была его национальная

свобода. Он ее и отвоевал. Но у него хватило ума чтобы сообразить: если дело дойдет до дипломатических переговоров с королем Сигизмундом, то это уже не его, мужика, дело. «Про то ведает Бог да Великий Государь». Великие государи, как показала практика от Олега до Николая, эти переговоры вели лучше, чем кто бы то ни было иной в этом мире. Кроме того, указанный мужик понимал, что если боярину дать контроль над Великим государем, то и получится то, что получилось у нас в великую эпоху диктатуры профессоров: совершеннейший кабак. И если и не кабак, то новая семибоярщина. Что всякая контрольная комиссия, сидящая над Великим Государем, автоматически превратится в олигархию, а он эту олигархию уже видал: и банковскую — в Киеве, и торговую — в Новгороде, и родовую — в Москве.

Мужик знал, чего он хочет. И *его*, мужика, было: 10, 100 или 200 миллионов. Милюков тоже знал, чего он хочет, но Милюков был один, как перст. *Интересы* мужика ярославского и рязанского совпадали полностью, ибо прежде всего это были интересы, т.е. нечто совершенно реальное: земля, нивы и роспаши, свобода купли и продажи и всякое такое, очень нехитрое социально-экономическое и общественно-политическое вооружение его личного и его национального бытия. У профессора же Милюкова были *теории*, т.е. нечто, более или менее и бесплотное, и бесплодное. И поэтому — неустойчивое, как человек «пьяный в стельку». Так что в стройном, научно последовательном, философски обоснованном карточном домике милюковского мировоззрения какой-нибудь Кант занимал, скажем, 8,357 процента общей емкости данного мировоззрения. Остальное водоизмещение было занято: 23,776 процента Виндельбандом, 16,220 процента Декартом, ну и т.д. Но уже ближайший сподвижник и сотоварищ П. Н. Милюкова — В. А. Маклаков — распределил свое умственное водоизмещение так, что Кант занимал там только 6,875 процента — тут сговориться не было никакой возможности. Если же по лестнице умственного багажа спуститься еще ниже — вот к уровню того «дурака приват-доцента», о котором пишет М. Алданов, — то тут уж каждый торговец ап-

текарски-философскими товарами будет иметь свой собственный рецепт своего собственного научного варева, где процентное содержание Анаксагоров и Сартров в микстуре окончательной истины будет варьироваться почти до бесконечности, ибо приват-доценты будут существовать вечно.

Даже и сейчас, когда служба погоды информирует нас по радио о том, что откуда-то с Британских островов на нас надвигается полоса высокого атмосферного давления, даже и сейчас существуют люди, занимающиеся заклинанием дождя или засухи. Как же можем мы бороться с приват-доцентами философии? Так было, — так будет. Единственное, чего мы, может быть, могли бы все-таки достигнуть, — это не принимать их всерьез.

Итак: «последних людей Государства Московского» были миллионы, они хотели одного и того же — они ясно знали, чего они хотели, и они это и организовали. Профессоров были тысячи, они решительно не знали, чего они хотели, и каждый из них хотел разных вещей, и ничего у них не вышло и выйти **не может**. Мужик знал факты своей реальной жизни. Профессора знали пожелания мировой философии, благие пожелания Платона и Пифагора, Иоанна Лейденского и Савонаролы, Гегеля и Фихте, Маркса и Энгельса, — все это было сплошным вздором. Весь этот вздор наша профессура знала наизусть. Но то, что нужно было русскому народу, она не знала раньше, не знает сейчас, и я не вижу никаких данных к тому, чтобы профессорскими методами когда бы то ни было что бы то ни было можно было бы узнать.

Русская крестьянская жизнь — под влиянием таких-то и таких-то условий — выработала общинную форму землепользования и самоуправления. О ней из русской профессуры не знал никто. Не было цитат. Потом приехал немец Гастхаузен, не имевший о России никакого понятия и ни слова не понимавший по-русски. Он оставил цитаты. По этим цитатам русская наука изучала русскую общину. О результатах этого я пишу в другом месте.

Русский генерал Суворов командовал войсками в 93-х боях и выиграл все девяносто три. Но и он никаких цитат не оста-

вил. Немецкий генерал Клаузевиц никаких побед не одерживал, но он оставил цитаты. Профессура русского генерального штаба зубрила Клаузевица и ничего не могла сообщить о Суворове: не было цитат.

Всякая русская социологическая шпаргалка начинается с Демокрита и вообще «мировоззрения». В зависимости от состояния бумажного рынка и расчетов на покупательную способность российского населения она колеблется от брошюры до полного собрания сочинений. Но в обоих случаях она старается дать полный каталог всей мировой философской мысли: от эллинских софистов до эвтаназии современного германо-французского экзистенциализма. Эвтаназия — это сравнительно редкая наука, предлагающая неизлечимо больным людям самые приятные способы самоубийства. Эллинские софисты утверждали, что мы ни черта не знаем и ни черта знать не можем. Товарищ Сартр на основании этого советует идти прямо на дно. Совершенно ясно, что мне, Ивану Ивановичу Селяниновичу, в высокой степени наплевать и на софистов, и на Сартра. То, что мне надо знать, — я более или менее знаю. Помирать же я собираюсь по воле Господа Бога, и никакие системы ни личного, ни национального самоубийства меня не интересуют никак. Меня совершенно не интересуют ни прожекты платоновского государства, ни прожекты марксистского, конечно, в том случае, если я под эти прожекты не подпадаю. Но никакая профессура ничего, кроме прожектов, предложить не может. Она предлагает российскому мужику времен 1613 и времен 1917 годов, и даже эпохи 1950-х годов желать себе того, чего ему, мужику, желают: Платон с его общностью жен и детей, Савонарола с его шпионажем детей за родителями, Иоанн Лейденский с его обобществлением женщин, социалисты с их обобществлением имущества, Гегель и Фихте с их системами шпионско-полицейского государства, или, наконец, профессор Прайс с его системой веймарской конституции. Все они совершенно точно знают: чего нужно желать русскому мужику. Только он, бедняга, не имеет об этом никакого понятия, и вот — соорудил одиннадцативековое здание своей собственной тюрьмы...

***

Обо всем этом я уже писал и, я боюсь, еще буду писать. И это потому, что тут мы подходим к самой важной, самой решительной, самой неправдоподобной проблеме нашего национального, а также и нашего личного бытия. Я утверждаю и еще буду утверждать: наш самый страшный враг — это не Мамай или Гитлер, а профессора и приват-доценты. Гитлер так же относится к профессору, как тигр к спирохете. Спирохета угрожает размягчением мозга — чем на практике и захворал почти весь наш правящий слой. Если бы это было иначе, то ни мы, ни остатки правящего слоя здесь не сидели бы.

Я, кроме того, считаю себя литературно-политическим наследником Посошкова: первым, лет этак за 200, русским публицистом, пытающимся выразить чисто **крестьянскую точку зрения на русскую историю** и на русский сегодняшний день. Это не есть сословная точка зрения, — так сказать, дворянская, только наоборот. Со всякими поправками на мои личные вкусы и заблуждения, я считаю ее общенациональной, или, если хотите, средненациональной точкой зрения. У меня есть некоторые личные преимущества: все теории всей истории мировой общественной мысли я все-таки знаю. И все они отскочили от меня, как горох от бицепсов: полная непроницаемость для какой бы то ни было философии прошлого, настоящего и обозримого будущего. По всему этому я как-то склонен отождествлять самого себя с теми тяглыми мужиками Москвы, которые в 1613 году разнесли все к чертовой матери, восстановили традицию, — т.е. «повернули колесо истории назад», восстановили престол, пригрозили кандидатам в контролеры над ним и разошлись каждый по делам своим — и дела эти стали идти совсем блестяще...

С точки зрения Платонова, эти мужики были дурачьем: вот могли взять за горло «тирана» и не взяли. С точки зрения дворянского славянофильства, они были мазохистами: любовь к страданию, отдача своей воли в чужие руки, извечно русская покорность судьбе (почему судьбе — и почему не Батыю, Наполеону

или Гитлеру?). С точки зрения Милюкова, во всем этом сказалась отсталость от Европы — забитость, загнанность, отсутствие национального самосознания. Все эти точки зрения просочились сюда, в Западную Европу. И когда я, Иван Лукьянович Солоневич, говорю немцу, французу, англичанину или американцу, что я — монархист, то мой собеседник как-то конфузится:

— Не хотите ли папироску? Или, может быть, лучше валериановых капель?

У меня остается такое ощущение, что мой собеседник потихоньку поглядывает в телефонный справочник, разыскивая там номер скорой помощи: черт его знает, этого претендента на «право на бесчестие» — вот возьмет и вцепится зубами в штаны...

Лично я принадлежу к числу людей, которые стесняются сравнительно мало. Есть люди более скромные. Спрашиваешь человека: а вы монархист? И человек отвечает:

— Да я, собственно говоря, видите ли, конечно, оцениваю роль и вообще считаю, что принимая во внимание конкретное положение нашего многонационального государства, однако, полагаю, что при отсутствии законного наследника, а также, учитывая современную международную обстановку... — и смотрит на меня: не ищу ли я телефонного номера скорой помощи?

***

Что делать? Нам 100 лет подряд Бердяи Булгаковичи и Булгаки Бердяевичи с кафедр, трибун, столбцов, из пудовых томов и копеечных шпаргалок втемяшивали такие представления и о России и о нас самих, что мы и России и самих себя стали как-то конфузиться. Да так конфузиться, что самые элементарные факты — вот вроде торжества науки и истины, произошедшего в феврале 1917 года, или торжества реакции, свалившегося на нас 21 февраля 1613 года, а также и последствия торжества науки в 1917 году и победы невежества в 1613 году, — на нас действуют очень мало. Нам все мерещатся белые слоны реакции и, по крайней мере, розовые ангелы прогресса. Алексей Михайлович был, конечно, реакцией, и П. Милюков

был, конечно прогрессом. Все это, конечно, есть вздор. И давайте не конфузиться: тяглые мужики Старой Москвы были очень умными и очень сильными людьми.

***

«Блестящая московская эпоха» длилась приблизительно четыре столетия. Ее начало очень трудно уловимо: Москва, как государственный и национальный центр, подымается как-то понемногу, без определенной исторической даты, хотя и гибнет почти сразу. Перенос столицы в Петербург можно считать определенным концом Москвы. За эти четыре столетия и внутренняя, и внешняя обстановка менялись часто и резко. Однако общий стиль жизни и государственности, типичный и для первых Рюриковичей, и для последних Романовых, сидевших на московском престоле, остается приблизительно одинаковым. Стиль московской государственности можно — очень схематически — определить, как исключительный в истории человечества пример внутреннего единства, добивавшегося прежде всего полной самостоятельности и выдвинувшего два основных принципа государственности: самодержавие и самоуправление.

С западноевропейской точки зрения эти принципы не совместимы никак. Они в европейскую петровскую эпоху нашей истории, в ее упадочную эпоху и не могли совместиться: самодержавие нет-нет да и соскальзывало к европейскому абсолютизму, самоуправление — к тому же европейскому партикуляризму. В Москве эти принципы совмещались. Было ли это достигнуто под давлением повелительной внешнеполитической необходимости или родилось из характера народа — на этот вопрос ответить, пожалуй, и вовсе невозможно. Но единство национального сознания, единство воли и целеустремленности родились раньше татар, как родилось и московское самодержавие. Это единство спаивалось единством религии или, может быть, наоборот — национальное единство определило собою единую религиозную идею, слабо подорванную даже никоновской реформой, идейной предшественницей Петра.

Московское самодержавие было не только символом, но и орудием этого единства. Для поверхностного наблюдателя, в особенности воспитанного на дидеротах, это самодержавие явилось чем-то внешним для народа, чем-то как-то навязанным со стороны: то ли норманнским завоеванием, как утверждают дидероты германские, то ли византийским влиянием, как утверждали отечественные, то ли хозяйским положением северных князей, как говорил Ключевский, то ли татарским игом, как говорил Погодин, то ли интересами господствующего класса, как утверждают современные марксисты.

Возникновение киевского самодержавия так плотно закутано легендой и мифом, что разобраться в нем нет никакой возможности. Но Москва оставила ряд документальных данных, и эти данные категорически противоречат всем дидеротовским теориям. Норманнского завоевания на севере не было, и если в жилах Андрея Боголюбского и текли какие-то капли норманнской крови, то, во всяком случае, в более скромном количестве, чем печенежской, не говоря уже о славянской. Византия не могла дать того, чего у нее самой не было: представление о национальном государстве, ибо Византия не имела народа, не имела нации: это был город-государство, образовавшийся из механического смешения самых разнообразных племенных элементов. Идея национального государства (для раннего московского периода это была еще только племенная идея) Византии была совершенно чужда, Москва же, а раньше и Киев, выступают прежде всего в качестве носителей национально-племенной идеи. О «хозяйском положении» северных князей и об «интересах господствующего класса» я уже писал: Андрей Боголюбский был призван на Суздальский стол — хозяев не приглашают, — и начал свою политическую карьеру с разгрома именно того «господствующего класса», в интересах которого было-де рождено самодержавие московских князей и царей.

То, как мне кажется, довольно очевидное соображение, что московское самодержавие было рождено и утверждено усилиями народных низов, нашим историкам как будто и в голову не приходит: наследники крепостнического дворянства так же

обворовали народ идеологически, как и их отцы обворовывали материально. Между тем совершенно ясно: нигде, никогда и никак низы не «голосовали» за республику. Термин «голосование» я не зря беру в кавычки; народ по тем временам голосовал не бюллетенями, а оружием и жертвой. Воевали и жертвовали во имя царя, но не воевали и не жертвовали во имя Новгородской республики, ни во имя Малороссийского старшины, ни во имя Московского боярства, ни во имя конституционных проектов московских княжат. Но там, где действовал царь, — не только символ, но и орудие национальной воли, — всегда находились и готовность нести жертвы, и готовность взяться за оружие. Так шло до тех пор, пока нас не слопали марксистские дидероты. За тысячу лет народные массы ни разу не выдвинули какого бы то ни было республиканского или даже конституционного лозунга, и Сталин с неодобрением отметил, что даже Разин и Пугачев — и те были «царистами» («крестьянская отсталость» — по марксистской терминологии).

Ключевский жалуется на то, что царская власть «была власть с неопределенным, т.е. неограниченным, пространством действия и с нерешенным вопросом об отношении к собственным органам». Наш историк, может быть, и прав. Не было той, черным по белому, конституции, которая так великолепно характеризует все неудачные произведения политической изобретательности теоретических прожектеров — «декларацию прав человека и гражданина» французской революции, ленинскую конституцию советской и веймарскую конституцию германской. Я уже не буду перечислять всех конституций, которые живут — иногда три года, а иногда и три дня. Неопределенность российских основных законов не помешала тысячелетнему существованию и росту империи. К чему привела ясность, точность и законченность основных законов Третьей Республики во Франции?.. Эрнест Ренан писал, что эти законы, во всей их сумме, сделали каждого француза «сторожем его собственного кармана».

Эти законы — и гражданские, и политические — были построены так, чтобы никто, упаси Боже, не мог бы посягнуть

ни на карман французского ситуайена, ни тем паче на его суверенную власть. Поэтому Франция оказалась без авиации (охраняли карман) и без правительства (охраняли суверенитет). Результат: и деньги, и власть попали к немцам.

Вопрос о ясности, определенности и законченности законодательства снова приводит меня к старой теме об инстинкте. Французские брачные законы и обычаи требуют брачного договора: папаша и мамаша будущих французов заключают договор, определяющий их супружеские права и обязанности. Все очень точно и определенно: вот только не хватает одного — этих самых будущих французов; для «прав человека и гражданина» они рождаться не хотят, даже и в лоне столь разумно, рационально организованной семьи, как французская. И нация — умирает.

Весь же вопрос заключается в том, что необходимость в договоре появляется в результате **потери доверия**, а потеря доверия есть результат ослабления социального инстинкта. Никто никому не верит, и все считают друг друга жуликами, — обычно не без основания. Тогда возникает необходимость регулировать супружеские отношения не по чувству доверия и любви, а по статьям закона и пунктам договора. А так как и закон, и договор находятся в руках мужчин, то женщина оказывается связанной по рукам и по ногам. Отказ от дальнейшего производства будущих французов является только логическим продолжением того хода событий, когда ослабление социального инстинкта заставляет каждого индивидуума ощетиниваться в защиту своих прав — материальных и политических — против всякого соседствующего индивидуума. Женщину урезывают в ее человеческих правах — как бы она не посягнула на мужской карман. Власть урезывает ее в политических правах — как бы она не посягнула на мужские права (женских во Франции нет). И женщина, и власть перестают выполнять свои функции — страна вымирает и разлагается.

Наши историки подходят к государственному устройству Москвы не с русской, а с дидеротовской точки зрения: они пытаются **юридически анализировать чисто моральные явления**. Ключевский, правда, смутно догадывается, что люди со-

бора действовали так, как полагается действовать представителям армии, созванным на военный совет к полководцу: обсуждали вопрос о победе, а не о справедливом распределении интендантских запасов среди полков и дивизий.

ПРОЛЕТАРСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Психологии как науки у нас еще нет: есть только «первые робкие встречи». Социальной психологии и вовсе нет: есть только социальное шаманство. Я утверждаю, что семья, нация, государство строятся на психологии. Из всех методов познания человеческой психологии у нас, собственно, есть только один — чрезвычайно примитивный, но действенный: метод самонаблюдения.

Когда я изучаю историю Смуты и методы действия тяглых мужиков — я ощущаю совершенно ясно: на их месте я поступил бы точно так же. И планирую — в будущем — поступить так же, как поступили и они: как-то придти в Москву и разогнать все к чертовой матери — и воров, и коммунистов, и профессоров, и поляков — в переносном и в буквальном смысле этого слова. Восстановить одиннадцативековой престол и всякого милюкова, который пытается этот престол как-то контролировать — повесить сразу — по возможности в буквальном смысле этого слова. Нам нужно народное представительство — но также, чтобы царь его контролировал, а не оно бы контролировало царя. Государственной думой мы сыты.

Всякий мало-мальски просвещенный иностранец, услыхав такую околесицу, станет смотреть в телефонный справочник и вспоминать те диагнозы, которыми его снабжал Великий и Многоликий Российский Бердяй: я, Иван Солоневич, есть: реакционер, шовинист, мазохист, раб, несчастная жертва многовекового угнетения, — или, в немецком переводе всех этих эпитетов, — унтерменш. Я же не желаю и не имею решительно никаких оснований соглашаться хотя бы с одной десятой долей хотя бы одного из этих эпитетов.

Реакционером мне быть неоткуда. Я — не дворянин, не генерал, не князь и даже не коллежский регистратор. Я — крестьянин, и даже не великорусский, а белорусский. У меня не было в царской России ни клочка земли и ни копейки денег.

Я не страдаю решительно никакими комплексами неполноценности и не имею никаких оснований оными страдать.

***

Мы, конечно, сидим в дыре. Но это не есть основание для конфуза. Исторически и морально оказались правы МЫ. Исторически и морально оконфузились именно все те, кто шел против царя — т.е. против НАС, против трудовой, тяглой «рабоче-крестьянской» России — рабоче-крестьянской в православном, а не в пролетарском смысле этого слова. Мы разбиты физически: бывает. Но каждый день уготовленного мировой профессурой хода мировой истории показывает воочию, что правы были МЫ. Так что даже и Организация Объединенных Наций никак не поколеблет того, что о ее предшественнице — Лиге Наций — написал м-р Черчилль. Теперь, сегодня, мы можем сказать: при Государе-императоре Николае I всего этого не было и все это было бы **немыслимым**. Было бы труднее доказать, что при жизни Государя-императора Николая II всего этого не было бы и все это было бы немыслимым, — но даже и это положение с каждым днем становится все более и более очевидным. Совершенно было бы немыслимым, чтобы при победе России Государя-императора Николая II 5 миллионов русских рабочих и крестьян — не графьев и князьев — отказались бы возвращаться на свою победоносную Родину. Совершенно было бы немыслимым, чтобы пятые колонны России организовывали бы забастовки во Франции, Италии и САСШ. Были бы совершенно немыслимыми и Вторая мировая война, и Третья мировая война. Но как доказать Томми и Сэмми, что они гибли на полях Второй мировой войны и еще будут гибнуть на полях Третьей, потому и почти только потому, что двухсотмиллионная громада русской государственности была заражена спиро-

хетами профессоров милюковых. Сэмми этого, я боюсь, не поймет никогда. Но Иванам это следовало бы понять.

Русскую государственность построили МЫ. Не немцы, татары, латыши, как это утверждает Горький и его ученик Розенберг; не князья и бояре, как это утверждают Маркс и Ленин; не Византия или Золотая Орда — а МЫ: несколько сотен миллионов Иванов, прекрасно помнящих свое великое, гордое и грозное родство и прекрасно понимающих, что собственно им, этим Иванам, нужно.

***

Многоликий товарищ Переплетчиков, населяющий собою сточные трущобы фабричных задворков всего мира, считает себя, как и мы все, достаточно разумным и вполне достаточно порядочным человеком, — даже и тогда, когда он идет громить булочные, — для того, чтобы завтра остаться и вовсе без хлеба. Товарищ Переплетчиков полагает, что он понимает почти все. А того, что он еще не успел понять, ему, товарищу Переплетчикову, другой товарищ, товарищ оратор, сообщит на соответствующем собрании в ближайшей пивной. Или на ближайшем заседании государственной думы — что в сущности одно и то же. В пивной будет сказано просто: «Долой самодержавие». С высоты парламентской трибуны это будет редактировано несколько тоньше: «Глупость или измена?» Товарищ Переплетчиков пойдет месить своими мозолистыми ногами демонстративную уличную грязь на Невском проспекте или на парижских бульварах, но будет голосить и голосовать за те теории, которые ему будут преподнесены владельцами наиболее мощных голосовых связок. Он, товарищ Переплетчиков, не понимает и, боюсь, никогда не поймет, что все то, о чем он будет голосовать и голосить, есть самоубийственный вздор.

Товарищи переплетчики — они тоже бывают разные. Русские в общем голосовали за царя и потом — faut de mieux[5] — за Колчака и Деникина. Не все, но большинство.

5 За неимением лучшего *(фр.)*.

Немецкие — «культурные» — голосовали за Эберта и потом за Гитлера — голосовали почти все. Французские голосовали за Тореза и против американской манны небесной. Английские голосовали за национализацию и социализацию — и вот мы имели возможность прослушать заявление м-ра Шинуелля, какие мы у себя дома слышали уже сотни и сотни раз: с социализацией и национализацией выходит, правда, ерунда, но это только потому, что население старой веселой Англии еще недостаточно социал-демократично. Это — мы уже слыхали.

Я не пойду ни к какому русскому царскому правительству с заведомо идиотским требованием: «Долой тайную дипломатию», ибо я знаю, что пока существуют в мире «суверенные державы» и пока они борются или воюют друг с другом за целый ряд вещей, «тайная дипломатия» есть такая же неизбежность, как и военные тайны. Я не буду ходить ни на какие демонстрации, ибо это, во-первых, лошадиный способ демонстрации того, что личный состав демонстрирующего табуна считает своим «мнением», и, во-вторых, потому, что это есть бесчестный способ: люди, которые находятся в Петербурге и которые, следовательно, могут шататься по Невскому — будут давить на правительство **за счет** тех людей, которые живут и работают в Донбассе, в Сибири, на Волге и во всяких других таких местах и не имеют никакой возможности выписывать ногами свои точки зрения на правительственную политику.

Как вы видите, все это есть категорически непролетарский подход к политической технике. Или — еще больше — типично антипролетарский подход. Что же касается пролетариата, то я рассматриваю его не с экономической, а с чисто духовной точки зрения. Экономически я лично стою безмерно ниже любого американского рабочего. Психологически средний русский рабочий стоит (или стоял) безмерно выше среднего русского интеллигента. Пролетарий — это не тот, у кого нет денег. Пролетарий это тот, у кого, по марксистскому определению, «нет родины». Нет корней, нет традиции — нет и Бога. Но паче всего — нет мозгов. Он, этот пролетарий, полагает, что он знает или может знать все. И о национализации, и о социализа-

ции, и о тайных договорах, и о пользе мощных колонн, демонстрирующих где попало и что попало. Пролетарий считает, что он вправе и в состоянии дать ответ на вопрос о национализации каменноугольной промышленности, о Ялтинском договоре, о перспективах войны между Германией и Англией в 1914 году, Германией и САСШ в 1939, СССР и остальным миром в 19..?, о технических предпосылках девальвации франка или о дележке Палестины между Иерусалимским муфтием и Еврейским агентством.

Я — не пролетарий. У меня есть родина, есть традиция и есть Бог. Есть, кроме того, и мозги. Я считаю — удовлетворительного качества. Во всяком случае, достаточного для того, чтобы отдать себе совершенно ясный отчет в том, что для решения целого ряда вещей у меня данных нет и в обозримое время быть не может. Я достаточно опытный в политическом отношении человек для того, чтобы решение целого ряда вещей предоставить — по старомосковскому рецепту — «Богу и Великому Государю», ибо этот способ решения даст наилучшие результаты из всех мыслимых.

Здесь я подхожу к выводу, который категорически противоречит большинству пролетарских общепринятых мнений. Принято говорить: да, при данном культурном уровне русского народа — без монархии не обойтись. Я говорю: при исторически доказанном умственном уровне русского народа — мы монархию восстановим. И не потому, что мы «некультурны», а потому, что мы, по крайней мере в политическом отношении, являемся самым разумным народом мира. Если МЫ от Олега до Сталина, при всяких смутах, нашествиях, Батыях, Гитлерах, при ужасающей «географической обездоленности» страны — построили империю, которая существует одиннадцать веков, то не Великобритания на нас, а мы на Великобританию можем смотреть, как на некоего исторического выдвиженца. Великобритания началась, в сущности, только при Кромвеле — середина XVII века, и кончается при Эттли — середина XX. Мы видели все: Батыев и Гитлеров, республики и монархии, самые разнообразные республики и довольно разнообразные монар-

хии. В Москве бывали и татары, и поляки, и французы, и почти были немцы, и мы поили наших сивок в Амуре, на Висле, на Шпрее и на Сене: «все промелькнуло перед нами, все побывали тут». И мы кое-где промелькнули. Культура? Культура не имеет к государственности почти никакого отношения. Тем более что еще вовсе неизвестно, что именно мы должны понимать под культурой: моторизованного дикаря из Бечуанланда или римского пахаря из долины Тибра? Культура должна была бы подразумевать культ — религиозную и государственную традицию, уважение к религиозной и государственной традиции. И кто был культурнее — Рим с его сивиллиными книгами или Италия с ее Макиавелли? Кто культурнее: тургеневский Хорь или горьковский Кувалда? И на чем можно что-то строить? На истовости хорей или на неистовости обитателей интеллектуальных ночлежек современности?

ЦЕРКОВЬ В МОСКВЕ

Государственное право современности также упорно занимается вопросами об отношении Церкви к Государству, как и современная политическая практика. В Москве этот вопрос был решен без всякого государственного права: Государство было всецело подчинено религии, и Церковь была всецело подчинена Государству: порядок, который не влезает ни в одну из существующих схем государственного права. Это — не «цезаропапизм», но и не «папоцезаризм» — не попытка Государства распоряжаться религией, но и не попытка Церкви распоряжаться Государством. В Москве Государство и Церковь и Нация жили определенными религиозными (или, если хотите, — религиозно-национальными) идеалами и чувствовали себя единой индивидуальностью. Выдавать друг другу какие бы то ни было письменные обязательства было бы в этом случае так же глупо, как если бы я давал бы себе самому расписки в получении от самого себя трех рублей и обязательства эти три рубля вернуть такого-то числа самому себе.

Я боюсь, что это жизнеощущение нами несколько утеряно. Царь считал себя Нацией и Церковью, Церковь считала себя Нацией и Государством, Нация считала себя Церковью и Государством. Царь точно так же не мог — и не думал — менять православия, как не мог и не думал менять, например, языка. Нация и не думала менять на что-либо другое ни самодержавия, ни православия — и то и другое входило органической частью в личности Нации. Царь был подчинен догматам религии, но подчинял себе служителей ее.

Отношение к князьям Церкви у московской монархии было по существу то же, что и к князьям земли: люди нужные, но давать им воли нельзя. Воля в руках царя, «Сердце царево в руках Божиих», ибо царь есть прежде всего общественное равновесие. При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военные — милитаризм, духовные — клерикализм, а интеллигенция любой «изм», какой только будет в книжной моде в данный исторический момент.

Русское духовенство никогда на особой высоте не стояло. В Москве оно было еще менее грамотным, чем при Николае II. Безработные, — не имевшие прихода, — попы толпами скитались по Руси, и правительство было очень озабочено: куда бы их пристроить. Но эти попы были народом, частью народа. Они веровали его верованиями, они защищали вместе с ним Троице-Сергиевскую лавру, они благословляли его «на брань», и они сражались в его рядах.

Служилые, т.е. небезработные попы Московской Руси были **выборными**. Их выбирал приход. И он же их оплачивал. Эта система имела свои неудобства: временами возникало нечто вроде аукциона: кто будет служить дешевле? Но в общем она означала непрерывный «контроль масс». Выборность спасала духовенство от превращения его в орудие господствующего класса. Этим орудием наше духовенство сделалось только после Петра.

Святейший Синод, заседавший под контролем гвардейских офицеров, потом армейских офицеров, потом — чиновников, и Бог его знает, кого еще — уже не мог быть выразителем голоса русского православия.

Был, например, такой случай: Елизавета, женщина добрая, хотя в государственных делах не понимавшая ровным счетом ничего, пыталась смягчить зверство тогдашних наказаний. По ее почину Сенат выработал указ, уничтожавший пытку для малолетних — с семнадцатилетнего возраста. Синод возражал против этого проекта, ибо, по каноническим законам, несовершеннолетние считаются только до 12 лет, следовательно, пытку можно отменить только по отношению к лицам, не достигшим двенадцатилетнего возраста...

Синод постепенно переставал быть голосом православной совести, а о его обер-прокурорах — уже и говорить нечего.

В течение всего послепетровского периода русской истории Православная Церковь не имела непосредственного, помимо обер-прокурора, доклада государю — одна из крупнейших ошибок нашей послепетровской монархии. И рядовое духовенство, лишенное по существу всякой опоры сверху, попадало приблизительно в положение становых приставов, назначающихся местным дворянством и от дворянства зависевших. С тою только поправкой, что низшее духовенство не получало никакого жалованья и вынуждено было жить на требы. В последние десятилетия это был самый забитый слой на всей русской земле. Отданный в полное распоряжение архиерейской, «консисторской», чисто бюрократической администрации, лишенный материальной поддержки со стороны государства, этот слой лишен был даже того выхода, какой имели все остальные граждане страны: священник не мог выйти из своей «профессии». «Расстрижение» сопровождалось такими унизительными подробностями, влекло за собой такое ограничение в правах (в частности, запрет в течение десяти лет после снятия сана служить на государственной службе), что наше низшее духовенство, вот то, которое непосредственно обслуживало религиозные потребности народа и призвано было его воспитывать, — находилось, в сущности, в положении крепостных. Неудивительно, что именно этот слой дал пресловутых семинаристов, поперших в нигилизм полным ходом: было от чего переть даже и в нигилизм: с одной стороны, — правительственной, — полное закрепощение и пренебрежение, с другой, —

общественной, — всяческие базаровские вариации на тему об опиуме для народа... Государство строило Исаакиевские и прочие соборы, но не создавало церковных. Государство строило храмы, но оставляло в запустении Церковь. И если на низах ее была некультурность, приниженность, вопиющая бедность — то на верхах было ненамного лучше.

Знаменитый обер-прокурор Св. Синода К. Победоносцев, сейчас же после своей отставки, когда вчерашние подчиненные архиереи круто отвернулись от него, писал директору синодской типографии С. Войту: «Митрополита, архиереев и нынешнего поповства не вижу, и все они стали мне противны. Подлость человеческая и низость раскрылись теперь безо всякого стыда. Кажется, и вера-то совсем исчезла в служителях Алтаря Господня».

Победоносцеву, конечно, и книги в руки. Но обо всем этом ему надо было бы подумать еще за обер-прокурорским столом (обер-прокурор сидел на заседаниях Синода за отдельным от остальных членов Синода столом), а не тогда, когда этот стол пришлось оставить. И увидать «нынешнее поповство» не таким, каким оно казалось сверху, а таким, каким обер-прокуратура сделала его в действительности. Действительность оказалась очень плохой. И если в Московской Руси Церковь неизменно поддерживала монархию, то первое, что сделал Синод «освобожденной России» — приказал вынести из зала заседаний портрет государя. Было сказано и некоторое количество модных слов относительно самодержавия. Дело было в марте 1917 года. В октябре вместо Николая Александровича Российской Православной Церковью стали управлять губельманы-ярославские...

С губельмановской точки зрения все ясно: «опиум для народа». Есть и другие точки зрения, несколько более «обременительные для серого вещества мозга». Я не буду излагать их. И не буду опровергать знаменитого в истории человечества пионерского собрания, которое «слушало» — «о существовании Бога» и «постановило»: «Бога нет». Но даже и в аду особенной сенсации это историческое решение не вызвало — мир продолжает жить своими законами, независимо от губельманов, пионеров и даже комсомольцев.

Но в числе этих законов есть и такой: ни нация, ни культура без религии невозможны. Одновременно с умиранием религии умирает и нация. Так было в Греции, когда веселое скопище эллинских богов стало заменяться атавизмом софистов; так было в Риме, когда его государственный пантеон исчез в скептицизме петрониев и синкретизме (смешение религий) Антонинов (III и IV век по Р. Х.). Последний удар по «язычеству» был нанесен в 395 году (эдикт Грациана[6]), а 476 год считается официальной датой конца Рима — фактически Рим был кончен значительно раньше. Франция начала падать — физически и политически — с эпохи революции и ее атеизма. Германия накануне своего разгрома переживала те же попытки искоренить религию, какие переживал и СССР. С той только разницей, что у нас это делалось грубо насильственным путем, а в Германии даже особых насилий не потребовалось.

Я не собираюсь ставить вопроса в чисто клерикальном разрезе: Бог-де карает неверующих. Но в религии концентрируются все национальные запасы инстинктов, эмоций и морали. Религия стоит у колыбели, у брачного алтаря и у гроба каждого человека. В ней формулируются все те представления о конечном добре, какие свойственны данному народу — готтентоту одни, нам — другие. Умирание религии есть прежде всего умирание национального инстинкта, смерть инстинкта жизни. Тогда вступает в свои права эпикурейское смакование последних радостей жизни, которое с такой блестящей полнотой выражено у Анатоля Франса: ведь после нас все равно потоп. И тогда вступают в свои права пункты и договоры: неверие в Бога невозможно без недоверия к человеку.

***

По-видимому, никогда и нигде в истории мира инстинкт жизни не проявил себя с такой полнотой, упорством и цепкос-

[6] Император Грациан погиб в 383 году. Вероятно, имеется в виду его эдикт 382 года о конфискации имущества языческих храмов и ряде других направленных против язычников мер. — *Прим. ред.*

тью, как в истории Москвы. По-видимому, никогда и нигде в мире не было проявлено такого единства национальной воли и национальной идеи. Эта идея носила религиозный характер или, по крайней мере, была формулирована в религиозных терминах. Защита от Востока была защитой от «басурманства», защита от Запада была защитой от «латынства». Москва же была хранительницей истинной веры, и московские успехи укрепляли уверенность москвичей в их исторической роли защитников православия. Падение Константинополя последовало сразу же после попытки константинопольской Церкви изменить православию и заключить Флорентийскую унию с латинством, оставляя Москву одну во всем мире. Именно ей, Москве, нерушимо стоявшей на «православии», на «правой вере», суждено теперь было стать Третьим Римом — «а четвертому уже не быти».

Москва, так сказать, предвосхитила философию Гегеля, по которой весь мировой процесс имел одну цель: создание Пруссии. С тою только разницей, что для Гегеля окончательной целью была именно Пруссия, а для Москвы сама она, Москва, была только орудием Господа Бога, сосудом, избранным для хранения истинной веры до скончания веков и для всех народов и людей мира.

Москва думала о всем мире и об истине для всего мира. Пруссия думала о колбасе только для нее самой. И даже в 1941 году красная Москва говорила об интересах трудящихся всего мира, коричневый Берлин — об гинтерланде для Германии — гинтерланде, который будет поставлять немцам руду, колбасу и нефть. Так старый спор между идеей и колбасой, не решенный Александром Невским, снова встал перед Москвой — уже, правда, не «православной», а советской. Московская идея снизилась и огрубела, в нее вросла та же гегелевская колбаса, — хотя и для «всех трудящихся мира», немецкая идея обросла некоторыми фиговыми листками по части «новой организации Европы».

К 1942 году красная Москва стала сворачивать знамена Третьего Интернационала и стала вспоминать «Святую Русь» древнемосковских времен. И фронт устоял. Эта формулировка оказалась такой же необходимостью в 1942 году, какой была и ровно

700 лет тому назад — в 1242 году (Ледовое побоище, разгром Александром Невским немецких рыцарей на Чудском озере).

Если данная идея выдерживает практическое испытание десятка веков, то, очевидно, какая-то внутренняя ценность в ней есть. И атеистическому правительству нынешней Москвы становится совсем плохо — ему приходится хвататься за формулировки давным-давно прошедших времен. Тех времен, когда русскому народу было хронически очень плохо, совсем плохо, когда он хронически стоял «на краю гибели» в самом буквальном смысле этого слова, и когда инстинкт жизни должен был напрягаться до самой последней степени — иначе бы действительно никак не устояли.

Мы можем сказать: Господь Бог вложил инстинкт жизни в каждое живое существо. Мы можем сказать и иначе: инстинкт жизни формулирует Господа Бога, как свой величайший и заранее непостижимый идеал, как точку концентрации всего лучшего, что в человеке есть.

Это «лучшее», конечно, не одинаково для всех. Но когда точка, в которой концентрируются все лучшие идеалы нации, начинает распадаться в атеизме, — начинает распадаться и сама нация. Безусловное, безграничное и недостижимое Добро, которое на всех языках человечества называется Богом — заменяется всякими другими благами.

С заменой веры в абсолютное Добро верою в относительную колбасу все остальное начинает принимать тоже относительный характер, — в том числе и человек. С потерею веры в Бога теряется вера и в человека. Христианский принцип «возлюби ближнего своего, как самого себя», ибо ближний твой есть тоже частица абсолютного Добра, — заменяется другим принципом: человек есть средство для производства колбасы. Теряется ощущение абсолютной нравственности.

Нравственность, раньше отодвинутая в вечно достигаемый и вечно недостижимый идеал перестает существовать. Следовательно, перестает существовать и вера не только в человека вообще, но и в «ближнего», и даже в самого ближнего. И тогда начинается взаимоистребление.

Результаты его мы можем видеть на совершенно практических примерах: атеисты французской революции истребили самих себя, включительно до Робеспьера. Атеисты русской революции истребили самих себя, еще не совсем до последнего — последний еще ждет своей очереди. Верующий человек, идя на преступление, знает, что это преступление — в особенности православный человек. Здесь есть какой-то тормоз. Пусть в несовершенстве жизни нашей тормоз этот действует слабо, — но он все-таки есть. Преступления и французской и русской революций шли без всяких тормозов. Робеспьер, посылая на эшафот своих ближайших друзей, едва ли терзался какими бы то ни было угрызениями совести. Трудно представить себе, чтобы совесть говорила и в Сталине.

Иван Грозный и каялся, и казнился. А Алексей Михайлович организовал всенародное покаяние перед гробом убитого по приказу Грозного митрополита Филиппа.

С материалистической точки зрения человек, по существу, такой же физико-химический процесс, как горение спички. Погасить жизнь или погасить спичку — не все ли равно? Простое физико-химическое воздействие на простой физико-химический акт.

Это будет совершенно логическим выводом из логически законченного атеизма — но при этом выводе **никакая человеческая жизнь не возможна вообще**.

Практика всей истории человечества доказывает воочию: там, где побеждает атеизм, — умирает нация. От знаменитого пионерского собрания, протокольно постановившего: «Бога нет», — существование или несуществование Бога ни в какой степени не меняется — но меняется жизнь пионеров: они становятся беспризорниками. Философия дидеротов ничего не изменила в основах мироздания — каковы бы они ни были, — но начала сводить к небытию французский народ.

Возникает очень тревожный для нас вопрос: а в какой степени повлияет на дальнейшие судьбы России нынешний советский атеизм? И не знаменует ли он собою начало и нашего конца? Помимо воинствующей пропаганды союза безбожников —

как мог действовать на страну и в особенности на ее молодежь живой пример железной гвардии ленинизма, где все друг друга резали и вырезали, да еще и как! С издевательствами и покаяниями, пытками и беспримерными унижениями, когда Бухарины и прочие на коленях, унижаясь перед лицом всего мира, вымаливали у гениальнейшего, у своего вчерашнего товарища хоть каплю прощения — и не получили ни капли. Как воспитала нынешнее поколение система голода, сыска, шпионажа и террора? Алдановский Ламор говорит — по поводу французской революции, — что террор истребляет одно поколение, но воспитывает другое. Наша молодежь, конечно, воспитывалась террором. Родилась в терроре и жила под его непрерывным «воспитательным» влиянием. Можно было бы привести утешительный пример: татары не перевоспитали за 300 лет, — так как могли большевики за 30? Но этот пример не убедителен: в некотором отношении татары все-таки лучше: они грабили тело народа, но не могли добраться до его души. Удалось ли добраться большевикам? Думаю, что нет. Их живой пример был слишком близок, слишком уж отвратителен и кровав, и — поскольку я могу судить по моим личным переживаниям в СССР, — силен был, конечно, и «страх», но отвращение было все-таки еще сильнее. Отвращение ко всему тому стилю жизни, который установили победители — не только в побежденной России, но и в победившей банде. Дантон по дороге на гильотину играл все-таки какую-то геройскую роль. Но какое воспоминание останется от дрожащей бухаринской сволочи, пресмыкавшейся у ног сволочи сталинской? От всех этих псов, из которых одни уже успели стать растленными, другие еще не успели? «Мировая солидарность трудящихся» продемонстрирована в Кремле столь потрясающим способом, что грядущие поколения едва ли захотят брать с нее пример.

Латинская поговорка утверждает: «Кого Бог захочет погубить, отнимет разум». В применении к большевикам эту поговорку можно было бы видоизменить: «Кого Бог захочет истребить — отнимет совесть». Они, как и революционеры 1789 года, провозгласили мораль без Бога — и истребили самих се-

бя. Я не очень высокого мнения о наших комсомольцах, но думаю, что кремлевский пример безбожной организации жизни не соблазнит даже их.

Однако в комсомольской среде антирелигиозная пропаганда укоренилась, по-видимому, довольно основательно. Комсомол, молодежь есть отчасти наше будущее, наша «смена». Какую же смену исторической декорации принесет с собою эта смена поколений?

Эта тема заставляет меня сделать небольшое отступление в «молодежную сторону». Мы живем в явно демагогическую эпоху. Всякая демагогия есть обращение к наименее умным слоям народа с наиболее беспардонными обещаниями. Обращение к «молодежи» было совершенно неизбежным — и притом обращение к ее наиболее глупому слою «ей-де, молодежи, предстоит переделать мир».

Во времена органические и, следовательно, бездемагогические, нация, общество, государство, отцы говорили юнцам так: «Ты, орясина, учись, через лет 30, Бог даст, генералом станешь и тогда уж и покомандуешь — а пока — цыц!»

В эпохи революционные, т.е., в частности, демагогические, тем же юнцам твердят о том, что именно они являются солью земли и цветом человечества и что поколение более взрослое и более умное есть «отсталый элемент». Именно эта демагогия и вербует пушечное мясо революции.

У меня есть внучка — совсем хорошая внучка, нечего Бога гневить. Прихожу в свою комнату. Из-под кровати голосок: «Деда, уйди. Улитка работает, деда мешает». Отсталый элемент в моем лице извлек представителя молодежи из-под кровати, где он собирался заняться революционными действиями над моими рукописями. Наших взаимных отношений это, конечно, не испортило: Улитка действует совсем так, как ей полагается в ее солидном возрасте: три с половиной года. И она считает себя совсем, совсем умной. За одним единственным исключением: когда нужно идти спать. Тогда я говорю: «Деда умный, деда идет спать. Улитка тоже умная...» Здесь Улитка протестует обязательно.

Все это в порядке вещей, — так же, как и в порядке вещей двадцатилетний юнец, чрезвычайно хороший юнец, у которого, — в особенности, у русского юнца, — гормонов хватает на бросовый экспорт во всем мире, а с мозгами дело обстоит еще туговато, дефицитный товар, нужен импорт из другого поколения.

Я очень люблю молодежь, а русскую в особенности. Если пятнадцатилетний мальчишка совсем не хулиганит — мне это не нравится. Если двадцатилетний парень очень уж религиозен, — мне это тоже не нравится. И вовсе не потому, чтобы хулиганство или безрелигиозность были бы положительными качествами, а потому, что этим возрастам **биологически** свойственен разрыв между избытком гормонов и нехваткой мозгов. Мозги — они в свое время придут, а вот гормоны — они уже не воротятся. Поэтому некий налет атеизма вполне нормален для всякой молодежи во все времена мира.

Свои религиозные представления человек получает или по наследству в ярком, но примитивном виде, или приходит к ним впоследствии — уже как к глубокому, хотя и менее яркому мироощущению. Но в 20 лет детский примитив уже не устраивает по его наивности, понять символическое значение этого примитива человек еще не в состоянии — как не в состоянии всмотреться в мир более пристально: не до этого. Гормоны бурлят, море по колено, дух исполнен всяческой боеспособности: лишь бы подраться, а с кем и почему — более или менее безразлично.

Юношеский, переходной возраст стоит еще на перепутье. Он колеблется во всем, и самое простое решение вопроса кажется ему самым разумным. С очень грубой приблизительностью это можно было бы сказать и о других переходных ступенях человеческого интеллекта: крестьянство принимает религию в ее детской форме, Пушкины, Ломоносовы, Достоевские, Менделеевы, Толстые, Павловы приходят к ней же другим, более трудным, более самостоятельным, но и более прочным путем. Полуинтеллигенция, — вот та, которая сделала нашу революцию, — от народа уже оторвалась, а до пушкинского или павловского уровня еще не доросла. Разница между молодежью и полуинтеллигенцией заключается, в частности, в том,

что молодежь — она вырастает. А полуинтеллигенция, по-видимому, не вырастает никогда.

Таким образом, комсомольского безбожия нельзя принимать ни слишком всерьез, ни слишком буквально. У русской молодежи нет, может быть, веры в Бога, но нет и неверия. Она — как тот негр из киплинговского рассказа, для которого Богом стала динамо-машина. Да, суррогат — но все-таки не безверие. Для комсомольца Богом стал трактор — чем лучше динамо-машины? Да и в трактор наш комсомолец верит не как в орудие его личного будущего благополучия, а как в ступеньку к какому-то все-таки универсальному «добру». Будучи вздут, он начнет искать других ценностей — но тоже универсальных.

Я бы сказал, что русский комсомолец, как он ни будет отбрыкиваться от такого определения, если и атеистичен, то атеистичен тоже по православному. Если он и делает безобразия, то не во имя собственной шкуры, а во имя «мира на земли и благоволения в человецех». Не совсем его вина, что ни из мира, ни из благоволения не получилось ровно ничего: откуда ему, бедняге, было понять действительность, в особенности принимая во внимание то обстоятельство, что и старшие поколения при всей их талантливости — особенными мозгами не блистали.

Однако доказывать неизбежность возврата комсомольца к православию — я не в состоянии. Здесь мы входим в трудно определимую область. По такому же приблизительно поводу Герцен лет 100 тому назад писал: «О той внутренней силе и не вполне сознательной силе, которая столь чудесно сохранила русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и под западными капральскими палками, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унизительным гнетом крепостного состояния... о той силе и вере в себя, которая жива в нашей груди. Эта сила нерушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя, сберегла вне всяких форм и против всяких форм. Для чего? — Покажет будущее».

В другом месте той же книги Герцен пишет: «Я считаю великим счастьем для русского народа, что он не был испорчен

католицизмом. Вместе с католицизмом его миновало и другое зло. Католицизм, подобно некоторым злокачественным болезням, может быть излечен только ядами. Он ведет за собою протестантизм, который освобождает умы с тем, чтобы с другой стороны снова поработить их».

Я привожу Герцена как писателя, который никак не страдал «первым уклоном». Он не договаривает до конца: так в чем же состояла та «внутренняя, не вполне сознательная сила», которая сохранила и сохраняет русский народ? На этот вопрос значительно раньше отвечала Московская Русь, а несколько позже ответили Аксаковы, Достоевский, В. Соловьев, Менделеев, Павлов, Розанов: она состояла в православии.

Точка зрения этих людей на православие не всегда совпадала с теми определениями, которые давали и дают православию профессиональные служители Православной Церкви.

Тема о профессиональных служителях Церкви вызовет, я знаю, такое же отношение со стороны богословов, как и тема о религии со стороны безбожников. Но если мы попытаемся проанализировать любую отрасль человеческой деятельности, любой вид «служения человечеству», то везде и всюду мы, кроме интересов «службы», найдем и интересы «профессии». Медицина есть, конечно, «служба человечеству». Но врачи, по крайней мере подавляющее большинство врачей, кроме интересов службы имеют еще и свои интересы — чисто личные. Это — интересы их собственной карьеры, — в том числе даже и чисто научной, интересы социального положения, в худшем случае — просто интересы врачебного гонорара. Всякий хирург склонен прежде всего резать — и здесь очень трудно отделить интересы пациента от интересов врача. Довоенные попытки ввести у нас венерические диспансеры наталкивались на резкое сопротивление, — в частности и со стороны врачей, которые мотивировали свою оппозицию, так сказать, моральными доводами: страх перед венерическими болезнями служит-де морально сдерживающим началом, ставит некую преграду общественному разврату. Попробую для ясности привести гипотетический случай: если некий Иванов изобретет такое полоскание, кото-

рое начисто ликвидирует все зубные болезни, то зубные врачи протестовать публично, может быть, и не будут, но и в особый восторг тоже не придут — им-то куда будет деваться?

Это касается медицины, той области, в которой процент честных людей доходит, по-видимому, до максимума, в особенности в русской медицине. Адвокатура стоит значительно ниже. Древнеримские законники боролись против медных таблиц, на которых были впервые вырезаны римские законы. Сегодняшние законники прячут свою юриспруденцию в такие дебри многотомности, казуистики, разъяснений, прецедентов и пр., что средний человек сегодняшнего дня, как и средний человек первых веков Рима, стоит одинаково беспомощным перед монопольными владетелями, хранителями и толкователями права.

Было бы слишком банально объяснить это простой недобросовестностью. Здесь действует, помимо всего прочего, консерватизм всякой или почти всякой профессии. Старый русский генерал, скажем, начала 1900-х годов, рос, воспитывался и продвигался в обстановке известной традиции, в которую входила и крепостническая дисциплина, и действие сомкнутыми массами, и стратегия пушечного мяса, и «пуля дура, а штык молодец». Хотел ли этот генерал поражений русской армии? Конечно, нет. Но он боролся и против нарезного оружия, и против пулеметов, и против броневых щитов на артиллерии — боролись даже такие выдающиеся представитель и русского военного мира, как генерал А. Драгомиров. Английские представители английского военного мира примерно так же боролись против введения танков. Русский — еще парусный адмирал, в одном из морских рассказов Станюковича бросает презрительный упрек молодому «паровому» моряку:

— Стыдно-с! Молодой человек, — а служите на самоваре!

Это, к сожалению, общечеловечно. Хотят ли эти люди пользы своему делу? В подавляющем большинстве случаев — хотят. Вредят ли они этому делу? Разумеется, вредят. Можно ли назвать их глупцами? Это — как сказать. Наполеон презрительно выгнал вон Фультона с его проектом парового судна, — а это случилось во время приготовления Булонской экспеди-

ции. Основатель современного Всемирного почтового союза, начальник германской почты Стеффен примерно также выгнал вон юного Ратенау — владельца АИГ, когда тот предложил эдисоновский телефон: «Во всем Берлине не найдется двадцати трех человек, которым могло бы понадобиться это дурацкое изобретение». В Берлине оказалось около полумиллиона людей, которым это изобретение, вопреки Стеффену, все-таки понадобилось. Вирхов пытался ликвидировать на корню коховское открытие туберкулезной палочки, а русская критика скулила об оскудении русской литературы, — как раз в те времена, когда в этой литературе работали Толстой и Достоевский...

Здесь, как я говорил, сказывается исконный консерватизм каждого человека. Парусный адмирал может объяснить очень многое. Он вырос под парусами. Он впитал в себя не только технику, но и поэзию парусного флота: лебединую снежность парусов, лихую акробатику парусного маневра, весь тот склад и стиль жизни, которые выросли на корабле из сочетания парусной техники и крепостнических отношений. Предчувствовал ли он то время, когда вместо белоснежного и безглагольного крепостного «марсового» возникнет замызганный машинным маслом мастеровой, техник, инженер — и вся жизнь станет как-то непонятной и неприемлемой? И не будет в этой жизни ничего, что составляло и гордость, и радость, и карьеру, и даже доход нашего парусного старичка?.. Так рыцари Средних веков смотрели на первый пудовый и топорный аркебуз: может быть, и стреляет, но нам-то от этого что?

***

Я утверждаю, что хранителем православия является русский народ или, иначе, — что православие является национальной религией русского народа.

Если мы посмотрим на религиозную историю человечества не богословским оком, то мы увидим воочию, что мировое распределение религий с очень большой степенью точности повторяет мировое распределение рас или наций. Христианст-

во является исключительно европейской религией, и на месте его рождения — в Палестине — от него не осталось ничего. Тысячелетние попытки продвинуть христианство за пределы европейской расы тоже кончились ничем. Микроскопическое количество новообращенных в Индии, Китае или Японии решительно ничего не меняет в общем положении дел. В пределах европейской расы латинские народы остались верными католицизму, и ни один из них не принял протестантизма — ни в каком из его вариантов. За исключением южных немцев — где очень сильна латинская примесь — все германские страны отбросили католичество. Из славянских стран (если не считать Чехию, которой католицизм был навязан вооруженным путем), только Польша осталась носительницей и жертвой католицизма. Россия от дня рождения своего и до сегодня стоит на православии.

Так обстоит дело сейчас, и мы едва ли можем предполагать, что в обозримый период времени это может измениться. Мысль о национальной религии высказывал и Достоевский, предусмотрительно вложив ее в уста Шатова («Бесы»): «Цель всякого движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него, как в единого истинного... Бог есть синтетическая личность народа, взятого с начала его и до конца... Если великий народ не верует, что в нем истина (именно в одном и именно исключительно)... то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ...»

Вопрос о национальной религии может быть решен в двух плоскостях. Первая: народ творит своего Бога по образу и подобию своему. Вторая: Бог дает каждому народу ту меру познания истины и в той форме этого познания, какая свойственна духовному складу данного народа. И в том и в другом случае данная религия будет идеалом данного народа — безразлично, дан ли этот идеал извне, путем откровения, или выработан народом изнутри, или путем переработки откровения приспособлен к духовным потребностям народа. Этот вопрос,

не безразличный с богословской точки зрения, — совершенно безразличен с морально-политической.

Во всяком случае, православие является национальной религией русского народа и вместе с этим народом склонно рассматривать себя, как будущий светоч всему человечеству. К этому же выводу приходят и некоторые западноевропейские мыслители, разочаровавшиеся и в католицизме, и в протестантизме. Спор о мировом будущем в настоящее время ведут собственно только три религии: православие, католицизм и протестантизм. Во всяком случае, в той сегодняшней обстановке, когда культура белой расы завоевывает весь мир.

Но эта культура практически всегда работала на разъединение людей. Она, впрочем, была не первопричиной, а только орудием того морального состояния, о котором в свое время писал Достоевский («Дневник писателя», 1873, «Введение»): «Все европейцы идут к одной и той же цели... но они все разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости... Они перестают понимать друг друга, они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь... И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других, как личное себе препятствие...»

Русская «всечеловечность», которую Достоевский проповедует во всех своих писаниях, сейчас, я боюсь, несколько поблекла. Во всяком случае, на весьма значительный период времени. Нет все-таки худа без добра: после того, как одни называли нас унтерменшами и зумпфменшами, низшей расой, годной только для удобрения высшей культуры, а другие взращивали свои победы на полях, удобренных нашей кровью, — нам очень бы неплохо идею служения человечеству заменить, — повторяю, хотя бы на время, — идеей служения самим себе. Истинно христианскую формулировку: «Кто хочет быть первым — будь всем слугою», нам нужно попробовать прочесть с конца: «Кто хочет быть всем слугою — будь первым». Мы должны сказать самим себе — скромно, но твердо, что мы, русские, есть моральная аристократия мира, — идущая на смену земельной и финансовой.

***

Роль православия в утверждении и в защите нашего морального первенства может быть сформулирована двояко: чисто богословская формулировка будет утверждать, что только в православных странах истинное учение Христа, полученное из Византии, сохранилось во всей его чистоте. Национальная формулировка будет искать объяснения в духе нации, не только пассивно воспринявшей византийское христианство, но и переработавшей его на свой лад. Против теории переработки богословы будут, конечно, возражать: если переработка, тогда где же нетронутость первоначального учения? Но нужно все-таки сказать, что весь склад византийского православия самым резким образом отличается от русского. И что, например, православие современной Греции или Румынии, ничем догматически не отличающееся от нашего, выросло на иной психологической базе и имеет иную психологическую настроенность.

***

Православие — не только догматически, но и практически — выступает в мире как религия наибольшей человечности и наибольшей любви. Как религия наибольшей надежды и наибольшего оптимизма. Православие оптимистично насквозь, и учение о Богочеловеке есть основной догматический опорный пункт этого оптимизма: Бог есть абсолютная Любовь и абсолютное Добро, и между Богом и человеком есть нерушимая непосредственная личная связь — ибо Бог, как и человек, есть ЛИЧНОСТЬ, а не слепая сила природы.

Человек, следовательно, в этом мире не одинок. И не бесцелен. Если вы когда-нибудь интересовались астрономией — и не с практической целью зазубрить эксцентритет планетных орбит или число тысяч световых лет до одного из таинственных провалов в Галактике, — то вам, вероятно, знакомо непосредственное ощущение бессмыслицы и жути. Где-то на задворках бесконечности болтается микроскопический сгусток

межзвездной пыли — наш Млечный Путь. Где-то в этом сгустке бесследно затеряна солнечная система. На одной из ее пылинок появилась поверхностная ржавчина — земная кора, и на поверхности этой ржавчины подвизаются, видите ли, великие люди и формулируются, видите ли, великие идеи. Бескрайнее одиночество, бессмыслица и жуть. И если материя — все, а дух — ничто, то **все в мире не имеет никакого смысла**. В том числе и вы, и я. И книга, которую я пишу, и Россия, за которую мы, может быть, умрем. Тогда все это совершенно и абсолютно бессмысленно: нелепая гниль на микроскопически тонкой плесени земной коры.

Христос сказал: не хлебом единым жив будет человек. И если вы и живете интересами не только вашей хлебной карточки, то вопроса о смысле или бессмыслице, цели и бесцельности вы не можете не поставить перед своей мыслью — и перед своей совестью тоже. Для огромного большинства человечества этот вопрос и ставится, и разрешается инстинктивно, почти бессознательно, — как инстинктивно и бессознательно ставится и решается вопрос о поле, о любви и о семье. Или, иначе, как ставится и решается вопрос о жертве в пользу защиты родины. Вы никогда и ничего не сможете сказать о Боге человеку, рожденному духовным евнухом. Это точно так же недоказуемо, как недоказуема женская красота для, скажем, Шопенгауэра: что-то в человеке не работает. Мне никогда не приходилось беседовать со Сталиным, но если бы пришлось, я не вижу решительно никакой возможности доказать ему реальность существования, скажем, чувства дружбы и товарищества: у него их нет. Для него Бухарин, пока он был жив, и Ленин, если бы он остался жив, — какие-то гнилостные процессы на плесени земной коры, и раздавить их своим сталинским сапогом ничего решительно не стоит, — не надо даже никакого морального усилия над самим собой. Совершенно ясно и просто — зарезать своего ближайшего друга с тем, чтобы на вырученные из его кармана деньги наслаждаться мороженым или вином, бифштексами или властью: никакой нравственности нет. В мире микроскопической плесени позволено все. И тогда люди истребляют

друг друга. «Бытие Бога» доказывается, так сказать, «от противного». Не хотите? — Ну что ж, попробуйте без Бога...

Практическая сторона всех религий человечества изъедена всякими пороками. Я никак не собираюсь утверждать, что Православная Церковь чужда этих пороков: все в мире очень далеко от совершенства. Но у нас их все-таки меньше, чем где бы то ни было. Православие не организовывало инквизиции, как организовывали ее и католицизм, и протестантство, православие никогда не жгло ведьм и еретиков, и всякие попытки протащить к нам это великое изобретение западноевропейской культуры немедленно встречались самыми резкими протестами со стороны русского церковного мира. Индульгенции, которые жаждавшие прибытков восточные патриархи привозили на Московскую Русь, так и остались нераспроданными: идея взятки Господу Богу Руси была и осталась чужда. Православие почти никогда не пыталось утверждаться и распространяться насилием — первые шаги в этом направлении сделал петровский полупротестантский Синод. Православие несло и несет в мир то искание Божией Правды на грешной нашей земле, которое так характерно для всей русской литературы, для всех преданий и былин русской истории, для всего народа вообще. Православие — не торопится: Бог правду видит, да не скоро скажет. Но все-таки «скажет»! И нельзя ускорять насилием поставленных Им сроков.

Если исключить трагическую историю со старообрядцами, то никогда православие не пыталось навязать себя кому бы то ни было силой. Были завоеваны татарские завоеватели, и никто не трогал их религии. Были как-то включены языческие племена, — и никто не резал их за идолопоклонство, как в соответственных случаях резали другие религии мира. В шестую часть земной суши, на которой вперемешку расположились полтораста наций, народов и племен, — православие внесло невероятно много мира и света, дружбы и любви. Я подчеркиваю слово «невероятно» — ибо это в сущности граничит с чудесным: представьте себе, что на этой территории и среди этих народов «господствующей» оказалась какая бы то

ни было другая религия или другой народ — сколько было бы религиозных войн (а мы их не знали совершенно), сколько было бы костров и застенков, сколько было бы попыток миссионерствовать и рублем и дубьем?

Православная терпимость — как и русская терпимость — происходит, может быть, просто-напросто вследствие великого оптимизма: правда все равно свое возьмет — и зачем торопить ее неправдой? Будущее все равно принадлежит дружбе и любви — зачем торопить их злобой и ненавистью? Мы все равно сильнее других — зачем культивировать чувство зависти? Ведь наша сила — это сила отца, творящая и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и насилующего. Весь смысл бытия русского народа, весь «Свете тихий» православия погибли бы, если бы мы хотя бы один раз, единственный раз в нашей истории, стали бы на путь Германии и сказали бы себе и миру: мы есть высшая раса — несите к ногам нашим всю колбасу и все пиво мира...

...И я все-таки буду утверждать, что наше православие есть результат переработки византийского христианства русским народом. Византия Правды Божией не искала вовсе, — как не ищет ее и современная, тоже православная Греция. Это все-таки идет из каких-то — нам совершенно неизвестных глубин русского народного сознания. Я бы очень советовал русскому читателю самолично проделать такого рода литературно-исторический эксперимент.

Кое-кто из нас еще помнит русский былинный эпос. Очень немногие кое-как знакомы и с германским — с «Песней о Нибелунгах». Прочтите и сравните. Наши богатыри «честно и грозно» стоят на страже земли Русской, живут в несокрушимой дружбе — и если Илья Муромец посмеивается над Алешей Поповичем, то это делается в порядке дружеского зубоскальства. Если Васька Буслаев и хулиганит, то беззлобно, просто от избытка сил, да и то потом кается. Здесь все светло, ясно, дружественно. В «Песне о Нибелунгах» — зависть и предательство, убийство из-за угла, яд, взаимоистребление, — все это громоздится каким-то кошмарным клубком. И в конце этой героической эпопеи герои пьют кровь убитых товарищей

и гибнут все, — гибнут не в борьбе с внешним врагом, а истребляя друг друга до последнего — чтобы «золото Рейна» не попало **никому**. Здесь все окрашено в цвета крови и грязи. Здесь все пропитано завистью и ненавистью. Здесь всякий друг другу наличный враг и потенциальный убийца. И убивают друг друга все. Гибнут не в честном бою за родину, за защиту своих полей и сел, детей и жен, а в каких-то идиотских феодальных войнах из-за выеденного яйца. Найдите в какой-нибудь литературной хрестоматии краткое изложение событий этой всегерманской эпопеи и прочтите сами.

Были и у нас — в Сибири и на Кавказе — вещи, которыми хвастаться нечего. Но все это не может идти ни в какое сравнение с европейским культуртрегерством...

В романе М. Алданова «Девятое Термидора» (пролог) молодой русский, Андрей Кучков, попадает в Париж XII века. Смотрит на сожжение еретиков: «Страшно, но интересно: в Киеве никогда никого не жгли и даже вешали редко». Смотрит с интересом на собор Парижской Богоматери — и «боится немного, как бы этот собор не оказался лучше церкви Святой Софии, которую великий князь Ярослав воздвиг в Киеве на удивление миру. Оказалось, однако, что оба храма совершенно друг на друга не похожи. Оба были на редкость хороши, только киевский светел и приветлив, а парижский угрюм и страшен: **день и ночь**».

Православие светло и приветливо — нет в нем ничего угрюмого и страшного. Оно полно уверенности и оптимизма, — любовь и правда все равно возьмут свое. Русский язык, кажется, единственный язык в мире, который в слово «правда» вложил два по существу противоположных смысла: «правда» — это то, что есть действительность, факт. И «правда» — то, чего нет, чего **еще** нет, но что должно быть. Правда свидетельского показания о настоящем и правда Божьего обещания о будущем — сливаются в одно слово и почти в одно понятие. И русский православный народ веками и веками работает для этого слияния: для превращения Божьей правды в правду реальной действительности.

***

После великой катастрофы мы стоим перед великим возвращением в свой дом, к своему идеалу. Сейчас он загажен и замазан, заклеен лозунгами и заглушен враньем. Но он существует. Нужно очистить его от лозунгов и плакатов, от иностранных переводов и доморощенного вранья, нужно показать его во всей его ясной и светлой простоте. Но не в вымысле «творимой легенды», а в реальности исторических фактов. Наше будущее мы должны строить, исходя из нашего прошлого, — а не из не наших шпаргалок и программ, утопий и демагогии. Всю политическую работу нашего будущего мы должны начинать совсем с другого конца, чем это делали наши деды и наши отцы, — иначе наши дети и внуки придут к тому же, к чему пришли мы: к братским могилам голода и террора, гражданских и мировых войн, к новому периоду первоначального накопления грязи и крови, злобы и ненависти. Нам прежде всего нужно знать нашу историю, — а мы ее не знали.

ВОЕННЫЕ УСИЛИЯ МОСКВЫ

Киевские эмигранты только что ушли из опостылевшего Киева с его боярством, ростовщиками, работорговлей, усобицами, взаимной резней и степными набегами, от которых страну уже некому было охранять: Киев сгнил изнутри. Только что осев на тощих суздальских суглинках, эти люди, заброшенные в далекую, глухую, лесную провинцию, сразу же подымают знамя русской демократической великодержавности. Андрей Боголюбский, сидя в глуши и опираясь на смердов, командует всею Русью, громит крамольное гнездо Киева, становится «самовластцем» — но гибнет от заговора в 1174 году. Его преемники, — в особенности Всеволод Большое Гнездо, — снова подымают упавшее было знамя, но 50 лет после смерти Боголюбского на Русь сваливается татарское нашествие. От возрожденной русской государственности остаются только кровавые осколки. Повинуясь таинственному,

но могучему инстинкту государственности, эти осколки снова начинают как-то концентрироваться, сливаться в единую державу, ликвидируя феодальные попытки внутри страны и в то же время ведя совершенно беспримерную по своей тяжести борьбу вовне ее. Эта борьба — борьба с татарской разновидностью степи — тянется 5 веков — до Екатерины II, или, точнее, до Потемкина-Таврического включительно.

Позднейшие историки будут не без гордости говорить: авангард Европы! Какой тут авангард! Быть авангардом для Польши или Швеции, Тевтонского ордена или позднее тевтонской Пруссии — москвичи, конечно, и не думали. Да и та армия, «авангардом» которой была якобы Москва — во всю меру сил своих старалась съесть свой собственный авангард. И если западноевропейским армиям это не удалось, как не удалось и азиатским, то вовсе не потому, что Европа питала какие бы то ни было нежные чувства к своим защитникам с востока. Русские историки по двухсотлетней привычке рассматривают Россию, как какой-то привесок к Европе — и сами этого не замечая, оценивают русские дела с нерусской точки зрения. Отсюда и теория защиты Европы; при некотором не очень значительном напряжении воображения можно построить и другую, аналогичную теорию: Москва была авангардом Азии, защитила ее от Европы. И эта восточная точка зрения будет также законна, как и западная; ведь, в самом деле, защитили, никого не пустили — ни поляков, ни шведов, ни французов, ни даже немцев. Приблизительно в этой плоскости ставят вопрос так называемые евразийцы. Я думаю, что будет проще поставить вопрос иначе: защищали самих себя. Защищали и против Азии, и против Европы. Европа собиралась нас съесть точно так же, как собиралась и Азия. Неудача никак не зависела ни от азиатских, ни от европейских дружественных чувств по нашему адресу. Мы сумели себя защитить. Однако стоимость этой защиты далеко превзошла все то, что в аналогичных случаях платили народы, которые тоже сумели себя защитить. Те, которые не сумели, заплатили, конечно, дороже: своим национальным существованием. Стоимость нашей защиты мы можем —

очень приблизительно — определить, установив военные усилия Москвы и то разорение, которое приносили с собой не только азиатские набеги, но и наша защита против них.

Мы все знаем официальную историю татарского ига, все эти «дани-невыплаты, хански невыходы», ту контрибуцию, которую лет 400 Русь регулярно выплачивала степным разбойникам. Знаем и о карательных экспедициях ханов, предпринимавшихся или при отказе платить контрибуцию, или при восстаниях, или просто при физической невозможности уплаты. В результате этих контрибуций Руси приходилось платить живыми людьми: тем татарским полоном, который захватывали степняки и продавали потом на всех не только восточных, но и южных рынках — до итальянского и испанского включительно. Гораздо менее известна неофициальная, так сказать, частнопредпринимательская сторона этого ига.

Татарская степь давила и грабила не только в порядке той государственности, центром которой была Золотая Орда. Отдельные отряды предпринимали свои набеги и независимо от Золотой Орды. Иногда это были феодальные ханы, отколовшиеся от централизованного татарского руководства и действовавшие на свои риск и страх, иногда это были просто грабительские шайки, иногда просто орды, которые кочевали поблизости от русских мест и соблазнялись близостью добычи. Об этаких степных викингах наши историки говорят только мельком, и я не знаю, существуют ли в нашей историографии исследования, посвященные быту и потерям этой «малой войны». Платонов в своих «Очерках по истории Смуты» приводит отрывочные данные о стройке и судьбах бесчисленных «украинных городов». Ключевский совсем мельком упоминает о том, что Курск, разоренный Батыем, 350 лет стоял пустым и был восстановлен только при царе Феодоре в 1597 году. От времени до времени подвергалась почти полному уничтожению и сама Москва, но в большинстве случаев ей все-таки удавалось отсидеться, отбиться, и степные хищники, разбившись о ее стены, ее окрестности опустошали совсем уж дотла. Такой книги по-видимому нет, но она была бы чрезвычайно интересна: история

какого-нибудь совсем середняцкого городка, вроде Переяславля-Залесского или Шацка, Путивля и пр. Что пережил он за 300 лет борьбы со степью? Сколько раз оставались от него одни развалины, как на этих развалинах снова появлялись русские люди, снова строили, укрепляли, возделывали, как приходили очередные нашествия, как снова все сметалось с лица земли, и как — с каким-то совсем неправдоподобным упорством — снова появлялись «разного чина люди», опять строился город, и как он все больше и больше становился «тылом» — степь уходила, отступала, впереди нашего Шацка или Путивля создавались новые форпосты, оттесняли степь еще дальше, и как люди сегодняшнего Шацка только в очень туманных преданиях помнят сверхчеловеческие лишения и усилия своих прадедов. Кое-что мы знаем из курсов русской истории. Но в этих курсах нет даже подсчета того, сколько раз подвергалась разгрому столица. То, что сказано о стройке жизни и борьбе украинных городов, воспринимается нами столь же ярко, как и любая статистическая таблица: в таком-то году жило столько-то людей, в таком-то осталось меньше одной десятой. Живой картины у нас нет. Ибо, в сущности, нет у нас и истории нации — проф. Виппер тут совершенно прав. Есть история «правительственных распоряжений и указаний», есть весьма подробная летопись войн и хроника дворцовой жизни со всеми ее альковными подробностями, но истории нации у нас нет. Биография какой-нибудь церквушки Путивля или Ряжска дала бы нам говорящий кинофильм: вот что было прожито и пережито вокруг этой церквушки за 700 лет.

Мы знаем — по Соловьеву, Ключевскому и Платонову, — как создавался и укрепленный пояс вокруг Москвы, эта «линия Мажино» Московской Руси, более удачливая, чем ее французские и прочие подражатели XX столетия. В своем первом известном нам варианте она проходила по Оке в верстах в 80 от Москвы. Коломна, Кашира и Серпухов были **передовыми** укреплениями Москвы. Дальше, к юго-востоку от Оки, шло уже «Поле», территория, где пахарь мог полагаться на собственные силы и еще больше на тонкость собственного слуха и быстроту собственных ног: никакая защита на этом Поле была невозможна.

Окская линия, как и последующие кольца укрепления, не была похожа ни на линию Мажино, ни на Китайскую стену: это был укрепленный пояс, рассчитанный не только на пассивную, но и на активную оборону. Впереди окской линии выдвигалась цепь «сторожей», мелких укрепленных и наблюдательных пунктов, от них высылались «станицы» — конно-разведывательные отряды, между ними протягивались линии засек и завалов, существовала очень сложная и прекрасно разработанная система сигнализации и связи, татарские «сакмы», большие дороги татарских набегов, находились под постоянным наблюдением. И все-таки степь прорывалась в Москву.

Для степняка-кочевника всякий «поход» был вместе с тем и «бытом»: он не нарушал ни привычного образа жизни, ни привычной работы. Кочевали ли его стада в предгорьях Алтая или по степному берегу Оки — было, в сущности, безразлично. Там, где могли пастись баран и конь, — кочевник был у себя дома. Отсюда та страшная легкость передвижения огромных масс, за которою при тогдашней технике никак не мог угнаться никакой оседлый народ. Для пахаря поход — это отрыв от дома, от пашни — следовательно, и от хлеба. Если прорыв на Москву оказывался неудачным — степняк с той же стремительностью откочевывал на восток, с какою он шел на запад, — и угнаться за ним было совершенно невозможно. Не было такого пункта, достигнув которого можно было бы сказать: вот теперь, конечно, цитадель разбойников разрушена — ибо разбойники могли уйти хотя бы и в Монголию — часть их впоследствии и уходила. Очень трудно было — при тогдашней технике, при тогдашних путях сообщения и разбросанности населения — более или менее своевременно обнаружить концентрацию татарских таборов и собрать достаточный заслон. Вынырнувши «искрадом», татары прорывались на Русь острым клином, развертывая свою конницу широким веером, — и сметали все. Они не собирались ни задерживаться, ни укрепляться. Их задача была проще и поэтому легче: налететь, урвать и удрать. Задача обороны была соответственно сложнее, ибо не было определенных стратегических пунктов,

которые надо было защищать в первую очередь. «Стратегическим пунктом» был всякий русский человек, которого можно было взять в плен и продать в рабство. Старики и дети истреблялись, деревни сжигались, работоспособное население уводилось в полон. Этими полоняниками — лучшим элементом страны — были наполнены и восточные, и средиземноморские рынки. Никакая статистика никогда не сможет учесть, сколько миллионов людей страна потеряла только таким образом. Но с очень грубой приблизительностью можно определить, во что именно обошлась эта торговля самим татарам.

Историки анализируют причины упадка Орды и не касаются вопроса, который напрашивается сам по себе: такие налеты очень дорого обходились Руси, но во что именно они обходились татарам?

Мы не знаем цифр населения ни Москвы, ни Орды XIII века. Но судя по тем массам, которые Орда бросала на Москву и которые, кроме того, у нее оставались для других операций, трудно предположить, чтобы татарские массы были бы количественно меньше русских. Шестьсот лет спустя первая всероссийская перепись 1897 года определила количество татар в 1,9 процента ко всему населению империи и русских — в 72,5 процента. Если бы были цифры, допустим, XV века, то они, вероятно, указывали бы на количество татар, равное, допустим, половине русского населения. Или, иначе говоря, начиная от исходного пункта первого татарского нашествия пропорция татар и русских постепенно уменьшалась не в пользу татар. И по всему ходу борьбы Москвы со степью довольно ясно видно, как постепенно слабел напор татарской массы и усиливался отпор русской, как татарские полчища превращались в небольшие сравнительно разбойные отряды, пока завоевание Крыма не положило конец и им.

Здесь опять действуют «неслышные органические причины», говорит Л. Тихомиров. Эти причины едва ли лежали в разнице коэффициента рождаемости. При нападении на Русь и сами татары несли страшные потери. Когда налет удачно сходил с рук, когда татарам удавалось и прорваться и удрать — эти потери,

вероятно, не были особенно велики. Но когда орду перехватывали, — она подвергалась полному уничтожению. В более поздние времена примеры такого уничтожения давали малороссийские гетманы: они подстерегали татарские орды на путях к северу или с севера обратно и вырезывали всех. Казанские походы Ивана III и Ивана IV сопровождались страшной резней. Отголоски этой ожесточенности докатились до наших последних столкновений с Азией — до наших кавказских и среднеазиатских войн. Монгольская степь поставила перед русским народом вопрос о борьбе не на жизнь, а на смерть — и поплатилась жизнью.

Однако и наши потери были чудовищны. Периодически выжигались городские центры страны, — и Курск с его трехсотпятидесятилетним запустением никак не был исключением, — разорялось и разбегалось крестьянское население, лучшие элементы страны или гибли в боях, или уводились в полон, и надо всей страной в течение почти тысячи лет устанавливался постоянный и вызванный беспощадной неизбежностью режим военного положения. Мы никогда не сможем сказать, во что обошелся стране этот режим. Но были сделаны кое-какие подсчеты того, во что обошлась нам Турция.

А. Керсновский в «Истории русской армии» (т. 1, стр. 9) приводит исследования проф. В. Ламанского, согласно которым с XV по XVIII век включительно из Великой и Малой Руси, частично из Польши (Польша тогда владела русскими западными областями) в турецкий плен было уведено от 3 до 5 миллионов человек. На основании исследования архивов венецианской республики проф. Ламанский рисует такую картину: «Венецианские посланники XVI века говорят, что вся прислуга Константинополя у турок и у христиан состояла из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь... Венеция и Франция употребляли русских рабов на военных галерах, как гребцов-колодников, вечно закованных в цепи. Кольберг особенно не жалел денег на покупку этих рабов на рынках Леванта».

Вопрос, как видите, шел не о рынках и «сферах влияния», не о завоеваниях территорий и ограблениях естественных и неес-

тественных богатств, вопрос шел о — быть и не быть. За четыре века после татар Русь потеряла от 3 до 5 миллионов, а это был лучший элемент нации. Сколько она потеряла за время борьбы с татарами? Примите во внимание значение миллиона для тех времен: вся Россия при Иване Грозном насчитывала меньше 5 миллионов. Значит, только турки увели в плен массу, почти равную всему населению страны в середине XVI века. Сколько увели татары? Сколько людей погибло в боях? Сколько их погибло при транспорте живого товара от мест его добычи до мест его сбыта? В сумме это, вероятно, будет в два или в три раза больше людей, чем их имела вся Россия во времена Грозного.

Западная Европа ничего подобного не знала. Никакие степняки не уводили в рабство ее населения. Западная Европа тихо и семейственно резала сама себя. Руси же пришлось с первых дней своего существования до 1941 года включительно бороться за голую жизнь на своей земле.

***

С самого первого дня своего государственного рождения, а может быть, и до этого, Киевская Русь стала строить целую сеть защитных сооружений от степи. Остатки этой сети сейчас известны на Украине под таинственным названием «змиевых валов». Но наши исторические источники ничего об этих укреплениях не говорят — свидетельства о них мы получили только из иностранных источников. И поэтому трудно сказать — переняла ли Москва старокиевскую систему или пришла к ней самостоятельно.

Сооружение защитной линии против вражеских нашествий не является, конечно, особенно оригинальным изобретением. Самым знаменитым из них является Великая Китайская стена: она, как известно не помогла, — монголы завладели Китаем. Самым последним — французская линия Мажино — она тоже не помогла. Отличием московской системы от всех остальных является ее наступательная роль, роль, которую не смог выполнить даже римский вал, ограждавший империю

от тевтонских полчищ. Отличие московской линии, или — точнее — московских линий — от всех остальных линий военной истории заключается в том, что они свою роль выполнили полностью — не только оградили Москву от нашествия с востока, но позволили России перенести ее опорные пункты с берегов Оки на берега Тихого Океана — или, говоря грубо, с расстояния 80 верст от Москвы на расстояние 8 тысяч.

Первая линия, о которой до нас дошли более или менее определенные данные, шла по Оке — с востока, от Мурома на Коломну, Серпухов, Боровск, Можайск, Волоколамск. Это было передовое укрепленное кольцо, внутри которого располагалась цепь внутренних укрепленных пунктов (Богородск, Бронницы, Подольск и др.) и от которого протягивались наружу вооруженные щупальца засек, застав, сторожей и пр. С течением времени эти щупальца превратились во вторую линию укрепленных пунктов: Венев, Рязань, Тула, Одоев, Лихван, Жиздры, Козельск. Эта вторая линия, опираясь на блестящую организацию тыла, — протянула на юг и на восток новые засеки, заставы и сторожи, и из них выросла третья линия: Алатырь, Темников, Шацк, Ряжск, Данков, Новосиль, Орел, Новгород-Северский, Рыльск, Путивль.

Продвигая все дальше и дальше свою стратегическую оборону, Москва при Феодоре закрепляет свою четвертую линию: Воронеж, Оскол, Курск, Ливны, Кромы. Как видите, даже наличие такого, я бы сказал, отсутствующего царя, как Феодор, ни в какой степени не останавливает действия московской оборонительной системы. Ее дальнейшим логическим продолжением является организация казачьих войск: донского, потом кубанского, терского, уральского, потом семиреченского, забайкальского и амурского.

Это была защитная линия польской Украины (от «Поле», так называлась заокская степь). Другие линии протягивались на западе: первая — «немецкая Украина» с Новгородом и Псковом и вторая — «города от литовской Украины»: Смоленск, Великие Луки, Себеж, Заволочье, Невель, Усвяг и Велиж. На «немецкой Украине» Русь воспользовалась готовыми твердынями Новгорода и Пскова и разгромила новгородскую аристократию, как только та попыталась связаться с наследственным врагом

Руси — литовским латинством. Здесь, на «немецкой Украине» была все-таки второстепенная линия фронта, отсюда не было таких страшных набегов, какие шли с востока, и не сюда были направлены основные усилия Москвы. Вопрос жизни и смерти решался тогда не на западе, — он решался на востоке. Лицом к западу Россия стала только после Смутного времени, когда Польша и Швеция протянули свои руки по татарскому образцу — для того, чтобы и пойти по татарским путям.

Быт этих укрепленных пунктов польской Украины академик Платонов рисует так: «Ряд крепостей стоял на границе. В них жил постоянный гарнизон и было приготовлено место для окрестного населения. Из крепостей рассылаются разведочные отряды... а в определенное время года в главнейших крепостях собираются большие массы войск в ожидании набега... Все мелочи крепостной жизни, все маршруты разведочных партий, вся "береговая" или "польная" служба — словом, вся совокупность оборонительных мер определена "наказами" и "росписями". Самым мелочным образом заботятся о том, чтобы быть "усторожливее" и предписывают крайнюю осмотрительность...».

Эти крепости «возникали обычно при реке, вблизи той же реки намечались и земли для служилых городских людей. Московские воеводы с отрядом служилых людей являлись на место, где указано было ставить город, и начинали работы. В то же время они собирали сведения "по речкам" о том, были ли здесь свободные заимщики земель. Узнав о существовании вольного населения, они приглашали его к себе, "велели со всех рек атаманом и казаком лучшим быти к себе в город", государевым именем они жаловали им, т.е. укрепляли за ними их юрты и привлекали их к государевой службе по обороне границ и нового города... Обеспечивался гарнизон новой крепости на первых порах готовыми запасами, доставленными с севера, из других городов, а затем собственной пашней на земле, которую ратные люди получали кругом своего города... Город был устроен так, что его население неизбежно должно было работать в его уезде и поэтому колонизовало места, иногда очень далекие от городской черты... Крупного землевладения — боярского или

монастырского — здесь не видим... здесь господствует мелкопоместное хозяйство, и есть одна только крупная запашка — на "государевой десятинной пашне", которую пахали по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов. Эта пашня была заведена для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на разнообразные нужды. Им довольствовали тех гарнизонных людей, которые не имели своего хозяйства и состояли в гарнизоне временно, "по годам". Казенный хлеб посылали далее в новые города, военное население которых еще не успело завести своей пашни...».

Приблизительно по такой же схеме оборонялась и наступала Московская Русь и вниз по Волге. Ряд «понизовых городов» — Васильсурск, Свияжск, Чебоксары, Кокшайск и пр. — строились по такому же принципу — с той только разницей, что здесь, — не как на Поле, — Москва встречала подчиненные раньше татарам и очень неспокойные угро-финские или монгольские племена: мордву, черемисов, чувашей и другие.

Платонов считает, что тяжкое тягло, лежавшее на населении этих, в особенности южных, городов, сыграло свою роль в Смутное время: оно было источником постоянного недовольства украинной служилой массы. Однако «изумительно быстрый успех» южной колонизации он объясняет главным образом взаимодействием правительства и общества: «В борьбе с народным врагом обе силы, и правительство, и общество, как бы наперерыв идут ему навстречу и взаимной поддержкой умножают свои силы и энергию».

Деля Русь на «правительство» и «общество», Платонов опять прибегает к дидеротовской терминологии: такого деления Московская Русь не знала вообще. Правительство было обществом, и общество было правительством. Правительством были все, кто служил, а служили все. Служба была очень тяжела, но от нее не был избавлен никто. Монахи и купцы, дворяне и мужики, посадские люди и всякая гуляющая публика — все было так или иначе поставлено на государеву службу, даже и уголовные преступники. От этого, в частности, происходит еще одно и весьма существенное различие между нашим и европейским

общественным бытом: в Западной Европе всякая служба по наборам была, во-первых, почетной и, во-вторых, выгодной должностью. У нас она была тем же тяглом, только еще болеет обремененным чисто личной ответственностью. На Западе ее старались добиваться, у нас — от нее старались увильнуть.

Победу Москве, а вместе с ней и России обеспечило единство нации и ее организованность. Не следует, конечно, преувеличивать и того и другого. Как и во всяких делах человеческих, люди старались получить побольше льгот и сбыть побольше тягот. В послепетровской России это и удалось служилому слою, который стал поместным и рабовладельческим дворянством и который лет через полтораста после своей пирровой победы заплатил за нее полной гибелью. Как и во всяких делах человеческих — были и злоупотребления и взятки, и просто разбои. Как и повсюду в ту эпоху — все это обильно поливалось человеческой кровью. Московская Русь никак не была раем земным. Но все дело заключалось в том, что в Москве порядка, справедливости и силы было все-таки больше, чем в любой стране мира в ту же эпоху. И именно поэтому Москва, а не ее соседи, оказалась в конечном счете «победительницей в жизненной борьбе».

История русских потерь в этой страшной борьбе еще не написана. Мимо нашего внимания прошел ряд фактов, которые определили наше прошлое и, по всей вероятности, будут определять наше будущее. Московская Русь платила поистине чудовищную цену в борьбе за свое индивидуальное «я» — платила эту цену постоянно и непрерывно. Постоянная армия Москвы равнялась в мирное время 200 тысяч в среднем — подымаясь в военное время до 400 тысяч и даже 500 тысяч, а «военное время» почти не прерывалось. Налоги на содержание этой огромной по тем временам военной машины охватывали от налогоплательщика до «третьей деньги». В переводе на современный язык это означало бы, что Америка, имеющая в 30 раз больше населения, чем имела его Москва — содержала бы постоянную армию порядка 6 или 8 миллионов и только на эту армию тратила бы суммы от 100 до 150 миллиардов в год — не считая человеческих и материальных потерь

от набегов и войн. И доводя эту армию в случаях серьезных войн до 12–15 миллионов, которые кто-то должен был кормить, обувать, одевать и вооружать. Можно предположить, что при московских геополитических условиях Америка просто перестала бы существовать, как государственно-индивидуальное «я». Оборона этого «я» и с востока, и с запада, и с юга, оборона и нации, и государства, и религии, и «личности», и «общества», и «тела», и «души» — все шло вместе. Отсюда идет некая монолитность московской политики. Отсюда же мы могли бы сделать и некоторые практические выводы.

Первый из них сводится к тому, что русский народ за всю свою одиннадцативековую историю всегда подчинял личные и групповые интересы интересам своего государственного бытия. Исключения — географические и хронологические — были очень редки: «некрасовские запорожцы» в Турции и переход большей половины русской аристократии на сторону Польши и католичества в результате Люблинской унии. Победа Наполеона в 1812 году почти наверняка и почти автоматически привела бы к ликвидации крепостного права в России, — фактически же 1812 год привел к ликвидации Наполеона. Приблизительно то же относится и к гитлеровскому походу, который массы могли бы рассматривать с точки зрения ликвидации колхозного права. Приблизительно то же мы имеем право ожидать в Третью мировую войну. Плохо ли это, хорошо ли это, — но факт остается фактом: «Государство — это мы, а мы — это государство». Даже и в том случае, если государство поставлено откровенно плохо.

Второй вывод: организационная сторона стройки русской государственности стояла выше, чем где бы то ни было и когда бы то ни было в мире. Приблизительно со времен Бисмарка общеевропейская мода привыкла считать Германию образцом организованности. Это в некоторой степени верно: Германия имеет наибольшие организационные способности в мире, — но после России. Две мировые войны проиграны вдребезги. От многовековой колонизационной работы в Балтике, Польше, Чехии и на Балканах — не осталось решительно ничего, и даже не осталось шансов на возобновление этой работы. Наши

казачьи войска было принято называть «иррегулярными», что не обозначает их неорганизованность. Немецкая кавалерия была организована до последней пуговицы. Наше «иррегулярное казачество» свою государственную задачу выполнило целиком. Самая «регулярная» в мире армия — германская — не выполнила никаких задач.

Вопрос заключается в том, что быть одинаково хорошо организованным во всех направлениях — есть вещь физически невозможная. Говоря грубо схематически — стоял такой выбор: или строить шоссе под Москвой, или прокладывать Великий Сибирский путь. Тратить «пятую» или даже «третью деньгу» на «внутреннее благоустройство» или вкладывать ее в оборону национального «я». Только страны, находящиеся в исключительных географических условиях, как острова Гаити, с одной стороны, или Северная Америка — с другой, могли себе позволить роскошь траты всех 100 процентов национального бюджета на внутреннее благоустройство, — конечно, разное для Гаити и для САСШ. Опасность внутреннего благоустройства заключается, в частности, в том, что оно становится **привычным**, и защита национального «я» теряет в своей напряженности — она оказывается непривычной.

МОНАРХИЯ В МОСКВЕ

Французский моралист Вовенарг, современник Вольтера, сказал: «Тот, кто боится людей, любит законы». Русское мировоззрение отличается от всех прочих большим доверием к людям и меньшей любовью к законам. Доверие к людям сплетается из того русского оптимизма, о котором писал проф. Шубарт, по моей формулировке — из православного мироощущения. Напомню еще раз: православие отличается от остальных христианских религий, даже и догматически, тем, что оно «приемлет мир», который, хотя и «во зле лежит», но вследствие нашего греха, нашей ошибки, которую мы по мере нашей возможности должны исправлять. Или, иначе, заботясь о «будущей жизни», мы не должны забывать и эту — ибо и эта создана Творцом.

Отсюда идет доверие к человеку, как к той частице бесконечной любви и бесконечного добра, которая вложена Творцом в каждую человеческую душу. Отсюда же идет и монархия — и не какая-нибудь, а обязательно «милостью Божиею».

Я понимаю, как легко с высоты двадцатилетнего комсомольского величия подсмеиваться над мудростью тысячелетий, тысячелетием проверенной. И как легко издеваться над символами, в которых товарищи комсомольцы не понимают ровным счетом ничего. Однако фактически дело заключается именно в «милости Божией», или, как говорил Грозный: «Не в многомятежном человеческом хотении, а в Божьем соизволении».

Православие предполагает, что человек по природе своей добр. А если и делает безобразия, то потому, что — «соблазны». Соблазны богатства, почета, славы, власти и пр. Если же эти соблазны устранить, то человек, средний человек, более или менее автоматически пойдет по «путям добра». Устранить же соблазн можно двумя путями: для натур исключительных — уход от соблазнов; для средних людей — постановка их над соблазнами. Первый способ ведет в монашество, второй способ — к предоставлению человечеству всего — и богатства, и почета, и власти. Монархический инстинкт народа (а никак не монархическая теория — о теории Москва и слыхом не слыхала) давал человеку все достижимые блага жизни в том расчете, что освобожденный от действия соблазнов человек будет творить «милостию Божиею». Действовать — по римскому выражению — cum bonus pater familias — как добрый отец семейства — отсюда и «Царь-Батюшка».

Практика тысячи лет показала что за очень немногими исключениями совсем средние люди, сидевшие на киевском, московском, а потом на петербургском престоле, — так и действовали — как добрые отцы великого семейства: о чем им собственно было заботиться больше? Они, конечно, делали и ошибки: советская республика за десятки лет бытия своего, а корейская даже и за полгода наделали их больше, чем все цари за всю тысячу лет.

Другая сторона «милости Божией» — это право рождения, а не заслуга. Ибо если спор зайдет о заслугах, то никто и никог-

да ни до чего не договорится. С вашей точки зрения, Сталин есть лучший из людей, с моей — самый кровавый негодяй, какого только знала история человечества, или, во всяком случае, история России. Петр I, с точки зрения Пушкина, — великий гений и великий патриот, а с точки зрения Льва Толстого — пьяный и полубезумный зверь. Но если мы условимся, что право рождения дает право на престол — то никакие споры невозможны. Однако право рождения есть тоже «милость Божия», выраженная в случайности. И, следовательно, устраняющая всякие споры за власть. При монархии одну бесспорную власть безболезненно сменяет другая также бесспорная власть, и никто никого не режет. Бескровно меняют власти также и в республике — но там дело идет о рубле — о том, кто больше даст на агитацию. Кроме того, как показала практика, ни из русской, ни из германской, ни из австрийской, ни из польской, ни из испанской республики не вышло ничего. Вышло самодержавие Сталина, Гитлера, Пилсудского, Франко, Кемаль-паши и пр. Может быть, не стоило свергать самодержцев «милостью Божиею»? И заменять их самодержцами Божьим попущением?

Москва строилась на православии, и одним из практических выводов из этого было московское самодержавие, которое выходило страну, спасло в таких положениях, которые сегодня оказались бы совсем не под силу. Об его историческом пути Лев Тихомиров пишет: «Царская власть развивалась вместе с Россией, вместе с Россией решила спор между аристократией и демократией, между православием и инославием, вместе с Россией была уничтожена татарским игом, вместе с Россией была раздроблена уделами, вместе с Россией объединяла страну, достигла национальной независимости, а затем начала покорять и чужеземные царства...» (т. 2, стр. 56).

И в другом месте Тихомиров спрашивает: «Что же сделала доселе русская монархия для русской нации? Если брать многовековую жизнь ее до 1861 года, то она представляет один из величайших видов монархии, и даже величайший. Она родилась с нацией, жила с нею, росла совместно с ней, возвеличивалась, падала, находила пути общего воскресения и во всех

исторических задачах стояла неизменно во главе национальной жизни. Создать больше того, что есть в нации, она не могла, это по существу невозможно. Государственная власть может лишь хорошо ли, худо, полно или неполно, реализовать то, что имеется в нации. Творить из ничего она не может. Русская монархия за ряд долгих веков исполняла эту реализацию народного содержания с энергией, искренностью и умелостью, которые доказываются самыми последствиями...» (стр. 201).

«Царь заведует настоящим, исходя из прошлого и имея в виду будущее», — пишет Тихомиров...

Только в самое последнее время в эмиграции сделано некое новое открытие. Оно сводится к тому, что «нация» есть не только настоящее, но есть и прошедшее и будущее. И что, следовательно, всякое данное поколение только наследует имущество отцов и дедов, — с тем чтобы передать его детям и внукам. И что данное поколение не имеет права присваивать себе монополию окончательного решения судеб нации: были ведь деды, которые решали как-то иначе, и будут, вероятно, внуки, которые будут что-то решать тоже как-то по-своему. Мы, данное поколение, — только одно из звеньев в общей цепи «нации».

Русская интеллигенция — и революционная, и контрреволюционная — почти в одинаковой степени рассматривали себя, как последнее слово русской истории — без оглядки на прошлое и, следовательно, без предвидения будущего. Каждое поколение прошлого и нынешнего века ломало или пыталось сломать все идейные и моральные стройки предыдущего поколения, клало ноги на стол отцов своих и не предвидело той неизбежности, что кто-то положит ноги свои и на его стол. Базаров клал ноги на стол отцов своих, — базарята положили на его собственный. Ибо если вы отказываете в уважении отцам вашим, то какое имеете вы основание надеяться на уважение со стороны ваших сыновей?

Если бы внутри Москвы установился порядок, при котором идеи и поколения каждого десятилетия разрушали бы работу предыдущего и для того, чтобы быть разрушенным очередным десятилетием, то России не существовало бы давно. Была бы какая-то получухонская, полуславянская колония — то ли Польши, то ли

Швеции, то ли ногайской орды. Но Москва крепко и мудро стояла на охране не только внешних границ, но и внутренней самобытности, на страже своего национального «я». И на вопрос проф. Платонова: «Что шло впереди, политическая ли прозорливость московского владетельного рода или самосознание народных масс?» — можно дать только такой ответ: ничто не «шло впереди», все шли вместе — и царь, и Церковь, и народ, поддерживая друг друга в трудные минуты, — а трудными минутами были все минуты жизни, — не давая пошатнуться ни одному устою национальной жизни России — ни вере, ни царю, ни отечеству.

Наши историки, которые писали в те годы, когда вера стала заменяться если и не совсем атеизмом, то равнодушием, «царь» — республиканским образом мышления, а отечество — космополитизмом, решительно ничего не могли понять в ясности московского склада — ибо он прежде всего был совершенно ясен. Наши ключевские, исходя из дидеротов, никак не могли себе представить, чтобы «общество» и «правительство» друг против друга как-то не подкапывались. И никак не могли сообразить того простого факта, что в Москве «общество» было «правительством», и «правительство» — «обществом». Наши ключевские из тех же дидеротов, в свое время принужденных вести борьбу против католического изуверства, никак не могли понять отсутствия в Москве борьбы между Церковью и государством, отсутствие того характерного для Запада явления, которое именуется клерикализмом. Они не могли объяснить себе ни соборов, ни самоуправления, ни административной системы. Все это было совершенно непохоже на дидеротов! Но так как дидероты казались венцом человеческого прогресса, то Москва автоматически оказалась варварской. Оказывалась варварской и Россия, которую во что бы то ни стало надо снова европеизировать, — ибо даже и Петру это не удалось. Итак — долой соборы, ибо соборы ног на стол не кладут, давайте парламент, уж он не постесняется. Долой самодержавие, ибо оно не позволяло рвать страну в клочки, — давайте партии, они не постесняются. Долой Россию — ибо она «тюрьма народов», давайте СССР — вот там все будут разгуливать на полной своей волюшке... Погуляли...

Французские дидероты были плохи еще и тем, что и сами-то они, как я уже говорил, были более или менее безграмотным переводом с тех же «иностранных речений», только с английских. Монтескье старательно пытался списать английский «Дух законов», Дидерот с его энциклопедистами списывали Чемберса. Списывали, конечно, ничего не понимая, ибо понять чужую страну очень трудно, а может быть, и вовсе невозможно. Но если бы Ключевские и пр., обойдя дидеротов, направили стопы свои к первоисточнику, то они обнаружили бы очень странное сходство между двумя приблизительно одинаково удачными государственными порядками: московским и английским. И там и тут все было нестройно, все росло не геометрически, а органически, английская конституция представляет собой сейчас такую же внешнюю неразбериху, какой была и московская. Так же нет противоречия между централизованной защитой Британской империи и самоуправлением доминионов, ибо и там и там живут англичане. Так же нет разрыва между Церковью и государством — ибо главой Церкви является король. Тред-юнионы точно так же не пытаются «захватить власть», как не пытались делать это посадские люди Москвы. Так же нет никаких республиканских течений, как их не было и в Москве, пропаганда атеизма так же невозможна, как она была невозможна в московские времена.

Но эти параллели, само собой разумеется, до бесконечности не идут. Англия жила и живет на практически неприступном острове, Москва сидела на великом сквозняке между Европой и Азией. Англия могла невозбранно копить свои материальные ценности, Москва сжигала их в кострах непрерывных войн и нашествий. Но мировые империи построили обе: и Англия и Москва. Дидероты с их «декларациями прав человека и гражданина», с латинской четкостью их конституций, с судорожной защитой каждого сантима в каждом мещанском кармане — не построили ничего. Наша послепетровская интеллигенция питалась «речениями» и понятиями Западной Европы — это было плохо и само по себе. Но еще хуже было то, что она питалась и речениями и понятиями уже умирающего западноевропейского материка.

***

Ключевский скорбит о том, что царская власть в Москве страдала «неопределенностью полномочий». Тихомиров как бы поясняет Ключевскому: «Надо всем государством высился “Великий Государь, Самодержец”. Его компетенция в области государства была безгранична. Все, чем только жил народ, его потребности политические, нравственные, семейные, экономические, правовые — все подлежало ведению верховной власти. Не было вопроса, который считался бы не касающимся царя, и сам царь признавал, что за каждого подданного он даст ответ Богу: “аще моим неосмотрением согрешают...” Царь есть направитель всей исторической жизни нации. Это — власть, которая печется и о развитии национальной культуры, и об отдаленнейших судьбах нации».

Ключевский, собственно говоря, прав: полномочия верховной власти были действительно «неопределенны». Да и как можно было их определить? Ключевский ищет юридического определения источников этой власти и, конечно, найти не может, ибо их не было. Другие историки — ищут других источников: феодальные отношения, торговый капитал, дворянская диктатура и пр. и пр.

Самого очевидного вывода, что московское самодержавие было создано народной массой в ее, этой массы, интересе, наши историки — даже и монархические — никак заметить не могут. Бьются лбами о любые сосны: и Византия, и татарский пример, и экономические отношения, и все, что хотите, но выхода из девственной чащи трех сосен как не было — так и нет. Между тем если мы просто-напросто возьмем элементарнейшие факты истории, то мы увидим, что самодержавие было: а) создано массами и б) поддерживалось массами. И создание, и поддержка не имели ничего общего ни с Византией, ни с экономическими отношениями: дело шло об инстинкте самоохранения, об инстинкте жизни.

Я не хочу становиться на ту точку зрения, которая говорит: царская власть спасла Россию. Мне кажется довольно оче-

видным несколько иной ход событий: Россия создала царскую власть и этим спасла сама себя. Или, иначе, царская власть не была никаким заимствованием извне, не была кем-то навязана стране, а была функцией политического сознания народа, и народ устанавливал и восстанавливал эту власть совершенно сознательно, как совершенно сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограничения.

Андрея Боголюбского призвали мизинные люди севера. Московские Даниловичи все время опираются на народные низы — и не только московские, а и рязанские, тверские, новгородские и пр. Иван Грозный, когда ему пришлось туго, — или ему показалось, что пришлось туго, — обращается к черным людям и «грозит» им отречением от престола. Черные люди в горе и панике идут в Александровскую слободу умолять царя остаться на царстве. Очень характерно то, что в своем всенародном покаянии Грозный клянется и божится не в том, что будет править «конституционно», а именно в том, что будет править «самодержавно». Впоследствии «рабоче-крестьянская» Москва протестовала против всяких попыток ограничить самодержавную власть: «Того на Москве искони не важивалось». Но, может быть, самое характерное относится к Смутному времени.

Его история нынче прослежена до мельчайших деталей, и после платоновских очерков к ней едва ли можно что-либо прибавить. По крайней мере, с узко фактической стороны. Платоновской фактической схемы не оспаривают даже и большевики — они только группируют факты по-своему и по-своему их перевирают. Однако ни Платонов, ни тем более большевики не осмеливаются извлечь из опыта Смутного времени довольно очевидного исторического поучения.

Начало Смуте было положено прекращением династии. Из самого центра национальной жизни исчез тот непререкаемый и бесспорный авторитет, который веками судил и рядил внутрисемейные отношения в государстве и ставил всякого на надлежащую ему полку. Годунов таким авторитетом быть уже не мог: его избрали по «заслугам», и как бы ни было законно избрание, — у всякого Шуйского возникла

естественная по человечеству мыслишка: а чем же я, спрашивается, хуже Годунова?

Ведь Шуйский, Воротынский…
Легко сказать, природные князья.
…
Природные, и Рюриковской крови.

А тут «вчерашний раб, татарин, зять Малюты» и прочее в этом роде. Как не воспользоваться моментом и не наверстать вековых боярских проторей и убытков? Шуйские стали мутить. И после смерти Годунова вокруг престола стали возникать самые фантастические комбинации — до семибоярщины включительно. Об этих боярах летописец говорит с, вероятно, бессознательной иронией: «Ничто же им правльшим, точно два месяца властью насладишася»: ничего не вышло. Но даже и наслаждение властью было довольно проблематично: пришлось дрожать то перед ворами, то перед поляками, то перед собственной «чернью».

Кончилось тем, что северные мужики, тяглые мужики, посадские мужики пришли в Москву, разогнали поляков, бродяг и воров, восстановили самодержавие и ушли домой на свои промыслы и пожни, погрозив своим кулачищем будущим кандидатам в олигархи и диктаторы.

ЦАРЬ И СВОБОДА

Я заканчиваю свой обзор истории Москвы, — он, как я уже предупреждал, — очень неполон. Нет, например, ряда иностранных отзывов о богатстве Москвы, о приволье и сытости ее низовой мужицкой жизни, о том, что народ этот может поистине почитаться счастливым — этот отзыв, насколько я помню, принадлежит Олеарию — его, как и многого другого, у меня под рукой нет. Да, по существу, не это играет решающую роль. Наиболее существенное обстоятельство заключается все-таки в том, что Московская Русь выжила — выжила вопреки совершенно окаянной и географии, и истории, и всяким «сырьевым

базам», «производственным отношениям», «экономическим предпосылкам» и прочей марксистской чепухе. Выжив сама, она спасла и все племена русского народа, и все славянство. Если бы не Москва, то со славянством было бы кончено — в этом никаких сомнений быть не может. И если в годы Второй мировой войны немцы от Сталинграда откатились, то это вовсе не из-за счастливой сталинской конституции, а из-за того, и только из-за того, что предшествующие поколения накопили чудовищный запас ценностей — и моральных, и материальных, и даже территориальных. Эти ценности накопила в основном Москва, Петербург получил уже готовенькую империю, и никак нельзя сказать, чтобы он оказался очень уж толковым наследником. Кое-что было приобретено — частью нужное — Прибалтика, юг Украины, Кавказ, частью и вовсе ненужное — Польша. Но было потеряно единство нации, было потеряно чувство национального самоуважения и были потеряны все крестьянские свободы: если Москва была тяглой империей, а Петербург был рабовладельческой, то СССР стал каторжной.

Напомню еще и еще раз основные этапы на тяжком жизненном пути московской монархии.

Она возникает при поддержке мизинных людей Владимира, укрепляется народной революцией при преемниках Андрея, притягивает и стягивает к себе все низы удельных княжеств, в том числе и Новгорода, ее поддерживает и московская посадская масса, и тяглые мужики севера, и низы украинского казачества, и лишенное правящего слоя белорусское крестьянство. Нигде, ни на одном отрезке русской истории, — включая в эти отрезки и Разина с Пугачевым, — вы не найдете ни одного примера протеста массы против монархии. И — с другой стороны — не найдете ни одного примера попытки монархии подавить массы, подавить низы.

И массам, и монархии их линия удавалась не всегда. В Смутное время масса запуталась между кандидатами в цари, но не кандидатами в президенты республики, — в послепетровское время до Николая I у нас монархии не было вообще. Нам, переживающим Смутное время номер второй, очень труд-

но бросить обвинение московской массе начала XVII века: запутаться было совсем не мудрено. Еще труднее бросить упрек послепетровской **монархии**: ее **не было**, и упрекать **некого**. Была диктатура дворянства. И недаром были убраны Петр II, Иоанн Антонович, Петр III и Павел Петрович. Диктатура дворянства кончилась неудачной попыткой убрать и Николая Павловича, но диктатура дворянской администрации оставалась еще 100 лет — только постепенно ликвидируемая монархией.

Московская линия была совершенно ясна — и внутриполитически, и внешнеполитически. Она была ярко национальной и ярко демократической. Совершенно нельзя себе представить, чтобы Москва, завоевав Белоруссию, оставила бы православного русского мужика рабом польского и католического помещика — с Петербургом это случилось. Нельзя себе представить, чтобы Москва вела войны из-за «Генуи и Лукки», из-за венгерского восстания, или прекращала бы победоносную войну из-за преклонения перед знатным иностранцем, как была прекращена Прусская война после завоевания Берлина — из-за преклонения перед Фридрихом II. Диктатуру дворянства в Москве очень трудно себе представить. Но еще труднее — диктатуру остзейского дворянства. Маркс в Москве был вовсе невозможен.

Современная оценка московской монархии — левая оценка — имеет две разновидности.

Первая: азиатский государственный строй.

Это — откровенно глупая оценка, ибо соперники Москвы, имевшие, так сказать, более «европейскую» конституцию — Новгородская республика и польская ограниченная монархия — конкуренции с Москвой не выдержали. Сейчас этой оценки стесняются даже и марксисты.

Вторая оценка: да, этот строй был хорош для своего времени, а теперь нам нужна свобода. О второй оценке стоит поговорить подробнее.

Если бурный и буйный московский посад, тяглые мужики севера, низовые массы Новгорода, а в Смутное время «последние люди государства Московского» так заботливо поддерживали московских князей и царей, — то, очевидно, вовсе не потому,

что — по таинственной русской психологии — были одержимы политическим мазохизмом. И если они проявляли горячий и бурный интерес к политической жизни страны, то очевидно, что они никак не считали и не видели себя политически бесправными или даже политически бессильными. Царь не был ограничителем **ИХ** свободы. Он был представителем **ИХ** свобод. А также — их силы, их роста, их мощи и их национально-государственного сознания. Иначе — незачем было бы выкупать Василия Темного, наседать на Василия III, взывать к Ивану Грозному, протестовать против конституционных «записей» Шуйского и возводить на престол Михаила. Способов отделаться от монархии было сколько угодно. Еще больше было способов просто не поддержать монархию.

Всеми этими способами Московская Русь не воспользовалась. И бессловесной рабой Москва себя не считала. Не надо принимать всерьез, как это делают историки, смиренные подписи под московскими челобитными: «твои, Государь, худые рабишки» — так до 1917 года подписывались под письмами и самые свободолюбивые русские либералы: «Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга имярек». Ни «слугой», ни тем паче «покорнейшим» имярек себя никак не считал. Так было принято. В этом роде принято еще и сейчас: если вам в трамвае наступят на ногу и извинятся, то вы скажете — пожалуйста. Это «пожалуйста» никак не обозначает приглашения наступить еще раз.

Московский человек не чувствовал себя ни рабом, ни пассивным материалом той стройки, которой заведовали московские государи. В какой степени московский человек чувствовал себя свободным человеком?

Особенных свобод в Москве, конечно, не было да и быть не могло: было постоянное осадное положение. И вообще очень трудно было представить, как именно понимал москвич XVII века то, что плебс XX века называет свободой? «Свободы печати» — не было, как не было и «печати» вообще ни в Москве, ни в других местах мира. Свободы религии было больше, чем в других местах мира: инквизиции не было, варфоломеевских ночей не устраивалось, мордва молилась своим мордовским бо-

гам, татарам было оставлено их магометанство. Но если ересь жидовствующих проникла до великокняжеского престола — то Москва подняла скандал, и великому князю пришлось капитулировать. И если католицизм Москва к себе не пускала, то и хорошо делала. Протестантские же кирхи строились свободно — по мере надобности проживавших в Москве иноземцев, однако с условием: не заниматься прозелитизмом. В Европе же в XVII веке из-за религиозных ссор сжигались сотни тысяч людей, и другими способами отправлялись к праотцам миллионы.

Экономических свобод в Москве было больше, чем где бы то ни было в мире. Крестьянин был «тяглецом», т.е. налогоплательщиком, и государство стремилось его попридержать. Однако он мог селиться где ему угодно и как ему угодно: или легально, покрыв свои финансовые обязательства помещику, или нелегально: забрав свои несложные манатки — двинуться то ли в черемисы, то ли в Понизовье — на Волгу — то ли на Дон. Угнаться за этим мужиком не было никакой возможности, да государство и не стремилось гнаться — так шла московская колонизация[7].

Тяглецом был и ремесленник. Однако и ремесленник — как и мелкий торговец — были неизмеримо свободнее, чем в какой бы то ни было современной Москве стране мира: в Москве не было цехов. т.е. не было монополии старожилов ремесла, которые обставляли доступ в свою профессию всякими рогатками, практически непреодолимыми для людей без достаточного кошелька. Эти монополии в какой-то очень большой степени дожили и до Европы сегодняшнего дня... Вообще — в Москве не было того деления людей на классы и подклассы, какое было характерно не только для тогдашней Европы. Даже и дворянство не было строго очерченным сословием: из его состава бывали «нетчики» — дезертиры государевой службы опускались в ряды «однодворцев» и потом в крестьянство. Умелые хозяева из крестьянства и из посадских людей проникали в дворянское сословие, во всякого рода многочисленный служилый элемент,

[7] Крупным торговцам было труднее: они в порядке повинности привлекались ко всякого рода финансовым мероприятиям государства и несли ответственность своим карманом. Иногда — и головой. — *Прим. авт.*

и от них не требовалось, как в Европе, документальных доказательств по меньшей мере трех рыцарских поколений — в Европе иногда требовалось и семь. И, наконец, вся Московская Русь судилась своим судом целовальников или в худшем случае коронным судом воевод, а не баронским судом.

Свобод, всяческих свобод в азиатской Москве было неизмеримо больше, чем в европейской Европе: европейцы и до сих пор называют это бесформенностью русского быта. Россия XIX, и даже начала XX века, имела их меньше, чем Москва — однако больше, чем их имела, например, Германия. И даже чем Великобританская империя, взятая в целом. Ибо если мы будем учитывать Великобританскую империю, взятую в целом, то всячески восторгаясь свободами английской метрополии, — не забудем, что, например, Ирландия была политически совершенно порабощена, а экономически ограблена до нитки: вся земля принадлежала английской аристократии, и ирландские восстания подавлялись с такой жестокостью, что наши 1831 и 1863 годы в Польше — это нянюшкина заботливость по сравнению с ирландскими историями. Сегодняшний ирландский премьер за свои самостийные поползновения был приговорен к повешению, сбежал весьма романтическим образом из тюрьмы и теперь, после Первой мировой войны добившись независимости, — не забудет ни судьбы сэра Кэзмента, ни своей собственной. В аналогичном случае у нас — Костюшко получил свободу и даже деньги на отъезд в Америку, а Пилсудскому прошло безнаказанно даже Безданское дело[8].

Но современный плебс охвачен гипнозом свободы. Я помню толпы 1906 и 1917 годов с красными флагами: «Да здравствует свобода» и «Долой самодержавие»: самодержавие сметено «долой» и наступила «свобода». По иностранным подсчетам, перед 1939 годом в СССР сидело по концлагерям около 7 миллионов людей. Мои собственные подсчеты, сделанные в Учетно-распределительном отделе Беломорско-Балтийского лагеря в 1934 году, несколько скромнее: 5 миллионов. Теперь эта цифра достигает

[8] Ограбление почтового поезда на станции Безданы Петербургско-Варшавской железной дороги с убийством почтовых чиновников и прочими подвигами. — *Прим. авт.*

15 миллионов. Но и те миллионы, которые жили на полной своей «свободной воле» — от лагерников тоже далеко не ушли.

В 1906 году, как и в 1917, все это было еще неясно. Может быть, стало яснее сейчас. Или требуется еще одно фактическое и вещественное доказательство? И еще лет этак на 30–40 и этак еще миллионов на 40–50 жизней?

***

Я не собираюсь говорить о свободе в метафизическом смысле этого слова: моя философская эрудиция читателю, я надеюсь, уже ясна. Но если мы перейдем к практике, то нужно будет поставить вопрос: свобода от чего и для чего? Свобода от тягла, от повинностей? Это могла себе позволить Америка — да и там этому приходит конец. Свобода голосования? Тогда мы должны констатировать, что ни в Англии, ни в Америке свободы голосования нет. Ибо ни там, ни там нет партийной системы управления — вещь, которую русские сеятели как-то совсем уж проворонили.

Ни в Англии, ни в Америке нет партий или, по крайней мере, того, что называется в Европе политической партией. Ни консерваторы и либералы в Англии — наследникиториев и вигов — ни республиканцы и демократы в Америке — наследники тех жеториев и вигов — не имеют никакой программы. И если вы возьмете любой труд по английскому или американскому так называемому «государственному» праву или статью на эту тему в любой энциклопедии, то вы увидите, что авторы и трудов и статей никак не могут определить: а чем же, собственно, отличаются консерваторы от либералов и республиканцы от демократов? Вообще, — в самых общих чертах, — консерваторы более «империалистичны», либералы более миролюбивы. Но о миролюбии говорят и консерваторы, а империалистическую политику ведут и либералы — и никак ни хуже консерваторов. Эти две пары партий есть просто организация двух совсем спаянных между собою групп правящего слоя, которые работают на смену, но которые делают одно и то же дело и проводят одну и ту же программу, выигрывая или проигрывая

не по программным вопросам, — ибо их нет, — а по текущим нуждам текущей политики, или, точнее, — экономики.

Избиратель может голосовать за одну из этих партий, но не может голосовать ни за какую иную — ибо в Англии и Америке избирательная система построена на относительном большинстве голосов: вещь настолько важная, что с ней стоит познакомиться.

Для упрощения представим себе, что у нас имеется сто один избиратель и 25 партий. И что из всех этих партий одна получила пять голосов, а все остальные по четыре. Партия, получившая пять голосов, получает **все** соответствующие места в парламенте. Остальные 24 партии, получившие в сумме 96 голосов, — не получают **ни одного**.

В отдельном избирательном участке может случиться, что пройдет кандидат, не принадлежащий к монопольным «партиям», консервативной или либеральной. Он попадает в парламент и будет там сидеть один как перст. Ни вреда, ни пользы от этого никому никакой. В общей избирательной машине страны весь избирательный, пропагандистский и прочий аппарат монополизирован двумя партиями: избиратель может выбирать только одну из двух. На этом, в частности, основывается консерватизм и английской, и американской политики, а он, в свою очередь, исходит из психологического консерватизма англо-саксонских народов — из их государственной традиции.

В материковой Европе действует пропорциональное избирательное право. Сто один голос может быть распределен так, что в парламент, как то было в Веймарской Германии, попадут представители сорока двух партий. Сорок две партии сговориться, разумеется, никак не могут. Начнется парламентский кабак, который ликвидируется пришествием Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини и пр., — и парламентарные свободы автоматически кончаются Соловками, Дахау и прочими местами парламентарного успокоения и упокоения. Это есть факты. Они могут нравиться и могут не нравиться, но от них никуда не уйти.

«Свобода голосования» есть совершеннейшая иллюзия. Ее вообще не существует. Свобода голосования предполагает свобо-

ду выбора: в Англии и Америке эта свобода ограничена вековой монополией двух не-партий. Свобода голосования предполагает дальше, что избиратель, действуя в здравом уме и твердой памяти (что бывает не всегда — вспомните Бунина, участвовавшего в большевистской печати и восторженные стада на Невском в феврале 1917 года), во-первых, достаточно толково информирован о положении вещей и, во-вторых, достаточно толково сможет разобраться в этой информации. И то и другое является тоже иллюзией. Партии ведут себя, как ведет себя всякая лавочка: расхваливают свой товар и чихвостят товар конкурентов. В тех случаях, когда лавочка выросла в вековую и очень солидную фирму, — она, как английские консерваторы и либералы, враньем не занимается, да и не к чему: выбора все равно нет — или консерваторы, или либералы. Так, например, столь, солидное предприятие, как банк Ротшильда, не имеет даже вывески на своем здании: кому нужно — найдет. Английский банк тоже не имеет вывески. Вместо нее на его фасаде красуется нравоучительная сентенция: «Все, что есть на земле и под землей, принадлежит Господу Богу» — акционеров просят не вмешиваться...

Таким образом, в классической стране политической свободы — в Англии — избиратель получает свою информацию из монопольных источников и может нести свой голос только монопольным организациям — свобода не очень велика. Английский избиратель — очень толковый избиратель, и, кроме того, он даже и в средней рабочей среде имеет акции кое-каких предприятий, например в Индии. Этими предприятиями английский капитал заведует очень хорошо: не следует трогать английского капитала — это грозит убытками. Американские капитаны промышленности очень неплохо организовали американскую индустрию — пусть они и правят. И там и там есть признание самодержавия финансово-промышленных групп. Материковая Европа сменила самодержавие капитала (самодержавия царей у нее, собственно, никогда не было) самодержавием отцов народа и спасателей отечеств, разных отечеств: русского, германского, итальянского, испанского, польского и пр. Отечества были спасены в самом лучшем виде.

Понятие свободы, взятое отвлеченно, в разрезе «да здравствует», — есть понятие вздорное. Свобода может быть и будет здравствовать, но вам-то придется совсем плохо. Рядовой человек, т.е. в данном случае не профессионал политики, заинтересован в целой массе совсем простых вещей: в свободе труда, веры, передвижения, в безопасности от татар и от чекистов, и в том, чтобы его не заставляли кричать «ура» татарам или чекистам. Он, рядовой человек, не собирается садиться ни на место Сталина, ни даже на место Клемансо. Интересы партийной борьбы **всегда** направлены против его интересов. Партийные дяди норовят сделать себе капитал — политический и просто наличный, обыкновенный капитал. В таких богатых и традиционных странах, как Англия и Америка, в политическую борьбу вступают только люди с большими — очень большими капиталами. А если случайно выдвигается нужный, но безденежный человек, то делается так, как было сделано с м-ром Макдональдом: его добрый приятель и почитатель подарил ему 200 тысяч фунтов (2 миллиона рублей золотом). Это раскрылось, — однако никакой сенсации не произвело: неудобно же политику сидеть без денег, а дружеский подарок — это ведь не взятка!

Но где-нибудь во Франции, в Германии, Италии и прочих человек идет в политику. И так как в наше время все требует специализации, то никаких других дел он вести не может: его должна оплачивать политика. Другие занимаются банковскими делами или зубоврачеванием, пишут книги или картины, играют на сцене или изобретают новую систему подтяжек. Что же остается профессиональному политику? В министры попадает один из ста, да и то ненадолго, да и министерский пост оплачивается ерундой. Что же остается? Не питаться же «сухожилием и яичной скорлупой»? Начинается настоящая политическая жизнь: т.е. жизнь на задворках биржи... В балканских странах, где еще сохранялась вместе с парламентским режимом этакая нетронутая девственность побуждений, всякая парламентская оппозиция мотивировалась очень простым доводом: «Ты вот сидишь министром уже год — довольно наворовал, дай и мне». Ненамного лучше было и во Франции — лидер партии, попавший в министры,

должен был поставить «на кормление» и всех своих приспешников. И так как министерская жизнь бывала очень скоротечной, то приспешникам приходилось не дремать и не зевать. Свобода Франции — свобода от Бурбонов — была сохранена. Пришлось только отдавать ее то Гогенцоллернам, то Гитлерам...

Гипноз свободы оплачивается очень дорого, как и гипноз любого вранья. Русский народ имел свободу в Москве, для того чтобы наполовину потерять ее в Петербурге и попасть на галерные работы в СССР. После СССР нам будут предлагать очень многое. И все будут врать в свою лавочку. Будет много кандидатов: в министры и вожди, в партийные лидеры и военные диктаторы. Будут ставленники банков и ставленники трестов — не наших. Будут ставленники одних иностранцев и ставленники других. И все будут говорить прежде всего о свободах: самая многообещающая и самая ни к чему не обязывающая тема для вранья: свободу, как нам уже доподлинно известно, организовали все. И Сталин, и Гитлер, и Муссолини и даже покойный Пилсудский.

Появятся, конечно, и новые пророки — изобретатели какого-нибудь нового земного рая — то ли в одной нашей стране, то ли во всей поднебесной. Появятся и новые сумасшедшие вроде Фурье с его летающими тиграми. Появятся и новые моралисты вроде Толстого с его непротивлением или «сколько земли человеку нужно»[9].

В общем — будет всякое. И на всякого «мудреца» найдется довольно простаков — с этим ничего не поделаешь: бараны имеются во всех странах мира — от самых тоталитарных до самых демократических. Их, как известно, не сеют и не жнут.

Постарайтесь не попасть в их число. **Это — не так просто, как кажется.** Вот наше поколение — оно попало, не будучи, может быть, намного глупее предшествующих поколений. Но дело все в том, что ему слишком много врали. И если исключить историю СССР, то, как мне кажется, никогда у нас не громоздилось столько вранья, упорного, научного и настойчивого, как в описаниях и оценке «славных дней Петра», похоронивших под собой старую Московскую Русь...

[9] Ответ, как известно, гласил: три аршина — на могилу. — *Прим. авт.*

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПЕТР I

РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

В тысячелетнем ряду носителей русской верховной власти Петр I занимает совсем особое положение. Носители этой власти, начиная с Олега и кончая Николаем II, дали чрезвычайно немногих людей с ярко выраженной индивидуальной линией в политике. Если исключить XVIII век с его надломом русской монархической идеи и его дворцовыми переворотами, цареубийствами и преторианством — то можно сказать, что русская история выработала совершенно определенный тип «Царя-Хозяина», — расчетливого и осторожного «собирателя земли», ее защитника и устроителя, чуждого каких бы то ни было авантюрных порывов, — но и чуждого той индивидуальной яркости, какую дает в политике авантюра. Русские цари были очень плохими поставщиками какого бы то ни было материала для легенд. И даже для тех исторических лозунгов и афоризмов, которые обычно редактируются новейшими летописцами и историками. Это был очень длинный ряд высокого качества средних людей. Инерция чудовищных пространств и чудовищной ответственности как бы сковывала их личные порывы и, может быть, трудно найти в истории еще один пример, где личная и по закону ничем не ограниченная власть так сурово отказывалась бы от личной политики и работала бы в рамках такого

железного самоограничения. Менялись столицы, менялись династии, ломался социальный строй страны, возникали, падали, снова возникали и снова падали ее враги, росла ее территория, но задачи верховной власти оставались, по существу своему, теми же самыми. И они очень хорошо укладывались в формулировку: «Державный Хозяин земли Русской».

Если искать в истории принципиальную противоположность русской монархии, то носителем этой противоположности будет не республика — это будет бонапартизм с его пышной фразой, с его театральным жестом, с его вождизмом и с его полной беспощадностью к народу и к стране, — республика такой беспощадности все-таки не знает. Бонапартизм рассматривает народ, как боевого коня, — и превращает его в клячу, как превратили Францию два Наполеона — I и III. Державный Хозяин есть прежде всего хозяин — с хозяйским глазом и хозяйским расчетом, — прозаическим, бережливым, иногда и скопидомским. Александр Невский вел такую же расчетливую, скопидомскую политику по отношению к Орде, как Иван III по отношению к удельным князьям или Николай I по отношению к дворянству. Жизнь огромного народа ставила свои очередные задачи — и эти задачи решались с той осторожной мудростью, какая дается сознанием столь же огромной ответственности. Иногда это решение казалось слишком медленным, но оно всегда оказывалось окончательным. Мы сейчас живем в период какой-то судорожной решимости, и мы, может быть, больше, чем другие поколения истории, можем оценить сомнительные преимущества эпилептических движений в политике. Сейчас все, или почти все, пытаются в 24 счета решить все вопросы на тысячу лет вперед — ни копейки меньше. А иногда больше: большевизм пытается решить их навсегда.

Тем последующим деятелям мировой политики, которые будут осторожнее уже по одному тому, что мир обеднеет в совершенно чудовищной степени, — придется забыть о тысячелетних планах и работать по системе Александра Невского или Николая I и расхлебывать кашу, заваренную их

эпилептическими предшественниками. Это будет медленная и очень прозаическая работа. Для того чтобы погубить половину конского поголовья России и уничтожить половину ее промышленных лесов — достаточно лозунга, нагана и активиста. Но для того, чтобы снова вырастить этих коней, для того, чтобы снова дать вырасти лесам — потребуются десятилетия совсем прозаической работы. Той работы, которая не дает никаких тем для легенды и после которой не остается ни Вандомских колонн, ни гигантов на бронзовых, а также и на прочих, конях.

По странному свойству человеческой психологии — великие памятники воздвигаются именно великим поджигателям мира. Алексею Михайловичу, который вытащил Россию из дыры (или при котором Россия вылезла из дыры), не поставлено ни одного памятника. Наполеон стал легендой, сладчайшим воспоминанием умирающей Франции, которая умиранием обязана преимущественно ему — этому «Великому Корсиканцу» — даже и не французу. Россия больше всего памятников воздвигла именно Петру. И бронзовых, и тем более литературных.

Петр является необычайно ярким исключением в ряду русских великих князей, потом царей, потом императоров: это был как бы взрыв индивидуальности на тысячелетнем фоне довольно однотипных строителей, хозяев и домоседов. Он, конечно, действовал на воображение. Несколько дальше мы увидим, как это воображение подчинило себе элементарнейшие логические способности даже и таких объективных историков, как Ключевский. Эпоха Петра, как бы ее ни оценивать, является крутым и почти беспримерным в своей резкости переломом в русской истории. Со значением этого перелома можно сравнивать только битву при Калке и Октябрьскую революцию. Он определил собою конец Московской Руси, т.е. целого исторического периода, со всем тем хорошим и плохим, что в ней было, и начал собою европейский, петровский, петербургский, или имперский период, кончившийся Октябрьской революцией. И в центре этого перелома стоит личность Петра.

ЛИЧНОСТЬ И МАССА

Вопрос о личной роли Петра в ходе русской истории более или менее автоматически приводит нас к несколько метафизическому вопросу о роли личности в истории вообще. На эту тему написано много тысяч томов. Марксизм, как известно, начал с полного отрицания роли личности и кончил обожествлением вождя и отца народов — в таких масштабах и в таком стиле, какие были известны только древним монархиям Востока — вот вроде ассирийской. Наша народническая теория (Лавров), впервые сформулировавшая понятия «критически мыслящей личности», творящей историю вопреки воле масс, ни одной «личности» так и не выдвинула. Современная нам Европа капитулирует перед более или менее безличными англо-американскими демократиями. Моя собственная теория, вероятно, уже известная читателям, относится к культу личности довольно мрачно: «гений в политике — это хуже чумы».

Повторяю еще раз: вопрос о личности и о массе поставлен методологически неправильно. И он может быть решен только в том случае, если мы и «личности», и «массе» уделим какой-то процент участия в общих наших делах, — процент, который в разных случаях будет иметь разную величину. В науке роль «массы» будет равна приблизительно нулю. В текущей политике личность может натворить очень много, но длительные исторические процессы сводят все-таки ее роль к категории исторических случайностей, которые выравниваются последующим ходом событий. Однако на каком-то данном отрезке истории личность может сыграть колоссальную роль. Ленин, организовавший Октябрьское восстание вопреки мнению всех остальных членов Центрального Комитета партии и выигравший это восстание, может служить классическим примером подчинения «истории» воле «вождя». Но «дело Ленина» сейчас еще не вполне закончено. «Санкт-Петербургский» период русской истории можно считать конченным. Не пора ли подсчитывать прибыли и убытки, от него происшедшие?

В. Ключевский, который вообще избегает высокопарных формулировок, считает Петра «одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие, по неизведанным еще причинам, от времени до времени появляются в человечестве» — к этой формулировке я буду придираться несколько позже. Почти все остальные историки, — в том числе и советская официальная история СССР, — считают Петра гением — просто и безоговорочно. Ключевский, сравнивая Петра с Александром Македонским, отдает, впрочем, предпочтение последнему. Это предпочтение мне кажется мало обоснованным: дело Александра рухнуло на другой день после его смерти. Дело Петра продержалось, как-никак, 200 лет. Еще менее удачно сравнение Петра с Наполеоном: «дело» Наполеона не дожило даже и до смерти корсиканского героя: наполеоновская Франция была оккупирована союзниками, и сам Наполеон кончил свои дни не столько изгнанником, сколько арестантом. Петр был счастливее своих конкурентов по гениальности: Россия 200 лет жила под звездой его гения, и даже большевики пытаются найти моральное подкрепление своей политике в славных традициях Петра.

Зрелище получается поистине занятное: Екатерина II и теоретик русского монархизма Л. Тихомиров — с одной стороны, Сталин и теоретики революции Маркс и Энгельс, — с другой, трогательно сходятся в оценке петровской гениальности. Какой другой деятель мировой истории может похвастаться столь разношерстными почитателями!

К вопросу о гениальности Петра я вернусь несколько ниже. Здесь нам нужно установить тот факт, что вся совокупность так называемых «петровских реформ» оставила очень глубокий след в истории России. Результаты этих реформ мы чувствуем и расхлебываем еще и сегодня. Очень трудно предположить, чтобы ближайшие поколения смогли бы эмансипироваться от политических последствий Петра, и еще менее вероятно, чтобы историческая оценка этих последствий привела бы нас хоть к кое-какому единодушию. Если и 200 лет после своей смерти человек продолжает оставаться живым символом

живых политических интересов и страстей, то уж это одно свидетельствует об огромности сдвига, им произведенного или им символизируемого. Можно утверждать, что ни в одной стране, ни один человек не оставил таких глубоких — и таких спорных следов своей работы, какие оставил в России Петр.

Что мы должны отнести на долю его гениальности и что на долю исторического процесса? Думаю, что аптеки, в которой могли бы быть взвешены отдельные составные части этой исторической микстуры, еще не существует. Думаю также, что в личной роли Петра — огромную, решающую роль сыграло его право рождения, никакого отношения к гениальности не имеющее. Наши историки как-то не заметили и не отметили того факта, что Петр был не только царем, он был царем почти непосредственно после Смуты, т.е. после той катастрофы, когда прекращение династии Грозного привело Россию буквально на край гибели и когда только восстановление монархии поставило точку над страшными бедствиями гражданской войны, осложненной иностранной интервенцией. Московские люди XVII века еще помнили — не могли не помнить — всего того, что пережила страна в эпоху междуцарствия. Распря Софии с Петром грозила тем же междуцарствием — не оттого ли вся Москва так сразу, «всем миром» стала на сторону Петра? И не оттого ли вся Россия при всяческих колебаниях булавинских бунтов и староверческой пропаганды все-таки в общем поддерживала Петра? Петр для многих, очень многих, — казался чуть ли не Божьей карой. Но был ли лучшим выходом Булавин, — с его новыми ворами? Или Софья с повторением семибоярщины? Или гражданская война в Москве с повторением всей смутной эпопеи совсем заново?

Петр для очень многих казался плохим — совсем плохим царем. Но самый плохой царь казался все-таки лучше самой лучшей революции. Несколько неожиданным оказался тот факт, что в Петре совместилась и монархия, и революция, но это совмещение современники Петра едва ли успели заметить: революционные перемены Петра нарастали постепенно — от случая к случаю — «рождались войной», как говорят нынешние

историки... Они никогда не фигурировали в форме тех «программ», какие предлагали обездоленному человечеству его такие лучшие друзья, как Ленин и Гитлер. Все это вырастало постепенно: сначала потешные, — почему бы и нет? Потом поход в Азов, — Азов для Москвы был очень нужен. Потом стройка флота, — флот стали строить и до Петра. Потом войны со Швецией, — на Швецию Москва нацеливалась очень давно. Для войны нужна регулярная армия, — ее стал заводить уже Грозный. Потом столица в Петербурге, — но и без Петербурга Москва Петра вообще видывала только мельком — и был ли он в Петербурге или околачивался по заграницам — для Москвы было безразлично. Пьянство, табак, немецкие кафтаны, антирелигиозное хулиганство оценивались сначала как ребячья блажь: «Женится — остепенится». Но и женитьба не остепенила.

Во всяком случае, в «революции» Петра отсутствовал самый основной революционный элемент: насильственный захват власти, отсутствовал тот обычно весьма четкий перелом, который определяет «старый режим» от его революционного наследника. В лице Петра «революцию» производил сам «старый режим» и производил ее: а) законными средствами и б) с патриотической целью. И, наконец, революционный оттенок петровские деяния получили уже только впоследствии — во всей их сумме. Современникам она казалась нарастающим рядом безобразий и неудач, но никак не революцией. И петровская Россия, несмотря на резкое осуждение деяний и методов Петра, — на «контрреволюцию» все-таки не пошла. Это объясняет прижизненный успех петровских реформ. Их посмертный успех был закреплен новым соотношением социальных сил, о каком Петр, разумеется, и понятия не имел.

Таким образом, «личная» роль Петра в истории объясняется прежде всего рядом внеличных факторов. Тем, что Петр родился царем, тем, что он родился царем после междуцарствия, и тем, что он вступил на престол в тот момент, когда Россия и без него уже перестраивалась, и когда она, в частности, от чисто оборонительной политики переходила к наступательной. В эти объективные факторы резко вклинились личные

свойства Петра. И именно личные свойства придали реформе характер революции. Не будь этих личных свойств, история петровских дел и деяний имела бы, вероятно, намного менее спорный характер, чем тот, который она имеет сейчас.

ЛИЧНОСТЬ ПЕТРА

Ни одному деятелю русской истории не повезло так, как повезло Петру. Ни одно имя не обросло таким количеством литературы, легенд, апокрифов и вранья. Сейчас, читая даже такого объективного и спокойного историка, как Ключевский, невольно приходишь в некоторое изумление: Ключевский делает вид, что он совершенно не знает целого ряда элементарнейших фактов и в нашей, и в европейской истории, и что для него совершенно не обязательны элементарнейшие законы логики: его частные выводы и оценки находятся в вопиющем противоречии с его же общими оценками и выводами. Ниже я попытаюсь доказать это документально. Еще более противоречива общая литературная оценка Великого Преобразователя.

Едва ли стоит говорить об оценке Петра со стороны его соратников. И если Неплюев писал, что «Петр научил нас узнавать, что и мы — люди», а канцлер Головин, что «мы тако рещи из небытия в бытие произведены», то это просто придворный подхалимаж, нам нынче очень хорошо известный по современным советским писаниям об отце народов. Производить Московское государство «из небытия в бытие» и убеждать москвичей, что и они — люди, не было решительно никакой надобности: Москва считала себя Третьим Римом, «а четвертому не быти», а москвич считал себя последним, самым последним в мире оплотом и хранителем истинного христианства. Комплексом неполноценности Москва не страдала никак. И петровское чинопроизводство «в люди» москвичу решительно не было нужно.

Дальше идут оценки, к которым понятие подхалимажа никак неприложимо. Их основной тон — почти на столетие — дал Пушкин. Его влюбленность в Петра и в «дело Петрово»,

и в «град Петра» проходит красной нитью сквозь все пушкинские творчество. Пушкин не видит никаких теневых сторон. Только «начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни»; дальнейшие дни — дни славы, побед, творимой легенды о «медном всаднике» и о «гиганте на бронзовом коне», который

...над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию вздернул на дыбы...

«Медный всадник» дал тон, который стал почти обязательным — тон этот общеизвестен. Менее известен толстовский отзыв о «Великом Преобразователе». По политическим условиям старой России он, конечно, опубликован быть не мог.

Пушкин слал свое пожелание:

Красуйся, град Петра, и стой
Неколебимо, как Россия

— а Достоевский пророчествовал: «Петербургу быть пусту». П. Милюков рисовал Петра прежде всего как растратчика народного достояния, а Соловьев видел в нем великого вождя, которого только и ждала Россия, уже собравшаяся в какой-то новый, ей еще неизвестный путь. Мережковскому в Петре мерещился его старый приятель — Антихрист. Алексей Толстой (советский) в своем «Петре I» пытается канонизировать Сталина, здесь социальный заказ выпирает, как шило из мешка: психологически вы видите здесь сталинскую Россию, петровскими методами реализующую петровский же лозунг: «Догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Сталин восстает продолжателем дела Петра, этаким Иосифом Петровичем, заканчивающим дело Великого Преобразователя. Официальная советская словесность возвращается к пушкинскому гиганту, — а «мятежи и казни» приобретают, так сказать, вполне легитимный характер: даже и Петр так делал, а уж он ли не патриот своего отечества! Великим патриотом считал Петра уже Чернышевский — духовный отец и теоретический изобретатель сегодняшних колхозов. Маркс и Энгельс также считали

Петра «истинно великим человеком». Несколько осторожнее, но в том же роде выражался и Ленин. Официальная история СССР, можно сказать, классически объясняет милюковскую критику деяний Петра: «Вождь российской буржуазии Милюков старался накануне революции 1905 года в России вылить всю ненависть своего класса ко всему новому, **взрывающему старое**» (Подчеркнуто мною. — *И. С.*).

Оценивается по-разному даже и внешность Петра. Академик Шмурло так живописует свое впечатление от петровского бюста работы Растрелли: «Полный духовной мощи, непреклонной воли повелительный взор, напряженная мысль роднят этот бюст с Моисеем Микельанджело. Это поистине грозный царь могущий вызвать трепет, но в то же время величавый, благородный».

На той же странице той же книги того же Шмурло приведен и другой отзыв — отзыв художника — академика Бенуа о гипсовой маске, снятой с Петра в 1718 году: «Лицо Петра сделалось в это время мрачным, прямо ужасающим своей грозностью. Можно представить себе, какое впечатление должна была производить эта страшная голова, поставленная на гигантском теле, при этом еще бегающие глаза и страшные конвульсии, превращающие это лицо в чудовищно фантастический образ», — о «благородстве» Бенуа не говорит ничего.

Разноголосица, как вы видите сами, совершенно несусветная. На ее крайних точках стоят два мнения, категорически противоположные друг другу: мнение величайшего поэта России и мнение величайшего писателя. Эти мнения, конечно, непримиримы никак. Где-то посередине между этими непримиримостями поместилось поистине умилительное мнение Ключевского: «Петр по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их...».

Да углубит Господь Бог понимательные способности наших историков. И прошлых, и в особенности будущих!

Об иностранных оценках я не буду говорить. Они в общем складываются довольно однотипно. Их лучшим выражением явятся, пожалуй, довольно длинные стишки князя Вязем-

ского, выгравированные на памятнике Петру в Карлсбаде. На гигантской скале, возвышающейся над немецким курортом, воздвигнут огромный бронзовый бюст Петра и на этом бюсте — стихи — в русском оригинале и в немецком переводе. Стишки начинаются так:

Великий Петр. Твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный...

Для немецкого — тоже. Именно по священным следам Петра потекли русские денежки во всякие Карлсбады и Мариенбады, построенные в основном за наш счет. И — еще за счет наших собственных курортов. Немцы смотрят и искренне умиляются: вот это был клиент! Вот он-то «прорубил окно в Европу». И в это окно русское барство понесло русские рубли, выколоченные из русского мужика. Экономическая база исторической оценки построена прочно.

***

Вот вам, значит, «суд истории», судебное заседание длилось 200 лет. Я не питаю решительно никаких иллюзий насчет того, что будущие присяжные заседатели истории, просидев еще 200 лет, вынесут какой-нибудь более вразумительный приговор. Но бумаги просижено будет много. Наш историк профессор Виппер в своих книгах несколько раз возвращается к теме об этом суде и пытается доказать законность относительности всякой исторической оценки. Эта оценка — меняющаяся и противоречивая — с его точки зрения, есть законный «разрез» — тоже точка зрения, с которой наблюдают события историки разных эпох, разных классов и разных политических течений. Из необозримого количества исторических фактов люди выбирают те, какие им удобны и угодны, и замалчивают те, какие им неугодны или неудобны. Совсем так, как делал щедринский аблакат: «Я беру ту статью, которая гласит, и тую статью я пущаю, — а которая не гласит, так я тую статью не пущаю».

Проф. Виппер приводит и ряд красноречивых примеров чрезвычайно либерального обращения со следственными материалами исторического суда. Но если мы, по примеру профессора Виппера, признаем такое обращение законным, то где мы проведем границу, отделяющую историю от печатания фальшивых документов? Вот ведь по поводу того же Петра немцы в 1941 году опубликовали в своей печати «завещание Петра Великого» — не догадавшись справиться в своей же энциклопедии Майера, где это завещание было названо фальшивкой и где было подробно сказано, как эта фальшивка была состряпана по заказу Наполеона I. Завещание, разумеется, носило специфический характер — согласно условиям заказа: Наполеон как раз собирался воевать с Россией, и ему надо было исторически доказать, что Россия — по совету Петра — только того и ждет, чтобы разорить и съесть Европу. Немцы проглотили это завещание, даже и не спросившись Майера. Наполеон и Гитлер действовали, по-видимому, по випперовскому рецепту.

Возникает, конечно, довольно законный вопрос: а какой же новый «разрез» преобладает у автора этой книги? И какие новые фальшивки будет открывать в ней новый историк, — если эта книга до историков дойдет?

О фальшивках я говорить не буду, а «разрез», конечно, есть. Он сформулирован в предисловии: интересы сотен миллионов, которым, кажется, надоедает служить в качестве сырья для экспериментов и кирпичей для постаментов будущих героев и благодетелей человечества. Мне кажется также, что наше поколение, благодарение Богу, заплатив за очередные эксперименты миллионами 40–50 русских жизней и исковерканными собственными, заслужило право обходиться без постаментов, экспериментов, легенд и вранья. Мы, кроме того, самолично присутствовали при крушении всего «дела Петра» — исчезла петровская империя, исчезла петровская столица — и даже их имена стерли из памяти ленинского потомства: СССР и Ленинград. Исчезла петровская армия, превратившаяся сначала в Красную гвардию, потом в Красную армию. Исчезло петровское шляхетство. Исчезли даже губернаторы.

И товарищ Сталин начал дело европеизации России так, как если бы петровской попытки никогда и в природе не существовало — совсем сызнова: «догнать и перегнать». Так же снаряжал «воровские экспедиции» для кражи спецов и техники, так же звал иностранных варягов — начиная от Маркса и Бела Куна и кончая японскими инженерами (пришлось брать даже и с востока), так же строил свои сталинские парадизы на тех же костях, на коих были построены петровские. И нам, как мне кажется, должно было бы быть ясно одно: то, что никак не было ясно ни Ключевскому, ни даже Милюкову: если сказку европеизации Сталин начинает совсем сызнова, — это прежде всего значит, что петровская европеизация не удалась. А прошло 200 лет. Япония, начавшая свою европеизацию на полтораста лет позже Петра и совсем другими методами, по-видимому, не имеет сейчас никаких оснований начинать эту сказку сызнова. Попытка, значит, удалась.

Наши историки, и еще больше наши писатели, действовали по Випперу, а некоторые даже по Соллогубу: «Я беру кусок жизни, грязной и грубой, и творю из нее легенду, ибо я — поэт». Не будем оспаривать право на поэтическое творчество. Но постараемся без него обойтись. И постараемся прежде всего отскрести образ Петра от всех тех легенд, апокрифов и вранья, которыми его так тщательно замазывали на протяжении более чем 200 лет. Может быть, личные свойства Петра выступят яснее в результате простого сопоставления некоторых, в сущности, очень простых и, казалось бы, общеизвестных фактов.

ДВЕ СКАЗКИ

Самые благожелательные к Петру историки и писатели не скупятся на черные краски, изображая его пьянство и разгул, его беспощадность и его жестокости. И делают это так, как если бы они понятия не имели, что и пьянство, и беспощадность были явлениями эпохи, и при этом, по преимуществу, не русской эпохи. Наши историки, рисуя петровские поездки заграни-

цу — рисуют тогдашнюю Европу в виде этаких мирных благоустроенных земель, состоящих под опекой благопопечительных и благопросвещенных правителей, воспитывающих народы свои не батожьем и пытками, а мерами разумного и нравственного воздействия, — этакий сплошной саардамский парадиз.

Исходная точка всех официальных суждений о Петре сводится к следующему: Москва чудовищно отстала от Европы. Петр, — хотя и варварскими методами, — пытался поставить Россию на один уровень с европейской техникой, моралью, общественным бытом и пр. Официальная точка зрения довоенной России почти ничем не отличается от официальных советских формулировок: родство по меньшей мере странное. Приводятся и личные переживания Петра, толкнувшие его на путь реформы: его впечатления в Кокуйской слободе и его наблюдения в Европе. В общей сумме все это можно было бы сформулировать так: варварство, грязь, отсталость Москвы, — и чистота, гуманность и благоустройство Европы. Ключевский так и пишет: «Как ни мало внимателен был Петр к политическим порядкам и общественным нравам Европы, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком» — как, дескать, «воспитывалась» Московская Русь. Литературная обработка этой темы достигла своего кульминационного пункта в легенде о саардамском плотнике, восхищенном чистотой, уютом и свободой цивилизованных европейских стран.

Описывая европейскую благовоспитанность, историки становятся в тупик перед петровскими антирелигиозными и прочими безобразиями: откуда бы это взялось? Поехал человек в Европу с целью закупки и импорта в Россию всяческой цивилизации и благовоспитанности, а привез такие вещи, за какие 200 лет спустя даже и большевики своих воинствующих безбожников по головке не гладили? Я не буду повторять этих вещей: они всем известны — ряд неслыханных кощунств, организованное издевательство над Церковью, беспробудное пьянство, насильственное спаивание людей, ушаты сивухи, которую гвардейцы вливали в горло всяким встречным и попе-

речным — словом, действительно черт знает что такое. Откуда бы это? Ответ подыскивается все в том же направлении: этакая широкая, истинно великорусская натура с ее насмешливостью, необузданностью, широчайшим размахом во всем — в худе, и в добре, и в подвиге, и в безобразии. И тут же делается ссылка на варварское состояние Москвы: «Что вы хотите, — варварская страна, варварские развлечения...».

Я не историк и в смысле исторической эрудиции никак не могу конкурировать даже с Покровским. Но для того, чтобы увидеть совершеннейшую лживость всей этой концепции — вовсе не нужно быть историком: вполне достаточно знать европейскую историю в объеме курса средних учебных заведений. Даже и этого самого элементарнейшего знания европейских дел вполне достаточно для того, чтобы сделать такой вывод: благоустроенной Европы с ее благопопечительным начальством Петр видеть не мог — и по той чрезвычайно простой причине, что такой Европы вообще и в природе не существовало.

Вспомним европейскую обстановку петровских времен. Германия только что закончила Вестфальским миром 1648 года Тридцатилетнюю войну, в которой от военных действий, болезней и голода погибло три четверти (три четверти!) населения страны. Во время Петра Европа вела Тридцатилетнюю войну за испанское наследство, которая была прекращена **из-за истощения** всех участвующих стран — ибо и Германия, и Франция **снова стали вымирать от голода**. Маршал Вобан писал что одна десятая часть населения Франции нищенствует, и половина находится на пороге нищенства. Дороги Европы были переполнены разбойными бандами — солдатами, бежавшими из армий воюющих сторон, голодающими мужиками, разоренными горожанами — людьми, которые могли снискать себе пропитание только путем разбоя и которых жандармерия вешала сотнями и тысячами тут же на дорогах — для устрашения. Во всей Европе полыхали костры инквизиции — и католической, и протестантской, на которых ученые богословы обеих религий жгли ведьм. За 100 лет до Петра приговором от 16 февраля 1568 года Святейшая Инквизиция осудила на смерть

ВСЕХ жителей Нидерландов, и герцог Альба вырезывал целые нидерландские города.

В первой половине XVII века нидерландцы принимали участие в Тридцатилетней войне. Сейчас же после ее окончания они были разгромлены Кромвелем (1652–1654), который своим «навигационным актом» начисто ликвидировал голландскую морскую торговлю. Затем последовали две войны с Францией. И, наконец, Нидерланды были втянуты в новую, но по-старому бессмысленную войну за испанское наследство.

Нидерланды были разорены. Голодные массы на улицах рвали в клочки представителей власти — власть отвечала казнями. Тот саксонский судья Карпцоф, который казнил 20 тысяч человек, — это только в одной Саксонии! — 20 тысяч человек, а Саксония была не больше двух-трех наших губерний, — помер совсем перед приездом Петра в ту Европу, которая, по Ключевскому, воспитывалась без кнута и застенка — в 1666 году. Я не знаю имен его наследников и продолжателей, — на самого Карпцофа я натолкнулся совершенно случайно, — но эти наследники были наверняка. Сколько людей повесили, сожгли или четвертовали они?

В Англии, куда Петр направил свои стопы из Саардама, при одной Елизавете было повешено и казнено другими способами около девяноста тысяч человек. Вся Европа билась в конвульсиях войн, голода, инквизиции и эпидемий — в том числе и психических: обезумевшие женщины Европы сами являлись на инквизиционные судилища и сами признавались в плотском сожительстве с дьяволом. Некоторые местности Германии остались в результате этого совсем без женского населения.

«Европейские народы воспитывались не кнутом и застенками», — говорит Ключевский. Ключевский не мог не знать, что по «Уложению» царя Алексея Михайловича смертная казнь полагалась за 60 видов преступлений, по современному ему французскому законодательству — за 115, а Петр ввел смертную казнь за 200 — это называется «воспитывать без кнута и застенка». Наши историки не могли, конечно, не знать, что наши «застенки» были детской игрушкой по сравнению с западноев-

ропейскими нравами и обычаями. Они не могли не знать, как расправилось шведское правительство с современником Петра — Паткулем, как уже совсем нечеловеческим способом был во Франции в 1757 году казнен отец Дамьен, какая судьба постигла друзей Фридриха — будущего «Фридриха Великого», казненных четвертованием на глазах юного наследника престола. Да и сам наследник был спасен от судьбы Алексея Петровича только заступничеством иностранных дворов. Так вот — все это называется «воспитанием без кнута и застенка».

Застенки были и в Москве. Но вот что пишет об отце Петра — Алексее Михайловиче — посторонний и иностранный наблюдатель — австрийский посол Мейерберг: «Царь при беспредельной своей власти над народом, привыкшим к полному рабству, ни разу не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь».

Оставим пока «полное рабство» на совести барона Мейерберга: для баронских фантазий в Москве, действительно, особого простора не было, а собственные крестьяне барона Мейерберга едва ли пользовались большей свободой, чем московские. Но вот царь «не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь» — может быть, изучать политическую педагогику «без кнута и застенка» было бы удобнее в Москве а не в Саардаме?

Историки говорят о московской грязи и об европейской чистоте. Процент того и другого и в Москве, и в Европе сейчас установить довольно трудно. Версальский двор купался, конечно, в роскоши, но еще больше он купался во вшах: на карточный стол короля ставилось блюдечко, на котором можно было давить вшей. Были они, конечно, и в Москве — больше их было или меньше, такой статистики у меня нет. Однако кое-что можно было бы сообразить и, так сказать, косвенными методами: в Москве были бани и Москва вся — городская и деревенская — мылась в банях, по крайней мере, еженедельно. В Европе бань не было. И сейчас, больше 200 лет после Петра, бань в Европе тоже нет. Города моются в ваннах — там, где ванны есть, деревня не моется совсем, не моется и сейчас. В том же

городке Темпельбурге, о котором я уже повествовал, на 5 тысяч населения имеется одна ванна в гостинице. А когда мой сын однажды заказал ванну для нас обоих — он пришел раньше и вымылся, я пришел позже, и администрация гостиницы была искренне изумлена моим требованием налить в ванну чистой воды: истинно русская расточительность — не могут два человека вымыться в одной и той же воде!

Петр — в числе прочих своих войн — объявил войну и русским баням. Они были обложены почти запретительным налогом: высшее сословие за право иметь баню платило 3 рубля в год, среднее — по рублю, низшее — по 15 копеек — одна из гениальных финансовых мер, подсказанная Петру его пресловутыми прибыльщиками. Ключевский пишет: «В среднем составе было много людей, которые не могли оплатить своих бань **даже с правежа под батогами**». Даже с правежом и под батогами Московская Русь защищала свое азиатское право на чистоплотность. На чистоплотность, вовсе неизвестную даже и сегодняшней Европе, не говоря уже о Европе петровских времен.

Сказка о сусальной Европе и варварской Москве есть сознательная ложь. **Бессознательной она не может быть:** факты слишком элементарны, слишком общеизвестны и слишком уж бьют в глаза. И ежели Петр привез из Европы в три раза расширенное применение смертной казни, борьбу с банями и еще некоторые другие вещи, — то мы имеем право утверждать, что это не было ни случайностью, ни капризом Петра: это было европеизацией: живет же просвещенная Европа без бань? — нужно ликвидировать московские бани. Рубят в Европе головы за каждый пустяк? — нужно рубить их и в Москве. Европеизация — так европеизация!

Европеизацией объясняются и петровские кощунственные выходки. Описывая их, историки никак не могут найти для них подходящей полочки. В Москве этого не бывало никогда. Откуда же Петр мог бы заимствовать и всепьянейший синод, и непристойные имитации Евангелия и креста, и все то, что с такою странной изобретательностью практиковал он с его выдвиженцами?

Историки снова плотно зажмуривают глаза. Выходит так, как будто вся эта хулиганская эпопея с неба свалилась, была, так сказать, личным капризом и личным изобретением Петра, который на выдумку был вообще не горазд. И только Покровский в третьем томе своей достаточно похабной «Истории России» (довоенное издание), скупо и мельком, сообщая о «протестантских симпатиях Петра», намекает и на источники его вдохновения. Европа эпохи Петра вела лютеранскую борьбу против католицизма. И арсенал снарядов и экспонатов петровского антирелигиозного хулиганства был попросту заимствован из лютеранской практики. Приличиями и чувствами меры тогда особенно не стеснялись, и подхватив лютеранские методы издевки над католицизмом, Петр только переменил адрес — вместо издевательств над католицизмом стал издеваться над православием. **Этого** источника петровских забав наши историки не заметили вовсе.

Первоначальной общественной школой Петра был Кокуй с его разноплеменными отбросами Европы, попавшими в Москву на ловлю счастья и чинов. Если Европа в ее высших слоях особенной чинностью не блистала, то что уж говорить об этих отбросах. Особенно в присутствии царя, обеспечивавшего эти отбросы от всякого полицейского вмешательства. Делали — что хотели. Пили целыми сутками — так, что многие помирали. И не только пили сами — заставляли пить и других, так что варварские москвичи бежали от царской компании, как от чумы.

Пили, конечно, и в Москве: «веселие Руси...». Но если исключить Ивана Грозного с его тоже революционными методами действия, то о пьянстве в Московском Кремле мы не слышали ничего. Там был известный «чин». И когда московские цари принимали иностранных послов, то царь подымал свой бокал за здоровье послов и их монархов, — но это не было ни пьянством, ни запоем.

О состоянии уровня трезвости в современной Петру Европе у меня, к сожалению, особенных данных нет. Есть случайная отметка москвича, путешествовавшего по Европе и отмечавшего, что, например, немцы «народ дохтуроватый, а пьют

вельми зело». «Вельми зело» — указывает на некоторую степень изумления: вероятно, что в Москве пили или только «вельми», или только «зело» — в Германии и вельми, и зело. Но для более позднего периода некоторые свидетельства имеются. Сто лет после Петра — при Александре — наш посол в Лондоне граф Воронцов доносил своему правительству о коронованных попойках, на которых, «никто не вставал из-за стола, а всех выносили». Именно в то же время английский король Георг пришел на свою собственную свадьбу в столь пьяном виде, что не мог стоять на ногах и придворные во время всей церемонии держали его под руки.

Пьянствовала ли вся Европа? Ну конечно нет. В подавляющем большинстве случаев массы не имели не только вина, но и хлеба. В братоубийственных феодальных войнах, которые велись руками наемных солдат, население подвергалось грабежу не только со стороны «чужих», но и со стороны «своих». Еще армии Фридриха Великого были бичом для собственного прусского населения. Наемная армия, — наемной армией была и фридриховская, — не имела никаких моральных оснований быть боеспособной — отсюда и та палочная дисциплина, которая, к удивлению Фридриха Великого, заставляла солдата бояться капральской палки больше, чем неприятельского штыка. Отсюда та палочная дисциплина в армии, которую и у нас ввел Петр и ликвидировали только Потемкин, Румянцев и Суворов, позже она была восстановлена поклонником Фридриха — Павлом I. В Германии перед Второй мировой войной еще били гимназистов. Не было «телесных наказаний» в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет 80 тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей приводили к скандалам: иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами — так что русские варвары были оставлены в покое.

Все это было в средней Европе. В южной было еще хуже, в особенности в Италии и Испании — вспомним, что последний случай аутодафе — публичного сожжения живого еретика — относится к 1826 году. Вспомним и христианские развлечения римских пап — театральные спектакли, от которых, по выражению Покровского, краснели соотечественники Рабле — французские дипломаты. Редкий случай дипломатической стыдливости. На этих представлениях актеров слуги схватывали за руки и за ноги и били животом о пол сцены, — так сказать, аплодисменты наоборот...

Не нужно, конечно, думать, что в Москве допетровской эпохи был рай земной или, по крайней мере, манеры современного великосветского салона. Не забудем, что пытки, как метод допроса, и не только обвиняемых, но даже и свидетелей, были в Европе отменены в среднем лет 100–150 тому назад. Кровь и грязь были в Москве, но в Москве их было очень намного меньше. И Петр с той поистине петровской «чуткостью», которую ему либерально приписывает Ключевский, вот и привез в Москву: стрелецкие казни, личное и собственноручное в них участие — до чего московские цари, даже и Грозный, никогда не опускались; привез Преображенский приказ, привез утроенную порцию смертной казни, привез тот террористический режим, на который так трогательно любят ссылаться большевики. А что он мог привезти другое?

Технику и прочее привозили и без него. Ассамблеи? Нужно еще доказать, что принудительное спаивание сивухой — всех, в том числе и женщин, было каким бы то ни было прогрессом по сравнению хотя бы с московскими теремами, где москвички, впрочем, взаперти не сидели — ибо не могли сидеть: московские дворяне все время были в служебных разъездах, и домами управляли их жены. Отмена медвежьей травли и кулачного боя? Удовольствия, конечно, грубоватые, но чем лучше их нынешние бои быков в Испании или профессиональный бокс в Америке?

Состояние общественной морали в Москве было не очень высоким — по сравнению не с сегодняшним, конечно, днем,

а с началом XX столетия. Но в Европе оно было намного ниже. Ключевский и иже с ним не знать этого **не могли**. Это — слишком уж элементарно. Как слишком элементарен и тот факт, что государственное устройство огромной Московской империи было неизмеримо выше государственного устройства петровской Европы, раздиравшейся феодальными династическими внутренними войнами, разъедаемой религиозными преследованиями, сжигавшей ведьм и рассматривавшей свое собственное крестьянство как двуногий скот — точка зрения, которую петровские реформы импортировали и в нашу страну.

Сказка о сусальной Европе и о варварской Москве является исходной точкой, идеологическим опорным пунктом для стройки дальнейшей исторической концепции о «деле Петра». Дальше я постараюсь доказать, как одна легенда и фальшивка, громоздясь на другую легенду и фальшивку, создали представление, имеющее только очень отдаленное отношение к действительности. Это, мне кажется, будет не очень трудно. Значительно труднее — объяснить двухсотлетний ряд «идеологических надстроек» над действительностью, — окончившихся коммунистической революцией. Или, во всяком случае, это объяснение трудно сформулировать с той же наглядностью, с какой можно доказать полнейшее несоответствие петровской легенды самым элементарным и самым общеизвестным историческим фактам.

В основе этой легенды лежит сказка о сусальной Европе и о варварской Москве. Эта сказка совершенно **необходима**, как фундамент для всего остального: если вы откинете этот фундамент — сказки строить будет не на чем: все дальнейшее строительство превращается в бессмыслицу. Тогда придется сказать, что из всей просвещенной Европы Петру стоило взять технику чугунолитейного дела, которую предшественники великого преобразователя импортировали и без него, — может быть и еще кое-что из технических мелочей, достигнутых всем тогдашним человечеством, от которого Москва столь долго была изолирована, но что со всеми остальными петровскими реформами — не стоило и огорода городить. Но тогда, если вы откинете сусальную Европу, а с нею, следовательно, и благодетель-

ность петровских реформ, тогда рушится весь быт и весь смысл того слоя людей, которые выросли на почве петровской реформы — быт и смысл крепостнического русского дворянства.

ВОПРОС О БЕЗДНЕ

Следующим — после сусальной Европы — элементом легендарной стройки является вопрос о той бездне, на краю которой стояла Московская Русь и от которой спас ее гений Петра.

Теории сусальной Европы и варварской Москвы носили психологический оттенок горькой, но беспощадной объективности: «Что делать? Действительно — Москва отстала чудовищно; действительно, Европа была неизмеримо впереди нее». Это был, так сказать, беспристрастный диагноз, в котором русские чувства просвещенных светил русской исторической науки не играли никакой роли. Теория бездны обрастает даже и патриотической тревогой: если бы не Петр, свалились бы мы все в эту бездну. И, может быть, и России теперь не было бы никакой. Наш знаменитый западник Чаадаев утверждал даже, что без Петра Россию впоследствии завоевал бы Фридрих Великий — это с полутора миллионами прусского населения во времена Петра!

Мотив бездны был ярче всего сформулирован Пушкиным: «Над самой бездной — на высоте, уздой железной — Россию вздернул на дыбы!»

Не будем отрицать ни пушкинского гения, ни пушкинского ума. Но вот бросил же он свой знаменитый афоризм о пугачевском бунте: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Как мог Пушкин сказать такую фразу? Беспощадным было все — и крепостное право, и протесты против него, и подавление этих протестов: расправа с пугачевцами была никак не гуманнее пугачевских расправ — по тем временам беспощадно было все. Но так ли уж **бессмысленным** был протест против крепостного права? И так ли уж решительно никакого ни национального, ни нравственного смысла Пушкин в нем найти не мог? И это

Пушкин, который воспевал «свободы тайный страж, карающий кинжал»? Почему он отказывал в праве на того же «стража свободы», но только в руках русского мужика, а не в руках бунтующего против государственности барина? Почему барский бунт декабристов, направленный против царя, был так близок пушкинскому сердцу, и почему мужицкий бунт Пугачева, направленный против цареубийц, оказался для Пушкина бессмысленным? По совершенно той же причине, которая заставила людей конструировать теорию о бездне, перед которой стояла Московская Русь. Эту теорию — в не очень разных вариантах — повторяют все наши историки до советских включительно.

***

Постараемся вспомнить основное из того, что сделала Москва перед самым появлением на свет Божий нашего великого преобразователя. Военные заводы строились. Большая половина армии была переведена на так называемый «регулярный строй». Ввозились всякие иностранные специалисты и посылались заграницу русские люди. При Алексее Михайловиче благосостояние московской деревни поднялось до такого уровня, какого оно в послепетровскую эпоху не достигало **никогда**. Допетровская Москва вела войны удачные и вела войны неудачные, но все эти войны были уже не оборонительными, а наступательными. В войне с Польшей были отвоеваны Могилев, Витебск и Смоленск. В войне за Прибалтику были завоеваны Юрьев, Динабург, и московские войска дошли до Риги. В то же самое время воевали и с Крымом — правда, неудачно. Но Малороссия была присоединена, а главный враг России — Польша была при Алексее Михайловиче добита так основательно, что Петр Алексеевич имел — не им самим завоеванную — возможность распоряжаться в Польше, почти как у себя дома.

Главным же врагом России была тогда Польша, а никак уж не Швеция. Именно Польша угрожала самым основным национальным интересам России, угрожала ее самостоятельному национальному бытию, и именно с Польшей покончила

Москва, а не Петр. Швеция была только соперником в борьбе за балтийские колонии, которые нам, конечно, были нужны, хотя и не как колонии, а как выход к морю. Тот же Ключевский, повторяя пушкинский мотив «бездны», сам же пишет: «Война 1654–1667 года (русско-польская. — *И. С.*) окончательно определила **господствующее положение** русского государства в восточной Европе, и с нее же начинается политический упадок Польши». Где же здесь бездна и уж тем более «край бездны»? Еще лучше были дела на востоке. Правда, Нерчинский договор (1689) остановил русскую экспансию на берегах Амура, но это была только остановка в наступлении, а никак не неудача. Именно при Алексее Михайловиче Грузия пыталась отдаться под протекторат России (царь Теймураз), чего люди никак не делают по отношению к государствам, стоящим «на краю бездны».

Был ли внутренний край бездны? При Алексее Михайловиче были бунты — так они были и при Петре, и при Екатерине, и при Николае II и — уже в неслыханных масштабах — при Ленине–Сталине. Чиновничество крало при Алексее Михайловиче? Так оно — в неизмеримо больших масштабах по свидетельству тех же Соловьевых и Ключевских — крало и при Петре, — такого чиновничества, которое не крадет, нет и не было вообще нигде в мире. П. Милюков в своих знаменитых «Очерках русской культуры» очень сладострастно останавливается над отсутствием национального самосознания в Москве и совсем забывает о том, что данная эпоха формулировала национальное сознание почти исключительно в религиозных терминах. Идея Москвы — Третьего Рима может показаться чрезмерной, может показаться и высокомерной, но об отсутствии национального самосознания она не говорит никак. Совершенно нелепа та теория отсутствия гражданственности в Московской Руси, о которой говорят все историки, кажется, все без исключения. Мысль о том, что московский царь может по своему произволу переменить религию своих подданных, показалась бы москвичам совершенно идиотской мыслью. Но эта — идиотская для москвичей — мысль была вполне приемлемой для тогдашнего

Запада. Вестфальский мир, закончивший Тридцатилетнюю войну, установил знаменитое правило quius regio, ejus religio, — чья власть, того и вера: государь властвует также и над религией своих подданных; он католик — и они должны быть католиками. Он переходит в протестантизм — должны перейти и они. Московский царь, по Ключевскому, имел власть над людьми, но не имел власти над традицией, т.е. над неписаной конституцией Москвы. Так где же было больше гражданственности: в quius regio — или в тех москвичах, которые ликвидировали Лжедимитрия за нарушение московской традиции? Не забудем еще о том, что Алексей Михайлович закрепил крестьянское самоуправление, над которым столько поработал еще и Грозный, создал почти постоянную работу земских соборов — изумительную по своей гармоничности и работоспособности русскую «конституцию», что при Алексее Михайловиче были построены первые русские корабли и заведены первые русские театры, газета и пр. Где же бездна? И от чего Россию, собственно, надо было спасать? Разве от коров, лошадей и овец, которые за время Алексея Михайловича успел накопить московский мужик, а также и от тех реальных экономических свобод, какие успело закрепить за ним варварское московское правительство? В результате петровской реформы эти коровы и эти свободы перешли к помещику: вот тот элемент, который, действительно, до Петра стоял на краю бездны. Он и был спасен — до октября 1917 года...

ВОЕННЫЙ ГЕНИЙ

Итак, усилиями поколений историков был создан фундамент петровской легенды. Первое: Россия была очень плоха. Второе: Россию надо было спасать. Третье: Петр при всех его увлечениях и безобразиях Россию все-таки спас. Признание всяческой гениальности Петра является при этой стройке совершеннейшей логической неизбежностью — вот это был гениальный хирург! И поскольку «спасение России» было в основ-

ном достигнуто методом войны, такой же логической неизбежностью является признание военного гения. В вопросе о военной гениальности Петра согласны все историки, несмотря на то, что все они приводят ряд совершенно очевидных фактов, свидетельствующих о полнейшей военной бездарности «великого полководца». Я опять возьму за пуговицу Ключевского.

Начало Северной войны он определяет так: «Редкая война даже Россию заставала так врасплох и была так плохо обдумана и подготовлена».

А конец войны: «Упадок платежных и нравственных (подчеркнуто мною. — *И. С.*) сил народа едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию, и даже пять Швеций».

Вот вам, значит, общая характеристика и начала, и результата войны: согласитесь сами, что о большой военной гениальности она не свидетельствует. Если перейти к частным характеристикам отдельных решающих моментов петровской военной деятельности, то в них мы между всем остальным отметим в качестве постоянных спутников петровской военной деятельности два качества Петра — бестолковость и трусость.

В августе 1689 года юный Петр — ему тогда было 17 лет — получает в Преображенском известие о заговоре Софии. Сообщение об этой опасности («реальной или воображаемой» — оговаривается П. Милюков) приводит Петра в состояние полной паники. Петр, полуодетый, скачет в Троицкий монастырь. Академик Шмурло пишет: «Прискакав туда, физически измученный, нравственно потрясенный пережитыми волнениями царь бросается на кровать настоятеля и, разразившись рыданиями, умоляет игумена оказать ему помощь и защиту». В нашей историографии довольно прочно утвердилось мнение, что именно этот перепуг положил начало той эпилепсии, которая потом всю жизнь не оставляла Петра.

Не будем подробно разбирать вопроса о том, была ли опасность действительной, Петр принял ее за действительную. Она была воображаемой, и это показал первый же день едва ли существовавшего заговора Софии: она осталась в полнейшем

одиночестве. Устраивать еще одно междуцарствие — в Москве не захотел никто.

Семнадцатилетние юноши, в особенности русские, очень редко входят в состав того «робкого десятка», в который так стремительно въехал Петр. В нашу милую социалистическую эпоху миллионы юношей, а также даже и девушек, стаивали перед столь действительной опасностью, как чекистский наган, — стаивал и я, стаивал и мой сын, — тоже в возрасте 17-ти лет, таких случаев были миллионы и миллионы. Однако люди не «разражались рыданиями», не впадали в истерику и не приобретали эпилепсии. Если бы все мы были такими же храбрецами, каким был Петр, то ни в России, ни в эмиграции здоровых людей давно бы уж не осталось.

Этим первым перепугом можно, вероятно, объяснить многое в личной политике Петра: и зверское подавление стрелецкого мятежа, и собственноручные казни[10], и Преображенский приказ, и вечный панический страх Петра перед заговорами. Иван Грозный, который при всей своей свирепости был все-таки честнее Петра, признавался прямо, что после восстания 1547 года, истребившего фамилию Глинских, он струсил на всю жизнь: «И от сего вниде страх в душу мою и трепет в кости мои». Застенки Грозного в такой же степени определялись страхом, как и застенки Петра. Но петровский перепуг имел и некоторые военные последствия.

Вспомним Нарву. Петр, которому было уже не 17 лет и который был уже взрослым человеком — ему было 28 лет, повел свою тридцатипятитысячную армию к Нарве. «Стратегических путей не было, по грязным осенним дорогам не могли подвезти ни снарядов, ни продовольствия... Пушки оказались негодными, да и те скоро перестали стрелять из-за недостатка снарядов…» (Ключевский).

Узнав о приближении восемнадцатилетнего мальчишки Карла с 8 тысячами, Петр повторяет свой уже испытанный при-

[10] Не следует, впрочем, преувеличивать размаха этих казней: всего было казнено 1200 человек. Западная Европа в аналогичных случаях отправляла на тот свет десятки тысяч. — *Прим. авт.*

ем: покидает нарвскую армию, как 11 лет тому назад покинул свои потешные войска, — а потешных у него по тем временам бывало до 30 тысяч, София же сконцентрировала против них 300 стрельцов. Историки объясняют бегство Петра его гениальной предусмотрительностью: Петр-де предчувствовал поражение и уехал для подготовки дальнейших мероприятий. В штабных реляциях маршевых войн для таких случаев была принята несколько иная формулировка: «отступили на заранее подготовленные позиции». Объяснение не выдерживает самой поверхностной критики. Поражение было возможно, но никак не необходимо: тот же Ключевский пишет, что «победа шведов была ежеминутно на волосок от беды»… и что «победитель так боялся своих побежденных, что за ночь поспешил навести новый мост… чтобы помочь им поскорее убраться… Петр уехал из лагеря накануне боя, чтобы не стеснять главнокомандующего-иноземца, и тот действительно не стеснялся: первый отдался в плен и увлек за собой и остальных иноземных командиров…».

Почему, собственно, попал в главнокомандующие этот иноземец, граф де Круа, мелкий проходимец, служивший «в семи ордах семи царям» и нигде и ничем себя не проявивший? Впоследствии он помер в долговой тюрьме в Ревеле, и его тело за неплатеж долгов было, по милому обычаю того времени, выставлено напоказ... Почему не был назначен Головин? Почему не был назначен Шереметьев? Вероятно, просто потому, что в момент переполоха подвернулся именно Круа. И, наконец, если Петр, видя неустройство своей армии, был убежден в неизбежности поражения, то почему он не попытался отвести эту армию на какие-то другие — пусть и не очень «подготовленные» — позиции? Петр сделал точь-в-точь то, что он проделал в ночь на 8 августа 1689 года: бросил все на произвол судьбы и панически бежал. Как бы ни насиловать факты и как бы ни притягивать за волосы официозно благолепные объяснения, ясно одно — Петр струсил и вел себя как трус: бросить свою армию накануне боя, будучи заранее убежденным в том, что она будет разбита в **пять раз слабейшим** противником — это есть трусость — и больше решительно ничего.

Примерно такая же картина повторяется — уже в третий раз — во время гродненской операции. Там (дальше опять же по Ключевскому): «Петр, в адской горести обретясь... располагая силами **втрое** больше Карла, думал только о спасении своей армии и сам составил превосходно обдуманный во всех подробностях план отступления, приказав взять с собой "зело мало, а по нужде хотя и все бросить". В марте, в самый ледоход, когда шведы **не могли перейти Неман** в погоню за отступавшими, русское войско, спустив в реку до ста пушек с зарядами... "с великою нуждою", но благополучно отошло к Киеву...».

Но венцом полководческого искусства Петра был, конечно, Прутский поход: ничего столь позорного Россия не переживала никогда. Ключевский пишет так: «С излишним запасом надежд на турецких христиан, пустых обещаний со стороны господарей молдавского и валахского и со значительным запасом собственной полтавской самоуверенности, но без достаточного обоза и изучения обстоятельств пустился Петр в знойную степь не с целью защитить Малороссию, а разгромить Турецкую империю».

Если перевести эту сдержанную оценку на менее сдержанный язык, то надо сказать, что цель была глупа, а уж подготовка к ее достижению была и вовсе бестолкова. Турецкая империя начала XVIII столетия далеко еще не была тем «больным человеком», каким ее привыкли считать наши современники. Для ее разгрома потребовались века. И потребовались такие настоящие полководцы, как Потемкин и Суворов. Петр сунулся совершенно не спросясь никакого броду и влип, как кур во щи: великий визирь окружил всю петровскую армию, так что Петру на этот раз, — за отсутствием по тогдашним временам авиации, — даже и бежать было невозможно. И в этой обстановке Петр проявил свою обычную «твердость духа» — плакал, писал завещание, предлагал отдать обратно всю Прибалтику (не Петром завоеванную!) тому же Карлу, выдачи которого он еще вчера ультимативно требовал от султана. Великий визирь не принял всерьез ни Петра, ни его гения, ни его армии, иначе он не рискнул бы выпустить ее за взятку, которою расто-

ропный еврей Шафиров ухитрился смазать и визиря, и его пашей. Любезность победителей дошла до того, что они охраняли путь отступления петровской армии.

На Пруте, как и у историков, Петру повезло поистине фантастически: успей он прорваться подальше Прута, никакая взятка бы не спасла — ни его, ни его армии. Но ему повезло на капитуляцию без боя. Повезло и на Шафирове.

Во всяком случае, в результате этой столь гениально задуманной и столь же гениально проведенной операции России пришлось отдать Азов, который стоил таких чудовищных жертв, пришлось выдать Турции большую половину Азовского флота, для стройки которого были отпущены целые лесные области, и решение черноморского вопроса пришлось отодвинуть еще на несколько десятков лет.

За нарвские, гродненские и прутские подвиги любому московскому воеводе отрубили бы голову — и правильно бы сделали. Петра вместо этого возвели в военные гении. И в основание памятников петровскому военному гению положили Полтавскую победу — одну из замечательнейших фальшивок российской историографии!

ПОЛТАВА

С моей точки зрения, Полтавский бой является одним из самых интересных моментов во всей русской военной истории. И не только по своим реальным политическим результатам, а как самое яркое, бесспорное доказательство того, что историки обворовали народ в пользу героя и массу — в пользу личности. Здесь фальшивка истории выступает с совершеннейшей наглядностью.

Вспомним стратегическую обстановку этого момента. После позорного бегства из-под Гродно Петр оставил пути на Москву совершено беззащитными. В тылу Петра вспыхнули бунты башкирский и булавинский, показавшие, по Ключевскому: «Сколько народной злобы накопил Петр у себя

за спиной». Но Карл «остался верен своему правилу — выручать Петра в трудные минуты» и вместо того, чтобы идти на Москву, — повернул на Украину.

Военные историки считают этот поворот сумасбродством. Как знать? Поход на Москву обещал в случае успеха завоевание России — а для этого сорокатысячной армии было, очевидно, недостаточно. Результаты польской интервенции Карл, вероятно, помнил хорошо. Нужно было найти какие-то другие человеческие резервы. Откуда их взять? Я не знаю тех переговоров, которые вел Мазепа с Карлом, но на основании позднейшего опыта переговоров между украинскими самостийниками и германским генеральным штабом — их очень легко себе представить. Вот, имеется украинский народ, угнетаемый проклятыми московитами и только и ждущий сигнала для восстания во имя «вильной неньки Украины». Сигналом к восстанию будет появление Карла. Миллионные массы, пылающие ненавистью к московитам, — дадут Карлу и человеческие кадры, и готовую вооруженную силу, и даже готового военного вождя — Мазепу (впоследствии — Скоропадского, Петлюру, Коновальца, Кожевникова и пр.). Карл, вероятно, помнил кое-что об участии казаков в предприятиях Смутного времени и едва ли знал о социальной, — а не национальной, — подкладке этого участия. Почему бы не повторить пути Самозванца? Путь на Полтаву давал ответ на основной вопрос завоевания России — на вопрос о человеческих кадрах, которые будут удерживать завоеванную страну.

Думаю, что военные историки осуждают Карла слишком сурово. Сто лет спустя Наполеон, учтя шведскую ошибку, пошел не на Полтаву, а на Москву — получилось не лучше. Двести лет спустя, т.е. имея за плечами и карловский, и наполеоновский опыт, — германский генеральный штаб, в котором сидели никак уж не сумасбродные мальчишки, — клевал, и не один раз, — решительно на ту же самую приманку. И с теми же приблизительно результатами. История не учит даже историков. Так как же вы хотите, чтобы она учила генералов?.. К гиблым украинским берегам их всех «влечет неведомая сила» — она же поволокла и Карла.

Под Полтавой Карлу мерещилось: союзная украинская нация, доблестное запорожское казачество — кстати, и с запасом пороха, который Карл потерял под Лесной, — мерещился верный союзник — Мазепа. И когда Карл дошел до Полтавы — не оказалось ни союзной нации, ни доблестного казачества, ни пороха, а вследствие всего этого не оказалось и Мазепы. Вместо того, чтобы командовать доблестными и союзными запорожцами, — их пришлось осаждать. Эта осада в расчеты Карла не входила никак.

Перед Полтавой произошла еще одна история — битва под Лесной. Советская история СССР об этой битве пишет так: «Незадолго перед этим Петр преградил путь Левенгаупту, шедшему с большим обозом, и нанес ему 28 сентября 1708 года при деревне Лесной на реке Соже решительное поражение. Пять тысяч повозок, груженных боевыми запасами и продовольствием, были захвачены».

Это не совсем так: «Дорогу Левенгаупту преградил и его отряд разгромил не Петр, а Шереметьев». И вовсе не петровскими войсками, а старомосковской «дворянской конницей», той самой, которой, как огня, боялся Карл еще под Нарвой. Вспомним еще одно обстоятельство: эта же старомосковская конница, под командой того же Шереметьева, уже дважды била шведские войска — один раз под Эрестдорфом в 1701 году и второй раз при Гуммельсдорфе в 1702 году. Это случилось сейчас же после Нарвы, когда Эрестдорф и Гуммельсдорф, а еще больше Лесная, были сражениями, в которых: во-первых, дворянская конница, никак не загипнотизированная, подобно Петру, шведской непобедимостью, показала всем, в том числе и петровской армии, что и шведов можно бить, и, во-вторых, лишила Карла его обозов и, что собственно важно, — всего его пороха. Вследствие чего Карл под Полтавой оказался: а) почти без пороха и б) вовсе без артиллерии. Напомним еще об одном обстоятельстве: тот же Шереметьев и во главе той же старомосковской конницы в промежуток между Нарвой и Полтавой, пока Петр занимался своими дипломатическими и прочими предприятиями, пошел по Лифляндии и Ингрии, завоевал

Ниеншанц, Копорье, Ямбург, Везенберг, Дерпт — словом, захватил почти всю Прибалтику. Ему не повезло — ни у Петра, ни у историков. Петр его терпеть не мог, и историки его замалчивают. Он не пьянствовал с Петром, не участвовал в суде над царевичем Алексеем — но под Полтавой (запомним и это) центром петровской армии командовал все-таки он. Я недостаточно компетентен в военной истории, чтобы установить с достаточной степенью точности: что именно сделал Шереметьев и что именно напортил Петр, — в командовании армиями Петр только и делал, что портил то, что делали другие. Но под Полтавой было очень трудно испортить что бы то ни было.

Итак, Карл бросил московский путь и пошел на Полтаву. К Полтаве пришло — по выражению Ключевского — «30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов». Эти отощавшие и деморализованные люди оказались, кроме всего прочего, без пороха, без артиллерии и без предполагавшихся союзников. Предполагавшиеся союзники наплевали и на Карла, и на Мазепу, заперлись в Полтаве и под командованием какого-то генерал-майора Келина повернули оружие против своего предполагавшегося вождя. Это не была петровская армия. Здесь не было ни преображенцев, ни семеновцев, ни Лефортов, ни Гордонов, ни де Круа — военные специалисты сказали бы, что это был сброд, и плохо вооруженный сброд: тысячи 4 какой-то гарнизонной команды и тысячи 4 «вооруженных обывателей».

Итак, тысяч 8 вооруженного сброда под импровизированным командованием — против 30 тысяч шведской армии под командованием Карла.

В составе этого сброда никаких петровских частей не было. Сброд не интересовали петровские традиции — Нарвы и Гродна и, несмотря на четырехкратное превосходство неприятеля, он стал драться. Вспомним, что под Нарвой Петр б е ж а л, имея пятикратное и под Гродной — троекратное превосходство на с в о е й стороне.

Мы, — по крайней мере я, — ничего не знаем о Келине. Приходит в голову такой не очень уж праздный вопрос: Келин дрался, уступая противнику в четыре раза. Петр бежал, превос-

ходя противника в пять раз. Что было бы, если под Нарвой русскими войсками командовал не гениальный полководец Петр, а вовсе неизвестный нам заурядный генерал Келин? Шансы Келина были, как никак, **в двадцать** раз меньше петровских. Но Келину никаких памятников не поставлено, и о вооруженном сброде Полтавы не написано никаких поэм.

Этому сброду противостояла шведская армия под командой Карла. Шведы осаждали Полтаву два месяца, Карл штурмовал ее три раза — и все три раза был с огромными потерями отбит. Полтавцы устраивали вылазки, и если в конце апреля к Полтаве пришло 30 тысяч «отощавших, обносившихся и деморализованных шведов», то после осады, штурмов и вылазок от них осталась окончательно растрепанная толпа, — которую Петру только и оставалось, что добить окончательно. Ключевский пишет: «Стыдно было проиграть Полтаву после Лесной», — действительно, было бы стыдно. Но разве не были стыдом и Нарва, и Гродно, и Прут? К Полтаве Петр привел около 50 тысяч свежей армии, огромную артиллерию, а также и Шереметьева. Был, кроме того, и полтавский гарнизон. И Карл был кончен. Нелепым Прутским походом Петр чуть было не зачеркнул не только Азова, но и Полтавы. Но на Пруте его выручил Шафиров, как под Полтавой Келин, Шереметьев и те «вооруженные обыватели», имен которых мы вовсе не знаем.

В военных деяниях Петра остается еще и Азовский поход. Но о нем, пожалуй, не стоит и говорить. Незадолго до Петра Азов завоевали казаки (1637) — на свой риск и страх, в порядке, так сказать, частнопредпринимательской инициативы, без всего того помпезного театра, который вокруг азовской победы организовал Петр, и уж, конечно, без тех чудовищных жертв людьми и пр., какое ухлопал в это предприятие Петр. Оценивая «хозяйственную заботливость» Петра, не забудем и того, что дубовые леса нынешней Воронежской губернии были для азовского флота вырублены сплошь, и в количествах, далеко превосходящих любые флотские надобности. Миллионы бревен годами валялись потом по берегам и отмелям рек, область превращена в степь, а судоходство по Воронежу

и Дону и до сих пор натыкается на остатки петровских деяний в виде дубовых стволов, 200 лет тому назад завязнувших в песчаном дне ныне степных рек[11].

Как бы то ни было — Великая Северная война, которая тянулась 21 год и стоила России совершенно непомерных жертв людьми и средствами, — была кончена.

Швеция была разгромлена. Маркс, который, как и все прочие, считал Петра «действительно великим человеком», только в одном месте проговорился о факторах разгрома Швеции: «Карл XII сделал попытку проникнуть в Россию, внутрь России, и этим погубил Швецию и показал всем **неуязвимость России**».

В словах Маркса есть некоторое преувеличение: всем Карл этого не показал: после Карла лез Наполеон, лезли немцы. Но Маркс верно отметил неуязвимость России — как таковой — вне зависимости от правительства, от вождя, от полководца. Напомню еще раз.

В эпоху Смутного времени — безо всякого правительства вообще — Россия справилась с поляками, шведами и с собственными ворами. Это заняло в среднем лет 6. При очень плохом правительстве Сталина Россия справилась с немцами в 4 года. При совсем приличном (по тем временам) правительстве Александра I Россия справилась в полгода со всей Европой, над которой командовал не сумасбродный мальчишка и не «скандинавский бродяга», а один, действительно, из крупнейших военных гениев мира. Петру для войны, которую начал восемнадцатилетний мальчишка, в которой Россия превосходила Швецию военным потенциалом приблизительно в 10 раз, — понадобился 21 год.

Попробуем это историческое соображение формулировать в виде уравнений:

Смутное время: Россия + ноль правительства = 6 лет;

Шведы: Россия + Петр I = 21 год;

[11] «Разрушение берегов и обмеление Дона сказались особенно заметно в период кораблестроения на Воронеже, когда были вырублены миллионы десятин (подчеркнуто мною. — *И. С.*) леса для флота и для постройки и отопления вновь построенных городов на побережье Азовского моря» (Брокгауз и Ефрон, т. 21, стр. 38). — Прим. авт.

Наполеон: Россия + Александр I = 2 года;

Гитлер: Россия + Сталин = 4 года;

Во всех четырех случаях — разгром. Сильнейшим нашествием было, конечно, наполеоновское. И в это время Россия имела правительство никак не гениальное, но и не глупое. И срок в 6 месяцев надо бы считать нормальным сроком. В Смутное время вопрос затянулся благодаря революции, а в остальных двух случаях, благодаря бездарности правительств, которые, в смысле обороны страны, можно было бы считать отрицательной величиной — со знаком минус.

Шведскую войну поставил на очередь не Петр, и не он ее выиграл. Выиграл Шереметьев с его дворянскими полками, выиграл Келин с его вооруженными обывателями — выиграли, наконец, те факторы, которые в истории России выигрывали всегда: **пространства, время и масса**. На этих трех факторах умный старик Кутузов, который все-таки не был Суворовым, разыграл Наполеона, как по расписанию, — Суворов, вероятно, разгромил бы Наполеона уже под Смоленском, если не под Вильной. Но при Кутузове — это была вся Европа и был Наполеон, а не Швеция и не Карл. Да и Северная война кончилась уже без Карла. Он погиб в Норвегии, на престоле оказалась его сестра, сестру взяла в оборот шведская аристократия, и Швеция поплыла по польско-шляхетскому руслу — по руслу полного внутреннего разложения. Преемники Петра распоряжались в Стокгольме, как у себя дома. Ни моральные, ни материальные ресурсы Швеции не были достаточны для войны с Россией вообще, а тем более для войны завоевательной. Россия разбила Швецию не благодаря Петру, а несмотря на Петра, разбила, в частности, та старомосковская конница, которую Петр, слава Богу, не успел в помощь Швеции разгромить сам. Но историки забыли Шереметьева, и Келина, и тех неизвестных «вооруженных обывателей», всех тех людей, которым Петр только портил все, что только технически можно было портить. И русская официальная история — и досоветская, и советская — ставят Петра наряду с Суворовым, — с человеком, который, командуя войсками в 93-х сражениях, выиграл ровно 93.

Я привожу здесь совершенно элементарные, достаточно общеизвестные факты. Не надо открывать никаких новых Америк и раскапывать новые источники: полководческая деятельность Петра с его Нарвами, Азовами, Прутом и даже Полтавой — совершенно очевидна для всякого человека, которого не успели загипнотизировать великая историческая фальшивка о военном гении Петра. Очень возможно, что именно великим перепугом августа 1689 года можно объяснить в биографии и деяниях Петра очень многое. Не был ли и сам Санкт-Петербург в некоторой степени реакцией против московского перепуга? Подальше от стрелецких мест, подальше от Кремля, подальше от России в свой болотный парадиз, где Преображенский приказ был вполне достаточной гарантией против русского народа.

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

От полководческой фальшивки очень недалеко ушла и другая фальшивка — петровская военная реформа. Напомню основные факты.

Реорганизация армии — т.е. переход от системы милиционной к системе регулярной — был начат еще Грозным. Этот переход диктовался всем международным положением Москвы. Нынешняя стратегия утверждает категорически, что милиционные армии, в высокой степени пригодные для оборонительных войн, оказываются весьма малоприспособленными для наступательных. Москва, закончив свои непосредственно оборонительные операции, стояла накануне перехода к наступательным — против Польши, Ливонии, Швеции и Турции. Московскую армию необходимо было реорганизовать. И вовсе не потому, что она была вообще плоха, а потому, что перед ней история поставила иные задачи.

На путь этой реорганизации стал уже Грозный. За несколько лет до воцарения Петра — в 1681 году — из 164 тысяч московской армии — 89 тысяч, т.е. больше половины, были переведены на иноземный строй, т.е. были превращены в регу-

лярную постоянную армию[12]. Как видите, «реформа» проводилась и без Петра. При Петре она была, во-первых, снижена и, во-вторых, искалечена. В первом Азовском походе тысяч на полтораста наших войск, войска иноземного строя составляли только 10 процентов — около 14 тысяч. К концу петровского царствования регулярная армия составляла уже около двух третей всех вооруженных сил страны, но это было прежде всего совершенно автоматическим результатом Северной войны, когда в течение больше чем 20 лет солдат не выходил из строя и когда милиционная армия совершенно автоматически превращалась в постоянную.

К концу Северной войны Петр придумал план расквартирования армии по стране и содержания ее непосредственно за счет местного населения. Для этого надо было это население учесть. Было предписано «взять сказки», т.е. произвести всенародную перепись. Указ о переписи был изложен «обычным торопливым и небрежным лаконизмом законодательного языка Петра» (Ключевский). «Столь же неясно указ предписывал порядок своего исполнения, стращая исполнителей конфискацией, жестоким государевым гневом, разорением и даже смертной казнью — обычными украшениями законодательства Петра» (Ключевский). «Было предписано заковать в железо работников переписи и держать в кандалах губернаторов. Пороли нещадно, вешали», но «Преобразователь так и не дождался конца предпринятого им дела: ревизоры (ревизоры переписи. — *И. С.*) не вернулись и к 28 января 1725 г., когда он закрыл глаза».

Не будем строги к губернаторам: Петр писал свои приказы и указы таким тарабарским языком, так путано и бестолково, что не всегда и сам Сенат мог понять, так чего же, собственно, хочет Великий Преобразователь, и за что, собственно, он собирается казнить и за что миловать? В другом месте Ключевский говорит, что стиль петровских указов и приказов «поддавался только опытному эгзегетическому чутью сенаторов»... Сенат, конечно, привык и к тарабарскому петровскому стилю, и к его языку, загроможден-

[12] По Милюкову было 60 тысяч пехоты и 30 тысяч конницы иноземного строя, 16 тысяч дворянских войск и 22 тысячи стрельцов. — *Прим. авт.*

ному голландскими словами, но, помимо всего прочего, Сенат толковал петровские указы так, как ему, Сенату, было угодно. Проверял — гвардейский унтер-офицер, а тот, надо полагать, ни в указах, ни в стиле не понимал ровным счетом ничего. Но каково было провинциальным служилым людям, получавшим петровские приказы? Где среди них — на всем пространстве империи — можно было найти «опытных эгзегетов»? Кто бы, например, в Казани и Симбирске мог догадаться, что значит хотя бы тот же «анштальт»? Словарей иностранных языков в те времена не существовало, а ошибки выписывались на живом теле администрации. В петровский язык — и сам по себе достаточно тарабарский — было нанизано огромное количество иностранных слов. Представьте себе положение какого-нибудь симбирского воеводы, губернатора или кого угодно: человек получает приказ, из которого понятно только одно: будут пороть, пытать и вешать. А за что и в каком случае — неизвестно. Эта тарабарщина касается не одного только закона о ревизии и расквартировании — это обычный стиль петровского законодательства. Закон о единонаследии — по Ключевскому: «Плохо обработан, не предвидит много случаев, дает неясные определения, допускающие противоречивые толкования». Ключевский выражается вежливо, но и сам тут же «допускает противоречивое толкование»: пункт 1-й указа категорически запрещает продажу недвижимостей, а пункт 12-й разрешает ее «по нужде» — кто же продает, как не «по нужде»? В результате всего этого из петровского законодательства получался сплошной кабак, пожалуй, не лучше советского.

Итак, армия была кое-как расквартирована — сначала по крестьянским дворам. Потом приказано было строить полковые «слободы». Начали стройку спешно, вдруг, по всем местам, отрывая крестьян от их работ, обложили крестьян единовременным сбором. Потом постройка была отсрочена на четыре года, но «нигде работы не были кончены и свезенный крестьянами огромный материал пропал» (тот же Ключевский с его «хозяйственным чутьем Петра»). В конце концов, армия как-то расселилась, и ей было приказано и воров ловить, и недоимки выколачивать, и за законностью наблюдать и, главное, самой

заботиться о своем пропитании, дабы, по рецепту Петра, «добрый аншталь внесть»...

«Долго помнили плательщики этот добрый аншталь», — говорит Ключевский... «Шесть месяцев в году деревни и села жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков... среди взысканий и экзекуций... Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоеванной России татарские баскаки времен Батыя... Создать победоносную полтавскую армию и под конец превратить ее в 126 разнузданных полицейских команд, разбросанных по десяти губерниям среди запуганного населения, — во всем этом не узнаешь преобразователя».

Не знаю, почему именно не узнать? В этой спешке, жестокости, бездарности и бестолковщине — весь Петр, как вылитый — не в придворной лести расстреллевский бюст, конечно, а в фотографическую копию гипсового слепка. Чем военное законодательство с его железами и батыевым разгромом сельской Руси лучше Нарвы и Прута? Или «всепьянейшего синода»? Или, наконец, его внешней политики?..

Внешнюю политику Петра я не буду разбирать подробно. Приведу только суммарное резюме Ключевского: «...у Петра зародился спорт — охота вмешиваться в дела Германии. Разбрасывая своих племянниц... по разным глухим углам немецкого мира, Петр втягивается в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины. Ни с того ни с сего Петр впутался в раздор своего мекленбургского племянника с его дворянством, а оно через собратьев своих... поссорило Петра с его союзниками, которые начали прямо оскорблять его. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями, и он опять начал бросаться из стороны в сторону, едва не был запутан в замысел свержения ганноверского курфюрста с английского престола и восстановления Стюартов. Когда эта фантастическая затея вскрылась, Петр поехал во Францию предлагать свою дочь Елизавету в невесты малолетнему королю Людовику XV... Так главная задача, стоявшая перед Петром после Полтавы, — решительным ударом вынудить мир у Швеции — разменялась

на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на 12 лет... Кончилось это тем, что Петру... пришлось согласиться на мир с Карлом XII, обязавшись помогать ему в возврате шведских владений в Германии, отнятию которых он сам больше других содействовал, и согнать с польского престола своего друга Августа, которого он так долго и платонически поддерживал...».

Эта сводка, как видите, не только кратка и выразительна, но и достаточно убедительна: здесь не пахнет не только гениальностью (сравните, например, внешнюю политику Бисмарка), но даже и самым середняцким здравым смыслом. Та же бестолковщина, как всегда и везде, по каждому подвернувшемуся случаю. Несколько сгущая краски, можно было бы сказать, что с истинно железной настойчивостью Петр старался наделать глупостей, где и как это только было возможно. И почти все они остались не бесследными и в дальнейшей русской истории.

Петр открыл моду вмешиваться во всякие европейские пустяки. Я попытаюсь установить, сколько нам стоило это вмешательство. Мы влезли в Семилетнюю войну, мы спасали Пруссию от Австрии и Австрию — от Венгрии, Италию — от Наполеона, и мы, наконец, создали современную нам Германию, — для создания этой Германии больше всего было пролито именно русской крови. Для наших правящих кругов, переродившихся с западноевропейскими феодалами и с западноевропейской философией, интересы «Генуи и Лукки», как для Анны Шерер на первой странице «Войны и мира», были ближе и понятнее интересов тульского или киевского мужика. Души всех людей этого послепетровского слоя «принадлежали короне французской» — мужики же служили только для пропитания «плоти».

ПТЕНЦЫ

В известной обошедшей все учебники истории застольной беседе Петра с князем Долгоруким обсуждался вопрос о том, какой царь был лучше: Петр или его отец Алексей. Ответ Дол-

горукого был очень дипломатичен: похвалил отца и превознес сына. В ряде всяких банальностей, сказанных по этому поводу Долгоруким, была и очень старая истина о том, что «умные государи умеют и умных советников выбирать, и их верность наблюдать». Общий тон оценке петровского выбора советников дал Пушкин: «сии птенцы гнезда Петрова, его товарищи, сыны». Пушкинский мотив повторяют и наши историки — одни с некоторыми оговорками, другие с подчеркиванием демократичности петровского подхода к выбору «товарищей, сынов».

Выбор подходящих сотрудников является, конечно, самой важной задачей всякого организатора, — монарха в особенности, ибо как раз монарх в своем выборе стеснен менее, чем все остальные организационные работники. Умный организатор, — тут Долгорукий совершенно прав, — подбирает себе и умных сотрудников. Конечно, старается обеспечить и их «верность». Это общее положение можно принять, как аксиому. И как аксиому же принять и противоположное положение: глупый организатор подбирает и соответствующих себе сотрудников. Так каких же сотрудников подобрал себе Петр?

Предоставим оценку Ключевскому: «Князь Меньшиков, отважный мастер брать, красть и подчас лгать... Граф Апраксин, самый сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и незнакомый с первыми зачатками мореходства... затаенный противник преобразований и смертельный ненавистник иностранцев. Граф Остерман... великий дипломат с лакейскими ухватками, который в подвернувшемся случае никогда не находил сразу, что сказать, и потому прослыл непроницаемо скрытным, а вынужденный высказаться — либо мгновенно заболевал послушной томотой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя, робкая и предательская каверзная душа... Неистовый Ягужинский... годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры Сената...».

Многие из «птенцов» обойдены здесь молчанием: например, тот же де Круа. Он все-таки был главнокомандующим первой петровской армии — значит, далеко не последней спицей

в колеснице. Был еще и Зотов — в свое время учивший грамоте Петра и потом спившийся окончательно. Ничего не сказано о Лефорте — главном поставщике петровских удовольствий. Ничего не сказано об обер-фискале Нестерове, которому все-таки пришлось отрубить голову за взятки. Но эта казнь была случайностью — крали все. Крали в невиданных ни до, ни после размерах и масштабах. Алексашка Меньшиков последние 15 лет своей жизни провел под судом за систематическое воровство, совершенно точно известное Петру.

Во всяком случае, этот групповой портрет птенцов Петрова гнезда достаточно полон и выразителен. Коротко, но тоже довольно выразительно формулирует Ключевский и их самостоятельные после смерти Петра действия. «Они начали дурачиться над Россией тотчас после смерти преобразователя, возненавидели друг друга и принялись торговать Россией, как своей добычей».

«Под высоким покровительством, шедшим с высоты Сената, — глухо пишет Ключевский, — казнокрадство и взяточничество достигли размеров небывалых раньше, разве только после...»

Во что именно обошлись России эта торговля и это воровство? Этим вопросом не удосужился заняться ни один историк, а вопрос не очень праздный. Дело осложняется тем, что, воруя, «птенцы, товарищи и сыны» прятали ворованное в безопасное место — в заграничные банки. «Счастья баловень безродный» Алексашка Меньшиков перевел в английские банки около 5 миллионов рублей. Эта сумма нам, пережившим инфляции, дефляции, девальвации, экспроприации и национализации, не говорит ничего. Для ее оценки вспомним, что весь государственный бюджет России в начале царствования Петра равнялся полутора миллионам, в середине — несколько больше, чем 3 миллионам, и к концу — около 10. Так что сумма, которую украл и спрятал заграницей Меньшиков, равнялась в среднем годовому бюджету всей империи Российской. Для сравнения представим себе, что министр Николая II украл бы миллиардов 5 в золоте или сталинских миллиардов полтораста — в дензнаках.

За Меньшиковым следовали и другие. Но не только «птенцы», а и всякие более мелкие птенчики. «Финансовое доверие»

было организовано так прочно, что в начале Северной войны понадобился указ, запрещавший деньги «в землю хоронить» — не всем же был доступен английский банк, хоронили и в землю. У каких-то Шустовых на Оке нашли по доносу на 700 тысяч рублей золота и серебра. Сколько было таких Меньшиковых, которые сплавляли заграницу сворованные деньги, и таких Шустовых, которые прятали свои деньги от меньшиковского воровства, а воровство развилось совершенно небывалое. М. Алданов в своих романах «Заговор» и «Чертов мост» рисует как нечто само собою разумеющееся переправу чиновных капиталов в амстердамские банки. Речь идет о конце екатерининской эпохи. Надо полагать, что эта традиция далеко пережила и Екатерину. Сколько капиталов в результате всего этого исчезло из русского народно-хозяйственного оборота, сколько погибло в земле и — вопрос очень интересный — сколько их было использовано иностранцами для обогащения всяких голландских, английских и пр. компаний? Историки этим не поинтересовались, — по крайней мере, я не знаю ни одного труда на эту тему. А вопрос может быть поставлен и в чрезвычайно интересной плоскости: выколачивая из мужика самым нещадным образом все, что только можно было выколотить, с него драли семь и больше шкур. Какой-то процент шел все-таки на какое-то дело. Огромная масса средств пропала совершенно зря — гнили и дубовые бревна, и полковые слободы, и конская сбруя, и корабли, и Бог знает, что еще. Какой-то процент — судя по Меньшикову, очень значительный — утекал в заграничные банки. Заграничные банки на шкуре, содранной с русского мужика, строили мировой капитализм, тот самый, который нынче товарищ Сталин пытался ликвидировать с помощью той же шкуры, содранной с того же русского мужика.

Не примите, пожалуйста, все это за преувеличение. Если только один Меньшиков уворовал сумму, равную государственному бюджету, то мы вправе предполагать, что остальные вольные и невольные воры и укрыватели только в меньшиковское время перевели заграницу сумму, равную по меньшей мере еще двум государственным бюджетам. А это по довоенным —

до 1914 года — масштабам должно было равняться миллиардам 10 довоенных золотых рублей. На такую сумму можно было «построить капитализм». И русский мужик был, по существу, ограблен во имя европейских капиталистов.

Вот вам фактическая справка о подборе «умным Государем» его ближайших сотрудников, соратников, а также и собутыльников. Наши просвещенные историки как-то совсем прозевали эту последнюю и важнейшую функцию петровских птенцов — непременное обязательное участие в беспробудном пьянстве.

Оно началось давно — еще в Кокуе. Там, по словам князя Куракина, было «дебошество и пьянство такое великое, что невозможно и написать, что, по три дня запершись в дома, бывали так пьяны, что многим случалось оттого и умирать».

Это было в начале царствования. То же было и в самом конце. За полгода до смерти Петра саксонский посланник Лефорт писал: «Не могу понять этого государства. Царь шестой день не выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа, происходившего по случаю закладки церкви, которая была освящена тремя тысячами бутылок вина. Уже близко маскарады, и здесь ни о чем другом не говорят, как об удовольствиях, когда народ плачет. Не платят ни войску, ни флоту, ни кому бы то ни было».

В последней части этой фразы Лефорт не совсем прав: гвардии платили всегда, для этого были особые причины. В промежутке между Кокуем и смертным одром пьянство шло практически непрерывное. Так что французы, наблюдавшие Петра в Париже, были искренне изумлены: когда же эти люди работают?.. И пришли к тому несколько скороспелому выводу, что работать русские люди могут только в пьяном виде. Вывод был несколько скороспелый: Петр вообще не работал: он суетился. И хотя, по Пушкину, он «на троне вечный был работник», но для работы у него за вечными разъездами и таким же вечным пьянством просто технически не было времени, и не могло быть.

Но кроме пьянства у Петра были и несколько своеобразные способы обращения даже и с «товарищами и сынами»: старик князь Головин терпеть не мог салат и уксус. Петр за-

ставлял гвардейцев держать старика за руки и ноги и собственноручно напихивал ему в рот салат, пока из носа и рта не начинала литься кровь. Великий предшественник Ярославского-Губельмана занимался, кроме того, антирелигиозными развлечениями, нам уже известными.

Поставим вопрос так, как ни один из наших просвещенных историков поставить не догадался: что, спрашивается, стал бы делать **порядочный человек в петровском окружении**? Делая всяческие поправки на грубость нравов и на все такое в этом роде, не забудем, однако, что средний москвич и Бога своего боялся, и Церковь свою уважал, и креста, сложенного из неприличных подобий, целовать, во всяком случае, не стал бы.

В Москве приличные люди б ы л и. Вспомните, что тот же Ключевский писал о Ртищеве, Ордыне-Нащокине, В. Головине — об этих людях высокой религиозности и высокого патриотизма, и в то же время о людях очень культурных и образованных. Ртищев, ближайший друг царя Алексея, почти святой человек, паче всего заботившийся о мире и справедливости в Москве. Головин, который за время правления царицы Софьи построил в Москве больше 3 тысяч каменных домов и которого Невиль называет «великим умом и любимым ото всех». Блестящий дипломат Ордын-Нащокин, корректность которого дошла до отказа нарушить им подписанный Андрусовский договор. Что стали бы делать э т и люди в петровском гнезде? Они были там невозможны совершенно. Как невозможным оказался фактически победитель шведов — Шереметьев. Шлиппенбах (по Пушкину — «пылкий Шлиппенбах»), которого Шереметьев разбил три раза, переходит в русское подданство (тоже — нравственная рекомендация), получает генеральский чин и баронский титул и исполняет ответственнейшие поручения Петра. А Шереметьев умирает в забвении и немилости и время от времени тщетно молит Петра об исполнении его незамысловатых бытовых просьб. И письма Шереметьева остаются без ответа.

Поставим точки над «i»: около Петра подбиралась **совершеннейшая сволочь**, и никакой другой подбор **был невозможен вовсе**. Как бы ни оценивать признаки порядочности,

честности или хотя бы простого приличия, совершенно очевидно, что ни при какой оценке этих признаков ни порядочности, ни честности, ни приличию при Петре места не было. Как бы ни оценивать традиции, предрассудки или даже суеверия Москвы, совершенно очевидно, что целовать кощунственный крест мог только тот из вчерашних москвичей, у которого ни Бога, ни совести и в заводе не было. Никакой порядочный москвич, принимая во внимание терема или даже не принимая их во внимание, не мог пойти со своей женой, невестой или дочерью в петровский публичный дом, где ее насильно будут накачивать сивухой, а то и сифилисом снабдят. Петр шарахался от всего порядочного в России, и все порядочное в России шарахалось от него.

Вот и получилась группа птенцов, товарищей и сынов, которые на другой же день после смерти своего великого собутыльника принялись «торговать Россией, как своей добычей». Что можно было ожидать иное?

Сейчас для этих птенцов мы нашли бы другое название: «выдвиженцы». Трагическая судьба всякой революции — в том числе и петровской — заключается в том, что **она всегда строится на отбросах**. Судьба этих отбросов одинакова во всех революциях. Во французской Робеспьер перерезал всех и сам был зарезан, а в русской Сталин вырезал всех. В петровской всех перерезал Меньшиков — «птенцы, товарищи и сыны» гибли на плахе, — но и сам Меньшиков помер в березовской ссылке.

Но пока они не вырезали друг друга, Россией правили именно они. Вероятно, даже и не Петр. Петр писал свои невразумительные и бестолковые приказы и исчезал заграницу то лечиться, то племянниц замуж выдавать, то союзы заключать. В промежутках он мелькал от Азова до Архангельска, рвал зубы, выделывал табакерки, фабриковал какую-то столярную ерунду, был шкипером, бомбардиром: «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник — он всеобъемлющей душой, на троне вечный был работник». Но работа была совсем не та, которой должен был заниматься царь и которая была нужна России. Пресловутые мозоли на петровских дланях и заплаты

на петровских сапогах были впоследствии использованы с чисто демагогическими целями; сам Петр об этих целях, вероятно, и не думал вовсе. Лучше уж Петр купил бы себе миллион новых сапог, чем вырубать зря миллионы десятин дубового леса, и лучше уж занимался бы он хотя бы познанием «физиологии народной жизни», чем вытаскиванием зубов или выпиливанием табакерок. Мозолистые руки так же плохо аттестуют царя, как и хирурга: что мне за утешение, если из-за своих пролетарских мозолистых рук хирург ткнет меня ножом совсем не туда, куда надо. Это очень напоминает недавний советский партмаксимум: люди обошлись России в сотни миллиардов рублей и десятки миллионов жизней, но зато получали они якобы не больше 225 рублей в месяц: такого режима экономии, как советский партмаксимум или петровские заплаты, — не дай Господи!

Во всяком случае, достаточно очевидно, что для государственной работы, — даже и не такой уже систематической, какою занимался, например, Наполеон, — за всеми этими метаниями, ремеслами, пьянством и лечением просто-напросто не могло быть времени. Петр возникал откуда-то из Карлсбада, налетал этаким орлом, бил дубинкой, отправлял на плаху и снова исчезал то ли в Копенгаген, то ли в Архангельск, предоставляя судьбы страны в распоряжение выдвиженческого сената с его «эгзегетическим чутьем». Сенаторское же чутье было направлено в те места, где плохо лежали деньги...

Выдвиженческий аппарат Петра не ограничивался Сенатом. Если перевести Сенат на язык советской действительности, то это будет ЦК партии, однако лишенный надзора со стороны, скажем, Сталина; Сталин не разъезжал, не плотничал и не пьянствовал. Рядом с Сенатом — Преображенский приказ — нынешнее ОГПУ. Основной вооруженной массой выдвиженцев, поддерживавшей власть уже не «эгзегетикой» и даже не застенком, а просто штыками, была гвардия. Это была фактическая «опора власти». И не гвардия зависела от Сената и даже от Преображенского приказа, а Сенат и приказ зависели от гвардии. Недаром над Сенатом был поставлен непосредственный гвардейский контроль в виде того знаменитого офицера, который должен был

присутствовать на сенатских заседаниях, быть там «оком государевым», наблюдать за порядком и сажать сенаторов на гауптвахту; таких административных отношений, кроме еще как в советской России, не было никогда и нигде.

Роль гвардейских унтер-выдвиженцев, насколько я знаю, в нашей историографии еще вовсе не обрисована, — да и не могла быть: до Октября выдвиженческого института вовсе не существовало, а после Октября о нем не вполне удобно было писать. Сейчас, сквозь призму советского опыта, этот институт нам несколько понятнее, чем старым историкам.

Напомню сталинскую схему, о которой я писал в своей первой книге («Россия в концлагере»). Сталин, вырезав ленинских апостолов, поставил свою ставку на сволочь, на отбросы, на выдвиженцев, т.е. на людей, которые «выдвинулись» только благодаря его, Сталина, поддержке и которые ни по каким своим личным качествам ни в какой иной обстановке выдвинуться не могли. И поэтому они зависят от Сталина целиком, и Сталин от них зависит целиком. Погиб Сталин — погибли и они. Они оставят Сталина — и Сталин будет зарезан первым же попавшимся конкурентом. Отсюда происходит их обоюдная преданность — действительно уж «до гроба». Отсюда же и универсальность задач, которые возлагались на оба сорта выдвиженцев — и петровских, и сталинских. В обоих случаях вопрос шел вовсе не о «пользе дела», а об охране «завоеваний революции». Отсюда и поразительный параллелизм деяний и подвигов обоих видов выдвиженчества: отряды по раскулачиванию не очень многим отличаются от тех 126 полков, которые Ключевский сравнивает с Батыевым нашествием. Гвардейские офицеры, контролирующие в провинции воевод и губернаторов, заковывавшие их в железо и сажавшие их в колодки, почти ничем не отличаются от провинциального ГПУ, везде вынюхивающего саботаж и вредительство и сажающего провинциальных администраторов и хозяйственников если не в колодки, то в концлагерь. Эту сторону петровской деятельности мы знаем только урывками — по крайней мере я. Покровский приводит письмо дипломата Матвеева о том, как в Москву прибыл гвардейский

унтер-офицер Пустошкин, который там «жестокую передрягу учинил... всем здешним правителям, кроме военной коллегии и юстиции, не только ноги, но и шею смерил цепями»... Это было в Москве, а вот для Вятки даже и унтер-офицера не потребовалось — туда был послан простой гвардейский солдат, рядовой Нетесов, который пребывал, как и его покровитель, в перманентном пьяном виде — «забрав всех как посадских, так и уездных лучших людей, держит их под земской конторой под караулом и скованных, где прежде всего держаны были разбойники, и берет взятки»... Гвардейский офицер или солдат, по понятиям Петра, как и советский выдвиженец, по понятиям Сталина, могли все, но больше всего мог он «жестокую передрягу учинить» — для этого особой умственности не требуется. Но это был тот слой, на котором держался Петр и который пришел после смерти Петра к почти неограниченной власти над Россией. Покровский говорит: «Петр не успел закрыть глаза, как гвардия уже была хозяйкой положения, и не только в императорском дворце!» Большая Советская Энциклопедия выражается еще проще: «Петербургская гвардейская казарма явилась преемницей московского земского собора» (т. 14, стр. 213).

Это не совсем точно: гвардейская казарма явилась преемницей не только собора, но также и царской власти: от Петра до Александра I включительно самодержавной монархии у нас не было, ее заменяла гвардейская казарма. С этой точки зрения не очень прав и Тихомиров, когда он говорил, что «монархия уцелела только благодаря народу». На эти 100 лет — от смерти Петра до 14 декабря 1826 года — в России самодержавной монархии не было вообще: нелепо было бы считать какими бы то ни было самодержицами Екатерину, Елизавету, Анну и пр., которые вынуждены были делать все то, что им приказывает гвардия.

Исчез самый основной смысл русского самодержавия, единоличная власть, не подчиненная никакому классу страны, власть ответственная, по крайней мере теоретически, только перед своей совестью.

Обычная точка зрения на монархическую деятельность Петра сводится к тому, что он, дескать, ликвидировал вотчин-

ную традицию московской государственности и первый стал рассматривать царя не как собственника страны, а как слугу государства: «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии…» (из приказа Петра перед Полтавским боем).

Если оставить в стороне литературные, по должности, упражнения насчет жизни, славы и благоденствия, то нужно сказать, что первыми слугами государства считали себя и московские цари, только выражались не столь литературно или не выражались вовсе: было само собою понятно. И Василий, и Иваны, и Алексей в весьма различных случаях говорили о царской ответственности перед Господом Богом. Градовский писал, что русский князь считался государем, но не владельцем земли, и что взгляд на князя, как на собственника земли, возник только в монгольский период. Однако уже Калита — по Ключевскому — «все считал не своей собственностью, а делом властелина, от Бога поставленного: люди свои уймати от лихого обычая». Грозный в письме к Адашеву прямо говорит о «людях, врученных мне БОГОМ». Ключевский говорит: «Государство тем и отличается от вотчины, что в нем воля вотчинника уступает место государственному закону» — дело идет о наследовании по закону или по завещанию. Как бы в ответ на это положение Покровский (т. 3, стр. 185) говорит категорически: «Как вотчиной, так и царским престолом в Москве **нельзя было распоряжаться по своему усмотрению**». И манифесты 1714 и 1722 годов (указ о единонаследии, который фактически передавал поместья в единоличное владение помещикам, и указ о престолонаследии, который фактически упразднял самый смысл монархии) Покровский объясняет так: «И тут, и там для Петра было важно расширить предел отцовской власти, стесняющейся действовавшими в России обычаями».

Историки систематически и упорно не замечают того факта, что обычай есть тоже закон — только неписаный; английская неписаная конституция оказалась безмерно крепче остальных писаных, в том числе и нашей. Соловьев, а за ним Ключевский и прочие упорно не хотят заметить тот факт, что

писаный закон 1722 года был писаным беззаконием, нарушавшим неписаный закон страны. Петр отбрасывал государство к довотчинной системе — ибо даже распоряжение вотчинами в Москве было ограничено — закон же 1722 года устанавливал неограниченное право распоряжения российским престолом.

Правом этим Петр воспользоваться не успел — воспользовался Меньшиков. Психологическая загадка петровского «завещания» заключается в том, что, издав свой указ за три года до своей смерти, Петр так и не удосужился вставить в пустое место этого закона конкретное имя престолонаследника. Историки, признавая решительность Петра одним из самых основных качеств его характера, объясняют эту оттяжку нерешительностью — никак не мог-де решить, кого же именно ему следует указать в качестве наследника.

Петр был болен и не мог не знать, что его жизнь висит на волоске. А вместе с его жизнью висит на волоске и вопрос о будущем царе. Заботясь о мануфактурах в России и о зубоврачебных операциях над подвернувшимися ему беднягами, заботу о самом важном — о будущности престола — Петр так и оставил в руках Алексашки Меньшикова. Покровский дает объяснение, полностью входящее в ту характеристику, которую я рискнул дать всему облику Петра: Петр прежде всего был трусом. «Боязнь смерти была так велика, — пишет Покровский, — что у него не хватало духу за это взяться, а у окружающих — напомнить ему об этом. Спохватились, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только два слова: “Отдайте все...”».

А кому отдать — так и осталось неизвестным. Я не знаю, остались ли эти трагические каракули в архивах русской истории. Я не знаю также и того, что было бы, если бы вместо каракуль Петр уже «почти в агонии» успел написать имя законного наследника. У смертного одра Петра толпились люди, которые убили отца этого наследника. Для них Екатерина была и единственным выходом, и по полному ничтожеству своему наилучшей монархической вывеской — вывеской для масс, прикрывавшей диктатуру гвардии. Лишние несколько секунд жизни

и сознания Петра едва ли бы могли помочь сложившемуся благодаря его собственной деятельности соотношению сил. Силой была гвардия, а не Россия.

И во главе этой силы стояли Меньшиковы и Долгоруковы. Петр всю свою жизнь разрушал российский порядок. И последних секунд его жизни было, ясно, недостаточно для ликвидации многолетней работы по разрушению.

Французский посланник докладывал своему правительству: «В течение болезни он (Петр) сильно упал духом, страшно боялся смерти... повелел молиться о себе в церквах разных религий и причащался три раза в течение одной недели»... Разве это не та же «крепость духа», которую Петр демонстрировал в Троицкой лавре, у Нарвы, у Гродно, в Прутском походе? И разве эта крепость духа хоть отдаленно похожа на завещания московских князей и царей, где с великой заботой и великим мужеством перед лицом смерти они предвидели все, что мог предвидеть москвич, который и свою страну любил, и своего Бога боялся. Петр тоже испугался Бога, но только на самом краю могилы. Вспоминал ли он в эти часы о всепьянейшем синоде?

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В нашей исторической литературе прочно и, по-видимому, окончательно утвердилась мысль, что петровские преобразования были, так сказать, автоматическим и не очень предусмотренным следствием затяжной Северной войны. Ключевский, правда, признает что «и до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином даже шедшая дальше ее» (стр. 219), а несколько раньше мельком констатирует (стр. 52), что «Петр следовал указаниям своих предшественников, однако не только не расширил, но еще сузил их программу внешней политики».

Можно было бы сказать иначе: предшественники Петра не только «начертали» определенную преобразовательную программу, но и весьма детально осуществляли ее. Мы уже видели,

что армия уже была больше чем наполовину реорганизована, что заводы строились, да и не только заводы, но и корабли, что приглашались иностранные специалисты, что русские купцы заводили свои представительства заграницей и даже вытесняли иностранных купцов с иностранных рынков, что была и аптека, и театры, и даже первая газета. Петр не «начал реформу» и не «следовал указаниям своих предшественников» — он застал реформу уже на ходу, почти на полном ходу. И не только изменил ее направление — он превратил реформу в революцию, а преобразование — в ломку. Технически эта перемена направления объясняется нуждами Северной войны: «Денег как возможно сбирать, понеже деньги суть артерией войны». Принципиально она объясняется тем отвращением ко всему русскому, которое всосал в себя Петр с млеком кокуйских попоек.

Кокуйская слобода многое объясняет в психологии Петра. Она объясняет прежде всего тот факт, что — по словам Ключевского — «в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек». У Петра — «недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях...». «Казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем Великого Государя... До конца жизни своей он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни».

Московские цари воспитывались в Кремле, который имел много плохих сторон, но все-таки давал и некоторые «правила, одухотворяющие и оправдывающие власть», и некоторые «политические понятия», на которых строилось Московское государство, и некоторое представление о «физиологии народной жизни». Петр ничего этого не имел — недостаток не столь великий для «хорошего плотника», но катастрофический для «Великого Государя». Не будем еще раз придираться к вопросу о том, каким это образом у Ключевского совмещается гениальность Петра с «правителем без правил», с политической безграмотностью, с недостатком суждения, нравственной неустойчивостью и, наконец, неумением предвидеть последствий

своих собственных деяний. Постараемся выяснить, откуда все это появилось.

Не думаю, чтобы можно было найти окончательный ответ. По всей вероятности, очень энергичный и подвижной мальчик, попав в кокуйскую атмосферу, где никаких «общественных сдержек» не было и быть не могло, что называется, «свихнулся». «Чин» московских дворцов с их истовостью и их временами тяжелым обрядом, с их традицией, был заменен публичными домами Кокуя, где вокруг юного царя увивались всякие поставщики удовольствий. Кабак и публичный дом сделались воспитателями Петра.

Они скрашивались астролябиями, Тиммерманами, ботиками и всякими такими техническими игрушками, до которых так охочи всяческие мальчики во все эпохи человеческой истории. Откуда-то издалека Кремль угрожал дисциплиной. Кремль напоминал об «общественных сдержках», и все поведение Петра по отношению к Кремлю очень напоминает гимназиста, только что покинувшего надоевшие стены и торжественно сжигающего свои учебники: накося — выкуси! Ненависть к Москве и ко всему тому, что с Москвой связано, проходит красной нитью сквозь всю эмоциональную историю Петра. Эту ненависть дал, конечно, Кокуй. И Кокуй же дал ответ на вопрос о дальнейших путях. Дальнейшие пути вели на Запад, а Кокуй — был его форпостом в варварской Москве. Нет Бога, кроме Запада, а Кокуй пророк его. Именно от Кокуя технические реформы Москвы наполнились эмоциональным содержанием: **Москву** не стоило улучшать — Москву надо было послать ко всем чертям со всем тем, что в ней находилось: с традициями, с бородами, с банями, с Церковью, с Кремлем и с пр. Историки — даже наиболее расположенные к Петру — недоумевают: зачем, собственно, понадобилось столь хулиганское отношение к Церкви, зачем понадобилось бить кнутом за бороду и русское платье («это было бы смешно, если бы не было безобразно», смущенно замечает Ключевский), зачем потребовалась борьба против бань? Никакого мало-мальски понятного политического смысла во всем этом безобразии най-

ти, конечно, нельзя. Но все это можно понять, как чисто хулиганский протест против той моральной дисциплины, которою вовсе не хотел стеснять себя Петр, как протест против тех «общественных сдержек», которым Петр противопоставил свою «нравственную неустойчивость».

«Нравственная неустойчивость» — результат кокуйского воспитания, упавшего, может быть, на врожденную плодородную почву, — была определяющим моментом всей деятельности Петра. Такой «неустойчивости» не было даже и у Грозного — тот все-таки каялся. После случайного, «в состоянии запальчивости и раздражения» убийства своего сына Грозный чуть с ума не сошел от горя. Петр преспокойно пел на панихиде замученного пытками и потом задушенного царевича Алексея: «присутствие духа», которое указывает даже и не на «нравственную неустойчивость», а просто на полное отсутствие всяких нравственных чувств вообще. Москва о нравственных чувствах все-таки напоминала, и если грешила сама, то знала, что грешила и потом каялась — даже и в лице Грозного. Петр шел по пути полного морального нигилизма, и все его поведение по отношению к Церкви, к Руси и к Москве было по самому глубокому существу своему таким же хулиганским протестом против общественного порядка, каким является и всякое хулиганство вообще. Проглядев мотив хулиганства, историки проглядели исходный пункт тех петровских безобразий, из-за которых народ окрестил преобразователя Антихристом.

Кокуй дал направление «преобразованиям». Оторвал их от их непосредственных технических целей, оторвал их от той почвы, для которой Москва, собственно, строилась, и повернул взор преобразователя на родину тех кокуйских дельцов, которые в трезвом, а еще более в пьяном виде не раз, конечно, хвастались перед Петром: «вот-де у нас... не то, что в твоей неумытой Москве». На умытый — без бань — Запад и обратил свои взоры Петр...

План преобразования, если вообще можно говорить о плане, был целиком взят с Запада, и так, как если бы до Петра в России не существовало вообще никакого общественного порядка, административного устройства и управительного

аппарата. Я не буду описывать этих преобразований; я приведу только подытоживающие выводы Ключевского и др.

О военной реформе я уже писал. Перейдем к административной. Результаты губернской реформы Ключевский характеризует так: «В губернской реформе законодательство Петра не обнаружило ни медленно обдуманной мысли, ни быстрой созидательной сметки. Всего меньше думали о благосостоянии населения... Губернских комиссаров, служивших лишь передатчиками в сношениях Сената с губернаторами и совсем неповинных в денежных недосылках, били на правеже дважды в неделю…» (стр. 168).

«Губернская реформа опустошила или расстроила центральное приказное управление... Создалось редкое по конструкции государство, состоявшее из восьми обширных сатрапий (подчеркнуто мной. — *И. С.*), ничем не объединявшихся в столице, да и самой столицы не существовало: Москва перестала быть ею, Петербург еще не успел стать. Объединял области центр не географический, а личный и передвижной: блуждавший по радиусам и перифериям сам Государь».

Государь блуждал не только по радиусам и перифериям — он пропадал заграницей. П. Милюков делает весьма тщательный подсчет заграничным вояжам Петра, из этого подсчета выясняется, что в столицах Петр бывал только случайно, наездом или проездом. Личный центр при тогдашних способах передвижения и связи отсутствовал почти вовсе. Губернская реформа разрушила старый аппарат, но нового собственно не создала. Наследием этой основной административной реформы жили и преемники Петра: «Преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей, — те и другие будут потом признаны священными заветами преобразователя» (Ключевский).

Финансовая реформа разорила страну. Преобразованный правительственный аппарат разворовывал около двух третей поступавших средств. Петр же, опять по Ключевскому, «пони-

мал народную экономию по-своему: чем больше колотить овец, тем больше шерсти должно дать овечье стадо». Положение «овечьего стада» дошло до того, что в Москве, например, уже не могли покупать соль — «многие ели без соли, цынжали и умирали». На обывателя и крестьянина была, по выражению Ключевского, — устроена «генеральная облава» и «можно только недоумевать, откуда только брались у крестьян деньги для таких платежей». В результате петровский наркомфин доносил преобразователю: «Тех подушных денег по окладам собрать сполна никоим образом невозможно, а именно за всеконечной крестьянской скудостью и за сущею пустотой». «Это был, — добавляет Ключевский, — как бы посмертный аттестат, выданный Петру за его подушную подать главным финансовым управлением».

Эту «всеконечную скудость» можно было, конечно, объяснить и военными расходами. Но можно объяснить и иначе. Ключевский перечисляет кое-какие расходы, хотя далеко не все: были опустошены леса Лифляндии и Эстляндии для стройки порта Ревеля, и миллионы бревен были брошены, был заброшен и проект стройки. «Ценное дубье для Балтийского флота — иное бревно ценилось в тогдашних рублей в сто — целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера, потому что Петр блуждал в это время по Германии, Дании, Франции, устрояя мекленбургские дела». Были брошены «страшно дорогие» азовское и таганрогское сооружения, а число погибших в одном Таганроге рабочих исчисляли сотнями тысяч. Была брошена новая дорога Петербург–Москва, положили 120 верст и потом бросили. В Нарве сгнило по тем же причинам колоссальное количество конской сбруи. Были вырублены, брошены и сгнили леса Воронежской губернии, а Азовский флот частью сгнил, частью отдан туркам. После смерти Петра осталось 16 тысяч орудий. Это выходит приблизительно по одному орудию на 10 человек наличного вооруженного состава армии — пропорция, совершенно несуразная; пушки строили безо всякого расчета. Тысячи «инспецов» торчали и получали деньги безо всякого толку, ибо то не было

сырья, то не было рынка. Огромные деньги ушли на всяческие субсидии всяческим союзникам Петра.

Однако самым любимым детищем, детской игрушкой и барской затеей Петра был флот. Напомню то, о чем я говорил выше. После Петра мы иногда имели хорошие корабли, почти всегда имели прекрасных моряков, но никогда не имели приличного флота — ни военного, ни торгового: флот нам не был нужен. Или, точнее, в таком размере, в каком он был бы нам на пользу, он был нам совершенно не под силу (проблема четырех морей). Флот уже не был нужен и к концу петровского царствования, если допустить, что он был нужен раньше. Швеция была разбита на суше. Даже морские победы Петра носят такой же сухопутный характер, как носили и победы Рима над Карфагеном. Римляне взяли верх на море только тогда, когда изобретением абордажных мостиков перенесли на море методы сухопутной войны. Шведский флот был разбит русскими галерами и русской пехотой, шедшей на абордаж. А парусная премудрость тут была не при чем — в особенности в шхерах, где только и остался что абордаж. Прибалтика была завоевана сухопутной армией. Карл XII погиб, Швеция надорвалась и сошла с арены. Против кого нужен был нам Балтийский флот? Против Дании и Англии? С Данией мы не воевали, а Англия все равно была не под силу. Единственная роль, которая могла бы принадлежать флоту и которую он сыграл в войну 1914–1918 годов, это флот береговой обороны — да и то против противника, с которым мы ведем одновременно сухопутную войну, как это было с Германией, — флот для предупреждения десантных операций противника. Но ни Швеция, ни Дания, ни тем более Англия десантными операциями нам никакими не угрожали, и послепетровский флот гнил просто по своей ненужности.

Но в эту ненужность были брошены чудовищные по тем временам суммы. Это для флота строились парусинные, канатные, якорные и прочие фабрики, которые после Петра заглохли по простой своей ненадобности. Вся флотская затея была прежде всего затеей совершенно бесхозяйственной. И тот же Ключевский, перечисляя бесконечные протори и убытки пет-

ровского хозяйничанья, приводит хозяйственные характеристики Петра, полностью исключавшие друг друга. В одной сказано: «Петр был крайне бережливый хозяин, зорким взглядом вникавший в каждую мелочь». В другой: «Петр слыл правителем, который раз что задумает, не пожалеет ни денег, ни жизней» — характеристика, явно несовместимая ни с бережливостью, ни вообще с какими бы то ни было хозяйскими данными.

Однако самой кардинальной реформой Петра, которую историки обходят старательным молчанием и о которой, правда, только мельком говорит советская «История СССР», был его указ 1714 года, так называемый указ о единонаследии. О том, как безграмотно и бестолково и противоречиво был он редактирован, я уже приводил определение Ключевского. О том, что из «единонаследия» ничего не вышло, пишут все историки. Но обходится сторонкой тот вопрос, что благодаря этому указу «**огромный фонд поместных земель окончательно сделался собственностью дворянства**» («История СССР», стр. 665).

Напомню, что по московскому законодательству поместное владение было владением государственным, и дворянство владело поместьями лишь постольку, поскольку оно за счет поместных доходов несло определенную государственную службу. Это не была собственность. **Это была заработная плата.** Академик Шмурло пишет (стр. 294): «Служилый человек в Московском Государстве служил, его положение определялось обязанностями, отнюдь не правами». После Петра у дворянства остаются только права. Первый, но решающий шаг в этом направлении сделал петровский указ, превративший государственные имения в частные и государственно-обязанных крестьян — в частную собственность. Дальнейшее законодательство времен порнократии только зафиксировало фактически создавшееся положение дел. И недаром дворянство именовало этот указ «изящнейшим благодеянием», оно в массе лучше оценивало те «следствия», которых никак не мог сообразить сам Петр. «В результате область крепостного права значительно расширилась, и здесь совершился целый переворот (подчеркнуто мной. — *И. С.*) только **отрицательного свойства**» (Ключевский).

Теоретик нашего монархизма Лев Тихомиров считает Петра гениальным человеком. «Представляя себе все ошибки Петра Великого, я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в частностях, а по существу делал в свое время именно то, что было нужно» (том 2, стр. 101).

Оставим частности. Посмотрим, что говорит тот же Тихомиров о вещах более серьезных, чем частности. О реформе вообще: «Петр стремился организовать самоуправление на шведский лад и с полнейшим презрением к своему родному, не воспользовался общинным бытом, представлявшим все данные к самоуправлению... Исключительный бюрократизм разных видов и полное отстранение нации от всякого присутствия в государственных делах делают из якобы “совершенных” петровских учреждений нечто в высшей степени регрессивное, стоящее по идее и вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных учреждений» (Л. Тихомиров).

«Учреждения Петра были фатальны для России и были бы еще вреднее, если бы оказались технически хороши. К счастью, в том виде, в каком их создал Петр, они оказались неспособными к сильному действию».

Гениальный преобразователь, учреждения которого оказались не только никуда не годными, но даже и фатальными, — как это совместить? Даже в мелочах? Не стоит говорить о мелких противоречиях: если учреждения оказались фатальными, то совершенно очевидно, что они были способными к «сильному действию», иначе бы никаких фатальных результатов не последовало. Они действовали очень сильно и главным образом благодаря тому, что были **как раз по пути нарождавшейся дворянской диктатуре**.

Но Тихомиров идет и дальше: «Монархия (при Петре. — *И. С.*) уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа» (стр. 112).

Значит, если Петр в числе всего прочего не разрушил и монархии, то и этот благополучный результат был достигнут только потому, что народ отгородился в своем сознании и от приказов

Петра, и от его понимания существа русской монархии. Согласитесь сами, что вопрос монархии уже никак нельзя отнести к числу таких частностей, как кости таганрогских или петербургских строителей или как леса Воронежа и Прибалтики. Нельзя считать частностью и вопрос о Церкви, а тот же Тихомиров пишет: «За первое десятилетие после учреждения Синода большая часть русских епископов побывала в тюрьмах, была расстригаема, бита кнутом и пр. В истории Константинопольской Церкви **после турецкого завоевания** мы не находим ни одного периода **такого разгрома епископов и такого бесцеремонного отношения к церковному имуществу**» (т. 2, стр. 111)[13].

Ключевский сравнивает поведение 126 полков с худшими временами Батыя. Тихомиров говорит, что греческой Церкви при турках было лучше. Ключевский говорит, что «под высоким покровительством Сената казнокрадство и взяточничество достигли размеров никогда небывалых прежде — разве только после». Тихомиров говорит, что «монархия уцелела только благодаря народу и вопреки Петру». Все историки, приводя «частности», перечисляют вопиющие примеры безалаберности, бесхозяйственности, беспощадности, великого разорения и весьма скромных успехов, и в результате сложения бесконечных минусов, грязи и крови получается портрет этакого «национального гения». Думаю, что столь странного арифметического действия во всей мировой литературе не было еще никогда. Заканчивая обзор петровских деяний, Ключевский дает окончательный штрих: «Созданные из другого склада понятия и нравов, новые учреждения не находили себе сродной почвы в атмосфере произвола и насилия. Разбоями низ отвечал на произвол верха: это была молчаливая круговая порука беззакония и неспособности здесь и безрасчетного отчаяния там. Внушительным законодательным фасадом прикрывалось общее безнародье».

Петр оставил после себя выигранную Северную войну, расходы которой не стоили «пяти Швеций», и оставил на целое

[13] Тихомиров прибавляет, что данные об этом петровском, не турецком, разгроме он сам проверял по первоисточникам. — *Прим. авт.*

столетие потерянные возможности на юге (Прутский поход, сдача Азова и флота). Он оставил разоренную страну, отвечавшую на произвол «и неслыханное дотоле воровство» «птенцов гнезда петрова» «безрасчетным отчаянием и разбоем». Он — вопреки Тихомирову — все-таки подорвал и монархию: вчерашняя уличная девка на престоле была так же невозможна в Москве, как невозможно было дальнейшее столетие порнократии. Он подорвал Церковь. Он подорвал престолонаследие. И после всего этого историки говорят о «частных ошибках». Эти «частные ошибки» мы с вами и расхлебываем до сих пор — Третьим Интернационалом, террором и голодом, законными наследниками деяний великого Петра.

ПОБЕДИТЕЛИ В ПЕТРОВСКОЙ РЕФОРМЕ

Итак, если опереться на ряд частных и разрозненных показаний наших историков, то вообще содержание всей петровской реформы можно уложить в такую примерно формулировку:

Продолжено несколько более удачно техническое перевооружение страны.

Разгромлен весь правительственный аппарат Москвы, опиравшийся на русское самоуправление, и заменен бюрократическим аппаратом инородцев.

Разгромлено патриаршество, замененное Синодом.

Разгромлено купечество, замененное «кумпанствами».

Разгромлено крестьянство, попавшее в собственность дворянству.

Выиграло только дворянство: указом о единонаследии оно получило в свое распоряжение государственную землю и государственное крестьянство; указом о замещении престола оно получило в свое распоряжение престол. Дворянство и является тем социальным слоем, который, во-первых, прятался за судорожной тенью Петра и который, во-вторых, ставил этой тени литературные и другие памятники.

Курсы русской истории оставляют эту сторону «переворота» несколько в тени. Ключевский туманно упоминает, что «при Петре московское дворянство должно было (? — *И. С.*) стать главным туземным орудием реформы». П. Милюков уже в эмиграции («На чужой стороне», № X, Прага, 1925) проговаривается столь же туманно: «С Петром нас связывает живое чувство родства и общности идей... Сознательно или бессознательно, на стороне петровской реформы стояло, конечно, большинство образованного класса, **совпадавшего** до середины XIX века с **классом дворянским**» (подчеркнуто мною. — *И. С.*).

Милюков ставит знак равенства между образованным классом и классом дворянским и снова делает передержку: дворянство и образованность, действительно, были синонимами **ОТ** Петра **ДО** середины XIX века, когда в дворянскую массу вклинились первые отряды «разночинцев». Но дворянство и образованность **не** были синонимами **ДО** Петра. Носителями образованности **ДО** Петра были и духовенство, и купечество. Духовенство вело, так сказать, гуманитарную часть этой образованности; купечество — техническую. Строгановы и Демидовы, строившие первые русские заводы, были, конечно, представителями технической культуры. Купец Никитин, добравшийся до Индии и написавший книгу о своем путешествии, не имел среди дворянства никаких конкурентов. Купцы, организовавшие свои представительства и в Стокгольме, и в Ганзейских городах, и в Лондоне, посылавшие своих приказчиков вплоть до Китая и своих землепроходцев вплоть до Камчатки, играли у нас ту же роль, какую в Западной Европе играли Васко де Гама, Магеллан, Колумб и пр. Реформы Петра означали, в частности, ликвидацию всей культуры русского духовенства и русского купечества. Религиозная мысль России, придавленная полупротестантским синодом, застряла на протестантском богословии и на синодской канцелярщине, а купечество появилось на общественных подмостках только в качестве героев Островского, пока Ленин не добил его окончательно. Но московское купечество было носителем не только технических, географических или коммерческих знаний: оно строило и рус-

скую художественную культуру. Советская «История СССР» (стр. 539) говорит: «Памятниками **купеческого** строительства являются **поразительные** по своей художественной цельности церкви Ярославля, Вологды, Устюга, Сольвычегодска и пр... Церковь Грузинской Божией Матери в Москве, построенная купцом Скрипиным, Воскресенский монастырь, **поразительный** по грандиозности и смелости замысла и по **фантастическому** разнообразию деталей, Коломенский дворец — первая попытка применить к большой постройке чисто народный стиль...».

Это все строила купеческая Русь. Она же организовывала русскую иконопись — иконы рублевских и строгановских писем, которые современная западноевропейская художественная критика считает высшим достижением русской живописи вообще и за которые сейчас в Америке платят совершенно сумасшедшие деньги. С Петром все это было кончено. Русский народный стиль архитектуры так и погиб в петровских казармах. Русская живопись застряла на два столетия, чтобы уже на наших глазах снова возникнуть в полотнах и фресках Васнецова, Нестерова и Врубеля.

По русской национальной культуре Петр и его наследники прошли батыевым нашествием — от этого нашествия русская культура не оправилась еще и сейчас. И в основе всего этого лежит петровский указ о единонаследии.

Напомню еще и еще раз: в Московской Руси и мужик и дворянин были равно обязанными слоями: «Крепостной человек служил своему помещику, — говорит академик Шмурло, — с тем, чтобы дать ему возможность отправлять службу, так что перестанет служить помещик, должны быть освобождены от обязанностей к нему и крестьяне. Этот взгляд глубоко вкоренился в сознание народное, и когда впоследствии помещики и дворяне стали действительно освобождаться от военной повинности, то крестьяне с полным основанием требовали, чтобы освободили и их, но не от рекрутчины, а от крепостничества».

Отметим еще и еще раз принципиальную противоположность исходных точек западноевропейского и московского крепостного права. На Западе мужик был порабощен вовсе

не во имя каких бы то ни было общих интересов какого-нибудь киевского, дармштадтского, веронского или клюнийского уезда. Он был закрепощен потому, что он был завоеван. Он рассматривался прежде всего как военная добыча. Идеологи монархической реставрации во Франции времен Наполеона ставили вопрос со всей откровенностью: мы, аристократия и дворянство, — другая раса, другой народ. Теоретик буржуазной революции Тьер отвечал им примерно теми же доводами: да, мы — третье сословие, мы — другая раса, раса побежденных, а французская революция была восстанием побежденных против победителей. Такой точки зрения в Московской Руси не было никогда; она появилась только впоследствии, когда Рюриковичи, с одной стороны, и гитлеровцы — с другой, начали разработку рюриковской легенды для идеологического прикрытия своих практических потребностей.

«По Уложению 1649 года, — говорит Шмурло, — крестьянин был лишен права сходить с земли, но во всем остальном он остается совершенно свободным. Закон признавал за ним право на собственность, право заниматься торговлей, заключать договоры, распоряжаться своим имуществом по завещанию».

Наши историки — сознательно или бессознательно — допускают очень существенную терминологическую передержку, ибо «крепостной человек», «крепостное право» и «дворянин» в Московской Руси были совсем не тем, чем они стали в петровской.

Московский мужик не был **ничьей личной собственностью**. Он не был рабом. Он находился примерно в таком же положении, как в конце прошлого века находился рядовой казак. Мужик в такой же степени был подчинен своему помещику, как казак своему атаману. Казак не мог бросить свой полк, не мог сойти со своей земли, атаман мог его выпороть, — как и помещик крестьянина, — но это был порядок военно-государственной **субординации**, а не порядок рабства. Начало **рабству** положил Петр.

Вспомним предыдущие попытки дворянства — под предлогом стояния за Дом Пресвятой Богородицы — наложить

свою лапу на власть и на мужика. Эти попытки неизменно наталкивались на единый фронт крестьянства, купечества, духовенства и посада — под водительством монархии, и дворянство отступало вспять. Петр порвал этот фронт на самом решающем его участке — на участке генерального штаба России.

Дворянству только и оставалось, что ринуться в этот прорыв и закрепить там свои позиции, что оно и сделало. Око назвало петровский указ «изящнейшим благодеянием» и в течение двух веков воздвигало его автору памятники — и бронзовые, и литературные, и всякие другие. Купечество, духовенство, крестьянство и посад были разгромлены, подавлены и обращены в рабство. Русская национальная культура была отброшена на века назад. Русское национальное сознание и до сих пор еще не может высвободиться из-под наследия петровско-дворянской диктатуры над Россией.

Петровская страсть к иноземщине носила, собственно, патологический характер. П. Милюков повествует о том, как Петр стал строить Петербург: «Петербург раньше строили на Петербургской стороне, но вдруг выходит решение перенести торговлю и главное поселение в Кронштадт. Снова там, по приказу царя, каждая провинция строит огромный корпус, в котором никто жить не будет и который развалится от времени. В то же время настоящий город строится между Адмиралтейством и Летним садом, где берег выше и наводнения не так опасны. Петр снова недоволен. У него новая затея. **Петербург должен походить на Амстердам**: улицы надо заменить каналами. Для этого приказано перенести город на самое низкое место — на Васильевский остров» («На чужой стороне», т. 10).

Но Васильевский остров заливался наводнениями; стали строить плотины — опять же по образцу амстердамских. Из плотин ничего не вышло, ибо при тогдашней технике это была работа на десятилетия. Стройку перенесли на правый берег Невы, на то место, которое и поныне называется Новой Голландией.

Не имея ровно никакого представления о том, что Ключевский называет «исторической логикой» и «физиологией народной жизни», Петр не мог, да, видимо, и не пытался сообра-

зить то обстоятельство, что Голландии деваться некуда: вся страна стоит на болоте, что, кроме того, Голландия расположена на берегу незамерзающего моря и что ее континентальная база расположена тут же за спиной, а не в 600 верстах болот и тайги. Но ни логика, ни физиология, ни география, ни климат приняты во внимание не были: «хочу, чтобы все было, как в Голландии». Даже и одежда.

И об этом мы в свое время учили в гимназиях и университетах: Петр-де сменил неудобные старинные ферязи и прочее на удобное для работы западноевропейское одеяние. Мы, по тем временам, верили и этому объяснению — несмотря на всю его совершенно очевидную глупость. Боярская ферязь, действительно, не была приспособлена для рубки дров — так она рубки дров и не имела в виду, точно так же, как этой сферы человеческой деятельности не имеет в виду ни современный смокинг, ни фрак, ни даже пиджак. Но если вам зимой надо ехать в санях, то лучше ферязи вы и сейчас ничего не найдете. И если вы всмотритесь в стрелецкое обмундирование, то вы без особенного труда увидите, что — через 200 лет всякой ерунды с лосинами, киверами, треуголками и прочим в этом роде — русская армия конца XIX века и начала XX столетий вернулась к тем же стрельцам: штаны, сапоги, рубаха, шинель и папаха. Ибо это обмундирование соответствует русскому климату, и русским пространствам, и русской психологии. Голландские башмаки с пряжками и чулками могли быть очень красивы, но ни для русской осени, ни для русской зимы они не годятся никак: нужны сапоги или валенки. Треуголка или кивер могут быть очень живописны и могут быть практически терпимы при небольших переходах. Но если солдату нужно делать тысячи верст, то кивер с его султаном и прочими побрякушками превращается из «головного убора» в очень обременительную ношу: попробуйте вы спать в кивере или на кивере. Я не пробовал. А папаху нахлобучил на голову или подложил под голову, и великолепно... Двести лет потребовалось для того, чтобы вспомнить такую элементарную простую вещь, как стрелецкая меховая шапка.

Кое о чем мы не вспомнили и до сих пор. Основной торгово-промышленной организацией Москвы был «торговый дом» — семейное предприятие, рассчитанное на полное доверие связанных родством соучастников дела. Из таких «торговых домов» выросли и Строгановы и Демидовы, а в более позднюю эпоху — Рябушинские, Гучковы, Стахеевы. «Торговый дом» вырос органически из всего прошлого России, из ее крепкой семейной традиции, из того склада русской психики, которая перевела на язык семейных отношений даже и высшую государственную власть: «Царь-Батюшка». На этой традиции и в наше время ездил еще «отец народов».

Торговые дома были разгромлены во имя «кумпанств». С русского купца драли семь шкур, а добыча переправлялась «кумпанствам» в виде концессий, субсидий, льгот и всего прочего. А еще более в виде возможностей ничем не ограниченного воровства, в области которого Алексашка Меньшиков поставил всероссийский рекорд расторопности.

Из «кумпанств» не вышло ничего. Милюков подсчитывает, что из сотни петровских фабрик «до Екатерины дожило только два десятка». Покровский приводит еще более мрачный подсчет: не более 10 процентов.

Марксистские историки рассматривают петровскую эпоху, как результат «наступления торгового капитала» или (как Покровский) как «прорыв» торгового капитала к государственной власти. Наступление ли, прорыв ли, но, во всяком случае, после этого стратегического мероприятия русский торговый капитал почти на целое столетие вообще исчезает с поверхности русской экономической жизни: «прорыв» привел к разгрому. Этому соответствовал и разгром русской деревни. Милюков («История государственного хозяйства») приводит также цифры: «Средняя убыль населения в 1710 году, сравнительно с последней московской переписью, равняется 40 процентам. В Пошехонье из 5356 дворов от рекрутчины и казенных работ запустел 1551 двор и от побегов — 1366». Документ 1726 года, т.е. сейчас же после смерти Петра подписанный «верховниками», говорит: «После переписи многие крестьяне, которые могли работой своей доста-

вить деньги, померли, в рекруты взяты и разбежались, а которые могут ныне работою своей получать деньги на государственную подать, таких осталось малое число».

Словом, разгромлено было все, по-батыевски. И было бы, конечно, преувеличением взваливать всю вину на Петра: он просто оказался самым слабым пунктом общего национального фронта — и в прорыв бросилось дворянство, а никак уж не «торговый капитал», и именно дворянство закрепило не только новые социальные отношения, но и тот духовный перелом, который характеризует петровскую эпоху больше чем что бы то ни было другое.

ПРОРЫВ НА ФРОНТЕ ДУХА

Заводы и флот, регулярная армия и техника — все это было не ново и в Москве. То принципиально новое, что внес с собою Петр, сводилось к принципиальному подчинению всего русского всему иностранному. «Философия» Петра — поскольку можно говорить о его философии — была взята напрокат у Лейбница, который, шатаясь по дворам немецких владетельных князьков, снабжал — за сравнительно небольшие деньги — государственной мудростью владыку варварской России. Административная система была вся списана со Швеции, откуда — за уже гораздо большие деньги — приглашались инспецы-инструктора, ни слова не говорившие по-русски и о русских отношениях не имевшие уже абсолютно никакого понятия. В военной администрации — победитель шведов Шереметьев был выброшен вон во имя побежденного перебежчика Шлиппенбаха — о де Круа я уже не говорю. Церковное управление было перестроено по протестантскому образцу.

А. Павлов в своем «Курсе русского церковного права» говорит прямо: «Взгляд Петра Великого на Церковь... образовался под влиянием протестантской канонической системы...». Была даже введена и инквизиция, из которой, впрочем, ничего не вышло. Резали полы кафтанов, вырывали «с кровью» бороды,

закрывали бани — вообще объявили войну всем внутренним и внешним национальным признакам России. Россия была объявлена «вторым сортом», — первым были Шлиппенбахи, де Круа, Лефорты, Остерманы и вообще «Европа». Русское национальное сознание было принижено так, как при Батые и при Ленине.

Как могла произойти эта измена нации, и как она могла продержаться до наших дней?

Петр не только «прорубил окно в Европу», он также продавил дыру в русском общенациональном фронте. Дворянство устремилось в эту дыру, захватило власть над страной, и, конечно, для него было необходимо отделить себя от страны не только политическими и экономическими привилегиями, но и всем культурным обликом: мы — победители, не такие, как вы — побежденные.

Сама идея захвата власти была взята с Запада. Недаром при Петре появляется совершенно новый для Руси термин: благородное **шляхетство**. И если на Западе «шляхта» была отделена от «быдла» целой коллекцией самых разнообразных культурно-бытовых «пропастей», то такие же пропасти надо было вырыть между победителями и побежденными новой, послепетровской России. Если вместо прежнего поместного владельца и тяглого крестьянина, на разных служебных ступенях несущих одинаковую государственную службу, возникли шляхтичи, с одной стороны, и раб, с другой стороны, то логически было необходимо отделить шляхтича от раба всеми технически доступными способами и внешнего и внутреннего отличия. Нужно было создать иной костюм, **иные** развлечения, **иное** миросозерцание и по мере возможности даже и **иной** язык. Всякая общность, и внутренняя, и внешняя, затрудняла бы реализацию новых отношений. Дворянская фуражка с красным околышем, которую мне случалось видеть даже и в эмиграции, была в последние десятилетия последним остатком петровских завоеваний. Все потеряно: поместья, чины, молодость и Россия; сидит человек на церковной паперти и продает газеты. Человек совсем уже стар и не совсем все-таки трезв. Его

коммерческое предприятие очень уже похоже на подаяние: покупатели норовят не взять мелкой сдачи, купить ненужную газету: жалко старичка. Но на дворянской голове красуется все-таки дворянская фуражка: последнее, самое последнее, что еще осталось от прекрасных дней диктатуры его сословия.

Пример этого старичка, впрочем, не совсем исчерпывает дворянскую проблему сегодняшнего дня: есть еще в эмиграции собрания дворян тамбовской, а также и прочих губерний. Есть и другие вещи: мой добрый приятель, русский юноша необычайной одаренности, носивший очень известное в эмиграции имя, — вообще «жених, что надо» — получил отказ ввиду его недворянского происхождения. Семья проектировавшейся невесты сидела уже давно «на дне», не на таком, как старичок с газетами, но очень близко к газетам: мелкое и неумелое ремесло, подаяние эмигрантских организаций, и не было даже надежды на переворот, который возвратит потерянные именья, — обычная и единственная надежда этого слоя людей, — ибо имений не было уже и в России. Но дворянское классовое сознание мощно подавляло все очевидности нынешнего и будущего «экономического» бытия...

Это происходило в эмиграции и почти в середине XX века. Можно себе представить, что происходило в Тамбовской губернии в середине XVIII века. Петр с его «окном в Европу» и в шляхетство свалился как манна небесная на одержимое похотью власти дворянское сословие. Едва ли можно предполагать, что дворянство сразу сообразило все вытекающие из Петра последствия: «Великий Преобразователь», как и все русские цари, дворянство недолюбливал очень сильно и считал его сословием лодырей и тунеядцев. Но он не соображал, что именно он делал, и дворянство едва ли сразу сообразило, какие из всего этого могут проистечь выгоды. Перед самой смертью Петр начал, наконец, по-видимому, что-то все-таки соображать — отсюда, кроме болезни, и отчаянное настроение преобразователя. К этому же моменту сообразило обстановку и дворянство: прежде всего надо убрать монархию. Все остальное пошло более или менее автоматически. Вам нужен иной костюм, чтобы

даже по внешности отгородиться от раба, — вот вам голландский кафтан с чужого плеча. Вам нужны иные развлечения — вот вам ассамблеи. Вам нужно иное мировоззрение — вот вам Лейбниц, Пуфендорф, Шеллинг и Гегель. Вам нужен иной язык — вот вам, пожалуйста, раньше голландский, а потом французский. Вам нужно иное искусство — вот вам, пожалуйста, Растрелли вместо Рублева и Ватто — вместо иконописи.

Я этим не хочу сказать, что Лейбниц, ассамблеи, французский язык, Растрелли или Ватто плохи сами по себе: Лейбниц, говорят, истинно великий философ, французский язык — очень богатый язык, и Растрелли, конечно, выдающийся зодчий. Но все дело в том, что ни Лейбниц, ни Растрелли, ни все прочие были для России совершенно не нужны, и что они были использованы только для стройки проволочных заграждений между «первенствующим сословием» и всеми теми, кто остался вне первенствующих рядов. Пресловутая «пропасть между народом и интеллигенцией» была вырыта именно на этом участке: мужик молился на иконы рублевских писем и считал Ватто барским баловством — и был, конечно, совершенно прав. Мужик верил и верит и в Бога и в Россию, а не в Лейбница и Гегеля, и тоже, конечно, совершенно прав. Сейчас это можно констатировать с абсолютной очевидностью: когда России пришлось плохо, то даже Сталин ухватился не за Гегеля и Маркса, а за Церковь, за Святую Русь и даже за святого благоверного князя Александра Невского. Вот они и вывезли.

Потери русской культуры были чудовищны. Подсчитать их мы не сможем **никогда**. В стройке национальной культуры наступил двухвековой застой. То, что было создано дворянством, — оказалось в большинстве случаев народу и ненужным, и чуждым. Но, — как и при всех революциях в мире, — мы видим то, что осталось, ТО, что все-таки выросло, и не видим ТОГО, что погибло. Мы видим Ломоносовых, которым удалось проскочить, видим Шевченко или Кольцова, которые проскочили изуродованными, и мы не видим и не можем видеть тех, кто так и не смог проскочить. Мы видим растреллиевские дворцы, но тот русский стиль зодчества, который в Московской Руси

дал такие «поразительные» образцы, заглох и до сего времени. Заглохла русская иконопись[14].

Заглох русский бытовой роман — даже русский язык стал глохнуть, ибо тот образованный слой, который должен был создавать русскую литературную речь, лет полтораста не только говорил, но и думал по-французски. Заглохло великолепное ремесло Московской Руси, заглохла даже и петровская промышленность, с тем чтобы 200 лет спустя появиться вновь и вновь — на базе ликвидации мужика как класса, на базе превращения его в раба... Боюсь, что сталинская крепостная промышленность удержится еще меньше, чем крепостная петровская...

Рецепция, принятие иностранной культуры, была необходима не для того, чтобы поднять или спасти Россию — она в этом не нуждалась, а для того, чтобы дворянство могло отгородиться от всех носителей русской культуры: от купечества, духовенства и крестьянства. Оно и отгородилось. И уже совсем погибая, переживая последние дни своей политической и еще больше экономической гегемонии, находясь, «как класс», в совсем предсмертных конвульсиях, оно сознательно или бессознательно все еще старается напялить на нас немецкий кафтан. И в этом отношении ленинский Маркс только повторяет петровского Лейбница.

ВЫВОДЫ

Вот вам фактическая сводка того, что было совершено Великим Петром и чем Россия заплатила за эти свершения. Я — не историк. Я не производил никаких новых архивных изысканий, не оперировал неизвестными — и поэтому спорными — историческими материалами. Я более или менее суммировал только те данные, которые имеются во всех элементарных курсах русской истории, которые поэтому могут считаться и общеизвестными, и бесспорными. Я совершенно искренне

[14] Не забудем, что по тем временам почти вся живопись была иконописью: и Рафаэль, и да Винчи, и Микельанджело были прежде всего иконописцами. — *Прим. авт.*

убежден, что из этих общеизвестных и бесспорных фактов я сделал правильные — логически неизбежные — общие выводы. И что, следовательно, те выводы, которые делали наши историки, — за исключением в некоторой степени Милюкова, — являются нелогичными выводами. Хорошо понимаю всю смелость такого заключения. Тем более что настоящие трудности начинаются только теперь: как объяснить все-таки факт, что «дело Петра» просуществовало с большим или меньшим успехом все-таки больше 200 лет, что почти вся историческая литература считает Петра и гением, и преобразователем, и что, наконец, эту оценку разделяют столь далекие друг от друга люди, как Маркс и Пушкин, советские историки и Соловьев, Ключевский и наши нигилисты из шестидесятников — Чернышевские, Добролюбовы, Писаревы и пр. Или, — говоря несколько схематически, — что в оценке Петра сходятся и дворянская реакция, и пролетарская революция...

Вспомним о той мысли, которая, по Ключевскому, «инстинктивной похотью» сказалась в дворянских кругах в эпоху Смутного времени, когда дворянство, — тогда служилый, а не рабовладельческий класс, — попыталось «завоевать Россию для себя» и «под предлогом стояния за Дом Пресвятой Богородицы и за православную веру провозгласило себя владыкой родной земли».

Эта «похоть» в той или иной степени всегда свойственна всякому правящему слою всякой страны. В дорамановской Москве эту похоть пыталось реализовать потомство удельных князей и было разгромлено Грозным. В Смутное время после разгрома княжат — и после совсем уже неудачной попытки Шуйского восстановить власть аристократической верхушки — к захвату власти шло рядовое дворянство, которое по тогдашним временам могло называться если и не совсем демократией, то, во всяком случае, «третьим сословием», так сказать, тогдашней интеллигенцией. Смутное время закрепило приблизительно тот перелом, который связан во Франции с Великой французской революцией: ушла старинная родовая аристократия, пришло деловое и служилое «третье сословие». Но дальше парал-

лель кончается: во Франции возник цесаризм, закончившийся республикой, и республика в окончательной (пока) форме закрепила завоевания «третьего сословия» — буржуазии. Эти завоевания оспаривает теперь четвертое сословие — пролетариат.

В Москве ни с цезаризмом, ни с вождизмом ничего не вышло. Ни Лжедмитрий, ни Шуйский удержаться не смогли. Ни Ляпунов, ни Минин, ни Пожарский даже и не пробовали пытаться провозгласить себя вождями освобожденной страны. Москва спешно и деловито восстановила старинную форму монархии и путем всяких исторических натяжек попыталась связать новую династию не только с Рюриковичами, но и с «пресветлым корнем» Августа.

Новая династия сразу же утвердилась в качестве полноправной и традиционной монархии — монархии «волею Божиею», несмотря даже и на всенародное избрание.

Это избрание ввиду «пресветлого корени» и всего прочего должно было, по существу, только утвердить генеалогические права шестнадцатилетнего мальчика. Ясно: избирали не за «заслуги» и не за «таланты». И вообще, не столько «избирали», ибо других кандидатов предъявлено не было и «избирать» было не из кого, а только подтвердили «законные» права Михаила на «прадедовский» престол. Собор вернулся — повторяю, не без натяжек — к основной идее всякой монархии — к «воле Божией», выраженной в случайности рождения и независимой, следовательно, ни от каких человеческих домыслов. «Заслуги» вызвали бы новую неустойчивость. «Право рождения» ставило окончательную точку над всякой конкуренцией в «заслугах». Москва сразу вернулась к существу старой монархии и с чрезвычайной ревностью оберегала ее «самодержавие». Москва купечества, духовенства, черной сотни, Москва посадских людей и степенного северного Поволжья категорически восставала против всяких «конституционных» попыток верхов, как впоследствии, при Анне, восстали против них и рядовые гвардейцы. Московская Русь понимала очень хорошо, бесконечно лучше, чем понимала это петербургская Россия, что ограничение самодержавия означает **передачу всей власти**

правящим верхам и, следовательно, лишение всех прав неправящих низов.

В самой Москве эти низы были налицо. Это они время от времени наводняли собою Красную площадь, это они время от времени расправлялись со всякими аристократическими попытками, это они поддерживали Грозного. Было купечество, которое — так же, как и низы, — боялось «конституции». Петербургская Россия доказала, что эта боязнь была правильна: при петербургской России купечество было согнуто в бараний рог. Боялось ограничения и духовенство. Вспомним, что писал Тихомиров о расправе с этим духовенством. Вспомним и о страшном упадке русской Церкви, от которого она не смогла оправиться и до сих пор. Боялось и крестьянство. Вспомним, что получилось с ним в XVIII веке. В Москве не было конституции. Но в Москве была традиция, выкованная веками испытаний и поддерживаемая всей массой: и города, и страны. В самой Москве была часть этой массы, готовая поддержать свои интересы или дубьем, или ропотом, или тем жутким способом народного голосования, который так блестяще подметил Пушкин: «народ безмолвствует».

Два первых царствования новой династии были, можно сказать, классической эпохой нашей монархии, повторенной в сильно измененных условиях в XIX веке. Было «едино стадо и един пастырь», но не в стиле «айн фюрер, айн Рейх»[15], не в стиле вождизма. Ибо монархия есть единоличная власть, подчиненная традициям страны, ее вере и ее интересам, иначе говоря, власть одного лица, но без отсебятины. Вождь — тоже одно лицо, но с отсебятиной. Петр был смесью монарха с вождем — редкий пример царя с отсебятиной. Первые два Романова — Михаил и Алексей в невероятно тяжких условиях послереволюционной и послевоенной разрухи и в исключительно короткий промежуток времени успели и восстановить страну, и установить некое нормальное равновесие между слоями и классами народа — указать каждому его место и его тягло. По историческим условиям тягло преобладало очень сильно.

[15] Ein Fuhrer, ein Reich — один вождь, одно государство *(нем.)*.

И в этом — как всегда в мире — меняющемся и относительном равновесии были созданы все необходимые предпосылки нормальной дальнейшей эволюции страны, до «техники передовых капиталистических стран» включительно. Но никакого ни места, ни возможности создания классовой диктатуры в Москве не было. Москва поднялась бы: купецкая — с рублем, мужицкая — с дубьем, духовная — с анафемой, и претендент в диктаторы был бы ликвидирован на корню.

Петр, конечно совсем не соображая, что именно он делает, — он, по-видимому, этого никогда не соображал (Ключевский вежливо говорит: «Он был не охотник до досужих соображений, во всяком деле ему легче давались **подробности работы, чем ее общий план**, он лучше соображал средства и цели, чем следствия») — не успел сообразить даже и того, что оставляет страну без наследника престола. Петр сообразил, что Санкт-Петербург может быть хорошей гаванью, но едва ли соображал, что значит высылка правительственного центра страны на полтора месяца пути по тогдашнему бездорожью. Центр оказался вынесенным куда-то в далекую болотную глушь, на гнилое чухонское болото, где вообще никого не было: ни мужиков, ни купцов, ни посадских людей, ни духовенства, ни даже аристократии. Впоследствии, еще при Петре, там появился всякий наемный — по преимуществу иностранно-чухонский — сброд, который по профессии своей, по навыкам своим и по полному своему интернационализму повиновался тем, кто ему платит.

Петербург свалился на дворянство, как манна небесная. Вот именно из этого генерального штаба, созданного Петром и удаленного от неприятельских позиций Москвы — купечества, крестьянства и пр. — можно было править страной в свое собственное удовольствие, в удовлетворение своей собственной похоти. Уже на другой день после смерти Петра дворянство устанавливает свою полную собственную диктатуру. На престол вопреки и закону, и традиции возводится вчерашняя девка, которая, конечно, ничем править не может и ничем не правит. Ее спаивают, и за нее управляет дворянство — раньше не очень

оформленное, оно очень скоро консолидируется в касту, ясно сознававшую и свое положение, и свои возможности.

Впрочем, возможно, что и перенос царской резиденции был выдуман не Петром. В курсе проф. Филиппова сказано — совсем мельком — следующее: «Власть не господствовала над крепким, исторически сложившимся государственным слоем, а он сам держал ее в известном гармоническом (подчеркнуто проф. Филипповым. — *И. С.*) подчинении себе... Недаром поляки в Смутное время, видя плотность боярской и духовной среды, замыкавшейся около Государя, считали необходимым для проведения своих планов вырвать **царя из этой среды и перенести царскую резиденцию из Москвы куда-нибудь в другое место**» (подчеркнуто проф. Филипповым. — *И. С.*).

Как видите, при Петре был просто реализован старый польский план. Царь был вырван не только из «среды», но, в сущности, и из России: тогдашний Санкт-Петербург Россией, конечно, не был. План врагов России был реализован одним из ее сословий.

Знало ли сословие о планах поляков? Или эта мысль пришла самостоятельно Петру? Или была внушена каким-то окружением? И почему никто против нее не протестовал? Почему после смерти Петра возвращение столицы в Москву так и не состоялось?

Ничего этого мы не знаем: «не учили». Не знаем и того, кто позволил пятнадцатилетнему мальчишке Петру таскаться по кабакам и публичным домам Кокуя. Петра II споили просто и откровенно. Но не было ли вокруг и Петра I людей, которые, вместо того, чтобы воспитывать его, предпочитали то ли активно толкать его в Кокуй, то ли пассивно смотреть, как он развлекается?

Устроив свой штаб так, как устраивается всякий генеральный штаб, — подальше от неприятельских позиций, — дворянство в течение 50 лет полностью наверстывает все: и свою так долго неутоленную похоть власти над родной страной, и годы своих бранных лишений и военного тягла, и, наконец, свой рабовладельческий голод. Монархия в России пере-

стала существовать. То, что утвердилось в послепетровскую эпоху, до Павла I, до Александра I или Николая I — не было монархией. Красной площади не было. Не было и народа, который мог бы хотя бы «безмолвствовать». Центр власти был недосягаем и недостижим, но все нити управления у этого центра остались. Аппарат был в его руках. Петр тоже, конечно, вовсе не соображая, что он делает, разгромил строй московский — управительную машину — и создал свою — новую — вот те 126 военно-полицейских команд, от которых, по Ключевскому, России пришлось похуже, чем от Батыя. В этот аппарат были насильственно всажены обязательные иностранцы. Этот аппарат был пронизан неслыханным дотоле шпионажем, сыском и соглядатайством. Земский строй был разрушен дотла. Табель о ранге создал бюрократию — слой людей, связанных только интересами чинопроизводства. Петр создал для будущей дворянской диктатуры, во-первых, великолепную и недосягаемую для страны «операционную базу» и, во-вторых, оторванный от страны и от ее интересов аппарат вооруженного принуждения. Дворянству только и оставалось — не допустить восстановления монархии, чего оно и достигло. Во всяком случае, до Николая I, который в первый раз за 100 лет показал вооруженным рабовладельцам декабризма железную руку и ежовые рукавицы самодержавия. Но справиться с этими рабовладельцами не смог даже и он.

Дело Петра удержалось потому, что он, разгромив традицию, опустошив столицу и разорив страну, помер, предоставив полнейший простор «классовой борьбе» в самом марксистском смысле этого слова. И военный дворянский слой, самый сильный в эту эпоху непрерывных войн, сразу сел на шею всем остальным людям страны: подчинил себе Церковь, согнул в бараний рог купечество, поработил крестьянство и сам отказался от каких бы то ни было общенациональных долгов, тягот и обязанностей. Дворянство зажило во всю свою сласть.

С этой точки зрения — помимо всех прочих — объясняется и полный провал петровского «парниково-казенного воспитания промышленности». Послепетровские мамаши говорили:

«Зачем дворянству география?» География не нужна была: можно было нанять извозчика, он географию должен был знать. Но не была нужна и промышленность. Все, что нужно для веселой жизни, включая Растрелли и Рубенсов, можно получить в готовом виде и за крепостные деньги. Историки и исторические романисты описывают тот «вихрь наслаждений» — пиров, балов, зрелищ и пьянства, в который бросилось освобожденное от чувства долга и от необходимости работать дворянство. Дворянству если и был нужен чугун, так только для пушек. Все остальное поставлял «Лондон щепетильный» и вообще всякие дошлые иностранцы за готовенькие русские денежки. Денежки же поставлял мужик. Для мужика же были нужны не чугунные, а ременные изделия. И все было очень хорошо. И во главе всего этого стоял петровский «парадиз», на который можно было положиться: уж он постарается не выдать, ибо если выдаст он, то и ему придется плохо. Петербург — чиновный, дворянский Петербург — старался не выдать до февраля 1917 года. Пришлось плохо и ему, и дворянству, но пришлось плохо и стране.

Вся русская историография написана дворянами. Я совсем не хочу утверждать, что Соловьев или Ключевский сознательно перевирали действительность во имя сознательно понятых кастовых интересов. Все это делается проще. Человек рождается в данной обстановке. Она ему близка и мила. Она ему родная. Ему мил выкопанный крепостными руками дедовский пруд, построенная теми же руками дедовская усадьба, воспитанные на том же труде семейные предания и традиции, весь тот круг мыслей, чувств, даже ощущений, который так блестяще рисовал Лев Толстой. Но ведь Лев Толстой как-никак был гением — что же требовать от более средних людей? Толстой сам признавался, что ему дорог, близок и мил только аристократический круг. И даже Стива Облонский, совершеннейший обормот и прохвост, описан так, что вы невольно заражаетесь толстовской симпатией. А когда дело доходит до мужика, — то появляется какой-то Каратаев, которого никогда ни в природе, ни в истории не существовало, мужик, который о крепостном

праве и слыхом не слыхал, — этакое мягкое и пухлое изголовье для сладких дворянских сновидений о минувшем прошлом. Не мог же Толстой не понимать, что Каратаев — это бессмыслица, как не мог же Пушкин не понимать, что в пугачевском восстании что-что, а смысл все-таки был; смысл этот были вынуждены признать и Ключевский, и Тихомиров, и даже Катков. А вот для Пушкина это был просто «бессмысленный бунт». «Бессмысленный и беспощадный» — и больше ничего.

Соловьев — кит нашей историографии, с которого списывали все остальные историки, сравнивал петровский перелом с «бурей, очищающей воздух», — затхлая-де атмосфера Московской Руси сменилась освежающим воздухом Петербурга. Освежение? Это Остерман и Бирон, Миних и Пален — освежение? Цареубийства, сменяющиеся узурпацией, и узурпации, сменяющиеся цареубийствами, — это тоже «освежение»? Освежением является полное порабощение крестьянской массы и обращение ее в двуногий скот? Освежением является превращение служилого слоя воинов в паразитарную касту рабовладельцев? Соловьев пишет: «Преобразования успешно производятся Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Александры II»...

А почему, собственно, беда? В результате петровских «преобразований» подавляющее большинство населения страны было лишено всяких человеческих прав. В результате реформы Александра II оно эти права все-таки получило. После Петра Россия пережила почти столетие публичного дома. После Александра II мы переживали свой золотой век и в культуре, и в экономике. Так почему же беда?

Ответа на этот вопрос вы не найдете ни у Пушкина, ни у Толстого, ни у Соловьева, а это были первые люди своего слоя. Что же говорить об его большинстве? О том большинстве, которое на постах предводителей дворянства решало уездные дела, на постах гвардейских офицеров — столичные дела и, стоя во главе колоссального и боеспособного народа, ухитрялось временами устанавливать свою диктатуру почти над всей континентальной Европой? Но что выигрывал от этого народ? Ключевский отвечает своей знаменитой фразой: «Государство

пухло, а народ хирел» — фраза неверная по самому своему существу: народ «хирел» вовсе не вследствие «распухания государства». В середине XIX века крепостное крестьянство начало, наконец, физически вымирать от избытка работы и нехватки питания. И в то же время начало вымирать и дворянство: от отсутствия работы и избытка питания. Но дворянство с «естественным сословным эгоизмом» (Ключевский) крепко держалось за свои паразитарные права. Что есть «естественный эгоизм»? Является ли право на самоубийство требованием «естественного эгоизма»?

Во всяком случае, та группа историков, которая выросла и воспиталась в дворянских гнездах, не могла не вспоминать с благодарностью имя человека, который стоял у истоков дворянского благополучия. Разумеется, не все дворянство, не все 100 процентов стояли на столь выдержанной классовой точке зрения. Но, покидая ее, они переходили на другую, и тоже классовую точку зрения — революционную. Именно здесь заключается разгадка того странного явления, что канонизация Петра характерна и для реакции, и для революции. И если вы внимательно всмотритесь в методы и реакции, и революции, то за прикрытием всяких пышных слов, за всякого рода идеологическими вывесками, предназначенными для простачков, вы найдете единую линию поведения.

Французская поговорка говорит: «Противоположности сходятся».

Реакция и революция есть по существу одно и то же: и одна и другая отбрасывают назад, иногда отбрасывают окончательно, как окончательно выбросила французский народ французская революция. И реакция, и революция есть прежде всего насилие, направленное против органического роста страны. Совершенно естественно, что методы насилия остаются одними и теми же: Преображенский приказ и ОГПУ, посессионные крестьяне и концентрационные лагеря, те воры, которых Петр приказывал собирать побольше, чтобы иметь гребцов для галер, и советский закон от 8 августа 1931 года, вербовавший рабов для концентрационных строек; безбожники товарища

Ярославского и всепьянейший синод Петра, ладожский канал Петра (единственный законченный из шести начатых) и Беломоро-Балтийский канал Сталина, сталинские хлебозаготовители и 126 петровских полков, табель о рангах у Петра и партийная книжка у Сталина, — голод, нищета, произвол сверху и разбой снизу. И та же, по Марксу, «неуязвимая» Россия — «неуязвимая» и при Петре, и при Сталине, которая чудовищными жертвами оплачивает бездарность гениев и трусость вождей. Все это, собственно говоря, одно и то же. Здесь удивительно не только сходство. Здесь удивительно то, как через 200 лет могли повториться те же цели, те же методы, и — боюсь — те же результаты. И мы, современники гениальнейшего, можем оценить Петра не только по страницам Ключевского и Соловьева, а и по воспоминаниям собственной шкуры. Это, может быть, не так научно. Но это нагляднее. Как нагляден был портрет Петра I, висевший в кабинете Сталина.

Текст и примечания в настоящем издании печатаются по: Солоневич И. Л. Народная монархия. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1973. В качестве вступительной статьи использована статья О. Платонова, М. Смолина и Н. Казанцева из: Славянофилы. Историческая энциклопедия. — М.: Институт русской цивилизации, 2009.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдул Гамид II (1842–1918) — султан Османской империи — *375*.

Август II Сильный (1670–1733) — король Польши и курфюрст Саксонии — *538*.

Август Гай Октавий (63 до н.э.–14 н.э.) — император Рима — *105, 133, 252, 573*.

Адам — в христианстве первый человек, сотворенный Богом — *101*.

Адам Бременский († 1081) — северогерманский хронист — *263, 311*.

Адашев Алексей Федорович († 1560) — государственный деятель при дворе *Иоанна IV Грозного — 548*.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — публицист, редактор-издатель, поэт и критик, один из идеологов славянофильства — *56, 455*.

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — славянофил, историк, публицист — *455*.

Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886–1957) — писатель — *214–215, 427, 429, 451, 464, 541*.

Александр I Благословенный (1777–1825) — Император Всероссийский — *120, 190, 516, 532–533, 547, 577*.

Александр II Освободитель (1818–1881) — Император Всероссийский — *38, 45, 54, 73–74, 120, 122, 135, 157, 249, 287, 300, 325–326? 404, 579*.

Александр III Миротворец (1845–1894) — Император Всероссийский — *131, 157, 221, 374*.

Александр Македонский (356–323 до н.э.) — полководец-завоеватель, царь Македонии — *261, 339, 360, 501*.

Александр Ярославич Невский (1220–1263) — св. блгв. князь, защитник северных рубежей средневековой России от германо-католической агрессии — *308, 353, 498, 570*.

Александра Феодоровна Романова (1872–1918) — святая царственная мученица, Императрица, супруга *Николая II — 425*.

Алексей Михайлович (1629–1676) — русский царь — *13, 168, 346, 385–386, 394–395, 425, 433, 450, 499, 512–513, 520–522, 538, 543, 548, 574*.

Алексей Петрович (1690–1718) — царевич, наследник престола, сын *Петра I — 45, 54–55, 105, 513, 530, 553*.

Альба Фердинанд Альварец де Толедо (1508–1582) — герцог, испанский военачальник — *512*.

Анаксагор (ок. 500–ок. 428 до н.э.) — древнегреческий философ, математик, астроном — *428, 430*.

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — писатель — *34, 194*.

Андрей Боголюбский (1111–1174) — св. блгв. князь, великий князь Владимирский– *133, 186, 218, 289, 342–349, 353, 355, 357, 365, 373, 387, 435, 465, 485*.

Андрей Рублев (1370–1430) — преп., иконописец — 570.

Антонины — Римская императорская династия (96–192) — *447*.

Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728) — граф, генерал-адмирал — *539*.

Ахмет (Ахмат) († 1481) — хан Большой Орды — *368*.

Аэций Флавий (ок. 393–450) — полководец Западной Римской Империи — *258*.

Байрон Джордж Гордон (1788–1824) — английский поэт — *197, 236*.

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — общественный деятель, теоретик анархизма — *200*.

Батый (Бату-хан) (1205–1255) — монгольский полководец, хан Золотой Орды — *93, 265, 274, 277–278, 292, 294, 306, 356, 358, 361, 363, 385, 412, 432, 442, 467, 536, 546, 559, 568, 577*.

Башилов Борис (Борис Платонович Юркевич) (1908–1970) — публицист, исторический писатель — *12*.

Бевин Эрнест (1881–1951) — английский политический деятель — *205*.

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934) — писатель, философ — *137, 370*.

Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873) — историк-юрист — *389, 399*.

Бендера Степан Андреевич (1909–1959) — украинский националистический деятель, террорист — *82*.

Бенеш Эдуард (1884–1938) — чехословацкий государственный и политический деятель — *119*.

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, издатель — *506*.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — религиозный философ — *147, 165, 185, 226, 237, 245, 426, 433*.

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) — политический деятель — *30*.

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) — герцог Курляндский, фактический правитель России при императрице *Анне Иоанновне — 579*.

Бисмарк-Шёнхаузен Отто-Эдуард-Леопольд (1815–1898) — граф, прусский государственный деятель, канцлер — *26, 142, 217, 287, 337, 340, 477, 538*.

Блюхер Василий Константинович (1889–1938) —военный деятель — *280*.

Болеслав I Храбрый (ок. 967–1025) — польский князь — *92, 268*.

Болеслав II Смелый (1042–1081) — король Польши — *210–212*.

Бриан Аристид (1862–1932) — французский государственный деятель — *110, 379*.

Бруно Кверфуртский (в миру Бонифаций) (974–1003) — свщмч., архиепископ, миссионер — *266*.

Булавин Кондратий Афанасьевич (1660–1708) — казак, предводитель антиправительственного восстания — *502*.

Буллит Уильям (1891–1967) — американский дипломат, первый посол США в СССР — *147, 224,228, 231*.

Бунаков-Фундаминский Илья Исидорович (1879–1942) — политический деятель, историк — *247, 35*9.

Бунге Николай Христианович (1823–1895) — государственный деятель, экономист, академик —*155*.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) — писатель — 198–200, 225, 494.

Бурбоны — французская королевская династия — *133, 337, 496*.

Буржуа Леон Виктор Огюст (1851–1925) — французский государственный деятель, юрист — *39*.

Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886) — химик, общественный деятель — *88*.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — политический деятель — *36, 77, 179, 461*.

Буш Вильгельм (1832–1908) — немецкий поэт и художник — *213*.

Бюхнер Людвиг (1824–1899) — германский физиолог и философ — *174, 177*.

Валера Имон де (1882–1975) — ирландский государственный деятель — *292, 491*.

Василий II Васильевич Темный (1415–1462) — великий князь Московский — *103, 183, 345, 367, 369, 372, 489, 548*.

Василий III Иоаннович (1479–1533) — великий князь Московский — *345, 372, 489*.

Васко де Гама (1460–1524) — португальский путешественник и исследователь — *561*.

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) — художник — *562*.

Вассиан (Рыло) († 1481) — церковный и политический деятель, архиепископ Ростовский — *368*.

Ватто Антуан (1684–1721) — французский живописец — *570*.

Вашингтон Джордж (1733–1766) — первый президент США — *285, 297*.

Венизелос Элефтериос (1864–1936) — греческий государственный деятель — *31*.

Виктор Эммануил III (1869–1947) — король Италии — *175*.

Вильгельм I Завоеватель (1027–1087) — герцог Нормандии, король Великобритании — *255, 264*.

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) — император Германии — *59, 215, 227, 277–278, 286, 291*.

Вильгельм III Оранский (1650–1702) — правитель Нидерландов, король Великобритании — *253*.

Вильсон Томас Вудро (1856–1924) — президент США — *113, 117*.

Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) — германский философ — *429*.

Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) — историк — *146, 162, 204, 238, 245, 253, 363–364, 374, 415–416, 419, 468, 507–509*.

Вирхов Рудольф (1821–1902) — германский патологоанатом и политический деятель — *457*.

Витте, Сергей Юльевич, граф (1849–1915) — русский государственный деятель — *80, 388*.

Виттельсбахи — династия германских правителей — *52*.

Вишневецкие — древний литовско-русско-польский род — *210–211*.

Владимир Кириллович Романов (1917–1992) — великий князь — *84*.

Владимир Мономах (1033–1125) — великий князь Киевский — *281, 310*.

Владимир Святой (ок. 960–1015) — св. рвнап., великий князь Киевский — *32, 100, 266, 280, 310*.

Владимир Ярославич (1151–1199) —князь Галицко-Волынский — *341, 349*.

Вобан Себастьян (1633–1707) — маршал Франции, военный инженер — *511*.

Вовенарг Люк де Клапье де (1715–1747) — французский писатель — *478*.

Войт Сергей Дмитриевич (XX в.) — управляющий Синодальной Типографией — *446*.

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) — поэт, художник, искусствовед — *104, 208*.

Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари (1694–1778) — французский философ — *306, 478*.

Воронцов Семен Романович (1744–1832) — граф, дипломат — *516*.

Ворошилов Клим Ефремович (1881–1969) — государственный и военный деятель — *426*.

Врангель Николай Егорович (1847–1923) — ученый, писатель — *147, 224*.

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) — барон, военный и политический деятель — *8, 350*.

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) — художник — *383, 562*.

Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212) — великий князь Владимирский — *346–350, 353, 355–357, 359, 465*.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — князь, поэт, критик — *506*.

Габсбурги — королевская династия, правившая в Священной Римской империи, Австрии, Чехии, Венгрии и Испании — *28, 52, 150, 337*.

Гайнманы — отец и сын, немецкие землевладельцы в деревне, где жил И. Л. Солоневич — *331–335, 337–339*.

Ганзен — владелец немецкого отеля, в котором останавливался И. Л. Солоневич — *334–335*.

Ганнибал (ок. 270–183 до н.э.) — карфагенский полководец — *115*.

Ганноверская династия — династия королей Великобритании — *253, 259*.

Гарун аль-Рашид (763–809) — правитель Аббасидского халифата (786–809) — *360*.

Гастхаузен Август (1792–1866) — немецкий экономист — *39, 430*.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ-идеалист — *142, 144–145, 149, 158, 161, 163, 171, 185, 214, 225, 265, 282, 306, 320, 382, 427–428, 431, 448, 570*.

Генгист (Хенгист) (1 пол. V в.–ок. 488) — один из первых правителей Великобритании — *255*.

Генрих III Валуа (1551–1589) — король Польши и Франции — *99*.

Георг I (1660–1727) — король Великобритании, курфюрст Ганновера — *537*.

Георг IV (1762–1830) — король Великобритании — *516*.

Герберштейн, Сигизмунд фон (1486–1566) — барон, австрийский дипломат — *368*.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — революционер, писатель, философ — *214, 321, 454–455*.

Гете Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) —немецкий поэт — *116, 196, 219*.

Гетцинг Н. (XX в.) — немецкий художник — *331, 334–335*.

Гинцбург Евзель Гавриилович (1812–1878) — барон, предприниматель — *287*.

Гитлер Адольф (Шикльгрубер) (1889–1945) — *28, 30, 51, 53, 59, 64, 75, 82, 90, 93, 110, 112–115, 122, 133, 150, 171, 184, 202, 211, 215, 218, 225, 227, 230–231, 233, 236, 244, 259, 261–262, 265, 270, 272–274, 277–278, 289, 291–294, 328, 337, 340, 352, 365, 420, 428, 432–433, 441–442, 480, 496, 503, 508, 533*.

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — композитор — *88*.

Глинские — литовский княжеский род — *524*.

Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ — *108, 331*.

Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов, прусских королей и германских императоров — *52, 214, 496*.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — писатель — *11, 196, 225, 373*.

Годунов Борис (1552–1605) — русский царь — *104, 187, 266, 304–305, 408, 486*.

Головин Федор Алексеевич (1650–1706) — дипломат и государственный деятель — *504, 525, 542–543*.

Голос России — общественно-политическая газета, издавалась И. Л. Солоневичем в Болгарии с 1936 по 1938 — *9–10, 19, 281*.

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — писатель — *90*.

Гораций Флакк Квинт (65–8 до н.э.) — римский поэт — *417*.

Гордон Патрик (1635–1699) — шотландский генерал, русский военный деятель — *530*.

Горза (Хорса) (V в.) — один из первых правителей Великобритании — *255*.

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) (1868–1936) — писатель, общественный деятель — *34, 192, 194, 198, 201, 231, 233–234, 236, 334, 440*.

Гоц Михаил Рафаилович (1866–1906) — политический деятель — *36*.

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) — правовед, политический мыслитель — *548*.

Грациан Флавий (359–383) — император Западной Римской Империи — *447*.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) — писатель, драматург — *201*.

Гримм Давид Давидович (1864–1941) — юрист — *426*.

Гукасовы (Гукасянц) (XIX–XX вв.) — российские промышленники армянского происхождения — *90*.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — политический деятель, предприниматель — *235, 380*.

Гучковы — российские промышленники крестьянского происхождения — *566*.

Гэллоп (Гэллап) Джордж Хорас (1901–1984) — американский статистик — *118*.

Д'Аламбер Жан Лерон (1717–1783) — французский философ и математик — *163*.

Д'Эспре Франше (1856–1942) — маршал, французский военный деятель — *426*.

Давид (Давыд) Ростиславич (1140–1197) — князь Смоленский — *343*.

Даждьбог — в славянской мифологии один из верховных богов — *106, 301*.

Дамьен Робер Франсуа (1715–1757) — французский политический фанатик — *513*.

Даниил Заточник (XII или XIIIв.) — древнерусский писатель — *306, 340, 359*.

Даниил Московский (1261–1303) — св. блгв. князь, великий князь Московский — *312–313, 345*.

Даниловичи — московские князья, потомки *Даниила Московского — 312, 350, 485*.

Даниил Паломник (XII в.) — древнерусский писатель и путешественник — *301*.

Дантон Жорж Жак (1759–1794) — французский политический деятель — *451*.

Де Голль Шарль (1890–1970) — французский государственный и военный деятель — *37, 65*.

Девлет-Гирей I (1512–1577) — крымский хан — *91*.

Дежнев Семен Иванович († 1673) — землепроходец и мореход — *34*.

Дейли Уоркер (Daily Worker — Ежедневная рабочая газета) — ежедневная общественно-политическая газета коммунистического толка, издавалась в США с 1924 по 1968 — *295–296*.

Декарт Рене (1596–1650) — французский философ, ученый, математик — *52, 428–429*.

Демидовы — род российский предпринимателей — *367, 566*.

Демокрит Абдерский (460–370 до н.э.) — древнегреческий философ — *428, 431*.

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — военный и политический деятель — *46–47, 210, 344, 350, 426, 440*.

Джапаридзе (XX в.) — цирковой борец — *129*.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) — политический деятель — *43*.

Дидро (Дидерот) Дени (1713–1784) — французский философ-просветитель — *163, 177, 180, 407, 413–415, 483*.

Дизраэли Бенджамин (1804–1881) — английский государственный деятель — *291*.

Диккенс Чарльз (1812–1870) — английский писатель — *300*.

Димитрий Угличский (1582–1591) — св. блгв. царевич, князь Угличский — *104, 305*.

Дир († 882) — легендарный варяг, князь Киевский — *259*.

Дитмар Мерзенбургский (975–1018) — немецкий хронист, епископ Мерзенбургский — *263, 310*.

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) — св. блгв. князь, великий князь Московский — *372, 345*.

Дмитрий Шемяка (1420–1453) — князь Галича-Костромского — *103*.

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) — русский литературный критик, публицист — *672*.

Долгорукий Яков Федорович (1639–1720) — князь, советник *Петра I — 538–539*.

Долгоруковы (Долгорукие) — старинный княжеский род — *550*.

Донон Жан-Батист (XIX в.) — французский ресторатор и кулинар — *85*.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — писатель, один из высших выразителей духовно-нравственных ценностей русской цивилизации — *34, 50, 88, 152, 192, 194, 201, 213–214, 225, 235–236, 257, 371, 373, 378, 380, 383, 453, 455, 457–459, 505*.

Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) — генерал, военный деятель — *456*.

Дурново Петр Николаевич (1843–1915) —государственный деятель — *147*.

Дутов Александр Ильич (1879–1921) — генерал, военный деятель — *7*.

Дьюи Томас Эдмунд (1902–1971) — американский государственный деятель — *53*.

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) — театральный деятель, искусствовед — *88.*

Екатерина I (Марта Скавронская) (1684–1727) — Императрица Всероссийская — *547, 549*.

Екатерина II Великая (1729–1796) — Императрица Всероссийская — *45, 75, 188, 249, 263, 269, 350, 358, 466, 501, 541, 566*.

Елизавета I (1533–1603) — королева Англии — *512*.

Елизавета Петровна (1709–1761) — Императрица Всероссийская — *445, 537 547*.

Ермак Тимофеевич Алёнин († 1585) — казачий атаман, завоеватель Сибири — *91–92, 183–184, 339, 367*.

Ермолов Алексей Петрович (1772–1862) — русский генерал, герой покорения Кавказа — *201*.

Жанна д'Арк (1412–1431) — католическая святая, французская героиня народного движения во время Столетней войны — *297*.

Желиговский Люциан (1865–1947) — генерал, польский военный и политический деятель — *82*.

За правду — «орган христианского возрождения», эмигрантская газета, издавалась в Аргентине в 1948–1956 — *17*.

Забелин Иван Егорович (1820–1908) — историк, археограф, археолог — *367*.

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958) — поэт — *145*.

Захер-Мазох Леопольд фон (1836–1895) — австрийский писатель — *226*.

Зомбарт Вернер (1863–1941) — немецкий экономист, социолог, философ — *386*.

Зотов Никита Моисеевич (1644–1718) — учитель *Петра I — 540*.

Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958) — писатель — *193–195*.

Иларион († ок. 1055) — свт., митрополит Киевский и всея Руси — *311*.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — историк и публицист — *243, 250*.

Иоанн I Калита (1288–1340) — великий князь Московский — *342, 344–345, 372*.

Иоанн I Цимисхий (925–976) — император Византии — *99, 305–306*.

Иоанн II Красный (1326–1359) — великий князь Московский — *372*.

Иоанн III (1440–1505) — великий князь Московский — *187, 266, 342, 344–345, 368, 395, 471, 498, 548*.

Иоанн IV Грозный (1530–1584) — первый русский царь (1547–1584) — *104, 184, 186–188, 304, 341–342, 343–345, 364, 369, 387, 389–390, 400, 403, 407, 416, 450, 472, 479, 485, 489, 502, 515, 517, 522, 524, 534, 548, 553, 572, 574*.

Иоанн VI (1740–1764) — Император Всероссийский — *105*.

Иоанн Антонович — см. *Иоанн VI*.

Иоанн Лейденский (Ян Бокелзон) (ок. 1509–1536) — немецкий религиозный деятель — *430–431*.

Иордан (VI в.) — готский епископ, историк — *257–258*.

Иргун-Цво-Леуми (Иргун Цваи Леумми) (Национальная военная организация) — еврейская подпольная вооруженная организация в подмандатной Палестине — *242*.

Кайзерлинг Герман (1880–1946) — немецкий философ и писатель — *29*.

Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ и ученый — *52, 162, 427–429*.

Капетинги — династия французских королей в 987–1328 — *52*.

Капица Петр Леонидович (1894–1984) — физик — *89, 228*.

Карабчевский Николай Платонович (1851–1925) — писатель, поэт, судебный оратор — *128*.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — историограф, писатель, поэт — *38, 198, 36*.

Карл II Лысый (823–877) — король Западно-Франкского королевства — *214*.

Карл IV (1316–1378) — император Священной Римской империи — *219*.

Карл XII (1697–1718) — шведский король — *225, 268, 274, 299, 524, 526, 528–533, 538, 556*.

Карл Великий (742–814) — франкский король, император Западной Римской империи — *28, 150, 156, 215, 218–219, 311, 313, 317, 339–340*.

Карл Вильгельм Фердинанд (1721–1792) — герцог Брауншвейгский, немецкий военный деятель — *263*.

Карлайл (Карлейль) Томас (1795–1881) — английский философ, историк и публицист — *144*.

Карпцоф (Карпцов) Бенедикт (1595–1666) — саксонский законодатель, судья — *512*.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — философ, историк — *426*.

Костелло Фрэнк (1891–1973) — американский гангстер, «премьер-министр криминального мира» — *100*.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — общественный деятель, консервативный мыслитель — *243–244, 579*.

Келин (Келен) Алексей Степанович († 1715) — генерал-майор, участник Северной Войны — *530–531, 533*.

Кемаль-паша Гази Мустафа Ататюрк (1880–1938) — турецкий политический и государственный деятель — *480*.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический деятель — *7, 18, 53, 62, 85–86, 121, 1243, 128–129, 307, 412, 426*.

Керсновский Антон Антонович (1907–1944) — публицист, военный историк — *471*.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) — историк, публицист, политический деятель — *280, 299, 416*.

Киплинг Редьярд Джозеф (1865–1936) — английский писатель и поэт — *142, 218, 238, 282*.

Классен (XX в.) — немецкий писатель — *331, 334*.

Клаузевиц Карл фон (1780–1831) — генерал, немецкий военный историк и теоретик — *158, 299, 431*.

Клемансо Жорж (1841–1929) — французский политический и государственный деятель — *113–114, 119, 379, 382, 396, 398, 495*.

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — профессор, историк — *40, 42, 54, 87, 106, 115, 124, 131, 133, 144, 150, 237, 249–250, 256, 258, 300–301, 306, 312, 314–315, 317, 347–348, 350, 360, 366, 371–372, 390–394, 396, 398–400, 403, 406–407, 412–415, 417, 419, 422–423, 435–437, 467–468, 483–484, 499, 501, 504, 506, 509–510. 512, 514, 517–518, 521–526, 530, 535–537, 539–540, 543, 546, 548, 550–552, 554–557, 559, 561, 572, 577–581*.

Ковалевский, Максим Максимович (1851–1916) — русский историк, правовед — *405*.

Кожевников Петр († 1980) — украинский националистический деятель — *528*.

Кок Поль де (1793–1871) — французский романист и драматург — *111*.

Коллелони Бартоломео (1400–1476) — итальянский военачальник, кондотьер — *299*.

Колов Дан (Дончо Колев Данев) (1892–1940) — болгарский борец — *379*.

Колумб Христофор (1451–1506) — испанский мореплаватель — *561*.

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — военный и политический деятель — *47–48, 440*.

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) — поэт — *570*.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — юрист, общественный деятель — *228*.

Коновалец Евгений Михайлович (1891–1938) — украинский националистический деятель — *528*.

Конрад Мазовецкий (1187–1247) — польский князь — *209*.

Констан де Ребек Бенжамен (1767–1830) — франко-швейцарский писатель, философ и политический деятель — *39*.

Константин Павлович (1778–1831) — цесаревич и великий князь — *104, 304*.

Конт Огюст (1798–1857) — французский философ и социолог — *142, 144*.

Кончак — половецкий хан (1170–1203) — *265, 278, 293*.

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк — *373*.

Костюшко Тадеуш-Андрей-Бонавентура (1746–1817) — польский революционер — *200, 491*.

Котовский Григорий Иванович (1881–1925) — военный деятель — *36*.

Кох Роберт (1843–1910) — немецкий бактериолог — *457*.

Кочев (XX в.) — болгарский борец — *379*.

Кромвель, Оливер (1599–1658) — английский государственный деятель — *110, 282, 291, 442, 512*.

Кропоткин Александр Алексеевич (1846–1886) — князь, математик, популяризатор астрономии — *174*.

Кропоткин Дмитрий Николаевич (1836–1879) — князь, харьковский губернатор — *227*.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — князь, теоретик анархизма, философ, историк, географ — *173–174, 227, 405*.

Круа Карл Евгений де (1651–1702) — герцог, фельдмаршал, военачальник — *525, 530, 539, 567–568*.

Крупп — династия немецких промышленников — *282*.

Кун Бела (1886–1939) — деятель венгерского и международного рабочего движения — *509*.

Куракин Борис Иванович (1676–1727) — князь, дипломат — *542*.

Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) — генерал-фельдмаршал, полководец — *48, 88, 120, 201, 533*.

Кучка (Кучко) Степан Иванович (XII в.) — суздальский боярин, владелец земель на Москве-реке — *366*.

Кэзмент (Кейсмент) Роджер (1864–1916) — поэт, деятель ирландского национально-освободительного движения, повешен по приговору английского суда — *491*.

Кюба Андре-Луи (XX в.) — французский ресторатор и кулинар — *85*.

Кюстин Астольф де (1790–1857) — французский дипломат и литератор — *243, 250*.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — социолог, публицист, теоретик народничества — *163, 200, 500*.

Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) — историк, славист — *471*.

Лев Диакон (до 950–ок. 1000) — византийский писатель, историк — *262*.

Левашова-Дубровская Татьяна (1924–1982) — супруга *В. К. Левашова-Дубровского — 16*.

Левашов-Дубровский Всеволод Константинович († 1966) — соратник И. Л. Солоневича, редактор *«Нашей страны» — 16–17*.

Левенгаупт Адам Людвиг (1659–1719) — шведский генерал — *529*.

Левицкий Сергей Александрович (1908–1983) — философ, публицист, литературовед — *44*.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) — политический и государственный деятель — *43, 47–48, 62, 86, 112, 115, 142, 144, 163, 171, 173, 197, 215, 225, 242, 253, 281, 294, 305–306, 318, 353, 386, 408, 410, 425, 440, 461, 493, 500, 503, 506, 508, 521, 561, 568*.

Леон (Лев) Философ (кон. VIII в.–после 869) — преп., византийский философ и математик — *360*.

Леонтович-Неелова В. Е. (XX в.) — *19*.

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — философ, писатель и публицист — *395*.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — поэт — *136, 147*.

Лефорт Петр Петрович (XVII–XVIII) — дипломат на русской и саксонской службе — *542*.

Лефорт Франц Яковлевич (1655–1699) — адмирал, российский государственный и военный деятель — *530, 540, 568*.

Лжедмитрий I (Отрепьев Григорий) († 1606) — самозванец, выдавал себя за царевича Димитрия, сына *Иоанна IV Грозного — 187, 528, 573*.

Ли Трюгве Хальвдан (1896–1968) — норвежский политический деятель, первый Генеральный секретарь ООН — *101*.

Лианозов Степан Георгиевич (1872–1951) — нефтепромышленник и предприниматель армянского происхождения — *30, 155*.

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — граф, британский государственный деятель — *255*.

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) — математик — *39, 171*.

Лондон Джек (Чейни Джон Гриффит) (1876–1916) — американский писатель — *108, 195*.

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) — российский военный и государственный деятель армянского происхождения — *30, 95, 155, 259*.

Лысенко Трофим Денисович (1898–1976) — биолог и государственный деятель — *78*.

Любимов (Козловский) Исидор Евстигнеевич (1882–1937) — государственный деятель, нарком легкой промышленности в 1932–1937 — *382*.

Людовик XI (1423–1483) — король Франции — *272*.

Людовик XIV (1638–1715) — король Франции — *345*.

Людовик XV (1710–1774) —король Франции — *537*.

Лютер Мартин (1483–1546) — немецкий религиозный деятель, критик Римско-Католической Церкви — *156, 226*.

Ляпунов Прокопий Петрович († 1611) — политический и военный деятель — *573*.

Магеллан Фернан Магальяйнш (1480–1521) — португальский мореплаватель и исследователь — *561*.

Мазепа Иван Степанович (1644–1709) — украинский политический и военный деятель — *528–530*.

Майер (Мейер) Джозеф (1796–1856) — немецкий издатель — *508*.

МакДональд Джеймс Рамсей (1866–1937) — британский государственный деятель — *119, 205*.

Маккавеи — род из иудейской династии Хасмонеев, осуществивший восстание против греческого владычества — *242*.

Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский писатель и дипломат — *443*.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — адвокат, политический деятель — *227, 429*.

Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) — государственный и политический деятель — *227*.

Малюта Скуратов (Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский) († 1573) — государственный, военный и политический деятель — *486*.

Мамай (1335–1380) — темник Золотой Орды — *360–361, 432*.

Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) — барон, генерал, финский военный и государственный деятель — *53, 91*.

Манташев Александр Иванович (1842–1911) — нефтепромышленник и предприниматель армянского происхождения — *30, 90, 155*.

Мао Цзе-Дун (1893–1976) — китайский государственный и политический деятель — *102*.

Марат Жан Поль (1743–1793) — французский политический деятель — *271*.

Маркс Карл (1818–1883) — немецкий философ и общественный деятель — *14, 36, 39, 44, 51, 70, 101, 115, 142, 144, 158, 160, 162, 166, 171, 186, 214, 239, 241, 261, 265, 306, 308, 311, 339, 344, 353, 359, 364, 368, 370–371, 375, 383, 386, 390, 428, 430, 440, 488, 500–501, 505, 509, 532, 566, 570–572, 581*.

Марфа (в миру — Ксения Ивановна Романова (Шестова)) († 1631) — инокиня, мать царя *Михаила Федоровича — 104*.

Маршалл Джордж Кэтлетт (1880–1959) — американский государственный и военный деятель — *277*.

Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) — дипломат, государственный деятель — *546*.

Маттеотти Джакомо (1885–1924) — юрист, итальянский политический деятель — *110*.

Махно Нестор Иванович (1888–1934) — анархист, лидер повстанческих отрядов — *45, 86*.

Махонин Иван Иванович (1895–1973) — инженер, изобретатель — *89*.

Мейерберг Августин (1622–1688) — австрийский дипломат — *513*.

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) — историк, политический деятель — *424*.

Менгли-Гирей I (1445–1515) — крымский хан — *368*.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) — химик, физик, экономист, педагог, общественный деятель — *33, 35, 78, 88, 141, 147, 228, 237, 371, 380, 383, 453*.

Меньшиков Александр Данилович (1673–1729) — князь, государственный деятель — *539–541, 544, 549–550, 566*.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — беллетрист, поэт, критик, религиозный мыслитель — *505*.

Мечников Илья Ильич (1845–1916) — микробиолог и патолог — *380*.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —социолог, историк, общественный деятель — *7, 62, 103, 128, 131, 147, 163, 226, 231, 252, 261, 350, 380, 404–405, 415, 419, 422, 424–426, 428–429, 433, 505, 509, 521, 523, 535, 554, 561, 564, 566, 572*.

Минин Козьма (Кузьма Минич Захаров Сухорук) († 1616) — нижегородский купец, организатор народного ополчения в Смуту — *34, 209, 374–375, 388, 422, 573*.

Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) (1683–1767) — генерал, российский государственный деятель — *579*.

Михаил Юрьевич († 1176) — великий князь Киевский — *346–348, 350*.

Михаил Федорович (1596–1645) — первый русский царь из династии Романовых — *105, 133, 188, 252, 261, 313, 384–385, 489, 573–574*.

Михайлов Николай Петрович († 1938) — секретарь И. Л. Солоневича — *10*.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — публицист, социолог, критик — *163*.

Мицкевичи — литовский дворянский род — *5*.

Мичурин Иван Владимирович (1855–1935) — биолог, селекционер — *78*.

Моисей (XIII в. до н.э.) — святой, пророк — *506*.

Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986) — политический и государственный деятель — *261, 281*.

Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк — *144, 163, 236*.

Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский политический писатель, историк и социолог — *394, 483*.

Морган Джон Пирпонт (1837–1913) — американский предприниматель — *179, 375*.

Московские ведомости — общественно-политическая газета, издавалась в Москве с 1756 по 1917 — *243*.

Московский сборник — литературно-художественный сборник работ славянофилов, выходил в 1846, 1847 и 1852 — *243*.

Мосьциский (Мосцицкий) Игнациус (1867–1946) — польский государственный деятель — *212*.

Мстислав (в крещении Борис) Романович Киевский (Старый) († 1223) — великий князь Киевский — *356–357*.

Мстислав Изяславич († 1170) — великий князь Киевский — *343*.

Мстислав (в крещении Федор) Мстиславич Удалой († 1228) —князь, полководец — *356–357*.

Мстислав (в крещении Федор) Ростиславич Храбрый († 1180) — св. блгв. князь, полководец — *347, 355*.

Муравьев Никита Михайлович (1796–1843) — один из идеологов движения декабристов — *5, 43*.

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) — композитор — *88*.

Муссолини Бенито Амилькаре Андреа (1883–1945) — итальянский политический деятель — *110, 175, 493, 496*.

Наполеон I (Бонапарт) (1769–1821) — император Франции — *28, 48, 51, 90, 109–110, 114–115, 133, 142, 150, 201, 218–219, 225, 230, 259, 262, 270–271, 274, 279, 340, 374, 412, 432, 456, 477, 498–499, 501, 508, 528, 532–533, 545, 563*.

Наполеон III (1808–1873) — император Франции — *109–110, 175, 282, 498*.

Наша газета — общественно-политическая эмигрантская газета, издавалась в Болгарии с 1938 по 1940 — *10, 12*.

Наша страна — русская монархическая эмигрантская газета, издается в Аргентине с 1948 по наст. вр. — *16, 18–19, 181*.

Невиль Фуа де ла (XVIII в.) — французский дипломат — *543*.

Неплюев Иван Иванович (1693–1773) — государственный деятель — *504*.

Нестеров Алексей Яковлевич († 1722) — чиновник, казнен за взятки — *540*.

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) — художник — *562*.

Нетесов (XVIII в.) — гвардии рядовой, командированный для распоряжения в Вятку — *547*.

Никитин Афанасий († 1475) — купец, путешественник — *561*.

Николай I (1796–1855) — Император Всероссийский — *43, 45, 75, 104, 111–112, 157, 224, 237, 304, 343, 350, 404, 439, 487–488, 498, 577*.

Николай II (1868–1918) — святой царственный мученик, Император Всероссийский — *45, 54–55, 111–112, 131, 157, 168, 188, 425, 227, 260, 280, 289, 294–296, 298, 305–206, 306, 325–326, 346, 356, 383, 386–388, 395, 404, 429, 439, 444, 446, 497, 521, 540*.

Никон (в миру Никита Минов) (1605–1681) — Патриарх Московский и всея Руси — *42–43*.

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ и поэт — *162–163*.

Новгородцев Павел Иванович (1863–1924) — философ и правовед — *226*.

Новиков Николай Иванович (1744–1818) — публицист, издатель — *197*.

Новое время — политическая и литературная ежедневная газета, издавалась в Петербурге с 1868 по 1917 год — *6*.

Новое русское слово — общественно-политическая газета, издается в Нью-Йорке с 1910 по наст. вр. — *17*.

Ньютон Исаак (1643–1727) — английский ученый-физик и математик — *239*.

Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н.э.–17 н.э.) — римский поэт — *418*.

Одинец Дмитрий Михайлович (1882–1950) — историк, общественный деятель — *354, 426*.

Одоакр (ок. 431–493) — правитель Италии — *215*.

Олар Франсуа Виктор Альфонс (1849–1928) — французский историк — *144*.

Олеарий Адам (1599–1679) — немецкий путешественник и писатель — *368, 486*.

Олег († 912) — князь Новгородский и Киевский — *151, 184, 217, 260–261, 265, 280–282, 287–289, 292–293, 297–298, 306, 308, 353, 358, 373, 429, 442, 497*.

Ольга (в крещении Елена) — св. рвнап., великая княгиня — *261, 291*.

Орджоникидзе Григорий (Григол) Константинович (1886–1937) — государственный деятель — *30*.

Ордын-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605–1680) — дипломат и государственный деятель — *543*.

Ориоль Венсан (1884–1966) — президент Франции — *112*.

Остерман Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) (1686 —1747) — граф, российский государственный деятель — *539, 568, 579*.

Островский Александр Николаевич (1823–1886) — драматург — *561*.

Острожский Константин Константинович (Василий-Константин) (1526–1608) — князь, киевский воевода, покровитель православной веры — *290*.

Оуэн Роберт (1771–1858) — английский мыслитель и промышленник — *70*.

Павел I (1754–1801) — Император Всероссийский — *43, 45, 54–55, 73, 105, 122, 131, 161, 346, 404, 488, 516, 577*.

Павлов Алексей Степанович (1832–1898) — юрист, историк права — *567*.

Павлов Иван Петрович (1849–1936) — ученый-физиолог — *78, 88, 228, 380, 383, 453, 455*.

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869–1908) — историк — *313, 319*.

Пален Петр-Людвиг (Алексеевич) (1745–1826) — генерал, российский военный и государственный деятель — *579*.

Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660–1707) — латышский (лифляндский) политический деятель — *513*.

Перикл (ок. 490–429 до Р.Х.) — афинский стратег и государственный деятель — *31*.

Перон Хуан Доминго (1985–1974) — аргентинский военный и государственный деятель — *16–18*.

Перун — в славянской мифологии верховный бог-правитель, повелитель грома и молний — *106, 301*.

Пестель Павел Иванович (1793–1826) — один из руководителей декабристского восстания — *43, 300*.

Петр I — (1672–1725) — русский царь, Император Всероссийский — *11, 13, 38, 41–44, 48–49, 54–55, 131, 151, 153, 161, 182, 187–188, 190, 210, 221, 233, 245, 247–249, 299–300, 346, 349, 365, 386–387, 389, 394, 408, 434, 444, 480, 482, 496–581*.

Петр II (1715–1730) — Император Всероссийский — *488*.

Петр III (1728–1762) — Император Всероссийский — *105, 488*.

Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931) — социолог, правовед, философ — *287–288, 380*.

Пилсудский Иосиф (Юзеф) (1867–1935) — польский государственный деятель — *64, 92, 210–211, 225, 480, 491, 496*.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) —публицист и литературный критик — *572*.

Плано-Карпини Джованни (1180–1252) — итальянский монах-францисканец, путешественник и писатель — *311*.

Платон (428/427–348/347 до н.э.) — древнегреческий философ-идеалист — *239, 430*.

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) — историк — *105, 144, 388, 399. 421–423,432, 467–468, 474–475, 482, 485*.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — публицист, политический деятель — *62, 330, 353, 405*.

По Эдгар Аллан (1809–1849) — американский писатель — *34, 235*.

Победоносцев, Константин Петрович (1827–1907) — государственный деятель, идеолог самодержавия — *243, 446.*

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — историк, писатель — *224, 435*.

Поддубный Иван Максимович (1871–1949) — борец-чемпион — *129*.

Пожарский, Дмитрий Михайлович (1578–1642) — князь, организатор народного ополчения в Смуту — *573*.

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — историк, политический деятель — *111, 147, 237, 243, 250, 263, 325–326, 343, 388, 511, 517, 546–549, 566*.

Ползунов Иван Иванович (1728–1766) — инженер и изобретатель — *88, 89, 274*.

Полуевкт (Полиевкт) († 970) — свт., Патриарх Константинопольский — *99, 303*.

Попов Александр Степанович (1859–1905) — физик и электротехник, изобретатель — *88–89*.

Посошков Иван Тихонович (1652–1726) — мыслитель, экономист — *432*.

Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791) — граф, генерал-фельдмаршал, государственный и военный деятель, дипломат — *201, 266, 466, 516, 526*.

Прайс (Прейсс) Гуго (1860–1925) — юрист, автор Веймарской конституции — *420, 431*.

Пракситель (IV в. до Р.Х.) — древнегреческий скульптор — *35*.

Пугачев Емельян Иванович (1744–1775) — организатор и вождь Крестьянской войны 1773–1775 — *45, 105, 234, 303, 388, 436, 487, 520*.

Пустошкин (XVIII в.) — унтер-офицер гвардейского полка, командированный для распоряжения в Москву — *547*.

Путята (X в.) — киевский тысяцкий при *Владимире Святом — 292*.

Пуфендорф Самуэль (1632–1694) — немецкий юрист и историк — *570*.

Пушкин Александр Сергеевич (1799 —1837) — великий поэт — *42, 104, 107–108, 111, 116, 142, 170, 193, 200, 207, 225, 235, 290, 304, 306, 373, 386, 417, 419, 453, 480, 504–505, 519–520, 524, 539, 542–543, 572, 574, 579*.

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) — литературовед, этнограф — *359*.

Ра — верховное божество в древнеегипетской мифологии — *134*.

Рабле Франсуа (1493–1553) — французский писатель-сатирик — *517*.

Радзивиллы — княжеский род великого княжества Литовского, затем Речи Посполитой — *211*.

Раевский Николай Николаевич (1771–1829) — генерал, герой войны 1812 года — *201*.

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) — организатор и вождь Крестьянской войны 1670–1671 — *234, 388, 436, 487*.

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1869–1916) — крестьянин, приближенный Семьи Царственных Мучеников — *425*.

Растрелли Бартоломео Франческо (Варфоломей Варфоломеевич) (1700–1771) — итальянский архитектор — *506, 570, 578*.

Ратенау Вальтер (1867–1922) — немецкий промышленник и финансист — *457*.

Режи (Режис) Филипп де (1897–1954) — ксендз, деятель русской эмиграции — *17*.

Рем Эрнст (1887–1934) — руководитель немецких национал-социалистических штурмовых отрядов — *110*.

Ремарк Эрих Мария (1898–1970) — немецкий писатель — *324*.

Ренан Жозеф Эрнст (1823–1892) — французский философ и историк религии — *377, 420, 436*.

Репин Илья Ефимович (1844–1930) — художник — *177*.

Риман Бернхард (1826–1866) — немецкий математик — *171*.

Ришелье Арман Жан де Плесси (1585–1642) — герцог, кардинал, первый министр Людовика XIII — *28*.

Робеспьер Максимилиан (1758–1794) — французский политический деятель — 1*12, 115, 171, 374–375, 450, 544*.

Родичев, Федор Измайлович (1856–1932) — общественно-политический деятель, землевладелец — *380*.

Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) —мыслитель, прозаик, публицист, литературный критик — *111, 455*.

Розенберг Альфред (1893–1946) — один из главных деятелей фашистской Германии, идеолог национал-социализма — *43, 142, 144, 163, 192, 225, 231–232, 236–237, 248, 354*.

Рокфеллер Джон Дэвисон (1839–1937) — американский предприниматель, финансист — *116*.

Роман (в крещении Борис) Мстиславич (1150–1250) — князь Галицко-Волынский, великий князь Киевский — *341, 343*.

Романовы — старинный боярский род, с 1613 — царская династия — *289, 304, 350, 365, 386–387, 390–391, 434*.

Рорбах Пауль (1867–после 1955) — немецкий мыслитель — *142, 236*.

Ротшильд Ансельм (Амшель) Майер (1773–1855) — австрийский финансист — *33, 179, 494*.

Ртищев Федор Михайлович (1625–1673) — московский филантроп — *543*.

Рубенс Питер Пауль (1577–1640) — фламандский художник — *578*.

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) — президент США — *117, 121*.

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) — граф, военачальник — *201, 516*.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский просветитель, социолог, философ — *149, 163, 171, 180*.

Рюрик († 879) — легендарный вождь варягов, призванный княжить на Русь — *249, 253–254, 256–257, 271*.

Рюриковичи — княжеская и царская династия — *26, 186, 199, 261, 264–265, 282, 289, 291, 311, 313, 339, 409, 434, 563, 573*.

Рябушинские — династия предпринимателей — *566*.

Савваитов Павел Иванович (1815–1895) — археолог и историк — *384*.

Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) — философ — *426*.

Савонарола Джироламо (1452–1498) — итальянский проповедник и общественный реформатор — *430–431*.

Сад Донасьен Альфонс Франсуа де (1740–1814) — маркиз, писатель и философ — *226*.

Салтыков Александр Александрович (1865–1940) — поэт, историк — *199–200, 354*.

Салтыков Михаил Глебович († до 1621) — боярин, сторонник поляков в годы Смуты — *199*.

Сапеги — боярско-магнатский и княжеский род в великом княжестве Литовской и Речи Посполитой — *210–211*.

Сартр Жан Поль (1905–1980) — французский философ — *36, 421, 430–431*.

Сахновский Николай Иванович (XX в.) —политический мыслитель и общественный деятель — *17*.

Святополк (в крещении Петр) Владимирович Окаянный (979–1019) — князь, правитель Киевской Руси — *262–263, 265, 281, 309, 314, 353*.

Северо-западная жизнь — общественно-политическая газета, издавалась в Вильно, Гродно и Минске с 1911 по 1915 — *5–6*.

Сен-Симон Клод Анри (1760–1825) — теоретик французского утопического социализма — *36*.

Сенкевичи — литовский дворянский род — *5*.

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — физиолог — *88*.

Сеятель — общественно-политическая эмигрантская газета, издавалась с 1932 по 1978 — *17*.

Сигизмунд III (1556–1632) — король Польши — *429*.

Сикорский Игорь Иванович (1889–1972) — русский и американский авиаконструктор — *383*.

Сильвестр († 1566) — священник, политический деятель, писатель — *385*.

Синеус (XIX в.) — легендарный варяжский князь, брат *Рюрика — 253–254*.

Синклер Эптон Билл (1878–1968) — американский писатель — *195*.

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1587–1610) — князь, государственный и военный деятель — *422*.

Скрипин Вонифатий (сер. XVII в.) — ярославский купец, храмоздатель — *562*.

Скрябин Александр Николаевич (1871/2–1915) — композитор — *88*.

Смит Джон (1580–1631) — английский моряк, писатель и первопроходец — *96*.

Собеские — польский дворянский род — *299*.

Сокол — Русское гимнастическое общество, создано по подобию чешской организации, существовало с 1883 по 1917 в России, и позднее — за рубежом — *7, 288*.

Соколовский Василий Данилович (1897–1968) — маршал, военный деятель — *145*.

Соллогуб Федор Львович (1848–1890) — граф, поэт — *509*.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский философ, публицист — *73, 455*.

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — историк — *400, 468, 505, 521, 548, 572, 578–579*.

Соломон (960–935 до н.э.) — св., сын св. Давида и последний царь единого Израильского царства — *33, 242, 427*.

Солоневич (в девичестве — Воскресенская) Тамара Владимировна († 1938) — супруга И. Л. Солоневича — *6, 8, 10, 419*.

Солоневич (в первом браке Беттнер) Рут (р. 1916) — вторая супруга И. Л. Солоневича — *16, 20*.

Солоневич Борис Лукьянович (1898–1989) — писатель и общественный деятель, брат И. Л. Солоневича — *7–9, 379*.

Солоневич Всеволод Лукьянович (1895–1920) — брат И. Л. Солоневича — *8*.

Солоневич Инга (XX в.) — супруга *Ю. И. Солоневича* — *15, 254*.

Солоневич Михаил Юрьевич (XX в.) — внук И. Л. Солоневича — *15*.

Солоневич Улита Юрьевна (XX в.) — дочь *Ю. И.* и внучка *И. Л. Солоневичей* — *15, 452*.

Солоневич Юрий Иванович (1915–2003) — художник, сын И. Л. Солоневича — *6, 8–9, 15, 20, 254, 275, 331*.

Софья Алексеевна (1657–1704) — царевна, регент при *Петре I* и Иване V — *299, 502, 523, 525, 543*.

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог — *142*.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — общественный и государственный деятель — *57*.

Спиноза Бенедикт (1632–1677) — голландский философ — *428*.

Стависский Александр (1886–1934) — французский финансовый аферист еврейского происхождения — *398*.

Ставровский Алексей Владимирович (1905–1972) — мыслитель, издатель — *17*.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) — политический и государственный деятель — *13, 30, 48, 53, 101, 105, 110, 112–115, 117–118, 121–122, 130–131, 151–152, 155, 166, 173, 179, 215, 231, 233–234, 241–242, 247, 253, 259, 267, 270–271, 277–278, 282, 293, 306, 308, 374–375, 377, 382, 384, 388, 395, 410, 412, 425–426, 436, 442, 450, 461, 480, 487, 493, 495–496, 501, 505, 509, 521, 532–533, 541, 544–547, 570, 581*.

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938) — актер и режиссер — *88*.

Станюкович Константин Михайлович (1843–1903) — писатель — *456*.

Стахеевы — династия промышленников — *566*.

Стеффен (Стефан) Генрих фон (1831–1897) — немецкий государственный деятель, создатель немецкой почты — *457*.

Стивенсон (Стефенсон) Джордж (1781–1848) — английский инженер, изобретатель — *274*.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — государственный деятель, реформатор — *6, 15, 57, 136, 248*.

Строгановы — династия купцов и промышленников крестьянского происхождения — *34, 183–184, 304, 367, 369, 561, 566*.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — русский экономист, социолог, философ, общественный деятель — *427–428*.

Стюарты — королевская династия, правившая в Шотландии и Великобритании — *537*.

Суворов Александр Васильевич (1730–1800) — великий полководец, генералиссимус — *88, 201, 235, 237, 304, 430, 516, 526, 533*.

Сцевола Гай Мумий (V в. до н.э.) — легендарный римский герой — *218*.

Сципион Эмилиан Африканский (ок. 185–129 до н.э.) — римский военный и государственный деятель — *281*.

Татищев Василий Никитич (1686–1750) — историк — *426*.

Теймураз I (1589–1663) — царь Кахетии — *521*.

Тестов Иван Яковлевич (XIX в.) — ресторатор — *85*.

Тилал (XVII в.) — немецкий военачальник — *262*.

Тиммерман Франц Федорович († 1702) — голландский купец, учитель *Петра I* — *552*.

Тит Флавий Веспасиан (старший) (9–79) — император Рима — *242*.

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — общественно-политический деятель, философ — *41, 42, 55–56, 85, 108, 127, 136, 267, 323, 352, 399, 403, 470, 480–481, 484, 501, 547, 558–560, 579*.

Толстой Алексей Константинович (1817–1875) — поэт, прозаик, драматург — *12, 505*.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — граф, государственный деятель — *227*.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, писатель — *34, 42, 44, 78, 85, 88, 111, 116, 147, 171, 174, 179, 193, 196, 198–201, 225, 227, 232, 235–236, 266, 272, 300, 371, 373, 375, 380, 383, 453, 457, 480, 496, 578–579*.

Толстые — дворянский род — *112, 174*.

Торез Морис (1900–1964) — деятель французского и международного рабочего движения — *119, 271, 44*1.

Торквемада Томас де (1420–1498) — испанский монах, основатель Инквизиции — *374–375*.

Тохтамыш († 1406) — хан Золотой Орды — *367*.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — государственный и политический деятель — *46, 48, 110*.

Трувор (XIX в.) — легендарный варяжский князь, брат *Рюрика — 254*.

Труман (Трумэн) Гарри (1884–1972) — президент США — *53, 112, 117, 121*.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — писатель — *193, 197, 225, 330, 373*.

Тутанхамон (ок. 1355–1337) — фараон Египта — *299.*

Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) — маршал, военный деятель — *179*.

Тышкевичи — литовский дворянский род — *5*.

Тьер Адольф (1797–1877) — французский государственный деятель, ученый-историк — *563*.

Тэнней (Танни) Джин (1897–1978) — американский боксер — *307*.

Уатт Джеймс (1736–1819) — шотландский изобретатель — *274*.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) — граф, государственный деятель — *224*.

Уитмен Уолт (1819–1892) — американский писатель — *236*.

Ульрика Элеонора (1688–1741) — королева Швеции, сестра *Карла XII — 533*.

Устрялов Николай Васильевич (1890–1937) — общественный деятель, мыслитель — *426*.

Уэллс Герберт (1866–1946) — английский писатель — *109, 264*.

Федин (XIX в.) — инженер — *224*.

Феодор I Иоаннович (1557–1598) — царь Московский — *188, 467, 473*.

Филипп (в миру Федор Степанович Колычев) (1507–1569) — свт., митрополит Московский — *450*.

Филиппов Александр Никитич (1853–1927) — историк — *576*.

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ — *430–431*.

Флетчер Джайлз († 1610) — английский дипломат, писатель — *368*.

Форд Генри (1863–1947) — американский промышленник — *235*.

Франко Франциско Баамонде (1892–1975) — правитель и диктатор Испании — *480*.

Франс Анатоль (Тибо Жак) (1844–1924) — французский писатель — *447*.

Франц II (1768–1835) — император Священной Римской империи — *219*.

Фридрих II Великий (1712–1786) — прусский полководец и король — *263, 299, 488, 513, 516, 519*.

Фультон (Фултон) Роберт (1765–1815) — американский изобретатель — *456*.

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) — французский мыслитель — *36, 496*.

Фушман Аркадий Моисеевич (1889–1936) — государственный деятель — *382*.

Хабаров Ерофей Павлович (1603–1671) — исследователь и путешественник — *183–184, 339, 367*.

Хаммурапи (ок. 1793–1750 гг. до н.э.) — царь Вавилона — *299*.

Цезарь Гай Юлий (100–44 до н.э.) — римский полководец; консул, а затем и военный диктатор Рима — *281, 418*.

Цимисхий — см. *Иоанн I Цимисхий*.

Цицерон, Марк Туллий (106–43 до Р.Х.) — древнеримский политик и философ — *281*.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) — философ, публицист — *321, 519*.

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) — композитор — *88*.

Чан Кайши (1887–1975) — китайский государственный и политический деятель — *102*.

Чарторыйский Адам (1770–1861) — государственный деятель, министр иностранных дел — *155*.

Чемберлен Джозеф (XVIII–XIX вв.) — английский предприниматель, поставщик обуви — *205*.

Чемберлен Невилл Артур (1869–1940) — английский государственный деятель — *205, 238*.

Чемберс Эфраим (1680–1740) — английский энциклопедист, писатель — *413, 483*.

Черный Саша (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) — поэт — *195*.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — писатель, философ — *163, 505, 572*.

Черчилль Уинстон Леонард (1874–1965) — английский государственный деятель — *28, 117, 123–124, 128, 297, 381, 411, 439*.

Чехов Антон Павлович (1860–1904) — писатель, драматург — *34, 193–194, 201, 371*.

Чингисхан (Темучин) (1162–1227) — монгольский хан, полководец — *115, 261, 358*.

Чоловский Никифор Аввакумович (XX в.) — общественный деятель, издатель — *17, 19*.

Чухнов Николай Николаевич (1897–1978) — деятель русской эмиграции — *19*.

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — певец — *88, 307*.

Шафиров Петр Павлович (1669–1739) — дипломат — *527, 531*.

Шахт Гьяльмар (Ялмар) Горас (1877–1970) — немецкий государственный и финансовый деятель — *148*.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) — украинский поэт, художник, мыслитель — *570*.

Шекспир Вильям (1564–1616) — английский поэт и драматург — *236*.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) — немецкий философ — *162, 570*.

Шереметьев Борис Петрович (1652–1719) — военный деятель, дипломат — *525, 529–531, 533, 543*.

Шиман Теодор (1847–1921) — немецкий историк — *111, 226*.

Шинуелль (Шинуэл) Иммануил (1884–1986) — английский политический деятель — *441*.

Ширяев Борис Николаевич (1887–1959) — издатель, публицист — *12*.

Шишко Леонид Эммануилович (1852–1910) — революционер, историк — *243*.

Шклярик (XIX в.) — *398*.

Шлиппенбах Вольмар Антон фон (1650–1739) — шведский генерал — *543, 567–568*.

Шмурло Евгений Францевич (1853/4–1934) — историк — *312–313, 344, 506, 523, 557, 562–563*.

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ — *461*.

Шпан Отмар (1878–1950) — австрийский экономист, социолог — *36*.

Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий мыслитель, философ — *29, 147, 191–192, 256, 322, 328*.

Шубарт Вальтер (1897–1942) — немецкий философ — *321–322, 327–329, 478*.

Шуйские — княжеский род — *485–486*.

Шуйский Василий Иванович (Василий IV Иоаннович) (1553–1612) — русский царь — *104, 305, 388, 486, 489, 572–573*.

Шустовы — купеческая династия — *541*.

Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) — историк — *243*.

Эберт Фридрих (1871–1925) — немецкий политический деятель — *441*.

Эвклид (III в. до н.э.) — древнегреческий математик — *171*.

Эдисон Томас Альва (1847–1931) — американский изобретатель — *116, 142, 144, 170, 177, 235*.

Эйнштейн Альберт (1879–1955) — немецко-швейцарско-американский физик — *170*.

Эйхгорн Герман фон (1848–1918) — немецкий государственный и военный деятель — *426*.

Энгельс Фридрих (1820–1895) — немецкий мыслитель и общественный деятель — *158, 212, 364, 428, 430, 501, 505*.

Эразм-Ермолай (Ермолай Прегрешный) (XVI в.) — церковный писатель — *385*.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — поэт, писатель, публицист — *281*.

Эттли Клемент Ричард (1883–1967) — английский государственный деятель — *112, 119, 123, 127, 242, 262, 282, 294, 296, 381, 442*.

Эчисон (Ачесон) Дин Гудерхэм (1893–1971) — американский государственный деятель — *119, 291*.

Юрий Владимирович Долгорукий (1090–1157) — великий князь Киевский — *347*.

Юрий Даниилович (1281–1325) — московский князь, великий князь Владимирский — *345*.

Юркевич Владимир Иванович (1885–1964) — русский и американский инженер-кораблестроитель — *324*.

Яблочков Павел Николаевич (1847–1894) — военный инженер, изобретатель — *88–89*.

Ягужинский Павел Иванович (1683–1736) — государственный деятель и дипломат — *539*.

Ярополк Ростиславич († 1180) — великий князь Владимирский — *355*.

Ярослав Мудрый (ок. 978–1054) — великий князь Киевский — *29, 273, 310–311, 313–314, 353, 464*.

Ярослав Осмомысл († 1187) — князь Галицкий — *341, 349*.

Ярушевич (в замужестве Солоневич) Юлия Викентьевна († 1915) — супруга *Л. М. Солоневича* — *5*.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ 21

ОТ АВТОРА 22

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 23
Только для России 23
Что есть империя? 25
Что есть индивидуальность? 26
Россия в сравнении... 28
Что есть дух? 31
Кривые зеркала 34
Политика подкинутого слоя 35
Оторванность от народа 38
Русская историография 40
Расплата 45
Политика и война 47
Что нам нужно 51
Гарантии от завоеваний 52
Гарантия от революции 54
Гарантии от бюрократии 58

Гарантии свободы 63
Самодержавие и сомоуправление 72
Национальный вопрос 74
Устойчивость 76
Обездоленность 84
Два полюса 89
О монархии вообще 98
Идея монархии 107
Царь и президент 116
Монархия и план 122
Народное представительство 124
Демократия и конституция 130
Монархия и программа 137

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДУХ НАРОДА 141
Без лица 141
Бытие и сознание 169
Инстинкт 176
Ближайшие параллели 181
Схема нашей истории 186
Кривое зеркало 191
Доминанта 204
Доминанта Германии 213
Русский сфинкс 223
Таинственная душа 229
Что есть доминанта 237
Русская историография 243

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КИЕВ И МОСКВА 245
История русского народа 245
Творимые легенды 248
Начало Киева 252

У истоков идеи 267
Русский империализм 281
Отступление о свободах 294
Гибель Киева 310
Феодализм 318
Начало Москвы 341
Татарское нашествие 355
Возвышение Москвы 363
Самонаблюдение 374
Дух, который творит 384

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
МОСКВА 391
Московская система 391
Боярская дума 392
Самоуправление 397
Соображение номер первый 403
Соображение номер второй 405
Соображение номер третий 406
Государственный строй 410
Пролетарская психология 438
Церковь в Москве 443
Военные усилия Москвы 465
Монархия в Москве 478
Царь и свобода 486

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПЕТР I 497
Россия на переломе 497
Личность и масса 500
Личность Петра 504
Две сказки 509
Вопрос о бездне 519
Военный гений 522

Полтава 527
Военная реформа 534
Птенцы 538
Преобразования 550
Победители в петровской реформе 560
Прорыв на фронте духа 567
Выводы 571

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 582

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Д. В. Орлов
Корректор О. А. Рогачева
Компьютерная верстка О. В. Кашинцева
Институт русской цивилизации Тел.: 8-495-605-25-35.

Подписано в печать 20.01.2010 г. Формат 84 x 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 26,7 изд. л.
Печать офсетная. Заказ
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 — 804 с.; т. 2 — 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 — 720 с.; т. 2 — 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги Института русской цивилизации можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605–08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул., 18/15, тел. 8(495)-916–29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620–36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543–87-93, www.politkniga.ru).